219

А. ЧАПЫГИН

РАЗИН СТЕПАН

ГОСЛИТИЗДАТ

Ч.
19.

А. ЧАПЫГИН

РАЗИН СТЕПАН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ ____ г.

ОБ'ЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.
164841

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАД — 1935

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МОСКВА

1

Бесконечным числом ударов в чугунную доску Москва вторила у боярских и купеческих домов часовому бою Спасских ворот. Часы пробили, но в сумраке часов не видно было. Светились иногда фонари; стучали копыта лошади: то проезжал боярин. В конце лета сумрак густел, часто перепадали дожди. Оттого по кривым и черным улицам полз туман. Местами улицы выстланы тесаными бревнами, отпотевшими и скользкими, словно в черном мыле.

Если где шел человек, то с подорожной бумагой и фонарем. Изредка чернели фигуры стрельцов, осторожно двигаясь на смену караула в Кремль, с бердышами на плече.

— Дьявол, а не путь! Сколь раз в море бывал, а тут слеп; ужель не попаду? — ворчал человек в бараньей шапке, в длиннополом казацком жупане и шагал со звоном подков, иногда скользил, спотыкаясь о дерево. — Сатана! — он наткнулся на поперечное бревно-колоду, загородившее улицу.

— Ты, сволочь, должно в Земском приказе не был? — окликнул человека сторож.

— Я ваших порядков московитских не ведаю, вот дырье в башке умею сверлить! — сверкнул пистолет.

Сторож отшатнулся, а человек, согнув широкую спину, пролез под колоду, выпрямился и спешно пошел дальше.

Напуганный пистолетом сторож опомнился, крикнул:

— Чорт! чтоб те ноги, ребра изломили...

Подошел другой:

— Ты пошто пропустил?

— Да вишь, шиши со Пскова по Москве бродят, должно, воровской казак, — с пистолем, и сабля.

— Ой, ты! Сговорился бы: кого ежели ограбит, чтоб доля нам.

— Спужал, трясца его бей! Глаза горят, как у волка.

— Эх ты, баба столетняя!

Посредине обширной площади, бесконечной от тумана, на толстом столбе с образом, глубоко врезанным в дерево, мигал огонь негасимой лампады сквозь слюду, вставленную в узорчатую раму. По земле расплывались тени двух человек, а у столба недалеко чернели две фигуры караульных стрельцов. Опершись на обухи бердышей, стрельцы, видимо, дремали под монотонный, жалобный голос, исходивший от земли:

— Ой, батюшки! Могильные черви точат мою грудь, и губят за что меня судьи неправильные?! Да ведь муж-от мой аспид был! Под ногти мне тыкал иглы каленые... Волосьев половину выщипал. Сам порченой, без гашника, и жонку ему оттого ненадобно, оттого и мучитель был!..

— Ага! — человек в казацкой одежде глянул по земле, увидал зарытую по плечи женщину с растрепанными волосами.

От звука шагов один стрелец поднял голову:

— Эй, ты, человече!

Он повернул бердыш топором к земле и крепко взялся за рукоятку.

— Кой бес тебя несет сюда?! — крикнул второй.

— Свой я вам! Чего бьете сполох?

— Есть вас своих!

— Свой, соколы! выпить вам тащу.

— Что ты за человек?

— Видать, заезжий. Там ужо вспорют — узнаешь, за какими песнями в Москву ездят.

— Разберемся!

Человек, сдвинув баранью шапку на затылок, вытащил из-за пазухи глиняную посудину.

— Оно не худо пить, только, мотри, не отравное?

— Пошто мне вас изводить?

Стрелец приложился к горлышку посудины, другой, жадно причмокнув, сказал:

— Оставь, не все тяни!

— Ух, пей, брат! Не на кружечном, без уловной деньги. [1]

---

[1] Уловная деньга — плата за водку в кабаке, иначе — напойные деньги.

— Ой, тошнешенько-о! Не видать младеньке боле ясна-солнышка-а... калена-бела месяца-а!

— Убила мужа, дак молчи, чортова жонка! — крикнул стрелец.

Человек в казацкой одежде сказал:

— Други, а, може, муж стоил того?

— Кто спорит, — може и стоил, да дело не наше!

— Чего сам не пьешь?

— Хватит и мне, еще есть.

— Давай, парень, коли што, другую!

— Да уж зачал чествовать, не скупись, а то, вишь, туман, знобит...

— Лето нынь скудное — дождей, дождей...

— На-те, дуйте!

Выпивая, стрельцы рассуждали:

— И как ты, детинушка, не боишься ходить?

— Молодой, вишь, да зубастой!

— У нас на вольном Дону никого не боятся.

— Мы от дедов стрельцы, да того...

— Боитесь?

— Не так, чтобы...

— Ино не на вас ли, браты-соколы, бояре воду возят?

— Ужо время приспеет — тряхнем бояр...

— До поры в терпеньи!..

— Ой, а долга ли та пора?

— При-и-дет!

— Мы и нынче ни чорта не боимся!

— Не боитесь?

— Не...

Один из стрельцов ударил себя кулаком в грудь.

— Глянь на меня, вольной детина — вот я не боюсь ни сатаны, ни патриарха, ни бояр...

— Ой ли?

— Вот бог — и хрест!

— Ну, брат-сокол, хвалишься!

— Не хвалюсь, башка!

— А чем докажешь зарок?

— Чем хошь!

Стрельцы захмелели.

— Не боитесь, так отроем эту жонку, в кабак сведем, сами выпьем и ее обогреем.

— А, пропади все, — отроем!

— Нет, то, детина, не ладно! какие же мы сторожи?

— Вот, браты-соколы, и не боитесь, а трусите!

— Нет, тут честь стрелецкая горит!

— Что тут горит? К жонке в сторожи приставили! честь!

— А и то правда, отроем!

— Сами куды?

— В кабак!

— Откопаем жонку!

— А чем?

— Эво! Бердыши в руках, да я саблей подмогу.

— Мочно!

— Рой!

Подошли, отрыли женщину и за руки выволокли из ямы.

— Ена, парень, нагая?

— Ни-што! Обряжу в жупан, сам пройдусь в зипуне — держи одежу, жонка!

— Голова у детины, хошь в попы ставь!

— А жонка-т с икрой!

— Грудастая...

— Э-эй, черти-и!

Голос зычно плыл по площади.

— Ой, мать твою перекати поле, — пятидесятник!

— Батоги нам!

— Кнут! Чего делать, в обрат копать жонку? Увидит.

— Не копать, соколы: вы жонку пасите, я с боярскими детьми хорошо лажу.

— Иди, детинушка — веди сговор, угомони чорта!

— Э-эй, стрельцы!..

В ответ шаги и голос:

— Тут я!

— Ты тут, драный козел твою перепечу! А где другая сволочь?

— На месте стоит!

— А ты, щучий сын, пошто без бердыша, пошто не в сукмане?

— Сабля при бедре, — зипун на плечах!

— Вон ты что-о?!.. Эй, стр-ажа-а!..

В сумраке сверкнуло лезвие сабли. Слово «стр-ажа-а» не окончено. Тело начальника осело к земле и распалось на два куска.

Детина вернулся к стрельцам.

— Куды он делся? — спросил один.

Другой засопел и громко, как бы про себя, сказал:

— Так-то не ладно!

— Чего не ладно?

— Начальника посек! Понял? Мы в разбое...

Другой, еще более хмельной стрелец захихикал, закашлялся, потом отдышался, сказал:

— Начали сечь, — туды ему, сатане, и дорога! Дай посекем в куски?..

Приволокли подтекающее кровью половинчатое тело начальника к огоньку образа.

— Матерый, чорт! И как ты его, вольной, мазнул? Не всяк мочен такое...

— Одежу вниз! Секите его на куски да в яму замест жонки,— и в кабак.

— Вот-те хрест, в попы тебя, казак, — голова-а!

— Дальше попа не видал? Я, може, в патриархи гляжу!

— Хо, хо, хо. Сатана-а!

— В па-три-архи-и?!..

Языки и руки стрельцов худо слушались. Казак, как говорил, сделал все. Пошли.

Сторожа на росстанях улиц снимали перед ними бревна колоды. В иных местах отпирали решетчатые ворота, спрашивали:

— Куды, служилые?

— Воров в Земской приказ!

— Мы сами воры-ы!

— Чого рот открыл до дна утробы? Тише-е!

— Начальника-то, а-а? Кровь на тебе, и я в кровях...

Казак остановился:

— Вам, браты-соколы, дорога на Дон, утечете, — на Дону много вольных сошлось, — там рука боярская коротка.

— А ты?..

— Я оттудова и туды приду!

— Врешь!

— Давай, Дема, поволокем его с жонкой в Разбойной?

— В Разбойной? Пойдем! Руки, вишь, у меня в крови...

— Вот вам еще водки! Пейте, загодя спать, а утром знать будете, что делать.

— Водку? Давай!

— Дуйте из горлышка!

Падая и подымаясь, с лицами, замаранными кровью, стрельцы пошли вдоль улицы. Казак потянул одетую в жупан женщину в переулок, выглянул из-за угла. Стрельцы про них забыли, — шли, падали и, поднимая один другого, шли дальше.

— Веди, жонка! Спасайся от могилы! — плотнее запахивая женщину в жупан, сказал казак.

Женщина дрожала, едва держалась на голых ногах, черных от грязи и холода. Сверкнули белым жестяные главы многочисленных церквей. Где-то зазвонили. Загалдел народ; на ближайших рынках, словно на пожаре, заспорили и закричали женщины, торгуя холст и нитки. Берестовые и тесовые крыши на неопрятных домишках все яснее и пестрее выделялись.

— Будь крепче! Идем, кабаки отперли.

— Иду, голубь-голубой... иду, а тяжко итти...

2

Кабак гудел. Широкая дубовая дверь раскрыта настежь... Едкий воздух сивушного масла, спирта, потных тел, подмоченных лохмотьев и рубищ не давал дышать непривычному к кабацким запахам. Светлело в бревенчатой обширной избе с заплеванными стенами и чавкающим от грязи земляным полом. За стойкой на стене висела желтая бумага с черными крупными буквами. В стороне в железном подсвечнике на ржавом кронштейне горела оплывшая сальная свеча, мутно при утреннем свете скупым огоньком пятная бумагу. Каждый, кто смотрел на бумагу, мог прочесть:

«ПО УКАЗУ ЦАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ВСЕЯ РУСИ И ВЕЛИКИЯ И МАЛЫЯ — ПИТУХОВ ОТ КАБАКОВ НЕ ОТЗЫВАТИ, НЕ ГОНЯТИ — НИ ЖЕНЕ МУЖА, НИ ОТЦУ СЫНА, НИ БРАТУ, НИ СЕСТРЕ, НИ РОДНЕ ИНОЙ, — ПОКУДОВА ОНЫЙ ПИТУХ ДО КРЕСТА НЕ ПРОПЬЕТСЯ».

Казак по-особому зорко оглянул обширный сруб с курным, как в овине, бревенчатым потолком. Его взгляд скользнул в

глубину кабака, где за перерубом с распахнутой дверью выглядывала без заслона с черным устьем большая печь.

Казак высматривал исцов.[1] Лицо его стало спокойно, он повел широким плечом, положил на стойку деньги:

— Косушку и калач!

Женщина задремала, вскинула сонными руками, казак поддержал ее, но жупан распахнулся и голое, плотное тело, запачканное землей, открылось. Целовальник, косясь на саблю казака, на окровавленные руки, подал откупоренную косушку, положил калач, густо обваляный мукой.

— Где экую откопал?

Женщина вздрогнула и, схватив было, уронила калач. Казак нахмурил густые брови, но спокойно ответил:

— Пропилась, — лихие люди натешились, да раздели... Подобрал, вот, вишь, согреваю.

Целовальник сощурился, недобрым голосом прибавил:

— Спаси бог! Житья не стало от лихих людей. Почесть, что ни ночь Москва горит...

Сквозь слюдяные, проткнутые во многих местах, окна чирикали воробьи, слышался звон и громыхание каких-то тяжелых вещей, которые не то катили, не то везли.

— Немчин опять на государев двор пушку тянет...

— Молять надо: кукуй[2] — подь на кукуй!

— А не скажу того — кнута пробовал! — шутили в глубине кабака у двери в прируб, на бочках огромных и пузатых, оборванцы-питухи. Они сидели в обнимку с женщинами, столь же неприглядными, как и мужчины. Женщины лезли одна к другой и спорили. Целовальник крикнул:

— Драться, жонки, вольготнее на улице!

— А ты там стой! Она у меня Микешку отбила, а Микешка мою кику спер...

— Ой, ой! Да она, вишь ты, не посацкая жонка?

— Матренка-то? Она, ведомо всем, кабацкая боярыня!

— Ха, ха, ха!

— А кика твоя с жемчугом аль с вепсами?[3]

---

[1] Исцы — сыщики.

[2] Кукуй — слобода, где жили немцы.

[3] Вепс — гранат — драгоценный камень.

— Кика [1] у меня от бабки!

— Знаю теперь — ха-а-а-рошая... Тут, вишь, братаны, на торгу юродивой Гришка-гроб шатается, так он Матрешкиной кике непочетное место нашел: носит в портках, а зовет — килой!

— Хо, хо, хо!

— У, ты, образина нехрещеная!

Бочки лежали, иные торчали стоймя, люди за ними были как за колоннами, выходили и вновь прятались. За бочками кто-то тренькал на струнах, а перед бочками тонконогий, черный, в длинном подряснике, подпоясанный рваной тряпицей, плясал поп-расстрига, гнусаво напевая:

Дьякон с дьякопицей,
Дьявол с дьяволицей —
Попамарь кошку
Окалечил ножку!
Кошка три года хворала,
Все кота недолюбала,
Кот упал с тоски,
Перебил горшки!

Из-за бочек выскочил музыкант, тренькавший на ящике.

— У, ты! Сидел бы там.

Музыкант заюлил, завертелся, загребая рваными полами старой распашницы, видимо украденной у жены. В прорехе мелькал голый, замаранный смолой зад.

Музыкант колотил по ящику, дергал натянутые на нем струны, подпевал:

Как под ельницею,
Под березницею
Комар с мухой живет,
Муха песни поет.
Ой, спасибо комару,
Что пришелся ко двору,
Ой, спасибо мушке, —
Прожужжала ушки!

— Эй, народ! Знаете, что ваши домры да сломницы [2] сожгли по патриаршу слову, и нынче настрого заказано в кабаках песни играть?

---

[1] Кика — женский головной убор.

[2] Сломница — кривая труба.

Музыкант перестал плясать, а кабатчику ответил:

— Ништо, батько Трифон! Москва погорит, — сам спляшешь.

— Ах ты, голое гузно! Ужо исцы придут, по-иному заговоришь.

Кабатчик выскочил из-за стойки с плетью. Жонки-пропойцы дрались.

Казак потянул женщину за собой. Целовальник разогнал дерущихся, вернулся за стойку. Не видя казака и его подруги, пожалел, тряхнул бородатой головой, икнул, покрестил рот:

— Исцы не идут, а детину с жонкой упустил, — детина — с саблей... кровь на руках, воровские каки-то людишки...

Женщина двигалась будто во сне. Казак спросил:

— Ты, жонка, ведаешь ли путь?

— Веду куда надо, голубь-голубой.

Они прошли по шаткому бревенчатому мосту через Москву-реку, пробрались закоулками стрелецкой слободы. Женщина вела такими местами, где людей или не было, или редкий кто встречался им. Потом она повела старым пожарищем. Через доски с гвоздями, через обгорелые бревна и матицы шагали, спускаясь вниз до земли и вновь подымались на бревенчатый завал.

— Не верил тебе, что путь знаешь!

— Ой, голубь, да как мне его не знать? Истомилась я, — сколь время высидела в яме. Голосила: «прости, белой свет...» и не упомню, что голосила денно и нощно... Ой, да откудова ты выскался такой? С неба, видно?..

— С земли!.. Дьяк на торгу вычитал, — гляпул я, ведут нагую...

В старинном тыне, обросшем кустами обгорелой калины и ивы, женщина отыскала проход. Согнувшись, пролезая, продолжала:

— Не домой тебя веду, голубь, там уловят, а здесь не ведают... Тут мои кои вещи хоронятся, да живет дедко шалой, скудной телом, юродивой...

— Иду, — веди!

Казак задел лицом за плесень тына, — рукавом жупана отер худощавое, слегка рябое лицо.

Женщина спросила:

— Никак головушку зашиб?

— Замарался — грязь хуже крови...

За тыном широко разросся вереск. В самой гуще вереска стлалась почти по земле уродливая длинная хата. На пороге, на краю входа вниз, сидел полуголый старик-горбун. На грязном теле горбуна, обмотанном железными цепями, висел на горбатой груди железный крест. Горбун не подвинулся, не шевельнулся, но сказал запавшим вглубь голосом:

— Ирпньица? С того света пришла, молотчого привела. А не прикажут ли вам бояры в обрат итти?

Он растопырил костлявые ноги, мешал проходу.

— Ой, не держат ноженьки! Двинься, дедко!

Горбатый старик подобрал ноги.

Казак с женщиной вошли в подземелье, в темноте натыкались на сундуки-укладки, но женщина скоро нашарила низенькую дверку, в которую пришлось вползти обоим. На глубине еще трех ступеней вниз за дверкой была теплая горница. Женщина выдула огонь в жаратке небольшой изразцовой печки особого лежаночного уклада. Казак стоял не сгибаясь, и, хотя роста он был выше среднего, до потолка горенки еще было далеко.

От восковой свечи женщина зажгла лампадку, другую и третью, перекрестилась, сказала гостю:

— Да что ты стоишь, голубь-голубой? Садись! Вызволил меня от муки мученской! А воля будет лечь — ложись: там кровать, перина, подушки — раскинься, сюды никто не придет...

Сбросила его жупан на лавку и куда-то ушла голая. Устал казак, а в горнице было тихо, как в могиле. Скинув зипун, саблю и пистолет, столкнув с ног тяжелые сапоги прямо на пол, он задремал на перине, поверх одеяла.

Женщина, тихо ступая по полу туфлями, обшитыми куницей, вернулась — прибранная в синем из камки сарафане, в шелковой душегрее. Густые волосы ее смяты и вдавлены в сетчатый волосник, убранный жемчугом. Она подошла к кровати, тихо-тихо присела на край и прошептала, чтоб не разбудить гостя:

— Спи, голубь-голубой, век тебя помнить зачну... пуще отца-матери ты к моему сердцу прилип...

Казак открыл глаза.

— Ахти я, беспокойная! Саму дрема с ног валит, а тянет к тебе, голубь, притти глянуть...

— Ляжь!

— Кабы допустил лечь, — лягу и приголублю, вот только лампадки задую да образа завешу.

— Закинь, бога! Не завешай, — с огнем весело жить.

— Ой, так-то боязно, грех!

— Грех? Мало ли грехов на свете? Не гаси, ляжь!

— Ой ты, грехов гнездо! Пусти-ко... Дозволишь обнять, поцеловать, ино не дозволишь? А я и мылась, да все еще землей пахну.

— Перейдет!

— Все, голубь, перейдет, а вот смертка?..

— Жмись крепко и молчи!

— Ужо я сарафан брошу!

— Душегрею, сарафан — все. Целуй! От лишней думы без ума нет проку!

— Родной! Голубь-голубой!

— Эх, Ириньица! Ты — новой разбойной струг... Не попусту я шел за тобой.

— Родной, дай ты хоть ветошкой завешать бога! Слаще мне будет...

— Молчи, жонка!

3

Проснулся казак от яркого света свечей. За столом под образами сидел голый до пояса юродивый. Женщина исчезла. Казак сказал юроду:

— Ты чего в красный угол сел?

Наливая водки в большой медный кубок, юродивый ответил:

— Сижу на месте... В большой угол сажают попов да дураков, а меня сызмала таковым именем кличут.

— Ну, ин сиди, и я встаю! А где Ириньица?

— Жонка в баню пошла, да вот никак лезет...

Женщина вернулась румяная, пышная и потная, на ней был надет отороченный лисьим мехом шелковый зеленый кортель-распашница, под кортелем голубой сарафан, рубаха шелковая розовая, рукава с накапками — вышивкой из жемчуга.

— Проспался, голубь-голубой, мой ты — голубь!..

— Улечу скоро! — Гость встал, под грузным телом затрещала дубовая кровать.

— Матерой! Молодой, а вишь как грузишь, — не уродили меня веком таким грузным, — проворчал старик.

— Я вот вина принесла да меду вишневого! А улетишь, голубь-голубой, имячко скажи, за кого буду кресты класть, кого во сне звать?

— Зовут-таки меня Степаном, роду я — издалече...

— Оденься-ко, Степанушка! Чья это кровь на тебе? Смой ее с рученек да окропи, голубь, личико водой студеной... А я на торгу была... Все проведала, как наших стрельцов, что у моей ямы стояли, исцы ищут: всю-то Москву перерыли, да не дознались... Жон стрелецких да детей на спрос в Земской приказ поволокли.

— Бойся, жонка! Тебя признают, худо будет...

— Ой, ты, голубь! Жонку на Москве признать труд большой— нарумянилась я, разоделась купчихой, брови подвела, нищие мне поклоны гнут, жонку искать не станут... Будто те собаки в яме съели, и меня бы загрызли, да стрельцы, спасибо, угоняли псов: «пущай, говорили, помучится».

— Худо, вишь, на добро павело... — проворчал юродивый.

— И слух, голубь, такой идет: жонку собаки растащили, а начальник стрелецкий — вор, ушел сам да стрельцов увел. По начальнику, родненький, весь сыск идет... — Женщина говорила нараспев.

— В долгом ли обмане будут! В долгом — ладно, в коротком— тогда пасись... Ну, да сабля точена, елмань у ней — по руке, кто нос сунет, — будет знать Стеньку...

— Ой, да что я-то? воды забыла! — Женщина упила, вернулась шумя медным тазом. В правой руке у ней был кувшин серебряный, плескалась вода. — Умойся, голубь-голубой!

— Эх, будем гулять, плясать да песни играть! Ладно ли, Ириньица?

— Ладно, мой голубь, ладно!

— Вот и кровь умыл — пропадай ты, Москва боярская!

— Уж истинно пропадай! Народ-от, голубь, злобится на родовитых, кои ближни царю, на Бориса Ивановича да на думнова дьяка Чистова, на Плещеева, судью корыстного: много народу задарма в тюрьме поморил. Плещеев-то царю сродни, а соль всю нынче загреб под себя, — цену набил такую, что простому люду хошь без соли живи...

— Слыхал я это. У тебя, Ириньица, нет ли ненароком татарской одежины?

— Есть голубь-голубой. С мужем-то моим, — неладом его помянуть, — одежиной разной в рядах торговали... Ужо я пощу в сундуках, да помню, голубь, что есть она, погапая одежина, и шапка, и чедыги мягкие с узором.

— Ты жонка толковая!

— Народ-то давно бы навалился на своих супротивников, только немчинов пугается, — немчин на зелье-пушки востер, а уж, конешно, немчин — не за народ!

— Ништо и немчин! Наливай-ка, жонка!.. Русь надо колыхнуть, вот тогда и немчин в щель залезет...

Пили, целовались, снова пили. Гость поднял высоко голову курчавую. Глаза его стали глубокими и по-особому зоркими:

— А ежли меня палачи, псцы да псы разные боярские искать зачнут, тогда, Ириньица, не побоишься дать мне угреву у себя?

— Молчи, голубь-голубой! Укрою, а сыщут — и на дыбу за тебя пойду.

— Пьем-молчим, жонка!

— Сторговались — в сани уклались, — сказал юродивый. — Хмельным старика забыли тешить?

— Помним, дедо, помним!

В большой медный кубок юродивого казак налил меду.

— Вот оно то, что надоть: и сладко и с ног валит!

— Ты бы, дедко, рубаху накинул!

— Эх, Ириха, под рубахой моей святости не видно, а я еще плясать пойду. Ты, паренек, когда о жонку намозолишь губы, а шея заболит от женских рук, поговори со мной.

— Ладно! — гость придвинулся к юродивому.

— Дальной ли будешь?

— С Дона... У нас хлеба не пашут, рыбу ловят, зверя бьют и ясырь [1] берут, торгуют людьми да на Волгу из Паншина гулять ездят... тем живут!

— А ты, гость-паренек, когда в отаманах будешь, не давай человека продавать...

— Пошто, дедко?

— Самого продадут... А клады искать любишь?

---

[1] Пленных.

— Нашел, вырыл, вот, вишь, клад, — казак похлопал женщину по широкой спине.

— Этот клад поет в лад, а в лад не войдет, мороз по коже пойдет, — она у меня с поровом... Ты казну ежели золотную, жемчужную альбо серебряную похощешь, то скажу я тебе о травах цветных, спречь по доселюному — о кринах черленых и белых...

— Любопытствую, дедо, скажи!

— Так вот чуй: есть скакун-трава, растет на надгробных местах, ростом высока, цвет голуб, кольцами; весьма для клада гожа. Завернуть сию траву в тряпицу, она сама раскрутится и скочит, а вертеть ее надо на поле: куда трава скочит, там огонь возгорится, тут и клад рой...

— Мой клад, дедо, вон на лавке лежит, — в чудеса я не верю, саблей добуду жемчуг, золото и женку.

— Али тебе не сказывать дальше?

— Нет, ты говори — чую.

— Ну, так чуй! Есть трава хмель полевой, растет при болотах, на ей шишки желтые, только цвет отличен от хмелевого, что в хмельнике... Ежли истолкешь в порошок семя тех шишек да в вине ли, в пиве изопьешь, — сколь ни пей, пьян не будешь...

— Упомнить, дедо, потребно цвет тот, — люблю пить хмельное.

— Помни, гостюшко удалой, от многой той семени испитой человек в остатке бывает нехмелен, но зело буен и смел, в огонь, воду и на нож идет...

— Упомнить надо тот цвет: «растет при болотах, на нем шишки желтые»...

Женщина, выпивая чашу меду и опрокидывая ее пустую себе на голову, сказала:

— Иной раз на улице или в церкви дедко такое заговорит, что страшно: того гляди псцы привяжутся и поволокут...

— Меня волокли да спущали, чтут за скудного умом... Чуй еще: есть трава, зовомая воронец, цветет на буграх,на бруснячках в густых лесах, мелка, зело тонка и видом чиста... Лапочки на ней и иглы зеленые, ствол суковатый, коленцами, на тое травине ягодки зеленые, когда и черные бывают... Пить ее отваром тому, кто кровию порчен, еже у кого глисты, змеи, жабы и иные гады... Все из нутра утробы вон изгонит. А може краше будет тебе о планидах сказать?

— Все, что знаешь, дедо, говори!

— Было время, шестикрылыную книгу я чел, жидовина Схарии и иных мудрых речения и письмена их еретичные, числа исчислял по маурскому счислению и по звездам, кои описаны, гадал, а вычитал я в тых книгах, что земля наша, кою чтут патриархи и иные отцы православия, яко долонь человеков, гладкой, — кругла, что небо будто бы не седми. не шти, не пять и не дву-три не бывает, что небо сие едино, и земля наша кругла, а небо шар земли нашей объяло, справа, слева, внизу и вверху что якобы земля наша вертится... Но мотри — сие говорю только тебе, ибо ты мне, как и Ирпьице, по душе пал... иным боюсь. В срубе сожгут мое худое телесо древнее, да огню его предать — не изошло тому время...

— Еретичный, умолкни! — крикнула женщина и застучала чашей по столу, из чаши полился мед...

— Буйна ты, Ирпьица, во хмелю, зело буйна, — умолкаю...

— А я говорю: сказывай, дед! То, что попы вредят говорить, надо говорить, и, может, большая правда в тех жидовинных книгах есть!.. Знать все хочу... хочу все иконы чудотворные оглядеть и повернуть иной стороной — к тому я иду, и попов неправедных, как и бояр, в злобе держу.

— Знать все надо, гостюшко! — Юродивый был пьян, но, странно, во хмелю обострялся его мозг, и говорил он без запинки. Он стучал костлявым кулаком в горб, тряслась его жидкая, седая борода, звенели вериги на толцем, коростоватом теле, а на горбе прыгал железный крест. — Надо знать — и вот за сие на костер готов итти, — знать все мыслю!.. И может, как указано в еретических письменах, земля наша станет в веках белой и хладной, яко луна, а луна — тоже шар крутящийся, и шар сей ледяной... И звезды есть, гостюшко, величины необозримой, и каждая звезда — шар, и все... все оно вертится, сменяя свет тьмой и тьму светом, и ветры и бури...

— Горбун! Окунь столетний! Он — мой голубь-голубой. Степа, ты ведь мой?

— Твой, Ирпьица, — с тобой я твой!

— Снеси меня на постелю.

— Сиди!

— Снеси, — говорю! Или сорву с себя платье, нагая побегу по Москве и буду кричать: «Я та, которую он взял от червей мо-

гильных, я та, и он тот, кого я люблю больше света-солнышка»!.. Степа, спеси...

— Не вяжись, Ириньица! Дед говорит, я хочу знать...

— Она помеха и буйна. Сполни, не отстанет...

Казак встал, поднял женщину, разомлевшую от водки и меда, спес, положил на кровать. Женщина целовала его и кусалась.

— Ляжь, — побью!

— Бей! люблю... бей, а побьешь — сзади побегу, битой любимым еще слаще любить.

— Успи — приду скоро!

Ушел, а женщина примолкла и, видимо, спала.

И странно, — когда гость прошелся по горенке, у него стало от хмеля мутиться в голове, ясные глаза налились кровью, а большая рука легла на рукоять тяжелой сабли. Перед ним кривлялся маленький седой горбун, на нем позвякивало железо, казак забыл, что еще так недавно слушал горбуна, который сидел и говорил ему неслыханное. Он топнул тяжелым сапогом и повелительно крикнул:

— Пляши, сатана!

Юродивый завертелся по горнице, горб его, подбрасывая крест, ходил ходуном, моталась седая борода, каким-то ржавым голосом старик напевал:

Жили-были два братана,
Полтора худых кафтана,
Голова на плахе.
Кровь на рубахе,
Мясо с плеч —
Стали сечь.
Ой, щипцы да клещи,
Волоса да кожа, —
Неутожа в крови
Покосилась рожа!
Зри-ка, жилы тащат,
Чуешь? — кости трещат.

И тихо-тихо продолжал:

Две сулицы...
Три сафьянных рукавицы...
Дьяк да приказной,
Перстень алмазной...
Чет ударов палача —

Бьют с плеча!
Сруб-от в мясе человечьем,
Тулово с увечьем...
Кости, кости, —
Ворон летит в гости,
Кровью политый воз,
Под пятами навоз,
Идут в кровь — как в воду —
Честь сия от бояр народу!
Аминь...

— Дьявол! худо пляшешь!.. — гость было сбросил саблю на скамью, выдернул ее из ножен, и тяжелые сапоги с подковами лихо застучали по горнице. Он свистел, припевая:

Гей, Настасья,
Эй, Настасья,
Отворяй-ка ворота!
Распахни и со крыльца
Принимай-ка молодца.
У тебя ль, моя Настасья,
У тебя ли пир горой,
Воевода под горой.
До полупочной поры,
Гей, точите топоры!..
Воеводу примем в гости,
Воронью оставим кости...
Ай, Настасья!
Гей, Настасья!..

Вторя свисту казака, сабля посвистывала, описывая круги. Старик испугался блеска сабли и разбойных посвистов, залез под стол. Казак, сделав круг по горнице, приплясывая, вернулся к столу. Неожиданно тяжелая рука с саблей опустилась на стол. Дубовый стол, разрубленный вдоль, зашатался и крякнул, доска распалась от удара — сабля глубоко врубилась в прочный дубовый столешник. От треска, стука и звона посуды, брызнувшей искрами со стола, проснулась пьяная женщина, приподнялась на постели, спросила:

— Дедко, где звонят?..

Испуганный юродивый, привыкший к шуткам, не мог не пошутить, ответил:

— У Спаса, Ириньица!

По полу валялись огарки сальных свечей и дымили; колеблясь, светили только лампадки у образов.

Притопнув ногой, казак с размаху воткнул саблю в стену, сабля, сверкая, закачалась. Сам он сел на скамью, тер лоб и ерошил кудри. Старик выполз из-под стола, собирал огарки свечей, битую посуду, ендовы и чаши. Сдвинув разрубленную доску, расставил посуду; заглянул в кувшин с медом, устоявшийся и целый:

— Оно еще есть, чем кружить голову и сердце бесить... — и робко сказал гостю: —Я, гостюшко, такие песни не мочен играть...

Гость сидел, свесив голову, рвал с себя одежду, бросал на пол. Старик осторожно, как к хищному зверю, подполз, стащил с гостя тяжелые сапоги, приговаривая:

— Водки, вишь, на радостях глупая жонка добыла с зельем табашным... Бьет та водка в человеке память.

Казак встал тяжелый, глаза потухли, а рот на молодом лице кривился, и зубы скрипели. Старик быстро исчез с дороги. Казак прошел и рухнул на кровать. Юродивый прислушался. Казак, приказывая кому-то во сне, громко засвистал:

— Пала молонья, гром прогрянул...

Старик пошарил дверь из горницы, но скоро вернулся, и его валеные тупоносые уляди [1] прошамкали в прежний угол: он сел допивать уцелевший мед.

— Эх, молодец-молодой, грозен! Да не тот жив, кто по железу ходит, а тот, вишь ты, жив, кто железо носит... из веков так.

4

Сумеречно и рано. Перед Кремлем в рядах идет торг. Стоят возы со всякими товарами. Площадной дьяк с двумя стрельцами ходит между возов в длинополой котыге,[2] расшитой шнурами — на голове бархатный клобук, отороченный полоской лисицы. Дьяк собирает тамгу [3] на царя, на церкви и часть побора с возов на монастыри. Звенят деньги.

Впереди рядов, ближе к Кремлю, палач — в черной плисовой безрукавке, в красной рубахе, рукава рубахи засучены, — приготовился сечь кнутом вора.

---

[1] Опорки.

[2] Котыга — кафтан, только иного покроя и шире.

[3] Сбор с товаров.

Преступник в синих крашенинных портках, без рубахи, стоит пригнувшись, дрожит... В ранней прохладе от тощего тела, вспотевшего от страху, идет пар. На впалой груди на шнурке дрожит медный крест.

— Раздайсь, люд! — кричит палач, бородатый парень, которого еще недавно видели приказчиком в мясных рядах. Он неторопливо сдвинул на затылок валеную шляпу, зажал в крепких руках, почерневших от крови, кнут и передвинул крепкую нижнюю челюсть: зашевелилась окладистая борода. Ворот рубахи у палача расстегнут, виднеется на широкой волосатой груди шнурок креста. — Ты, голец и тать, спусти из себя лишний дух!

Преступник пыжится, от натуги багровеет лицо, а толпа гогочет:

— Сипит, худо!

— А ну, попробуй, ино жидким пустишь!

— Не с чего ныне.

— Держись!

Палач шевелит кнут, распутывая движением руки на конце кнута кисть из воловьих жил.

— Тимм! Тимм! Тимм! — звенят в воздухе литавры.

Народ расступается, иные снимают шапки:

— Боярин!

— Царя с добрым днем чествовать!

— Эй, народ — дорогу!

Через площадь проезжает боярин, черная борода с проседью. Боярин бьет рукояткой кнута в литавры, привешенные к седлу, лицо мрачное, на лице густые черные брови, из-под них глядят круглые ястребиные глаза, он в голубой бархатной ферязи, от сумрака цвет ферязи мутносерый, на голове клобук, отороченный соболем.

Боярина по бокам и сзади провожают холопы. Огонь факелов колеблется в руках челяди, мутно отсвечивая в драгоценных камнях ферязи боярина и на жемчугах, заплетенных в гриву коня:

— Воевода-а!

— То хто?

— Князь Юрий Олексиевич!

— Ен Долгоруков — тот?

— Тот, что народу не любит...

— С дороги, людишки!

Свищет кнут... После десяти ударов преступник шатается. Кровь густо смочила опушку портков.

— Стоя не осилишь, — ляжь! — спокойным голосом, поправляя рукава распутившейся рубахи, говорит палач.

Преступник охрип от крика; он покорно ложится, ослабел и только шевелит лишь губами. Бородатый дьяк с гусиным пером за ухом, обросшим волосами, как шерстью, с чернильницей на кушаке, считая удары, подал голос:

— Полно-о!

Подвели телегу. Помощник палача в черной рубахе, перетянутой сыромятным ремнем, поднял битого, взвалил на телегу. Преступник моргает слезливыми глазами и чавкает ртом:

— Пи-и-ть...

Палач делает шаг, не глядя, грозно кричит на толпу:

— Раздайсь! — и щипцами откусывает преступнику правое ухо.

Тот, не чувствуя боли, шепчет внятно:

— Пи-и-ить!..

Дьяк машет мужику в передке телеги, говорит битому:

— Не воруй! Левое ухо потеряешь...

— Поглядели бы, крещеные, что уволок-то парень? Курицу-у...

— Да, суды... тыранят народ!

5

Недалеко от битого места дерутся две бабы. У них в руках было по кораваю хлеба. Теперь хлеб затоптан в песок, а бабы, сорвав с головы платки, таскаются за волосы, шатаясь, тычутся в толпу. Толпа науськивает:

— Белобрысая, ты за подол ее, за подол!

— Кажи народу ее подселенную!

— Черная жонка, вали ее, дуй коленкой-то в пуп! в пуп, чортовка, да коленкой, — э-эх!

— А не, робята! Русая забьет. Страсть люблю у жонок зады — мякоть...

— Лакомый, видать, снохач?

— Зады у жонок... я знал одну...

— Беги!

— Площадный дьяк!

— Не кусит! чего бежать!

Дьяк со стрельцами подходит не торопясь. Бабы лежат, лежа держат одна другую за волосы, плюются и языки высовывают.

— Эй, спустись, кошки!

Бабы не спускаются. Дьяк говорит стрельцам:

— Берите-ка на съезжую!

Бабы вскакивают, подбирают волосы, одергивают сарафаны. Одна, тощая, с желтым лицом, кланяется:

— Господине, дай молыть?

— Ну!

— Да как же, господине, она моему мужу передом, все передом угобжает, — без ума мужик стал!

Другая тоже кланяется:

— Господине дьяче, она жена ему постылая, на всех лжет, а у самой жабы в брюхе квачут и кулькают. Чуть ее страшно, болотной тиной смородит, — икота у ей завсегда...

— Ах ты, сволочь, перескочи твою утробу! да я тебя...

— Вот, господине дьяче, вишь кака она привязучая!

— Робята, разведите их дале врозно, да в зад коленом, — говорит стрельцам дьяк и идет в толпу, громко выпуская из себя газы.

— Будь здоров, дьяче! — слышится голос.

Дьяк отвечает строго, чувствуя насмешку:

— Поди постов не блюдете? А я блюду, — с редьки это у меня по брюху ходит.

Он обошел ряды возов и, не видя того, с кого можно взять тамгу, исчез. Толпа шатающихся праздно прибывает. В толпе появился татарин. На худощавом, рябом лице горят зоркие глаза; татарин — в синей ермолке, в серой чалме, в желтом бархатном зипуне, в зеленых чедыгах с загнутыми носками, с мешком в руке.

— Куним солп, урус? Куним соль! — и трясет мешком.

Народ лезет к татарину, покупая, дивится, что дешево:

— Да где ты добыл, поганый, соль?

Татарин запускает в мешок большие руки, пригоршнями мерит соль, а берет за фунт грош...

— У нас на Казань нет бояр, нет Морозов, нет Плещеев, на Казань соль три пригоршни — грош... А был на Казань князь,

татарский князь, соль дорожил — народ не давал, рубили ему башка, соль дешев стал!..

— Православные, ино татарин правду сказывает!

— Кабы Плещееву завернуть голову, то соль была бы...

— Морозову...

— Морозову заедино!

К татарину протолкались сквозь толпу два человека в длинных суконах, в черных, похожих на скуфью, шапках:

— Пойдем-ка, поганый, с нами!

Татарин на всю площадь крикнул:

— Гей, люди московские! За добро и правду к вам меня псы берут.

— Пошто? Где псы?

— Бей псов боярских!

— Гони! Лу-у-пи сатану-у!

Один из псов быстро выдернул из-под полы суконна тулумбаз,[1] но татарин не дал ему ударить сполох, — пистолетом, спрятанным в длинном сборчатом рукаве, стукнул по голове пса, — черная шапка вдавилась в череп, пистец упал. Другой побежал, призывая стрельцов, но его схватили тут же и, свалив, забили до смерти сапогами. Синяя тюбетейка и повязка свалились с черных кудрей татарина...

Народ теснился на площадь. Ловили и избивали псов, — псы исчезли.

Кто-то закричал:

— Поганый ты, свой ли, все едино, — веди на бояр!

Смуглый, в черных кудрях, в татарской одежде крикнул на всю площадь:

— Народ! Гож ли я в атаманы?!

— Гож! гож!

— Пойдем, — веди-и!

— Веди! Будет им нас грабить!

— Имать Морозова-а!

— Молотчий, — веди-и!..

— К тюрьме-е! Колодников спустим.

— Бояр солить — идем!

---

[1] Род бубна с вогнутой внутрь чашечкой, обтянутой пузырем.

По Москве во всех больших церквах бьют сполошные колокола. Воет медный звон, будто тысячи медных глоток.

— Зашевелились попы-ы, на Фроловой башне звон!

— Небойсь! Стрельцы с нами-и, пущай фролят...

— Морозов усохутился, — сбежал!

В Кремле трещит прочное резное крыльцо боярина Морозова. Серой лавой лезет толпа с топорами, с кольем, с палками. Крепко запертую дверь выдавили плечами. В толпе изредка мелькают лица холопов Морозова.

В росписной, сумрачной прихожей, с окнами из цветной слюды, встретил грозную толпу седой дворецкий, в синем доломане, с протазаном [1] в руках.

— Куда, чернядь? Смерды, чего надо? — и размахивал неуклюжим оружием. Протазан задевал за стены, плохо ворочался в старых руках. Старик отчаянно закричал: — Боярыня! Матушка! Паспсь беды...

— Брось матушку, пой батюшку!

К старику подскочил крепкого вида ремесленник в сером фартуке, ударил по древку протазана коротким топором, и оружие, служащее для парадов, выпало у дворецкого из рук.

— Пе-ес!

Старик стоял у дверей в горницы, растопырив руки, мешал проходу. Тот же человек схватил старика поперек тела, выбежал с ним на крыльцо и сбросил вниз. Толпа хлынула в горницы, От тяжеловесного топота дрожал пол, скрипели половицы, раздался хряст дерева, стук топоров. Вырвали окна; резные рамы трещали под ногами, слюда рвалась, липла к сапогам.

— Узорочье — товарищи-и!

Разбили крышку ларя, окованного серебром, по там оказались кортели, кики, душегреи. Шихали в карманы, роясь в ларе, боярские волосники, унизанные жемчугом и лалами. [2]

— Во где наша соль!

Все из ларя выкидали на пол, ходили по атласу, а золотую парчу рвали на куски. Кичные очелья били о подоконники, выколачивая венисы и бирюзу.

---

[1] Доломан — кафтан; протазан — парадное оружие.

[2] Лал — яхонт.

— Солп, бра-а-таны!

Наткнулись на сундук с кафтанами, ферязями, — стали переодеваться: сбрасывали сукманы и сермяги, наряжались наскоро, с треском материи по швам, в ферязи и котыги. Сбрасывали с ног лапти и уляди, обувались в чедыги узорчатого сафьяна, а кому не лезли на ноги боярские сапоги, швыряли в окно:

— Гришке юродому гожи!

Одевшись в бархат, ходили в своих валеных шапках и по головам лишь имели сходство с прежними холопами и смердами. Одни переоделись, лезли к сундуку другие:

— Ай да парень! Одет боярином.

— Отаман, — в парчу его обрядить!

— Тут ему коц с аламом, с кружевом!

— Не одежет — чижол!

— Эй ты! Как тебя, отаман?

— Одейся!

— А ну, нет ли там турского кафтана?

— Эво — бери-и! На нпце колпак с прорехой, с запопой.

— Пускай, буду я, как из моря с зипуном...

Иные в толпе не переобувались, ходили в своих неуклюжих сапогах, — то были осторожные:

— Ежели бежать надо, так одежу кинуть, а сапоги свои...

Херувимы, писаные по золоту среди крестов, спиралей, голубых и красных цветов, неподвижно глядели на гостей, небывалых раньше в покоях царского свояка.

— Эй, други-и! Впица-ба!

— Соскучал за солью ходить, хо, хо, хо, бражник...

— Сыщем вино-о!

— Гляньте — птича!

— Диковина — лопочет по-людски!

— На кой ее пун! Не диво кабы сокол!

Иные обступили клетку тянутого серебра, совали в клюв зеленому попугаю заскорузлые пальцы:

— Долбит, трясогузая!

— Щипит!

— Бобку нашли, младени? Шибай на двор!

Выбросили клетку с птицей в окно. Коротко сгрудились перед тяжелой дубовой дверью с узорами из бронзы на филенках, нажали плечами, не поддается:

— Подай топоры!

Стук — и вылетели дубовые филенки.

— Тяни на себя-а!

Дверь сломана, — хлынули в горенку, мутно спявшую золотой парчой вплоть до сводчатого потолка. Окна завешаны. На вогнутых плафонах, с узорами синими и красными, фонари из мелких цветных стекол на бронзовых цепочках; в фонарях горят свечи. Под балдахином из желтого атласа кровать, на кровати — растрепанная и очень молодая женщина.

— Сестра царицы!

— На пуп нам ее, — тут девки есть!

На низких табуретах, обитых алым бархатом, в головах и ногах боярыни — две девицы, обе русые, в голубых сарафанах. Толпа смыла обеих. Скоро и буйно сорвала с девиц шелковые сарафаны, сбороздила заскорузлыми руками девичьи венцы с жемчугом, растрепала волосы. Больная боярыня с усилием поднялась над подушками и слабо крикнула:

— Не надо!

— Хо, хо-о! Не будь ты сестра царицы, мы б тя помяли...

— Пяль, робяты!

— На полу мякко!

— Чего ты? шибай им рубахи на голову!

— Жадной, обех загреб!

Девицы онемели от ужаса, стиснув зубы и закатив глаза, вертелись в грубых руках, падали, но их подхватывали. Тяжелый вошел в горенку, отбросил занавес окна, — летнее солнце хлынуло в сумрак. Раздался голос, слышный ранее на всю площадь:

— Зазвали в атаманы, — слышьте слово! Девок насилить или то работа? Сечь топорами — наша правда!

Послушались голоса. Девиц помятых, растрепанных кинули на кровать боярыни, как снопы соломы. Шибались обратно в другие покои, — срывали со стен многочисленные образа, разбивали киоты, сдирали серебряные ризы с лалами и жемчугом, доски образов кидали в окна.

Атаман остался в спальне. Тяжело ступая, шагнул к кровати. Больная боярыня, закрывшись до подбородка атласным одеялом, сидя на постели, дрожала:

— Слушай! Я тебе грозить не стану — скажи добром, где узорочье?

Морозова подняла голубые глаза и снова с дрожью зажмурилась:

— Отведи глаза, не гляди!

— Глаза?

Он шагнул еще ближе, почти вплотную, и слышал, как, забившись под одеяло, всхлипывали девицы. Одной рукой приподнял Морозову за подбородок, другой тяжело погладил по мокрым от недуга и страха волосам, но в голове его мелькнуло: могу убить?

— Не боярин... Огнем пытать не стану, — добром прошу...

Чуть слышно боярыня сказала:

— Подголовник... тут под подушками...

— Ино ладно!

Он выдернул тяжелый подголовник, отошел, стукнул, отвернувшись к окну, ящик с носок сапога и, выбрав в карманы драгоценности, пошел не оглядываясь, но приостановился, слыша за собой голос боярыни:

— Не убьют нас?

Ответил громко на слабый голос:

— Нынь же никого не будет в хоромах!

— Не спалят?

Сказал голосом, которому невольно верилось:

— Спи... не тронут!

За дверями спальни Морозова еще раз слышала его:

— Гей голутьба! вино пить — на двор.

Терем вздрогнул, — по лестнице покатилось тяжелое. Со двора в окна долетал отдаленный громкий раскат голосов, стучали топоры, потом страшно пронеслось в едином гуле:

— Вино-о-о!

Под землей, в обширном подземелье подвешены к сводчатому потолку на цепях сорокаведерные бочки с медами малиновыми, вишневыми, имбирными. Сотни рук поднялись с топорами, били в днища:

— Шапки снимай!.. Пьем...

— А я сапогом хочу.

— Хошь портками пей!

Долбились, прорубались дыры в донъях, из бочек забили липкие, душистые фонтаны. Пили, дышали тяжело, отплевывались, скороговоркой на радостях матерились. Иные садились на зем-

ляной пол. Кто-то, надрываясь, зычно кричал одно и то же, повторяя:

— Приторомко! Подай водку-у...

— Ставай, пей!

— Здынь, я немочен!

Липкие фонтаны из сотен бочек продолжали бить. На полу стало мокро, как в болоте; потом хмельное мокро́ поднялось выше.

— Шли за солью — в меду тонем!

Мокро́ было уже по колено.

— Бу-ух! Бу-ух!

— Энто пошто?

— Бочки с водкой лупят!

Опять голос хмельной и баснстый:

— Уторы не троньте-е! Днища бей, дни-и-ища!

— Пошто те днища-а?..

— Днища! Или брюхо намочите, а в глотку не попадет!

— Должно, товарищи, то бондарь, — бочку жаль?

— Бей! Хватит водки-и...

Черпали водку сапогами, сафьяновыми чедыгами и шапками.

— Пей, не вались!

— У-улю, тону, ро-обяты-ы!..

Хмельной, сырой и пронзительный воздух одурял без питья. Падали в липкое пойло и засыпали, булькая.

В пьяной могиле, как на перине, шутили:

— Пра-аво-славно-му самая сла-дка-я-а смерть в вине...

В подвале появились люди в серых длинных сукманах, в черных колпачках, похожих на поповские скуфьи.

— Робяты-ы! псцы зде...

— Бей сотону-у!

Ловили подозрительных и тут же кончали. Какой-то посадский по бедности носил сукман, шапку утопил, стоял на коленях по грудь в хмельном пойле, крестился, показывая крест на шее и руки грубые:

— Схо-о-ж, бей!

— Царева сотона вся с крестами!

Бродили по подвалу, падали, расправлялись топорами, но их расправа кончилась скоро: зеленым огнем запылала одна бочка сорокаведерная, потом другая, тоже с водкой, третья, четвертая,

и зеленое пожарище поползло по всему подвалу, делая лица людей зеленобледными:

— Исцы жгут?

— Лови псов!

— Спасай-сь, тащи ноги-и!

Вылезли на двор, но многие утонули и сгорели в подвале. Толпа живых была сильна и буйна. Нашли карету, окованную серебром, сорвали золоченые гербы немецкой чеканки.

— Морозову от царя дадено!

— Царь бояр дарит колымагами, а жалует нас столбами в поле!

— Козой да кнутьем на площади.

— Кру-у-шп!

Изрубили карету в куски. Беспокоясь, пошли из Кремля.

— Убыло нас.

— Посады зазвать надо!

Под горой у Москворецкого моста встретили новую толпу:

— На-а-шп зде!

Тут же под горой стояла кучка людей в куцых бархатных кафтанах, в черных шляпах с высокими тульями, при шпагах. На желтых сапогах длинные кривые шпоры. Кучка людей говорила на чужом языке, показывая то на толпу, то на кабаки, где трещали разбиваемые двери и звенела посуда.

— Die Leute sind barbarischer, als wie der Türk [1].

— Sclaven, aber hinter der Maske der Sclaven steckt immer der Räuber. [2]

— Schaut, schaut! [3]

— Ha, die wollen uns drohen! [4]

Сгрудившаяся толпа на Красной площади заревела:

— Робяты-ы, побьем кукуя!

— Царю жалятся, а сами живут за нас!

— За них не мало людей били кнутом!

— Меня за кукушу били!

— Меня тоже-е!

— Эй, топоры, зачинай!

---

[1] Эти люди больше варвары, чем турки.

[2] Рабы, но под личиной раба всегда укрывается разбойник.

[3] Смотрите, смотрите.

[4] Ого, да они грозят нам...

Грянул голос:

— Или я не отаман? Народ, немец не причинен твоей беде... Мститесь над боярами!

— Правда!

— Подай судью-у!

— Плещея беззаконного!

— Их, братаны, Гришка юродивой выметал, метлы ходил — давал, — «чисто мести по морозу Плящему».

— Чистова дьяка би-и-ть!

— С головой, урод горбатой!

СОЛЯНОЙ БУНТ

1

Набат над Москвой ширится, полыхают над старым городом красные облака; жестяные главы на многих церквах стали золотыми.

— Стрельцы тоже по нас!

— Их тоже жмали, — мстятся!

Нашли палача. Палач не посмел перечить народу.

— Ходил твой кнут по нас, — нынь пущай по боярам ходит!

Палач пошел в Кремль; за палачом толпа — кто потрезвее. Стрельцы — те пошли во хмелю.

— Подай Плеще-е-ва-а!

— Самого судить будем!

В деревянном дворце царя, видимо, решили судьбу царского любимца.

На обширном крыльце с золочеными перилами стоял материй, ширококостный молодой царь в голубом кабате с парамниками,[1] унизанными жемчугом. Близ царя — воевода Долгорукий, — в черной бороде проседь, из-под густых бровей глядят ястребиные, желтые глаза. Князь одет по-старинному в длиннополом широком плаще-коце, застегнутом золотой бляхой на правом плече, Сзади царя — кучка бояр.

Перед царем, кланяясь в землю часто и униженно, сверкая лысиной, ползал на коленях пузатый боярин с пухлым лицом и сивой бородой. Черная однорядка волочилась за ним, слезая с плеч.

---

[1] Кабат с парамниками — царская верхняя одежда с наплечниками.

— Государь! Государь! Служил ведь я тебе и родителю твоему — себя не жалел! Попомни услуги, — пошто даешь меня на поругание холопам? Гож я, гож еще! Тоже и буду служить псом верным, и службу где дашь, — туда отъеду, и какую хошь службу положи...

Царь отвернулся, молчал.

Сказал Долгорукий резко и громко:

— Вор ты, судья! За службу кара.

— Бью и тебе челом, князь Юрий!.. Молви за меня государю слово, — за душу мою постой, а я...

Круглые глаза князя глядели сурово на судью:

— Лазал перед государем с оговором, — пынь «молви»!

— Ой, князь Юрий! Пошто мне тебя хулить, ой, то ложь, князь!

— Подай сюда Плещея-а!

Долгорукий молодо и звонко сказал:

— Палача сюда!

Плещеев, подавленный, уткнув лицо в полу однорядки, плакал.

На крыльцо поднялся палач. Облапив, понес Плещеева вниз по ступеням, но обернулся, спросил:

— Провожатый дьяк — хто?

— Казни судью! Вина его ведома.

Долгорукий отошел в глубь крыльца.

— Бояре, родные мои, кровные, молю, молю, молю! — кричал Плещеев и, встав на ноги, упирался.

Стрельцы, помогая палачу, пинали Плещеева.

Царь и бояре видели, как волокли Плещеева. Царь плакал. Кто-то из бояр сказал:

— Допустим смерда к расправным делам, — не то увидим!

Бояре придвинулись к перилам, глядели, охали, а в это время на крыльцо по-кошачьи мягко вбежал человек в сером суконе, пал перед царем на колени, заговорил, кланяясь:

— Не осуди, государь! Дай молыть слово...

Царь попятился, но сказал:

— Говори!

— Не стрельцы мутят народ, государь, а пришлый детина, коего рода — не ведаю; приметины его — ширококост, лицо в шадринах малых, голос как медяный колокол!

— Уловите заводчика!

Царь отошел к дверям в сени. Человек в сукмане хотел незаметно юркнуть с крыльца, но его уценили за полу, из-под полы иска вывернулся и покатился вниз по ступеням тулумбаз (бубен). Старый боярин в синей котыге, с тростью в руке, держал иска за полу, шел с ним вниз и говорил:

— Уловите заводчика, справьте государю угодное... В кабаках водку огнем палите, — к водке бунтовщик липнет. Да примечайте которого...

— Наших, боярин, много посекли бунтовщики в погребах боярина Морозова...

— А за то и посекли, что дураки! Дураков и бить. Киньте сукманы, шапки смените, людишками посадскими да смердами оденьтесь.

Истец хотел итти, но боярин держал его. Старик вскинул волчьи глаза, прислушался к говору бояр и тихо заговорил:

— Ежели ты, холоп, еще раз полезешь на царские очи, то будешь бит батогами, язык тебе вырежут воровской! Твое есть сей день счастье, что палач поганил, по слову Юрия князя, крыльцо! Иди — ищи.

Не смея нагнуться поднять тулумбаз, истец быстро исчез.

— Государь выдал! — крикнул палач, ведя Плещеева.

Много рук подхватили палача и судью за воротами Кремля, а на площади заухало тысячей глоток:

— Наш теперя-а!

Толпа бросилась к палачу, на нем затрещала рубаха, свалилась шапка, тяжело придавили ногу. Палач толкнул от себя судью:

— Сгоришь с тобой!

Толпа подхватила судью: сверкнули топоры, застучали палки по голове Плещеева. Кровь судьи забрызгала в лицо бьющим.

— В смирной одеже!

— Сатана-а!

— Бархаты, вишь, дома-а!

Платье Плещеева в минуту расхватали, по площади волокли голое тело. На трупе, с безобразным подобием головы, болтались куски розовой шелковой рубахи, втоптанные в мясо ногами народа.

— А наши дьяка ухлябали!

— Пазарку Чистова сделали чистым!
— Тверская гори-и-т!
— Мост Неглинной гори-и-т!
— Большой кабак исцы зажгли!
— Туды, робяты-ы! Сколь добра сгибло-о.

2

В сумраке резной и ясный, как днем, стоял Василий Блаженный. Зеленели золотые главы Успенского собора. Кремлевская стена, вспоминая старину конца Бориса и польского погрома, вспыхивала, тускнела и вновь всплывала, ясная и мрачная.

Раздвинув набухшие, отливающие сизым облака, стояло прямое пламя над большим царевым кабаком.

Пестрая толпа с зелеными лицами лезла к огню. На людях тлели шапки, и, казалось, не народ, а бояре выкатывают из пламени дымные бочки с водкой. Народ, в бархатных котыгах и ферязях, бил в донья бочек топорами.

— С огня, братаны!
— Ней, товарыщи!
— Сгорит Москва!
— Али пить станет негде?
— Гори она, боярская сугрева!
— Слушь, браты, сказывают, царь залез в смирную одежу-у?
— Так ли еще посолим!

Пили, как в подвалах Морозова: шапками и сапогами. Дерево на мостовой, политое водкой, загорелось. Горела и сама земля. На дымной земле валялись пьяные. Свое и боярское платье горело на людях, — люди ворочались, вскакивали, бежали и падали, дымясь, иные корчились и бормотали. По ногам и головам лежащих прошел кабацкий завсегдатай поп-расстрига, плясавший по кабакам в рваном подряснике. С кем-то другим, таким же пьяным, они тащили обезображенный труп Плещеева. Расстрига, мотаясь, встал на головни, на нем затлелась рваная запояска, задымились подолы рясы...

— Спущай! — крикнул он и бросил, раскачав, прямо в огонь тело судьи.

— Штоб ему еще раз сдохнуть! — и запел басом:

Человек лихой...
Дьявол душу упокой,
А-а-ллилуия!

— Горишь, отец!

— Был отец, ныне голец!

В стороне, белея кафтаном, в бархатном каптуре стоял широкоплечий казак. Правую руку держал под полой, там была сабля. Он думал:

— Эх, сколь народу свалилось, а бояр? Мал чет... — и, повернувшись, прибавил вслух: — Ну, да еще впереди все!

Широко шагая, шел дымными улицами, — ело глаза, пахло горелым мясом. Народ по улицам лежал, как большие головни. Атаман тоже изрядно выпил, но поступь его была тверда. Только душе хотелось простора, и рука сжимала рукоять сабли.

Он был недалеко от знакомого тына, уже ступил на старое пожарище и тут только заметил, что за ним идут три человека стороной:

— Эти не хмельные. Исцы!

Один из троих подошел к атаману. На нем чернела валеная шапка, серел фартук торговца:

— Эй, слушь-ко, боярской сын!

Атаман сдвинул каптур на затылок, повел глазами:

— Несветло, а зрак твой видной, — не ворочай глазом, я человек простой!

— Чего тебе?

— Ты зряще купил экой каптур — он морозовской и кафтан турской бога...

— Дьявол!..

Атаман выдернул из-под полы пистолет, щелкнул курок, но кремень дал осечку. Подбежали еще двое, — атаман шагнул быстро к первому, ударил торговца по голове дулом. Парень осел, не охнув.

— А вы? — крикнул он грозно.

Двое бежали прочь.

Атаман гнался долго за двумя и скрипел зубами, но бегали исцы скоро. Он проводил их глазами за Москворецкий мост, вернулся к убитому, поднял его, сунул в яму, в которой когда-то выгорел столб.

Сам не зная зачем, навалил на яму два обгорелых бревна:

— Бревна не на месте, а тут чорту крест!

Знакомым путем прошел через пожарище и скрылся в кустах обгорелой калины.

3

За столом на широких ладонях лежит курчавая голова.

Ириньица, в шелковом летнике, в кике бисерной по аксамитному полю, разливает в большие чапи мед.

— А и что-то закручинился, голубь-голубой? Пей вот!

Атаман поднял голову. Взгляд потускнел, на худощавом лице — усталость.

— Жонка, не зови меня голубем, — сарынь я.

— Ой, то слово чужое! А что такое сарынь, милой?

— Сарынь — слово басурманское — сокол, а по-нашему, по-казацки — коршун!

— Уж лучше я буду звать тебя соколом. Не кручинься, пей, вот так.

— Ух, много пил, — а и крепкий твой мед! не кручинюсь... Плечи и руки томятся по делу, — много его на Москве, да во Пскове наши играть зачинают... Меня же тянет на Дон.

— Жонка, видно, ждет там? И зачем ты, сокол, такой сладкой уродился?

— Думаешь... приласкаю, а рука за пистоль тянется—убить... боярыню нынь приласкал.

Глаза женщины загорелись злым:

— Змею ласкать? Змея, сокол, завсегда с жигалом!

Атаман, выпивая, обмолвился раздумчиво:

— Есть у меня чутье, как у зверя, — и знаю я... убить или простить... тут надо было так — простить...

— Пей! Я нацедила... Вишь ты какой!.. Погоди-ка, чокнемся.

Она потянулась к нему и, чокаясь, сверкнула накапками вышитых жемчугом рукавов, обхватила его за шею, целуясь:

— Не висни, жонка!

— Аль уж не любишь?

— Не лежит душа к любови... другое вижу... вижу далеко...

— А я ничего не вижу, люблю тебя, как молонью. Страшной сегодня Москву видела, — ой, страшная была Москва! И что ты с собой за заветное носишь, что народ за тобой так липнет? Готов

был народ все изломить, и бога и царя кинул. А я бы уж, если б воля была, приковала сокола к моей кроватке золотой цепью, перлами из жемчугов опутала бы кудри и не выпустила, не отдала никакой чужой красе, выпила бы твою кровь и тут померла с тобой какой хошь лихой смертью.

— Кинь! То пустое...

— Не пустое, сокол! Голова мутится, сердце горит, — так бы и пошла да предала себя: «Нате, волки, ешьте! Помереть хочу. Нет мне жисти, — люблю!»

— Забудь все, — пей, дьявол!

— Гуляют да пьют, а бояре тут! — хрипел голос из распахнутой двери. На убогих ногах горбун, звеня железом, вполз в горенку.

Рука упала на саблю, атаман вскочил на ноги.

— Эй, старик! где вороги?

— То, гостюшко, кощуню я! Пустое говорю, — нет ни бояр, ни исцов, а вот на торгу висит грамота, и на ней списаны твои приметы, и грамоту чтут люди всякие...

— Ой, дедко, скоро как и грамота?!

— Сам чел, и люди чли, и пьян и тверез, всяк у той грамоты стоял. А платится за твою голову, гостюшко, цена не малая: три ста рублев московскими, да тулуп рысей, да шапка тому, кто тебя уловит...

— Мекал я, — тут меня дошли?

— Пей, мой боженька!

— Не бог я и богом быть не хочу... Ходил по монастырям, на народ глядел... веру пытал... Верю ли я, не знаю того... Ведаю одно — народ молит бога с молитвами, слезами да свечами, а кругом — виселицы, дыба и кнут... Богач жиреет, а народ из последних сил тянет свой оброк... от воеводы по лесам бежит. Палачам за поноровку, чтоб мене били, последние гроши дает, а у кого нет, чем купить палача, ино бьют до костей... Пытал я бога искать. да, должно, не востер в книгочеях. Вот брат мой старшой, Иван Разин, чел книги хорошо и все клянет... Не бога искать время, искать надо, как изломить к народу злобу боярскую.

— Нынь, милой, не одних исцов, пасись всякого, — имать будут тебя все... Срежь-ко свои кудри, оставь их бедной Ирихе... Откажи ей кудерышки, — ведь унесешь любовь, а я кудри буду

под подушкой хоронить, слезами поливать и стану хоть во снах зреть ту путину дальную, где летает мой сокол желанной... Слушь? Вот что я удумала...

— Говори, жонка, — дрема долит!

— Обряжу я тебя в купецкую однорядку, брови подведу рыжим, усы и бороду подвешу... сама купчихой одежусь, и пойдем мы с тобой через Москву до первых ямов да наймем лошадей — я-то оборочусь сюда, а ты полетай в родиму сторону.

— Спать, жонка! А там на постели додумаю, быть ли мне в купчину ряженым или на саблю надею скласть, — спать!..

— Ой, на перинушке дума не та! И не дам я тебе думать иных дум, сокол, постельные думы — особые.

— Пей, дедо, с нами!

Горбатый старик, примостившись в углу под образами на лавке, приклеив около книги старой, большой и желтой, две восковых свечи, читал.

— Пей, старой!

— Сегодня, гостюшко, я не пью... сегодня вкушаю иной мед — мудрых речения...

— Бога ищешь? Кинь его к лиходельной матери! ха, ха, ха!

— Ну его! Снеси меня, Степа... снеси на постель, и спать...

Свечи погашены. Сумрачно в горнице. Сидит в углу старик, дрожат губы, спрятанные в жидкой бороде, водит черным пальцем по рукописным строкам книги. На божнице у спасова лика черного, в белом серебряном венце, горят три восковые свечи. Спит атаман молодой, широко раскинув богатырские руки, иногда свистит и бредит. К его лицу склонилась женщина, лика ее, мутно светя жемчугами и дорогими каменьями, лежит на полу у кровати.

Женщина упорно глядит, иногда водит себя рукой по глазам. Вот придвинулась, присосалась к щеке спящего, он тревожно пошевелил головой, не открывая глаз; она быстро сунулась растрепанными волосами в подушки. Дрожит рубаха на ее спине, колыхаются тихие всхлипыванья.

Переворачивая тяжелый лист книги, горбун чуть слышно сказал:

— Ириньица, не полоши себя, перестань зреть лик, очи упустят зримое, — сердце упомнит...

Она шопотом заговорила:

— И так-то я, дедко, тоскую, что мед хмелен, а хмель не берет меня...

Горбун, перевернув, разгладил лист книги.

ВОЙСКОВАЯ СТАРШИНА И ГУЛЕБЩИКИ

1

Батько атаман на крыльце. Распахнут куптуш. Смуглая рука лежит на красной широкой запояске. Из-под запояски поблескивает ручкой серебряный турский пистоль. Лицо атамана в шрамах, густые усы опущены, под бараньей шапкой не видно глаз, а когда атаман поводит головой, то в правом ухе блестит серебряная серьга с изумрудом.

— Ге, ге, козаки! Кто из вас силу возьмет, тому чара водки, другая-меду.

— Ого, батько!

Недалеко от широкого крыльца атамана, ухватясь за кушаки, борются два казака. Под ногами дюжих парней подымается пыль; пыль — как дым при луне. Сабли казаков брошены, втоптаны в песок, лишь медные ручки сабель тускло сверкают, когда борцы их топчут ногами. Лица казаков вздулись от натуги, трещат кости, далеко кругом пахнет потом.

Иные из казаков обступили борцов, лица при луне бледные, бородатые, усатые и молодые чмокают, ухают и разбойно посвистывают:

— У, щоб тоби свыня зъила!

— Панько, держись!

— Лух, не бувай глух!

На синем небе — серая туча в темных складках облаков; из-за тучи, словно алам на княжем корзне [1] — луна... За белыми хатами-пристройками атаманова двора мутно-серый в лунном отсвете высокий плетень.

От рослых фигур бродят, мотаются по земле черные тени, кривляются, но борцы, подкинув друг друга, крепко стоят на ногах.

По двору к крыльцу атамана идут три казака — старый, седой, и два его сына. Обступившие борцов казаки кричат:

— Бувай здрав, дид Тимоша-а!

---

[1] Алам — бляха; корзно — плащ.

— Эге, здрав ли, дидо?

— Хожу, детки! Здрав...

— Живи сто лет!

— Эге, боротьба у вас?

— Да вот Панько с Лухом не мало ходят.

— Стенько! Покидай их... — старик оборачивается к сыну.

— Степана твоего знаем, не боремся!

— Эге, трусите, хлопцы!

Атаман встретил гостей:

— Бувай здрав, козаче-родня, и хрестник тут? Без отписки круга на богомолье утек, то неладно, козак!

— Поладим, хрестный! Подарю тебя...

Атаман поцеловал крестника в щеку, похлопал по спине:

— Идешь, козак, молиться, а лезешь в кабак напиться?..

— Хмельное, хрестный, пить люблю!

— Ведаю... Хорошо пил, что про твое похмелье вести из Москвы дошли...

— За мою голову Москва рубли сулила... не уловила, — сюда, вишь, путь наладили.

— Нашли путь, хрестник! Путь к нам с Москвы старой..

На двор прибывали казаки с темными лицами, в шрамах, бородатые, в грубых жупанах из воловьей шерсти.

— Эй, батько, давай коли сидеть по делу.

— Давай, отаманы молодцы!

Наласкали скамей, чурбанов, досок, — расселись. Молодежь встала поодаль. Борцы подобрали с земли шапки и сабли, ушли.

Атаман начал:

— Открываю круг! Я, браты матерые козаки, хочу кое-что поведать вам ищое вы и сами про себя знаете, но то, яное, надо обсудить по честному!

Задымили трубки.

— Тебя и слушать, Корней Яковлевич!

— Говори!

— По-честному сказывай!

— Скажу, — слушайте: зазвал я вас, браты отаманы, есаулы и матерые козаки, на малый круг, Москву познать и вольность старую, козацкую оберечь. Без письменности нынь будем говорить...

Атаман сел на верхнюю ступеньку крыльца. Сел и старик со

старшим сыном; младший подросток стоял, прислонясь к перилам.

Атаман, блеснув серьгой, покосился, сказал младшему Разину:

— Фрол! Сойди-ка к хлопцам, то с нами сядешь, старых обидишь, а нужа будет, — за отцом зайдешь.

Младший сын старика сошел с крыльца. Заговорил старик:

— Ты, родня-отаман, ведай: Тимофей Разя не любит из вел ов Москвы и детям не велит любить... Москва давно хочет склевать козацкую вольность. Москва посадила воевод по всей земле русской, одно лишь на вольном Дону мало сидят воеводы... На вольном Дону козак от поборов боярских не бежит в леса, а идет в леса доброй волей в «гулебщики» — зверя бить, рыбу ловить да гостем гостит за ясырем по морям... дуванит на Дону свою добычу по совести...

— Ото правда, дид! — отозвались снизу.

Атаману показалось, что дверь в сени за его спиной слегка приоткрылась, он оглянулся, поправил шапку и заговорил:

— Таких слов, дед Тимофей, не надо сказывать тогда, когда от Москвы посланцы живут у нас, — это вольному казачеству покор и поруха. Москва имает каждое наше слово, и уши у ней далеко слышат...

— Эй, отец отаман, за то ты так говоришь, что — чует мое старое сердце — приклонен много царю с боярами... ой, дуже приклонен!

Под кудрями барапьей шапки вспыхнули невидимые до того глаза атамана, но он выколотил о крыльцо трубку, набил ее, закурил от кресала и тогда заговорил спокойно:

— Откуда ты проведал, старый козак, что Корней падок на московские порядки? Вы, матерые козаки, судите по совести, холоп я или козак?..

— Козак, батько Корнило!

— Козак матерой в боях вырос!

— Еще, отаманы браты, сбил меня Тимофей с прямого слова. Хочу я довести кругу, что посланец боярин от Москвы не пустой пришел, пришел он просить суда над Степаном Разиным. Чем виноват мой хрестник, пускай кругу поведает сам.

Молодой казак встал:

— Или мне, батько хрестный, и вы, матерые низовики, место не в кругу козацком, а на верхнем Дону?

Атаман, покуривая, процедил:

— Пошто встал, хрестник, и ране времени когти востришь? Сиди, — свои мы тут, без письма судим.

— Пускай кругу обскажет козак, что на Москве было!..

— Говори-ка, Степько.

— Москва, матерые козаки отаманы, зажала народ! Куды ни глянь—дыба, кнут; народу соли нет, бояре под себя соль взяли...

— Ото што-о...

— Глянул на торгу — шумит народ. «Веди на бояр, — соль добудем!» Судите по совести, зовут козака обнищенные, можно ли ему не итти? Пошли, убили, царь того боярина сам выдал...

— Чего еще царь выдал!

— Дьяка убили — вор был корыстной, ну что — хлеб режут, крохи сыплются, — пограбили царевых ближних... Бояре грабят, пошто и народу не пограбить бояр?.. Мстился народ, а утром глянул: висит на торгу бумага — «имать отамана»; чту— мои приметы. Угнал я на Дон, а на Дону — сыск от бояр... Да и мало ли наших козаков Москва замурдовала!

— Ой, не мало, хлопец!

— Не выдаем своих!

— Гуляй, Степько! На то ты козак...

— Отписать Москве: «поучили-де его своим судом».

— А ты, хрестник, берегись Москвы! Потому и дьяков не позвал в круг я...

— Не робок, пускай ловят!

— Еще скажу я вам, матерые козаки, в верхних городках много село беглых с Москвы; люд все более пахотной, и люд тот землю прибирает. Годится ли такое?

— Оно верно, Корней! Не годится козаку землю пахать...

— Пущай украинцы пашут!

— За посошным людом идут воеводы!

— За пашней на Дон потекут чужие порядки, у Московии руки загребущие!

— Оно так, браты отаманы, матерые козаки, не принять бы нам беглых людей — не борясь с Москвой, себя оборонить!

— Эй, Корнило, отец, как же обнищенных не примешь?

— Как закроешь им спротскую дорогу?

— Не согласны, браты?

— Не согласны!

— А это Москву на нас распаляет!

— Вот еще, Корней, слушь! Москва попов шлет нам, и попы — убогие старцы. Убогих своих много...

— Нам московского бога не надо! В Москве, браты козаки, все кресты да церквы, — богов много, правды нет!

Ата́ман перебил Разина:

— Ты, хрестник, бога не тронь! Бог один, что у Москвы, что у нас. Москва ближе нам, не Литва она, не татаре...

— Люты ляхи нам, матерые козаки, лют турчин, но Москва не менее люта!..

— Не позабувайте, браты отаманы, что Москва шлет жалованье, шлет хлеб за то, что чиним помешку турку и татарве.. Мой хрестник, Стенько, млад, он не ведает, что исстари от Москвы на нас идет зелье и свинец, а ныне и народом надо просить помочь: турчин загородил устье Дона, завязил железными цепями, выше Азова поставил кумфарепный город с башнями, оттого нет козаку хода в море!

— Добро, батько! Пущай Москва помочь даст зельем и народом.

— Народ московский не дюж на военное дело!

— А слабы свои, то немчинов пущай шлет!

— Немчин худо идет в рейтары, в козаки не гож, в стрельцы итти не думает!.. Немчин на команду свычен, — у нас же свои отаманы есть.

— Есть отаманы!

— Еще, вольное козачество, слышьте старого козака Разю!

— Слушаем, дид, сказывай.

— Прошу у круга отписку на себя да на сына Степана, хочу итти с ним в Соловки к Зосиме-Савватию, раны целить.

— Ото дило, дид!

— Раны меня изъедают, и за старшего Ивана, что к Москве в отаманы отозван воевать с поляками, свечу поставить, — поет сердце, сколь годов не вижу сына... —

— Тебе отписку дадим, а Степану не надоть... Он и без отписки ходит!

— Я благодарствую кругу!

— Пысари есть?

— Печать батько Корней пристукнет!

— Я ж много благодарствую вам!

— Еще что есть судить?

— Будем еще мало, отаманы молодцы! Так хрестника моего Степана Москве не оказывать?

— Не оказывать!

— Стенько с глуздом![1] Недаром один от молодежи он в кругу...

— То правда, браты! Еще спрос: с Москвы на Дон не закрывать сиротскую дорогу?..

— Не закрывать!

— Пущай от воевод народ спасается!

— Патриарх тоже лих! И от патриарха...

— Помнить надо, отаманы молодцы, что на Дону хлеба нет, а пришлые с семьями есть хотят!

— По Волге патриарши насады с хлебом ходят!

— Нестари хлебом с Волги живы, да рыба есть.

— С Украины — Запорожья!

— Оно отаман сказал правду, — думать надо, как с хлебом?..

— Додумаем, когда гулебщики вернутся да с ясырем с моря; большой круг соберем!

— Нынче думать надо-о!

Круг шумел, спорил. Атаман знал, что бросил искру о хлебе, что искра эта долго будет тлеть. Он курил и молча глядел на головы и шапки казаков. Обойдя шумевший круг, во двор атамана, пробираясь к крыльцу, вошла нарядная девка с крупной фигурой и детским лицом, в красной шапочке, украшенной узорами жемчугов. Под шапочкой русые косы, завитые и укладенные рядами. Степан Разин встал на ноги, соскочил с крыльца, поймал девку за большие руки, повернул в сторону, негромко, торопливо спросил:

— Олена, ты зачем?

— К отаману...

Казак, не выпуская загорелых рук девки, глядел ей в глаза и ничего не мог прочесть в них, кроме каприза.

— Ой, Стенько! Не жми рук.

— Забыла, что наказывал я?

— Ж не тебя ли ждать? По свету везде бродишь, девок, поди, лапаешь, а я — сиди и не пляши.

---

[1] Разумом (украинск.)

Она подкинула ногой в сафьянном желтом сапоге, на нем зазвенели шарики-колокольчики.

— Хрестный дарил сапоги?

— Не ты, Стенько, дарил!

— Жди, подарки есть.

— А нет, ждать не хочу!

— Не ладно, Олена! К старому лезешь. Женюсь, — бить буду.

— Бей потом — теперь не твоя!

Зажимая трубку в кулаке, атаман поднялся во весь рост и крикнул:

— Гей, дивчина, и ты, козак, — кругу мешаете...

— Прости, батько, я хотела к тебе

— Гости, пошлю за тобой, Олена, а ныне у нас будет сговор и пир. Пошлю, рад тебе!

— Я приду, Корнило Яковлевич!

— Прошу и жалую, пошлю, жди...

Девка быстро исчезла. Степан поднялся на крыльцо. Атаман сказал тихо, — слышно было только Разину:

— Хрестник, не лезь батьке под ноги... Тяжел я, сомну.

В голосе атамана под шуткой слышалась злоба, и, повысив голос, Корней крикнул:

— Отаманы молодцы! Вас, есуалы и матерые козаки, прошу в светлицу — наше немудрое яство отведать.

— Добро, батько отаман!

Заскрипело дерево крыльца, — круг вошел в дом.

2

В хате атамана на дубовых полках ряд свечей в серебряных подсвечниках. На столе тоже горят свечи, стол поставлен на сотню человек, покрыт белыми, с синей выбойкой цветов, скатертями. На столе кувшины с водкой, ендовы с фряжским вином, пивом и медом. Блюда жареных гусей, куски кабана и рыба: чебаки,[1] шамайки жареные. На больших серебряных подносах пряники, коврижки, куски мака, густо обсыпанного сахаром. Пониже полок белые стены в коврах. На персидских и турских

---

[1] Фряжским — французским; чебаки — лещи.

коврах ятаганы с ручками из «рыбьей зубы», сабли, пистоли кремневые, серебряные и тяжелые, ржавые, те, с которыми когда-то атаман Корней являлся к берегам Анатолии да ходил бурными ночами «в охотники» мимо Азова по «гирлам» в море за ясырем и зипуном. По углам пудовые пищали с золочеными курками-колесами, из колес пищалей висят обожженные фитили. Тут же в углу на длинной изукрашенной рукоятке — атаманский чекан с обушком и булава.

Гости обступили стол, но не садились. Хозяин, сверкнув серьгой в ухе, сказал:

— Прошу, не бояре мы, а вольные отаманы — на земле брюхом валялись, у огней боевых сидели — кто куда сел, тут ему и место!

Сам ушел в другую половину, завешенную ковром, — вскоре вернулся в атласном красном кафтане, на кафтане с серебряными шариками-пуговицами петли, кисти и петлицы из тянутого серебра. Поседевшие усы висели попрежнему вниз, но были расчесаны и пушисты. К столу атаман вышел без шапки, голова по-запорожски обрита, на голове черная с проседью коса. Он сел на скамью в конце стола, поднял волосатую руку с жуковиной: золотым перстнем на большом пальце, — на перстне именная печать, — крикнул молодо и задорно:

— Пьем, отаманы, за белого царя!

— Пьем, пьем, батько!

Зазвенели чаши, иные, роняя скамьи, потянулись чокаться. Держа по своему обычаю в левой руке чашу с медом, Корней Яковлев протягивал ее каждому, кто подходил позвенеть с ним. Многие целовали атамана в щеку, украшенную шрамами.

Выпивая, гости раздирали руками мясо. Сам хозяин, засучив длинные рукава московского кафтана, брал руками куски кабаньего мяса, глотал и наливал ближним гостям, что попало под руку. Около стола бегали два казачка-мальчика, наполняли чаши гостей, часто от непосильной работы разливая вино.

— Лей, козаченьки! Богат Корней отаман!

— Богат, батько!

— Не один разбойной глаз играет на его черкасском жилье!

— Дальные, наливай сами! — кричал хозяин.

— Не скупимся, батько!

Слышалось чавканье ртов, несся запах мяса, иногда пота,

едкий дым табаку — многие курили. Дым и пар от многих голов подымались к высокому курному потолку.

— И еще пьем здоровье белого царя!

— Пьем, батько!

Когда хозяин кричал и пил за белого царя, не подымал чаши старый казак Тимофей Разя и сын его Степан тоже. После слов хозяина «и еще пьем» старик закричал. Его слабый крик, заглушенный звоном чаш, чавканьем и стуком о сапоги трубок, был едва слышен, но кто услыхал, тот притих и сказал о том соседу.

Старик заговорил:

— Ой, козаче! Слушьте меня, отаманы.

— Сказывай, дид!

— Слышим!..

— А-а, ну!

— О горе нашем козацком сказывать буду!.. Было, детки, то в Азове... На Покров, полуживые от осады, мы слушали грамоту белому царю, — пади он под копыто коню! — хрест ему целовали да друг с другом прощались и смерть познать приготовились. В утро мокрое через силу по рвам ползли, глездили по насыпям, а дошли — в турском лагере пусто. В уторопь бежали, настигли турчина у моря у кораблей, в припор рушницы побили много, взяли салтанское большое знамя и колько, не упомню, малых знамен...

— Бредит козак! То давно минуло.

— Ты не делай мне помешки, Корней отец!

— Ото, козак древний, говори!

— Вот, детки, тогда и позвалось «великое войско донское». Знатная станица пошла в Москву от Дона — двадцать четыре козака с есаулом, но скоро Москва забыла нашу кровь, наши падчие головы и тягости нашего сиденья в Азове... Указала сдать город турчину, нам было сказано: «Воротись по своим куреням, кому куда пригодно!» Ото, браты козаки, — царь белой! Не пьет за него Тимофей Разя-а!

— Не пьет за царя старый козак, и мы не будем пить!

Старики говорили, слабым голосом кричал Разя:

— Что добыли саблей, не отдадим даром!

— И мы не отдадим, козак!

— Батько-о! Где гость от Москвы?

— Путь велик, посол древний опочивает.

Дверь в другую половину светлицы атаманского дома завешена широким ковром-вышивкой, подаренным Москвой, на ковре вышит страшный суд. По черному полю зеленые черти грудятся над котлом с грешниками. Котел желтый, пламя шито красным шелком, лица грешников — синим. Справа — светло-голубые праведники, слева, в стороне, кучка скрюченных грешников, шитых серым. Картина зашевелилась, откинулась. Степенно и медленно, не склоняя головы, из другой половины к пирующим вышел седой боярин с желтым лицом, тощий и сухой, в парчевом, золотом и узорчатом кафтане, отороченном по подолу соболем. Ступая мягко сафьяновыми сапогами, подошел к столу, сказал тихо:

— Атаманам и всему великому войску всей реки великий государь всея Руси, Алексей Михайлович, шлет свое благоволение государское...

В старике боярине все было мертво, только волчьи глаза глядели из складок морщинистого лица зорко — не по годам.

Хозяин подвинулся на скамье, крытой ковром. Гость истово перекрестился в угол и степенно сел.

Кто-то крикнул:

— Слушь-ко, боярин! Сказывают, царь у боярина Морозова в кулак зажат?

— Вино в тебе, казак, блудит! то ложь, — ответил боярин и оглянулся на дверь, завешенную картиной-ковром: оттуда вышел мальчик-татарчонок в пестром халате; на золотом подносе, украшенном резьбой и финифтью (эмалью), вынес серебряный, острогорлый кавказский кувшин. Татарчонок бойко поставил все это перед боярином и исчез. Не подымая глаз, боярин сказал:

— Кто стоит за правду, того ренским употчеваю...

— А ну, боярин, всех потчуй!

— Того, кто мне люб, атаманы молодцы!

Гости шумели, кричали бандуриста. Кто-то колотил тяжелым кулаком в стол и пел плясовую:

Ой, кумушка, ой, голубушка,
Свари мине чебака,
Чтобы юшка была-а...

Иные, облокотясь тяжелыми локтями на стол, курили. Хозяин кричал дежурных по дому казаков, приказывал:

— Браги, водки и меду, хлопцы!

— Ото, батько! Живой не приберешь ноги...

Московский гость обратился тихо и ласково к Тимофею Разе:

— То, старичок козаче, правду ты молвил про Москву— много обиды от Москвы на душе старых козаков... Много крови пролили они с турчином в оно время и все без проку, —пошто было Азов отдавать, когда козаки город взяли, отстояли славу свою на веки-веков?

— То правда, боярин!

— А я о чем же говорю? И мир тот, по которому Азов отошел к турчину, все едино был рушен, вновь басурману заналобилось чинить поменку, ныне-таки есть указанье — повременить...

— Да вот и чиним, а в море ходу нет!..

— Азов — город надобный белому царю. За обиды, за старые раны и тяготы, ныне забытые, выпьем-ка винца, — я от души чествую и зову тебя на мир с царем!

— С царем по гроб не мирюсь! Пью же с тобой, боярин, за разумную речь.

— Пей во здравие, в сладость душе...

Боярин налил из кувшина чару душистого вина. Старый казак разом проглотил ее и крикнул:

— За здравие твое, боярин- ость! Э-ох, вино по жилам идет и сладость в меру, — налей еще!

— И еще доброму казаку можно.

Желтая, как старый пергамент, рука потянулась к кувшину, но на боярина уперлись острые глаза, — в воздухе сверкнуло серебро. облив вином ближних казаков, кувшин ударился в стену, покатился по полу. Вывернулся татарчонок, схватил кувшин и исчез. Гости, утираясь, шутили:

— Лей вино-о!

— В крови да вине козак век живет!

Степан схватил старика за плечо:

— Отец, пасись Москвы, от нее не пей.

— Стенько, нешто ты с глузда свихнулся? Ой, вино-то какое доброе!..

Боярин неторопливо перевёл на молодого Разина волчьи глаза, беззвучно засмеялся. показывая редкие желтые зубы.

— Ты, молотчий, по Москве шарпал, зато опоздился — мы с отцом твоим ныне за мир выпили...

— Ты пил, отец?..

— И еще бы выпил! Я, Стенько, ныне спать... спать — и доброе ж вино... ну, спать!

Сын помог отцу выбраться из-за стола. Лежа на крепком плече сына, старый Разя, едва двигая одеревяневшими ногами, ушел из атаманского дома. На крыльце старика подхватил младший сын, а Степан вернулся к гостям. Гости шумно разговаривали. Степан Разин прошел в другую половину атаманского дома. Когда его плотная фигура пролезла за ковер, боярин вскинул опущенные глаза и тихо спросил атамана:

— Познал ли, Корнеюшко, казака того, что Москву вздыбил?

От вина лицо атамана бледно, только концы ушей налились кровью. Особенно резко в красном ухе белела серебряная серьга. Помолчав и обведя глазами гостей, атаман ответил:

— Не ведаю такого... поищем, боярин!

— Я сам ищу и мекаю — тут он, государев супостат... приметы мои не облыжны: лицо малость коряво... рост, голос... У нас, родной, Москва из веков тем взяла, что ежели кто ей очи пал, оказал вид свой, тот и на сердце лежит. Тут ему хоть в землю вройся — не уйти... такого Москва сыщет...

С ушей на лицо атамана пошла краска. Суровое лицо в шрамах стало упрямым и грозным. Зажимая волосатой рукой тяжелую чашу, он стукнул ею по столу, сказал:

— На Дону, боярин, мало сыскать, — надо взять, а ненароком возьмешь, да и сам в воду с головой сядешь!

— Эй, Корнеюшко, и то все ведаю... Но ежели тебе боярский чин по душе, а царская шуба по плечу, то Москве поможешь взять того, от кого великая поруха быть может — боярству, да и Дону вольному не малая беда...

— Подумаю, боярин, и не укроюсь, — шуба и честь боярская мне по душе!

— Вот и мекай, Корнеюшко, как нам лучше да ближе орудовать...

Атаман неожиданно встал за столом. Зычно, немного пьяно заговорил:

— Гой, атаманы, есаулы молодцы!

— Батько, слушь! Слышим, батько-о!

— Голутьбу, отаманы, приказуем держать крепко! Приказую вам открыть очи на то, что с пришлыми по сиротской дороге стрельцами, холопями и мужиками наша голутьба нижних и верхних городов сговор ведет... И ныне та година, когда царь мужиков и холопей присвоил накрепко к господину, — много их побежит к нам, промышляйте о хлебе,-еще сказываю я!

— Не лей, Корнило, на хмельные головы приказов!

— Лей вино, батько-о!

Переменив голос на более мягкий, атаман махнул рукой и, бросив зазвеневшую чашу на пол, крикнул:

— Ге, гей, дивчата!

Видимо, знали обычай атамана, ждали его крика, — в сени хаты с крыльца побежали резвые ноги, горница наполнилась молодыми казаками и девками в пестрых нарядах. Появился музыкант с домрой и бандурист седой, старый запорожец. Атаман вышел из-за стола вместе с боярином. Крепко выпивший Корней Яковлев не шатался, только поступь его стала очень тяжелой. Пьяная казацкая старшина не тронулась с мест, даже не оглянулась. Круг ел и пил, как будто бы в горнице кроме них никого не было.

— Эге, плясавки!

Атаман сорвал с двери московский подарок, кинул с размаха в угол, открыл другую половину — пришлые затопали туда. Бандурист, в запорожской выцветшей одежде, красных штанах и синей куртке, сел на пол, согнув по-турецки ноги, зачастил плясовую. Домрачей в рыжем московском кафтане стоя вторил бандуристу и припевал, топая ногой:

Ах ты, домра, ты, домрушка!
А жена моя Домнушка
Пироги, блины намазывала,
Стару мужу не показывала!
То лишь Васеньке ласковому,
Шатуну, женам угодливому,
Ясаулу разбойничку —
Человеков убойничку.

— Ото московско игрыще! Свари мине чебака-а! А пехай ее чертяка зъист!

Музыкант продолжал:

Я бы взял тебя, Васенька,
Постегал бы тя плеточкой,
Потоптал бы подметочкой.
Вишь, боюсь упокойным стать,
Не случится с женой поспать.

Молодежь плясала. Позванивая колокольчиками на сапогах, плавала лебедем Олена в белой рубахе. Лицо ее не покраснело, как у прочих, но покрылось бледностью, оттого на бледном лице полузакрытые, искристые от наслаждения пляской, выделялись темные глаза и черные плотно сошедшиеся брови.

— Эх, Олена, дивчина! Краше твоей пляски нет... —кричал атаман. Его тяжелый сапог слышен был, когда он топал ногой.

Золотистые косы девки распустились, крутились в воздухе, сверкая красными бантами на концах.

— Стой, дивчина-бис!

Зазвенели колокольчики в последний раз, она топнула ногой и встала.

— На ж тебе!

Атаман бросил на шею девке тяжелое ожерелье из золотых монет.

За топотом ног не слышно песенников, чуть доносилось жужжание струн и звон подков на сапогах.

У белой стены, прислонясь спиной, стоял высокий казак, худощавое лицо хмуро. Глаза следили за Оленой. Атаман шагнул, опустил на плечо казака тяжелую руку.

— Ге, хрестник! Нет плясунов — всех Оленка кончила...

Разин тряхнул кудрями, молчал и как будто еще плотнее налег широкой спиной на стену.

— Притих, куркуленок[1]! Рано от гнезда взлетел... Не то иные — учатся колоть, рубить, а ты на мах поганого пополам секешь, видал сам, видал, — и, дыша в лицо Разина хмелем, атаман тихо, почти шопотом прибавил: — разбойник! Но я люблю тебя, Стенько...

— Изверглся я, хрестной!

— Не-ет! — атаман открыл рот и отпрянул.

Разин свистнул, отделился от стены:

---

[1] Куркуль — коршун (украинск.).

— Место дай, черти!

Плясуны сбились в кучу к окнам. Взвилась над волосами сабля, засверкали подковы на сапогах. На кровати атамана, крытой ковром из барсовых шкур, сидел московский гость, его волчьи глаза следили за плясуном неотступно, но видел боярин лишь черные кудри, блеск на пятках плясуна да круг веющей сабли. От разбойных посвистов у боярина холодело в спине, плясун ходил, веял саблей, его глаза при колеблющемся, тусклом пламени свечей, поставленных также на дубовой полке, горели как у зверя. Московский гость вздрогнул, втянул голову и закрыл глаза, потом открыл их, тяжело вздохнув: высоко над его головой, чуть звеня, стукнула, вонзилась в стену сабля. Казак стоял на прежнем месте у стены, дышал глубоко, глядел, как всегда, угрюмо-спокойно. Зазвенели шаркуны на сапогах, Олена подбежала к нему, прижалась всем телом, сказала:

— Стенько, я люблю!

— Брось батьку дар!

Девка сорвала с шеи монисто, бросила на пол.

— К отцу, Олена... благословимся. Эй, хрестный, пошли саблю, у тебя своя лучше!

Олена и казак ушли. Атаман молча пнул ногой брошенное девкой ожерелье и громко закричал пирующим:

— Гости, прими ноги! На чужой каравай очей не порывай, со стола не волоките ничего...

— Скуп стал, ба-а-тько-о!

Хата атамана медленно пустела и наполнялась прохладой. Ушли все, только московский гость сидел с ногами на постели, крестился, шептал что-то. Атаман молча сел на краю кровати.

— Зришь ли, Корнеюшко, молодца? Таким быть не место, как он... таких скакунов земля-мать долго не носит...

— Знаю, боярин!

— А и знаешь, Корнеюшко, да не все. Чуешь ли беду? Я ее чую! Холопи на Дон бегут, и Дон их примает... Много их и веком бегало, а бунт не завсегда крепок. Бывает он тогда, когда такая рука да удалая голова здынется из матерней утробы. И ныне, знаю я, ежели не изведем корень старого Разя казака... Его понесут завтра...

— Эге! Вино твое не простое, боярин Пафнутий?

— Старика пынче отпоют.

Атаман встал, зашагал по горнице, и видимо, больше думая о своей обиде, тряхнул головой:

— Оленка-бис!

— Станешь боярином, Корнеюшко, пно мы тебе родовитее, краше невесту сыщем...

Атаман подошел к дверям, где недавно пировал круг, крикнул:

— Гей, козаки!

Боярин вздрогнул.

В светлицу вошли два дежурных казака.

— Проводите боярина в дальнюю хату, где дьяки спят... там ему налажено место!

Московский гость встал и, не кланяясь, подал атаману сухую, холодную руку:

— Доброй ночи, атаман! И доброй ночью посмекай, как быть лучше и что мной тебе сказано о том... Ведаю я людей, — тяжко тебе с вольного Дона неволю снять... Спихни эту неволю на нас. Москва — она государская, людишек и места в ней много, — Москва знает, что кому отсечь.

— Прощай, боярин!

Гость ушел, атаман ходил по светлице, пока не оплыли до углей свечи.

3

Фрол силился удержать старика. Тимофей Разин висел на руке сына, его гнуло к земле. Голова вытянулась вперед, от света луны серебрилась щетина на казацкой голове:

— Ой, батя, грузишь, что каменной!

Старик выпрямился, остановился, сказал:

— Фролко, и ты берегись Корнея... Корней дуже хитрой, а пуще... — старик не мог подыскать слова, память его слабела, мысли перескакивали, — он вспомнил старое, бормоча запорожскую песню:

А що то за хыжка,
Там на вырижку?
Ляхи сыдилы,
Собак лупылы,
Ножи поломалы,
Зубами тягалы...

— Богдану — батько! А тож с крулем увяз... Эге, Фролко, кабы «гуляй-городыну» [1] подволокчи к московским палатам та из фальконетов та из рушниц пальнуть в царские светлые очи! жисти не жаль бы за то старому козаку, пропадай козак!..

— Батя, идем же скорее!

— Эге, Фролко, — стой! Дай мне на месяц, на небо поглянуть... Вырос я на поле, на коне, на море. Ух, ты, казацкий город! Запорожский корень, на серебряном блюде стоишь... месяц, вода — до-о-бро!

Пришли в хату. Фрол с трудом уложил большого старика на кровать. Подошел, откинул доску, закрывавшую окно: степной, свежий ветер подул в застоявшийся воздух. Густое лунное пятно упало в дыру окна. Молодой казак подошел к столу, в корыте светца нашел огниво, высек огня, зажег дубовую лучину, потом вторую и воткнул их в черное железо.

— Сыну Фролко!

— Что, батя?

— Налей, козак, в корец сюзьмы [2] с водой... Мало воды лей!.

Черноволосый подросток, сбросив из воловьей шерсти кожух на скамью, дернул кольцо двери в подвал, слазал туда и принес в ковше деревянном кислого молока с водой.

— Добре, сыну, нутро жжет, и пот долит... Сам я — дай руку! щупай, вот — весь, як будто крыга весной, холодной и шершавой, а нутро — што черти пули льют в поход на ляхов...

— «А що то за хыжка там на выжку»? И голоса не стало, а добре пел еще сей день, язык как камень... Сыну, дай еще сюзьмы!

— Да, батя, у нас нет боле. Може, у Степьки есть, то хата его на замке, — годи, я пощу под рундуком ключа.

— А-а, заперто! не ищи... будь тут... «Ноги поломалы, зубами тягалы»... добрая, Фрол, песня — мы под Збаражем ляхам играли ее... ха, ха... тай под Збаражем, штоб ему! Бурляя кончили ляхи — эге, богатырь был Бурляй! В шесть рук Сион пожег... фунт табаку совал в трубку, пищаль ли, саблю в руки — и бьет мухаммедан, как саранчу... Коло лица ночью огонь! от табаку усы и чуб трещат... один сволачивал чели в

[1] Гуляй-городына — башня, ходящая на колесах с людьми; ее придвигали к осажденному городу.

[2] Кислое молоко.

море со всей боевой поклажей... В шинок влезет, — того гляди потолок обвалит... ого, коня на плечо подымал с брюха... Жжет путро! Ой, Фрол, — жжет, слушай!

— Я тут, батя!

— Хто там царапает? Пищит, слушай... а?

— Сокол, видно, цепкой опутался он так!

— Эге, сокол!.. Сокола буде, не надо держать, — тебя и Стеньку он не знает, а мне, видно, мал свет... раздень!

Фрол стал раздевать старика.

— Тащи все! Тащи прочь, дай чистую рубаху... вот, вот ладно. Пойду на майдан (площадь) — выйду объявить: женится старый козак Разя.

Повенчала его сабля... сабля... сабля...

Старик с трудом встал. Лицо горело пятнами, веки опухли, мешками опустились на глаза.

Шатался и худо видел пол, в длинной белой рубахе, босой, на желтых искривленных ногах подошел к окну, где пищал сокол.

Птица злобно рвала клювом цепочку, клюв потрескивал.

— Стой, сарынь! Давно не был на воле... стой же, пущу... Фрол, помоги, не вижу...

— Он щипется, батя!

— Ну, козак, — великому удалому козаку — смерть на колу, а худому — у жонки в плахте, — небось, рук не порвет до плеч...

— Я не боюсь, да он крутится!

Сокол пищал злобно, рвал цепочку, мелькал спзыми клочьями перьев. Старик взял его в руки и тихо сказал:

— Сарынь, — жди.

Сокол злобно вертел головой, но не клевался и ждал. Фрол распутывал на нем ржавую железную цепочку.

— Отстегни, сыну, — выпустим... послышал что-то, видно... послышал, не спроста он...

— Ночью не полетит.

— Полетит, спущай цепку.

Сокол, почуяв свободу, прыгнул за окно.

— Полетел?

— Да, взвился, вишь!

Старик, не морщась, заплакал:

— И месяца не вижу... темно... тьма, тьма... Поклон, сарынь, сыну Ивану, что в отаманы... он, жжет! Фрол, сюзьма, сюзьма! Москва... Стенько сказал, а-а... держи... Фрол, где ты?

Подросток не мог удержать старого казака. Тимофей Разя осел на пол, седая голова на тонкой, коричневой от загара шее низко склонилась. Фрол, напрягаясь, силился поднять отца, чувствовал, что не может, и опустил холодное, как камень, тело...

4

Подросток беспомощно постоял над мертвым отцом и ушел на кровать, уткнувшись в заячьи шкуры, заменявшие подушки, заплакал: ему казалось, что он виноват в смерти отца:

— Не дать ему сесть до полу, жил бы.

Отец как Стеньку, так и его учил владеть саблей, на коне скакать, колоть пикой. Умел старик во-время упрекнуть и поддержать храбрость.

— Батя мой, батя...

Лунный свет падал в окно, когда Фрол поднял голову; ему послышались голоса, лунный свет в окне стал шире, а по телу Фрола пошли мурашки. Он все забыл и слушал, полуоткрыв рот, голос девки.

Девка, не зная и не желая того, волновала подростка Разю:

— Стенько, не обрядна я и не пойду к твоему батьке... Годи, завтра обряжусь, не бойсь, приду, буду, как все, тебя в мужья просить...

— Олепка, перестань! Не надо, — нарядна, куда больше, — сегодня отцу все скажешь, а завтра на майдан — народу поклонишься, и я скажу: «Беру тебя в жены»! Попа к чорту...

— Ну, ин ладно!

Торопливые руки начали шарить дверь. Фрол вдавил лицо в заячьи шкуры.

— Эй, Фролко! Сотона ты, где огонь?

— Погас, огниво в светце, лучина!

Слышно было, как тяжелая рука била кресалом по камню.

— Фрол, где батя?

— Гляди на полу.

Лучина попала сырая, снизу вороха. Степан, ударив нетерпеливо по светцу, погасил тлеющие огарки. Полез под кровать рукой, пошарил ящик, вынул две сальных свечи, зажег.

— Эй Фрол! Пошто на полу отец!

— Он застыл, Стенько!

— А-а-а! Фрол, беги на площадь — ту близ, справо дороги хата, в ей греки живут — и баньяны[1] разны, — понял?

— Понял!

— Там, знаю я, немчин лекарь проездом стал, веди его... скажи... да на вот талер — еще дам! Скажи: не пойдет, — с пистолем заставлю.

— Бегу, Стенько! Скажу...

— Ой, Олена, ежли мой отец отравно пил, я московитов бояр не спущу даром... Ты гляди — рука? — она камень, так не помирают с добра... Подойди, — старик мертвый, а не бойсь — золотой... В море малого меня брал пищали заряжать... Учил переходить на копь реки, и первый я из всех рубил, колол... От атамана уздечки, седла. Зато дьявол! Что сказываю? — Все знаешь сама.

— Знаю...

— Ходи, не бойся, — вот его рука, подымаю, — он живой дал бы согласье... а? ты моя, Олена? Беда, ой беда! Батько, старый Тимоша, отец!

Молодой казак стоял на коленях, теребил свои кудри. Девка держала казака за плечи.

— Долго! Нейдет немчин? ино сам пойду.

— Ты плачешь, Стенько? я буду крепко любить...

— Не целуй, не висни, Олена! и не знаю я... что? что?

Открылась дверь. Торопливо, почти вбежал Фрол, за ним двое немчинов в черных плащах вошли в хату. На головах черные шляпы с высокими тульями и белым перьем. Оба в башмаках, при шпагах. Один остался у дверей, оглядывался подозрительно. Другой на тонких ногах решительно подошел, нагнулся к мертвому, потрогал под набухшим веком остеклевший глаз старика, пощупал холодную руку.

— Ту светит! Ту светит! — приказывал он.

Степан водил огнем свечи, куда показывал лекарь.

— Тот! Номер, можно сказать...

— Отрава или нет? Да правду сказывай, черная сатана!

— Мой правд, завсегда правд! Стар... сердце, пил вина?

---

[1] Баньянами называли индусов и людей др. восточн. народов.

— Пил — был на пиру!

Другой черный подошел и, не трогая старика, нагнулся, долго внимательно глядел на мертвого.

— Не знайт! — сказал лекарь, — пил вина, от сердца ему смерт... шварц дас гезихт?[1] — обратился он к другому, как бы призывая его в свидетели.

Тот молчал.

— Уходишь, немчин?

— Зачиво больше ту?

— Бери талер, пришел — бери! И все же лжешь ты, черный дьявол!

— Нейт, лжа нейт, козак!

Немцы ушли.

Луна была такая яркая, что песок по узким улицам, белый днем, белым казался и ночью. Шли иностранцы мимо шинков, закрытых теперь: воняло водкой, чесноком и таранью. Синие тени, иногда мутнозеленые, лежали от всех построек, от мохнатых крыш из камыша и соломы. Тени от деревьев казались резко и хитро вырезанными. Немцы прошли мимо часовни с образом Николы, прибитым под крестом, возглавляющим навес. Часовня рублена из толстого дуба, навесом походила на могильные голубцы, — похоже было, что часовню рубил тот же мастер. Здесь иностранцы пошли медленно. Доктор сказал:

— Пришлось много спешить нам! Дикари грозились, устал я...

Кругом была тишина и безлюдье, только изредка выли собаки и где-то далеко-далеко в камышах голодно отзывался шакал.

Другой немец спросил:

— Почему, доктор, ты удержал истину? старый дикарь явно отравлен.

— Я много наблюдал эти и иные страны. Московиты, узнав от врача правду о насильственной смерти, убивают не виновника ее, а того, кто вывел им причину смерти, ибо преступник далеко, но возмущение тревожит сердце варвара... Эти же, кому пришли мы свидетельствовать о смерти, еще более дики, чем московиты, и невоздержны в побуждениях, подобно римским легионерам: в походе они убивают даже своих начальников и возводят других... Убить для них — высшее наслаждение, потому

---

[1] Почернело лицо?

им правда не нужна! Мой друг, мы в сердце самой Скифии, а не в Европе... Заработав от них плату за наше беспокойство, мы за сохранение жизни своей обязаны благодарить всевышнего бога, что можем еще приносить пользу той стране, которая дала нам жизнь...

Немцы говорили на гольштинском наречии.

— Какая прекрасная женщина находится при этом варваре! ты посмотрел на нее, доктор?

— О, да, у ней могучее тело и детское лицо, но там так темно и, как везде у дикарей, очень скверно воняет шкурами и рыбой... Могу засвидетельствовать: взгляд казака — необыкновенный, голос проникает до сердца. Зная истину, я с трудом удержал ее, чтоб не сказать ему. О, тогда нам пришлось бы бежать отсюда, ибо не знаем мы, какие последствия были бы нашей правды... Я же хочу подождать баньянов, рассчитывающих на барыши от разбойников... Я намереваюсь с купцами поехать в Индию — страну браминов, целебных растений и великих чудес!

— Здесь глубокий песчаный грунт, доктор, я изорвал чулки, а носить неуклюжую обувь не привык.

— Вы правы! Я думал об этом.

Немцы, неторопливо разговаривая, вошли в большую хату на площади — постоянное пристанище иностранных купцов.

5

В обширной хате в глубине атаманского двора устроились московские гости — боярин и три дьяка.

Внутри хата убрана под светлицу: ковры на стенах, на полу тканые-половики, большая печь с палаткой и трубой, — хата не курная, как у многих, хотя в ней пахнет дымом, а глубокий жараток набит пылающими углями. Окна затянуты тонко скобленным бычьим пузырем, свет в избе тусклый, но рамы окна можно сдвинуть на сторону — открыть на воздух. Опасаясь жадных до государевых тайн ушей, боярин Нафнутий Киврин не открывал окон, но, распахнув дверь в сени, выпускал жаркий и угарный воздух избы. Боярин встал рано, открыв новгородского дела синий сундук, окованный узорчатым серебром, достал дедовский, медный, под золотом, складень с изображением

многих праздников, примостил раскрытый складень в углу на столе и, приклеив перед ним восковую свечу, зажег ее лучиной.

Раньше чем стать на колени, перекреститься, проворчал:

— Образов мало, а чтутся христианами... В церкви почасту тойну решают...

И, держа пальцы в двуперстном сложении, крепко пригнетая их во время креста ко лбу и груди, стал молиться. Мутный свет ползал по его желтому голому черепу. Боярин не завешивал дверей в горенку, где жили дьяки, — он любил досматривать своих людишек. Во время молитвы лезла в голову неотвязная мысль, боярин размашистее молился, стучал лбом, кланяясь в землю, но не мог устоять, подумал: «здесь надо с людишками иной потуг, ино сбегут в козаки, тайны наши разглаголят».

Против дверей, в другой половине, дьяки обедали. На широком столе с голубой скатертью стояло большое блюдо жареных чебаков, с поливкой из красного перца, тут же, насыпанная до краев сушеными шамайками — мелкими рыбами, — плошка глазированная, красной глины.

— Штоб их сотона взял чубатых! Просил баранины, они же, трясца их бей, щусей пажарили, — зычным басом сказал молодой дьяк в панковом кафтане, длинноволосый и русый.

— Запри гортань, тише!... боярин на молитве. Лжешь. Зрико, — тут лещи да корюха сушена...

— Бузу завсегда лопают, нам ублажают ее... просил квасу — нет! Мне брюхо затянуло с бузы, как воеводский набат... [1]

— Ой, Ефим! Станешь в ответ боярину... Ой, детина, мотри...

Ели дьяки руками, поевши, покрестились, вытерли руки о полу кафтанов. Два — бородатых дьяка. Ефим — молодой, — едва показывались усы.

Молились дьяки своим образом, — в хате хозяйских образов не было. В половине дьяков на стене висела только лубочная картина местного изготовления: неуклюжий казак в красной шапке, в синей куртке, в штанах красных, заправленных в сапоги не по ноге, колол длинной пикой сломившегося назад ляха в зеленом кафтане, в голубой шапке с красным пером. Внизу крупная надпись: «*Бисов ляше у Богдана батька пляше*».

---

[1] Набат — большой медный барабан.

Младший из дьяков, вторя скрипу отодвигаемого окна, громко испустил газы, говоря:

— Хорошо бы у чубатых! Свет велик, только ветром песку много метет, зубы скрегчат...

— Сказываю — боярин на молитве, — пождал бы спущать дух, поспеешь, мы вон терпим...

— Ништо, знает он.

— Знать тебя — знает, да на Москве в гости зазовет, — в Разбойном там спустишь, у заплечного...

Молодой дьяк тряхнул волосами:

— Бит-таки бывал от него, а у заплечного мне быть не к месту, я не тать.

Кончив молиться, боярин степенно и строго вошел к дьякам, захватив по дороге свой посох. Дьяки низко поклонились, касаясь пальцами полу.

— Утомился, боярин? Просим отведать наше немудрое яство! Я объедки приберу, сменю скатерть и кликну, чтоб дали самолучших яств...

Молодой дьяк говорил суетливо, готовый бежать.

Боярин остановил:

— Не вместно мне с вами — зван к отаману, а вот дух пустишь беспричинно... Клоп за тобой, детина, ездит, как за ханским послом вошь в кибитке.

Старшие дьяки стояли, склонив головы, ждали, когда боярин будет говорить тихо, почти шопотом: тогда бойся. Но боярин ровно и громко продолжал:

— Взят ты мной, Ефим, юнцом малым, книжному урядству обучен и чернильц приправлять, а ныне дозволение я оказал тебе многое, даже листы государю составлять доверился, ты и не помыслишь, сколь великой чести уподоблен — клопа ведешь за собой...

— Прости, боярин, то клоп от тихого испускания духа живность имеет, от трескотного старания не зарождается...

На возражения дьяка боярин стукнул посохом в пол и нахмурился, что-то хотел сказать, но в воздухе за окном послышалось многоголосое пение, прогремело:

— Ура-а, бра-а-ты!

Вздрогнула земля от залпа пушек.

Боярин побледнел:

— Что это? Ефим, беги, проведай!

Бородатые дьяки бросились к окнам. Младший стоял спокойно.

— То, боярин, с моря шарпальники вошли, свои чубатые стрету (встречу) бьют...

Боярин ожил:

— Вот за то и люблю тебя, Ефим, что знаешь все, что затевается у них... Ох, угарно у меня, голова что-то скомлет, на ветер-ба ино ладно, да боюсь...

— Чего убоялся, боярин?

— Ведь мы послы от государя, мног народ очи откроет, а народ — вор, злоправный народ! Отаманов своих мало слушает, так зло бы кое над нами не учинили?

— Страх мал, боярин! Турской посол, персицкой и иные в их городишке почасту стоят, мы как все, — обыкли они к послам ей-бо!

— А, так? Я вот армяк накину и пойдем, — армяк хоша скорлатной, да покроем всего к месту блике...

— Дай подмогу тебе, боярин!

Молодой дьяк выбернулся впереди боярина в его половину. Пожилые с завистью глядели вслед; когда боярин занялся платьем, один сказал:

— Обежит нас Ефимко! Боярина водит, как выжлеца[1] на ремне...

Другой так же, чуть слышно ответил:

— То правда, Семенушко, обежал уж...

6

Боярин Нафутний с дьяками неторопливо вышел за плетень атаманского двора...

Со стрелка видно им реку, белую от солнечного света. На серебре струй московские гости увидали страшные им челны «шарпальников»: длинные с длинными веслами, почерневшие от воды и порохового дыма, опутанные толстыми ребрами полос из прутьев камыша. В челнах люди — в бархате, золотой и

---

[1] Выжлец — собака-щенка.

серебряной парче, в коврах: в красных шапках — запорожцы, в бараньих — донцы.

— Сатанинское сборище...

Боярин, бодая песок посохом, двинулся вперед.

Дьяки — за ним.

Толпа казаков выскакивала из челнов на пристань. На пристани другая толпа своих била в котлы — литавры, играла на трубах и дудках. Тут же с берега стреляли холостыми из длинных пушек на дубовых колесах. По серебристой воде ползли тучи дыма, пахнущие порохом. Крики сотен голосов:

— Бра-а-ты з моря-а!

На бревенчатую пристань казаки из челнов вели пленных (ясырь): мужчин, связанных и оборванных, с чужими бронзовыми лицами, в крови и царапинах; полуголых женщин в пестрых платках. Женщин казаки вели несвязанными — за косы. Один запорожец, саженного роста, с усами вниз, падающими на могучую грудь, в разорванной синей куртке, в плаще из синего атласа, скрепленного у подбородка золотой пенью, коричневыми руками с безобразными жилами держал за косы двух молодых турчанок и, когда подходил с ними к кому-нибудь из мужчин, то кричал пленницам:

— А ну, перехрестись!

Турчанки неумело крестились.

— Покупай, браты, — ясырь! всяка — хрестится, жена будет!

Лица вернувшихся с моря — в черной крови, запекшихся шрамах, руки тоже. Пестрая толпа с пристани направилась к часовне на площадь.

— К Мыколы! Морскому святому молебен за живое вертанне з моря...

— Хто письменный? Нехай тот и поп буде!

— А ну, хрестись!

— Гундосый, ты?

— Тарапуха?! Козак, здоров? Дай, пощупаю, — жив...

Люди, вырвавшись из зубов смерти, из холодной утробы моря, радостно, до ошаления смеялись, кричали, пели. Недослушав молебна у часовни, растекались по улицам, лезли в шинки, ели. Кричали:

— Гей, крамарки,[1] подавай бузу, тарань, шамайку!..

Торговки с корзинами из тонкого камыша жались к шинкам и бойко продавали рыбу, хлеб, куски жареной баранины. В одном месте московские гости увидали будку, закрытую дубовыми бревнами с трех сторон, открытую с четвертой, закиданную камышевой крышей с дерном. В ней на ярком солнопеке на обрубке дерева сидел весь коричневый и рваный, в лохмотьях красных штанов, в лаптях и синей выцветшей куртке-зипуне, запорожец. Уличный цирюльник ржавым кинжалом скоблил ядреную голову казака, поливая ее из широкого глиняного горшка мутной водой, мылил куском грязного мыла. Тут же точил свою полуаршинную бритву о точило, стоящее на земле, помачивал точило той же водой из горшка и правил кинжал о голенище сапога.

Запорожец, когда цирюльник с треском, словно счищая с крупной рыбы чешую, начинал скоблить его голову, жмурясь от солнца, кричал:

— Эге, добре! брий, хлопец, гладенько, не зрись тилыки оселедьця. Гоздек[2] у запорозцев не живет, живет гоздек у донцов, — воны волосы рощат, запорозци усы мают, бород им не треба! то московитска краса... Запорозцу бороду не можно носить, то яйцки козаки носят, воны тож московитски данники.

Иногда соскакивал с головы ляпак кожи, поцарапанное во многих местах бритьем скуластое лицо цирюльника хмурилось, он начинал усердно мылить порезанное место, поливая водой и смывая с лица казака льющуюся кровь. Казак успокаивал цирюльника.

— Плюй, хлопец, и посыпь земли! То не кровь, яка то кровь? Запорожска шапка красна, — под ей кров не видно!

Боярин сказал:

— Дьяче, все надо досмотреть и дослышать... — он отошел от ларя цирюльника, встал в другом месте.

— Засвеки его, сатану! — сказал про себя молодой дьяк, глядя на работу брадобрея, но, вскинув глаза, увидал, что бояри и два дьяка впереди, пошел к ним.

---

[1] Торговки.

[2] Колтун.

Тут четверо казаков, накинув на себя вместо жупанов ковры персидские и турецкие, кричали о своих подвигах.

— Наспускали мы им, браты, нехристям, бревен, колотят тын бревна о цепи, — бурун метет волны... мы ж в камышах ждем!

— Стой, Лаврей! не то... Дай я скажу: тьма, ветер, голову с плеч рвет, а турчин, знай, дует по бревнам з пушек! Бревна тай лезут на цепи, кидает их, цепи брежчат, аж ь в аду, а турчин воет: «Алла! Алла! Бузлы-джи!» Ого, бусурман, и тебе на берегу лед? Да так и отсиделись в камышах. А как они пззябли да палить утихли, — мы скок в море. Бей мухаммедан!

С саблей, усатый, в синем нарядном кафтане подошел атаманский писарь.

— И все вы, браты, тут проскочили мимо Азова?

— Не, козак! Иные переволоклись в Миюс с Донца, Миюсом — в море да и к нам тож пристали.

Толпа прибывала, теснилась; слушали, расспрашивали вновь. Удальцы, чтоб, наконец, отвязаться, обратились к писарю:

— А ну, письменный, кажи ты, что знаешь...

— Чого ему знать? Он у Корнея, у круга сидит!

— Буду я вам, козаки-браты, честь, как запорожской отаман Серко судил с салтаном...

— Эге, добре!

— То послушаем! На бочку, ставай на бочку...

Прикатили бочку, доску поперек дна кинули, подняли писаря:

— Чти-и!

Человек в синем поправил шапку, саблю одернул, вытащил из-за пазухи пачку бумаг, послюнив палец, перелистал и крикнул, взглянув на головы и шапки:

— А ну, не бодайтись!

Бумагу, которую читать, бережно и медленно развернул, прочел громко: «Кошевой отаман Серко крымскому хану Мураду».

— Эй, чего чтешь? Чти — к салтану турскому!

— А ту, к турскому салтану бумагу, я, козаки-браты, в станичной избе заронил, не сыщу!

От многих рук, вскинутых вверх, по белому песку замотались голубые и синие тени.

— А нехай ее чертяка зъист!

— Чти, коли крымскому.

— Ну, козаки, чту: «Братья наши запорожцы, с вождем своим воюючи в чолнах по Евксипонту, ко-с-ну-ли-сь му-же-ствен-но и самых стен Константинопольских и оные довольно окуривали дымом мушкетным при великом султанове. И всем мешканцам (обывателями) цареградски-им сотворили страх и смя-те-ние, и, некоторые одле-гле-йшие (окружные) селения Константинопольские запаливши толь счастливо, з многими добы-чами до коша своего повергнули».

— То Нечай с Бурляем запорожцы хорошо привиталися с турчином!

— И мы нынь его не забуваем!

Боярин сказал:

— Примечайте, дьяче: шарпальникам государев запрет ни што, приказано им турчина не злить...

Толпа потная, пьяная лезла слушать, надеясь, что писарь будет читать бумагу к султану. Солнце жгло головы и плечи. В глубоком небе чуть заметно, как муха на голубом высоком потолке, стоял над толпой какой-то воздушный хищник:

— Куркуль реет!

— Где? не вижу. Эге, высоко!

— Высоко, бисова шкода!..

Писарь слез с бочки, казаки с моря кричали:

— Ты, пысьменный, пошто Дону служишь?..

— Служи Запорожью!

— Запорожцы никому не продались! Низовики продались московскому царю.

— А бо-дай вона выздыхала царьская Московия и с царем и з родом его!

— «С турчином греха не заводить, ждать указу», ведь так, боярин, писано государем и великим князем? — спросил один дьяк.

Боярин, гневно тыча в песок посохом, водя по толпе глазами, сказал шопотом:

— Разбойники позорят поносным словом имя государево, — не гоже нам быть тут!

Москвичи двинулись дальше.

7

Посреди улицы, в сыром месте, кинув прямо в грязь атласный плащ, разлегся запорожец с двумя пленницами-турчанками. Одну из них он посадил за собой, положив большую бритую голову с оселедцем ей в колени, другая сидела рядом на песке. Косы турчанок из рук казак выпустил и, зажмурив глаза, дремал на припеке. Кривая черкесская сабля в серебряной оправе, кремневый, ржавый пистолет лежали у его правой руки.

Закрыв глаза, опустив черноволосые головы на смуглые голые груди, пленницы, видимо, грустили без слез.

Боярин подошел к запорожцу. Дьяки встали поодаль, но старик кивком головы позвал младшего из них:

— Взбуди его!

Ефим зашел к запорожцу сбоку, слегка толкнул дремлющего носком желтого сапога.

— Кой бис? — крикнул запорожец. Загорелый кулак разжался и узловатые пальцы впились в рукоятку сабли.

Боярин громко сказал:

— Эй, казак, продаешь жупок? угодно нам знать цену.

— Мой ясырь — двадцать талерей за голову.

Приоткрыв глаза, запорожец, отняв руку от сабли, полез ею в карман красных шаровар, вытащил большую трубку, кисет и кресало.

— Разбойник! Пошто много ценишь?

Запорожец, не обращая внимания на слова боярина, набил трубку, высек огня, закурил и вновь решил задремать...

— Даю тебе двадцать пять рублев московскими. Талер — цена рубль!

— Сам не беззубой, да менгун [1] надо, а то на обеих бы женился... даром марать посуду не хочу!

Боярин, выжидая, молчал.

Казак вскинул на него разбойничий взгляд, прибавил, шлепнув рукой по рваной штанине:

— Нам в путь-дорогу итти есть с чем, а ты, крамарь, — мертвец!

Боярин метнул глазами на казака и зашипел, тряся головой.

---

[1] Деньги.

Из-под розовой бархатной мурмолки замотались по вискам седые косички:

— Один лишь дурак указует перстом меж ноги, умный в лицо зрит!

— Поди к бису, крамарь! Дешевле ясырь не продам тебе, зато что мертвец... Хочу, чтоб у жонок куча хлопцев была... Сам не имешь глузда, — на титьки им глянь, на брюхо... э-эх! Падаль ты, тьфу!

— Мне их не допть, бери двадцать шесть талерей, — сыщу деньги...

Запорожец медленно, полусонно набил снова трубку, закурил.

Подошел высокий степенный турок или бухарец в белой чалме, в пестром длинном халате, что-то очень тихо сказал по-турецки — пленные подняли головы; у той, которая держала голову казака, смуглое лицо ожило румянцем, другая турку улыбнулась глазами, боязливо и быстро кинув взгляд на дремлющего казака, слегка поклонилась.

Человек в чалме нагнулся над запорожцем, сказал громко:

— Селэ малыкин![1]

— Ого! — запорожец открыл глаза, ответил тем же приветствием: — Малыкин селэ, кунак!

— Колько — два?

— Тебе мухаммедан? за тридцать талерей — два!

— Дай ясырь, — бери менгун.

Запорожец быстрее, чем можно было ожидать от грузного тела, сел, загреб в охапку обеих пленниц, как маленьких девочек, встал с ними на ноги.

— Ясырь вот, дай менгун!

Человек в чалме бойко отсчитал тридцать серебряных монет, передал запорожцу. Пленницы стояли сзади его, казак взял ту и другую за руки, передал купившему, сперва из правой руки одну, потом из левой — другую.

Купивший нагнул перед казаком голову, приложил руку к сердцу в знак приветствия продавцу ясыря и, повернувшись, пошел с турчанками в город.

— Эге! То не крамарь, — купец... — проворчал запорожец. Нагнулся, накинул на плечо плащ, загреб в большую лапу ору-

---

[1] Здравствуй.

жие и шапку. Сонливость с него спала, он спешно пошел в ближайший шинок.

Младший дьяк не утерпел, громко сказал:

— Эх, боярин, да я бы у этого бражника обеих жонок купил за два кувшина водки.

— Я тебе, холоп, заплавлю рот свинцом! — прошипел боярин.

Мимо москвичей юрко пробежал почти голый мальчишка, черноволосый и смуглый; потряхивая кувшином киноварной глины, кричал:

— Коза-а! буза-а!

— Эй, соленый пуп! — подзывали мальчишку проходившие казаки: — Дай бузу!

Видя, как жадно глотали казаки бузу, младший дьяк ворчал:

— Чубатые черти! дуют, хоть бы что, а мне с подболтки этой охота дух пустить, да старик — как волк.

Молодой дьяк боялся итти близко за гневным боярином, ждал, когда его позовут...

8

На площади недалеко от часовни Николы стоит деревянная церковь Ивана Воина с дубовым, из бревен, гнилым навесом над входом. Под навесом над низкими створчатыми дверьми с железными кольцами — темный образ святого. Иван Воин изображен в полуоборот, в мутножелтых латах, опоясан узким кушаком, на кушаке недлинный меч в темных ножнах, под латами красные штаны, сапоги, похожие на чулки, желтые. Левая рука опущена и согнута к сердцу, в правой он держит тонкий крест; и вид у него, как будто к чему-то прислушивается. В углу на клочках облаков какие-то лики...

Казаки входят и выходят из церкви, поворачиваются и на дверь крестятся. Ставят свечи тем святым, которые по их понятиям лучше помогают в походах и кому на войне дано слово поставить в старой церкви «светилку». В церкви два попа, присланные Москвою; каждый из попов привез по образу, писанному московскими царскими иконниками. Казаки обходят привезенные образа, ворчат:

— Не нашего письма образы... Христы на воевод схожи — румяны и толсты.

Про попов шутят:

— Древние. Поп попа водит и по пути спрашивает: «як тебе имя, Иване?», и до сих пор попы не ведают, кого кличут «Иване», а кого «Петр».

Читать попы не видят — службу ведут папамять, вместо «аллилуйя» часто произносят «аминь»... Казаки редко венчаются в церкви, больше придерживаются старины, объявляют имя жениха и невесты на майдане (площади), строят для того помост, жених берет свидетелей за себя и за невесту.

Боярин с дьяками протолкивались на площадь к церкви. Не доходя площади — ряд торговых ларей и шиников-сараев. Москвичи, подойдя к ларям, рассматривая товары, приостановились: перед одним ларем ходил взад-вперед бородатый перс в широком кафтане из верблюжьей крашеной в кирпичный цвет шерсти, в коротких до колен такого же цвета штанах, с голыми ногами в башмаках на босу ногу, кричал, как гусь:

— Зер — барфт! Зер — барфт![1]

Идя обратно, взывал тем же голосом:

— Золот — парш, золот — парш!

— Эй, соленой!

— Он не грек — баньян, мултанея.

— Не, пошто? У тех по носу мазано желтым и в белой чалме, а этот в синей, да все одно. Эй, почем парш, чесотку продаешь?

В глубине ларя сидел другой перс, — видимо, хозяин, в халате из золотой с красными разводами парчи, в голубой вышитой золотом чалме, — ел липкие сласти, таская их руками из мешка в рот; черная с блеском борода перса была густо облеплена крошками лакомств.

Когда с зазывающим покупателей персом разговаривали, он улыбался, махал руками, кричал громче первого:

— Хороши парча! Хороши, дай менгун, козак!

Боярин подошел к ларю, подкинул вывешенные светлые полотнища на руке, сказал:

— Добрая парча! Надо зайти купить... На Москву такой не везут...

---

[1] Зер — золото, барфт — ткань.

Прошли, почти не взглянув на лари с синей одамашкой-камкой, [1] коротко постояли у ларя с бархатами: бурскими, литовскими и венецейскими.

— Бархаты продают, разбойники, не в пример лучше московских: цвет рудо-желтой, золотным лоском отливает...

Дальше и в стороне — ларь с сараем. Сквозь редкие бревна сарая из щелей сверкали на свет жадные чьи-то глаза. Ларь вплотную подходил к сараю. В сарай из открытого ларя — дощатая дверь, завешенная наполовину персидским ковром; по сторонам ларя ковры удивительно тонких узоров. Боярин развел руками и чуть не уронил свой посох с золоченым набалдашником:

— Диво! вот так диво! Этаких ковров не зрел от роду моего, а живу на свете довольно...

В ларе два горбоносых, высоких: один в черной шапке с меховым верхом, другой в черной мохнатой; из-под кудрей овчины глядели острые глаза с голубоватыми зрачками; оба в вывернутых шерстью наружу бараньих шубах.

— Кизылбашцы [2], пехристи, — проговорил Ефим.

Боярин оборвал дьяка:

— Холоп! С пуста не суди: кизылбашцы те, что парчой торг ведут, эти, думно мне, лязгины!..

Один из горбоносых, выпустив изо рта мундштук кальяна, стоявшего за ковром на столике, закричал:

— Камэпумэк, ариэхахчик! Мэ тхга март! Цахумэнк халичаннер Хоросанц ев-Парскастанц Фараганц!

Снова бойко и хищно схватил черной лапой с острыми ногтями чубук кальяна и с шипеньем, бульканьем начал тянуть табак.

— Сатана его поймет! Сосет кишку, едино что из жил кровь тянет... Ей-бо, глянь, боярин! со страшного суда чорт и лает по-адскому, — вскричал Ефим.

— Запри тортань! Постоим — поймем, — упрямо остановился боярин.

Другой горбоносый закричал по-русски:

— Господарь! желаете ли купить девочку или мальчика?..

Еще продаем ковры из Хоросана и Перени — Фарагана [3].

---

[1] Камка из Дамаска.

[2] Персияне.

[3] Перевод того, что кричал первый армянин по-армянски. Фарагана — Фергана.

Первый горбоносый опять крикнул, коверкая русские слова:

— Сами дишови наши товар! — кричал он гортанно-зычно, словно радовался, что знал эти чужие слова, тонкий, сухой, с желтым лицом. Бараний балахон на нем мотался, и когда распахивался, то на поясе с металлическими бляхами под балахоном блестел узорчатыми ножнами длинный кинжал.

Боярин подошел, потрогал один ковер:

— Хорош ковер — фараганский дело! — сказал тот, что кричал по-русски.

Стали торговаться. Дьяки молча выжидали; только Ефим увивался около — гладил ковры, прикладывался к ним лицом, нюхал. Боярин приторговал один ковер, черный человек бойко свернул его, получил деньги, заговорил, шлепая по ковру коричневой рукой:

— Господарь! купи девочку... Девочка — терская, гибкая, ца! — он щелкнул языком. — Будит плясать, бубен бить, играть, птиця — не девочка, ца! Летает — не пляшет...

Боярин молча махнул рукой одному из бородатых дьяков, передал ковер:

— Неси, Семен, ко мне!

Дьяк принял ковер.

Черный продолжал вкрадчиво:

— Есть одна... Груди выжжены... на грудях кизылбашски чашечки... на цепочках... Любить можно, дарить можно — матерью не будет... грудь нет, плод — нет... Вырастет, зла будет, как гиена. Можно господарю такая свой гарем беречь — никого не пустит, жон замучит, сама — нет плод и другим не даст чужой муж ходить... Дешево, господарь... девочка...

Боярин, делая вид, что не слышит вкрадчивой речи черного, разглядывал ковры.

— Сами дишови наши товар! — кричал другой.

Ефим, понимая, что этот не знает много по-русски, сказал:

— Ты, сатана, баньян ли грек?

— Нэ... — затряс тот мохнатой головой, — нэ грек, армэнен... Камэнумэк, ариэл ахчик!

— Дьяки, идем далее!

Дьяки поклонились и двинулись за боярином. Ефим подошел к боярину ближе, заговорил быстро:

— Глядел ли, боярин, на того, что по-нашему не лопочет?

— Что ты усмотрел?

— Видал я, боярин, у него под шубой экой чинжалище-аршин, — видно, что разбойник чорт! Продаст да догонит, зарежет и... снова продаст!

— Ну, уж ты! Сходно продают... На Москве таких ковров и за такие деньги во сне не увидишь. .

— Им что, как у чубатых — все грабленое... Видал ли, колько в сарае мальчишек и девок малых: все щели глазами, как воробьями, утыканы!

— Да, народ-таки разбойник! — согласился боярин и прибавил: — а торгуют сходно...

Под ногами начали шнырять собаки, запахло мясом, начавшим тухнуть. Мухи тыкались в лицо на-лету, — в этих рядах продавали съедобное.

Бурые вепри, оскалив страшные клыки, висели на солнопеке несниманные, они подвешены около ларей веревками к дубовым перекладинам. Мухи и черви копошились в глазах лесной убоины. Тут же стояли обрубленные ноги степных лошадей, огромные с широко разросшимися неуклюжими копытами. Мясник, бородатый донец, кричал, размахивая над рогожей-фартуком кровавыми руками:

— Кому жеребчика степного? Холку, голову, весь озадок? Смачно жарить с перцем, с чесноком — объяденье!

— Ты, кунак, махан ел?

— Ел! — бойко отвечает мясник, — и тебе, казак, не запрещу: степная жеребятина мягче теленка. Купи барана, вепря, — тоже есть.

— А ну кажи барана! Пса не дай...

— Пса ловить нет время — пес без рог... баран вот!

— Сытой, нет? ага!

— Нехристи! Жрут, как татарва: коня — так коня и гадов всяких с червью купят, тьфу! — боярин плюнул, нахмурился, говоря, он понизил голос.

Дьяки, побаиваясь его гнева, отстали.

Старик, постукивая по камням, пыля песок посохом, шел, спешно убегая от вида и запахов рынка.

— Идет не ладно, а сказать — озлится!

Молодой дьяк ответил бородатому:

— Пущай...

— Озлится! К гневному не приступишь, мотри...

Боярин разошелся в шинки: дубовые сараи распахнуты, из дверей и с задов несет густой вонью — водки, соленой рыбы, и навоза. Шинки упираются задами в низкий плетень, у плетня торчмя вперед краснеют и чернеют шапки, желтеют колени — люди опорожняются... Здесь едко пахнет гнилым, моченым в воде льном.

Старик чихнул, полой кафтана обтер бороду и закрыл низ лица. Отшатнулся, попятился, повернул к дьякам.

Заглядывая боярину в глаза, Ефим заговорил:

— Крепко у нас на Москве, боярин, эким по задам торгуют, чубатые еще крепче, мекаю я?

— Занес сатана! К церкви идем, а куды разбрелись? Водчий пес! — где так востер, тут вот глаз туп.

— Церковь у них древняя, боярин, розваляется скоро. Наши им нову кладут, да они, вишь, любят свое — так тут, подпирать чтоб, столбы к ней лепят.

— Блядослов! — зашипел боярин, — кабы на Москве о церкви такое молвил — свинцу в глотку: не богохуль на веру... я ужо тебе!..

Дьяк ждал удара, но боярин опустил посох. Дьяк, сняв шапку, заговорил жалостливо:

— Прости боярин! Много от ихней бузы брюхом маюсь, пио в голове потуг и пустое на язык лезет.

— Ну, ин ладно! тому верю... Только не от бузы брюхо дует — от яства: брашно у разбойников с перцем, с корением, а пуще того неведомо кого спекли — чистое ли? Ты, дьяк, ужо с опаской подсмотри за ними...

— Чую, боярин Дай буду путь править вот этим межутком — и у церкви.

Старик, боясь опередить дьяка, шел, боязливо косясь на шинки, где со столов висели чубатые головы и крепкие, цвета бронзы, руки. В шинках пили, табачный дым валил из дверей, как на пожаре, слышались голоса:

— Рони, браты, в мошну шинкаря мелгун!

— Пей! На Волге тай на море горы золота-а!

— Московицки насады да бусы[1] дадут одежи тай хлеба-а!

— Гнездо шарпальников! — шипел боярин.

[1] Насады бусы — суда.

На площади собрались казаки и казачки, мужики в лаптях, в широких штанах и белых рубахах, — к церкви скоро не пройдешь.

Недалеко от церкви возведено возвышение, две старых казачки бойко постилают на возвышении синюю ткань и забрасывают лестницу плахтами ярких цветов.

Боярин тихо приказал:

— Проведай, Ефим, кому тут плаха?

Дьяк от шутки господина с веселым лицом полез в толпу; вернувшись, сообщил:

— Женятся, боярин! Шарпальники московских попов не любят и крутятся к лавке лицом да по гузну дубцом...

— То забавляешь ты! А как по ихнему уставу?

— Стоят, народу поклоны бьют, потом невесту бьют!

— Ты сказывай правду!

— А вот их ведут! Проберемся ближе, узрим, услышим, не с пуста мы — уши да око государево ..

— Держи язык, кто мы! Крамари мы... не напрасно разбойник тако величал нас...

— Ближе еще, боярин — вон молодые...

На возвышение с образом в руках, прикрытых полотенцем, в синем новом кафтане, без шапки вошел черноволосый Фрол Разин. Следом за ним два видока (свидетели), держа за руки — один жениха, другой невесту, вошли на помост, поклонились народу. Фрол с образом отошел вглубь, не кланяясь. Видоки каждый на свою сторону отошли, встали на передних углах возвышения.

Жених взял невесту за руку, еще оба поклонились народу.

На Степане Разине — белый атласный кафтан с перехватом; по перехвату — кушак голубой шелковый, на кушаке — короткий кривой нож в серебряных ножнах с ручкой из рыбьего зуба. На голове красная шапка с узкой меховой оторочкой. Черные кудри выбивались из-под шапки.

Невеста — в коричневом платье, на голове — синяя прозрачная повязка: повязка спускалась сзади, ею были перевиты русые косы.

— Шарпаной на ём кафтан, боярин, московской, становой, вирапой жемчугами, — зашептал Ефим.

— Пошто толкуешь с пуста! Али я покроев кафтана не знаю?

Другой дьяк шепнул:

— Чуют нас, бойтесь...

— Еще дурак, — сказал старик, — ништо кому сказываем. — Он все же опасливо оглянулся и, не видя, кто бы ими занимался, прибавил: — Палача бы сюда! Помост налажен, и сиденью нашему конец!

Ефим начал громко смеяться:

— Пасись, дьяк, — народ не свой!

Жених на помосте, выставив правую ногу в желтом сафьяновом сапоге, взяв шапку в левую руку, стал креститься. Невеста, глядя на церковь, — тоже. Потом оба поклонились на все стороны. Жених голосом, далеко слышным, проговорил:

— Жена моя, отаманы молодцы, и вы, добрые казаки и люди все, вот! Кто не ведает ее имя, тому сказываю: она — Олена Микитишна, дочь вдовицы казака Шишенка...

— А ведаешь ли, козак, что батько твой Тимоша ныне помер?

— Мертвого не оживишь, козак! Что есть, — не поворотишь. Ведаю смерть и отца жалею, да гулебщику-козаку дома сидеть мало, отойдет свадьба — снесем упокойного, благо — он в своем дому, и на могиле над ним голубец (памятник) справим,—по чести.

— Женись, козак! Нету время охотнику дома сидеть, слезы ронить.

— Дид древний! во сто лет был...

Жених повернулся к невесте:

— Олена Микитишна! будь жена моя, — стану любить и, сколь можно, хранить тебя и дарить буду.

Разин поклонился невесте в пояс.

— А ты, Степан Тимофеевич, будь моим мужем любимым, — и только до тебя я придалась душой — и телом тебе придамся...

Невеста поклонилась жениху в ноги. Потом встали рядом, глядя вперед на толпу.

Видок со стороны жениха одернул на ремне черкесскую саблю. Его широкая грудь под синим кафтаном подалась вперед, но он молчал, одергивая черные небольшие усы, поправил под запорожской шапкой густые, как у калмыка, черные волосы, заговорил негромко:

— Отаманы, ясаулы и весь народ! Я, Василий Лавреев, прозвищем Васька Ус, козак, ведомый вам, — в охотниках хожалый отаманом, — даю честное слово свое за жениха Степана Разина, в товарищах ратных ведомого, что буду держать его на правду, чтоб он не обижал жену свою Олену Микитишну, и до вас доводить, ежели нечестен с женой будет.

Видок, не кланяясь народу, отошел в глубь помоста.

Кто-то крикнул в толпе на площади:

— Ведомые видоки! через год, а то ближе, другому невесту полой закрыть придетца...

— Там увидим! — ответил еще голос.

Сухой и крепкий, среднего роста, с золотой серьгой — кольцом в правом ухе, поправляя рукой короткий нож на шелковом кушаке, заговорил невестин видок, и голос его зазвенел на всю площадь неприятным и резким звоном:

— Я — Сергей Тарануха! От бельма в глазу званый — Сережко Кривой, в охотниках хожалый с малых лет, — мою саблю нюхали кизылбаши, турчин, татарва и кайдатцкие горцы. Ведаю невесту Олену Микитишну честной девкой, буду сказывать без лжи вам, отаманы, народ весь, и мужу ее Степану Тимофеевичу, что усмотрю: худые дела за ей — не скрою!

Одернув полу красного, с перехватом, кафтана, видок отошел.

— Разойдутся, — суди, кто худ, кто хорош!

— Ладу не будет — не нам судить!

— А ну, целуйтесь, молодые, да потчевайте народ водкой!

Жених с невестой отступили. На помост бойко вошла старая казачка в плахте, в белой рубахе. В морщинистых руках она держала рогатую кику, расшитую по розовому желтыми смазнями [1] с белым бисером. Старая поклонилась жениху, невесту поцеловала в губы и тут же сняла ловко и быстро с головы дочери повязку, скрутила в узел косы и, обнажив шею и уши молодой, прикрыла косы новым убором.

Старая, переменяя убор на голове дочери, говорила громко:

— Уши отомкнула тебе, чтоб мужа слушать! Волосы подбираю, чтоб не мотали, хозяйству не мешали. Люби мужа, Оленушка!

---

[1] Смазни — шлифованное стекло с цветной подкладкой.

Поклонилась молодому в ноги.

— А ты, Степанушко, люби дочь мою... в строгости держи и не греши, коли что худое скажут...

— Буду любить, Анна Андреевна!

В красном бархатном московском кафтане со стоячим козырем, расшитым жемчугом и золотом, на помост медленно, степенно вошел сам войсковой атаман. Фрол передал атаману образ. Молодые поклонились в пояс Корнею Яковлеву и образ поцеловали.

Атаман сказал:

— Буду я вам, Степан и Олена, заместо отца вашего Тимофея Рази и нынче прошу к посаженому и хрестному отцу в дом свадьбу пировать!

Передав образ Фролу, атаман повернулся к народу и крикнул громко:

— Пир на пир — живым, а мертвым — память вечная! Вчера пировали, отаманы молодцы, дела делали, — нынче прошу радость делить с моим хрестником, хрестницей и со мной, их батьком!

Площадь радостно и буйно загудела.

— Вот те тут все, боярин! — сказал Ефим.

Зазвонил жидко старый колокол церкви Ивана Воина. Боярин снял мурмолку, дьяки скинули шапки. Младший дьяк, крестясь, думал:

— Ужели старый в церковь пойдет? Как пес, я жрать хочу...

Боярин по опустевшей площади пошел к церкви.

10

Жгучий день, с белой от света водой реки, ночью затянуло как будто бы стеклянной занавеской. Тени от домов и деревьев легли по белому песку хрустально-зеленоватые. Краски одежд — кафтанов, летних кожухов и пестрой плахты — стали мутно-тусклые. Давно уж большая луна стоит на водянисто-зеленоватом небе. Много огней в доме атамана, — из отодвинутых рам из окон плывут дым и пар. Пьяные казаки, казачки, мужики в лаптях, свитках выходят, шатаясь и тычась, на крыльцо атаманской избы; с крыльца кто ползет, кто идет пригнувшись на двор. А бабы, девки, подпив, собрались под окнами в большой круг, начинают высмеивать невесту:

— Зачинай, односумка!
— Тутот-ка можно!
Одна запевает:

Как у нас-то на свадьбе,
Хмель да дуда-а.
Ду, ду, ду...
Хмель говорит — я с ума всех сведу! —
Дубова бочечка, бочечка, бочечка...
Верчена в ей дырочка, дырочка.
Кто вертел, тот потел да потел.
Степько, ты не потел, да свое проглядел.
Ду, ду, ду, ду, ду, ду.

— Степько, а невеста не придалась! Степько, гони сюда ее, матку — хомут ей наложим, хитрой бабе!
— Зачинай, односумка-а, ты!
— Ще вы, бисовы дочки, по-московицки граете?
— Ой, а московицко жениху любо-о!

Гей у Дону камышинка заломана.
Старым дидом девка зацелована.
Ду, ду, ду, ду, ду, ду,
Дубова бочечка, бочечка,
Верчена в ей дырочка, дырочка-а!

До основания вздрогнуло крыльцо атаманского дома. На крыльце, топнув ногой, стоял жених, кудри закрывали половину лица, на широких плечах поблескивал в лунном отсвете атласный белый кафтан, залитый на широкой груди красным хмельным медом. В правой руке Разина — пистолет:
— Гей, жонки, и тот, кто позорит мою молодую жену!
Толпа женщин хлынула за ворота атаманского двора, но и дальние слышали страшный голос:
— Того, кто кричит лжу, я зову на расправу!
Он поднял опущенную голову, мотнул ею — лицо бледно, над высоким лбом дыбом встали черные кудри.
— Где ж вы, лгуны?
По двору атамана бродили только пьяные. Разину никто не отвечал. Недалеко от крыльца плясала старуха в рваной плахте. Седые, жидкие волосы выбивались из-под плата, закрывали ей лицо: она пела:

Не бийся, матынко, не бийся...
В червоные чоботы обуйся,
Щоб твои пидкивки брежчали,
Щоб твои вороги мовчали.

Помолчав, Разин сказал:

— Не таскать вам, жонки, по городу брачную рубаху Олены... Кто придет за рубахой, того окручу мешком и в воду, как пса! Иное, что старики любят, то мы кончили любить!

Хмуро оглянув двор, Разин ушел в светлицу.

— Уж знать, что кончили! Женихи, бывало, невесты не пили, не ели, а они пьют и едят! — крикнул кто-то.

За полночь было. Шли с зажженными свечами в фонарях, с музыкантами из шести человек, которые играли на дудках. Атаман Корней без шапки, пьяный и грузный, в бархатном кожухе с кованым кружевом по подолу, в узорчатых, зеленого сафьяна, сапогах провожал до дому молодых. Степан, обняв за талию свою невесту в голубой кортели, с золоченым обручем по лбу и волосам, шагал твердо, глядел перед собой и молчал. Молодая склоняла ему на широкое плечо детскую голову с большими глазами, иногда тихо спрашивала:

— Стенько, любишь ли меня?

Разин молчал.

— Стенько, ты слышишь?

— Слышу, Олена... молчу — люблю!

На крыльце хаты крестника атаман поцеловал обоих в губы, сказал:

— Любитесь дети! ночь хорошая — ночь... Эх! — и ушел... Дома всю ночь пил вино.

11

Из хаты, где живет боярин, старые дьяки посланы с поручениями. Даже татарчонок, часто прислуживающий боярину, отослан служить на пиру у атамана.

Окна светлицы плотно задвинуты. Дома — двое: боярин и молодой дьяк Ефим. Перед дьяком на столе длинная клеенная из листов бумага, в руке, для письма, гусиное перо. Откинув на время спесь, боярин сидит рядом с дьяком на скамье, обитой шкурой черного медведя. На пустом столе горят свечи. Боярин думает. Дьяк молчит. Старик оглянул окна в хате.

— Ино ладно, что окошки пузырем крыты: шарпальники, вишь, разумнее в деле сем наших московских, — те слюду, а нынче удумали многие стклянные ставить; рубят дырье в стенах мало не в аршин и обрамление к стклам тонявое приправляют, а все — не к месту.

— Правда, боярин! То не ладно — велики рубить окошки, — тихо согласился дьяк.

— Вот я надумал, — пиши!

— «Государю царю и великому князю Алексию Михайловичу, всея великия и малыя и белыя Русии самодержцу, холоп твой Пафнутко Васильев сын Киприн челом бьет! В нонешнем, государь, году августа 5-го дня, по указу твоему, приехал я, государь, сюда и сел у круга войска Донского на корм к Корпейке Ходневу Яковлеву отаману»... Все ли списал толково?

— До единой буки, боярин!

— «А как, государь, сказался я и взялся доводить до тебя про все и вся, то довожу без замотчанья. Город донской Черкасы, государь, не мал, а на острову, округ — полисад, да порос мохом и инде снизился до земли, башни и роскаты — кои ветхи, а кои покляпились... В городу делены станицы, а курени козацки — в ряд и промеж огороды — сады... Майдан, государь, широк, и на майдану — церква святого Ивана Воина, и мало не розвалялась, а строят, государь, от имени твоего кирпишную, да кладут мешкотно, а образы в церкви у них скудны и не едина образа нет на золотной доске, — все на красках. К церкви, государь, козаки не усердны, ходят как на торгу. Пушек на башнях немного, и думно мне, что донские козаки их пропили, ибо они великие бражники да им от того страху мало, что пушек недочет, — никто на их город не полезет, кому, государь, придет охота смертная в осиное гнездо лик и браду пхать? А на майдану и посторонь сего — лари с розны товары, торгуют парчой и ясырем, имапым в Терках и у калмыки, а торг, государь, ведут кизылбашцы да армяня. Многи шинки, а стоят в шинках жидовя с греком. И как указано, государь, где быти и волю вызволять твого светлого имени...» — Ладно ли слово, дьяк?

— Какое, боярин?

— «Вызволять».

— Мекаю я, лучше — вершить, боярин.

— То слово лучше — пиши!

«...вершить... и как указано мне от тебя, великий государь, и сыскных дел комнатной государевой думы — сыскать заводчика солейного бунта, и я сыскал, сидя ту, и весь их воровской корень, откудова исшел, сыскал же. А корень тот, государь, исшел от прахотного старичонка вора Тимошки Рази, почетна и ведома у них во многих воровских делех: и старичонка того вора, Тимошку, я, государь, убрал и воровской его язык заклепал, а о том, став на светлые твои очи, не утая обскажу по ряду». — То все исписал?

— Все ладно, боярин!

— «И еще довожу и думно мне, что наша ту кормильца-поильца Ходнева-Яковлева я бы, самого взяв, держал под крепким караулом, да силы на то не имею». — Написал?

— Про то про все написано, боярин!

— «С воеводой сноситься — далеко, а ратного уряду, опричь беглых холопишек и смердов, кои в городишке водятся, в сих местах надти не мочно, иных и мочно, да веру дать им опасно... А что, государь, Корнейку отамана я сужу сильно, то сие тако: оный Корнейко примает, государь, купчин с Воронежа, и купчины те воруют, государь, противу имени твоего: наезжают в Черкасской с зельем и свинцом, а та справа зелейная идет по рукам гулебщиков — охотников на воровские делы на Волге и на море, да и старые козаки, стакнувши с самим отаманом, ворам многую справу дают и воровской прибыток дуванят заедино с ворами же. Да оный же Корнейка, государь, имал с Москвы от сестры государыни и великой княгини боярыни Морозовой ковер, шитой к церкви, а шит на ковре «страшной суд» и тот ковер, государь, опялен у Корнейки в поганом месте, где всякие людишки тамашатся, игры играют и где он пиры дает в светлице... А округ нас, государь, едины лишь шарпальники донеские, и хоша имя твое, государь, при нас поминают с почетом, да и непристойных речей говорят немало, а кичатся, что никому же послушны». — Ну, дьяче?

— Еще мало — и все, боярин!

«Заводчика, государь, сыскал плотно — оный Стенька, сын Рази, в сих местах — свой, среди лихих людей самой лихой и пакостной, а Корнейке отаману родня есть и нынче оженился, ежели сие мочно свадьбой звать, а тако: оповестил на майдану

при стечении многого люда себя с девкой живущих в блуде... По-нашему — сие беззаконие, сысканное без пытки, после чего таковых на Москве по торгам водят нагих и кнутом бьют»...

Боярин долго молчал.

Дьяк сказал:

— Писано о всем том, боярин!

— Не спеши — пиши, дьяк, толком: не к месту бук да ерей не ставь, ижиц, знаю я, много лепишь, — и мне смеялись сколь... За таковое, мотри, мой дубец по тебе пойдет, а время приспеет, — и заплечному над тобой потрудиться укажу...

— Были ошибки, боярин! Нынче я письмо познал много...

— Не бахваль!

— «Взять того заводчика Стеньку, государь, силом не мочно, а, думно мне, возьму я ево через Корнейку отамана. Я твой холоп, государь, улещаю оного отамана посулами: «мы-де тебя возведем в почести», и думно мне, государь, что сей Корнейка погнется на нас и вора того Стеньку Разю пошлет на Москву в станичниках, а на Москве, великий государь, твой над ним суд и расправа будет... Прости, государь, твоего холопа, что молвлю слово советливое только брать, государь, как берут нынче на Пскове воров, что свейскую (шведскую) величество королеву лаяли, не годится, — не крепко и людьми убытошно, а, как я прибираюсь — тише и много пригоднее. Не осуди, государь, что якобы бахвалюсь. Я только так к слову сие о псковских ворах молвил. А еще, государь, из сюда довожу, что землю сии козаки пашут мало, а кто из шарпальников належно пахотной, того выбивают из сих мест вон... А пошто у них такое деется, то, слышал я — воевод и помещиков боятца только на Украине, там много пахотных»... — Еще кое-что припишем, дьяк. Все ли по ряду?

— Все, боярин!

— Не оглядел я тебя, как писать зачали, — каки на тебе портки?

— То все ведаю, боярин, за письмом меня пот долит, так я на колешки бархатцы стелил ветхи...

— Смекнул? Ино крашенинными портками всю бы грамоту замарал! Сказывать могу, и не бестолково выходит, а вот подпишусь с трудом... Мы, дьяк, уже зачнем государю писать не

хуже Афоньки Нащокп... Нынче же наладить надо Сеньку дьяка... бородат, ступью крепок и черевист мало... Пущай до Москвы милостыней идет, — с виду голец, с батожком покаличьему доберетца... Надо его ужо обрядить в сукман да ступни и втай переправить через реку... вожа ему не надо, — дорогу ведает. Да еще, Ефим, пиши малу грамоту к воеводам, чтоб не держали ряженого дьяка.

— Так, боярин, всего лучше твою грамоту довести государю ..

За окном зазвенели детские голоса. Боярин сказал:

— Дьяк! кто там воет?

Ефим спешно кинулся и, приоткрыв окно, взглянул.

— Казацки робята, боярин! Вишь, с поля идут, рожи царапаны. Не впервой, — ежедень в бои играют.

Голоса приближались, задорно пели:

Дупай, Дупай, Дупай,
Сын Иванович Дупай;
Ты гуляй, козак, гуляй,—
Воевод лихих не знай...
Гей, Дупай, Дупай, Дупай.

Боярин, вытянув на столе сухую, желтую ладонь, сжал ее в кулак:

— У батек переняли песню? Ужо, шарпальники, землю и спины вам распашем и воевод лихих посадим! А ну, дьяк, перечти-ка грамоту, да подпишусь и припечатаем...

12

Разин сидит в шинке против распахнутой настежь двери. Кудри упали на лицо.. За тем же широким, черным от многих питий столом сидят молодые казаки: Васька Ус и с бледным лицом, с шрамом на левой скуле, худощавый, костистый Сережка Кривой. Мертвый под бельмом глаз прищурен, правый остро и жадно глядит; блестит в ухе кольцо золотой серьги. Пьют крепкий мед из смоляной бочки, что у шинкаря за стойкой. Черноволосый грек зорко сторожит казацкие деньги; ждет, когда крикнут:

— Подавай!

Против дверей вдали — палисад городской стены, ровен с землей — белая полоса берега Дона пылит дымной пылью,

серебряной парчой светится Дон. Ряд боевых челнов застыл чернея четко на рябоватом блеске воды.

— Купчины с Воронежа дадут пороху, свинцу! — сказал Ус.

— А тут они, в городе?

— У сородичей, в Скородумовой, есть все!

— А у меня, браты, есть боярское узорочье.

Разин поднял руку с медным кубком и опустил; затрещала столовая доска, вздрогнули стены от голоса:

— Соленой, меду-у!

Грек выскочил из-за стойки, поставил, поклонившись, железный кувшин на стол:

— Менгун, казаки, менгун...

— Сатана! даром не можно?

Разин кинул на стол талер.

— Узорочье есть, то сказывать нече, — челны набьем свинцом и — гулять!

— Руки есть, головы — на плечах!

— Пьем, браты! Ишь сколь серебра на Дону, простору хочется!

— Браты мы, Степан. Руку, дай руку! — жилистая рука с длинными узловатыми пальцами протянулась через стол. Разин скрыл ее, сжав. Сверху легла широкая лапа с короткими, жесткими пальцами Васьки Уса.

— А тож я брат вам, козаки!

— Пей, допивай!

— Допьем, Степанушко!

— А ты, Степан, опасись Корнея, — не спуста отец твой Тимоша не любил его...

— Сережко, знаю я, все знаю...

— Нынче, Степан, — тебя в отаманы?

— Можно! Иду...

Мимо дверей всех шинков прошел казак-глашатай, бивший палкой по котлу-литавре, висевшей на груди на кушаке:

— Гей, гей, козаки! к станичной батько кличет...

— Зряще ходим мы сколь дней, — круче решить надо, а то отаман опятит!

— Не опятит, Серега, гуляем!...

Встали, пошли, тяжелые, трое...

Молодуха Олена, повязав голову синим платом из камки, косы, отливающие золотом, наглухо скрыла, — на широких бедрах новая плахта, — ходит за мужем, пристает, в глаза заглядывает:

— Ой, Стенько, сколь ден душа болит, — что умыслил, скажи?

Разин — в черном бархатном кафтане нараспашку, под кафтаном узкий до колен шелковый зипун, на голове красная шапка, угрюмые глаза уперлись вдаль.

Старые казаки, взглядывая на шапку Разина, ворчат:

— Матерой низовик, а шапка запорожская, — не гоже такое!

На площади много хмельных, голоса шумны и спорны:

— Стенько, уж с молодой приелось жареное, аль из моря соленого захотел?

— Хороша жена, да козаку не дома сидеть... Олена! она у меня — эх!

Степан слегка хлопает рукой жену по мягкой спине и хмурится, — мелькнуло в головке коротко, но ясно другое лицо: так же трепал на Москве из земли взятую.

— Ну, шапка! — Запорожская шапка высоко летит от сильной руки в голубую высь.

— Слышьте, козаки молодцы?!

— Слышим!

— Кто за мной на Волгу? Насаду рыбу лови-ить?

— Большая рыба, козак?

— Тыщи пуд!

Полетели шапки вверх: Сережкина баранья с красным верхом — первая, вторая запорожская — Васьки Уса.

— Эх, лети моя!

— Моя!

— А наша что, хуже? — лети!

— И я!

— Что, козаки отаманы, сколь шапок, столь охотников!

Звеня литаврой в станичную избу, с площади прошел глашатай:

— Гей, козаки! отаман иде...

Из приземистой хаты, станичной избы с широким втоптанным в землю крыльцом, казаки вынесли бунчук: держит древко — с золоченым шариком, с конским хвостом наверху — старый есаул Кусей, а за ним еще есаулы и писарь. Все казаки и есаулы, как в поход, одеты в темные кожухи, только атаман Корней в красном скарлатном кафтане; по красному верху его бараньей шапки — из золоченых лент крест. В руках атамана знак его власти — брусь [1]. Топорище бруся обволочено черным, перевито тянутым серебром. Все стали близ церкви в круг; сняв шапки, перекрестились. Снял и атаман шапку, входя в середину круга, перекрестился. Когда атаман снял шапку, блеснула в ухе белая серьга, а черная коса с проседью легла на его правое плечо.

Кинув наземь шапки, есаулы положили перед атаманом бунчук и несколько раз поклонились атаману в пояс, — шапки подняли, надели, атаман тоже. Корней Яковлев тряхнул головой, сказал громко:

— Зовите, атаманы молодцы, тех козаков, что самовольством вот уже не один день, не спрося круга, собираются в гульбу...

Круг стал шире, — те казаки, что кидали шапки, встали перед атаманом.

Атаман, опустив брусь к земле, блеснул серьгой, громко спросил, водя глазами по толпе:

— А знаете ли, молодняк-козаки, что в станичной избе есть колодки, цепи, коза и добрая плеть?

— Знаем, батько!

— Кого в атаманы взяли для гульбы?

— Стеньку Разю — хрестника твоего!

— А ведомо ли вам, козаки, что круг тайно постановил?

— Нет, батько!

— Так ведайте. На тайном кругу Степан Разин взят старшиной в зимовую станицу на Москву есаулом. Почесть не малая ему, и загодя хрестник поедет, привезет от царя на всю реку жалованье, да о вестях наказать, что писали к нам воеводы из Астрахани: «куды будут походы царя крымского с его ратью?» — о чем через лазутчиков мы накрепко проведали. А еще узнать в Москве — время ли от нас чинить турчину по-

[1] Брусь — особый длинный молоток — знак воспачальника.

мешку или закинуть? О том сами мы неведомы, а потому я, атаман, приказую вам, молодняк, забыть о моем хрестнике, и так как вы по младости неведомы тайных дел круга, то вины ваши отдаю вам без тюремного вязеня и не прещу, козаки, гулять — иссстари так ведется, не от меня, что козак — гулебщик... И ведаю: не спущу вас, самовольством уйдете. Посему берите иного атамана, — гуляйте в горы, в море, куда душа лежит...

— Добро, батько! Благодарствуем.

— Берем Сережку!

— Кроме хрестника — не прещу! Ты же, Степан, не ослушайся круга, круг не напрасно под бунчук вышел: иди домой и исподволь налаживай харч, воз и кони, — падет снег, старшина позовет.

Разин молча махнул шапкой, выйдя из круга, обнял жену.

— Домой, Олена!

Олена сорвала плат с головы, махала им, поворачивая радостное лицо в сторону атамана. Атаман пошел в станичную избу, только на крыльце, отдав брусь есаулам, снял шапку и в ответ на приветствие молодухи помахал.

— Иди, жонка! Продали меня Москве, а ты крамарей привстишь.

— Ой, Стенько, сколь деньков с тобой!.. Спасибо Корнею.

— Женетяя душа и петли рада!

Плюнул, беспечно запел:

Козаки гуляют,
Да стрелою калепой
За Яик пущают...

Опустив голову и скрипя зубами, скомкал красную шапку в руке:

— Дешево не купят Разю!

— Ой, Стенько, боюсь, не скрегчи зубом... ты и во сне скрегчишь...

МОСКВА БОЯРСКАЯ

1

Светловолосая боярыня сорвала с головы дорогую, шитую жемчугами с золотом кику, бросила на лавку.

— Ну, девки, кто муж?

— Тебе мужем быть, боярыня!

— Муж бьет, а тебя кто бить может? Ты муж...

С поклоном вошла сенная привратница.

— Там, боярыня Анна Ильинишна, мирской худой человек тебя просит.

— Черпцов принимаю... иным закажи ходить ко мне.

— Был-де я в черпцах, ведает меня боярыня... слезно молит.

— Кто такой? — веди!

Привратница ввела худого, тощего человека в рваном кафтане, в валеных опорках. Человек у порога осел на пол, завыл:

— Сгноили, матушка княгиня! Лик человечий во мне сгноили, заступись.

— Кто тебя в обиде держит, Василий?

— По патриаршу слову — отдали боярину головой в выслугу рухляди!

— Какой рухляди?

— Ой, милостивая! Ни душой ни телом не виноват, а вот... Поставил, вишь, на наше подворье боярин Квашнин сундук с печатьми, в сундуке-то деньги были — тыща рублев, сказывает, да шапка бархатная с дужкой, с петелью большой жемчужной, да ожерелье с пугвицы золотными, каменем. И все то с сундука покрали. А я без грамоты, мужик простой, — едино, что платье монастырско... И не мог я к боярину вязаться — оглядеть дать, что там под печатьми, цело ли?.. И ни душой ни телом, а по указу патриарха содрали с меня черное, окрутили во вретище, выдали боярину, а Квашнин Иван-то Петрович, озлясь много, что не по сво праву суд решил, что не можно ему с монастыря усудить тое деньги его и рухледи, говорит: «Буду я на тебе, сколь жив ты, старой чорт, воду возить с Яузы, кормить-де не стану, — головой дан, что хочу — творю по тебе!» И возят, матушка, на мне замест ключи не воду, а навоз — в заходе ямы, и стольчаки чищу и всякую черную работу. Приставлень — бьют батоги, не кормят, не обувают. Вишь на мне уляди ветхи, так и те из жалости купец гостиные сотни Еремов дал, что ряды у Варварских ворот... А Квашнин боярин, не оправь его душу, как бывает хмелен, в шумстве,

а бываст с ним такое почесть ежедень, — кличет меня, велит рядить в скоморошью харю, рогатую, поганую, велит мне играть ему похабные песни да ползучи лаять псом, а голосу мово не станет — пинками ребра бьет и хребет ломит чем ни попадя... Боярыня же его — Иванова, Устинья Васильевна, пьяная, в домовой байны, что у них во дворе у хмельника, — раз, два в неделю, а и более, лежит на полке, девки ее парят, да зовет меня тож парить ее, а в байны напотдавано, аж стены трещат, я и малого банного духу не несу, с ног меня валит от слабости, сердце заходитца и как полоумный я тогда деюсь. «Парь, сволочь! игумна парил — парь, я повыше буду». И паришь, а она экая, что гора мясная... И тут же в байны все неминучее в бадью чинит и тайные уды именует по-мужичьи. А воду таскаешь до того, покеда не падешь, а падешь — в байны ли, в предбанике, она из тое бадьи велит меня окатить и кричит криком матерне: — «Вот-те, голец, благодать духа свята!» А вретище не велит скидать, паришь ее в одежке... И бредешь, не чуя ни ног ни главы после всего того, в угол какой темной, дрожишь дрожмя, весь зловонной да пакостной, свету божью не рад и не чаешь конца аду сему... Хоть ты, светлая княгинюшка, умилостивись над стариком.

— Не княгиня — боярыня я, Василий! Но как я вступлюсь! Сам знаешь: противу царя да патриарха сил нет.

— Ой, матушка княгинюшка! Попроси боярина Борпса Ивановича, — пущай Квашнина боярина уговорит: пошто вымает из меня душу? Пошто гноит во мне лик человечий?

— Не забуду, Василий. Иди, скажу Борису Ивановичу!

— Земно" и слезно молю, матушка!

Старик ушел.

— Ну, девки, зачинай...

— А вот те скамья, боярыня, ляжь-ко, ручки сложи.

Боярыня легла на скамью, крытую ковром, к правой ее руке девки положили плеть. Встали кругом скамьи, запели:

Мой-от нов терем
Растворен стоит.
Мой-от старой муж
Во гробу лежит...
Мой-от старой муж
Из гроба встает,

Из гроба встает,
Жонку бить почнет...
Стару мужу я
Не корилася...

— Вставай, боярыня! Бей плеткой жену.

В горенку вошла мамка Морозовой, крепкая старуха с хитрыми, зоркими глазами. Она — в кике с крупным бисером, в коричневом суконном опашне, расшитом по подолу светлыми шелками.

Стуча клюкой, кинулась на девок:

— Курвы! Трясуха вас бей, ужо как пожалует, возьмет боярин, на съезжую сдаст,—там не так плетью-то нахлещут, а ладом да толком... И тебе, матушка боярыня, великий стыд есть дражнить боярина Бориса-то Иваныча. Холит, слушает во всем тебя, — налюбоваться не знает как, — еще, прости бог, скоро кноту закажет да молиться тебе зачнет. Пуще ты ему самого патриарха... А кто тебе дарит листы фряжские, говорящих птиц заморских и узорочья? Ты ж, Ильинишна, и мало не уважишь боярина, ишь — игру затеяла! Ведаешь, что боярин зато и седеть стал, что печалуется, как лучше угодить тебе?.. Ведаешь, что слова о старом муже не терпит, а как разойдется в твой терем да послушает, да озлится, — тогда что? Мне гроза, — тебе молонья?

Старуха замахала клюкой и снова кинулась на девок:

— Пошли отсель, хохотухи, потаскухи!

— Ну, мамка, не играем боле, не гони их, а вот пришла, так сказку скажи, мы и утихнем...

— Сказку — ту можно... Отчего, мати Ильинишна, сказку не сказать!

Мамка с помощью девок залезла на изразцовую лежанку.

— Скамлю дайте!

Девки поставили скамью, старуха на скамью плотно уставила ноги, склонила голову, упершись подбородком на клюку, заговорила:

— Жил это да был леневой мужик, и все-то у него из рук ползло, никакая работа толком не ладилась... Жил худо и вдово, — бабы замуж за него не шли... Была у того мужика завсегда одна присказка: «Бог даст — в окно подаст!» Спит это леневой мужик, слышит, во сне говорит ему голос: «Ставай,

Фома! Иди за поле, рой под дубом на холму, — клад выросшь»... Проснулся леневой мужик, почесался, на другой бок перекатился и опять храп-похрап. Сызнова чует тот же голос: «Ставай, Фома, иди, рой!» Сел мужик на кровати, а спать ему — любое дело... клонит ко сну. За окном и заря еще не брезжит, второй кочет полуночь пропел.

«Пошто я эку рань!» Лег и опять спит, а голос это в третий раз зовет, да будто кто мужика в брюхо пхнул. Встал-таки леневой, ступни обул, завязал опорки, в сенях это лопату нашарил и с великой ленью на крыльцо выбрался. А у крыльца это стоит купчина корыстной, — всю-то ночь сердешный маялся, не спал, ходил да от лихих людей это анбары свои караулил, — и спрашивает леневого:

«— Пошто ты, Фома, экую рань поднялся?

«— Да вот, — сказывает леневой, — сон привралея трижды:— «Ставай, поди рой на холму на заполье клад». А мне до смерти неохота иттить... Вишь, — сон, кабы человек какой сказал про то, што дело!

«— Давай схожу! Озяб. Покопаю, согреюсь, — говорит купчина, а сам это на зарю глядит, думает: «Скоро свет. Лихих людей не опасно»...

«Отдал мужик купцу лопату, сам это в избу — и спать. Купчина холм сыскал, дуб наглядел, — рыл да рыл и вырыл дохлую собаку.

«Обозлился это купчина:

«— Где — так разума нет, а над почетными людьми смеяться рад? Так я уж тебе! — И поволок, моя королевна, заморская мати, тое пропадужину в деревню, волокет, а в уме держит:

«Тяжелущая, трясуха ее бей!»

«Приволок это купчина под окошко леневому Фоме да за хвост и кинул дохлое, а окопце над землей невысоко — угодил в окно — раму вышиб и думает:

«На ж тебе, леневой чорт!»

«Пала собака на избу и вся на золото взялась, — от стука скочил это Фома:

«— Никак мене соцкой зачем требует?

«И видит — лежит по всей избе золото... Почесался мужик, глаза протер, — сказал, — «Значит это, — коли бог даст, то и в окно подаст».

— Ох, мамка! Лживая сказка, а потому лживая, что мало бог подает... Ныне же приходил ко мне старик Василий, боярину Квашнину патриарх его головой дал, а боярин довел старика, что еле стоит. И думаешь, не молился тот Василий богу и угодникам всяким? Да что-то ему не подает бог!

— Ты, мати Ильинишна, королевна моя, пошто такое при девках сказываешь? А ну, как они сдурна кому твои слова переврут, да их поволокут, а они повинятся: «от боярыни-де тое речи слышали». Патриарх да попы народ привязчивый, за веру не одного человека в гроб уклали...

— Ништо со мной будет, мамка, а вот скушно мне! До слез скушно...

— Ой, о боге, королевна, заморская мати, не кощунь так! При чем тут бог? Кому что сужено, то и корыстный купчина не уволокет, а к дому приволокет... старику же тому, видно, планида — в беде быть. Не любит народ монахов, ныне еще жалобились государю: «Народ-де в нас палками кидает, когда идем круг монастыря с крестом, с хоругвью». А кого народ не любит, тот и богу не угоден.

— Не любит, мамка, народ воеводу, бояр не любит, — значит, и бог не любит их?

— Ах, мати Ильинишна! Запутала ты мою старую голову... Воеводы, бояре царю служат, монахи богу, а что деют? На виду пост постят, втай творят блуд, а корыстны, а народ в крепость к монастырям имают, а деньги в рост дают. И давно ли то время ушло, когда монахи-черницы шумство великое водили, на ярмонках водкой торговали? Видно, тому Василию так и надо...

— Да, мамка, кабы тот старик игумном был! А то простой мужик, неграмотной, от воеводиных потуг, может, и в монастырь шел, а сказка твоя ленивого хвалит, — ленивый и сказку уклал.

— Того не ведаю, Ильинишна! Что придумалось, то и сказалось...

— И невеселая... Лучше поведай-ка, что на Москве слышала?

— Ой, уж вот, моя королевна, нашла веселого в Москве! Скажу, только слушай: перво — питухи с кабаков шли да на бояр грозились, а их за то сыщики Квашнина боярина в Земской волокли батоги бить... Да жонке блудной, — Улькой звать, — голову ссекли: родущего своего удушила. Москва — она завсегда

такая — что в ей веселого? В Кисловке царицын двор — и трое вороты, у них решеточные сторожи, а кабатчика да питухов сыскали, да вдову Дашку, царицыну постельницу, изловили — поди ты и ее, Ильинишна, знавала? — ера такая, развеселая, говорливая...

— Знала Дарью, — жаль, что с ней?

— Ширинку государеву заговаривала, будто и царицын след вымала...

— Мучат людей по наговорам пустым, — не верю я, мамка, в порчу!

— В порчу не веришь? Ой ты, королевна писаная, порча — лихое дело! Ну, еще про веселую Москву тебе скажу. В слободе, что от Арбатских ворот до Никитских, все псцы перерыли, — сыскались там грабежники многи, а ставили воры шарпанное на пустой немецкий двор, что стоит за Никитскими вороты, а грабежникам подводчики были: решеточный сторож с Арбата да пристав Судного приказу, — подвочили на тех, кого грабить. Кнутобойство им великое ныне да по битой спине веники огнянные парят...

— Ой, мамка! Как много этого кнутобойства!.. Одного худого сыщут, — десяток невинных убьют...

— И, мати Ильинишна, а как по-твоему — воров надо миловать? Сытой их медовой поить да по головке гладить?

— Говорила я Борису Ивановичу: худо это — бить. А он мне: «берем меру из-за моря, — там людей пытают и жгут покрепче нашего»... А все оттого худо у нас, что ничего мы не знаем ни о солнце, ни о небе, ни о вере чужой и народе не нашем — попы нам знать о том не дают... Скажи, послов каких не видала ли?

— Нету новых, мати Ильинишна. Немчины — так те давно живут, а кои из них нынче в кизылбаши поехали, да тут кой день донецкие казаки станишников своих прислали к государю за жалованьем, за хлебом, справом всяким... Да стой-ко, мати Ильинишна! Давно я тебе сказать ладила, а все с языка увертывалось: народ молыт, есть-де с теми станишниками тот, что в солейном бунте был и шарпал тогда сколько добра твоего, морозовского, а был он в атаманах... Вот бы проведать ладом те речи, поразузнать людей, которые приметы его помнят, а ты бы, мать, словечко шепнула боярицу Борису-то Иванычу, уж боярин сыщет через Квашнина, Ивана Петровича, тот в

Земском сидит... Коли заводчик тута, а сыщут его, то честь-то тебя какая будет? Первая проведала! Сам бы царь-государь тебя за твое дело возвеличил.

— Ты, мамка, мекаешь, что для поклепов людей на Москве мало? Думаешь, что меня там недостает? Говоришь, — тот, что в солейном был атаман?

— Тот, моя королевна, тот!

— Вы, девки, подите к себе! Играть сегодня не станем.

Девки ушли. Боярыня сама заперла за ними дверь в светлицу, вернулась, села на скамью к ногам мамки, опустила голову.

— Голову вешаешь, и очи мутны, уж не сглазил ли тебя кто, моя Ильинишна, — скажи-ко?

— Пустое это, не верю я в призор, мамка!

— Призор-от пустое? Нет, голубушка. Худой глаз — спаси бог.

— Не любит меня никто, мамка! Душно, скучно в тереме... на волю бы куда... Хоть с каликами, что ли, подти?

— Да ты с чего это, моя королевна? Что ты, Ильинишна мать? Да нешто мало тебе любови, ласки от боярина Бориса-то?

— Горючее у меня сердце, мамка, как смола на огне,— сжигает меня мое сердце, а стар ведь он, муж...

— Ты сгоряча, дитятко, не скажи ему такого, — спаси бог! Любит он тебя, собой не дорожит, — во как любит! И я тебя люблю... с малых лет люблю... Царицу-то Марью мене люблю я... Ты мной нестована, байкана.

— Живи, мамка! Пошто тебе за меня помирать... А вот скажу,— боярыня подняла голову, — говоришь: «Взведи поклеп на казака, что в солейном бунте был». А мне вот его охота видеть здесь у себя в светлице, — спросить обо всем самого...

— Да ты сотвори, боярыня, Иисусову молитву, — змия-аспида зреть своим глазом хошь! Как он убьет тебя? Ведь он ведомой душегуб, ежели он тот атаман солейной станишник, шарпальщик... огонь заразительный, болесть лютая — трясуха его бей!

— Чуй, мамка! кабы не тот казак, меня бы тогда убили: он не дал... Не убили бы, спалили терем... Я же была недвижима... Теперь мне памятны его слова: «Спи, — не тронут,

не спалят!» Больна я была, но парчу, каменья дорогие и лица видела ясно, яснее, чем ныне вижу... Глаза его помню, — страшные глаза...

— Как же ему, боярыня Ильинишна, тебя было не сохранить? Такое затеял, грабежник! Еще бы — рухло боярское расхитили, да еще бы и тебя хворую кончили...

— Кто грабит, мамка, тот не думает и не боится, — в толпе грабителей одного виноватого нет: вся толпа виновата и не виновата... как хошь суди...

Боярыня снова уронила голову на грудь. Старухе показалось, что она плачет.

— Ой, что ты, Ильинишна? Уж не привести ли тебе колдовку Татьянку? Может, наговор какой? Вот уж истинно, что и золото тускнеет и жемчуг бусеет порой.

— Хочу глянуть на него! Может быть, расскажет мне такое, что я развеселюсь, успокоюсь, — ведь он — не мы! Он вольной — в горах, в море бывал, в степи без конца-края... горы выше облаков! Море — океан неведомый — степь — целый свет голубой да зеленой, и всякая там тварь живет, малая и большая... Барбы [1] полосатые... в облаках орлы, — крылы сажень, а клюв что железной.

Боярыня порывисто встала, начала ходить по светлице.

— Приведи его, мамка! сыщи... хочу его видеть... Подарю тебе, что попросишь, и поверю, что жалеешь, любишь меня. Хоть ты люби меня... Девки те — я вижу — прелестничают, кланяются, а боятся меня и не любят.

— Ой, ты королевна моя! немысленное говоришь, а как проведает про то, что ты через меня в светлицу водила шарпальника, Борис-то Иванович? А что проведает, — то, скажу тебе, все ему будет сказано и что меж тобой и разбойником говорено было. Ежели, мать, не пустое народ говорит, что он — тот атаман солейного бунта, так ты думаешь, бояре без пытки его оставят? Да век такого не бывало, а как он под кнутом да огнем висеть будет, думаешь, не скажет, где у кого был и что с кем говорил? Тогда мы куды денемся?.. Ну, ты-то, пожалуй, за стеной, — боярин-муж заступится, а я куды? Страшно ведь на виске жисть без покаяния кинуть! Ведь я, что былинка на

[1] Барб — барс.

ветру, — одинока, и душа от страху улетит. Ведь бьют-то с трех кнутов, — из человека кровь — с головы до пят!

— Я за стеной, сказываешь ты, ты за мной, — я твоя стена! Никого, ничего не боюсь... Боюсь сидеть в терему, с тоски пить меды хмельные, шить без толку, без надобы в пялах, или по церквам ходить, попов да нищих слушать — и то много опостылело душе. Любишь меня, мамка, то иди за меня — сыщи, приведи его скоро!

— Вот я на свою голову глупую нажила беду — вынь да положь! Ума ты решилась, Ильинишна... А где еще те казаки живут? Может, стоят в слободе дальной, ино они, казаки, — не мы, господские люди... подлюсь станут они смирнехонько в хоромах сидеть, — чай все разбрелись по Москве! Ночь лихих людей не держит, а манит... Колоды, решетки в улицах — нипочем, сторожи их боятся... С пистолем, с саблей такого не поволокешь в губную избу, да и сами-то сторожи — им потатчики... А где продтить нельзя, там лихой человек пустым двором пролезет, — сказывали люди... Сыщи-ка скоро такого казака... Нет, Ильинишна, королевна, не спеши, потерпи с эстим свиданьем...

Боярыня топнула ногой.

— Хочу видеть скоро! хочу! — она прилаживала кику, взятую с лавки, на голову, бросила кику о пол: — чуешь меня, мамка!

— Чую, королевна заморская! Чую, Ильинишна... Смысленого кого налажу за тем змием в ход. Господи, прости, вот напасть-то навела себе на голову, а страх на душу старую!.. Ой, мне беда немилучая, — иду, боярыня!

Стуча по полу клюкой, старуха спешно ушла.

2

Беззвучно, плотно пригнетал к полу ноги в сафьянных сапогах без подковок, вышел из дальних горниц Юрий Долгорукий. В столовой горнице с синими без цветов стенами, между окон, у горок с серебром, стояли два молодых подручных дворецкого в белых парчевых терликах. У стола застыл неподвижно сам дворецкий — седой, почтенных лет. На столе много трехсвечных шандалов. Стол голубеет скатертью из камки,

концы скатерти шиты серебряными травами с золотыми копытами. Воевода, перекрестясь, сел к столу, ястребиные глаза скользнули по золоченым братинам и кушаньям на серебряных блюдах. Он, видимо, нашел все в порядке: одно лишь молча показал рукой в перстенях — на огонь свечей. Дворецкий бойко отыскал в кармане доломана съемцы, торопливо снял нагар.

— Сказать холопям, что у дверей: боярина Киврина пустить,— иных никого!

— Указано, князь!

— Чтоб проводили боярина сюда!

— То им ведомо, князь.

— А столбов тех пошто наставил? — воевода повел рукой в сторону слуг у серебра.

— По чину, боярин-князь!

— Сегодня без чина.

— Подьте вон! — махнул молчаливым слугам дворецкий.

— И ты, Егорка, за ними: позову, — жди!

Дворецкий поклонился, касаясь пальцами пола, ушел. Застучал посох, и, сгибаясь в низкой двери, гость сверкнул лысиной.

«На то дверь низка, чтобы хозяину кланяться...» — подумал Долгорукий.

Шумя парчевым широким кафтаном, в горницу пролез Пафнутий Киврин, выпрямился, опираясь левой рукой на посох, правой перекрестился на кнот с образами в углу, сказал негромко:

— Челом бью! Здоров ли, князь и воевода?

— Спасибо. У меня без мест — садись, боярин Пафнутий Васильич: гостю рад.

— За экую благодать пошто не сести? Сяду, князь Юрий... Желтая рука Киврина простерлась в сторону яств.

— Ну, уж коли то благодать, надо почать с нее, — вот фряжское, боярин!

— Ой, князь Юрий Олексеевич, чем почествуешь, того съедим и изопьем.

— Чествую всем, во что, боярин, твои глаза глядят и куда рука забредет. За моим столом не будь гостем, будь хозяином. Служить некому, холопей услал я: лишнее ухо нашим сказкам не должно внимать...

— Ой, и разум у князя Юрия, вот уж люблю таких! Такими, как ты, князь Юрий, жива наша мать Русия...

— Пей спце, боярин Пафнутий! Мне наливать далеко, — трудись сам.

— Пыне много пить не могу, князь Юрий, — годы — столь ли веком пил? а теперь — чашу критского — и аминь старику.

— Не государев ли на тебе кафтан, боярин?

— Добротная парча и соболь молью не бит — югорской. Дай бог государю-царю веку и здравия: не забывает холопа Киприна Пафнутку. А на тебе, князь, кафтан становой с большим каменем, то, вижу, родовой Долгоруков?

— Родовой. Узнал, боярин. Ну, Пафнутий Васильич, — за царское здравие!

Князь встал с чашей в руках, встал и старик — волчьи глаза спокойно глядели в лицо князя.

— За государя царя и великого князя Олексия Михайловича, князь, пью!

Выпив, оба перевернули пустые чаши себе на голову.

— Пью за царицу, боярин!

— За царицу и великую княгиню Марию Ильинишну! Боюсь, князь Юрий, не упомнит старая голова, что хочу довести тебе и от тебя послушать.

— Доведешь! За царицу пью, боярин.

— За ее здравие, князь Юрий!

— Надо бы за род государев, но боюсь огрузить. Сядем-ка, Пафнутий Васильич.

— Сядем, князь Юрий, и вот уже хмелен я!

— Зазвал я, боярин, на вечерку не спуста... Ивашка Кашнин много ропщет на тебя, Васильич... Он подбивает известями в том же Морозова... Морозов, — сказывать нече, — свой у государя, и Морозову, тоже ведаешь ты, дана воля от царя вершить дела разны...

— Того дознался я, князь Юрий, — одна не поспал: почто Ивашке Кашнину надо в голову на меня грызтись?

— Неведомо тебе, боярин? Я ведаю...

— Слушаю, князь.

— Сказывает Ивашка, что ты, боярин, любы сыскных дел людей у него, кто пригодисе, переместываешь и по все дни сыскные вступаешь.

— Ну, не охул ли то, князь Юрий? Куды я лезу? Мои людишки — пастрого опознано — не зовутся сыскных дел приказу... Зову я их исцами... Истец — слово всем ведомое, и по слову тому — делы, а тако: вязнут мои людишки как исцы с тяжбой — татиные мелкие порухи ведают, явки подают воеводам, где случится, сами николи не вершат... Квашнина люди ведают много «слово государево», и платьишко на людях показует их власть. Квашнина люди в кафтанах стрелецких цветов: будто Яковлева головы приказу — в червчатых, иные в голубых — приказу будто те Петра Лопухина, и шапки стрелецкие, едино что без бердыша... На моих — скуфьи шапки, на плечах сукманы сермяжные, домашняя рядинна и протчая ветошь мужичья.

— В то не вникаю я, боярин, но упреждаю: хочет тебя Морозов охаять перед государем. Охулка пойдет с того, что-де «грамота Киприна многую лжу имеет»! В отъезде грамота писана тобой, а какая, того не пытал я.

— Вот спасибо, князь Юрий! Грамота не иная, как та, что писана мной с Дона о шарпальщиках. Вот уж свой ты мне, князь Юрий! Свой, близкой...

— И ты, боярин Пафнутий, мне свой!

— И еще спасибо, князь Юрий Алексеевич...

— Русь, Васильич, оба мы любим!

— Ой, уж что говорить! Любим, князь Юрий, и хотим роду царскому благоденствия и служим мы с тобой, Юрий Алексеевич, не для ради чинов, посулов и жалованьишка, — ведь я стар и один, на што мне диаманты и злато? А слышь-ко старика, князь!

Киприн оглянулся кругом, подвинулся на скамье, заговорил тише:

— Давно ли, князь, был у нас тутотка солейной бунт? Нынче еще не загас бунт во Пскове, переметнулся в Новгород, и много бунтов я вижу, когда в пытошной башне секу и жгу воров, — много, князь! А потому их много, что воеводское кормление и судейские посулы из смерда выколачиваются безбожно сугубо, а государю про все про то мало ведомо... Разве, князь Юрий, один на Руси судья Плещеев, коего черть растащила на Красной по суставам? Ой, не один! Свои же, кто над воеводами оком государевым ставлены, таят их делы... Вот

тоже в Арзамасе на будных станах [1] боярина Морозова поливачи да будники в ярыгах, а спят где? В хлевах скот басче пасется... Корм им — мясо с червью, хлеб с песком... Рядинна на плечах от поташа горит, одежка своя, а где ее взять? Что заработают — до гроша в кабак: «питухов от кабаков не гоняти» — закон! Да они на Волгу поташ в бударах правят... А Волга — ширь, разбой. Казаки — о бок, стрельцы беглые... По Волге кабаки деньгу ловят, что ни село — кабак!.. Это, князь, не огонь для бунтов?

Долгорукий мрачно улыбнулся:

— Стар, боярин, а далеко зришь.

— Не молод, князь Юрий, да, видишь, не спуста дано прозвище мне «волчий глаз». Не приметили только, что и нюх мой тож волчий: вижу, князь, по Руси далече.

— Водка, кровь, страх, — много, боярин, с крамолой пособника не надо, водка, руки, ноги вяжет — пытка, огонь, кнут... и вино...

— А я сужу, князь, кто опился — какая от него подмога, работа какая?

— Так думаю, Васильич, и думать буду и говорить: водка язык даст и дела тайные откроет!..

— Ну, ино кинем!.. Ты, князь, ведомый гаситель бунтов, не у меня учиться тебе... И знаю, что надумаешь, князь, то не кичливой головой спуста, а светлой, и ежели будут вместе мои малые советы, а твои думы, князь, то оберегем много царя от тех, что без разума на вид забегают...

— Ты, боярин, обещал поведать особое.

— Вот вишь, князь Юрий, слова твои — что сон в руку. Квашнин Морозова подговорил, и Морозов уж подходил к государю, — да не тот был час, — сказать ладил: «Киврин-де много о Дону исписал нелепое». А ты верь старику, князь.

— Верю, боярин!

— Что же я напусто жил, время играючи изводил с казаками? Не щадя головы пасть был готов с камнем в воду? У шарпальников это скоро...

— Слушаю, боярин.

— Живя там, князь Юрий, познал я их воровской корень,

---

[1] Будные станы — поташные заводы.

а корень тот от имени государя я вырвал, да у него пущены три отростеля: Иван, Степан и Фрол — Разины... Не ведаю Ивана, Фрол еще детина млад, а Степана, князь, знаю... ой, знаю! Сущий заводчик бунтов: таких надо имать и изводить... Такие, князь Юрий, содрогают землю! Ты, князь, ныне не у дел, неведомо тебе от Сыскного приказа и поди не знаешь, кто завел солейной бунт?

— О приметах заводчика слыхал, да то без меня шло...

— Солейной бунт завел Степан Разин. Тайным обычаем от государя был я посылан на Дон по сыску заводчика... Вот тут зримо, пошто Ивашка Квашнин грызется, через Морозова прознал: «ему-де удалось оное».

— Сказывай, боярин, и я кое-что доведу тебе!

— Да сказал я все, Юрий Олексиевич... Мало не сказал, что харчился у отамана Ходнева-Яковлева Корнейки, что оного Корнейку сговорил послать того заводчика Стеньку на Москву. Ведомо, знаю, князю, что ныне к Москве зимовая станица пришла, и заводчик есть в есаулах той станицы... тако все...

— Имею я довести тебе, боярин, — вот: в ляцкой войне [1] в моем стане служил в станичных атаманах Иван Разин...

— Князь Юрий, а где же он ныне?

— Слушай дальше, боярин! Подговаривал тот Разин казаков, что, дескать, «напрасно мы тут время изводим: побьем воеводу — дорог на Дон много». Прознал я его помыслы и сговор, — воровского того атамана взял под караул, а рядовых казаков отпустил без обиды...

— В твоих ли руках, князь Юрий, ныне оный воровской атаман?

— В моих, боярин... И кончать с ним я не торопился, никто не ведает того, где он, что с ним... Мекал я кончить скоро, передумал,— нет ли от него корней во Пскове или на Волге? Теперь знаю: завтра передам Ивана Разина тебе в Разбойной, и ты верши с ним, но не без пытки, Пафнутий Васильич.

— Экое счастье! Сама благодать в мудрости твоей, князь Юрий. Так выпьем же за твое долголетие, Юрий Олексиевич, и не боюсь я, старичонко, что захмелею, что надо мне еще делы

---

[1] Ляцкий — ляшский, латышский.

вершить, — толково берусь дослушать все, не как бражник кабацкой... Свет тебя неизреченный осиял...

— Вот, боярин, критское, две чаши, — ну, во здравие!

— Ой, князь! то не гоже, позвоним-ка сперва чашами в твое долголетие?.. Вот так! пью...

Старик хлебнул чашу крепкого вина, упал на скамью, закашлялся, схватил со стола чего-то, сунул в рот, медленно прожевал, отдышавшись, заговорил:

— И вот чего, князь Юрий, худым умишком я надумал: ладнее, чем нынче, время не искать! Покуда не охаял меня Морозов государю, — взять заводчиков Разиных — вершить?

— Думаю о том же и я, боярин!

— Ивашку, князь, дошлешь, а Стеньку мои люди сыщут, сволокут в Разбойной... Ой, вишь, пора мне, Юрий Олексеевич, и без ны сидел с тобой, да заплечные работы ждут.

— Трудись о Руси, боярин, на дорогу прими совет!

— Все принимаю, князь, только скажи!

— С Ивашкой Разиным не чинись, — верши... Отписку по делу тому дадим государю после, — беру на себя. Другово хватай тайно, без шума. Ранее, чем кончить с бунтовщиком, доведи боярину Морозову: «так-де и так — заводчик соленого сыскан, суд вершим, отписку по делу — после пытошных речей»... Тихо с бунтовщиком надобе оттого, что послан он войском, чтоб не было на Дону по нем смятенья, — в чем, коли будет такое, обвинят, очернят нас...

— Так, князь Юрий! так, то истинно...

Боярин вышел. Князь, проводив боярина до дверей горницы, крикнул:

— Егор! наряди людей, боярину к возку огонь, в пути стражу..

Из глубины комнат голос ответил:

— Не изволь печись, князь!

3

— Православные! У нас пироги, пироги горячие с мясом — лик, утробу греть... зимне дело...

Торговец около лотка приплясывает в больших запушенных снегом валенках, поколачивает о бедра кожаными рука-

гицами. Бородатая толпа в заячьих кошулях, в бараньих шубах проходит мимо... иные в кафтанах, в сермяжном ряде.

— Пироги-и с мясом!

Из толпы высовывается острая бороденка:

— Поди со псинкой пироги-то?

— Ты, нищий, сам поди к матери-и!

— Кому оладьи? Вот оладьи! — кричит бас от другого лотка.

Толпа месит снег валенками и сапогами, торговцу с оладьями задают вопрос:

— Должно, перепил, торгован?

— Я, чай, русской, не мухаммедан — пью!

— Песок, крещеные, с горы Фаворской с Ерусалима! От кнутобойства и от всяких бед пасет...

— Эй, черна кошуля! Продавал бы ты мох с «Балчуги» в память первого кабака на Москвы...

— Еретик! Не скальея над святым, ино стрельцов кликну.

Все глубже по узким, кривым улицам снег. Прохожие черпают голенищами валенок белую пыль, садятся на выступы углов, на обмерзшие крыльца, выколачивают валенки, переобуваются... А то бредут почти разутые в дырявых сапогах, в лаптях на босу ногу, — этим все равно.

В уступах домов — много торговцев с лотками: продают большие пряники на меду с изюмом, сухое варенье из черной смородины, похожее на подметки, калачи, обсыпанные крупной мукой. Между черными домами, крытыми тесом, с узкими слюдяными окнами, в широких прогалках деревянные заходы — шалаши с загаженными стольчаками. Вонючий пар висит по сторонам улиц.

Нескончаемо предпразднично гудят колокола, и звенок гул над низкими домами, а из Кремля, с вышины, из высоких соборов — свой особенный мрачно-торжественный гул.

Порой врывается шум мельничного колеса, иногда жалобный вой бездомов-нищих от ближней церкви.

— Ради бога и государя-а — милостыньку! Прохожие, крещеные, по душу свою и за упокой родни...

Толпа бредет густо, лишь кое-кто встают у лотков, пьют кипяток с медом, едят пироги, глотают оладьи.

— Избушка!

Едет на высоких полозьях карета, обтянутая красным сукном.

Из кареты в слюдяное оконце видно соболью низенькую шапку с жемчугом и накрашенное пухлое лицо. Карету тянут пять лошадей, на коренном без седла парень в нагольном тулупе, без шапки, взъерошенный, в лаптях на босу ногу.

— Дорогу-у боярыне!

— Везись, дыра, до чужого двора!

Около кареты топчутся челядинцы.

— Еще бы проехала такая!

— Воину итти легше, — отоптали!

Толпа слегка сжимается, уступая дорогу волосатому, густобородому попу в камилавке, в заячьей кошуле, с крестом на груди; лицо попа красное, руки, ноги — вразброд.

— Окрестил кого, батько?

Поп лезет на вопросившего:

— Ты, нехристь, мать твою двадцатью хвостами, чего не благословляешься, а?

Человек от попа пятится в толпу, поп норовит поймать человека за рукав.

— Стой! Мать твою двадцатью, — певер окаянной...

Человека от попа заслоняет высокий широкоплечий в синей казацкой одежде, под меховым балахоном на ремне по кафтану сабля, на голове красная шапка с узкой бобровой оторочкой.

— Посторонись-ко, сатана! — казак отодвигает сильной рукой попа в сторону.

— Чего лезешь? А, ты попа сатаной звать? Эй, государевы!

Казак толкает попа в грудь кулаком, звенит цепь креста, поп падает на колени, поддерживает рукой камилавку, стонет:

— Ра-а-туй-те!

Бойкий низкорослый мастеровой в фартуке хватает казака за руку:

— Станишник, удал, стой, — правы не знаешь, а вот!

Подхватив с головы попа падающую камилавку, сует ее на лоток ближнего торговца, быстро валит за волосы попа лицом в снег и начинает пинать под бока, часто покряхтывая при пинках.

— Стрельцы, эй, караул! — из снегу кричит поп.

Двое стрельцов неторопливо подходят с площади, деловито звучит голос:

— Бьют?

— Бьют...
— Кого бьют?
— Попа...
— Давно уж бьют?
— Нет, еще мало! — задрал поп...
— А камилавка?
— Во, у меня! — кричит лотошник.
— Ну, пущай.
— Служилые! ей, ради Христа-а! — истошным голосом хрипит поп.
—Мордобоец, буде, — здынь попа.
Мастеровой тянет за шиворот втоптанного в снег попа, хватает с лотка камилавку и, поклонясь попу, надевает ему убор на голову.
— Вот, батя, кика твоя! в сохранности-и...
Поп стонет, дует на бороду, ворошит ее руками, вытряхивая снег, и идет дальше, хромая, изрядно протрезвившийся.
— Потому попа в снег можно, камилавку нельзи: строго судят! — назидательно говорит кто-то в толпе.
Скрипит на ходу расставляемое подмерзшее дерево. Блинники — над головами их пар — раздвигают лотки, пахнет маслом и горелым хлебом.
— Кому со сметаной?
— У меня с икрой! Три на!полушку.
— Каки у тя?
— Яшневые!
— У меня пшеничные!
— Давай ячных!
— И мне!
— Держи-ка, брат, бердыш! Чтой-то гашнику туго.
— Киселю должно поел?
— Не... все, вишь, брюковны пироги да пресной квас, штоб их!
— Служилый, ты бы подале с этим делом, — тут едят крещеные...
— Ништо-о!
— Он скоро и лик шапкой укроет!
— Заход — сажень с локтем, нешто ему лень?
— Ешь хлеб — да в снег!
— Ой, народ!

— Ты-ы ка-а-зак с До-ону? ино с Черкас?

— Кончи, — будем говорить!

— По Москве с оружьем не можно, только мы, стрельцы...

— Я есаул зимовой Донской станицы от войска к государю.

— Говоришь не ладно: к государю, царю и великому князю! Тебе с оружьем можно, — есть бумага ежели?

— Есть!

— Ну, иди! А то думали мы с Гришкой — дело нам, в Земской волокчи...

Высокий казак в красной шапке, отжимая на стороны толпу, идет дальше.

В переулке на площадь половина пространства заставлена гробами и колодами.

Белые, пахнущие смолью кресты воткнуты в снег, иные приставлены к стенам домов, к деревянным крыльцам.

— Кому последний терем? Кажинному надо — гольцу ярыжнику, князю-боярину, всем щеголять не сегодня-завтре в деревянном кафтане.

Торговец гробами мнется на крыльце, поколачивая валенок о валенок. Около него два монаха в длиннополых рясах. Баба в полушубке, в платке, острым углом высунутом над волосами и лбом, плачет, выбирая гроб.

— На красках жонка? аль простой еловой?

— Простой надо, дядюшко!

— Для кого?

— Муж с Кружечного шел, — пал и преставился... Божедомы приволокли на двор в Земской приказ.

— Меру ему ведашь? Выбирай, чтоб упокойник не корчился... Осердится не то, почью приходить зачнет!

— Уй, страсти говоришь, дядюшко!

— Бери-ка, жонка, на красках, задобри упокойного-то...

Монах тоже предлагает бабе, дрожа с похмелья:

— Псалтырю буду чести — вот и не придет упокойной, ублажим, жонка! Перед богом ему вольготнее...

— Ефросин, не чуешь, неладом помер у жонки муж! Патриарх прещает честь за того, кто насильно скончал...

— Отче Панфилий, пошто мне патриарх, ежели утроба моя вопиять алчет? Иду, жонка! Будем честь псалтырь.

— Ой, уж и не знаю я, как стану...

— Подвинься!

— Душа едет в царство небесное влипнуть.

Толпа жмется к крестам, бредет в снег. Ныряя в ухабах, проулком, в сторону площади, лошадь тащит розвальни, в розвальнях скамья, похожая на сундук. На скамье преступник, ноги утопают в соломе, руки просунуты в колодки, лежащие на коленях, в посиневших руках зажата восковая свеча. Тут же рядом с преступником на скамье шапка черная, мохнатая, как воронье гнездо. В шапку прохожие бросают полушки. Голова преступника опущена, длинные волосы, свесившись через лоб, закрывают глаза и верх лица.

— Чудно, братья! Ветер дует, а свеча горит, не гаснет...

— Безвинной, должно, праведной!

Сзади розвальней шагают палач и два стрельца... У палача на плече широкий топор с короткой рукояткой, по нагольному полушубку палач подпоясан ременным кнутом.

Палач иногда говорит в толпу, не останавливаясь:

— На площеди дьяк прочтет!

— Робята, на площедь!

— Дьяк честь будет!

— Да тот он, что в соборе хвачен!

На площади помост обледенел от крови, кругом его на кольях головы казненных с безобразными лицами: — безносые, безухие, занесенные снегом. Розвальни с преступником медленно поползли к помосту. Казак наискосок побрел глубоким снегом через площадь. Навстречу ему, поедая куски хлеба, жуя калачи, брела толпа глядеть казнь. Встретился поп, вышедший из закоулка. В руке попа в желтой, грязной рукавице замшевой — серебряный крест. За попом шли стрельцы с бердышами и заостренными еловыми кольями. В холодеющем к вечеру, затихшем воздухе — без колокольного звона — отчетливо слышна отрывистая речь дьяка, привычно читающего много раз читанное:

— «И ты вор... подметной лист с печатьми... противу государя и великого князя Алексея... успения богородицы... за обедней в Кремле... с казаком донским и атаманом прелестьми воровал... Тебя от великого государя... указу... четвертовать, казнить смертью...»

Казак остановился, прислушиваясь к обрывкам речи дьяка.

Пробили в вышине часы, он не досчитал звона часов, а кто-то в толпе, густо идущей на кружечный двор, хмельным басом кричал о часах:

— Сие есть ча-а-со-мерне! Самозво-онно и само-о-движно...

4

Кружечный двор обнесен высоким тыном, прясла тына от столба до столба скреплены длинными жердями; верхняя жердь прясла щетинится гвоздями кованными. Недалеко от бревенчатых ворот распивочная изба, у крыльца ее высокий шест, на шесте продет горшок без дна, выше горшка помело.

На крыльце над низкой створчатой дверью по белому выписано: «ПИТИЙ НА ДОМЕХ НЕ ВАРИТИ И БЛУДНЫХ ЖОНОК ПРИ КАБАКЕХ НЕ ИМЕТИ».

Казак шагнул в сени. В простых сенях, хотя на улице еще чуть вечереет, в стенных светцах горит лучина, угли падают прямо на пол. Пол черный и липкий, из сеней дверей нет, в перерубе дыра в избу, порог избы отесан. По избе, обширной и черной, с черным лоснящимся потолком — столы, у столов длинные скамьи; слева от входа стойка, на стойке горит сальная свеча, за стойкой шкаф, на нижней полке сундук, сбоку на желтом сундуке крупно вырезано и раскрашено синим:

«ТОТ ВОР И ПЕС, КТО УБЫТЧИТ КАЗНУ ГОСУДАРЕВУ, — ПИТИЙ НЕ ПЬЕТ НА КАБАКЕ, А ВАРИТ НА ДОМУ БЕЗ МЕРЫ».

Вслед за казаком пришли стрельцы с площади, сели за стол рядом с дьяконом. Пропойца-дьякон, мотая черной гривой с горя, что не на что больше пить, басит похоронно:

Сколочу тебе гробок
Из палатенных досок.
Старая старуха,
Отрежь полотенца
Накрыть младенца.

— Закинь, дьякон!

— Кину, ежели пенным попоштвусте, государевы люди!

— Бердышом в зубы?

— А значит, доля моя пить! — и, зарывая грязные, узловатые пальцы в волосы, дьякон бубнит:

Тень, тень, потетень.
То у спаса звонят,
Да у старого Егорья
Часы говорят. —
Эх, бей в доску,
Помпай Москву!
Как в Москве-то вино
По три денежки ведро!

— Лжешь, отче дьякон! Плакать пошто, ежели вино на Москве столь дешево?

Стрельцы расплатились, — ушли. Дьякон тоже нехотя уплелся. Казак сел за один из длинных столов, потребовал меду. Кабацкий ярыга-служка оглядел внимательно казака. Казак спросил:

— Ты во мне родню, что ль, признал?

— Много есть такой родни. Лик твой зреть надо... Неравно лихо учинишь, так ведать не худо...

— Ишь ты, кабатчики кобели еще псов завели! Оботри кувшин!

Ярыга обтер горло железного кувшина фартуком из дерюги, со дна железной кружки выплеснул опитки на пол. Деньги, полученные за питье, передал целовальнику. Вскинув на широкой, корявой ладони медяки, мордастый целовальник сунул деньги в ящик с надписью. Поднял неверящие глаза на человека, подошедшего к стойке, — человек тягуче сказал:

— Чти-ко, Артем!

— Што те надо? С добром не идешь...

Человек в гороховой чуйке со сборами на заду, с постным лицом, редкобородый, седой, положил на стойку бумагу. Целовальник придвинул к бумаге свечу, разгладил лист, водя толстым пальцем по строкам, шевеля губами, читал медленно. Человек сунул на стойку два жестяных кувшина, — заговорил:

— Копотно чтешь!.. Довелось-таки принять трудов, настоял же: потому государево заорленое ведро вина, по ценовной грамоте, стоит шестнадцать алтын четыре деньги...

— Ну, и что?

— А вот! Ты вчинил мне на скупке тую ж меру ведра по двадцати шти алтын да четыре деньги... Нынче по этой вот отписке дьяков зачну я брать у тебя вино на государеве кручне дворе по ценовной в шестнадцать алтын четыре деньги... Седни беру я одно ведро, а остачу от тридцати алтын четырнадцать кладн на стойку!

Целовальник крикнул ярыжке:

— Максимко, нацеди гостиные сотни купцу ведро вина!..

Ярыжка взял кувшины. Целовальник зацепил горстью из ящика деньги, отсчитал, сунул купцу. Купец по монете поспускал деньги в карман чуйки. Мысленно пересчитав их, продолжал назойливо:

— Кажи-ка, Артем, твое государево ведро! Коли оно доподлинно, то без спору...

Целовальник, сопя, брякнул на стойку сырое ведро, пахнущее водкой, положил тут же аршин. Купец, вымеряя ведро, говорил:

— Меряю, гляди, Артем: от верхнего края внутрь через дно нижнего, мера должна вынесть осмь вершков.

— Ну, а мое ведро не государево? Не заорленое?

— Чего хребет воротишь? Бесспорно, мера государева.

Целовальник широким лицом сунулся к уху купца:

— Тит Ефимыч, нечистики по душу твою на том свете с фонарями ходят... чай, скоро помрешь? Кому добро кинешь?

— Да уж не тебе, жабьи черева...

Купец, подхватив кувшины, как подошел, так и ушел не кланяясь.

— Скаред, сутяжник, чтоб тебе засохнуть с корепя!..

Целовальник плюнул.

В избу широко пахнуло ветром, свеча на стойке погасла.

— Коего пса?

Целовальник вынул из стенного светца лучину, зажег свечу. В избу ползли: мохнатый, матерый медведь с облезлой спиной, со снегом на шкуре и лапах. Держась за цепь, продетую кольцом в губу зверя, мужик лез без шапки, с бубном, в овчинном полушубке, серой шерстью вверх, на кривых ногах обледенелые лапти.

— Нечистики, аж в грудях закололо, — ворчал целовальник, подавая питуху на стойку кружку вина, — деньги дал?

— Дал, Артем Кузьмич; еще закусить калачик?

Громко матерясь и читая молитвы, за мужиком с медведем вползала какая-то несуразная груда с дубиной в печатную сажень. Кряхтя и пролезая, фигура орала:

— Вишь, руки отсохли дверь прорубить! В дыре хребет сломишь.

— Такому всякой двери мало!

— Ха, ха, ха!

Фигура, влезши в избу, разогнулась, крепко выругалась — ее живот, оттопырившись, выкрикнул молитву. Под самым черным высоким потолком появилась бумажная харя с вытаращенными глазами.

Питухи закричали:

— Ай, батько Артем, государеву грамоту к дверям прибил, а двери закрестить поленился — чорт в избу залез.

— Пошто чорт?! — заорала фигура, — лик мой крещен и не один раз в ердани богоявленской, а пуп крестил палач на Ивановой площади!

Фигура шагала по избе, стуча в пол саженной дубиной. На ней мотался балахон, сшитый из многих кафтанов, воротник из черного барана висел книзу до половины спины. Просунув в бумажную харю дудку, фигура засвистела песню. Балахон на ней спереди оттопырился, и там, где должен был быть пуп, засвистела вторая дудка, наигрывая ту же песню. Приплясывая по избе, фигура скинула крашеную харю, шагнула к стойке.

— Артемушко, спаси тя бог, окропи душу пенного кружкой!

— Деньги! — целовальник налил кружку водки, поставил на стойку. Фигура, ломаясь углом, потянулась книзу, но распахнулся балахон, и кружка, исчезнув в брюхе великана, быстро вернулась на стойку пустая.

— Го, го, го! Артем, лей, мы платим!

Снова налита кружка; фигура, сгибаясь, кряхтя, лезет к водке, а пуп пьет.

— Штоб тя треснуло! Вот моя судьба, крещеные: мой пуп, то значит — бояре, мой лик с главой — народ! Лик просит, лик сготовляет, а пуп — жрет! И, братие, народ хрещеный... весь я век живу голодом... — фигура говорила плачуще.

— Вишь, каку правду молыт!

— Артем, налей, — може и народ выпьет...

Целовальник кулаком погрозил великану:

— Ты, потешник! не подпесу и прогоню, ежели еще о боярах скажешь...

Кто-то из питухов встал, пощупал великана и крикнул:

— Слышь, товарыщи! ино два дьявола склались в одно...

Фигура закружилась по избе, заохала:

— Ой, уй! ужели рожу кого? Ой, и большой же младень на свет лезет!

Фигура присела на пол и распалась на-двое.

Два рослых парня выползли из-под оболочки, свернули огромный балахон, приставили в угол дубину и оба сели за стол с питухами:

— А ну, крещеные, попитвуйте роженицу водкой, — слышь, какого родил! Женить сразу можно!..

— Пейте, родущие! Потешили...

— Очередь за медведем!

— Потешай, Михайла!

Покрикивая, чтоб зверь плясал, медвежатник бил в бубен, но медведь только рычал и переминался на месте. Изо рта у него текла густая кровяная слюна.

— Нече делать! — Мужик протягивал бубен к пьющим. — Денежку, хрещеные, на пропитание твари...

— Пошто не кормишь?

— На голодном не пашут!

— Оно правда! Голодна тварь, а негде кормиться — по патриаршу указу нас с ней на торг не пущают...

Питух у стойки, выпив водку, загляделся на потешных, скупо ломал, ел калач. Медведь повернулся к нему, мелькнул лапой, вырвал калач и быстро проглотил. Мужик, махая шапкой, подошел к вожаку.

— Вожь, плати за калач, зверь — твой.

— А чаво?

— Ту — чаво? Зверь у меня калач сглопул!

— У него, вишь, милай, утроба велика и пуста.

— Плати, сказываю!

— Пущай, милай, то ему милостынька, — он потешит!

— Плати или — к приставу!

Казак стукнул о стол железным кувшином:

— Целовальник, — вязку калачей!

— Деньги дай!

Казак кинул серебряную монету. Из вязки поданных калачей надломил один, сунул мужику:

— Бери, и с глаз прочь!

— Уйду!

Казак кидал медведю калачи, зверь ловил ртом, глотал не жуя...

— Ну же, Михайла! Кажи, как мужик воеводе кланяется?

Вожак стукнул бубном о голову. Медведь лег на брюхо, пополз по полу, пряча морду между лап, скуля и воя.

— А ну, Михайла, кажи люду честному, как из мужика на боярина вотчинного выколачивают посулы судейски да подать, заедино и посошные деньги!

Медведь присел на задние лапы, вцепившись передней лапой в пол, правой начал бить и царапать, так что от половиц полетели дранки, он рычал, кряхтел и скалил зубы.

— Эй, нечистики! прогоню да на съезжую сдам за такое... И то за вас, того гляди, в ответ станешь. Заказано на кружечной с медведем! — крикнул целовальник.

Вожак унял медведя. Питухи поили водкой и мужика и медведя.

Казак, выпив мед, запил водкой. В голове зашумело, буйное поднялось со дна души. Рука потянулась к сабле, — брала досада почему-то на целовальника, — но он сдержался, встал и, раньше чем уйти, повел плечом, двинул шапку на голове, крикнул:

— Гей, народ московский! ино коза, колодки и кнут обмяли твою душу... С молитвами, надобными не богу, а попам, волокешь свое горе в гору! А горше то, что кто за тебя пошел, того сам же кусешь в кандалы, и нет тебе родни ближе бояр да приказных. Дивлюсь я много и ведай — жду: когда же придет время тому, как скинешь с плеч боярскую тяготу?!

— Вот она правда! То воину казак! — отозвались голоса питухов.

Целовальник загреб воздух широкой ладонью. Ярыга бойко подскочил к нему. Целовальник зашептал, кося глаза в сторону казака:

— Беги, парень, в Земской! Боярина Квашнина дьякам

молви: «пришлой-де станишник мутит народ на государеве кружечном»... скоро обскажи...

— Чую сам — не впервой, Артем Кузьмич!

Ярыжка без шапки выскользнул в сени.

Казак, спокойно звеня подковами сапог, шагнул вслед ярыжке.

Парень спешил, не оглядываясь, на ходу подбирая полы длинного кафтана, подтягивая фартук. Казак не выпускал парня из вида. На повороте, в глухом, узком переулке, ярыжка полез через бревно, задержался, вытягивая ноги из глубокого снега. Людей здесь не было. Сверкнул огонь. Ярыжка охнул, метнулся от выстрела и упал между бревен. Казак сунул дымящийся пистолет под шубу за ремень. Шагая через бревна, вдавил убитого тяжелым сапогом глубже в снег и, выбравшись проулком на площадь, сказал громко:

— Салана!

Прошел краем площади мимо Земского приказа, вышел на Москву-реку.

5

Мост через реку на обледеневших барках, косые перила в снегу. Недалеко от моста лари и амбары пустуют. Торговля перешла на Москву-реку. Первыми там расставили свои лари мясники и рыбники, за ними перебрались купцы из больших рядов с Красной площади. В городе торгуют лишь на лотках блинники и пирожники.

У моста, впереди ларей, пространный, с дерновой крышей, вдавленный посредине сруб-баня. В сторону реки у бани журавель для подъема воды. Окна бани заткнуты обледеневшими вениками.

Сквозь веники ползет пар. Пар доходит до потоков крыши, с потоков от тепла и пара каплет вода, длинные сосульки кругом увешали потоки бани

Из косых прочных дверей бани выходят голые, — тогда в раскрытые двери слышен стук деревянной посуды, вырывается людской галдеж; шипит вода, кинутая на каменку. Голые, выйдя, натираются снегом, иные, не замечая, стоят под капежом крыши, осовелыми глазами глядят на прохожих, прохожие точат зубы:

— Эй, молочный! грех-то закрой!

— А то будто поп какой с волосьем! Бесстыжий, — воду пустит к дороге.

Вечерест. Люди гуще идут от всенощной.

Из бани вышла баба, вся голая, живот впепт, груди тоже, сама семипудовая, матерая, на двойном подбородке ряд бородавок, между голых ног веник, капает вода на снег. От бабы пар столбом, дышит тяжело.

Прохожие гогочут:

— Грех-то омыла-а!

— Тебе што?

— Эй, сватья! почем мясом торгуешь?

— У, штоб тя в Разбойной уловили!

К бабе подошел черноволосый, с курчавой бородой, сын боярский, по зимней малиновой котыге желтые шнуры, шарики-ворворки в узорах петель. Подошел плотно, ущипнул бабу за отвислый живот и, словно выбирая свиное мясо, ткнул концом пальца в разные части пухлого тела:

— Идешь?

— А што даешь?

— Две деньги.

— Не, коли полтину, — иду!

— А дам!

— Деньги в руку, — у меня распапонка в бане.

Парень сунул деньги:

— Сполу бери — остача за ларем!

— Вишь, я босиком, — жди.

Баба завернула в баню и скоро вышла в серой овчинной кортели внакидку, в низких валенках.

— Красавчик, скоро? Ино озябну.

— Окрутим в один упряг.

Оба нырнули за лари.

За ларями женский крик:

— Ой, ба-а-тю-шки-и!

— Держи, робя! держи?! Экую хватит всем.

— Го-о!

— Охальники-и! дьявола-а...

— Рóжу, — накинь тулуп!

— Куса-етца... а, стерва-а!

— Кушак в зубы — ништо-о!

— Кидай!
— Ой, о-о!
— Воло-о-ки...
— Го, браты! не баба — розвальни...
— Кережа! ха...

Казак, прислушавшись, шагнул к ларям. За баней между ларей, у высокого гребня сугроба, в большом ящике с соломой на овчинной кортели лежала валенками вверх распяленная баба, — лицо темное, вздутое, глаза выкачены, во рту красная тряпка. Тут же у ящика двое рослых парней, — один подтягивал кушаком кафтан, другой штаны. В стороне и, видимо, на страже, лицом к бане, стоял черноволосый боярский сын. Воротник зимнего каптура закрывал шею парня: крутой лоб и уши открыты, он курил трубку, поколачивая зеленым сапогом нога об ногу.

Казак выдёрнул саблю.

— Эй, сатана, — жонку!

Неподвижная фигура в красном задвигалась. Боярский сын, быстро пятясь и щупая каблуками снег, сверкнул кривой татарской саблей.

— Рубиться? давай!

В сумраке брызнули искры, звякнула сталь. С двух-трех ударов сабли боярский сын понял врага — бойкими, мелкими шагами отступил за ларь и крикнул:

— Ништо ей, дубленая! Коли хошь, валясь, — не мешаем...
— Дьявол! спустишь жонку?
— Ой, други! здынь блудную... темнит, неравно караул пойдет — жонка не стоит того, ежели за нее палач отрубит нам блуд...

Бабу вскинули вверх, выдернули изо рта кушак, накинули ей на плечи кортель:

— Поди, утеха, гуляй!

Баба кричала:

— Разбойники-и! Ой, охальники-и! Наймовал один, а куча навалилась! Подай за то рупь, жидовская рожа-а!

— Ругатна! — крикнул боярский сын, — гляди, пустая уйдешь!

— А нет уж не уйду, — плати-ко за троих!

— Мотри, чорт, еще опялим!

— А плюю я на вас — боюсь гораздо!

Казак громко сказал:

— Ну, и сатана!

Боярский сын, шагнув к бабе, крикнул казаку:

— Убойство мекал? Ха! тут одина лишь женска потеха...

— Ты, кучерявой, ужо на маху где сунешься, — повешу!

Казак пошел прочь.

— Го, го! повесишь, так знай, как меня кличут — зовусь боярской сын Жидовин Лазунка-а...

— На глаза падешь, — не уйти!

— Ай да станишник! Рубиться ловок, да из Москвы еще не выбрался, — Москва, гляди, самого вздыбит, как пить...

— Дьявол! с хмеля, что ль, я ввязался к ним?

Тряхнув плечами, казак пошел на мост.

6

Длинная хата от белого снега, посеревшего в сумраке, слилась, стала холмом. Тропа к ней призрачна, лишь чернеет яма входа вниз.

Казак шагнул вниз, гремя саблей, ушиб голову, ища ногой ступени, слышал какую-то укачивающую песню:

Тук, тук, дятел!
Сам пестрепек,
Нос востренек,
В доску колотит,
Ржи не молотит.

Как и два года назад, он натыкался в темноте широких сеней подземной избы на сундуки и укладки.

В голове мелькнуло:

— Будто слепой! Шел городом на память... здесь иду на голос.

От сильной руки дверь раскрылась. Пахнуло теплом, кислым молоком и одеждой...

— Мати родимая, голубь! Радость ты наша светлая! Да, дедко, глянь скоро — сокол, Степанушко!

Ириньица в желтом летнике сорвалась с места, зацепив люльку. В люльке поднялся на ноги темноволосый мальчик:

— М-а-а-ма-а...

Старик медленно отстранился от книги, задул прикреплен-

ные на лавке восковые свечи и, почему-то встав, запахнул расстегнутый ворот нестрядинной рубахи:

— Думали с тобой, Ириха, еще вчера: век его не видать!.. По здорову ли ехали, гостюшко?

— Здорово, дед. Иринынца, как ты?

— Ведь диамант[1] в серебре! Ночь ныне, а стала днем вешним!

Иринынца, целуясь и плача, повисла у гостя на шее.

— Не висни, жонка! Оженился я, — принай или злись, как хошь!

— Ой, ты, сокол, голубь-голубой, всем своя дорога, — нет, не злюсь, а радуюсь.

Гость бросил на лавку шубу, отстегнул на кафтане ремень с саблей и плетью, — на пол стукнул пистолет, он толкнул его ногой под лавку.

— Ой, давно не пивала я, а напьюсь же сегодня, ради сокола залетного, — прости-ко ты, горе-гореванынцо...

Женщина заметалась, прибирая горенку. На ходу одевалась:

— Умыться-то надо?

— Ништо, жонка, — хорошо не мытому. Доспею к тому...

— Ну, я за вином-медом, а ты, дедко, назри сынка. Ведь твой он — сынок, Степанушко, пошто не подойдешь к нему? Красота в ём, утеха моя несказанная...

— В сем мире многомятежном и нестовом всякая радость, красота тускнеет... — Юродивый, говоря, подошел к люльке. Женщина исчезла.

Старик мягко и тихо уложил мальчика в люльку, поправил под головой у него подушку:

— Спи, рожоное от любви человеков... Спи, тешеное, покудова те, что тешат тебя, живы, а придет пора, — и потекут черви из поздреи в землю от тех, что байкали...

— Пошто, дедко? Живы мы, — будем веселитца!

— Оно так, гостюшко! Жгуче подобает живому жечи плоть.

Ребенок уснул. Юродивый отошел, сел на лавку. Гость не садился. Стараясь меньше стучать тяжелыми сапогами, ходил по горнице, ткнул рукой в раскрытую книгу на лавке, спросил насмешливо:

---

[1] Диамант — алмаз.

— Эй, мудреный! Нашел ли бога в ней, — что скажешь о сатане?

Юродивый ответил спокойно и вдумчиво:

— Сижу в книгочеях много. Тот, кто бога ищет, не найдет... Верить, не искать. Я же не верую...

— Так, так, значит...

— И ведомо тебе, — на Москве я сочтен безумным... А мог бы с патриархом спорить, да почету не ему... И не можно спорить о вере, ибо патриарх тому, кто ведает книжну мудрость, велит заплавлять гортань свинцом и тюрьмы воздвиг... я же, как в могиле, ту... и оброс бы шерстью в худых рубах, да Ириха назрит... вот чуй.

— Слышу и хочу познать от тебя.

— Стар я, — тело мое давно столетьем сквозит, едина душа моя цветет познанием мира... Ноги дряблы, но здымают тело, ибо телу велит душа... Ярый огнь зыряет снутри земли... И чел я многажды, что тот подземный огнь в далеких частях мира застит дымом, заливает смолой и серой грады и веси, — так душа моя... она не дает истечи моему телу, и чрез многи годы таит огнь боярам московским, палачам, той, кто родил на Лобном позорище юрода, зовомого Григореем.

— Вот тут ты непонятное сказываешь!

— Чуй еще, и непонятное войдет в смысл.

— Я чую...

— Сколько людей без чета на Москве да по всей земли жгут, мучат, кто поносил Христа и пресвятую деву, матерь его; в цепи куют, из человека, как воду, хлещут наземь живоносную руду-кровь. А что, ежли и поносил хулой божество?

— Я тоже, дедо, лаю святых!

— За что, вопрошаю я, живое губят для ради мертвого? Исписанное в харатеях и кожных книгах сказанье мертво есть! Был-де человек-бог, зовомый Иесус, была-де матерь его, именем Мария... А то, как били мою мать на позле брюхатую, что она тут же в кровях кнутобойства и путряных кровях кнута юрода, — то иначе, ежли скажешь кому, — непонятно, не идет в слух, а идет мимо ушей... Ведь рабу Ефросинию, мою мать, претерпевшую от лиха бояр, черви с костьми пожрали... Так как же поверить тому, что ушло за тыщи лет? Может, и был распят, а может, и то — книга духовная единый лишь об-

манный сказ! Библия, Новой завет... чел я много. И что есть библия? Да есть она древляя мудрость юдейска, для ради народа, веру коего наши отцы православия гонят, ведут веру по той же тропе и жикословят: «Вера их проклята! — жидовина ересь. Мы же от византинцов верой пошли». А византинцы — елины, по древни елины стукапам молились, едино что и ромейски цесари... Кому же из духовых прелестников веру дать? Юдейска вера — богатеев, потому они верят в приход Мессии царя, кой придет с неба, и тогда все цари мира ему поклонятся, и все народы зачнут работать на юдеев... Бедный, кто познал скудность многу, не мыслит другого человека сделать себе слугой. То вера знатных. Наши же патриархи, епископы, признав Иесуса царем и богом, глаголят: придет кончина мира, а с ней придет с неба Иесус Христос, и мир преобразится, — похощет жить милостивой, незлобивой жизнью... Да как же он зачнет быть незлобив? Человек есть существо, палимое страстьми, жгущими плоть, и желаниями жизни — осязанием телес, трав, обонянием яств, — и только сие радостно на земли! Незлобивость праведная непадобна человеку живому... Ждут Мессию и Христа с неба сшедших, а что есть небо? Земля наша, яко шар, плавает в небе, как в голубом окияне, — море без конца краю, — яко струг по воде... И наши отцы — патриархи, попы — сказывают: «Вот царь, то есть бог земной, ему поклоняйтесь, помня о царе небесном, его бойтесь, — он волен в головах и животах ваших!» Царь же мудр, хотя и бражник и беззаконник, царь избирает помощников себе тоже праведных — стольников, крайчих, бояр, князей, а те едут на воеводства кормиться, ибо они посланы царем... и вот куда ведет древлее сказание, и вот пошто, гостюшко, цари, бояры, купчины цепятся за то, кто усомнится и скажет противу веры...

— Эх, дедо! Хватит моей силы, да сжели народ пойдет за мной, приду я на Москву и кончу царя с патриархом!

Гость взмахнул широкой ладонью.

— Ту-у... стой-ко! чтоб нас хто... идут!

Вошла Ириньица.

— Ой, дедко, сидит да бога ругает, да по книгам сказывает, а нет чтоб скатерть обменить на новую. Свечи тоже, неужели с таким гостем пировать зачнем при лампадках?

Ириньица снова металась по горенке, переменяя скатерть, ставя и зажигая свечи.

— Ништо! Гость, поди, с бою, — справу великую ему и не надо. Скатерть, коли пить будем ладом, зальем медами.

— Пущай зальем! пущай сожгем! А люблю, чтоб было уклад-но! Ой, ты сокол мой! Ну, так бы всего кинулась да искусала на радостях... Да подойди ты, сокол, к зыбке, — хоть глянь на сынка-то! Ой, и умной он, а буйной часом... Иножды, случится, молчит и думает, как большой кто...

— Жонка, боюсь любить родное. Иду я в далекий путь, на моем пути не мало, чую я, бед лежит... Полюбишь — глянь и вырвали, как волки, зглонули любимое, и душа от того долго в крови...

— Ну, сажайся! Брось кафтан-от.

Разин скинул кафтан. В белой расшитой рубахе сел за стол. Старик придвинулся к столу:

— Эх, и мне! Люблю котлы мяса да пряженину всякую с водкой пенной, и много, знаю я, будет плести за сим столом язык мой...

— Не дам тебе, старой, много лгать! Надоскучило одной головой постельные думы думать.

— Ириньица, пьем за тебя с дедом, а за деда пью особо, — убог он телом, да велик ум в ём...

— Пьем, голубь! Как хошь, а после кажной чаши, поколотившись, пококавшись кубками, целуй.

Пили, ели, целовались. Старик, чтоб не глядеть на них, сидел боком.

— Жги плоть, разжигай огнем!

Он положил на тощие руки седую голову, закрыл глаза и пел:

Нашей матушке не можется,
На Москву ехать не хочется.
Вишь, семи дворам начальница была:
Самовольной распорядчицей слыла!

— Дедко, пасись — матерно не играй!

— Не играю, Ириньица... Жги плоть огнем и не верь, гостюшко, словесам прелестников царских: «не глад хлеба погубляет человека, глад велий человеку бога не моля жити», — сказывают они.

— Горбун столетний, чем твои разны слова, лучше играй песни!

— Оно можно! А не боишься матюков?

— Краше бранись, чем много о боге сказывать. Степанушко, целуй в губы, в титьки, — всю-всю целуй, голубь...

Старик запел:

Пироги вдова Фетинья пекла,
Да коровушка в избу зашла,
Из квашни муку выпархивала,
Ой, остачу вылизывала!

Старик вскочил и пошел плясать.

Нехватило Фетинье муки,
Поймали Фетинью в клети.
Ой, кидали на тесовую кровать,
Да почали Фетинью валять,
С боку на бок поворачивати,
Кулаками поколачивати!

Юродивый потянулся к чаше с медом и сел.

— А будешь ты, гостюшко, большим атаманом — чую я — тогда не мене лжи и злобы воеводиной бойся лжи патриаршей. Будет та ложь такова — всенародная тебе анафема!

— Слов не боюсь, старик!

— Аль не ведаешь? Страшное слово страшнее боя смертного... Худо от слова того зришь ли? Я же его зрю. Народ верит попам... Встав за тебя, руки его опустят топор противу бояр, когда грянет в московских соборах страшное ему слово да гул от него, яко многи круги от каменя, метнутого в воду, пойдет по всей Руси... Попы подхватят московский гул, — ой, гостюшко, чутко ухо народа к вековой сказке!..

— Перестань ты, ворон горбатой! Кинь его, Степа... Дрема долит меня, и не хочу я без тебя, — уложи на постелю да сам ляжь со мной!..

— Не висни, Иринынца!

— Не сердчай, голубь... Я одна, а ты приди!

— Некуда мимо тебя, — приду! Сегодня я твой...

— Приди, сокол... голубь-голубой... и не верь ему, — страшное он завсегда каркает, ворон! Приди, я радошное тебе пенну...

Женщина ушла на кровать.

— Об ином я думаю, старик.

— О чем же мекаешь ты?

— Думаю, дедо, когда зачну быть отаманом, уйду с боем в Кизылбаши и шаху себя дам в подданство, а оттуда решу, как помочь народу своему...

— Шаху не давайся. Краше будет дать себя салтану турскому.

— На кол шлешь сести?

— Зри, — шах завсегда с Москвой дружит. А ну, как приедут к шаху ближние царя да сговор будет, и шах, гляди, тебя даст Москве головою?

— Пьем, дедо!

— Выпьем, гостюшко! Что им ты, когда они своих боятся, не щадят. Тут протопоп Архангельского собора Кириллову книгу списал, а в ней таковое есте слово: «Мы должны не отвращаться от еретиков и не злобиться на них, а паче молиться об их спасении». За тем слова его патриарх в тюрьму ввергнул, да гляди того протопопа и в клетке железной сожгут, как богоотступника... Нет! Москва пристанет, так и в Кизылбашах от тебя не отступится... Салтан же крепче... салтан с ними не мирной...

— Эх, дедо, видно, везде воронье клюет сокола? Бонтся и клюст...

— Пьем, гостюшко!

— Пьем, — спать пора!

Разин ушел на кровать. Старик пил, мешая водку с медом, потом, свесив голову, запел:

Спихнула черница с крыльца,
А черпечик и пынь лежит,
Каблучепками вверх торчит...
Ой, купчине там лоб проломили,
Подьячему голову сломили.
Не кобянься, родимая, —
Коли знали на расправ в Москву.

Старик тяжело поднялся, пробежал плясать, да ноги не слушались. Он пробрался в свой угол за лежанку, долго бредил и бормотал песни.

7

На Фроловой башне в Кремлевской стене — вестовой набатный колокол. От Фроловой трехсаженный переход до пытошной башни, — она много ниже Фроловой. Между башнями —мост на блоках, на железных проволочных тяжах. Шесть человек стрельцов из Фроловой в пытошную провели троих лихих на пытку. Впереди высокий казак в сером, без запояски, кафтане. Бородатый, могучее тело сутулится, в спине высунулись широкие лопатки. В черных кудрях — густая проседь, длинные руки вдеты в колодку, прикрепленную ремнем к загорелой шее. Колодка, болтаясь, висит спереди, опустившись до колен.

Когда прошли стрельцы, подталкивая в пытошную лихих людей, бревенчатый мост из двух половин, завизжав блоками, медленно опустился, половинки его повисли над глубоким, с кирпичными стенами, рвом, наполненным водой.

На стенах пытошной башни, потрескивая, горят факелы. В вышине башни — две железных крестообразно проходящих балки, над ними узкие открытые окошки, куда идут дым и пар. Стена башни штукатурена. С сажень, а то и выше, стена забрызгана почерневшей кровью, клочками мяса, пучками волос. У стены, на кирпичном полу, бревно, в него воткнут кончар.[1] На рукоятке кончара за ремешки подвешены кожаные рукавицы. Над бревном, невысоко, к стене прибита тесаная жердь; между стеной и жердью воткнуты клещи и пытошные зажимы для пальцев рук и ног. Тупой молот вставлен тут же рукояткой кверху, — на его рукоятке, как ожерелье дикарей, — связка на бечевке костяных острых клинышков, забиваемых, когда того требует дело, под ногти пытаемого. Два узких слюдяных окна — в наружной полукруглой стене башни. Под окнами — стол и скамьи. За столом — бородатый дворянин, помощник разбойного начальника — боярина Киврина. На главном месте за тем же столом — сам боярин Киврин в черной однорядке нараспашку поверх зеленого бархатного полукафтанья. Боярин — в рыжем бархатном колпаке с узкой огорочкой из хребта лисицы. У дверей на скамье по ту и другую сторону — два дьяка, один — в красном кафтане, другой — в синем. Под кафтанами дьяков

---

[1] Кончар — штыкообразная шпага; ею в боях пробивали панцыри.

на ремнях — чернильницы. За ухом у каждого — гусиное перо, остро очиненное; в руках — по свертку бумаги. Один из дьяков — Ефим, по сильно возмужавший: русые волосы стали еще длиннее, и отросла курчавая, окладистая борода. Киврин перевел волчьи глаза на дыбу, — на поперечном бревне — прочные ремни висят хомутом.

— Дьяки, сказать заплечному Ортему, чтоб мазал дыбные ремни дегтем, рыжеют... лопнут.

Дьяки, встав, поклонились Киврину.

Подножное бревно палача приставлено к стене в глубине ниши. На полу под дыбой саженный железный заслон — на нем разводят огонь, и он же дверь, куда выталкивают убитых на дыбе. Когда заслон поднимают — труп скользит по откосу в каменную щель, вываливается наружу Кремлевской стены недалеко от Фроловой. Божедомы каждое утро подбирают трупы, так как пытают каждый день, кроме пасхи, рождества и троицы. У входа, в глубине Фроловой, на низких дверях висит бумага, захватанная кровавыми руками:

«ПО УКАЗУ ЦАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВСЕЯ РУСИИ ТАТЕЙ И РАЗБОЙНИКОВ ПЫТАТЬ ВО ВСЯК ДЕНЬ, НЕ МИНУЯ ПРАЗДНИКОВ, ИБО ОНИ ДЛЯ СВОЕЙ ТАТЬБЫ И РАЗБОЯ ЛЮТОГО ДНЕЙ НЕ ИЩУТ».

Башню наполнил колокольный гул из Кремля. Киврин, не вставая, снял колпак, перекрестился. Дворянин встал, снял лисий каптур и, повернувшись к окну, истово закрестился. Дьяки встали, перекрестились и сели.

Два стрельца стояли под сводами дверей в другую половину.

Киврин сказал:

— Стрельцы, когда часомерие ударит часы, мост к Фроловой спустить, пойдут заплечные...

— Ведомо, боярин!

— Всенощная истекает, скоро приступим, да рапе, чем начать со старшим, думаю я дождать другого брата?

Дворянин, опустив голову, глядел на лист бумаги перед собой. Поднял глаза, кивнул.

— Что-то не волокут его, боярин, другово? — сказал дьяк Ефим.

— Запри гортань, холоп, не с тобой сужу. И завтра, может, Иваныч, придется ждать.

Дворянин сказал:

— Мекаю я, боярин, сыщики Квашнина малой прыск имеют. Своих бы тебе, Пафнутий Васильич, двинуть!

— Мои псы зде, Иваныч, да Квашнин много и так на меня грызетца, что во все-де сыскные дела вступаюсь...

— Ну так долго, боярин, нам тут сидеть без того дела, которое спешно...

— А, нет уж! Пущай Квашнин хоть треснет и государю жалобится, я пошлю своих. Эй, стрелец, позови-ка псцов!

Из железного кулака, ближнего к двери, стрелец снял факел, вышел в другую половину башни:

— Люди Киприна! Боярин кличет.

В пытошную к столу подошли четверо в дубленых полушубках, один из них широкоплечий, скуластый, с раскосыми глазами. На троих белели валеные шапки, на четвертом нахлобучена до раскосых глаз островерхая с опушкой черной густошерстной собаки. Подпоясан широкоплечий татарского склада человек, как палач, тонкой в два ряда обвитой по талии ременной плетью, один из концов плети с петлей.

— Вы, робятки, — сказал Киприн, водя по лицам парней волчьими глазами, — ведаете ли кого имать?

— Приметы дознались, боярин; званья тоже: есаула казацкой станицы Стеньку Разю.

— То оно — имайте... А тако: прежде всего берегитесь шуму и многих глаз. Подходите не скопом, а вразброд, и берите, когда он без сабли. Коли же с саблей, зачнете ронить головы, как брюквины с огорода: ведомо, что рубит шарпальщик без страху и пуста удара у него не бывает...

Боярин остановил глаза на татарине:

— Известно мне, что ты, батырь Юмашка, много коней ловишь петлей, а на козака пойдешь, не промахнись — зри: сабля в руке, то, знай, петля не берет. Мой вам сказ таков: уследите в заходе, на стольчак с саблей не полезет. Ино подговорите ярыг каких-либо — запугайте их перво, чтоб делали тайно, и заведите кулашный бой на реке... Следы запали его: только дознался, что в ту ночь снял он в стрелецкую, станица же зде у Кремля, и не можно ему не быть в станице. А тако: пойдет по льду Москвы

реки ту там к его ходу заварить кулашный бой, може загорится боем, саблю сложит, тогда ваш. Сани сготовьте веретье киньте на него и волоките к Фроловой. Зде мы примем без шуму...

— Уловим, боярин,

— Бачка (батюшка), боярин, изымам!

— Ну, со христовой молитвой в ход!

Псцы ушли. Пробили часы на Спасских воротах. Заскрипели блоки — мост встал на место. Киврин спросил:

— Стрелец, идут ли заплечные?

— Идут, боярин!

8

Все — как ясным днем наяву: Разину кажется, что лежит на палубе струга, что его тихо несет по течению, а перед ним синий парус, но, приглядываясь, удивился.

Его правая рука лежит в стороне и манит к себе, двигая пальцами... Вон тело, оно тоже далеко от глаз, а близко сапоги человека в синем кафтане... У человека вместо лица желтый большой лист бумаги: под бумагой, свесившись книзу, дрожит светловолосая борода. Разин слышит,что человек читает, и силится понять:

— «... В своей дьявольской надежде... Вор... клятвопреступник... похотел... святыню обругать, не ведая милости заступления пречистые... московских...»

Выше синего кафтана, бороды и желтого листа бумаги высятся зубчатые стены, за стенами лепятся один над одним золотые кокошники, без лица — они идут кверху, а вверху горит на солнце золотой крест...

— Вот диво!

Разин хотел встать, коротко почувствовал недвижность тела, в нем пробудились упрямство и злость... Выдохнув широкой грудью, крикнул:

— Что ж я? Сатана! — и сорвался с постели.

Перед ним у другой стены горницы мерно качается люлька, завешенная синей камкой. Верх люльки до половины украшен бахромой из желтого блестящего шелка; раздуваясь от движения вверх-вниз, шевелится. За люлькой в одной рубахе, наискосок съехавшей с плеча и пышной груди, сидит Ириньица. Тут же, немного в стороне, на той же лавке лежит раскрытая книга,

горят восковые свечи, перед книгой юродивый тычет по странице пальцем и спорит сам с собой.

— Сказывала окуню столетнему, взбудишь гостя! Ой, Степанушко, должно, опился старик, и будто его огневица взяла — бредит... без ума стал...

— Пречистые? Московских!.. Нет, ино сие ложь — в книге, списанной у Кирилла протопопом, вот: «Дьявол наперед рассевал свои клеветы, слагая сказы о ложных богах, рождаемых от жон!» — кричал юродивый, не обращая внимания на уговоры Ириньицы. Разин стал спешно одеваться.

— Куда ты, сокол? Ой, голубь-голубой, спи, покеда сумеречно — яства налажу, да изопьем чего хмельного...

— И протопоп ложь! В Кирилловой книге указано: «Сатана сам вселится в антихриста».

— Дедко, да перестань же.... Ой ты, сокол, светлый мой, дай хоть глянуть еще в твои глаза, дай я все твои шадринки перецелую. Щемит сердце — спать не могу и будто назавсегда отпущаю тебя!

— Чай, увидимся. Не висни! Скоро надо мне вон из Москвы — душу она мою мятет... — и вышел, а за ним слышался слезливый голос Ириньицы:

— Ворон столетний, угнал мою радость!

9

Избегая тупых закоулков и видя через низкие дома кремлевские башни, Разин слободой пробирался к реке. Идя, размахивая руками, ему навстречу брели по снегу люди; сзади недалеко шли двое в длинополых шубах, длинные бороды в инее. Один расспрашивал, другой хвастливо сообщал;

— Да нешто и ты бегал халдеем?

— Прытко бегал, покеда патриярх не спретил. А и многотаки я пожег плауном бород человечьих [2] зато не один раз о крещенья во льдах плавал. [1]

---

[1] На святках рядились и изображали «нещное действо». За это изображающие слуг Навуходоносора, вавилонского царя, должны были о крещенье купаться.

[2] Плаун — растение, пыльца которого во время святочных шуток распыляли в воздухе и зажигали.

— Не озорко? Лихоманки не хватил?

Слова стали непонятны — люди отстали или свернули куда. Сзади, стараясь обойти Разина, меся ногами снег, скользя и вывертывая сапогами, чтоб легче итти, шли трое, один на ходу кричал:

— Добры есть новгородски ремепники, да мому заплечному не угодят — ни в жисть!

— А што?

— Вот: «Это-де не кнут, ежели я его в руке не восчувствую», да взял, робяты, приплел к кисти-то свинцу плашки...

— Ой, дьявол!

— И нынче, кто его поноровки не купит — на раз смерть!

— Ой, ты?!

— Ей-бо! Дьяк удары чтет — рот отворит за словом, а он р-р-а-аз! — и битой закатился — язык висит.

— Ой, пес!

— Жонок — так тех с пол-удара. Ну, те знают, шепчут: «потом-де у бани свидимся!» И ништо — мазнет гладко, кровь прыснет, а мясо цело...

Разин еще долго слышал выкрики:

— О!

— Н-ну?

— Вот, дьявол!

На одном из перекрестков по колени в снегу стояли нищие богаделенские бождомы — старики, женщины в заплатанных кафтанах, в душегреях, истрепанных, с чужого плеча. Они пели:

— От нашествия поганых чуждых языцей — помилуй! От полона погапыми мудрых и сильных князей, бояр, воевод, купцов помилуй, господи!

В синей однорядке, в меховой шапке пышнобородый купец в расшитых узорами валенках стоял перед воспевающими, хватал иршаными [1] рукавицами из корзины у мальчишки подростка хлебы, раздавал нищим. Те кланялись, касаясь головами снега, тянули монотонно снова то же:

— Благоденствия великому государю, великому благоверному князю Алексию Михайловичу... воеводам, боярам, жилецким людям — пошли, всеблагий господи-и!..

---

[1] Замшевыми.

Разин, спускаясь по ступеням, вырубленным на снежном косогоре, думал:

«Дожду ли когда, что тех, за кого молят, зачнут клясти?»

— Казак! удал молодец! выручи ради бога — бьют! — кричал Разину человек, видом посадский, в коротком кафтанишке с распахнутым воротом грязной ситцевой рубахи. На жилистой шее посадского болтался медный крестик, на ногах без портянок опорки, лицо в крови.

— Кто бьет?

— Да не одного меня, удал человек, всех нас посацких обижают боярски холопи — с торга от возов отбили!

Разин спустился на лед, глянул в даль реки: у мясных рядов стояли осиненные, с обрубленными до колен ногами, коровьи туши. У ларей рыбников хвостами вверх на туших мордах, как точеные к боярским крыльцам столбы, прислонены крупные сомы. В снежном тумане двигалась около ларей толпа — пестрее была эта толпа там, где продавали шелк и ситец. Руслом реки шел несмолкаемый гул.

— Не лжешь ли? Кто бьет? — и увидал Разин отступающую от рыбных рядов толпу худо одетых людей. На них, желтея полушубками, напирала другая в сапогах, в ушастых валеных шапках. Толпа в полушубках вооружена кольями.

— Лупи гольцов, робята-а! — От движенья людей в полушубках — болтались наушники.

Разин, сбросив шубу, завернул рукава кафтана:

— Гей, голутьба! Стой...

Толпа отступающих остановилась.

— У нас ватаман! стой!

Люди с кольями в руках загалдели:

— То не бой! убойство!

— У казака сабля!

— Вишь пистоль, робяты!

— Не мочно казаку биться!

— А с кольем мочно?

— Киньте палочье — кину саблю!

— Ежели в кулаки отобьете, владайте возами!

— А ну давай, гольцы!

Покидали колье на лед.

— Эй, козак, мы колье кинули!

— Добро! — Разин шагнул к лежавшей шубе, отстегнул ремень с саблей, кинул пистолет на овчину. Толпа подчинилась ему, он выстроил ее, встал в голове толпы и крикнул:

— Ну, зачинай!

Две толпы плотно сошлись. Разин бил кулаками в грудь, и каждый, кто не увертывался от удара, отлетал и падал. Там, где шел он, лежали люди.

— Ага, дьявола! воза наши, и по уговору полушубки тоже..

— Сговор не ладной, попито лишнего бойца приняли?! — кричали полушубки.

— В гузне свербит?!

Разин прошел толпу в полушубках; кто лежал, кто бежал прочь, но враги между собой перемигивались. Разин, смекнув сговор, повернул в сторону шубы с оружием, а когда он повернул, сбив с ног встречного, что заслонял дорогу, раздался свист в кулак, и в то же время над головою казака взвилась петля, захлестнула шею:

— Эге, дья-а...

Шагах в десяти в стороне из-под татарской шапки белели оскаленные зубы. Руки в кожаных рукавицах быстро мотали ременную бечеву. Не помня хорошо себя, но и не боясь, с удушьем в груди, Разин кинулся на блеск зубов, большими руками вцепился в жилистую шею врага, толчком груди свалил навзничь.

Татарское лицо под грудью Разина побагровело, раскосые глаза выпучились:

— Шайта... шайтан...

Хотя петля худо давала дышать, Разин двинул плечами — хрустнули кости, он завернул врагу шею с головой на спину.

— Тяпоголов,[1] гляди, Юмашку кончил!

Скользнули по льду сапоги. Разин не успел защититься от хлесткого удара кистеня — удар потряс все его тело.

Река с ларями, с пестрой толпой, рыжей стеной Кремля, с пятнами золоченых кокошников на церквах закружилась и позеленела, только где-то далеко прыгали огоньки нето крестов на солнце, нето зажженных свечей. В ушах длительно зашумело...

---

[1] Головотяп — от «тяпнуть по голове» — разбойник.

В верхние окна пытошной башни вест сухим снегом. Огонь факелов мотается — по мутной белой стене прерывисто мечется тень человека, вздернутого на дыбу. Рубаха сорвана с плеч, серый кафтан лежит перед столом на полу. Поднятый на дыбу скрипит зубами, изредка стонет. Палач только что продел меж связанных ремнем ног бревно, давит на бревно коленом, глядит вверх, чтоб хрустнувшие, вышедшие из предплечья руки пытаемого не оторвались. Колокольный звон закинуло в башню ветром.

Киврин за столом, крестясь, сказал:

— Всеношна отошла, должно по ком церковном панафиду поют? Звонец у Ивана нынче худой, ишь жидко брякает!

У дверей на скамьях, как всегда, два дьяка: один в синем, другой в красном кафтане. Дьяк в красном ответил:

— То, боярин, в Архангельском соборе звон!

— То-то звон жидкой! Ну, Иваныч, с богом приступим!

— Приступим, боярин, — ответил подручный дворянин.

— Заплечный, бей! дьяки — пиши!

Ж-жа-х! — хлестнул кнут, еще и еще. По желтой спине из синих рубцов пошли книзу кровавые бахромы, — жжа-х!

— Полно! пять ударов, — счел дьяк.

Из-за стола мертвый голос Киврина спросил:

— Замышлял ли ты, вор, Иван Разя, противу воеводы Юрия Алексеевича Долгорукова? А коли замышлял противу посланного в войну государем царем полководца, то и противу великого государя замышлял ли?

— Противу всех утеснителей казацкой вольности, противу воевод, бояр, голов и приказных замышлял! — прерывающимся голосом, но твердо ответил с дыбы бородатый курчавый казак.

— Пишите, дьяки! Сносился ли ты, вор, со псковским стрельцом Цевкой Козой и прочими ворами, кто чернил имя государя, великого князя всея Руси и лаял похабными словами свейскую величество королеву?

— Жалость многая берет меня, что не ведал того, не мог к тому доспеть — сносился бы...

— И еще что молышь?

— Сносился бы со всеми, кто встал за голодный народ противу

обидчиков, что сидят на Руси худче злых татар. Пошел бы с теми, кто идет на бояр и воевод утеснителей...

— Прибавь, заплечный, кнута вору — пущай все скажет!

Ж-жа-а — желтая спина битого все больше багровеет, штаны отяжелели от крови, сползают вниз.

— Полно! всего сочтено двадцать боев, — говорит дьяк.

Мертвый голос из-за стола.

— Кого еще, вор, назовешь пособником бунта, заводчиком?.. Не сносился ли с шарпальщиками, что пришли со Пскова и на реке Луге, под Ивангородом, громили судно аглицкого посла? А еще скажи тех, кто живет в дьявольском злоумышлении противу великого государя?

Пытаемый не отвечал.

В нише башни, где до пытки стояло подножное бревно палача, под ворохом рогож блестели на каблуках больших сапог подковы. Сапоги зашевелились, застучали колодки, из рогож высунулась черная голова с окровавленным лицом. Покрывая ветер и звон колокольный, раздался голос:

— Брат Иван, жив буду — твоя кровь трижды отольется!

— Стенько, злее пытки знать, что и ты хватан!

— Очнулся? — Киврин показал желтые зубы улыбкой. Волчьи глаза метнулись на рогожи: — Жаль, не приспело время, ино двух бы воров тянуть разом!

— А пошто, боярин, не можно?

— Вишь, не можно, Иваныч: к Морозову не был, а надо ему довести, что заводчик солейного бунта взят и приведен.

— Да неужто быть он должон не у нас, у Квашнина?

— Морозову надобно довести, Иваныч! Ну, заплечный, внуши пытошному правду.

Снова бой кнутом. Первый кнут брошен. Помощник палача подал новый. Заплечный тяжелой тушей, отодвигая назад массивные локти в крови, топыря широкую спину в желтой кожаной куртке, налег на бревно, всунутое меж ног пытаемого — трещат кости...

— Хребет трещит, а все упоретвуешь? Сказывай, вор, пособников, заводчиков, супостатов государя!

Подвешенный кричит из последних сил:

— Дьявол! все сказал...

— Заплечный, должно с попоровкой твой кнут? Подкинь-ка огню, огонь дело правильное.

Помощник палача накидал дров на железный заслон под дыбой. Палач вынул давящее книзу бревно. Густой дым скрыл от глаз дьяков и боярина пытаемого. Пламя загорелось, стало лизать ноги казака. Запахло горелым мясом. Пытаемый стонал, скрипел зубами шибче и шибче, потом зубы начали стучать как в сильной лихорадке. Шлепая рукой в ширпой рукавице о стол, Киврин, воззрясь на пытку, шутил:

— Оттого и мужик преет, что государева шуба ладно греет. Заплечный, кинь в огонь клещи — побелеют, срежь ему тайной уд, да и ребра ломать придется!

На огне зашипели брызги крови...

Палач сказал:

— У пытошного, боярин, нижним проходом бьет кровь!

— Ослабь дыбу, мастер! Отдох дай... изведется скоро, не все скажет. Ты крепко на бревно лег — порвал черева, ну и то — не на пир его сюды звали. Да, вот, дьяки, был ли поп ему дан, когда вели?

Встал дьяк в синем кафтане.

— Боярин, когда пытошного ввели во Фролову, поп к ему подходил, да пытошный, Иван Разя, лаял попа, и поп ушел!

— Ну, не надо попа, без попа обойдется!

Пытаемый снят с дыбы, лицо черное; шатаясь на обожженных ногах, с трудом открывая глаза, слабым голосом сказал, как слепой, поводя и склоняя голову не в ту сторону, где под рогожами лежал Разин второй:

— Степько! брат! у гроба стою, упомни меня...

— Не забуду, Иван, прости!

Киврин, сбросив на стол рыжий колпак, крикнул, скаля редкие зубы:

— И Степьку честь окажем не мене твоей! Стрельцы, отведите другого рядом — опяльте в кольца.

Захватив факел, четверо стрельцов отвели Степана Разина в пустое, рядом с пытошной, отделение башни, сбили с рук колодки. Из-под кровавых бровей Разин вскинул глаза на стрельцов:

— Всем, кто пес боярский, заплачу щедро!

Стрельцы распялили руки Разину по стене, вдели их в желез-

ные кольца, на цепи застегнули на цепи ременное ожерелье с гвоздями:

— Сказывали — удал лунь, да птицы вольной ему не клевать!

Из головы от удара кистенем все еще сочилась кровь, пачкала лицо, склеивала глаза.

— Тряпицу ба, что ль, кинуть на голову — ведь человек? — сказал один стрелец с цветным лоскутом на бараньей шапке.

Другой сказал начальнически:

— До пытки выживет, а далее — боярин!

— Живучи эти черкасы, — прибавил третий.

Четвертый стрелец с факелом молчал. Со стены текло, от холода каменела спина. Вися на стене, упираясь ногами в каменный пол, Разин метался, пробуя сорваться, и выдернул бы из стены крючья с кольцами, да на больной от ременной петли шее вновь была крепкая, хотя и нетугая, петля — она при каждом движении головы колола гвоздями. Каменные толстые стойки без дверей мешали ему видеть, что делали палачи с братом.

Лишь слышал Степан, как шипело от каленых щипцов, пахло горелым мясом, слышал треск костей и понимал, что ломают ребра Ивану. Слышал стоны и вопрошающий мертвый голос:

— Скажешь ли, вор, пособников?

— Скажу... умираю...

— Тако все! Заплечный, нажги кончар, коди черева. Пишите, дьяки:

«Вор, Ивашко Разя, клял воевод, бояр и грозился новым бунтом, в пытке был упорен, заводчиков сказать не хотел и пытанный накрепко — пытки не снес».

— Вершн, заплечный! вот ту — жги...

Раздался протяжный стон. Прикованный к стене Разин слышал, как загремело железо заслона, и грузное скользнуло под пол.

— Стрельцы, мост спустить! Кончим, помолясь богу. Устал я, да и за полночь буде... — И тот же мертвый голос продолжал: — Заплечный, бери кафтан: одежда казненного завсегда палачу, не от нас иде...

— Рухледь не стопт того, боярин, чтобы с полу здымать!

— Богат стал? Ну, твой помощник не побрезгает, заберет. Тушите огни.

11

Полная мыслями о госте, что утром рано покинул ночлег, Ириньица, качая люльку, пела:

Разлучили тебя, дитятко,
Со родимой горькой матушкой.
Баю, баю, мое дитятко!
Во леса, леса дремучие
Угонили родна батюшку...
Баю, баю, мое дитятко,
Вырастай же, мое дитятко,
В одинокой крепкой младости.
Баю, баю, мое дитятко!
У тебя ль да на дворе стоит
Новый терем одинехонек —
Баю, баю, мое дитятко!

За дверями шаркнуло мерзлой обувью, звякнуло железо; горбун, убого передвигаясь, спустился в горенку.

— И песню же подобрала, Ириха...

— Не ладно поется, дедко?.. На сердце тоска, — и запела другую:

Ох, ты, котенька, коток,
Кудревастенький лобок!
Ай, повадился коток
Во боярский теремок.
Ладят котика словить,
Шестры лапки изломить!

— Вишь, убогой, эта веселее?

Горбун снял с себя шубное отрепье, кинул за лежанку, снял и нахолонувшее железо. Бормотал громко:

— Пропало наше, коли народ правду молыт... Помру, не увижу беды над боярами, обидчиками... худо-о...

— Что худо, ворон?

— Да боюсь, Ириха, что нашего котика бояры словили...

— Опять худое каркаешь?

— Слышал на торгу да коло кремлевских стен.

Ириньица кинулась к старику, схватила за плечи, шопотом спросила:

— Что, что слышал? Сказывай!

— Ишь загорелась! Ишь пыхнула! Дела не сделаешь, а гляди

опять в землю сядешь, как с Максимом мужем-то буде. Не гнети плечи...

— Удавлю юрода — не томи! Максим, не вечером помянуть, кишка гузенная, злая был, — что же чул?

— Чул вот: народ молит — гостя Степана привезли к Фроловой на санях, голова пробита... Стрельцы народ отогнали, а его-де во Фролову уволокли.

— Не облыжно? Он ли то, дедко?

— Боюсь, что он. На Москве в кулачном бою хвачен... «Тот-де, что в соляном атаман был, казак»...

— В Разбойной — к боярину Киврину?

— Куды еще? К ему, сатане!

Ириньица заторопилась одеваться, руки дрожали, голова кружилась — хватала вещи, бросала и вновь брала. Но оделась во все лучшее: надела голубой шелковый сарафан на широких низаных бисером лямках, рубаху белого шелка с короткими по локоть рукавами, на волосы рефить,[1] низаную окатистым жемчугом, плат шелковый, душегрею на лисьем меху. Достала из сундука шапку кунью с жемчужными кисточками.

— Иссохла бы гортань моя... Ну, куда ты, бессмыга,[2] с сокровищем идешь?

— В Разбойной иду!

— Волку в дыхало? Он тя припекет, зубами забрякаешь...

— Не жаль жисти!

— Того жаль, а этого не?

Ириньица упала на лавку и закричала слезно:

— Дедко, не жги меня словом! Жаль, ох, спит, не можно его будить, а разум мутится.

— Живу спустят — твоя планида, а ежели, как мою покойную, на козле? Памятуй, пустая голова с большим волосьем!..

— Дедо, пазри малого... Бери деньги из-под головашника... корми, мой чаще, не обрости Васютку...

— Денег хватит без твоих. Ой, баба! Сама затлеешь и нас сожгешь...

---

[1] Рефить — сетка.

[2] Голая.

12

Спешно вошла по каменной лестнице, пахло мятой и душно было от пара. На площадке с низкой двухстворчатой дверью в глубине полукруглой арки встретил Ириньицу русобородый с красивым лицом дьяк в красном кафтане, в руке дьяка свеча в медном подсвечнике:

— Пошто ты, жонка?

— Ой, голубь, мне бы до боярина.

— Пошто тебе боярин?

Дьяк отворил дверь. Ириньица вошла за ним в переднюю светлицу боярина. Белые стены, сводчатые на столбах; столбы и своды расписные. По стенам на длинных лавках стеганые красные тюфяки, кое-где подушки в пестрых наволочках, в двух углах образа. Сверкая рефитью, жемчугами, поклонилась дьяку в пояс:

— По Разбойному, голубь, тут, сказывают, иман молодой казак — лицо в шадринках, высокий, кудревастый...

— Пошто тебе лихой человек?

— Ой, голубь! сказывают, голова у него пробита, а безвинной и за что?

— Знаешь боярина, жонка — на кровь он крепок... Битье твое челом не к месту — поди-ка в обрат, покудова решетки в городу полы. Жалеючи тебе сказываю... больно приглянулась ты мне.

Ириньица кинулась в ноги дьяку, заплакала. Дьяк поставил свечу на пол, поднял ее, она бросилась ему на шею.

— Голубь, что хошь проси! только уласти боярина...

— Перестань! — сказал дьяк, отводя с шеи ее руки, — глянет кто — беда, а любить мне тебя охота... Сказывай, где живешь?

— Живу, голубь, за Стрелецкой, на горелой поляне, за тыном изба в снегу...

— Приду... а ты утекай, не кажись боярину, не выпустит целу, пасись, — шептал дьяк и гладил Ириньице плечи, заглядывая в глаза: — И где такая уродилась? Много баб видал, да не таких.

— Скажи, голубь, правду — уловлен казак?

— Знай... не можно о том сказывать... уловлен... Степан? Разя?

— Он, голубь! пусти к боярину, горит сердце...
— Не ходи — жди его, он в бане...
— Не могу, голубь мой! пусти, скажи, где?
Дьяк махнул рукой, поднял свечу с пола.
— С ума, должно, тебя стряхнуло? Поди, баня ту — вниз под лестницей... Завернешь к левому локтю, дойдешь до первой дверки — толкнись, там предбанник... Ой, ты малоумная баба!
Ириньица, бросив в светлице душегрею, шапку, сбежала по лестнице, нашла дверь. На полках предбанника горели свечи в медных шандалах. На широкой гладкой лавке лежали зеленый бархатный полукафтан и розовая мурмолка с узорами.
Из бани мертвый голос выкрикнул:
— Тишка, где девки? Эй!
Ириньица приоткрыла дверь, заглянула в баню — на полке желтело угловато-костлявое что-то, с кривыми, тонкими пальцами ног. От фонаря, висевшего на стене, блестел голый череп.
«Все одно, что покойника омыть», — почему-то мелькнуло в голове Ириньицы; она ответила:
— Что потребно боярину — я сполню!
— Э, кто ту? Сатана! Да мне и девок не надо — лезь, жонка, умой старика... утри!
Ириньица быстро разделась до рубашки, не снимая сетки с волос, встав на колени на ступеньку полка, привалилась грудью к желтому боку.
— Мочаль... мочаль! Разотри уды мои... Э-эх, и светлая!.. Дух от тебя слаще мяты! Откуда ты, жено? Ой, спасибо...
В предбаннике завозились шаги.
Боярин крикнул:
— Тишка, не надо никого — один управлюсь!
— Добро, боярин! — шаги удалились.
— Скинь рубаху, жонка!
Ириньица сняла отсыревшую от пота рубаху, снова намылила мочалку, а когда нагнулась над стариком, он впился тупыми зубами в ее правую грудь.
— Ой, боярин, страшно мне!
— Чего страшиться? Не помру. Робя кормишь? Молоко...
— Большой уж — мало кормлю.
Холодные руки хватали горячее тело.
— Чорт, сатана, оборотень! — бормотал старик, и лысая

голова с пеной у рта билась о доски полка. Ириньица подсунула руки, отвернула лицо — голова перестала стучать, билась о мягкое тело. — Добро! убьюсь, поди... не тебе... мне страшно— мертвый хочу любить!.. Прошло время... время... Укройся — не могу видеть тебя! Боюсь... кончусь — тебя тогда усудят...

Подхватив с полу рубаху, Ириньица ушла из душного мятного пара в предбанник, оделась и ждала. Боярин слез с полка. Она помогла войти в предбанник. Заботливо обтерла ему тело рушником, бойко одевала. Он кашлял и тяжело дышал. Шел, обхватив ее талию рукой, говорил тихо с удушьем:

— Сердце заходится! должно, скоро чорту блины печи.

Она привела его в светлицу, подвела к лавке, положила головой на подушку, закинула на тюфяк ноги, покрыла его ноги своей душегреей. Боярин дремал, она сидела в ногах, очнулся — попросил квасу. Дьяк в красном кафтане стоял с опущенной головой, прислонясь спиной к стойке дверей. По слову боярина сходил куда-то, принес серебряный ковш с квасом; боярин отпил добрую половину, рыгнул и, передавая ковш дьяку, сказал:

— Дай ей — трудилась! Эх, Ефимко, кабы моложе был, не спустил бы: диамант — не баба.

Дьяк молча поклонился.

Боярин спросил:

— Что хмурой, спать хошь?

— Недужится, боярин, чтой-то...

Ириньица глотнула квасу — отдала ковш.

— Поди спи, мы с жонкой ту рассудим, что почем на торгу.

Дьяк ушел.

— Ну-ка, жемчужина окатистая, сказывай, пошто пришла? Не упокойников же обмывать, поди, свой кто у нас, за ним?

Ириньица сорвалась с лавки, кинулась на колени.

— Низко и слезно бью тебе, боярин, челом за казака, что нынче в Разбойной взят... Степаном...

— А! — боярин сел на тюфяке и скорее, чем можно было ждать, спустил ноги на пол. На мертвом лице увидала Ириньица, как зажглись волчьи глаза. — Разя? Степан?

— Он, боярин!

— Кто довел тебе, что он у нас, — дьяк?

— Народ, боярин, молыт, по слуху пришла к тебе...

— Ты с Разей в любо́ви жила?

— Мало жила, боярин!

— Тако все? А ведомо тебе, жонка, что оный воровской казак и брат его стали противу бога?

— То не ведомо мне, боярин!

— Сядь и сказывай правду. Ведомо ли тебе, что Степан Разя был атаманом в солейном бунте?

Иринья, склонив голову, помолчала, почувствовала, как лицо загорелось.

— Знаю теперь — ведомо!

— То прошло, боярин!

— Подвинься! — боярин снова лег, протянул ноги и, глядя ей в лицо, заговорил. — Был сатана, жонка, и оный сатана спорил с богом... А тако: сатану бог сверзил с небеси в геену и приковал цепью в огнь вечный. Кто противу государя царя, помазанника божия, тот против бога. Рази, весь их корень воровской, попли против великого государя, и за то ввергли их, как бог сатану, в огнь... Ты же, прилепясь телом к сатане, мыслишь ли спастись? Да еще дерзновение поимала притти молитца за сатану? То-то ласковая да масляная, как луковица на сковороде. Ну, што ж! Ложись спать, а я ночью подумаю, что почем на торгу... Эй, Ефимко, дьяк!

На голос боярина вышел из другой половины светлицы русый дьяк.

— Сведи жонку в горенку, ту, что в перерубе! Завтра ей смотрины наладим... В бане была, да худо парилась...

— Мне бы к дому, боярин! А я ранехонько бы пришла.

— Хошь, чтоб по дороге лихие люди под мост сволокли да без головы оставили? Мы тебе голову оставим на месте... По ребенку нутро ноет? Ребенок от Рази?

— Да, боярин!

— Дьяк, уведи ее!

Дьяк сурово сказал:

— Пойдем-ка, баба!

Дьяк был в красном, шел впереди, широко шагая, держа свечу перед собой. Иринья подумала:

«Как палач!»

В узкой одноокошной горнице стояла кровать, в углу образ — тонкая свеча горела у образа.

— Спи ту!

Дьяк поставил свечу на стол и, уходя, у двери оглянулся. Поблескивали на плечах концы русых волос. Глаз не видно. Сказал тихо:

— Пала на глаза — уйдешь ли жива, не ведаю... Сказывал...

— О, голубь, все стерплю!

Дьяк ушел. Ириньица зачем-то схватила свечу, подошла к окну: окно узкое, слюдяное в каменной нише, на окне узорчатая решетка, окно закрыто снаружи ставнем. В изогнутой слюде отразилось ее лицо — широкое и безобразное, будто изуродованное.

— Ой, беда! Лихо мое! Васенька, прости... А как тот, Степанушка, жив ли?.. Беда!

Потушила свечу, стала молиться и к утру заснула, на полу лежа.

13

Снилось Ириньице, кто-то поет песню... знакомую, старинную:

Ей немного спалось,
Много виделося...
Милый с горенки во горенку
Похаживает.

И тут же слышала — гремят железные засовы, с дверей будто кто снимает замки, царапает ключом, а по ее телу ползают черви. Ириньица их сталкивает руками, а руки липнут, черви не снимаются, ползут по телу, добираются до глаз. Проснулась — лежит на спине. Перед ней стоит со слюдяным фонарем в руках, в черной нараспашку однорядке, боярин в высоком рыжем колпаке. Волчьи глаза глядят на нее:

— А ну, молодка, пойдем на смотрины...

Ириньица вскочила, поклонилась боярину, отряхнулась, пошла за ним. Шли переходами вдоль стенных коридоров, вышли во Фролову башню. В круглой сырой башне в шубах с бердышами, с факелами ждали караульные стрельцы.

— Мост как?

— Спущен, боярин!

Киврин отдал фонарь со свечой стрельцам.

Пришли в пытошную. В башне на скамье у входной двери один дьяк в красном. Ириньица поклонилась дьяку. Дьяк встал при входе боярина и сел, когда боярин сел за стол. В пытошную пришли два караульных стрельца — встали под сводами при входе.

— Стрельцы, — сказал Киврин, — пустить в башню одного только заплечного Кирюху!

— Сполним, боярин.

— Дьяк, возьми огню, проводи жонку к лихому...

— Слышу, боярин.

Дьяк снял со стены факел, повел Ириньицу.

Боярин приказал стрельцам:

— Сдвиньте, робята, дыбные ремни на сторону, под дыбой накладите огню.

Боярин вышел из-за стола, кинув на стол колпак, подошел к пытошным вещам, выбрал большие клещи, сунул в огонь.

Один из стрельцов принес дров, другой бердышом наколол, разжег огонь на железе. Рядом в пустом отделении башни взвыла голосом Ириньица:

— Сокол мой, голубой, как они истомили, изранили тебя, окаянные, — в цепи, в ожерелок нарядили, быдто зверя-а?!

Боярин пошел на голос Ириньицы, встал в дверях, упер руки в бока. От пылающего высокого огня под черной однорядкой поблескивали зеленые задники сапог боярина.

Ириньица шелковым платком обтирала окровавленное лицо Разина.

Сонным голосом Разин сказал:

— Пошто оказала себя? На радость чорту!

— Степанушко, сокол, не могу я — болит сердечко по тебе, ой, болит! Пойду к боярину Морозову, ударю челом на мучителей...

— Морозову? Тому, что в солейном бунте бежал от народа? Не жди добра!

— К патриарху! К самому государю царю пойду... Буду просить, молить, плакать!

— Забудь меня... Ивана убили... брата... мне конец здесь... вон тот мертвой сатана!

Разин поднял глаза на Киврина. Боярин стоял на прежнем

месте, под черным зеленел кафтан, рыжий блик огня плясал на его гладком черепе.

Ириньица, всхлипывая, кинулась на шею Разину, кололась, не замечая, о гвозди ошейника, кровь текла по ее рукам и груди.

— Уйди! Не зори сердца... Одервенел я в холоде — не чую тебя...

— Ну, жонка, панафида спета — пойдем-ка поминальное стряпать... Дьяк, веди ее...

Ефим отвел Ириньицу от Разина, толкнул в пытошную.

— Поставь огонь! Подержи ей руки, чтоб змеепышей не питала на государеву цареву голову...

Ириньица худо помнила, что делали с ней. Дьяк поставил факел на стену, скинул кафтан, повернулся к ней спиной, руками крепко схватил за руки, придвинулся к огню — она почти висела на широкой горячей спине дьяка:

— А-а-а-й — закричала она безумным голосом, перед глазами брызнуло молоко и зашипело на каленых щипцах.

— О-о-ой! ба-а... — снова брызнуло молоко, и вторая грудь, вышипнутая каленым железом, упала на пол.

— Утонешь в крови, сатана! — загремел голос в пустом отделении башни.

Впереди стрельцов у входа в пытошную, прислонясь спиной к косяку свода, стоял широкоплечий парень с рыжим пухом на глуповатом лице. Парень скалил крупные зубы, бычьи глаза весело следили за руками боярина. Парень в кожаном фартуке, крепкие в синих жилах руки, голые до плеч, наполовину вдунуты под фартук, руки от нетерпения двигались, моталась большая голова в черном, низком колпаке.

— Боярин, сто те лет жить! Крепок ты еще рукой и глазом — у экой бабы груди снял, как у сучки...

Киврин, стаскивая кожаные палачовы рукавицы, вешая их на рукоятку кончара, воткнутого в бревно, сказал:

— У палача седни хлеба кус отломил! Ладно ли работаю, Кирюха?

— Эх, и ладно, боярин!

Ириньица лежала перед столом на полу в глубоком обмороке— вместо грудей у ней были рваные черные пятна. текла обильно кровь.

— Выгрызть худо — выжечь ништо! Ефимко, сполосни ее водой...

Дьяк, не надевая кафтана, в ситцевой рубахе, по белому зеленым горошком, принес ведро воды, окатил Ириньицу с головой. Она очнулась, села на полу и тихо выла, как от зубной боли.

— Ну, Кирюха! Твой черед: разрой огонь, наладь дыбу.

Палач шагнул к огню, поднял железную дверь, столкнул головни под пол.

Дьяк кинулся к столу, когда боярин сел, уперся дрожащими руками в стол и, дико вращая глазами, закричал со слезами в голосе:

— Боярин, знай! Ежели жонку еще тронешь — решусь! Вот тебе мать пресвятая... — Дьяк закрестился.

— Да ты с разумом, парень, склался? Ты закону не знаешь? Она воровская потаскуха — видал? Вору становщицей была, а становщиков пытают худче воров. Спустим ее — самих нас на дыбу надо!

— Пускай — кто она есть! Сделаю над собой, как сказываю...

— Ой, добра не видишь! Учил, усыновил тебя, в государевы дьяки веду. Один я — умру, богатство тебе...

— Не тронь жонку! Или не надо мне ни чести ни богачеств...

Киприн сказал палачу:

— Ну, Кирюха, не судьба... не владать тебе бабиным сарафаном. Подь во Фролову — жди, позову! Ладил в могильщики, а гляди, угожу в посаженые...

Палач ушел.

— Ефимко, уж коли она тебе столь жалостна, поди скоро в мою ложницу — на столе лист, Сенька дьяк ночью писал. Подери тот лист, кинь! Ладил я, ее отпотчевавши, Ивашке Квашнину сдать да сыск у ей учинить — не буду... Купи на груди кизылбашски чашечки на цепочках и любись... Оботри ей волосья да закрой голову. Ну, — пущай... так... Стрельцы, оденется, — уведите жонку за Москву-реку, там сама доберется.

14

Серебристая борода кольцами. По голубому кафтану рассыпаны белые волосы, концы их, извиваясь, поблескивают, гордые

глаза неторопливо переходят со страницы на страницу немецкой тетради с куншта́ми, медленно на перевернутых больших листах мелькают раскрашенные звери и птицы — барсы, слоны, попугаи и павлины.

С поклоном вошел в светлицу стройный светловолосый слуга в белом парчевом в обтяжку кафтане, еще раз поклонился и положил перед боярином записку — мягко быстро пятясь, отодвинулся. Боярин поднял глаза, оглянулся.

— Имянины празднуешь, холоп?

— Нет, боярин.

— Тогда пошто ты, как кочет, украшен?

Слуга оглянул себя:

— Дворецкий велит рядиться, боярин.

— Кликни дворецкого — иди!

Слуга на вздрагивающих ногах беззвучно удалился. Боярин, взяв записку, читал:

«А зеркалу, боярин и господин, Борис Иванович, в ободе серебряном цена двадцать рублев, лагалищу к ему на червчатом бархате гладком цена пять рублев. К ободу вверху и книзу два лала правлены, добре красных и ровных цветом, по сто пятьдесят рублев лал. Те лалы правлены по хотению твоему, а устроены лалы в реньях серебряных. Зеркало же не гораздо чисто, стекло косит мало, да венецейского привозу нынче надтить не можно, а новугородской худ...»

Вошел дворецкий, сгибая старую спину углом, поклонился.

— Пошто, Севастьян, велишь рядиться молодым ребятам в парчу? Прикажи всем им сменить обряд на простой панковый...

— Слышу, боярин.

— Тебе рядиться надо — ты стар, платье будет красить тело, им же не к месту — волосы светлы, вьются, лицо, глаза огневые, тело дородно...

— Сполню, боярин, по слову.

— А еще вот! — боярин мягким кулаком слегка стукнул по записке, — кузнец серебряной, вишь, реестр послал, у немчина учен, а гадит. Здесь ли он, тот кузнец?

— Ту, боярин! в людской ждет.

— Иди и шли сюда.

Дворецкий ушел, а боярин, разглядывая картины, думал:

«Ладно немчины красят зверя, птицу, а вот парсуны[1] делать итальяны боле сподручны, и знатные есть мастеры...»

Робко вошел серебряник в высоких сапогах, в длиннополом черном кафтане тонкого сукна, длиннобородый, степенный, с затаенным испугом в глазах, по масляным в скобу волосам ремешок.

Пока он молился, боярин молчал. Помолившись, прижался к двери, поклонился.

Продолжая рассматривать рисунки, боярин спросил:

— Кто писал реестру, холоп?

— Сынок, боярин, мой сынок, у понамаря обучен Николо-Песковской церквы.

— Рама к стеклу тобой самим ладена?

— Самим мной, боярин!

— Добрая работа! А зеркало пошто ставил такое?

— Ведаю, боярин — косит стекло, да ноги избил, искал и нет ладных... Ужотко венецейцы аль немчины...

Боярин поднял голову, глаза смутили мастера, он снова поклонился.

— Бери свое дело в обрат! Сам ведаешь пошто — рожу воротит... Мне же его в дар дарить. Или, ты думаешь, твоей работой я зачну смеяться над тем, кому дарю... В см не лицо — морда, как у заморской карлы, дурки, что шутные потехи потешает. Оставь оное стекло себе, барись по праздникам, когда во хмелю будешь, иди!

Серебряник еще раз поклонился, попятился и задом открыл дверь. Боярин прибавил:

— Малого, что реестру писал, пришли ко мне, учить надо — будет толк, подрастет, в подьячие устрою...

— Много благодарю, боярин!

— А в стекло глядись сам — сыщешь ладное, вправь и подай мне...

Вошел дворецкий.

— Боярин, в возке к тебе жалует на двор начальник Разбойного приказу.

— Пришли и проводи сюда! Волк на двор — собак в подворотню.

---

[1] Портреты.

Боярин отодвинул тетрадь, прислушался к шагам, повернулся на бархатной скамье лицом к двери. Гость, стуча посохом, вошел, поблескивая лысиной, долго молился в угол иконостасу; помолясь, поклонился.

— Челом бью! По здорову ли живет думной государев боярин Борис Иванович?

— Спасибо! Честь и место, боярин, за столом.

Киврин сел, оглядывая стены, расписной потолок и ковры на широких лавках, проговорил вкрадчиво:

— Добра, богачества несметно у хозяина, а чести-почести от великого государя ему и не ведомо сколь!

— Дворецкий, принеси-ка угостить гостя, чай, утомился, немолод есть.

— Живу, хожу — наше дело, боярин, трудиться, не жаловаться. Все мы холопи великого государя, а что уставать зачал, то не дела мают — годы...

— Так, боярин, так...

Дворецкий внес на золоченом большом подносе братину с вином, чарки и закуску.

— Отведай, боярин, фряжского, да нынче я от свейских купчин в дар имал бочку вина за то, что наладил им торг в Новугороде. Вот ежели сговорны будем да во вкус попадем, можно тот дар почать.

— Ой, боярин Борис Иванович, нешто я жаден до пития? Мне нынче чару, другу — и аминь. С малого хмелен — сердце заходитца, да язык зачинает плести неподобное... Так во здравие твое, Борис свет Иванович!

— И в твое, Пафнутий Васильевич! Много тебе лет быть в работе, править воровскими делы...

— И еще коли, — во здравие думново государева и ближния боярина, а тако: позвоним-ка чашами... Надобы дело перво мне— упьюсь, забуду.

— Что же боярина подвигло сюда ехать? Гость редок..

— От дел редок, боярин! А то бы век за твоим столом сидел старый бражник... Великое дело, Борис Иванович... Уж и не знаю, как начать, чем кончить! С моста кидаешься, метишь головой вглубь, а в кокорину, гляди, попадешь... Вишь, боярин, взят мной в Разбойной шарпальник, отаман солейного бунта Степька Разя, так пришел я довести тебе, Борис Иванович, —

:1 чину, как и полагается, без твоего слова не вершить, — что пытку над ним зачну скоро, отписку же по делу великому государю царю дам дословную после пытки.

Глаза Киврина, разгораясь, уперлись в лицо боярина. Киврин продолжал:

— Сумеречный стал пошто, боярин? Или обида какая есте в словах моих — обидеть тебя не мыслю...

— Говори, боярин, — я думаю только по-иному.

— Что же думает боярин?

— Ведь с Дону почетно он к нам прислан, и не рядовым казаком, но есаулом. Справ станице выдали, к государю на очи припустили, и не ведал я до тебя, боярин, пошто станичники медлят, не едут в обрат, а это они своего дожидаются, ищут по Москве.

— Станичники — люди малые, боярин! Разбойника упустить не можно, не дать же ему вдругоряд зорить Москву, чинить дурно именитым людям!

— То правда твоя, боярин! У них же своя правда — станицу послало великое войско Донское.

— Да уж коли неведомо боярину, я скажу, а тако: будучи в Черкасском, сговорил отамана Корнейку Яковлева...

— Корнилу, боярин.

— Так и эдак кличут его... Сговорил, что пошлет он в станице заводчика. Что возьмем заводчика, то ему, отаману, ведомо и желанно, да и протчим казакам матерым Разя в укор и поношение живет и весь его корень тоже. И дивлюсь я много на тебя, Борис Иванович: ты идешь в заступ разбойнику, а он пуще всех тебя зорил в солейном бунте!..

— То прошло, боярин. Дворецкого старика убили — жаль...

— Ой, не прошло, Борис Иванович! Разбойник, шарпальник есть, кем был. Бабр весной вылинял, да зубы целы.

— Пьем, Пафнутий Васильевич! Добрее станешь.

— А нет, боярин, договоримся, что почем на торгу — тогда...

— Что почем? Ну, так ведай!

Лицо Морозова стало красным, гордые глаза метнули по стенам, он подвинулся на скамье, заговорил упрямым голосом:

— Иман оный заводчик Разя ведь твоими испами?

— Что верно, боярин, то истинно! Ладного человека разбойник у меня погубил и не одного. Силач был татарин, крепок

и жиловат, а Разя окаянной — задавил иеца в бою на Москве... Как только удалось ему!

— Прав, что задавил!

— Вот дивно, боярин! Разбойники зачнут избивать служилых людей, а бояре плескать в ладони да кричать: го, го, го!

— Пущай беззаконно не лезут служилые. Дано было знать о том атамане солейного бунта Квашнину Ивану Петровичу, и мы, боярин, с Квашниным судили, как быть? Квашнину я верю— знает он законы, хоть бражник. А судили мы вот: «Ладно ли взять, когда он в станице? Да взять, так можно ждать худчего бунта на Дону?..» Квашнин же указал: «Холопи, что дурно чинили на Москве и сбегли в казаки, не судимы, ежели на Москву казаками вернутся». То самое и с шарпальником: не уловили тогда, теперь ловить дело беззаконное!.. Ты же, боярин, — прости мое прямое слово, — сделал все наспех и беззаконно.

— Пока думали, он бы утек, боярин! Беззакония тоже нет, великому государю царю я с Дона в листе все обсказал...

— Грамоту твою, боярин, еще обсудить надобно.

— Ох, знаю, Борис Иванович! Претишь ты моему делу...

— Вершить это все же не торопись, Пафнутий Васильевич!

— Ну, и худо, боярин! За государем царем ходишь, милость его на себе, как шубу соболью, таскаешь, да от бунтов Русию не бережешь! — волчьи глаза загорелись. Киврин начал дрожать, встал.

Морозов еще больше подвинулся на скамье, закинул голову:

— Взять с тебя нече — стар ты, боярин! По-иному поговорил бы с тобой за нопешние речи.

— Все Квашнин, твой дружок, мутит — лезет в люди, ты же ему, боярин, путь огребаешь. Только гляди, Борис Иванович, корова век соколом не летает!

Киврин побледнел, руки тряслись, посох дробно колотил по полу сам собой.

— Дворецкий! Проводи до возка боярина и путь ему укажи. статься может забудет, куда ехать...

Киврин ушел.

Морозов снова принялся за кушиты.

15

От многих лампадок с широкой божницы — желтый свет. В желтом сумраке гневная боярыня, раскидав по плечам русые косы, ходила по светлице. Кика ее лежала на лавке.

— Все, чего жаждет душа, идет мимо! Доля злосчастная моя...

Постукивая клюкой, вошла мамка:

— Посылала тебя, старую, проведать казака, а ты сколь времени глаз не кажешь!

— Уж не гневайся, мати! Много проведала я, да толку от того на полушку нету...

— Пошто нету?

— Взят он, казак, в Разбойной, и пытка ему будет учинена, как давно мекала я. И не дале как сей упряг приходил к боярину сам волк волкович старой — тот, что разбойным делом ведает, Киприн. Я же, мати моя, грешная, подслушала у дверки из горенки — ой, кабы меня Борис Иванович за таким делом уловил и смерть бы мне! — а пуще смерти охота услужить тебе, королевна заморская. Ты же на старуху топочешь ножкой...

— Не хорошо подслушивать, ну да ладно! Что проведала из того?

— Проведала, что народ молыт, все правда, сам волк боярину лаял: «Взят-де мною шарпальник донской Разя, а ране-де, чем вершить с ним, сказать тебе, Борис Иванович, я пришел».

— Ну, а боярин?

— Боярин не велел скоро пытать —подождать указал...

— А дале?

— Дале я, Ильинишна, не смела чуть, а ну как боярин заглянет в горенку да сыщет — ухрямала по-добру... У волка-то, мати, есте дьяк, Ефимкой кличут... Дьяк тот от крепостной девки выблядок... Киприн тую девку страсть как любил. Померла — он и пригрел того Ефимку, а всем сказывает, что «найденыш». Мы же ведаем, кто...

— Ой, мамка, и любишь же ты верить сплеткам людским да обносу всякому!

— А, королевна моя, сказывали люди, и тем люди не обносчики с пуста места...

— Спеши, мамка! Чую шаги — боярин идет.

Мамка поспешно, не стуча клюкой по полу, ушла.

Боярыня стояла к темному окну лицом. Боярин сказал:

— У тебя, Ильинишна, как у богомолки в келье, пахнет деревянным маслом. Да какой такой огонь от образов? Эй, девки!

Вошли две русые девушки в голубых сарафанах, с шелковыми повязками на головах.

— Зажгите свечи, выньте из коника спод лавки душмяной травы, подушите, зажгите траву — не терплю монастырского духу.

Девицы зажгли свечи, подушили светлицу, ушли. Свечи одиноко горели на столе.

— Что не весела, Ильинишна? Глянь — развеселишься. Вишь, что я тебе от немчинов добыл. Да пошто голова без убору?

— Что для меня добыл, боярин?

— Вот, глянь! Не бычься — поди к столу. Купцы добыл, а в них звери — бабры, львы цветные, птицы. Ладил я к твоим именинам зеркало справить, только кузнец серебряной спортил дело — пожду с тем подарком.

— Даром трудишься, боярин! Пошто дары? И без того ими полна моя светлица.

— Чем же потешить тебя, Ильинишна? Что тебе надобно?

— То надобно, боярин, что хочу видеть человека, кто в соляном бунте мне жизнь спас — то, боярин, краше всех подарков. Ведь некому было бы их дарить! Хотели бунтовщики спалить светлицу, он не дал, а запалив, и меня бы кончили. И ведомо тебе, муж мой, я была недвижима. Все расскочились от толпы, тебе же не можно было показаться.

— То правда, Ильинишна! Опомнился я тогда, испугался за тебя. Да каков тот человек? Ежели уж он такое сделал для меня и тебя, то пошто не можно его видеть?

— Нельзя, боярин! И вот болит ежедень мое сердце: живу, хожу, почет мне великий, а человеку, кой мой почет и жизнь спас, глаз на глаз спасибо сказать не можно...

— Да скажи мне, Ильинишна, жена моя милая, кто тот человек? Холоп ли, смерд черной? Я того гостя в своих хоромах посажу в большой угол.

Боярыня шагнула к мужу и обняла его — лицо повеселело, но глаза прятали недоверие.

— Тот человек, боярин, нынче взят в Разбойной приказ,

и пытка ему будет против того, как и всякому лихому. Тот человек — атаман соляного бунта...

— Разя?

— Он, боярин!

— А пошто ты, Ильинишна, горишь вся? Да еще: зачем ты мне до сих мест того не сказывала? И как же разбойник мог тебя спасти, когда он же и бунт заварил?

— Не веришь, боярин? Поверь не мне — девкам, он и девок спас от насилья. Мне же сказал: «Спи, не тронут!»

— Чудное городишь: «не мне, холопкам поверь»!

— Думаешь, боярин, сказки сказываю или приворотной травы опилась?

— Ведаю — ты не лжива.

— Что же ведет тебя в сумленне?

— А вот не разберусь что. За Стеньку Разю Квашнин Иван Петрович встал. Киврин же был на Дону в поимке того Рази, писал о том царю... Государь много верит Киврину. Киврин Квашнина бы съел живого, да зуб не берет — жиловат... За Киврина стоит Долгоруков Юрий князь... Нынче же говорил я Киврину: «Разя иман беззаконно, вины ему отдать надо». А так ли гляпет царь — того не ведаю... И еще... кто до тебя и когда довел, что Разя взят в Разбойной?

Боярыня вспыхнула лицом, сняла с шеи мужа руки, отошла в сторону.

— Хочешь, боярин, знать, отколь прослышала? Так разве оное скрытно? Народ на торгу о том говорит, я же хожу мимо торгов в церквп... Загорелась? Да! А разве горела бы душа моя, если б тот, кто спас меня от смерти, был на воле?

Боярин кинул тетрадь куншгов на стол, сел:

— Садись-ка, Ильинишна! Зачали судить-рядить, надо до конца доходить...

Боярыня присела на край скамьи.

— Садись ближе! Не чужая, чай... Вот будем-ка думать, как Разю взять от Киврина... Взять его — дело прямое, а без кривой дороги не проедешь. Не привык душой кривить — околом ездить.

— Где тут кривда, боярин, ежели Квашнин видит обпос?

— Не обпос, жена! Беззаконие... Киврину говорил я, что послан Разя войском в почете, есаулом, но Киврин не седни

воровскими делы ведает — жил на Дону и атамана сговорил. А что через Киврина царь ведает и атаман ведает за Разей разбойное дело — вот тут, Ильинишна, зачинается кривда. Кривда моя — в том, что до решения комнатной государевой думы пока царь не утвердил, должен я взять того казака и отпустить. Отпущу же — зачнутся оговоры, царь ныне уже не юноша, прошло время то, когда указывал ему. Князь Юрий, знаю, пойдет на меня, и Долгоруков у царя боле почетен, нно не Квашнин. Квашнина все большие люди чтут бражником. В думу государеву, ведаю раше, он без хмеля в голове не придет...

— Тогда не дари меня, боярин! Все уразумела из твоих слов: нет и не будет мне покою.

Боярыня хотела встать.

— Сиди, жена! Не ведал я, когда брал тебя в жены, что у Милославского такая меньшая. Старшая в царицы налажена, и ей подобает, как ты, властвовать, да она мягка нравом. Ты знаешь, что жены бояр слова и глаза мужня боятся, а кои строптивые, с теми плеть мирит дело. С тобой же у нас меж собой не было боя и не должно быть, оттого и сговор наш коротким быть не может. В этом деле правду, которую ведаешь ты, и я ведаю,— да правда и истина, вишь, разнят. Правда — беззаконно взят казак, имал не тогда, когда надо. Истина же иное: казак учинил разбойное дело, — таких имают. Киврин прав: отпустить его, казак снова учинит грабеж — тогда прямой охул на меня. И это видит не один Киврин, видит это и царь! Ныне давай судить, что мне дороже?

— Правда и честь, боярин!

— Да... ты мне дороже чести...

— Увижу казака в моей светлице — поверю.

— Теперь не веришь?

— Сумнюсь... Ведь усомнился, боярин, когда сказала, что, меня спас атаман соляного бунта?

— То было, да минуло. Поверил я. Боюсь иного: молод, смел, в глазах огонь какой-то нечеловечий — вот что я чел про него в сыскных опознаниях. Что скажу я своей чести, когда он тебя у меня схитит? Молчи! Подобной завсегда готов чинить такое, что иному во снах кажется страшным...

— Гроза государева тебе страшна... Я же была твоя, твоей и буду!

— Будешь ли? Огневая ты... ведаю не сей день... Загоришь — себя не чуешь. То в тебе, Ильинишна, люблю и его же боюсь... Дело, о коем мы судим, малое: дьяка за рога — пиши лист, подпись Ивана Петрова, да три шага к царю, и Разя, спаситель твой, цел... Увидишься — мотри не рони себя... Складываюсь на твою душу.

— Ой, боишься, боярин?!

— Тебя боюсь! — старик тряхнул серебристыми кудрями, встал. — Враги топтали не один раз, да в грязи лежали они же... Кунпты разверни, Ильинишна, великая в их краса и человечья выучка...

Боярин положил на тетрадь мягкую руку, шагнул, поцеловал жену и спешно ушел..

— Кунпты, кунпты, бабры, львы, орлы... ах, кабы он неотложно сделал!

Боярыня кликнула сенных, обнимала их, гладила, они же причесывали ей волосы.

16

Киприн за столом в пытошной башне, волчьи глаза уперлись в пустую дыбу.

— Что-то призадумался, боярин? — спросил дворянин, вглядываясь в начальника.

— Недужится, Иваныч, да и дела наши... Стрельцы, подьте снимите с колец шарпальника, колодки с ног тоже сбейте... ведите в пытошную. Пытать пождем...

—Что же так, боярин?

— Так, Иваныч. Ходил я грызтись с Морозовым — стоит за бунтовщика, а все Квашнин тут...

В башню ввели Разина. Разин мотал руками, разминая плечи. Рубаха на спине, заскорузлая от крови, смерзлась.

— Э-эх, здесь теплее!

— А дай-кось, парень, я тебе вдену руки в пытошные хомуты, не полагается таким под дыбой руками махать! — пристал стрелец.

— Чего лезешь? дай руки размять.

— Ништо! Крепок ты, связанный в рогожах погреешься.

Стрелец упрямо лез к рукам Разина.

— А ну!

Разин толкнул стрельца в грудь. Стрелец, загремев бердышом, вылетел в сторону моста к Фроловой. Вскочил на ноги, злой, схватил с полу бердыш, кинулся.

— Я те вот череп спробую!

— Сунься! Одним мертвым больше, сволочь!

Тихий голос из-за стола приказал:

— Стрелец, дурак! Юмашку задавил, Юмашка богатырь был, тебе же, как кочету, завернет шею. Не вяжи! Пущай греется...

Кровавым лицом Разин улыбнулся:

— Не ждал! Должно, и сатане спасибо дать придетца. Ты не из робких... вот умыться ба!

— Единой лишь кровью умываем ту, — ответил Киприн.

— Ладно, коли кровью!

Разин ходил перед дыбой, звенели по камню подковы, брякали особым звоном, когда он попирал ногой железную дверь. Караульные стрельцы волновались, поглядывая на страшную фигуру Разина с черным от крови лицом и пронзительными глазами. Дьяки отодвинулись на дальние концы скамей. Беспокоился дворянин, Киприн сидел неподвижно, не сводя глаз с пустой дыбы.

У притолки башни, прислонясь спиной, стояла массивная фигура рыжего палача, голые до плеч руки всунуты привычно под кожаный фартук, черный колпак сбит набекрень. Рыжий тоже спокоен, лишь на глуповатом лице скалятся крупные зубы. Киприн перевел глаза на палача.

— Должно статься, Кирюха, немного нам вместях делы делать.

— А пошто, боярин?

— Так... Накладди-ка под дыбой огня, пущай лихой греется... отойдет.

Палач развел огонь. В башню вошел чужой — дьяк в черном кафтане, в плисовой шапке, поклонился боярину, положил на стол лист бумаги.

— Что это?

— От Морозова, боярин!

— Эй, Ефимко, — чти!

Дьяк в красном подошел к столу, степенно взял лист, развернул и прочел громко:

— «Начальнику Разбойного приказа боярину Киврину на его спрос по пытошному делу отписка:

«По указу великого государя, царя всея великия и малыя и белыя Русии самодержца Алексия Михайловича повелено ему, боярину Киврину, передать пойманного им казака, есаула Донской ямовой станицы Степана Разина, в Земской приказ боярину Ивану Петровичу Квашнину без замотчанья и скоро перевести до крылец Фроловой башни из пытешной, сдав на руки стрельцам Иванова приказу Полтева, кои ведают караулы в Земском у боярина Ивана Петровича Квашнина».

— Тако все! Чуешь, Иваныч? Мы потрудились за Русию, да труды наши пошли, знаешь, куда? Есть ли на грамоте печать государя, дьяк?

— Есть, боярин.

— Ефим, припрячь грамоту, потребуется. Стрельцы! Негожи ваши кафтаны червчатые, не угодны, вишь, боярам Морозову да Квашнину. Полтевские белокафтанники сменят вас. А нынче уведите шарпальника како есть, без кандалов — не вяжите, пущай хоть утекает — не ваше горе, не с вас, с других сыщется утеклец. Спущен ли мост?

— Спущен, боярин!

— Ну, казак! чую я, большая у тебя судьба — полетай.

Разина увели.

17

— Мать Ильинишна, боярыня, примай гостя, пришел казак-от.

— Да где же он, мамка?

— Ту, у двери стоит...

— Веди, веди!

Мамка, стуча клюкой, выглянула за дверь.

— Эй, как тебя? крещеной ли? иди к боярыне!

Звеня подковами сапог, Разин вошел в синем кафтане с чужого плеча, в окровавленной рубахе — лицо в засохшей крови.

— Мамка, намочи скоро в рукомойнике рушник, дай ему обтереть лицо...

— Ой, уж боярыня — век разбойную кровь не чаяла обмывать!

— Не ворчи, делай!

Мамка, отплевываясь про себя и шепча что-то, намочила полотенце, подала. Разин обмыл лицо.

— Вот ту, аспид, еще потри — шею и лапищи страшенные... Мой ладом.

— Добро, чертовка!

— Вот те провалиться скрозь землю — старуху печистником звать! Кабы моя воля — век бы на сей порог не глянул...

— Поди, мамка, мы поговорим глаз на глаз.

— И... и страшно мне, королевна заморская, одну тебя с разбойником оставить — я хоть девок кликну?

— Иди — никого не надо!

Мамка, ворча под нос и оглядываясь на Разина, ушла.

— Садись, казак, вот здесь. Нет, тут не ладно, пересядь ближе, дай в лицо гляну... Худое лицо, глаз таких ни у кого не видала я...

— Боярину дал слово — недолго быть с тобой...

— Кто некся о тебе, я или боярин?

— Не ведаю — дал слово, держу!

— Ведай, кабы не я — боярин со своей истиной, гляди, оставил бы тебя в Разбойном. Я не дала...

— То спасибо, боярыня!

— Дар за дар: ты мне жизнь сохранил, и я тебе тоже. Скажи: ты учинил соляной бунт?

— Народ вел я... он же злобился рапе на бояр...

— Скажи, светло, привольно в степи на широкой воле? В море, в горах — хорошо?

— Мир широк и светел, боярыня, и бури в нем и грозы не мают, не пугают человека — радуют... Темно и злобно в миру от злого человека, боярыня! Сердце болит, когда видишь, как одни живут в веселии, в пирах время изводят, едят сладко, спят на пуху и носят на плечах золотное тканье, узорочье. Другие едят черствый кус, да и тот воеводы, дьяки, подъячие из рук рвут, топчут, льют кровь и куют в железа человека. А пошто? Да по то, чтобы самим сладко жилось.

— За то, что говоришь и видишь правду, поцелуй меня! Я тоже ту правду чую, да силы нет встать за нее — целуй!

— Вот!.. И сладок твой поцелуй, боярыня. Глаз таких не видала, как мои, а я таких поцелуев досель не знал...

— Ты мог бы меня полюбить, казак?

— Не знаю, боярыня...
— Не ведаешь? Ты смеешь мне говорить? Я же люблю!
— Страшно тебе любить меня!
— Я не понимаю страха!
— Ты пойдешь за мной, боярыня?
— Пойду — и на все готова, хоть на пытку...
— Бездумная ты!
— Жена полюбила — умной ей не можно быть! Горит душа и любит сердце — нет страху, опричь радости единой, единой радости, как у звезды, коя с неба падает наземь и тухнет по дороге... Не боюсь и того, если душа моя потухнет и очи померкнут, — все приимаю, и чем более позор, тем краше радость моя... Целуй меня еще!
— Нет... не могу!
— Вот ты какой? Я для тебя из тех, кто сладко ест и ненавидит черный народ, кто радуется его великому горю и скудости, да? да?
— Слову твоему верю, боярыня! Чую — ты не такая, как все, но познай меня!
— Ну!
— Иду я скрозь моря, реки, города! Кого полюбил — ласкаю и кидаю жалеючи — нельзя не покинуть... Я как дикий зверь, и будет за мной налажена от бояр великая травля, худчая, чем за зверем — ее не боюсь! Я чую, ты сможешь взять в плен мою душу жалостью, того боюсь! Теперь еще спрошу, куда итти тебе со мной, в такой непереносный путь? В горы утечи? Кайдацкие горцы ловят и дагестанские татаровья да князь Каспулат, что худче зверей. В степях ордыны и турчин имает от Азова... И я не хочу, чтоб тебя с очей моих сорвали, продали ясырем поганые. Худая радость в дому, да почет и честь!.. Не могу переносить, что ты жить зачнешь в бое, муке... Или пора пришла великая тебе сменить терем на татарскую кибитку? Нет моих сил уберечь тебя, за добро лиха делать не могу...

Боярыня опустила голову.

— Вот скажу — ты не сердчай, с добра говорю. Покуда не накрепко срослись наши души — расстанемся!.. Подумай еще — на Дон умыкнуть тебя, там моя жена, да жена не лихо — лихо иное: зачахнешь с кручины, меня с долгих походов ждамши. Я на свет пришел, — скажу тебе одной, — платить злым за

зло. Пусть правду вижу в лихе, с которым иду — горит душа!.. Твоя, сказываешь, только согрелась любовью, моя же горит лихом... Прощай! Дай я поклонюсь тебе за добро, любовь и волю.

Разин встал, поклонился боярыне, она подняла голову, потянулась к нему.

— Пошто сохранил мне жизнь?.. Поцелуй еще!

— Эх, боярыня, не надо... Ну, как брат сестру!

— Не хочу быть сестрой! Кляну такое! Жажду быть любимой... ах, казак... казак...

— Пора, прощай! боярин ждет...

— Скажи, ты опять на бунт идешь?

— Здесь горит... Отец, брат... прощай боярыня!

— Вот это на дорогу.

— Некуда!

— Крест на вороту носишь? Привязки...

— У малого был, заронил...

— Возьми вот! Не гляди, опусти глаза, уходи! Мамка, выведи гостя!.. где ты? Скоро уведи...

— Того жду, королевна заморская! Пойдем-ко, аспид.

Когда затворилась дверь, боярыня кинулась на лавку вниз лицом, вздрагивая от плача, жемчуг кики, попавшей ей вместо подушки, трещал на зубах. Заслышав знакомые шаги, она встала, обтерла слезы, прошлась по светлице, поправила лампадку, сильно чадившую. Боярин вошел, заговорил от двери:

— Весела ли теперь, моя Ильинишна?

Она беспечно ответила ему:

— Муж мой, господин! Теперь моя душа спокойна, отныне, боярин, кончила тебе обиду чинить, и подарки твои мне желанны.

— Веришь, что ты дороже для меня чести?

— Верю, боярин!

Подошла, крепко обняла седую голову.

— Ну, вот... вот... я боялся напрасно... Погоди-ка, надо выйти, наладить с дорогой: будут, того гляди, опять ловить парня, да и ночь... Оставить же его с ночлегом у нас не можно — охул дому...

Боярин спешно повернулся, погладил по голове жену, ушел.

В людской Морозова кто чинил хомуты, кто подшивал обувь, а из молодежи которые — те играли в карты на столе у небольшого светца. Тут же сидел мальчик, заправлял и зажигал лучину. Многие из холопов лежали по лавкам, курили трубки.

Людская изба обширная. Дымовое окно открыто в дымник.

Разин стоял у шестка, заслонял широкой спиной заслон и печное устье. На плечах у него дубленый полушубок. Седой дворецкий подал Разину кнут палача:

— Вот, паренек, окрутись этим два раза.

Кто-то пошутил:

— Хорош, паренек! заправский палач! Хучь на Иванову выводи...

— Не скальтесь! Рукоятку, паренек, палачи подтыкают вот ту... спереди, чуть к правому боку... А ну, шапка эта ладна ли? Гожа! Топора не подберу, топоры все дровельники...

— Давай какой... и ладно!

Вошел боярин.

Все, кроме Разина, засуетились: те, что играли в карты, попрятали игру, курильщики зажали в кулак трубки, иные пихнули трубки, куда попало.

— Холопи, кой табак курит, кури, трубок не прячь, пожог учините. Я не поп на духу и не акцизной дьяк.

Боярин перевел глаза на Разина, прибавил:

— В путь налажен, казак? Еще ему топор, дворецкий, подай.

— Да палачова топора, боярин, зде нету и подходяща не найду...

— Бери фонарь, сходи, не дально место, в кладову Земского приказу, чай, не полегли спать? На мое имя — дадут. Холопи, за табак и вино не взыщу с вас, но ежели кто зачнет судить, как парня седни палачом рядили, берегитесь — того, язычника, сдам в Земский в батоги!

— Слышим, боярин.

— Да пошто нам кому сказывать?!

— Дворецкий, по пути заверни к дьяку Офоньке, забери у него дорожные листы: один к решеточным сторожам, чтоб про-

пущали, другой для Яма по Коломенской дороге — на лошадей. Да тот фонарь, что с тобой, дай казаку в дорогу.

— Сполню, боярин.

— Ну, казак, иди на Коломенскую дорогу. В первом Яме покажешь лист — дадут лошадей... Там твоя шуба, пистоль, сабля... И знай иной раз, как Москва ладно в гости зовет! Пасись быть с разбойным делом!

— Спасибо, боярин! приду ужо на Москву, в гости зазову и отпотчеваю, — ответил Разин, показывая зубы.

— Умеет Киврин страху дать, да, видимо, и краем тебя тот страх не задел! Вишь, еще шутки шутит! Моли бога, станишник за боярыню — узрела тебя. Гнить бы твоей голове на московских болотах!

— Иду на богомолье, боярин! — ужо хорошо помолюсь!

Боярин ушел.

19

Дворецкий в синем кафтане, расшитом по подолу шелком, стоял у горок с серебром. Стол был давно накрыт, и так как вечерело, то в серебряных шандалах горели многие свечи. Дорогие блюда с кушаньем и яндовы с вином, все было расставлено в порядке к выходу князя из дальних горниц. Воевода в малиновом бархатном кафтане сел к столу, сказал:

— Егор, наполни, две чаши фряжским.

Дворецкий бойко исполнил приказание.

— Приказано ли пропустить ко мне едина лишь боярина Киврина?

— То исполнено, князь!

Дворецкий, ответив, имел вид, как будто бы еще что-то хотел сказать. Князь опорожнил одну из налитых вином чаш, — дворецкий снова наполнил ее:

— Сдается мне, еще что-то есть у тебя сказать?

— А думно мне, князь Юрий Алексиевич, что боярин Киврин не явится к столу...

— Так почему думаешь?

— Сидит в людской его дьяк с грамотой к тебе, князь!

— Пошто медлишь? Кликни его!

— Слушаю, князь!

Вошел русоволосый дьяк в красном скорлатном кафтане, поклонился, подал воеводе запечатанную грамотку:

— От боярина Киврина! — Еще раз поклонился и отошел к дверям, спросил: — ждать или выти, Юрий Алексеевич?

— Жди ту! пошто не докучал, время увел?

— Не приказано было докучать много.

Долгорукий распечатал бумагу, читал про себя:

«Друг и доброжелатель мой, князь Юрий Олексиевич! Нахожусь в недуговании великом, а потому к тебе не ему силы явиться. Довожу тебе, князь Юрий Олексиевич, что бунтовщика Ивашку Разю по слову твоему вершил и по слову же твоему ходил известить Морозова о другом брате, бунтовщике Стеньке. Морозов же, во многом стакнувшись с Квашниным Ивашкой, за разбойника отамана солейного бунта крепкую заслугу поймел, а молвя: «беззаконно-де его имали», после же отговору своего, как я отъехал, незамедлительно прислал ко мне в Разбойной приказ дьяка с листом, на коем ведастца печать великого государя, «чтоб сдать оного бунтовщика Стеньку Разю боярину Квашнину в Земской». И ведомо мне учинилось, князь Юрий, что в ту пору, как, взятчи с Разбойного шарпальника, Морозов укрыл его у себя в дому до позднего часомерия. Извещаю тебя, доброжелатель мой, что недугование мое исходит от сердечного трепытания, — оное мне сказал немчин-лекарь. Пошло же оно от горькой обиды на то, что вредный сей сарынец изыдет из Москвы со смехом и похвальбой, не пытанный за шарпанье держальных людей! Ведь таковаго, князь Юрий, не водилось из веков у нас! В сыске проведал, что будет спущен тот вор Стенька на Серпуховскую дорогу, и там бы тебе, воеводе князю Юрию, в скорости получения моей отписки учинить на заставе дозор и опрос всех пеших и конных неслужилых людей, докудова не зачнет рассвет, ибо изыдет разбойник в ночь... Тако еще: хоша на листе от Морозова печать великого государя, да взять его Стеньку Разю в том листе указано в Земской приказ, а его, шарпальника, нарядили утеклецом, того великому государю не ведомо, что самовольство бояр Морозова да Квашнина. Еще: оберегая Русию от лихих людей, мы имали оного бунтовщика беззаконно, но утечи ему дати в сто крат беззаконнее. А тако: ныне изымавши в утеклецах разбойника, нам бы свой суд над ним вершить, яко над старшим братом, незамед-

лительно, минуя поперечников наших Морозова с Квашниным. И еще бью дольно челом князю Юрию Олексиевичу и скорого слова в обрат от моего доброжелателя жду».

Долгорукий поднял глаза:

— Иди, дьяк, молви боярину: что в силах моих — сделаю. Эй, Егор!

Вошел дворецкий, пропустив в дверях встречного дьяка.

— Прикажи конюшему седлать двенадцать коней, мой будет не в чет. Еще пошли того, кого знаешь расторопного, в Стрелецкий Яковлева приказ от моего имени, вели прислать стрельцов добрых на езду — двенадцать к ночному ездовому дозору. Собери для огня в пути холопов!

— Так, князь Юрий Олексиевич!

— Стой, пришли мою шубу и клинок!

— Сполню, князь!

20

По сонной Москве, по серым домам с узкими окнами прыгают черные лошадиные морды, то вздыбленные, то опущенные книзу, иногда такая же черная тень человека в лохматой шапке с бердышем на плече. У башен стены, у решеток на перекрестках улиц топчутся люди в лаптях и сапогах, в кафтанах сермяжных, по серому снегу мечутся клинья и пятна желтого света фонарей, краснеют кафтаны конных стрельцов, иногда вспыхнет и потухнет блеск драгоценного веница на обшлаге княжеской шубы, особенным звоном звенит о стремя дорогой хорасанский клинок в металлических ножнах, и далеко слышен княжеский голос:

— Сторож! кого пропущал за решетку?

— Чую, батюшка, князь Юрий! иду, иду...

Сторож в лаптях на босу ногу, в рваном нагольном тулупе, без шапки, ветер треплет косматые волосы и бороду, серебрится в волосах нето пыль снежная, с крыши заневаемая, нето седина.

— Ты слышишь меня? — из-под соболиного каптура глядят сурово острые глаза.

— Слышу, батюшка! Упоминаю, кого это я пропущал? Много, вишь, я пущал: кто огняной, а без огня и листа дорожного, не пущал, князь Юрий...

— Человека в казацкой одежде пропущал?

— А не, батюшка князь! Станишники, те приметны, не было их... Купец шел, свойственник гостя Василия Шорина, да боярин Квашнин в возке волокся к Земскому, еще палач из Разбойного, так тот с огнем и листом, должно боярина Киврина служилой..

— Палача не ищем! Ищем казака, да у Шорина много захребетников живет, и воровские быть могут. Давно купец прошел?

— С получасье так будет, батюшка!

— Стрельцы, отделись трое. Настичь надо купца, опросить. А куда он сшел, сторож?

— Да, батюшка, сказывал тот купец: — «иду-де на Серпуховскую дорогу»...

— Стрельцы! Неотложно настичь купца и продержать до меня в карауле. Ну, отворяй!

Сторож гремит ключами, трещит мерзлое дерево решетчатых ворот; отъезжая, князь говорит сторожу:

— Пойдет казак, зорко гляди, — не пропусти... Увидишь, зови караул, веди казака во Фролову, сдай караульным стрельцам!

— Чую, батюшка! — мохнатая голова низко сгибается для поклона.

Снова мечутся по стенам домов, по серому снегу пятна света и черные тени людей, лошадей и оружия... Вслед за боем часов на Спасских воротах, за стуком колотушек сторожей у жилецких домов звенит властный голос:

— Эй, решеточный! кого пропущал?

И застуженный голос покорно отвечает:

— Дьяка, князь Юрий, пропущал, да попа к тому, кто при конце живота лежит... Палача еще, и не единого палача-то, много их шло... все с огнем и листами... Лихих людей не видал...

— Ну, отворяй! Увидишь человека в казацкой одежде — тащи во Фролову. Теперь, стрельцы, на Серпуховскую заставу!..

21

Киврин за столом в своей светлице, перед ним ларец. Старик тяжело дышит, обтирает шелковым цветным платком пот с лысой головы, иногда сидит, будто дремлет, закрыв глаза. Одет боярин поверх зеленого полукафтанья в мухторовую шубу на

волчьем меху, — бухарский верх — бумага с шелком, рыжий. Старику нездоровилось, и немчин доктор не велел вставать, но он все же встал, приказал Ефиму одеть себя, вышел из спальной один без помощи. Вслед за собой велел принести ларец с памятками; теперь сидя перебирал образки, крестики дареные, повязки камкосиные, шелковые пояса, диадемы с алмазами. Алмазы Киприн всегда называл по-иностранному диамантами.

— Вот пояс камкосиный, подбит бархатом. Шит, вишь, золотом в клопец... диаманты на нем мало побусели... Бери-ко себе — жениться будешь, опояшешься... Возьми и помни: даю, что честен ты, Ефимко!

— Эх, боярин, самому тебе такой годится — вещь, красота!

— Бери, говорю! Мне все это не в гроб волокчи. Человек — он жаден: иной у гроба стоит, да огребает, что на глаза пало... зрак тусклый, руки-ноги не чуют, куда бредут... во рту горечь... Ничего бы, кажись, не надо, да гопошит иной. Я же понимаю... Только одно: не женись, парень, на той, коей я груди спалил... как ее?

— Иришицей кличут, боярин, ино та?

— Та, становщица воровская — ты был у ней?

— Ладил быть, боярин, да не удосужился...

— Прознал я во что: по извету татя Фомки, пойманы воры за Никитскими вороты на пустом немецком дворе, с теми ворами стрельцы двое беглые. И сказывали те стрельцы, что вор, Стенька Разя, тую жонку Иришицу из земли взял — мужа убила. Вишь, кака рыбина?.. Вот пошто она к тому вору прилепилась: от смерти урвал, а смерть ей законом дадена. Поздоровит мне — я ей лажу заняться, ежели тебе не тошно будет! Как ладнее-то, сказывай?

— А ничего не надумал я, боярин!

— Что вор? Дал ты мою грамоту князю Юрию? Себя не помнил я — лежал...

— То сполнил, боярин! Князь тут же, не мешкая, конно, со стрельцами Яковлева приказу всю ночь до свету пеших по Москве и на заставах опрашивал... Много лихих сыскал, да тот Разя не поймался...

— Ушел же?! — боярин привстал на мягкой скамье и упал на прежнее место.

— Утек он, боярин...

— Тако все! Поперечники наши много посмеялись над нами и ныне, поди, чинят обнос перед государем на меня и князя Юрия... Во што! Я сказал вору: — «полетай! большая у тебя судьба» и мыслил — лети из клетки в клетку. А вышло, что исцы правду сказали: спущен вор Квашниным да Морозовым... И вышел мой смех не смех — правда... Ефим!

— Слышу, боярин!

— Скоро неси мою зимнюю мурмолку. Да прикажи наладить возок, поеду к государю грызтись с врагами.

Дьяк ушел за шапкой, боярин гневно стучал костлявым кулаком по столу и бормотал:

— Кой мил? Морозов, Квашнин или же я? Гляну, кто из нас надобен царю, а кого послать чорту блины пекчи? Ушел вор... ушел!

Дьяк принес высокую зимнюю соболью шапку, подбитую изнутри бархатом; по соболиной шерсти низаны узоры из жемчуга с драгоценными камнями.

Шатаясь на ногах, Киврин встал, запахнул шубу, дьяк надел ему на голову шапку, боярин взял посох и, упираясь в пол, пошел медленно. На сером лице зажглись злобой волчьи глаза.

Дьяк забежал к двери. Когда боярин стал подходить к выходу, упал старику в ноги, боярин остановился, заговорил угрюмо и строго:

— Ты, холоп, пошто мне бьешь дольно челом?

— Ой, Пафнутий Васильич, боярин, родной мой! Недужится тебе и весь ты на себя не схож... Ой, не иди! Скажут бояре горькое слово, а что скажут, то всякому ведомо. Да слово то тебе непереносно станет, черной немчин не приказывал тебя сердить, и, наси бог, падешь ты?.. Ой, не езди, боярин-отец!

— Здынься! Дело прежде, о себе потом, ныне я и без немчина чую, что жить мало. Сведи до возка, держи под локоть... Вернешь наверх в палаты, иди в мою ложницу, шарь за именным образом Пафнутия Боровского, за тем, что Сеньки Ушакова дело, — вынешь лист... писан с дьяками Судного приказу... там роспись: чем владать тебе из моих денег и рухляди, а что попам дать за помин души и божедомам кусочникам... Потерпит бог грехам, вернусь от царя, отдашь и положишь туда же, а коль в отъезде, держи при себе. Утри слезы — не баба, чай! Плакать тут не над чем, когда ничего поделать нельзя... Веди себя, как вел при мне—

не бражник ты и бражником не будь... не табашник, честен, и будь таковым, то краше слез... Грамоту познал многу — не кичись, познавай вперед борзописание, не тщись быть книгочеем духовных книг, того патриарх не любит, ибо от церковного книгочейства многое сумнение в вере бывает, у иных и ересничество. Все то помни и меня не забывай... дай поцелуемся вот... тако...

— Куда я без тебя, сирота, боярин?

— Знай, надобно в скорости сказать царю, кого спустили враги, ино от того их нераденья чего ждать Руси. Хоть помру, а доведу государю неотложно... Веди! Держи... Ступени крыльца ныне как в тумане.

22

На царском дворе, очищенном от снега, посыпанном песком, на лошадях и пешие доезжачие псари с собаками ждали царя на охоту. На обширном крыльце с золочеными, раскрашенными перилами толпились бояре в шубах — все поджидали царя и, споря, прислушивались. Больше всех спорил Долгорукий:

— Кичиться умеете, бояре, да иные из вас разумом шатки! Афонька Нащока меня не застит у государя — есть ближе и крепче.

— Ой, князь Юрий! Иван Хованский не худой, да от тебя ему чести мало...

— Князь Иван Хованский бык, и рога у него тупые!

— Нащока, князь Юрий, умен, уж там что хочешь...

— Афонька письму зело свычен, да проку тому грош!

— Эй, бояре, уймитесь!

— Государь идет!

Царь вышел из сеней на крыльцо, шел он медленно, разговаривал то с Морозовым по правую руку, то с Квашниным, идущим слева. Одет был царь в бархатный серый кафтан с короткими рукавами, на руках пришаные рукавицы, запястье шито золотом, немецкого дела на голове соболиный каптур, воротник и наушники на отворотах низаны жемчугом, полы кафтана вышиты золотом, кушак рудожелтый, камкосиный, на кушаке кривой нож в серебряных ножнах, ножны и рукоятка украшены красными лалами и голубыми сапфирами, в руке царя черный посох, на рукоятке золотой шарик с крестиком. Царь сказал Морозову:

— Кликни-ка, Иваныч, сокольника какого.

— Да нет их, государь, не вижу.

— Гей, сокольники!

— Здесь, государь!

Бойкий малый в синем узком кафтане с короткими рукавами, в желтых рукавицах, подбежал к крыльцу.

— Что мало вас? Пошто нет соколов? Погода теплая, не ветрит и не бьюжит.

— Опасно, государь: иззябнут — не полетят. А два кречета есть, да имать нынче некого...

— Как, а куропаток?

— На куроптей, государь, и кречетов буде, густо перната, не боятся стужи.

— Все ли доспели к ловле?

— Все слажено, великий государь!

Царь подошел к ступеням, бояре толпились, старались попасть царю на глаза — кланялись, царь не глядел на бояр, но спросил:

— Кто-то идет ко мне?

— Великий государь, то боярин Киврин!

— А!.. Старика дожду!

Тихо, с одышкой, Киврин, стуча посохом, словно стараясь его воткнуть в гладкие ступени, стал подыматься на высокое крыльцо. Чем выше подымался старик, тем медленнее становился его шаг, волчьи глаза метнулись по лицам Морозова и Квашнина, жидкая бородка Киврина затряслась, посох стал колотить по ступеням, он задрожал и начал кричать сдавленным голосом:

— Государь! измена... спустили разбойника...

Царь не разобрал торопливой речи боярина, ответил:

— Не спеши, подожду, боярин!

— Утеклецом... вороги мои Иван Петров... сын... Квашнин!

Киврин, напрягаясь из последних сил, не дошел одной ступени, поднял ногу, споткнулся и упал вниз лицом, мурмолка боярина скользнула под ноги царю.

Царь шагнул, нагнулся, хотел поднять старика, но к нему кинулись бояре, подняли; Киврин бился в судорогах, лицо все более чернело, а губы шептали:

— Великая будет гроза... Русии... Разя, государь... спущен!.. Крамола, государь... Квашнин...

Киврин закрыл глаза и медленно склонил голову.

— Холодеет!.. — сказал кто-то.

Старика опустили на крыльцо сняли шапки:

— Так-то вот... жизнь!

— Преставился боярин в дороге...

Царь снял каптур; перекрестился, скинув рукавицу.

Бояре продолжали креститься.

— Иваныч, отмени ловлю. Примета худая — мертвый дорогу переехал.

Морозов крикнул псарям:

— Государь не будет на травле, уведите псов!

— Снесите, бояре, новопреставленного в сени под образа.

Бояре подняли мертвого Киврина. В обширных сенях с пестрыми тюфяками по лавкам, со скамьями для бояр,обитыми красным сукном, опять все столпились над покойником. Царь, разглядывая почерневшее лицо Киврина, сказала Квашнину:

— На тебя, Иван Петрович, что-то роптился покойный?

— Так уж он в бреду, государь...

— Пошто было выходить? Недужил старик много, — прибавил Морозов.

— Вот был слуга примерный до конца дней своих.

Выступил Долгорукий:

— Государь! Ведомо было покойному боярину Пафнутию, что взяв от него с Разбойного — вот он тут Иван Петрович Квашнин — отпустил бунтовщика на волю, бунтовщик же оный много трудов стоил боярину Киврину, и считал боярин долгом боронить Русию от подобных злодеев. Сие и пришел поведать тебе, великий государь, перед смертью старец и мне о том доводил. Печалуясь, сказывал покойный, что недугование его пошло от той заботы великой. И я, государь, с конным дозором стрельцов по тому делу ночь изъездил, а разбойник, атаман соляного бунта, великий государь, утек, не пытан, не опрошен, все по воле боярина Ивана Петровича...

— Так ли, боярин?

— Оно так и не так, государь! А чтоб было все ведомо тебе, и не во гнев, государь, то молвлю — беру на себя вину. Разю, есаула зимовой донской станицы, отпустили без суда, государь, ибо иман он был в Разбойной боярином Киврином беззаконно...

Квашнин переглянулся с Морозовым.

Морозов сказал:

— Есаула Разю, великий государь, спустил не Иван Петрович, а я!

— Ты, Иваныч?

— Я, государь! А потому спустил его, что на Дону по нем могло статься смятенье. Что Разя был в солейном бунте атаманом, то оное не доказано и ложно... Не судили в ту пору, не имали, нынче пойман без суда и отписку решил покойный дать тебе, великий государь, по сему делу после пытошных речей и опроса. Где то и когда видано? Что он был в поимке оного бунтовщика на Дону и многое отписал по скорости ложно — всех казаков не можно честь бунтовщиками. Теперь и прежь того, при твоем родителе, государь, донцы и черкасы служили верно, верных выборных посылали в Москву, а что молодняк бунтует у них, так матерые казаки умеют ему укорота дать... Вот пошто спустил я Разю, вот пошто стою за него: беззаконно и не доказано, что он вор.

— Что ты скажешь, Юрий Алексеевич, князь? — спросил царь.

Долгорукий заговорил резко и громко:

— Скажу я, великий государь, что покойный Пафнутий Васильич сыск ведал хорошо! И не спуста он имал Стеньку Разю. Русь мятется, государь, — давно ли был соляной бунт? За ним полыхнул Псковской бунт. Сколь родовитых людей нужу, кровь и обиды терпело? Топор, государь, надо Руси... кровь лить не жалея — губить всякого, кто на державных людей ропотит и кривые речи сказывает. Хватать надо, пытать и сечь всякого заводчика! Уши и око государево должно по Руси ходить денно и нощно... Того вора, Разю Стеньку, что спустил боярин Борис Иванович, — того вора, государь, спущать было ненадобно! И вот перед нами лежит упокойник, тот, что до конца дней своих пекся о благоденствии государя и государева рода, тот, что, чуя смертный конец свой, не убоялся смерти, лишь бы сказать, что Русию надо спасать от крамолы.

— То правда, князь Юрий! А так как новопреставленный назвал боярина Квашнина, в нем видел беду и вину, то Квашнина боярина Ивана я перевожу из Земского в Разрядный приказ, пущай над дьяками воеводит, учитывает, сколь у кого людишек, коней и достатка на случай ратного сбору... Тебя же, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, ставлю от сей день воеводой Земского приказу замест Ивана Квашнина.

Квашнин поклонился, сказал царю:

— Дозволь, государь, удалиться?

— Поди, боярин!..

Квашнин, не надевая шапки, ушел.

Царь перевел глаза на Морозова:

— Надо бы Иванычу поговорить с укором, да много вин боярину допрежь отдавал. Обычно ему своеволить... придется отдать и эту.

Морозов низко поклонился царю.

— Да, вот еще: прикажи, Иваныч, перенести с честью новопреставленного боярина к дому его.

— Будет сделано по слову твоему, государь!

Царь спешно ушел, ушел и Морозов, кинув пытливый взгляд на Долгорукого.

Бояре, делая радостные лица, чтобы позлить князя, поздравляли Долгорукого с царской милостью.

Князь, сердитый, сходя с крыльца, сказал гневно:

— Закиньте, бояре, лицемеровать, самим вам будет горше моего. Когда придется в Разрядном приказе перед Квашниным хребет гнуть — тогда посмеетесь! Нынче, вишь, не ведаете, что дружить с боярином Борисом Иваповичем и Квашниным не лишнее есть!

Долгорукий уехал.

Челядинцы царские принесли в сени гроб, бояре стали разъезжаться.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НА ВОЛГУ

1

От царя и великого князя Алексия Михайловича, всея великия и малыя и белыя Русии самодержца, в нашу отчину Астрахань боярину нашему и воеводе князю Ивану Андреевичу Хилкову да Ивану Федоровичу Бутурлину, да Якову Ивановичу Безобразову и дьякам нашим Ивану Фомину да Григорию Богданову. В прошлом во 174 году Мая во втором числе посланы к вам наши великого государя грамоты о проведываньи воровских казаков и о промыслу над ними — которые хотят итти с Дону на Волгу воровать, чтоб одиначно воровских казаков отнюдь на море и на морские проливы не пропустить и чтоб они на Волге для грабежей не были...

На Дон из Посольского приказа была послана грамота от 25 марта 1667 г.:

Послать от войска донского в Паншинский и в Качалинский городы особо избранных атамана и есаула и заказ учинить крепкий, чтоб козаки со Стенькой Разиным под Царицын и иные места отнюдь не ходили.

Воевода Андрей Унковский из Царицына в 1667 году доносил:

Стенька Разин с товарищи на воровство из Черкасского пошел же, и войско ему в том не препятствовало.

В хате Разина чисто прибрано. В углу черные образа на клинообразной божнице по серебряным венцам завешаны шитыми полотенцами, глиняный пол устлан пестрыми половиками.

Олена, нарядная, в новой плахте, в красных штанах, в сапогах с короткими голенищами, прибирала стол.

— Ты бы подсобил, Фролко, или Гришутку покликал, где он?

Черноволосый, с девичьим лицом, уже тронутым морщинами около карих глаз, Фрол ответил женщине бренчаньем струн домры, потом приостановил игру, сказал:

— Твой Гришутка с ребятами побежал за город — играют в войну.

Снова забренчали струны.

— Чего брежчишь? Ужо придет, наиграешься — ждп!

— А ну его, лисьего хвоста, волчьего зуба — не люблю, Олена, Корнея, и Стенька его не любит.

— Ой, лжешь! Стенька батьку хрестного любит и почитает...

— И покойный отец Тимоша не любил... В ночь, как помереть ему, я его хмельного вел по Черкасскому, говорил: «Берегись Корнея, Корней дуже хитрой». Давно уж то было, да хорошо помнится.

— Не хитрой был — не был бы столь годов атаманом, а то без его совета и круг не бывает. — Олена засмеялась, подразнила Фрола, подходя, растопыривая над головой казака полные руки.

— Стара стала, а обнять, что ль? Вишь, много ты, Фролко, на девку походишь — оттого, должно, не женишься.

Фрол опустил глаза.

— Не женюсь и в помыслах не держу, — прибавил чуть слышно: — тебе забава, а я тебя сызмальства люблю...

— Любишь? Ой, да не козак ты!

— Не лежит сердце к козачеству: война, грабеж. Где козаки, там смерть, а они лишь похваляются, что нещадны ни к младенцу ни к старику.

— Кабы Стенько тебя чул — согнал бы с хаты.

Фрол рванул струны. Олена отошла к столу, поправила яндову с вином, одернула скатерть.

— Чего струны тревожишь?

— Вишь, эти пищат — не могу терпеть.

В углу у дверей стояла большая ржавая клетка, из нее пахло тухлым мясом. Два ястреба сидели на жердочке клетки один против другого, но их разделяла проволочная сетка, и ястреба, срываясь с жердочек, бились в сетку, впивали крючкообразные когти, поровя достать один другого, и не могли — вновь садились, свистели заунывно:

— Фи-и-и... Фи-и-и...

— Махонькие были, а выросли — все сцепиться пробуют... Тебе бы, Фролко, в пирах домрачеем ходить. Стенько не такой. У, мой Стенько грозен бывает!

— Стенько по роду пошел. Батько Тимоша удалой был: с Кондырем Ивашкой Гурьев достроить цареву купцу не дал... сказывали...

— А ты не в породу. Ха, ха... девкой, вишь, тебя рожали, да сплошали... ха, ха, ха... — колыхалась полная грудь Олены, колыхался живот недавно беременной — топырилась спереди плахта.

Солнце било в хату жарко и вдруг померкло на короткое время. Высокая фигура атамана степенно прошла в сени хаты.

Вмахнулись концы половиков у дверей.

Корней атаман, сняв шапку с бараньим околышем, перекрестился всей широкой пятерней.

— Эге, плясавица! Поздорову ли живешь, дочка?

— Садись, хрестный, испей чего с дороги.

— С дороги? — бугай те рогом! Не велык шлях.

Сверкнуло серебро в ухе, атаман сел к столу, заслонив солнечный свет.

— Э, да вона вечерница, альбо деннница? Домрачей у дела. Гех, Фрол! круты козацкую, круты.

Фрол, перебирая струны, тихо подпевал:

А то было на Дону реке,
Что на прорве — на урочище.
Богатырь ли то, удал казак
Хоронил в земле узорочье...
То узорочье армеиьское,
То узорочье бухарское —
Грабежом-разбоем взятое,
Кровью черною замарано,
В костяной ларец положено.
А и был тот костяной ларец
Схожий видом со царь-городом:
Башни, теремы и церкови
Под косой вербой досель лежат...

— О кладе играешь? А ты, Фролко, песни не дослушал сам. Я от бандуриста чул, от темного старца, еще в младости моей; совсем не так та песня играется... Тай по-украиньски вона граетця...

Фрол не ответил атаману.

— Ты плясовую круты!

Гех, свыня квочку высыдела.
Поросеночек яичко спес!

— О, так! О, так! Олена, пляши!

— Грузна я стала, стара, хрестный.

Атаман топнул ногой.

— А ну, грузен медведь, да за конем в бегах держится — пляши!

Олена плавно прошлась по хате. Ее тяжелые волосы растрепались, лицо загорелось, глаза померкли.

Фрол, наигрывая плясовую, боялся глядеть на невестку. Атаман, глотая из ковша хмельное, притопывал ногой, потом вскочил из-за стола и крикнул:

— Фролко, выди, — два слова хрестнице скажу и уйду!

Казак не посмел перечить атаману — взял с лавки шапку, вышел.

Корней хмельно зашептал:

— Сколь годов маню и нынче не забыл — идешь ли со мной, бабица? Нонешнее время пришло, на што тебе надею держать?

— На мужа надею кладу, батько...

— Мужу твоему мало с тобой любоваться.

— Пошто так, хрестный?

— Не ведаешь от мужа? Скажу: в верхние городки много холопей с Москвы беглых сошло... Голутьба к Стеньку липнет, он ее мушкету обучил и в море взял, а потом Доном на Волгу вернул. Хотели матерые задержать их, пошто держать? Хлеб съедают, своих теснят... Я дал волю: лети, сокол, с куркулятами. Заказано от Москвы пущать Стеньку на Волгу, а что мне Москва? Нам, матерым козакам, без голутьбы на Дону шире.

Атаман шагнул в Олене и тихо со злобой прибавил:

— Гех! Он теперь Москву задрал, долго Стеньку не бывать дома...

Олена заплакала, опустила руки.

— Садись, баба! — атаман сел.

Олена опустилась на скамью, к ней Корней придвинулся, положил ей на плечо тяжелую руку. Отблеск серьги в красном ухе атамана резал Олене глаза, она отвернулась.

— Не отвертывайся, слушай, что скажу; старше ты стала, подобрела, парнишку подрастила, и я старее гляжу, но кину жену от другого мужа, остачу сдам чекан и бунчук пасынку, а не приберут его козаки — молод, то Самареницу, и мы с тобой в азовскую сторону... гех!

— Хрестный, буду я мужа дожидать, пущай Стенько меня и Гришку с собой...

— Куда ему волочить тебя? На шарпанье? Грабеж и бой? Не долго гулять твоему Стеньке — уловят! А ты, вишь, еще брюхата...

— Нет, хрестный!

— Гех, Олена! Мы с тобой к салтану турскому, — давно манит меня, а то к польскому крулю за гетьманом Выговским, — подавай-ко нам, круль, цацкы: золото, жемчуг. Ламами голубыми да красными увешал бы, як богородицу... — э-эх!

— Не... хрестный...

— Знай все! У Москвы когти, что у ястреба — вон вишь, как железо дерут в клетке? Услышишь скоро — почнут писать на Дон, на Волгу, в Астрахань: «Имай вора!» И поймают, замучат в пытошной башне аль где... Знай, ежели ты с ним будешь, и тебя на дыбу, — рубаху сорвут и эк по голым пяткам, — эк, вот, эк — атаман постучал в стол сжатым кулаком.

Олена зажмурилась.

— И Гришку твоего и того, кто родится, как детей псковских воров, собаками затравят. Москва — она боярская, у ей жалости не ищи... Со мной уедешь — не обижу ни тебя ни детей твоих, люба ты мне, сдавна люба!

— Ой, хрестной, хоть помереть, не жаль...

Атаман встал.

— Я еще зайду, ты думай — страшное твое, сказываю, зачинается только.

Вошел Фрол, сел на прежнее место. Корней атаман, слегка хмельной, попыхивая дымом трубки на седые усы и красное лицо, сказал, скосив глаза на казака:

— В плахту бы тебя, Фролко, нарядить, в кику, да боярским боярыням в теремах песни играть... игрец! Це не козак и не буде козак!..

Толкнул сильной рукой дверь и обернулся.

— Ты, Фролко, этих вот ястребов со всей клетью тащи ко мне, — пора обучать, будут гожи гулебщикам.

— Хрестный, забранитца Стенько: его птицы.

— Сказывал я, Олена, — не до птиц будет твоему Стеньку.

Грузно шагая, заслонив свет в окошках, атаман ушел. Молчала Олена, опустив голову, в ней накипали слезы. Молчал

Фрол, и слышно было, как мухи слетались к хмельному меду на столе. Фрол начал щипать струны, они запели. Он сказал:

— Вот завсегда так! Атаман, как упьется, зверем станет... злой он. А не упился, хитрой глядит...

Олена не ответила и уронила на руки голову.

2

С раската угловой башни Черкасска далеко в степь прокатился гул выстрела из пушки.

Атаман Корней на черном коне ехал в степь унять расходившуюся кровь. Городом белая пыль пылила в глаза и делала красный кунтуш атамана седым. Шумели, трещали камыши по низинам. В степи, с неоглядной мутно-знойной ширины несло в лицо гарью травы. Корней, покуривая, вгляделся в степь.

— Так их поганых, сыроядцев!

Он думал о татарах, скрытых в степи для грабежей. Пожар заставляет татарские сакмы [1] отодвигаться прочь от казацких городов.

С выстрелом из пушки сонный от зноя Черкасск ожил.

— В поле, казаки!

— Батько зовет!

— Охота! Будем слаживаться.

Выделялись лучшие стрелки из казаков. Мелькали плети, синели кафтаны с перехватом — ехали в степь. Красный кунтуш атамана далеко виден: Корней встал с лошадью на верху кургана, стрелки подъезжали к кургану, располагались у подножия. В камышах, низинах и перелесках затрещали выстрелы загонщиков. Атаман с кургана подал голос:

— На сполох по зверю бить из пищалей, мушкетов без свинцу-у!

— Знаем, батько!

— Эге-ге-ге!

— Угу-гу-гу!

В стороне из камышей от озер выкатились на луг два крупных бурых пятна.

— Ого-го-го!

— Ве-е-при-и!

---

[1] Сакмы — воинские тропы.

Пасынок атамана, тонкий, сухой и смуглый, на пегом коне первый поднял пику наперевес. Задний вепрь свернул в сторону, передний шел навстречу пегому коню Калужного.

— А ну, парень!

Ворчал атаман, вглядываясь, заслонив рукавом от солнца глаза, и отдувался — из степи несло душной, жаркой гарью. Калужный направил пику — зверь близко, казак с силой опустил пику, но промахнулся; зверь, не видя охотника, почуял опасность, отвернул, сделав неожиданный прыжок в сторону, успел резнуть клыком брюхо лошади. Пегий конь под Калужным взвился на дыбы, обдавая траву кровью и внутренностями — захрапел, пал набок, казак, перебросив ноги, врос в землю и, не целясь, выстрелил из мушкета. Пуля ободрала щетинистый бок зверю, кабан бешено хрюкнул, открыв длинную пасть — сверкнули клыки, он метнулся, но был остановлен пикой наскакавшего казака... Кабан, пронзенный пикой в живот, быстрей, чем ждали, согнул непокорную шею, куснул древко, оно хрястнуло, переломившись. Калужный кинулся на кабана, выстрелил из пистолета в ухо зверю — от головы кабана пошел дым... Зверь, тихо хрюкая, осел в траву.

— Собак, хлопцы, уйдет другой! — кричал атаман.

Желтеющая стена ближних камышей, извиваясь, кое-где трещала. Треск камыша замирал и таял, как потухающий костер, — кабан исчез в зарослях болот.

— Упустили зверя.

— Да, не сгонишь, ушел!..

Стрелки от кургана двинулись в луга. Крупный русак мелькал в траве желтовато-серой шерстью. По зайцу много охотников опорожнили ружья, но он невредимо шмыгнул на холм к ногам лошади атамана. Корней молодо согнулся в седле, взметнув плетью; русак заклубился с переломленным хребтом под лошадью, плача грудным ребенком.

— Прыткий ухан!

Корней поправился в седле, оглядывая луга, меняя на чекан плеть.

Казак гонит волка — вот-вот конец зверю, лошадь под казаком споткнулась в травянистой рытвине... Светлопалевый зверь, прижав уши, ушел, но сбоку кургана голоса и шум, а вверху один красный. Палевый зверь — быстрее стрелы на

кургап, навстречу ему с коня, как огонь, метнулось красное, сверкнула сталь... Зверь, завизжав, пополз на брюхе с кургана, из головы его лилась кровь, мешаясь с мозгом. Душный ветер с простора степей нагнал к охотникам в поле тучу кусливых мух с красноногими крыльями. Укушенные лошади лягались, дыбились, мотали головами. Атаман, съезжая с кургана, сдерживал пляшущего коня, крикнул:

— Съезжай, казаки-и! зубатка налетела, щоб ее... э-эй!

— Чуем, батько!

Калужный ехал с поля на чужой лошади. Слуги в тачанку подбирали в поле убоину.

По зеленому синели кафтаны вслед красному на вороном коне.

У ворот атаманского дома охотники, соскочив с коней, поворачивали их глазами в город, кричали:

— Го, гоп!

Лошади, фыркая, пыля копытами белый песок, шли без седоков по своим станицам. Атаман на крыльце, закурив трубку, оглянулся.

— В светлицу, атаманы-козаки. Съедим, что жинка справила...

3

На длинных столах, крытых сарпатом [1] с выбойкой, высокая с худощавым, строгим лицом жена атамана сама укладывала ножи, расставляя чаши и поставцы с яндовами. Смотрела на каждую вещь долго, словно запоминая ее. Слуги приносили водку и кушанья.

Кутаясь в женский кунтуш с золотым усом на перехвате, атаманша хмуро оглянулась на мужа. Корней, шагнув к столу, ткнул широкой рукой с короткими пальцами в скатерть.

— Не беден атаман, чтобы в его доме сарпатом столы крыть!

— Не камкоспную [2] ли прикажешь скатерть? Зальете, бражники, да люльки высыпете — сожжете...

— У, скупая жинка, седатая! — пошутил атаман, пряча глаза от жены.

---

[1] Сарпат — миткаль с цветной выбойкой.

[2] Камка — шелк с бумагой.

Женщина дернула плечом, проговорила торопливо, слыша шумные шаги и голоса гостей:

— Бисов дид! З молодыми кохался?..

Гости, входя, кланялись хозяйке. Атаман упрямо тряхнул головой; забрасывая привычно седую косу на плечо, крикнул:

— Садись, матерые козаки и все гулебщики!

Высокая женщина, не отвечая на поклоны, степенно прошлась по светлице, приказала мимоходом слуге зажечь поставленные в ряд на дубовые полки свечи — ушла. Атаман, не садясь, проводил глазами жену, подошел к двери, крикнул в сени:

— Хлопцы караульные, кличьте в мою хату молодняк песни играть, тай бандуриста и дудошников.

— Чуем, батько!

Корней раздвинул одну из кипдячных с узорами занавеску, на окне лежал раскрытый букварь с крупными буквами, разрисованными красным сиянием: «Буки — бог, божество». Атаман сбросил на пол букварь, проворчал:

— Глупо рожоно, не научишь! — и пнул книгу.

Пыльная, дышащая теплом, пропахшая потом и дегтем, кланяясь атаману, пролезла за ковер на двери в другую половину молодежь.

— Гости, пей, гуляй, я ж дивчат погляжу...

Проходили девки. Иные в желтых длинополых свитах, иные в плахтах, в белых мелкотравчатых рубашках, волосы заплетены у всех в косу, снизу перевязаны лентами, у иных на концах кос были кисти, а то и банты. У которой из девок в волосах сзади повыше косы торчал цветок, атаман протягивал к той девке руку, гладил по голове, брал цветок, нюхал.

— Э-эх, купалой пахнет. А купався Иван, тай в воду упав...

Пропустив всех девок и сунув собранные из волос девичьих цветы за кушак, атаман сел на скамью за стол. Гости, не дожидаясь хозяина, пили и ели; атаман, подымая ковш с вином, крикнул:

— Пьем, отаманы молодцы, за малую гульбу, что нынче в поле была, — кабан убит доброй! Конь запорот, да о коне казаку не слезы лить.

Смуглый пасынок атамана подвинулся на скамье к вотчиму, чокаясь:

— Ничто, батько, сыщу копя. Бувай здоров!

— Ладно, парень, не ищи, дам такого... А теперь, отаманы молодцы, пьем за государя царя Московского!

— Пьем, батько Корней!

— Отзвоним чашами за то, что крепка рука у Московии, что она и в Сибирь дикую лезет и татарву согнула. А еще, браты, кличьте на пир письменного.

— Он тут, батько, ждет зова, песий брат, чарку любит.

— Гей, писарь!

Вошел в длиннополом синем кафтане писарь, поклонился казакам, ему дали место на скамье в конце стола.

— Пей, письменный! — крикнул атаман, подымая ковш, — на гульбе нашей не был, и гулебщина тебе несподручна, а попьешь-поешь — нам сгодишься.

Писарь встал и поклонился кругу:

— Завсегда готов служить!

— И лить чернило замест крови?

— Перво, отаманы молодцы, покудова не упились, займемся делом.

— Батько, дело прежде всего.

— То ладно, Кусей! А где Бизюк, не вижу козака?

— Бизюк упился, батько, ото дремлет...

— Эх, лихой был козак, а стар стал, мало хмелю несет. И вот дело мое к вам какое, отаманы молодцы: ведомо всем вам, матерые низовики, что ближний наш козак Стенько Разин чинит?

— Ворует на Волге!

— То оно! От его промысла все мы должны ждать не малых гроз войску... А своровав противу Москвы, хрестник мой домой оборотит.

Калужный крикнул, подымая свой ковш:

— Кто, батько, ворует противу великого государя, тому козаку дома не бывать!

— Где бы ни был мой хрестник, отаманы молодцы, а ведомо мне — оборотит на Дон.

— Пущай оборотит, — закуем его и Москве дадим!

— Не забегай, Родион, — оборвал атаман насынка, — додумаем все вместе. Помнить надо, что державцы на Дону с голутьбой злы и утеснительны. Голутьба же глядит к тому, кто ей люб, и голутьбы в трижды больше матерых...

— А ведомо ли батьку, — вставил свое слово заслуженный

казак Самаренин, — что Мишка Волоцкой да Серебряков вербуют людей итти к Стеньке?

— Не ведомо мне было бы, козак, то Мишка и волк Серебряков Ванька с нами зверя ловили бы и на пиру моем сидели.

— Ото придет Стенько, то, думно мне, не взяться нам за него, и ладно будет, если он за нас не примется...

— То и я думаю, Михайло, не можно взяться и беречься Стеньки западобитца, — ответил Самаренину атаман, — но Москву озлить не можно. Сговорно Москва дает Дону хлеб, справ боевой... Служилых людей у Москвы довольно. Ежели, озлясь, закроет Москва пути на Дон торговому люду, Дон оголодает...

— То ты знаешь лучше нас!..

— Стенько пошел на Волгу. Волга — часть утробы московской: по ней торг с Кизылбашем и в терские города да в Астрахань. Не попусту немчин в Москву послов шлет и волжский путь покупает. Свейцы, фрязи тоже потому ж в Москву тянутся. Из-за пути в Кизылбаши. Учинится на Волге Стенько сильным, Москва нам то в укор зачтет и измену с нас сыщет...

— Думай, как лучше, батько Корней, мы тебе во всем сдаемся!

— А думаю я нынче же снять хоть малую часть вины нашей — дать отписку царицынскому воеводе!

— Во, вот!

— Гей, писарь, пиши.

— Прямо пиши в Царицын!

— А бумага у его?

— Отаманы козаки, не шукать бумагу, — весь справ с собой.

Кое-кто вылез из-за стола, сняли с полки свечи, поставили, опростали место, обступили писаря плотно. Корней атаман, сверкая золотой жуковиной [1] на большом пальце правой руки, заговорил:

«Во 174 году в мае 5 дне царицынскому воеводе и боярину Андрею Унковскому великое войско донское и их атаман Корнило Яковлев доводит: жили мы с азовскими людьми в миру, и тот мир хотел рушить наш войсковой козак Стенько Разин с товарыщи, — удумал итти на море с боем, да по нашей отписке он с моря воротился, ничего не чинив азовцам, а прогребли

---

[1] Жуковина — перстень с печатью.

Стенько с товарыщи мимо Черкасского вверх по Дону. Мы, отаман и войско, посылали за ними погонщиков, да их не сошли...»

— Так, батько!

— Дуже!

— «И ведомо нам нынче учинилось, что Стенько Разин пошел воровать на Волгу реку...»

— Вот, вот! Пошел...

— «И еще до ухода на азовских людей сказывал мне, отаману, тайно, что-де моего, Стенькина, отца извели бояры и на моих-де глазах, — когда я был есаулом в Зимовой станице, с отаманом Наумом Васильевым; на Москве же в Разбойном приказе засекли брата Ивана. Про умысел свой воровской на Волгу и на море он, Стенько, мне, отаману, таил — не говарпвал!»

— Дуже укладно!

— Так, батько!

— Все ли ладно у писаря?

— До слова исписал, батько!

— Гей, все ли согласны с грамотой?

— Дуже, дуже!

— Тогда завтра припечатаем и гонца к Унковскому. И еще, казаки, слово к вам есть.

— Сказывай, батько.

— Козаки, отаманы! Я, Корней, черкес, приказую вам снять с церковного строения, что от Москвы делается, плотников и землекопов и чтоб они нам служили. Харч сдят наш... церковь подождет, в старину мы и часовнями веру справляли — ништо... Снять, сказываю я, плотников и землекопов, указать им крепить Черкасск. Все видели вы, что частокол городской снизился, а башни и раскаты избочились. Надобе поднять вал, укрепить тын, выкопать новые рвы. Все то на случай ратного приходу от кого бы он ни был — будет от своих, да и от азовских людей и ордын береженье не лишне. Вода круговая иссыхает в жару, подступы к городу легки, острогов не возведено...

— Так, батько!

— Давно то справить надобно!

— Так... на-днях поднимем город!

— Поднимем, батько!

— А теперь же скажу: пейте, ешьте, сколь душа примет,

Мало вина — еще дадут. Да вот: ни чаш ни яндовых не прячьте по себе, — жинка у меня скупая, иной раз наши пиры в дому не пустит...

— Чуем. Не схитим, батько!

— Веселитесь без меня, а я... ото бисовы дити жартують...

Атаман грузно вылез из-за стола, стуча каблуком и подошвой, слыша музыку за стеной, пришевал:

А татарин, братец, татарин,
Продав сестрицу за талер,
Русую косочку за шестак,
А било лыченько пишло й так!

Ушел в другую половину светлицы.

4

Разлив — словно зеркало, в котором отразилось все небо, зеркало, прикрепленное лишь по ночам золотыми гвоздями рыбацких огней, — и тогда, когда загорятся огни, вспоминаются невидимые берега, — то разлив Волги реки и Иловли, бесконечно раскинувших свое водное поле... Через это поле светлой ночью даже луна бессильна от берега до другого перекинуть дорогу, засыпанную трепетно-мелким серебром сияния. На этом поле люди кажутся пятнами серыми днем, черными ночью, а далекий берег с деревянным городком, окруженный гнилым бревенчатым тыном, с косыми башенками, отрезанный водой и небом, похож на игрушку, старую, давно заброшенную. И город тот зовется Паншиным. На самой далекой ширине разлива — бугор, мало заметный днем. По ночам бугор светится огнями. Иногда с бугра стукнет выстрел, предупреждая рыбаков, чтоб не подплывали к бугру, где, обходя ряд боевых челнов, опутанных по бокам камышом, ходит казацкий дозор.

Человек незаметен здесь, лишь голос его значителен и звонок. Каждую ночь на бугре слышится окрик дозора:

— Не-е-ча-й!..

То пароль вольного Дона, пароль гулебщиков-охотников. Пошло то слово от имени запорожца, батьки Нечая.

Атаман голутьбы не раз, не два громил на морях кизылбашские бусы, имал ясырь — тезиков [1] и турок.

Богатыря Нечая с товарищами не единожды видел под своими мраморными стенами Константинополь. Пожары турецких селений на широкое пространство зыряли в море, выделяя на воде черные челны и лица казаков в рыжих запорожских шапках.

В Паншин часто стали наезжать посланные от воевод царицынского и астраханского. Бугор на разливе Волги — бельмо в глазу властной, загребистой Москвы.

Иногда на заре утром паншинцы слышат громовой голос:

— Гей, Паншин город, московских лазутчиков гони, да не держи тех казаков, кои идут ко мне с донских городов — бойся-а!

Эхо гудит по воде:

— ...о-о-й-ся-а...

Каждый в Паншине слышит страшный голос.

Молчат в ответ паншинцы. Когда же приезжают к ним от воеводы послы, то говорят им:

— Челны дадим, поезжайте! Голову, должно, переставить надо? У нас она на месте, мы не едем на бугор...

Дальше Паншина лазутчики воевод не едут.

С воеводской печатью, на узком склеенном из полос листе, воеводы пишут в Москву царю:

«Умысла-де воровских козаков не дознались мы, но живем денно и нощно с великим береженьем... Наших людей паншинцы не перевозят, а Стенько Разин с товарыщи стоит под Паншиным на буграх Волги-реки и не чинит грабежей — смирен».

Пригнали на конях в Паншин выборные с Дона, от войсковой старшины — атаман и два есаула, усатые с чубами, в малиновых жупанах.

Паншин зашевелился. Ходил глашатай, старый хромой казак, стучал палкой по подоконью. Собрались паншинцы — ответили:

— Без припасов огняных и людей донских мы не едем, пущай войско донское пришлет челны с козаками, тогда и мы едем

---

[1] Персов.

с вами. И учините то, что нам сказали: «чтоб Стенька Разин под Царицын и иные государевы городы не ходил» — сами мы немочны.

Донские выборные грозили паншинцам:

— Доведем царю, что и вы с воровскими козаками заедино!

Уехали на Дон, и о них слухов не было... Иногда сотнями, а то и больше, с верхнего Дона в Паншин сходилась голутьба.

— Паншин, челны давай — к батьку Степану едем!

Паншинцы не отвечали сразу, посылали своего человека по городу выслушать и высмотреть настрого — нет ли в городе чужих? Узнав, что нет никого из воевод, сажали в челны голутьбу, перевозили на бугор и тут же, не выходя на берег, торговали: водкой, хлебом, харчем и порохом.

Дозору, окликающему с бугра, многими голосами отвечали:

— Не-е-чай едет!

5

Далеко по волжским островам, буграм слышен скрип весел в уключинах.

То заунывная песня гребцов, заглушаемая бранью начальников. Когда под брань и хлесткие удары плети затихала песня, то по воде неслось гнусавое монастырское пение...

В белесом прохладном тумане за широкими низинами начиналась заря.

На бугре от челнов дозорный казак шагнул к палатке атамана.

Разин сидел в черном бархатном кафтане, золотом отливал желтый зипун под кафтаном. Сидел атаман на обрубке дерева, грел над углями большие руки.

— Караван, батько!

— Давно чую... Багры, фальконеты и люди — готовы ли?

— Справно все!

— Сдай дозор маломочным — и к веслам!

От стрелецких кафтанов Лопухина приказа [1] голубела вода. Дальше голубого, растекаясь серебром, прыгали отражения бердышей. В голове каравана торопливо, скрипя уключинами, шел царский струг — паруса свернуты. Ветра не было. За

---

[1] Лопухин — стрелецкий голова; его стрельцы носили голубые кафтаны.

царским стругом, колыхая в волнах черные пятна, тянулся струг патриарший — на его палубе гнусавые голоса все явственнее выпевали «Благоверному государю и великому князю всея Руси»... Над головами монахов на мачте тихо покачивался флаг с образом нерукотворного: по золоту черный лик.

Гребцы вновь запели:

Гей, приди, удалой.
Мы поклон учиним,
Воевод укроти-и-м.

Голоса гребцов скрыли голоса монахов, а покрывая все голоса — кто-то басил:

— Ма-а-ть! пере-ка-ти поле-е... в Астрахани ужо, своло-о-чь колодная!

За стругами тянулся ряд серых низкопалубных судов. На ладье, ближней к стругам, один визгливо всхлипывающим голосом молился вслух звонко:

— Го-о-споди-и! пронеси-и, пронеси-и...

Другой торопил гребцов:

— Наддай, ребята! не порвись от государевых!

Еще голос твердил одно и то же:

— Водкой ужо-о! водкой, не оставай от колодников делом...

Как будто Волга раскрыла утробу, и со дна ее раздался голос, заглушивший на миг пенье гребцов, ругань, мольбу и молитвы:

— Гей, сарынь, на взле-ет!

Тут же щелкнул выстрел из фалькопета, другой, третий, и свист долгий, пронзительный. Сотни весел сверкнули. Басистый голос с переднего струга надрывно гудел:

— По-о-што-о: мы госуда-а-ревы-ы... по-ошто?!

— Нечай!

— Не-е-чай!

— Кру-у-ши-и!

— Сарынь, сбивай со стругов, ладьи — топи!

Стук багров и топоров. Тысячи отзвуков вторили короткому бою: утки торопливо делали светлые шлепки по воде к низким берегам, а над побоищем, деревянным стуком стуча, кружилась крупная черная птица — кру-кру! кру-кру! Стреляя и хватаясь за топоры, отбиваясь и нападая, люди перестали молиться,

плакать, а стук топоров низко над самой водой делался все слышнее — ладьи одна за другой глотала Волга.

— Стрельцы!

— Эй, ра-а-туйте!

На царском струге лязг железа, выстрел и крик.

— Стрельцы, в ответ станете!

— Сторонись, пузатой чорт!

Голубея кафтанами, перебегая, стрельцы разбивали колодки и цепи гребцов.

— Что чините? Эй, стрельцы!

— Васька, заткни ему горло!

Удар топора, и плеснуло в воду тело в боярском кафтане...

6

Вставало солнце. С низин потянуло над Волгой запахом травы и соли...

На носу царского струга сорван флаг с образом казанской, вместо него висит широкое полотно — «печать круга донского»: голый казак в одних штанах верхом на бочке, в правой руке сабля, в левой трубка, а на бочке перед ним чаша с вином...

На носу царского струга бочка с водкой, закиданная боярскими кафтанами, на бочке сидит, обнажив саблю, Разин. Казаки подводят стрелецких начальников.

— Того вешай! секи того... вешай — за ноги!

Мачты струга становились пестрыми от боярских котыг [1] и цветных кафтанов стрелецких голов. Разин видит: волокут кого-то, звенит в ушах режущий крик, подведенный ползет к ногам атамана.

— Батюшка, мы холопи подневольные!

— Батюшка, не губи-и!

— Гей, кто вы?

— Вековечные должники купцу.

— Приказчики богача Шорина!

— Спущу для яведы царю?

— Батюшко, на пытке уст не разомкнем!

— Вот те пресвятая, ей-богу!

---

[1] Котыга — длиннополый кафтан.

— Спусти их, козаки, — пущай утекают.

— Вот тя бог храни-и!

Широко крестятся и, дрожа, лезут с борта вниз.

— А вот, батько, голодраной народ — ярыжки!

— Пихай в лодку!

— Да, вишь, иные с нами итти ладят.

— Кто с нами — бери.

На подтянутом плотно к царскому стругу другом, патриаршем, еще не умолк бой и шум. Ругань, стоны и крики:

— Чего глядишь? из пищали-и!

Среди красных шапок мелькали черные колпаки, сверкали топоры, выше всех голов голова с длинными волосами, и голос трубит:

— Не гнись, братие-е! Яко да Ослябя инок поидоша на враги-и.

Взметнулся черный кафтан, сверкнул на солнце желтый атласный зипун — Разин шагнул на патриарший струг, перед ним расступились свои.

— Дьявол!

Мелькнула сабля, повисла от удара сабли рука высокого монаха с топором.

— Чорт, не пил с Волги?!

За бортом плеснула вода, монаха сбросили.

— Закрутился-и... удал был!

— Батько, воно еще сатана твоего суда ждет: «Знает меня атаман, пущай сам» — так и сказал, не смели без тебя...

— А, ну — ведите!

К атаману толкнули боярского сына в алой котыге, лицо густо заросло курчавой черной бородой, длинные кудри спутались, закрыли глаза.

Разин нахмурился, рука пала на саблю.

— Старое приятство, сатана! В Москве у бани с бабой?..

— Тот я... секи, твой.

— Эй, дайте ему попа, коли какой жив!

— Попа мне не надо, атаман! Хоша я патриарший, да к чорту...

— Открутите с него веревки!

— Эх, руки-ноги на слободе — дайте шапку, голоушим неохота помереть!

— Забыл я твое имя, парень.

— Еще раз скажу тебе, атаман, — зовусь Лазунка-Жидовин!

Боярский сын расправил левой рукой курчавую бороду, из правой текла кровь.

Разин глядел сурово, опустил голову, будто силясь что-то вспомнить, вздохнул, ткнул концом сабли в палубу, залитую кровью.

— Дайте ему шапку! — атаман поднял голову, лицо повеселело, когда на боярского сына нахлобучили монашеский колпак. Он шагнул вперед и выдернул саблю...

— Гей, козаки! как бился он, сильно?

— Сатана он, батько! Бьет из пистоля не целясь и цельно, будто так надо...

Подвернулся еще казак:

— Много он наших в Волгу ссадил — хотели первым вздыбить, да сказался, вишь, что к тебе, батько!

— За удаль в бою не судят! На то бой. — Разин поднял саблю, боярский сын глядел смело в глаза атаману, подался грудью вперед.

— Шапка ладаном пахнет... чужая, монашья... Секи, атаман.

Разин засмеялся, опустил саблю, спросил:

— Как ты служил боярам?

— Служу, не кривлю душой.

— Письменный ты?

— С детских годов обучен в монастыре, потому патриарший.

— Сатана ты! Побежишь от меня или будешь служить?

— Чей хлеб ем, от того не бегу!

Разин вложил саблю.

— Живи, служи мне.

— И то спасибо.

— Гей, дайте ему руку окрутить, кровоточит!

— Раз, два! робята-а... заворачивай стру-у-ги-и!

Струги с песнями повернули к бугру. На палубах их голубели кафтаны приставших к казакам стрельцов.

Небо светлело, белесый туман осел в низины, по серебру простора плескало размашисто голубым, отсвечивало красным вслед челнам с гребцами в запорожских шапках. Все гуще несло по воде запахами трав с широких лугов, где бродили кочую-

щие стада кобылиц хищного Ногая. Черные птицы с деревянным карканьем садились на мертвые тела, укачиваемые исстари разгульной Волгой...

7

С ордынской стороны от берега Волги две косы песчаных, на них чернеют смоляными боками обсохшие, покинутые струги. На горе над Волгой кабак — с версту в просторных полях голубеют в знойном тумане бревенчатые стены города с воротной деревянной башней. Город четырехугольный, на углах его, кроме воротной, башен нет... За стенами города монастырь, стены церквей высятся — белеют штукатуркой, окна церквей узкие, главы жестяные.

На берегу в кабаке прочная из двух половин дверь распахнута — гудят голоса питухов и бабьи взвизги хмельные. У угла кабака на камне, прислонясь спиной к толстой жерди с кабацким знаком — помелом наверху, сидит стрелец в малиновом, выцветшем на плечах кафтане. В глаза стрельцу с Волги бьет белым блеском, стрелец жмурится, бороздит по песку острием бердыша. Ему хочется делать то же, что перед ним шагах в пяти на откосе делают два солдата с короткими саблями в пыльных епанчах.

Солдаты обхватили пьяную краснощекую бабу, пыля песок, грузно впахиваются в него стопганными лаптями и потные, хмельные бормочут:

— Ты укройся, миляга, в япанчу... Шалая! Она сдох даст и младеню твому — вишь, палит небушко!..

У бабы на руках в тряпье ребенок посинел от бесполезного плача и больше не издает звука, лишь шевелит ртом.

— Ты титьку ему сунь! И покеда суслит... я тя... сама знаешь... сласть!

Баба мотает головой.

— Ой, косоротой! Мне ище ране мамонька заказала: мужиков-псов любить с младенем у титьки — бешеной буде, младенец...

— Истинно! То мужиков, а мы с Васем — салдаты...

Баба пьяно смеется:

— Салдат не к месту! А хто для салдата мирошью запас?

— Во што, чуй! У салдата в кажной бабе доля... Вась, лапай младеня — я жонку япанчой укрою!

— Краше тогда в кабаке за бочками.

— За ноги выволокут, не дадут, плоть твою всю огадят. Япанча — она те что баня. Держи, Вась!

Солдат тащит у бабы ребенка, передает, другой держит ребенка вверх ногами. Первый широкой епанчой окручивает себя и бабу — оба валятся в песок, от них пахнет потом, водкой и пылит кругом... — О, чорт! умял-таки бабу...

Стрелец расплывается в улыбку, прибавляет громко, бороздя песок оружием:

— Эх, солдаты, вам ужо на ужину батоги-и.

— Молчи, мать твою перекати, разбойничий кафтан!

— Ты полой рот поправь младеня, заклекнется! Я на тя тогда послух у судьи — в ответ хошь стать?

Солдат поправляет ребенка, качает его на руках, а стрельцу говорит:

— Бабу тебе жальче — не робенка?

— Жалеть? хи! Не мало их под вами валяется.

— На-кось, куры! Не на Москве, носов за курево не режут.

Солдат тащит из глубокого кармана епанчи трубку и кисет.

— Запасливый ты! — стрелец курит, смотрит на Волгу.

С насадов безмачтовых и низких судовые ярыги таскают в прибрежные амбары мешки с мукой и зерном. Голые спины потны, отливают бронзой — спины ярыжек в шрамах, рубцах и царапинах. Рабочие в крашенинных портках, босые, переваливаясь, идут согнувшись по длинным плахам. Тощий, загорелый, в валяной шляпе, на корме одной насады стоит приказчик, в руке плеть, время от времени кричит и бьет плетью по голенищу сапога.

— Спускай ровно, не дырявь ку-у-ли!

По берегу Волги едко несет соленой рыбой, пахнет дымом. У берега костром сложены бочки — недалеко от бочек с рыбой у самой воды бледный при ярком дне огонь. Трое каких-то босых, лохматых, без шапок, жарят на коле барана.

— Робята, нет ли у кого для жарева натодельной жилизины?

— Век мясо не сжарить — горит палочье...

— На зубах дойдет! мякка баранина-т...

— Самара! В ней воеводы да бояра — мать их в каленую

печь, — ворчит казак в синей куртке, синих штанах, в сапогах запыленных и рыжих. Казак у того же костра кипятит воду в деревянном ковше. У огня калит камни и, накалив, осторожно опускает в ковш.

— Ты чего это, станишник?

— А вот согрею воду, да толокна ухлебну.

— Тебе дольше кипятку добыть, чем нам баранины укусить.

— Я скоро!

Казак, нагревая камни, взглядывает на гору. На двойном фоне, снизу желтом, сверху яркоголубом, на горе над берегом видна конная фигура: лошаденка мохнатая, на ней татарин, подогнувши ноги, без стремян, за спиной саадак,[1] обтянутый верблюжиной, набит стрелами, и лук — рыжеет шапка островерхая, опушенная мохнатым мехом. Изредка казак кричит одно и то же:

— Кизилбей мурза, гляди коня!

И так же однообразно отвечает татарин:

— Кардаш урус! Ту коня, ту...

Казацкий конь стоит смирно, лишь мотает хвостом, к его седлу приторочены узел и ружье с саблей.

В кабаке все слышнее шум и ругань. Пьяные солдаты играют в карты, сидя на грязном полу в кругу. Кабацкий ярыга, служка в дерюжном фартуке, в опорках на босу ногу, пристает к солдатам:

— Заказано, служилые, на царевых кабаках лупиться в кости, в карты тож!

— Крою! ядрена с паволокой!

— А не лжешь? во он — туз!

— Туз не туз — крою червонным пахлом![2]

— В кои веки пахол идет выше туза?

— Эй, служилые!

— Ты поди! Б...ня тож заказана, а их вон — ну-ко всех? Умаешься!

Ярыга идет к целовальнику.

— Гонил я, Иван Петрович, да неймутся солдаты.

За прочной темной стойкой целовальник теребит широкую бороду, не слушает ярыгу, кричит на баб:

---

[1] Ящик, в котором помещается колчан со стрелами.

[2] Пахол — валет.

— Эй, стервы! Кто такой удумал казну государеву убытчить? За приставы возьму!

Бабы носят худым котлом с Волги воду, полощут винные бочки и, опрокинув посудину, лежа на животах, пьют. Одна, озорная, пьяная, шатаясь идет к целовальнику, повернувшись к стойке, задрав лохмотья, показывает голый зад:

— Эво-ся, борода, твои напойные деньги — зрикось!

— Гони ее, стерву, в хребет — дуй! — кричит целовальник.

Ярыжка хватает бабу, не дав ей поправить подол, волокет на воздух.

Два солдата вскакивают на ноги, из кучи играющих кричат целовальнику:

— Мы те покажем, как жонок из кабака!

— Не гони баб, коли бороду жаль!

Целовальник кричит слуге:

— Кинь ее, Федько, не трожь! Поди ко мне.

Ярыга подходит, нагибается к целовальнику через стойку, целовальник косит глазом на солдат, шепчет:

— Воно стрельцы! Може, уймут салдат — скажи...

Ярыга идет к стрельцам. Рыжие кафтаны в углу за столом пьют пенное, бердыши кучей приставлены в угол, лица красны, шапки сдвинуты, говорят стрельцы вполголоса, оглядываясь:

— Век и служи... побежал, имают, бьют кнутом на торгу, в тюрьму шибают...

— Из тюрьмы да битой сызнова служи, а отощал — ни земли тебе, ни торга, ни жалованья...

— В старости за собаку пропадай!

— Эх, в черной обиде, браты, жисть волочим.

— А что, коли щастье изведать, как лопухинцы?

— Во, во — сказывают на Иловле Лопухин приказ весь сшел к Разину.

— Гляди, робяты, много слухов идет, нюхать надо...

— Оно и то — може, слух ложной? Ярыга, тебе чего? к нашим словам причуеваешься!?

— Я? Нет! Я, государевы люди, на солдат — унять бы картеж?

— Не мы начальники! У их маэр (майор).

— Не трожь, парень! На то кабак, чтоб значит...

— Драка заварится.

— Сойдут по добру. Худче будет, как погонишь: кабацкое питье изольют, изобьют и целовальника...

Ярыга отошел. К целовальнику с вестями сунулся приказчик с волжских пасад: длинный, перегнулся через стойку и, чтоб не замочить узкую, мочалкой русую бороду, забрал ее в кулак:

— Тебе ба, царев слуга, Иван Петров сын, наладить малого,— кивнул на ярыгу, — к воеводе...

— Пошто, Клим Митрич?

— А вот — тут за кабаком на горе поганой в справе стоит с двумя копьми; с поганым заедино козак, да у огня трое гольцов барана жарят... Народ по всему пришлой, воровской. Пожога ба, грабежа какого ради упреждение потребно... У гольцов же рубы худы, портки кропаны, обутки нет. Барана жарят! Не укупной баран, сквозит грабеж.

— По ряду сказываешь, да вишь мой муравельник: без слуга меня затамашат. Я же пуще головы берегу казну государеву! С кого, Клим Митрич, — с меня ведь сыщут пропойные деньги, пропажа — лишь отвернись... Людей у тебя не мало, выбери, за мое спасибо, верного кого, да и к воеводе... а?

— Правду баю, Иван Петров сын, судовые казаки тех же гольцы, народ с Волги — почесть все были в тюремных сиделыцах до Волги-т!.. Шепни-кось — головы не сыщешь. Про воеводу — беда...

Подошедший солдат стукнул кулаком по выгнутой спине приказчика.

— Спрямься, жердь! Душа пенного ищет, а ты застишь...

Приказчик отскочил от стойки:

— Без причины хребет ломишь, разбойник! Ужо начальству доведу...

— Доводи. По доскам ходишь? Волга-т глубока, не мерил?

— Грозить? Утоплением грозить? Ужо вот целовальник в послухи, я тя укатаю... — крича, махая валяной шляпой, приказчик выбежал из кабака.

— Ярыги, робяты-и, пихни вашего захребетника в Волгу-у!— крикнул солдат из дверей кабака, а в ответ с Волги послышался громовой голос:

— Вты-ы-кай челны, браты!

В кабаке стрельцы, схватив бердыши, кинулись на берег Волги.

— Разин!

— С пожогом ли, с грабежом?

— Гуляй, народ! У черного люда крест да вошь и живот весь...

С Волги голос, какого не было окрест, прогремел:

— Не бежи, пропойной люд! Без худа в гости идем!

Целовальник перекрестился и бестолково засовался у стойки, бормоча под нос:

— Ой, матушка, казна государева — быть мне биту кнутом. Смерть моя, ой!

Ярыжка вбежал за стойку, приткнулся к бороде целовальника.

— К воеводе? в город?

— Пожди ты — уловят!

Солдаты спрятали игру, привалились к стойке, стуча кулаками.

— Пожжем бороду — или бочонок пенного ставь!

— Приехали гости — пить зачнем!

— К чорту маэра!

За солдатами лезли бабы, пьяные, растрепанные, рваные, голые руки тянулись к солдатам.

— Не обходи чаркой! Нам питья, питья!

Золотился желтый атласный зипун, черный кафтан висел на одном плече. Разин вошел в кабак. Солдаты и бабы от стойки хлынули в сторону.

— Столы на середь кабака!

Столы мигом передвинули. Кабацкий ярыга обтер фартуком верх столов, приставил скамьи.

— На скамьях питухи, а мы — соколы!

Разин сел на стол. На другой рядом поставили бочонок с водкой и железные кружки.

— Гей, стрельцы! Пейте.

Стрельцы по очереди подходили, принимали из рук Разина кружку с водкой, пили и, кланяясь, отходили, уступая другим место. Когда выпили все, старший из стрельцов выступил вперед, поклонился:

— А вот мы, атаман-батько! Я за всех своих сказываю:

надоела неволя боярам служить, воли западобилось спытать... Хотим с тобой головы положить — бери нас! Мы твои.. Служить зачнем, не кривя душой.

— Будете мне служить, то еще пейте. А солдаты? Или с нами бою хотят? Гей, солдаты!

— А нет, атаман! Зорю мы прогуляли и пыне, если к полку придем, будут нам батоги...

— Так не пойму: воли вы иль батогов поровите?

— Воли хотим, атаман! С тобой идем! Стрельцы по тебе, и мы по ним...

— Добро — пейте и вы!

С Волги казаки привели тропх парней, поставили к атаману.

— Куда ваш путь, браты?

— Куда глаза и ноги ведут... Шли искать работы — не сошли ее... голодно, съели с себя все!

— А нынче?

— Нынче на наше счастье пало — ты пришел, возьми с собой: к пищали не свычны, в гребн гожи.

— В гребн сядете — пищали обучим. Ну, гуляй!

Пришел казак с берега Волги.

— Ты отколь слетел, куркуль?

— Сам ты куркуль — я с Дона, сокол! Мне к батьку.

— Вот он батько!

— Ты отколь?

— От Ивана Серебрякова, атаман. С мирным мурзой все за тобой по берегам гоняли — лошадей умаяли и оводно местом — беда.

— Ну?

— Погнал нас за тобой, батько, Иван Серебряков, наказать велел· «донской-де голутьбы низовиков с тыщу под Царицын привел», да Мишка Волоцкой в верхних городках набрал столь же и больши охотников, ведет... Под Царицыном челны и струги захватили... В островах на Волге тебя ждут...

— Пей, не зря гонил! У меня нехмельному место узко.

Разин сам налил казаку кружку водки.

— Пей и гони с мурзой в обрат — упредишь нас, скажи Серебрякову: «Кто конной, пущай гонит берегом на Черный Яр, да ордынским с конми ходить днем не можно — ночью ладнее: озер много овод, изропу в конях не мало будет».

— Чую. Извещу по-твоему, батько, — спасибо!
— Тебя как зовут?
— А Федько-Шпынь!
— Ты завсегда в есаулах ходил с Васькой Усом?
— Тоже собирается к тебе!
Казак ушел.
Бабы, продираясь сквозь солдат, полезли к водке.
Атаман глянул на них через головы, сказал:
— Жонки в походе и нехмельные — навоз. Гоните этих, да чтоб ни одна из них в город до солнца не пошла!
— По слову справим, батько!
— А как дозор на дороге и в полях?
— Учинен... без отзыва никого...
Выступил один из стрельцов:
— А так что, батько, один из наших в город утек!
— Эге-ге! Когда?
— А так что, когда ты с Волги в челнах шел, он сидел на камени у кабака, а к берегу стал, ен и утек!
— Ну, я б его матку и бабу старую! Справится воевода — дали бой... Нынь же пить, гулять и за дело, по которое пришли.
— Какое укажешь!
— Поднять с кос кинутые струги, починить в ночь, оснастить, побрать муку с анбаров, рыбу, и в ход с песнями. А где прикашик?
— С насадов прикашик, батько, в Волге плавает. Как лишь ты в кабак сшел, ярыги того прикащика в петлю, да кончили и в воду... Лютой был с работной силой! Ярыги тем нынче у воды костры жгут, все к тебе ладят...
— Добро! гуляйте, браты...
Разин иногда вскидывал глаза на целовальника, видел, как ярыжка сунулся к нему, и целовальник что-то сказал. Разин окинул кабак взглядом — ярыжки не было. Когда гнали баб, он исчез в суматохе.
— Гей, кабатчик! Пущай твой ярыга кружки сменит.
— Да где он? Не ведаю, вот те Христос.
— Христос у тебя в портках! Ты ярыгу угнал с поклепом?
Целовальник начал теребить себя за бороду и бормотать:
— Народ вольный, атаман... я не ведаю... слова не несет... наемной, едино слово — ярыга!

— Сатана! Жди суда, ежели окажется поклеп.

У кабака зашумели, плачущий голос ярыги взывал:

— Да, казаки-браты, я за хлебом сшел в город!

Кабатчик задрожал и сел на ящик за стойкой:

Разин крикнул, когда втолкнули в кабак ярыгу:

— Перед кабаком накласть огню, еще сыщите железину!

— Батько! — сказал один рабочий с Волги, — мы тут барашка жарили на кольях и все тое жилизины добирались, потом-таки нашли, у костра лежит.

— Волоки!

Рабочий мигом сбежал с горы, вернулся с железным прутом. Казаки против дверей кабака, натаскав головешек, разожгли огонь. Железину кинули калить.

Ярыгу держали стрельцы.

— Скиньте ему портки! — приказал Разин.

— Вот, парень, ежели ты не скажешь правды, пошто потек в город, мы тебе спалим то место, без коего мужик бабе не гож.

— А-яй-яй! — Ярыга начал сучить ногами.

— Стрелец, вот на рукавицы, сними с огня железо.

Ярыга метнул глазами на целовальника и закричал:

— Вот Иван Петров, атаманушко, меня с поклепом наладил!

— С каким?

— Молви-де воеводе скоро: «Пришли-де воровские казаки, сам Стенько Разин с ими, кабацкое-де питье пьют безденежно, не платя ни коли, да разбой, пожог чинить собираются».

— Киньте железо! Парень все сказал.

— Ты, сатана-кабатчик, чего дрожишь? Аль суда ждешь?

Целовальник выбежал из-за стойки, упал на пол перед столом, где сидел Разин, заговорил:

— Мутится разум, атаман вольный, разум мой помешался... послал парня — мой грех! Потому государеву казну напойну беречь указано: хучь помереть, правду молвю — бьют за нее кнутом. Царю крест целовал беречь деньги, кабацкого питья в долг не отпущать и безденежно ни отцу, ни брату, ни родне какой не давать.

— Поди на свое место! Мы подумаем, как быть. Гей, товарищи, за дело — струги волоки!

— Чуем, батько!

Кабак опустел, остались лишь целовальник за стойкой, ярыга

в углу, натягивавший крашенинные портки, да у дверей в карауле два стрельца с бердышами. Ни кабатчик ни ярыга не говорили ни слова. Стрельцы были угрюмы. Лишь один, закуривая трубку, не выдержал молчания, сказал:

— А надоть, брат, воли-вольной хлебнуть. Ну его вечное служилое дело — за нуждой к тыну и то голова едва спущает.

Другой курил и молчал.

С высот за Самарой на Волгу понесло вечерней синевой, за высотами спряталось солнце. По воде широко и упорно запахло свежим сеном.

На косах против кабака около заброшенных стругов плещутся в воде люди.

— Ма-ма-ть!

— Тащи, закрой гортань.

— Под днище за-а-води-и!

— Подкрути вервю, лопнет!

— Ду-у-бину-шка-а!

Трещит гулко дерево.

— Не ломи-и!

— Все одно — починивать!

— Ге-гей, товарищи, справляй!

Один из стругов подведен недалеко от берега к насаду, через насад[1] по сходням ярыжки таскают из амбара обратно на Волгу мешки с мукой, иные катают бочки с рыбой. Треск и уханье.

— Берегись — ты-ы!

— Разм... твою, по ногам, чорт!

— Подбирай, на чем ходишь!

Волны бьют в берег. Струг под стуком и хлопаньем тяжестей дрожит. Синяя Волга серебрится просветами, посылает к далекому и ближнему берегам белесые волны. Волны, наскакивая одна на другую, торопясь, шумом своим как бы повторяют тревожный говор питухов кабака.

— Ра-а-зин!

— Ра-а-зин при-шо-о-л!

Еще из-за круч самарских не встала утренняя заря, а струги, снятые с отмелей, законопаченные, подшитые по смоляным бо-

---

[1] Насад — барка, ладья, с короткой мачтой; иногда на мачту вешали парус.

кам белыми заплатами дерева, уходили оснащенные. На корме переднего рыжела шапка, чернел кафтан, и слышался голос:

— Береги, собака, цареву каз-ну-у.

Многоголосым уханьем ответила Волга грозному голосу атамана. Рассвело. На одной из отмелей сидел на зеленом сундуке, набитом медными деньгами, голый человек с железным ошейником, через ошейник к сундуку была привязана веревка.

Человек с широкой рыжеватой бородой дрожал и крестился. На сундуке сбоку виднелась надпись:

«Тот вор и пес, кто убытчит казну государеву, питий не пьет на кабаке, а варит на дому без меры».

8

Потный, уперев локти в отвислый на стороны живот, воевода лежа читал издержечную записку старосты:

— «Июлия во вторый день воеводи Митрию Петровичу Хабарову несено свинины полтора пуда, рыбы осе-т-ри-ны на десять а-лт-ын».

Записка упала на шелковую голубую рубаху вместе с пухлыми волосатыми руками — воевода всхрапнул.

Курная приказная изба была жарко натоплена, слюдяные окошки задвинуты плотно: иначе одолевали мухи. Солнце за окнами пекло. Жар улицы усиливал духоту прокопченной избы. В избе пахло потными волосами и еще чем-то кислым. За длинным столом на широкой лавке (к лавке была придвинута скамья) воевода лежал на двух тюфяках, положенных один на один. За дверями в сенях шептались дьяки, не смея ни ходить ни двигать скамьи.

Что-то обеспокоило рыжебородого боярина, он замычал во сне, свесив с ложа бороду, почесался, вздрогнул. Еще почесался и, не открывая глаз, начал шарить рукой под рубахой. Пожевал толстыми губами, проворчал проснувшись, подремывая:

— Продушили избу дьяки, клопы из поруба тож лезут.

Шлепнул себя по животу, кряхтя, сел. С него сползли желтые шелковые портки, расшитые узорами, обнимая волосатые ляжки. Воевода залез руками в портки.

— Эк, жрут! — нащупав клопа, оскалил зубы: — Я тя на пытку, дьявол... на, — и раздавил клопа.

На столе липовая чашка с квасом, козьмодемьянского дела — резная. Воевода отпил квасу и начал оглядывать ложе:

— Малая животина, а как пес, столь кусает... И с чего зародится? Даже удивление — от духу... Как же без духу быть? На корм просился у государя и обопял — от него шел тот дух... И коли же царь испущает, так нам как без оного? А, чорт! Я те, а-а, па!

Воевода снова показал зубы и раздавил клопа. Поднял голову. В сенях становилось шумно. Крикнул:

— Эй, кто тамашится? Ведомо всем, что воевода почивает!

Дверь приоткрылась, просунулась взъерошенная, волосатая голова дьяка:

— Прости, отец-воевода, — тут я не пущаю, стрелец лезет к тебе.

— Пошто ему?

— С тайными-де вестями.

— А ну, коли — пусти!

Вошел стрелец в малиновом выцветшем на плечах кафтане, без бердыша, поклонился поясно:

— Челом бью воеводе.

— Ты пошто лез ко мне?

— С вестями, боярин.

— Величай полностью! Скажи, да не путай, не тай и не лги.

— Воевода, боярин-отец! Вчера рано к кабаку с Волги в челнах...

— Ну-у?

— ...воровские казаки — Разин с товарищи пристали.

— Ой, что ты?.. эй, не лги, парень!

Воевода вскочил на ноги, портки с него сползли. Ширя ноги, боярин ходил по избе, портки волочились за красными сапогами, из-под рубахи свешивался низ спзого живота.

— Стервы девки! Сколь приказано пугвиц отставить, опушку раздвинуть. Застегнешь — брюхо режет... Стрелец, на низ мой не гляди, сказывай...

— Только не все ведаю, боярин.

— Таить? Я те порву твою сивую бороду — мотри!

Воевода шагнул к стрельцу, запутался в портках, покраснел, сгибаясь с трудом, натянул узорчатый шелк и не мог нащупать пуговиц.

— Стервы! Так молышь — Разин? А нынче где?

— Должно, уплыл вниз...

— Уплыл? Пошто пригребли к Самаре? Не зря воры пригребли! Пошто, сивая борода, не дознался — куда они сошли, а?

— А вот, боярин, был я у кабака на Камени...

— Сказываю, величай полностью.

— Воевода и боярин, был я у кабака на Камени, зрю на Волгу и вижу — плывут тем казаки...

— Воры!

— Плывут воры... Я в ход, чтоб упредить тебя, да не поспел: следом за мной на гору лезут, и по полям казачий дозор стал. Я в ров, уполз в траву, а слух востpю: что-де зачнут говорить?

— Что подслушал? Годи мало! Окаянные скрутили совсем ноги — сдену портки, ты не баба. А там вон на лавке мой озям — дай!

Стрелец подал воеводе кафтан узкий, длиннополый.

— Я, воевода-отец, лежу и чую: «Снимем с луды струги, починим — да к Царицыну». И мекаю я: Разин уведет с собой кинутые струги.

— Не велик изъян! Худче не чинили ли чего? Пожога, грабежа, не познал о том?

— Мекаю я, — сошли на Волгу, боярин...

— ...и воевода-а! Сколько говорю! Сошли ежели, то нам без убытку и отписки не надобно... не люблю отписок.

— Тогда лишь, воевода-боярин, я с оврага сдынулся да скрозь траву глянул, а шапку сдел и зрю: на гору заскочил прикащик с насад, государев недовезенный хлеб в Астрахань правил, кричит, руками машет, а за ним судовые ярыги гонят — дву человека... Вервю на шею ему кинули, поволокли к Волге, стало — топить.

— А стрельцы? Стрельцы як даны прикащику в бережение и понуждение тых ярыг!

— Чул я, воевода-боярин, что стрельцы к Разину дались...

— Сошли? Все вы крамольники, изменники, не радеете великому государю! Ну, а там еще солдаты?

— Салдаты, воевода-отец, когда еще был я у Камени, сплошь бражничали, в карты лупились и тоже, думно мне, сошли...

— Картеж заказан — целовальника к ответу!

— Целовальнику чего поделать? А как я лежал в овраге,

целовальник, должно, наладил ярыгу к тебе, да его дозор перехватил и поперли к кабаку в обрат... В тое время травой уполз к городу, мало лежал и перед тобой стал.

— Стать-то стал, да худо знаешь... Но вот, ежли, как довелось ты, воры угребут, не чинив беды, ты, стрелец, не полоши народ в городу и кого увидишь — слухи о ворах пущает, аже грамоты — листы подметные дает, волоки в приказную ко мне. Не идет — бери караул и волоки... Где целовальник? А ярыга где?

— Думно мне, воевода-отец, сыщется целовальник — водкой откупитца. А ярыге куда деться? — Сыщется тож...

— Ну, поди! Гляди и слушай, будешь у меня в доверьи...

Под вечер жар дневной спал, но в воздухе парило, заря украсила золотом жесть на главах монастырских церквей...

Два конюших воеводских ко крыльцу приказной избы подвели коня. Воевода, застегнув на все пуговицы озямный кафтан, с помощью конюшего сел и направился домой, оглядывая хозяйским оком улицы, по которым ехал.

9

В просторной горнице, душной от запаха какой-то травы с белыми цветочками, раскинутой под лавками, на низком, широком стульце, обитом бархатом, дремала грузная воеводша в шелковом зеленеющем сарафане, в таких же нарукавниках, застегнутых на жемчужные многие пуговицы. Сарафан вздымался и топырился у ней на животе. Воевода, о чем-то думая, потряхивая головой, ходил, заложив руки за спину:

— Митрий Петрович, боярин! што ты все трудишься, устал, чай, думать с дьяками? — воеводша подняла голову.

Воевода подошел к жене, взял ее волосатой рукой за полный живот, потряс:

— Макеимовна, мать, чай, у тебя тут детем не быть?

— Благодарение Христу! Пошто так? Я здорова.

— Жир, вишь, занял место...

— Ой, хозяин, сам-от ты жиром заплыл — не я, я еще не чревата... Вот маэрша, то она чревата есть...

— Мне вот думается...

— О чем много думается — кинь!

— А и кинул бы, да не можно. На Волге, вишь, опять воровские козаки гуляют...

— Не по нонешний год гуляют — пошто думать?

— Вишь, Максимовна, ежли заводчики у них сыщутся атаманы удалые, то нам с тобой на воеводстве сроку не высидеть... сниматься надобно будет... Холопей у нас не мало, а холопям ни ты ни я поблажки не даем. Злобят посацкие, да и черной люд скаредно говорит... глядит зло.

— Распустил ты всех, хозяин, поблажку дашь, оттого злые люди снятца, а припри-ка всех ладом... Вот тоже земского старосту зачастил звать хлеба есть.

— Зову не даром! С посулами, да выпытать от него, нет ли в волостях крамолы какой?

Воевода потянул носом:

— Вот слышу сколь и не познаю, что душит горницу? Углядел — понял. Да пошто, Максимовна, сеновал в избе?

— По то сеновал, что это клопиная трава. Ты, Митрий Петрович, из своей приказной натащил клопов, развелись — нет покою...

— Вот ладно, боярыня! Ты гляди!

Воевода распахнул полы кафтана.

— Ой, стыд! Родовитой муж и воевода без порток ходит — пошто так?

— С травой твоей упомнил: сколь раз наказывал, чтоб опушку у портков шире делать, пугвицы шить не близко — не ярыга я, боярин! И вот без порток срамлюсь перед дьяками да низким служилым народом — тебе вот тоже не ладно зреть.

— Ой, хозяин, каждоденно девке Настахе твержу: «Воеводе портки-де шей ладом!» Она же, вишь, неймет, а чуть глянул, сиганула в холопью избу — должно, о женихах затевает.

— О женихах — то ладно! Холопы закупные — рабы и холопьи дети наши рабы, холоп для нашего прибытку плодится...

— Так вот вчера ее вицами била и нынче, должно, отхвостать девку.

— Хвощи! Батог разуму учит, — холоп битье любит.

Воеводша задышала тяжело, стулец начал трещать.

— Ты не вставай, не трудись — чуй!

— Чую, хозяин.

— Сей день довел мне стрелец, что атаман Стеньки Разин к Самаре пригреб.

— Ой, хозяин-воевода! Ты бы маэра да салдат и стрельцов бы сполошил, да пищали, пушки оглядел. А где он страшной? Худые сказки идут про него...

— То-то, Максимовна, вишь, стрелец не все ведает: послал я своих людей прознать толком да сыскать целовальника, притащить в приказную: целовальник все ведает, как и где были воры. А на маэра худая надежда: бражник... В приводе по худым делам был не раз, и салдаты его не любят: не кормит,не одевает, как положено, забивает насмерть — салдаты от него по лесам бегут... Моя надежда на мужиков, и ты хоть меня клеплешь, да умыслил я земского старосту звать хлеба есть в воскресенье...

— Ой, в воскресенье-т Олешины имянины, хозяин!

— Вот-то оно и есть.

— Зови, с подношéнием чтобы шел староста. Скажи ему: «Воеводша-де в обиде, что восьмь алтын дает»... пущай хоть десять — и то на румяна, притирание лица будет.

— Скажу... Только, Максимовна, везде одинакое подношение: восьмь алтын две деньги.

— А ты скажи!

— Воскресенье день праздной — в праздной день лучше чествовать имянины дочки.

— Батюшка, посулы [1] мне кто принесет и какие?

Грузная, обещающая быть как сама воеводша, вбежала в горницу воеводская дочка в девичьем венце кованом, в розовом шелковом сарафане, в шелковой желтой рубахе — на широких, коротких рукавах рубахи жемчужные накапки.

— Ой, свет ты, месяц мой! — ласково сказала воеводша.

— Месяц, солнце, а только не гоже бежать в горенку из своего терема... Чужой бы кто увидал — срам!

Воевода говорил шутливо, глядел весело, подошел, обнял дочь, понатужился, с трудом приподнял, прибавя:

— Не площадной дьяк — воевода, да весчие [2] знаю — пуд с пять она будет в теле?..

---

[1] Посулы — подарки, подношения.

[2] Весчие — счет веса.

— И слава те боже, кушат дородно!

— Эх, выдать бы ее за кого родовитого: стольника ай крайчего?..

— Батюшка, ищи мужа мне, хочу мужа, да помоложе и потонявее, да не белобрысого... Я тонявых люблю и черных волосом.

Воевода засмеялся.

— Ужо за ярыгу кабацкого дам! Те все тонявы: Родовитые тем и берут, что дородны...

— Хозяин, Митрий Петрович, ну, как тебе хотца судить экое, что и во снах плюнешь — за ярыгу! ой, скажет...

— Дочка, подь к себе. Мы тут с матерью судить будем, кого на имянины твои звать, да и опасно тебе — сюда чужие люди забродят. Поди!

Боярышня ушла.

Воевода шагнул к двери горенки, стукнул кулаком.

В двери просунулся, не входя, слуга:

— Потребно чего боярину?

— Боярину и воеводе, холоп. Кличь, шли Григорея.

Слуга исчез. Вместо него в горенку степенно вошел и закрестился на образа старый дворецкий с седой длинной бородой, лысый, в узком синем кафтане.

— Ты, Григорей, у меня как протопоп!

Слуга поклонился ниже пояса, молчал. Воевода ходил по горенке и, когда подошел обратно, встал около слуги, глядя на него: дворецкий вновь так же поклонился.

— Какой сегодня день?

— Постной, боярин и воевода, — пятница!

— Та-а-к! Знаешь, ты поди завтра к земскому старосте, Ермилку; зови его ко мне на воскресенье хлеба есть... О подношении он ведает, а воеводше Дарье Макеимовне особо — она у меня в обиде на мужика, что дает ей восемь алтын две деньги, надобе ей почесть десять алтын и сколько к тому денег знает сам козья борода! Ты тоже бери с него позовного четыре деньги иль сколь даст больши... Поди. Можешь, то извести сегодня. Да калач имянинице...

— Спит он, думаю я, боярин и воевода! Спит и не достучишься у избы...

— Взбуди! Мужик, ни што — на боярский зов пробудится

Слуга поклонился воеводе и воеводше — ушел.

Воеводша сказала:

— Григорей из всех слуг мне по разуму — молчит, а делает, что укажешь...

— Не молод есть, и батоги ума дали, батогов нечетно пробовал... Молчит, а позовное из старости когтьми выскребет.

— Батоги разуму учат. Нынче я девку Настаху посеку вицами. Ты пди-ко, хозяин, не гоже воеводе самому зреть девки зад.

— Умыслила тож! Да мало ли холопок бьем по всем статьям в приказной?

— То гляди — мне все едино!

— Позовешь девок, наладь кого в приказную за портками — дела делать я-таки буду в ночь, да чтоб моя рухледь на глазах не лежала... Прикажи подать новые портки — шире.

Стулец опять затрещал, воеводша встала на ноги:

— Девки-и!

Переваливаясь, грузно прошла по горнице, поправила лампадки в иконостасе, замарала пальцы в масле, вытерла их о ладонь и потерла рука об руку. От золоченых риз желтело широкое, с двойным подбородком, лицо.

— Девки стервы-ы?!

Неслышно вошли две девицы в кичных шелковых повязках по волосам, в грубых крашенинных сарафанах, прилипли плотно к стене горницы — одна по одну сторону двери, другая по другую.

Воеводша молилась.

Сморщив низкий лоб, повернулась к девкам:

— Кличьте Настаху, да ивовых, нет, лучше березовых — погибче, вон два-три пука в огороде нарежьте!

Девицы неслышно исчезли.

Воевода из-под лавки выдвинул низкую широкую скамью:

— И не видал хозяин, а знает, на чем девок секу...

—Козел [1] бы тебе, Максимовна, поставить в горенке. Плеть тоже не худо иметь.

— Ужо, Петрович, заведу.

---

[1] Скамья, на которой бьют кнутом.

Накурено и душно в холопьей избе. Окно в дымник открыто, да не тянет, и только в то окно мухи летят.

Весело в холопьей избе до тех пор, пока воевода или воеводша не потребуют кого на расправу.

Из девичьей русая, приземистая и полногрудая Настя зашла в избу. Готовая скоро уйти, встала у двери.

Кабацкий ярыга, чернявый, гибкий парень с плутоватыми глазами, сегодня пришел, как всегда: ходил он часто от кабатчика с поклепами, и воевода по его доносу посылал в кабак стрельцов. Парня знала Настя: он ей не раз подмигивал, пробовал взять за руку мимоходом и шептал:

— Эх, милка, полюби?

В девичьей ночью Настя иногда думала:

«Полюбить такого? Нам и так худо от хозяев, он же клеплет, и сколь людей за то волокли в приказную стрельцы... От своих стыдно, ежели свяжусь с приказным. Ярыга — едино, что приказной...»

— Я вольной человек! — шептал иногда Насте ярыга, — служу кабатчику, а будет иной лучше, буду лучшему служить... Одет, не гляди — деньги есть, одежа на торгу... не пьяница... грамотной я!

Ярыга не таился Насти, считал ее своей, при ней говорил в избе, на кого указано довести воеводе. Холопи его побаивались, но дружбу водили:

— Где подневольному взять, а он иной раз и водкой попотчует.

Сегодня ярыга был какой-то иной, смотрел гордо, а не хитро. Водки кувшин принес, угощал всех. Когда подвыпил, начал сказывать сказку.

— Эй, ярыга, забудешь, пошто к воеводе пришел!

— Пришел я к вам, братие, гость гостем, к воеводе кончил ходить. Кабак кинул — пущай иного зовут.

— Ой, не верится нам, парень.

— Пущай ране сказки поведает, что ныне на Волге было!

— Сами узнаете, лучше не сказать.

— Вот то и есте — запрет положен!

— Вирай, коли, сказку.

— Эй, молчок!

— «Жил да был малоумной парень — родители у него были старые. А был тот парень, как я, холостой и жениться ему пора было. — Ярыга посмотрел на Настю, она потупилась. — И как всегда глупые належны по хозяйству, было у него хозяйство хрестьянское налажено: дом новый, кони в конюшне, двор коров... Позарилась на малоумного одна девка, и девка та была уж не цельная — дружка имела! Посватался за ту девку малоумной, она и пошла...»

— Ты б нам, парень, лучше довел, что там на Волге-т?

— Потом, робята. Чуйте дальше... «Так вот, братие, пошла замуж девка, и ну в первую ночь над мужем узорить, выгнала весь скот на улицу, да когда зачали спать валиться, говорит:

«— Нешто кто из твоей родни был худой?

«— А што, жонка?

«— Да полой двор: коровы, лошади убрели, а нынче скот крадут!

«— Ахти, крадут! дайко я сыщу! — хотел оболокчись, она не дала.

«— Бежи наскоре — должно, недалеко убрели.

«И выбежал малоумной еле не нагой. Старой да прежний дружок у ей в клети ждал. Заперла она двор, избу на крюк, и ну по-старому тешиться с другом...

«Побежал глупой по улице, собрал скот, а ворота, глянь, на запоре. Колотится, дрожмя дрожит — зуб на зуб не уловит во рту — зима.

«— Пусти, Матрена! я твой Иван.

«А молодая высунулась в окно:

«— Лжешь! мой Иван дома, только что нпр отпировали, поезжан-гостей спать по домам наладили и сами полегли — поди, шалой».

— Сказывают, твово целовальника атаман Разин к сундуку с пропойной казной на луду [1] приторочил? Эй, ярыга!

— Я не ведаю того... «Побежал, братие, глупой к попу. Стучит в окно:

«— Батюшко! у меня дома не ладно: батько, матка глухие, древние, а молодуха в дом не пущает. Ты венчал!

«— Што-те надобно?

---

[1] Луда — отмель.

«— Уговори бабу — пущай домой пустит.

«— Не мое то дело, свет!

«— Как же не твое? ты поп, всех учишь...

«— Давай пойдем коли — усовещу!

«А поп то знал, что девка путапая, да денег ему дали; он и скрыл худое — венчал... Поп надел шубу да шапку кунью — студено в ночь стало. Пришли. Стучал, колотился поп. И почала их та молодуха ругать:

«— Ах, вы — м... вашу! неладные — чего, куда лезете?!

«Покудова полоумной к попу бежал, она скот застала и еще крепче ворота приперла».

— Сказывают — эй, ярыга! — и тебя пытали козаки-т калевым железом?

— Кабы пытали, так и к вам не пришел — вишь, сижу, вино пью.. « — Муж мой Иван дома, сам же ты, долговолосой, венчал, а тут гольца привел, навязываешь в дом пустить — пойду ужо воеводе жалобиться!

«Спугался поп, зрит и теперь лишь углядел, что парень в одной рубахе: «Впрямь тут не ладно». Попел поп прочь, малоумной не отстает, ловит попа за шубу. Поп бежать, Иван не отстает — в шубе жар сдолил попа — кинул шубу и шапку, наддал по холоду. Иван подобрал шубу, оделся, а за попом бежит. Но поп угонил, забежал домой, двери замкнул, и остался малоумной на улице.

«Сызно стало Ивану и хоть зябнуть не зяб, да к жене охота... Выл, выл по-волчьи, вспомнил: «А дай пойду к бабке!»

«Жила-была та бабка старая недалеко, слыла колдуньей, по обиженных из беды вызволяла и за то судейских и иных посулов не брала. Прибрел малоумной к ей — плачет, а она ему: «Ляжь спать — дело твое в утре!»

«Лег и заснул Иван».

— Эй, ярыга, ужли не видал? С луды, сказывают, струги сволокли, закропали, да на тех струги с анбаров всю муку стащили судовые казаки.

— Гляньте сами, робята! Я не ведаю.

— Ну-ка, уйди на Волгу, воевода так выпарит, что из спины палочье сколь вымать придетца!

— От того нам не сказывает, что к воеводе тайно налажен.

— У кого ноги, глаза да уши, время пришло тем! Воевод не боятся они...

— Вишь, что сказал! Знать, не к воеводе спел.

Холопи пошептались, потом один крепкий парень придвинулся к ярыге:

— Ты небойсь! Меж нас языков до воеводы нет... Мы все глядим, ищем льготы, чтоб боя нам меньше, и в козаки уйдем — голов на дело не жаль...

— То ладно! Потом увидите, что я к вам пришел. Не доводчик я на вас воеводе...

— А, ну вирай, коли, до конца сказку...

«Утром старая сказала Ивану:

«— Вот те плат! Приди домой, бабе слова не говори, на глаза ей не кажись — тайно чтоб. Залезь под кровать. И как твоя жена с любым своим лягут, а ты на плате узел завяжи. Сам узнаешь, что делать с ними, да попа сдуй — он знал, кого венчал и за что с худой девки деньги принял.

«Так и сошлось, братие: ночь накатила, залез Иван под кровать, а молодуха с миляпом на кровать, и завязал малоумной на плате узел первой... Слышит завозились на кровати, баба ругается, гонит миляпа от себя, а ему от ее оторваться не можно.. Утро пришло, а бабин миляш, как был, чего людям казать нельзя, с бабой почью, так и остался... Баба воет — и туда и сюда повернется, а мужик к ей как прирос... Надо уж скот назрить — поить, доить коров, лошади ржут, стан ломают, а баба с мужиком мается, хоть на деревню в эком виде катись, аль к воде. Пришел старик отец, мать старуха, крестятся, плюются — глядят: сноха приросла к чужому мужику Старуха их ухватом — не помогат!

«Послали за попом: «Пущай и крест несет — неладное в дому!»

«Суседи попа привели.

«Поп молитву чел — не помогат, дьякон кадил — не помогат, все пели молитвы, а дьячок подпевал, нет, все ничто! Иван под кроватью ну узлы на плате вязать. Завязал узел, попа кинуло на мужика и бабу, даже крест уронил, и прилип поп. От иного узла на плате — дьякон прилип, и дьячок прилип. Тогда малоумной из-под кровати вылез, дубину сыскал:

«Ра-а-аз дьячка! Развязал узел — отпустил. Ра-а-аз, два, дья-

кона узел развязал, спустил. Попу дубин десять дал, спустил. А миленка на бабе уби-и...»

В избу вбежали две девушки:

— Настаха! сколь ищем, воеводча велит к ей итти...

— Вот наше житье — сказал кто-то, — уж ежели воеводча девок послала за какой, да иных звать велит, то быть девке стеганой!

— Помни, Настя! Я тебя от боя воеводчина выручу, — крикнул ярыга.

Девка вздрогнула, коротко вскинула глаза на сказочника и, потупясь, пошла в горницу воеводы.

11

— А ну, снимай сарафан! — Воеводша подошла к Насте, сорвала с ее волос повязку, кинула на пол. — Будешь помнить, как ладом боярину пуговицы пришивать...

Девица, раздеваясь, начала плакать.

— Плачь не плачь, псина, а задом кверху ляжь!

Настя разделась до рубахи, села.

— Не чинись, стерва, ляжь! — приказал воевода.

Девка легла животом на скамью, подсунула голые руки к лицу, вытянулась.

— Что спать улеглась!

Воевода велел заворотить девке рубаху. Воеводша отстегнула шелковые нарукавники, в жирные руки забрала крепко пук розог.

— Стой ужо, боярыня, зажгу свет!

Воевода высек огня на трут, раздул тонкую лучинку, зажег одну свечу, другую, третью

— Буде, хозяин! Не трать свет.

— Свет земской: мало свечей, старосту по дороже — соберет...

Грузная воеводша, сжимая розги, ожила, шагнула, расставив ноги, уперлась и ударила: раз!

— Чтите бои, девки!

— Чтем, боярыня.

— Вот тебе, стерво! вот! Сколько боев, хозяин?

— Двадцать за мой срам не много.

Воевода продолжал зажигать свечи.

— Сколько?
— Девки-и!..
— Чтем мы: тринадцать, четырнадцать...
— Мало ерепенится... Должно, не садко у тя идет, Дарья?
— Уж куды садче — глянь коли.
— Дай, сам я — знакомо дело!
Воевода взял у девки новый пук розог, мотнул в руке, крякнул и, ударив, дернул на себя.
— А-ай! о-о-о! — завыла битая.
— Ну, Петрович, ты садче бьешь!
— Нет еще не... вот! а вот!
Воевода хлестал и дергал при каждом ударе.
— Идет садко, зад у стервы тугой.
К двадцати ударам девка не кричала. Воевода приказал вынести ее на двор, полить водой. Он поправил сдвинутые рукава кафтана, задул свечи и, подойдя, крепко за жирную талию обнял воеводшу.
— Да што ты, хозяин, щипешься?
— Дородна ты!.. Щупом чую, как из тебя сок идет.
— Какую бог дал.
— Дать-то он дал, а покормиться не лишне, проголодался я, — собери-ка вели ужинать.
— Ой, и то! Я тоже покушаю.
— Дела в приказной к полуночи кончу без палача с дьяками...
Из холопьей избы в окна и прикрытую из сеней дверь глядели холопи: девки на дворе отливали битую. Ярыга сказал:
— Вот, братне! Досель думал, а нынче решил — сбегу в казаки.
— Тебя так не парили и то побежишь, а нас парят по три и боле раз на дню.
— Да это што вицой... нас батогами!
— Зимой на морозе битая спина что овчина мохната деется.
— Много вы терпите!
— Поры ждем — придет пора.
— Я удумал, нынче же в казаки... Только, робята, чур, не итти на меня с изветом к воеводе... Атаман дал еще листы, в городу да мужикам раздать... Дам и — в ход...
— А что сказывает народу атаман?
— Много вам сказал, что листы честь буду, только угол ба где?

— Вон за печью.

Устроились в углу. Выдули огня, один светил лучиной, ему кричали:

— Ладом свети, светилка, береги затылка!

Тонявый, черноволосый ярыга встал на одно колено, вытащил желтый лист из-за пазухи кафтана, пригнув близко остроносую голову с короткими усами, тоныря румяные губы, читал тихо и почти по складам:

— «Все хрестьяне и горожане самарьские, ждите меня, Степана Тимофеевича. Жив буду, то сниму с вас воеводскую, боярскую неволю... Горожанам, посацким людям я торг и рукодель беспошлинно, хрестьянам землю собинную дам, а кто чем владает — владай. Подьячих же я судей, бояр и воевод пожгу, побью без кончания. Атаман Разин Степан».

— Да, вишь, парень, ладно, только о холопях, о нас и слова нету?

— Ой, головы! побьет бояр — кто нами навалится владать?

— Оно так, а надо бы в листе...

— Берегись, Хфедор, стрельцов.

— Тут один тасканой кафтан лазал к воеводе и ныне все доглядывает...

— Знаю, кого берегчись! Вот листы верным людям суну и сей вечер утеку...

— На торгу кинь, иные, небойсь, подберут!

— Вы, парни, тоже, невмоготу кому — бежите к Разину.

— Поглядим...

— Меня одно держит. Настю ба глянуть, полслова сказать...

— Того бойся — ай не ведаешь? Покеда не стапет к службе, в клеть запрут и стеречи кого приставит. Уловят с листами — целу не быть!

— Вернешь уже козаком — выручишь!

12

В приказной избе, с лучиной, воткнутой на шестке печи в светец, и при свече на столе, воевода сидел на своем месте на тюфяках в малиновом бархатном опашне в накидку поверх голубой рубахи. В конце стола прикорнул дьяк, склонив длинно-

волосую голову, повязанную по лбу узким ремнем. Дьяк, светя в бумагу зажженной лучиной, читал.

— Дьяк, кого сыскали мы?

— Жонку, воевода боярин, Дуньку Михайлову.

— Эй, ярыги, поставить ко мне посадскую жонку Дуньку.

В задней избе в перерубе заскрипело дерево. Ярыга приказной избы впихнул к воеводе растрепанную миловидную женщину лет тридцати. Кумачевый плат висел у женщины на плечах, миткалевая, горошком, светлая рубаха топырилась на груди и вздрагивала. Женщина сдержанно всхлипывала.

— Пошто хнычешь?

— Да как же, отец боярин...

— ... и воевода — величай, блудня!

— ... боярин и воевода, безвинно взяли с дому... Кум у меня сидел, в гости заехал...

— Сидел и лежал. А заехал он не теми воротами, что люди — вшиь, не во двор, под сарафан заехал...

— И ничевошеньки такого не было! Все сыщики твои налгали...

— Сыскные — государевы исцы!

— Сыскные... воевода-боярин! Пошто нынь меня тыранят безвинную, лают похабно и лик не дают сполоснуть?.. Напитца водушки нет... Клопов — необоримая сила, ни спать ни голову склонить.

— Дьяк, поди с ярыгой в сени — надобе жонку поучить жить праведно...

Дьяк и ярыжка ушли.

— Ты вот что, Евдокея! Нынче я тебе худа не причиню, а ежели в моем послушании жить будешь, то и богата станешь. Поди и живи блудно, не бойся: я, воевода — хозяин, тебя на то спущаю. Только вот: кои люди денежные по торговым ли каким делам в город заедут, тех завлекай, медами их хмельными пои, не сумнись — я тебе заступа! Ты прознавай, у кого сколь денег? Можешь схитить деньги — схить! Не можешь — сказывай мне, какой тот человек по обличью и платью. А схитишь, не тай от меня, заходи ко мне сюда в приказную и деньги дай, а я тебе на сарафан, рубаху их тех денег отпущу. Что немотствуешь? Гортань ссохлась?

— Боярин-отец!..

— ...и воевода...

— Боярин-воевода, я тое делы делать зачну, да чтоб сыщики меня не волокли на расправу, срамно мне, я вдова честная была...

— Кто обидит, доведи мне на того, да не посмеют! Я сам иной раз к тебе ночью заеду попировать, а?

— Заезжай, отец-боярин! заезжай, приму...

— И все, чего хочу, будет? Эй, дьяк! Сядь на место. Ярыга, проводи жонку до дому ее...

Женщина поклонилась, ушла.

Вошел дьяк, зажег лучину от воеводской свечи и снова уткнулся в бумагу.

— Дьяк, кто там еще?

— Еплаха Силантьева, воевода-боярин.

— Эй, ярыга, спусти из клети колодницу Силантьеву, путы сними, веди.

На голос воеводы затрещало дерево дверей, второй служка приказной ввел к воеводе пожилую женщину: черноволосую с густой проседью, одетую в зеленый гарусный шугай. Женщина глядела злобно; как только подпустили ее к столу, визгливо закричала на воеводу:

— Ты, толстобрюхой, што этакое удумал? Да веки вечные я в застенках не бывала, николи меня клопам не кармливали беспритчинно и родню мою на правеж не волочили!

— Чего ты, Силантиха, напыжилась, как жаба? Должно родня твоя праведных воевод не знавала! У меня кто в тюрьме не бывал, тот под моим воеводством не сижпвал.

— Штоб те лопнуть с твоим судом праведным!

— Сказываешь, беспритчинно? А ты, жонка Силантьева, притчинна в скаредных речах. На торгу тен речи говорила скаредные, грозилась на больших бояр и меня, воеводу, лаяла непристойно, пуще всего чинила угодное воровским козакам, что нынче под Самарой были... Ведомо тебе от кого — того не дознался — что не все воровские козаки погребут Волгой, что иные пойдут на конь берегом, так ты им взялась отвести место, где у Самары взять копей... А ты не притчинна, стерво?!

— Брюхан ты этакой! Крест-от на вороту есте у тя али закинут?! Путаешь, вяжешь меня со смертным делом!

— О крестах не с тобою судить, я не монах, по-церковному

ведаю мало... но ежели... Дьяк, иди с ярыгой в сени, учиню бабе допрос на глаз с одной.

Дьяк и ярыга вышли.

— Вот что, баба буявая, супористая, — воевода облокотился на стол, пригнулся: — ежели ты не скажешь, где у мужа складена казна, то скормлю я тебя в застенке клопам...

— Ой, греховодник, ой, брюхатой бес! Ой, помирать ведь будешь, а без креста весь, без совести малой... Ну, думай ты, скажу я тебе, где мужнины прибытки хоронятся, и ты их повладаешь, а вернется с торгов муж да убьет меня? Нет! уж лучше я до его приезду маяться буду... Помру — твой грех, мне же мужня гроза-докука худче твоей пытки.

— Дьяк, ярыга, — ко мне!

Из сеней вошли.

Дьяк сел к столу, ярыга встал к шестку печи. Воевода сказал дьяку:

— Поди к себе. Буде, потрудился, ненадобен нынче.

Дьяк, поклонясь, не надевая колпака, ушёл. Ярыга ждал, склонив голову.

— Забери, парень, бабу Силантиху. Спутай да толкни в поруб. Справишь с этой, пусти ко мне целовальника...

Баба ругалась, визжала, кусала ярыге руки, но крепкий служка уломал ее и уволок. Когда смолк визг и плач, затрещало дерево, раздались дряблые шаги.

Вошел целовальник. Отряхивая на ходу синий длиннополый кафтан, целовальник поклонился воеводе.

— Как опочив держал, Иван Петров сын?

— Ништо! Одно, боярин-воевода, клопов-таки тьмы тем...

— Садись, Иван Петров сын! Благо мы одного с тобой отчества, будем как братья судить, а брат брату худого не помыслит.

Целовальник сел на скамью.

— Надумал ли ай нет, чтоб нам, как братьям, иметь прибыток?

— Думал и недодумал я, Митрий Петрович!..

— ...и воевода.

— ... и воевода Митрий Петрович, боюсь, как я притропусь к ей, матушке? Ведь у меня волос дыбом и шапку вздымает... —

— Да ты, Иван Петров сын, ведаешь меня — воеводу?

— Ведаю, воевода-отец.

— Знаешь, что я все могу: и очернить белого и черного обелить? Вот, скажем, доведу, что твой ярыга Федько к воровским козакам сшел по твоему сговору.

— Крест, воевода, целовать буду, людей поставлю послухов, что на луду с государевой казной меня нагого на вервю за сшейшик воры приковали.

— Да ярыга сшел к козакам? И ты притчинен тому!

— Крест буду целовать — не притчинен!

— Хошь пса в хвост целуй, а где послухи, что меж тобой и ярыгой сговору не было? Я, воевода, указую и свидетельствую на тебя — притчинен в подговоре!

— Боярин-отец, да пошто так?

— А вот пошто: понять ты не хошь, Иван Петров сын, что ни государь ни бояре не потянут тебя, ежли мы собча с тобой тайно — вчуйся в мои слова — ту государеву казну пропойную меж себя разрубим... Или думаешь, что царь почнет допрашивать вора: «Сколь денег ты у кабатчика на Самаре во 174 году вынул?» Послушай меня, Иван Петров сын! Будут дела поважнее кабацких денег — деньги твои лишь нам надобны на то, чтобы от Волги подале быть, а быть ближе к Москве...

— Боярин, крест царю целовал, душу замараю?.. Сколь молил я, и Разин меня приковал, а казны не тронул.

Боярин неуклюже вылез из-за стола, цеплялись животом, сказал вошедшему ярыжке.

— За колодниками стрельцы в дозоре — ты же запри избу, иди! Пойдем, Иван Петров.

В сенях целовальник зашептал:

— Боярин, ярыга на меня ворам указал, что тебя упредить ладил...

— Ярыга твой углезнул — взять не с кого, и вот, Иван Петров, с тебя сыщем, допросим, пошто ярыга в козаки утек?..

— Крест буду целовать! послухов ставлю...

— Я так, без креста, рубаху сымаю и — ежели крест золотой — сниму и его! Ты в кабаке сидишь, а за все ко кресту лезешь — вечне такому целованию я знаю, Иван. У меня вот какое на уме, и то тебе поведаю...

— Слышу, отец-воевода...

— Клопы, вишь, тоже к чему-либо зародились, а ежели зародились, то грех живую тварь голодом морить, и вот я думаю; взять тебя в сидельцы, платье сдеть да скрутить, и ты их недельку, две альбо месяц покормишь и грех тот покроешь!..

— Ой, што ты, отец-воевода-боярин! Пошто меня?

— Не сговорен.... Разрубим пропойную казну, тогда и сказ иной. Нынче иди и думай, да скоро! Не то за Федьку в ответ ко мне станешь.

Стрельцы зажгли фонари, посадили грузного боярина на коня, и часть караула с огнем пошла провожать его.

13

В воскресенье, после обедни, на лошадях и в колымагах ехали бояре с женами на именины воеводской дочери. Боярская челядь теснилась во дворе воеводы. От пения псалмов дрожал воеводский дом. В раскрытые окна через тын глядела толпа горожан, посадских и пахотных людей.

Все видели люди, как дородная воеводша, разодетая в шелк и золото с жемчугом, вышла к гостям, прошла в большой угол, заслонив иконостас, встала.

За тыном говорили:

— Сошла челом ударить!

— Эх, и грузна же!

— Боярыня кланяется пояспо!

— Да кабы низко, то у воеводчи брюхо лопнуло.

— Стрельцы-ы!

— Пошли! Чего на тын лезете?!

— Во... бояра-т в землю воеводчи!

— Наш-от, пузатой, лиса-борода гостям в землю поклон.

— С полу его дворецкой подмогает...

Видно было, как воевода подошел к жене, поцеловал ее, прося гостей делать то же.

— Фу ты! Што те богородицу!

— Не богохули — баба!

— Всяк гость целует и в землю кланяется.

— Глянь! староста-т, козья борода.

— Как его припустили?

— Земскому не целовать воеводчи!

— Хошь бы и староста, да чорной, как и мы...
— Воевода просит гостей у жены вино пить.
— Перво, вишь, сама пригубит.
— У, глупой! По обычею — перво хозяйка, а там от ее пьют и земно поклон ей...
— Пошла к бояронам! В свой терем — к бояронам.
— Запалить ба их, робята?
— Тише: стрельцы!..
— Ужо припрем цветные кафтаны!
— Читали, что атаман-от Разин?
— Я на торгу.. ярыга дал...
— «Ужо-де приду»!
— Заприте гортань — стрельцы!
— Тише... берегись ушей...
— В приказной клопам скормят!
— Ярыга-т Федько сбег к Разину.
— Во, опять псалмы запели с попами.
— Голоса-т бражные!
— Ништо им! Холопи на руках в домы утащат...
— Тише, стрельцы!
— Эй, народ! воевода приказал гнать от тына.
— Не бей! Без плети уйдем.

14

Ночью при лучине, ковыряя ногтем в русой бороденке, земский староста неуклюже писал блеклым чернилом на клочке бумаги:

«Июлия... ден ангел дочери воеводиной Олены Митревны, воеводи и боярину несен колач столовой, пек Митька Цагин... Ему же уток покуплено на два алтына четыре денги. Рыбы свежие... палимов и харюзов на пят алтын... В тойже ден звал воевода хлеба есть — несено ему в бумашке шестнадцать алтын четыре денги. — Григорею его позовново пять денег...»

— Э, годи мало, Ермил Фаденч! Бояроню-то, воеводчу его, куда? После Григорея! Штоб те лопнуть кособрюхому! До солнышка пиши — не спишешь, чего несено ему в треклятые имянины... Ище в книгу списать, да письмо ему особо. «Ты-де не лишку ли исписал?» — Лишку тебе, жручий чорт! «Как кре-

стьяния?» Так вот я те и выложу — как. «А не видал ли, кто листы чтет воровские да кому честь их дает?» Видал и слыхал — и не доведу тебе! И когда этта мы от тебя стряхнемся?

Староста положил записку на стол, разгладил ладонью:

— Уй, в черевах колет — до того трудился письмом!

По столовой доске брел таракан с бочкой; почуяв палец старосты, ползущий за ним, таракан потерял бочку, освободясь от тяжести, бежал к столешнику:

— Был черевист, как воевода, а нынче налегке потек? Эх, кабы воеводу так давнуть, как тебя, гнусь!

Староста еще поскоблил в бороде, зевнул, зажег новую лучину, встал в угол на колени, склонив голову к правому плечу, поглядел на черную икону. Крестился, кланялся в землю. У него на поясе, белея, болтался деревянный гребень. Постная фигура, тонкая, с козьей бородкой, чернела на желтой стене. Из узких окон, вдвинутых внутрь бревна в сторону, смутно дышало безветренным холодком.

ЦАРСКАЯ МОСКВА

1

От жары дневной решетчатые окна теремной палаты в сизом тумане. Справа белые кокошники, с овальными кровлями, с узкими окошками вверху, собора Успенского — жгучие блики на золоте глав вековечной постройки итальянца Фиоравенти. Слева Архангельский собор — создание миланского архитектора, а меж соборами выдвинулась с шестью окнами Грановитая палата с красным крыльцом. По крыльцу ходят иногда бородатые спесивцы — люди в бархате, держа в руках, украшенных перстнями, высокие шапки. Жар долит бояр, иначе они не сняли бы свои шапки.

От куполов и раковин в золоченых кокошниках Архангельского собора светлое сияние. С колоколен гул, звонкое чаканье галок, временами беспокойной, рассыпчатой стаей заслоняющих блеск куполов. Вот смолк, оборвался гул колоколов, властно несется снизу нестройный, разноголосый крик и говор человеческих голосов — Ивановская площадь ревет, совершая суд над преступниками, созванными в Москву «со всей Русии в угоду

великому государю». Оттого царь так терпелив к человеческим крикам и милостив к палачам, бьющим у приказов и даже на одиноком козле, под окнами Грановитой палаты, людей «розно: кого нещадно, кого четно».

Рундуки [1] от собора к собору и к теремам положены навсегда, и мостятся вновь, когда обветшают, чтоб царь, идя, не замарал о навоз и пыль сафьянные сапоги. Вверху меж причудливых, узорчатых башенок-куполов воздушные гулы и клекот птичий; внизу же взвизги, мольбы и стоны да ядреная матерщина досужих холопей, с которыми сам царь не в силах сладить.

Холопи слоняются в Кремле с раннего утра до позднего вечера: то дворня больших бояр ездит на украшенных серебром, жемчугами и золоченой медью лошадях — ей пастрого приказано «ждать, пока вверху у государя боярин!» Бояре ушли к царю на поклон. Холопи голодны, а уйти не можно, от безделья и скуки придираются к прохожим и меж себя бьются на кулаки.

Дальше к Спасским воротам каменные со многими ступенями выпятились на площадь высокие лестницы приказов, начиная с Поместного и Разбойного. Перед лестницами козла, отполированные животами преступников, перепачканные кровью и человеческим навозом. Между лестницами у стен приказов виселицы с помостами. На козлах что ни час меняются истерзанные кнутом люди, замаранные до глаз собственной кровью. Часто меняются перед козлами дьяки и палачи.

Все так привыкли в царской Москве к нещадному бою, что говорят: «Москва слезам не верит!», и мало кто глядит на палачей, а дьяков, читающих приговоры, никто не слушает.

У лестниц Судного приказа ежедневно, кроме праздников, густая толпа бородатых истцов-тяжебщиков в кафтанах, сукманах и казакинах со сборками — все ждут дьяков и самого судью, а судья и дьяки медлят, хотя судебным от царя повелено:

— «Чтоб судьи и дьяки приходили в приказы поранее и уходили из приказов попозже».

Повелено также боярским холопям: «с копьми стоять за Ивановской колокольней». Но озорной народ разъезжает по всей

---

[1] Деревянные панели; ими были мощены многие улицы.

площади, а драки меж себя чинит даже на папертях соборов, в ограде и на рундуках, где проходить царю.

Кто любопытный, тот, прислушавшись к крику дворни, узнает:

«Что князья Трубецкие изменники — Польше продались, латышской замест креста крыжь целовали; что Голицын князь в местничестве упрям и зато с государевой свадьбы прямо посылан на Бело-Озеро».

— Я вот на тя доведу князю-у!

— А я? Отпал язык, что ли? Тож доведу!

— Стрельцы!

— Дворня! Езжай за Ивановску — там стоять указано.

— Сами там стойте, бабы!

— Брюхатые черти!

— Шкуры песьи!

— Чого лаете? Караул кликнем!

— Кличьте, сволочь!

— Дай им, головотяп, кистеня!

— Нет сладу со псами, тьфу!

— Эй, люди-и! бирючи едут.

— Пущай едут, орут во всю Ивановску!

Из окон Разбойного приказа, распахнутых от жары, надрывный женский крик:

— Отцы родные! Пошто мне Никон? Не воровала я противу великого государя...

— А ну еще, заплечный, подтяни.

— О-о-й! ду-у-шу на покаяние...

Два бирюча в распахнутых рудожелтых кафтанах останавливают белых коней на площади против дьяческой палатки, где заключаются со всей Русии «крепостные акты». Палатка задом приткнута к колокольне Ивана Великого, полотняный верх ее в густой пыли. В палатке виднеются стол, скамьи, за столом подьячие, и дьяк за столом, стоя читающий закон.

У бирючей — в левой руке по длинному жезлу. Сверху жезла знамя из золотой парчи, у седла литавры. Остановив лошадь, один из них, старший, бородатый, бьет рукояткой плети в литавры, кричит:

— Народ московский! Ведомо тебе, что с год тому святейшие вселенские патриархи учинили суд над бывшим патриархом Ни-

коном... Самовольством он, не убоясь великого государя повеления, снял с себя в Успенском соборе сан светлый, надел мантию и клобук черница, сшел на Воскресенское подворье.

Другой бирюч бьет в литавры, продолжая речь первого.

— И ныне Никон тот не патриарх, да ведомо тебе будет, а чернец Ферапонтова монастыря, имя же ему Ани-и-ка!

Первый бирюч, чередуясь, кричит:

— Сей чернец Аника с толпой монахов, обольщенных его прежним саном, вошел в собор Успенский, пресек службу господню. За бесчинство, подобное тому, простых людей кнутом бьют, но, волею и кротостию великого государя самодержца всея Руси Алексея Михайловича, Аника был спущен в Воскресенский монастырь!

Второй бирюч сменяет первого:

— Чернец Аника, стяжавший многими злыми делы кару господа бога и великого государя, лаявший собор святейших патриархов жидовским, назвавший великих иереев бродягами и нищими, не мирится с долей черница-заточника — он утекает из своего заточения, соблазняет народ сказками о несменяемости сана патриарша и грозит, лжесловя судом божиим всуе...

Первый бирюч, поворачивая коня и заканчивая, прибавляет, потрясая жезлом:

— Народ московский! Не иди за бывшим патриархом Никоном, не верь кликушеству и пророчеству ложному тех, кто прельщен им! Отвращайся его, не поклоняйся дьявольской гордыне его и знай крепко, что на бывшем патриархе, а ныне черице Анике — проклятие отцов церкви, запрещение быть ему в сане иерейском и гнев на нем великого государя!

Бирючи уезжают, толпа ропщет:

— Сгонили бояра-т святейшего патриарха.

— То всем ведомо! Да, вишь, по народу сказки идут... дуют нам в уши лжу бирючи...

— Страшатся Никона!

— Никон патриярх таков есть, что уйдет из монастыря да за народ, противу обидчиков!

— Мотри, уши ходят!

— Стрельцы?

— Стрельцы ништо — сыщики!

— Эй, слушь-ка люди! — кричит один, потный, в распахну-

том кафтане, в бараньей шапке. — Почесть с год на Волге донские казаки шарпают.

— О-ой ли?

— Вот хрест! И атаман у них Стенька Разин...

— Вишь, како дело-о!

Потный человек, польщенный тем, что его многие слушают, надрываясь кричит:

— Сказывают... государев струг да патриарш другой потопили на Волге-т... да стрельцы сошли к...

— Стой ты, парень! не знаешь, где рот открыл?

— А чаво?

— Ту — чаво! дурак, под окнами Разбойного приказу — чаво!

— Ну, а я — правду? чул, вот хрест!

— Стрельцы! хватай вон того в зимней шапке, лжой народ прельщает.

Стрельцы ловят человека за распахнутые полы кафтана.

Тот, кто велел взять, запахивается плотно в длинополую сермягу, пряча вывернувшийся из рукава тулумбаз [1] и надвигая на глаза валяную шляпу.

— Сыщик?

— Кто еще? ен! Сказывал дураку.

Толпа, пыля песок, бежит прочь от взятого. Стрельцы кричат сыщику:

— Эй, государев истец! куды с ним?

— То заводчик! Тащи в Разбойной — я приду.

— Эко дело! Да не заводчик я, пустите Христа ради, государевы люди...

— Допытают, кто!

— Ну, парень, волоки ноги, недалеко в гости ехать.

— Ой, головушка! Чул и сбрехнул.

— О головушке споешь в Разбойном — чуешь, как баба поет?

— Да пустите, государевы люди!

— Не упирайся, чорт!

У соборов на рундуке спешилась толпа боярских холопов, бьются на кулачки, кричат, свистят пронзительно. Иные, сби-

---

[1] Тулумбаз — род бубна; деревянная вогнутая чашечка, обтянутая пузырем.

тые с деревянной панели, валятся в пыль, вскочив на ноги, хватают за гриву лошадей, за стремена и уезжают, а бой жарче, гуще толпа. Но разом и бой, и крик, и свист утихли: люди как не были тут. Из Архангельского собора по рундуку медленно идет седой боярин в голубой шелковой ферязи, расшитой жемчугом. Боярин без шапки, утирая лысую голову цветным тонким платком, говорит:

— Люди, шапки снять! Кто не снимет, бит кнутом будет здесь же на козле. Великий государь всея Русии со святейшим патриархом идут из собора...

Кто близ рундука, все обнажают головы. Идут попы с крестами, бояре в шелковых и бархатных ферязях, в кафтанах из зарбафа [1]. В пестрой, блещущей жемчугом и дорогими каменьями толпе спяст шапка Мономаха, мотается крест на рукоятке посоха. Близ самого рундука, где проходит царь, толпа валится для поклона в землю, но площадь Ивановская в ширине своей ревет и гудит, не замечая ни царя ни патриарха. Кого и за что бьют на площади — не разберешь. Голоса дьяков выкрикивают о наказании исправно и точно, но приговоры тонут в ссоре, высвистах конных холопов, в команде стрелецких дозоров, в жужжании голосов Ивановской палатки, в плаксивых жалобах и просьбах у Судного приказа, в ругани приставов и площадных подьячих, не дающих кричать «матерне» и бессильных остановить тысячи глоток. Гам человеческий сливается с гамом галок и воронья, кочующего на соборах и башнях, обитых по черепице зеленой глазурью, и на рыжей стене Кремля с белой опояской, с пестрыми осыпями кирпича — зубцов и бойниц.

2

Узорчатое окно распахнуто — царь стоит у окна. Голоса с площади долетают четко. Царь в атласном голубом турецком кафтане, пуговицы с левого боку алмазные, короткие рукава кафтана пестрят каменьем и жемчужными узорами. Шапка Мономаха блестит рядом на круглом низком столе. Тут же приставлен посох с золотым крестом сверху рукоятки. Иногда проходит палатой, каждый раз почтительно сгибая шею, стольник боя-

[1] Парчевая ткань.

рии, бородатый, в дорогом становом кафтане.[1] В следующей, меньшей палате царь приказал собрать столы для пира и бесед с боярами, дел накопилось столько, что царь позволил большим и ближним боярам вершить иные дела, не сносясь с ним. Рядом с царем высокое кресло с плоской спинкой, расписное в золоте и красках, с подножной скамейкой, обитой голубым бархатом.

Видит в окно царь, как из приказа вывели волосатого дьяка, повели через рундук к одинокому козлу. К козлу у Грановитой палаты водили тех, кто словом или делом обидел царское имя.

Палач встал у козла и расправляет кнут. Рукава красной рубахи засучены, ворот расстегнут.

Помощник палача, не имея времени расстегнуть, срывает с дьяка длиннополый кафтан. Дьяк уронил в песок синий шелковый колпак, топчет его, не замечая, и сам топчется на месте. Руки дьяка трясутся, он дрожит, и хотя в воздухе жарко, но дьяку холодно, лицо посинело. В конце длинного козла стоит дьяк с листом приговора. Осужденный подымает голову на окно царской палаты, раскинув руки, валится в землю, закричав:

— Великий государь, смилуйся-а, прости!..

— Его поруха как? — спрашивает царь.

Дьяк с листом деловит, но, слыша царский голос, поясно кланяется, не подымая головы, и во всю силу глотки, чтоб покрыть многие звуки, отвечает:

— Великий государь, дьяк Лазарко во пьянстве ли, так ли, неведомо, сделал описку в грамоте противу царского имени, своровал в отчестве твоем...

— Сколь бить указано?

— В листе, великий государь, указано бить вора Лазарку кнутом нещадно.

— Бить его четно — в тридцать боев! Нещадно отставить и не смещать — пусть пишет, да помнит, что пишет!

Свернув приговор, дьяк с листом поклонился царю поясно. Осужденный встал с земли. Царь отошел от окна, сел на свое кресло, сказал:

— Суд бо божий есть и честь царева суд любит!

Палатой снова проходил стольник, царь приказал ему:

---

[1] Становой кафтан — с перехватом и воротником; турецкий — без перехвата и без воротника.

— Боярин Никита, не вели нынче рындам приходить.

— То укажу им, великий государь!

Стольник прошел, царь хотел закрыть глаза, но по палате спешно и, видимо, робко, колыхая тучными боками, шла родовитая Голицына, мамка царских детей.

— Мама! Не можно нти палатой, тут бояре ходят для ради больших дел.

Боярыня почтительно остановилась, повернувшись лицом к царю, и низко, но не так, чтоб сдвинуть на голове тяжелую кику с золотым челом и каменьем, поклонилась:

— Холопку твою прости, великий государь, царевич, вишь, сбег в ту палату, и я за ним, да дойти не могу — прыткой, дай ему бог веку...

— Поспешай... пока ништо! А царевича не пущай бегать: иные лестницы есть дорогами крыты, под дорогой гвоздь или иное — береги мальца.

— Ужи то берегу, великий государь!

Боярыня прошла было, царь окликнул:

— Не вели, мама, у царевен в терему окошки распахнуть, чтоб девки с площади не слышали похабных слов.

— То я ведаю, великий государь!

Боярыня ушла, царь снова хотел зажмурить глаза, подумал: «Нет те покою, царь!»

Очередной караульный боярин вошел в палату, отдал царю земной поклон, встал у двери.

— С чем пришел, боярин?

— Боярин Пушкин Разбойного приказу, великий государь, с дьяком своя, — приказать ай отставить?

— Боярину прикажи, дьяку у меня нынче невместно.

Вошел коренастый чернобородый боярин, у двери упал ниц, встал и, подойдя, снова земно поклонился.

— Пошто не один, боярин?

— Великий государь, с Волги вести, как и ране того были, о воровстве Стеньки Разина с товарыщи... Я же чту грамоты тупо, то дьяк, того для, волокется мною с письмом...

— Для ради важных дел кличь дьяка... Эй, приказать дьяка!

Русобородый, русоволосый дьяк, войдя, без шапки, степенно, поясно поклонился царю, встал неслышно за боярином, развер-

нув лист, осторожно кашлянул в руку. Царь поднял на дьяка глаза:

— Чти, дьяче!

— «Из Синбирска во 175 году Июля в 29 день писал к царю великому князю Алексею всея Русии самодержцу...»

Царь пнул из-под ног низкую скамейку, вскочил с кресла и затопал ногами:

— Что ты чтешь, сукин сын?! Куда ты дел отчество и слово — «великому государю»?

Дьяк побледнел, слегка пятясь, поклонился, лист задрожал в его руке, но он, твердо глядя в глаза царю, сказал:

— Великий государь, прибавить, убавить слово — не моя власть: чту то, что написано...

— Дай грамоту, пес!

Дьяк с поклоном передал боярину лист, боярин, еще ниже кланяясь, передал лист царю. Царь развернул грамоту во всю длину, оглядел строки и склейки листов внимательно. На его дебелом лице с окладистой бородой ярче заиграл злой румянец. Царь передал грамоту, минуя боярина, в руки дьяку, велел читать; переждав, сказал боярину:

— Кончим с грамотой, боярин Иван Петрович, а ты помету сделай — незамедлительно напиши воеводе, чтоб сыскал дьяка, кто грамоту писал, и с земским прислал того вора на Москву, а мы его здесь под окпами на козле почествуем батогами... Чти, дьяче!

— «...стольник князь Дашков и прислал расспросные речи о воровских козаках: сказывал-де синбирского насаду работник Федька Шелепок: донские-де козаки — атаман Стенька Разин, да есаул Ивашко Черноярец, а с ними с тысячу человек, да к ним же пристают по их подговору вольские ярыжки. Караван Астраханской остановили выше Царицына на устье Волги и Иловли реки. А как они, воры, мимо Царицына Волгою шли и с Царицына-де стреляли по них из пушек и пушка-де ни одна не выстрелила, запалом весь порох выходил...»

Царь снова соскочил со своего тронного места, затопал ногами:

— Пушкари воруют! Таём (тайпа)от голов и полковников, да воевода дурак! Чти, дьяк, впредь.

— «...А стояли воры от города в четырех верстах на Царицын

прислали они ясаула, чтоб им дать Льва Плещеева да купчину кизылбашского»...

— Пошто не просили дать им самого воеводу? Вот два родовитых покойника — Борис Иванович да Квашнин боярин — какое наследье нам оставили? А я еще тогда по младости пожаловал Квашнина Разрядным приказом, Юрья же князя понизил в угоду Морозову... И ныне вижу их боярское самовольство — в тай того Разина спустили из Москвы, взяв у боярина Киврина. А как старик пекся и докучал — не спущать и на том государском деле голову положил. — Царь перекрестился.

— Учинено было, великий государь, не ладно большими боярами, да поперечить Морозову никто не смел.

— Так всегда бывает, когда многую волю боярам дашь. Чти, дьяк!

Дьяк, повернувшись к образам, крестился.

— Не во-время трудишься, дьяк!

— Великий государь! Пафнутий Васильевич — учитель мой и благодетель, а когда имя его поминают, всегда молюсь.

— То похвально! Чти далее.

— «...И взяли у воеводы наковальню да кузнечную снасть да мехи, а дал он им, убоясь тех воров — что того атамана и ясаула пищаль, ни сабля, ни што не возьмет и все-де войско они берегут.. А грабили-де кораван и Васильеву ладью Шорина не одну посекли и затопили в воду ниже реки Камышенки, и насады, и всякие суды торговых людей пограбили, а иных-де до смерти побили, а колодников, что шли в Астрахань, расковали, спустили; да они худче самих козаков побивали на судах служилых людей... Синбиренина Степана Федосьева изрубили и в воду бросили да двух человек целовальников синбирских, которые с недовозным государевым саратовским хлебом посланы, били и мучили, и знамя патриарша струга взял Стенька Разин, и старца патриарша насадного промыслу бил, руку ему срубил и потопили... да трех человек патриарших повесили, да приказчиков Василия Шорина повесили же, и знамена и барабаны поймали. Пристали к нему, Стеньке, ярыжных с насадов Шорина шестьдесят человек, с патриарша струга — сто человек, да с государева царева струга стрельцы и колодники, да патриарши сыи боярской Лазунко Жидовин. Кои воры погребли Волгой,

а иные, взяв лошадей, берегом погнали в Яицкий городок за помогой»...

— Ныне же будем судить за трапезой. Думаю я, боярин, Хилкова князя сместить, худой воевода.

— Ведомо великому государю, что послан туда Иван Прозоровский князь с братом.

— То я знаю.

— А еще Унковского Андрея, великий государь, по указу твоему перемещаем.

— Тургенев сядет, да лучше ли? Все дела, боярин Иван Петрович, о воровских казаках направлять в Казань к боярину князю Юрью Долгорукову.

— Так делаем мы уже давно, великий государь!

Царь косо улыбнулся, в глазах засветилась насмешка:

— Пишет Унковский с Царицына, да пишет тайно, а чего тут таить? «Для промыслу над воровскими казаками послать он, Андрей, не смеет за малолюдством, а из Астрахани-де и с Черного Яру для поиску тех казаков ратные люди на Царицын и по Мая 17 число не присланы». Все они, воеводы, друг другу помешку чинят, да котораются [1] а с нуждой государевой не справляются. Пожог грабежной ширится, и ужо, когда тушить его придет, когда им каждому в своем углу жарко зачнет быть, почнут кричать: «великий государь, пожалуй — пошли людей да денег, да коней!» Приказать им, боярин, чтоб они хоть жили с великим бережением и на Черном Яру и по учугам [2], да про воровских казаков проведывали бы ладом и всякими мерами промышляли через сыщиков и лазутчиков, сыскных людей, боярин, шире пусти! Из приказа Большого двора возьми на то денег...

— Воля нам дана от тебя, великий государь, а мы для того дела прибираем давно уж бойких людей... да заводчиков всяких ловим, чтоб слухов и кликушества вредного не было...

— Еще раз наказать накрепко! — царь взмахнул кулаком так, что светлые зайчики от рукава запрыгали по стенам. — Чтоб одиначно тем воровским казакам на Волге и иных заполных реках воровать не дать и на море их не пустить! Так и грамоту писать в Астрахань, а ныне, боярин, обсудим, что на Ивановской делается — перво... Вот еще, Иван Петрович, пиши не то лишь

[1] Склоку заводят, ссорятся.

[2] Рыбным промыслам.

в Астрахань — пошли в Казань к Долгорукову Юрью князю, да о ворах же пиши Григорью князь Куракину, и в Сибирск, и на Самару...

— В Самаре, великий государь, воевода Хабаров Дмитрий... И не далее как вчера доводит мне на него таём тамошний маэр Юган Буш: «Воевода-де людей всякого звания теснит гораздо и по застенкам держит и через незамужних жонок блудом промышляет». Уж видно таковы, государь, Хабаровы, и ежели твоя светлая память упомнит четвертый год, как государил ты, тогда объявился некий опытовщик на даурских людей [1] — новую землю — Ермошка Хабаров, ходил воевать неясачных князьков.

— Мутна к тому память моя, но все же говори боярин.

— Да тут, государь, досказать мало: забрал тот Ермошка Хабаров аманатами [2] у тех князьков жонок да девок и всех перепортил, да тем и опытки свои порешил.

— Все они друг на друга изветы подают! Воевода тож таём доводит на Югана Буша, что он великий бражник, что-де мужиков в солдаты имает тех, кто боле семейной, указ же ему брать одиночек, «и одиночек-де не берет, заставляет тех мужиков, по вся дни, ходить к ружью, и от того пашня-де, земля скудеет»...

— Так повели, великий государь, чтоб я послал на Самару сыщиков и сыскал бы о маэре и воеводе за поруками местных людей: переев, купцов, целовальников добрых и черных людей всех.

— То велю тебе, боярин, а прежде всего пиши ко всем воеводам, и на Терки тож, чтобы жили, не которались, с великим бережением, да лазутчиков шли им, воеводам, в подмогу, а ежели где объявятся воровские казаки, то ходить бы на тех казаков, свестясь с нами.

— Все то будет так, государь!

— Иди, дьяк, боярин останется.

Дьяк поклонился царю, ушел. Царь проводил глазами дьяка, сказал:

— Толковый и чинной дьяк! Где взял такого?

— Наследье мне, великий государь, от боярина Киприна покойного... Дьяк много грамотен, не бражник и чист — посулов не имает.

---

[1] Опытовщик — открыватель, завоеватель; даурских — сибирских.

[2] Аманат — заложник.

— Добро! Ты иногда его и для моих тутошних дел давай.

Царь вспотел.

Боярин поклонился и, припав на колени, расстегнул царю пуговицы кафтана:

— Пошто, великий государь, плоть жарой томить?

Когда боярин встал на ноги, царь милостиво дал ему поцеловать руку.

— Вот еще молвлю об Ивановской перво: кто пустил конных бирючей? Пешний бирюч дешевле — погодно четыре рубли, конной много дороже — конь, литавры, жезл и одежда боярская...

— То, государь, у бирючей — свое, а жалованное тоже, четыре рубли и пять денег емлют...

— И еще, боярин! Никон ко мне завсегда тянется... не опасен нашему имени.

— Великий государь! Никон, после того как пил на светлую Пасху твое вино в честь твою да имал от тебя дары, возгордился, и в Ферапонтове игумен да монахи порешили воздавать ему патриарши почести. Он же, не спросясь никого, вернулся в Москву...

— Чаял меня видеть... не допустили?..

— Народ темен, государь! И по вся зол на больших бояр. Ведомо народу, что Никон, возведенный волею твоею из мужиков, знает, что народ за него, и Никон, где проходит, лает бояр, тем прельщает... Нашлись уже кликуши, стали кричать всякое непотребство, лжепророчествовать хулой на святую церковь... И мы, прости нас, великий государь, с князем Трубецким, чтоб не печалить тебя и сердце твое сохранить спокойным, черница Аннику свезли за караулом, но без колодок, в Ферапонтов и настрого указали игумну боле не пущать заточника, а лжепророков берем на пытку, и бирючей пустили кликать народу по един день на торгах и площадях.

— Не покривлю душой... жаль мне Никона, боярин! И не я возвел его — до меня он был приметен в переях, но вы с князь Никитой ведаете, что надо мне... и я молчу.

— Еще, великий государь, мыслим мы убрать холопей с Ивановой площади — чинят почесть что разбой среди дня...

— Того, боярин, не можно! Пуще всех меня они тамашат — дуют прямо в окошки похабщину. Убрать холопей, то родовитым боярам придется итти пеше, а родовитые коньми себя кра-

ят — ведь они потомки удельных князей! Можно ли родовитому пеше итти к государеву крыльцу?.. Нет, боярин!

— Твоя светлая воля, государь!

Стольник вошел в палату, торжественно и громко сказал:

— Великий государь! Святейший патриарх идет благословить трапезу.

Царь встал, сказал стольнику:

— Никита боярин, чтоб было за трапезой довольно вина!

Стольник низко поклонился.

К АСТРАХАНИ

1

На лесистом, среди Волги, острове Екатерининском Разин собрал круг.

В круг пришли старый казак Иван Серебряков, седой, усатый, с двумя своими есаулами, статный казак донской Мишка Волоцкий, да есаул Разина Иван Черноярец — светлорусый кудрявый, а за дьяка сел у камня матерого и плоского «с письмом» бородатый, весь в черных кольцах кудрей, боярский сын Лазунка.

В сумраке летнем за островом плескались струги и боевые челны со стрельцами да судовыми ярыжками в гребцах.

Круг ждал, когда заговорит атаман.

Разин сказал:

— Соколы! А не пришлось бы нам в обрат здыматься за стругами и хлебом, как шли к Самаре?

— Пошто, батько?

— Стругов мало — людей много.

— Лишних, батько, пустим берегом.

— Тогда не глядел я, хватит ли пищалей и пороху?.. Помнить не лишне: с топором кто — не воин.

Сказал Черноярец:

— О пищали не пекись, батько! Имал я у царицынского воеводы кузнечную снасть, то заедино приказал шарпать анбары с мушкетами и огнянные припасы.

— Добро! Теперь, атаманы-соколы, изведаны мы через лазутчиков, что пущен из Астрахани воевода Беклемишев на трех стругах со стрельцы: повелено им от Москвы на море нас не пущать. Яицкие до сих мест в подмогу нам и на наш зов не вы-

шли — хлеб надо взять из запасов воеводиных, на море в Яик продти. Так где будем имать воеводу?

— У острова Пирушки — подале мало что отсель!

Волоцкий, играя саблей, вынимая ее и вкидывая в ножны, тоже сказал:

— У Пирушек, батько, сокрушим воеводу!

Молчал старый Серебряков, подергивая белые усы, потом, качнув решительно головой, сказал веско:

— У Пирушек Волга чиста, тот остров не затула от огня воеводы!

— Эй, Иван, то не сказ.

— Думай ты, батько Степан! Я лишь одно знаю: Пирушки не гожи для бою...

— Соколы! У Пирушки берега для бокового бою неподручны: круты, обвалисты, думаю я, дадим бой подале Пирушек, в Митюшке. Большие струги станут у горла потока на Волге, в хвосте — один за одним, челны с боем боковым пустым в поток... Берега меж Митюшки и Волги поросли лесом, да челны переволокчи на Волгу не труд большой. Воевода к нашим стругам кинется, а от выхода потока в Волгу наши ему в тыл ударят из фальконетов и на взлет к бортам пойдут... Мы же будем бить воеводу в лоб — пушкари есть лихие; да и стрельцы воеводины шатки — то проведал я...

— Вот и дошел, так ладно, атаман, — ответил на слова Разина Серебряков.

Другие еще молчали.

На бледном небе вышел из-за меловой горы бледный месяц — от белого сияния все стало призрачным: люди в рыжих шапках, в мутномалиновых кафтанах, их лица, усы и сабли на боку рядом с плетью в мутных очертаниях. Лишь один в черном распахнутом кафтане, в рыжей запорожской шапке, в желтеющем как медь зипуне был явно отчетливый: не дожидаясь ответа круга, он широко шагнул к берегу, отводя еловые лапы с душистой хвоей, подбоченился, встал у крутого берега — белая, как меловая, тускло светясь на плесах, перед ним лежала река.

Разин слышал общий голос круга за спиной:

— Батько! Дадим бой в Митюшке.

— Говори, батько!

И слышали не только люди — сонный лес, далекие берега, струги и челны голос человека в черном кафтане:

— Без стука, огней и песни плыть Волгой!

Уключины, чтоб не скрипели, поливали водой, а по реке вслед длинному ряду стругов и челнов бежала глубокая серебряная полоса.

Встречные рыбаки, угребая к берегу, забросив лодки, ползли в кусты. В розовом от зари воздухе, колыхаясь, всхлипывали чайки, падали к воде, бороздя крыльями, и, поднявшись над стругами, вновь всхлипывали... Из встречных рыбаков лишь один столетний, серый, в сером челне тихонько шевелил веслом воду, таща бечеву с дорожкой. Старик курил, не выпуская изо рта свою самодельную большую трубку, лицо его было окутано облаком дыма...

2

Упрямый и грубый приятель князя-воеводы Борятинского, принявший на веру слова своего друга — «что солдата да стрельца боем по роже, по хребту пугать чем можно — то и лучше», — облеченный верхними воеводами властью от царя, Беклемишев шел навстречу вольному Дону не таясь. Его матерщина и гневные окрики команды будили сонные еще берега. С берегов из зарослей следили за ходом воеводиных стругов не мирные татаре — лазутчики. В кусту пошевелились две головы в островерхих шапках, взвизгнула тетива лука, и две стрелы сверкнули на Волгу.

— Царев шакал лает!

— Шайтан — урус яман (обманщик)!

По воде гулко неслись шлепанье весел и гул человеческого говора.

Приземистый, обросший бородой до самых глаз, в голубом — приказа лопухина — стрелецком кафтане, воевода стоял на носу струга, сам вглядываясь на поворотах в отмели и косы Волги.

— Эй, не посади струги на луду! — Пригнувшись, слышал, как дном корабля чертит по песку, кричал с матерщиной: — Сволочь! Воронью наеда ваши голо-о-вы!

В ответ ему за спиной бухнула пищаль, за ней другая. Пороховой дым пополз в бледном, душистом воздухе. Воевода по-

вернулся и покатился на коротких ногах по палубе. Его плеть без разбора хлестала встречных по головам и плечам.

— В селезенку вас, сволочь! С кем бой?

— По татарве бьем, что в берегу сидит!

— Стрелы тыкают!

— Стрелов, — што оводов!

— Я вам покажу!

Воевода вернулся на нос струга, а выстрели редкие бухали и дымили. Стуча тяжелыми сапогами, крепко подкованными, слегка хмельной, с цветным лоскутом начальника на шапке, к воеводе подошел стрелецкий сотник.

— Воевода-боярин! Чего делать? Стрельцы воруют — бьют из пищали по чапцам (чайкам).

Воевода имел строгий вид. Через плечо глянул на высокого человека: высокие ростом злили воеводу. Сотник не держал руки по бокам, а прятал за спиной и пригибался для слуху ниже.

— Бражник! А, в селезенку родню твою!

Воевода развернулся и хлестко тяпнул сотника в ухо.

— Не знаешь, хмельной пес, что так их надо? — и еще раз приложил плотно красный кулак к уху стрельца. В бой по уху воевода клал всю силу, но сотник не шатнулся, и, казалось, его большая башка на короткой прочной шее выдержит удар молота. Стрелецкий сотник нагнулся, поднял сбитую шапку, стряхнув о полу, надел и пошел прочь, но сказал внятно:

— Мотри, боярин! К бою рукой несвычен, да память иному дам.

— Петра, брякни его, чорта!

— Хто кричит? Сказывай, хто? Бунт зачинать! Не боюсь! Всех псьих детей перевешу вон на ту виселицу.

Воевода рукой с плетью показал на берег Волги, где на голой песчаной горе чернела высокая виселица.

— А чьими руками свеешь? — голос был одинокий, но на этот голос многие откликнулись смехом.

Воевода еще раз крикнул:

— Знайте-с! Всякого, хто беспричинно разрядит пищаль, за ноги на шоглу [1] струга!

---

[1] Шогла — рея.

Команда струга гребла и молчала. Воевода, стоя на носу струга, воззрясь на Волгу, сказал себе:

— Полаял Прозоровского Ваньку, он же на зло дал мне воров, а не стрельцов! Ништо-о — в бою остынут...

3

Там, где поток Митюшка воровато юлил, уползая в кусты и мелкий ельник, Разин поставил впереди атаманский струг с флагом печати войска Донского, сзади стали остальные. Раздалась команда:

— Челны в поток!

Челны убегали один за одним. Казаки легко, бесшумно работали веслами. Люди молчали. Много челнов скользнуло в поток с Волги, чтоб другим концом потока быть снова на Волге под носом у воеводы.

И все молчали долго. Только один раз отрывисто и громко раздалась команда Ивана Черноярца:

— Становь челны! Здынь фальконеты! Хватай мушкет — лазь на берег!

И еще:

— Переволакивай челны к Волге!

Шлепанье весел, ругань воеводы стали слышнее и слышнее.

Слышна и его команда:

— Пушкари, в селезенку вас! Готовь пушки, прочисть запал и не воруйте противу великого государя-а!

Таща челны, казаки слышали громовой голос Разина:

— Стрельцы воеводины! Волю вам дам... Пошто в неволе, пищете служить? Аль не прискучило быть век битыми? Пришла пора — мститесь над врагами, начальниками вашими-и!

Впихивая челны в Волгу, боковая засада казаков из потока зычно гряпула:

— Не-е-чай!

Отдельно, звонко, с гулом в берегах прозвенел голос есаула Черноярца:

— Сарынь на взлет!

— Кру-у-ши!

Бухнули выстрелы фальконетов, взмахнулись, сверкая на-

дающим серебром, весла, стукнули, вцепившись в борта стругов воеводиных, железные крючья и багры...

— Стрельцы! Воры-ы! Бойтесь бога и великого государя-а!.. — взвыл дрогнувший голос воеводы.

В ответ тому голосу из розовой массы кафтанов послышались насмешки:

— Забыл матерщину, сволочь?

— Нынь твоя плеть по тебе пойдет, брюхатой!

— Воры! М... в перекрест вашу-у!

— Цапайся — аль не скрутим!

— Эй, сотник! Спеленали-и, — подь, дай в зубы воеводе!

4

Выжидая ночи, струги Разина стоят на Волге, — три стрелецких воеводина струга в хвосте, на них ходят стрельцы и те, что в гребях были, разминают руки и плечи — обнимаются, борются. С головного воеводина струга на берег перекатили бочку водки — пять бочонков с фряжским вином перенесли на атаманский струг. На берегу костры: казаки и стрельцы варят еду. Под жгучим солнцем толпа цветиста: голубые кафтаны стрельцов Лопухина, розовые — приказа Семена Кузьмина—смешались. К ним примешаны синие куртки, зипуны и красные штаны казаков в запорожских выцветших из красного в рыжее шапках. Прикрученный к одинокому сухому дереву, торчащему из берегового откоса, согнулся в голубых портках шелковых без рубахи воевода Беклемишев — его ограбили, избили, но он спокойно глядит на веселую толпу изменивших ему стрельцов. Казаки кричат:

— А вот, стрельцы! Ужо наш батько выпьет да заправится, мы вашему грудастому брюхану-воеводе суд дадим.

— На огоньке припекем!

— Дернем вон на ту виселицу, куда воеводы нашего брата, казака вольного, дергают!

У воеводы мохнатые, полные, как у бабы, груди. Казаки и стрельцы трясут, проходя, за груди воеводу, шутят:

— Подоить разве брюхана?

— Чорт от него — не молоко!

— А неладно, что без атамана нельзя кончить!

— Мы б его, матершинника!

Воевода глядит смело: над ним взмахивают кулаки, сверкают сабли и бердыши, но лицо боярина неизменно. На голову выше самых высоких, подошел сотник в распахнутом розовом кафтане.

— Петруша Мокеев!

— Эй, сотник, брызни воеводу за то, что тебя бил!

— Не, робята! Ежели тяпну, как он меня, то суда ему не будет: копать придетца.

— Закопаем — раз плюнуть!

— Дай-кось, поговорю ему.

Сотник шагнул к воеводе, сказал:

— И дурак ты, воевода! Кабы не вдарил, умер бы на палубе струга — не сдался...

— Вор ты, Петруха, а не боярской сын!

— Пущай вор — дураками бит не буду!

— Подожди, будешь...

— Эх, а поди страшно помирать?

— Мне ништо не страшно — отыди, вор!

5

С атаманского струга над Волгой прозвенел голос есаула Чо-ноярца:

— Товарыщи-и! Атаман дает вам пить ту, воеводину, водку-у...

— Вот-то ладно-о! Спасибо-о!.. Вертай бочку! Сшибай дно, да не порушьте уторы! Чого еще — я плотник! Шукай чары, а то рубуши. [1] Рубушами с бересты — во!..

Стало садиться солнце, с песчаных долин к вечеру понесло к Волге теплым песком, с Волги отдавало прохладой и соленым. Песком засыпало тлеющие костры. Стрельцы и казаки обнявшись пошли по берегу, запели песни.

Высокий сотник крепко выпил. Стрельцы подступили к нему:

— Петра! Ты хорош — ты с нами.

— Куды еще без вас?

— Сотник, кажи силу!

— Нешто силен?

---

[1] Рубуши — свернутый из бересты или коры кулек.

— Беда сплен!

— Сила моя, робята, невелика, да на бочке нуще каждого высижу.

— Садись!

— Пошто сести даром? Вот сказ: ежели Яйк или Астрахань, на што пойдем, заберем, то с вас бочонок водки.

— Садись!

— Стой, с уговором — а ежели не высидишь?

— Сам вам два ставлю! Два бочонка... чусте?

— Садись, Мокеев, голова!

— Сюды ба Чикмаза с Астрахани, тож ядреп!

— Чикмаз — стрелец из палачей, башку сшибать мастер.

— Сила Чикмаза не велика есть.

— Садись, сотник! Яйк наш будет, высидишь — водка твоя...

В желтой от зари прохладе сотник скинул запылепный кафтан, содрал с широких плеч кумачевую рубаху, обпажилось бронзовое богатырское тело.

Сотник сел на торец бочки.

— Гляди, што бык! Бочка в землю пошла — чижел чорт!

— Эй, чур, давай того, кто хлестче бьет!

Длиннорукий, рослый стрелец скинул кафтан, засучил рукава синей рубахи, взял березовый отвалок в сажень.

— Бей коли!

Сотник надул брюхо, стрелец изо всей силы ударил его по брюху.

— Ай да боярской сын!

— Знать ел хлебушко, не один калачи.

После первого удара сотник сказал:

— Бей не ниже пупа, а то стану и самого тяпну!

Гулкий шлепок покатился эхом над водой.

— Дуй еще!

— Сколь бить, товарищи?

— Бей пять!

— Мало, ядреп — бей десять!

Сотник надулся и выдержал, сидя на бочке верхом, десять ударов. Одеваясь и слушая затихающие отзвуки ударов на воде, сказал:

— Проиграли водку!

— Проиграли — молодец Моисей!

— Атаман!..

На берег из челна сошли Разин с Черноярцем, стрельцы сняли шапки, казаки поклонились.

— Что за бой у вас?

— Сотник сел на бочку.

— Играли, батько.

— Проиграли — высидел бес.

Разин подошел, потрогал руки и грудь сотника, спросил:

— Много, поди, Петра, можешь вытянуть? Руки — железо.

— Да, вот, атаман, почитай что один, с малой помогой, с луды струг ворочал.

— Добро! А силу береги — такие нам гожи... Сила — это клад. Эй, стрельцы! Как будем судить вашего воеводу?

— Башку ему, что кочету, под крыло!

— И ножичком, эк, половчее...

Разин распахнул черный кафтан, упер руки в бока:

— Накладите поближе огню: рожу воеводину хорошо не вижу.

Ближний костер разрыли, разожгли, раздули десятками ртов.

— Гори!

Сизый дым пополз по подгорью.

От выпитого вина Разин был весел, но не пьян, из-под рыжей шапки поблескивали, когда двигался атаман, седеющие кудри.

— Вот-то растопим на огне воеводин жир! — раздувая огонь, взвизгнул веселый голос.

Разин обернулся на голос, нахмурился, спросил:

— Кто кричит у огня?

— А вот казак!

— Стань сюда!

Стройный чернявый казак в синей куртке, в запыленных сапогах, серых от песку, вырос перед атаманом.

— Развяжите воеводу!

Разин перевел суровые глаза на казака:

— Ты хошь, чтоб воеводу сжечь на огне?

— Хочу, атаман! Вишь, когда я в Самаре был, то тамошний такой же пузан воевода мою невесту ежедень сек...

— Этот воевода не самарской.

— Знаю, атаман! Да все ж воевода он...

— Ты, казак, тот, что в ярыгах на кабаке жил?

— Ей я, атаман-батько! И листы твои на торгу роздал и людей в казаки подговаривал...

Лицо атамана стало веселее.

— Добро! Дело хорошее худом не венчают, а невесту тебе все одно не взять, куда нам с бабами в походе? Но я тебе говорю: живь попаду в Самару, то и воеводу дойду и невесту твою тебе дам. А теперь слушай: ежели, как хочешь ты, мы из воеводы жир на огне спустим, то ему тут и конец! Я же хочу известить царя с боярами, что на море нас хошь не хошь — пустишь... теперь хочешь ли ты, Самаренин-казак, чтоб я тебя послал гонцом к воеводе астраханскому? Сказываю, будет с этим воеводой так, как хочешь ты! Не обессудь, ежели астраханский воевода тебя на пытку возьмет, а потом повесит на надолбе[1] у города.

Казак попятился и сбивчиво сказал:

— Атаман-батько, так-то мне не хотелось ба...

— Кого же послать гонцом? Стрельцов, взятых здесь, или казака в изветчики (вестники) наладить? Мне своих людей жаль! Молчишь? Иди прочь и не забегай лишним криком — берегись!

Казак быстро исчез.

— Гей, стрельцы Беклемишева, — что чинил над вами воевода?!

— Батько, воевода бил нас плетью по чем ни попади.

— Убил кого?

— Убить? Грех сказать, не убил, сек — то правда.

— Материл!

— Убивать воеводу не мыслю! По роже его вижу — смерти не боится, но вот когда его вдосталь нахлещут плетью по боярским бокам, то ему позор худче смерти, и впредь знать будет, как других сечь и терпеть легко ли тот бой! Стрельцы! Берите у казаков плети, бейте воеводу по чем любо — глаз не выбейте, живa оставьте и в кафтанишко ему, что худче, оденьте, да сухарей в дорогу суньте, чтоб не издох с голоду — пущай идет, доведет в Астрахани, как хорошо нас на море не пущать!

— Вот правда!

---

[1] Надолба — частокол.

— Батько! Так ладнее всего.
— Эй, плети, казаки, дай!
Разин с Черноярцем уплыли на струг.

6

На песке, мутножелтом при луне, черный, от пят до головы в крови, лежал воевода, скрипел зубами, но не стонал. По берегу так же бродили пьяные стрельцы с казаками в обнимку — никто больше не обращал внимания на воеводу — рядом с воеводой валялся худой стрелецкий кафтан. Воевода щупал поясницу, бормотал:

— Сатана! Тяпнул плетью, кажись, перешиб становой столб? Вор, а не сотник, боярской сын — чорт!

У самой Волги ногами к челну, рыжея шапкой, длинная, тонкая пошевелилась фигура казака. Воевода думал:

«Ужели убьют? Вишь, окаянный, ждет, когда уйдут все».

Над играющей месяцем, с гривками кружащих около камней, Волгой раздался знакомый казакам голос:

— Не-е-чай! Струги налажены, гей, в ход!

Люди, голубея, алея кафтанами, синея куртками, задвигали челны в Волгу. Берег затих, лишь попрежнему, рыжея шапкой, у челна лежал казак. Поднявшись на ноги, воевода пошатнулся, застонал, кое-как накинул на голые плечи кафтан, побрел, не оглядываясь, придерживая кафтан левой рукой, правой махая, чтоб легче идти. Почувствовал боярин страх смерти, избитые, в рубцах голые ноги задвигались сколь силы спешно, услыхал за собой шаги; не успел подумать, как правую руку его прожгло будто огнем — за воеводой стоял казак в синей куртке, в руке казака блестел чекан.[1]

— Сволочь! Молись, что атаман спустил, я б те передал поклон родне на тот свет.

Из руки воеводы лилась кровь, он, шатаясь, сказал:

— Вишь, казак — я нагой...

— Нагой, да живой — то дороже всего — пес!

Казак повернул к челну и исчез на Волге. На стругах гремело железо, подымали якоря.

---

[1] Чекан — молоток на длинной рукоятке, принадлежность военачальника и атамана.

Воевода сел на камень в густую тень, упавшую под гору полосой. От того ли, что боярин был унижен и избит до жгучей боли, что, привязанный к дереву, каялся про себя, дожидаясь смерти, и потому не ругался, стараясь не изменить лица, у дерева вспомнилось ему — как и где обижал он многих, а когда били его, то мелькнула мысль о какой-то иной, холопьей правде... И теперь, отпущенный казаками, воевода не злился, но больше и больше радовался жизни. Что рука его ноет, кровоточит, то и это выкуп за чудо — «жив он!»

— Едино лишь — в Астрахань снесут ли ноги? Кровь долит, мясо ноет все... не загноилось бы? Нет, вишь, сырой овчины, а ништо... жив — слава тебе, создателю!

Зубами и небитой рукой боярин оторвал кусок полы кафтана, засыпал рану песком, окрутил тряпкой. Все еще боясь за жизнь, оглянулся на Волгу. Струги ушли. В светлеющем от месяца воздухе где-то очень далеко звенели голоса, как будто певшие песню. На серебристой водной ширине, чернея, плыли двое убитых, дальше еще и еще...

Левой рукой боярин перекрестился:

— Чур! чур!

Он не любил покойников и утопленников. Отвернулся, глянул на гору:

— Туды итти!

И тогда увидал, что сидел в тени виселицы. Виселица на песчаном бугре голая, без веревок — веревки воровали татаре на кодолы[1] для лошадей. Вид виселицы напомнил воеводе о крестном целовании царю на верность, он подумал:

«Холопьей правды быть не должно! Мы, бояре, — холопи великого государя... Черный народ, закупной ли, тяглой, наш с животом — холоп!» — Пошарил рукой в кармане кафтана, ощупал жесткое, вспомнил, что в дорогу даны сухари, сунул сухарь в рот и не мог жевать: болела шея, мускулы челюстей. Выплюнул сухарь, медленно встал, укрепился на ногах, его шатало, подумал: «Ой, битой воевода! Тут не дальпо место была рыбацка хижа, ежели не зорила ее татарга? А ну, на счастье цел, так рыбак до города в челну упихает».

---

[1] Кодол — привязь, веревка.

ЯИК-ГОРОДОК

1

«От царя-государя и великого князя всея Русии Михаила Феодоровича на Яик-реку строителю купчине Михаилу Гурьеву и работным людям всем.

«На реке на Яике устроить город каменной мерою четырехсот сажен, кроме башен. Четырехугольный, чтоб всякая стена была по сту сажен в пряслах между башнями. По углам сделать четыре башни, да в стенах меж башен поровну — по пятидесяти сажен. Да в двух башнях быти двоим воротам, а сделати тот каменный город и в ширину и в толщину с зубцами, как Астраханский каменный город. Стену городовую сделать в толщину полторы сажени, а в вышину и с зубцами четырех сажен, а зубцы по стене делать в одну сажень, чтоб из тех башен в приход воинских людей можно было очищать на все стороны. А ров сделать около того города — копати новой и со всех сторон от Яика-реки, по Яик-реку сделать надолбы крепкие, а где был плетень заплетен у старого города, там сделать обруб — против того, как сделан в Астрахани. А на той проезжей башне Яика-города сделать церковь шатрову во имя Спаса нерукотворного да в верхних приделах апостола Петра и Павла, а башни наугольные сделать круглые...»

2

В рытом ночью бурдюжном[1] городе поместились Разин с есаулами — землянки выкопаны в сторону моря вдали от Яика, чтоб видеть струги и челны. Разин, уперев ноги в сапогах с подковами в потухший огонь, полулежит на ковре. Справа перед глазами атамана шипит от порывов воли и ветра с моря, как несжатая, спелая нива — камыш. Слева на горе—видно в оконце—синеют верхи стенных башен городка. Ковер под Разиным накинут на земляную подушку — плечи атамана упираются на выступ. С одной руки Разина — бочонок водки, с другой — на окованном медью сундуке горит восковая церковная свеча, перевитая блестками. Свеча воткнута в высокий серебряный шандал. За бочонком Лазунка; боярский сын время от времени наливает в железную кружку водки.

[1] Бурдюга — землянка.

Разин, не глядя, протягивает в сторону Лазунки большую руку, молча принимает налитое, пьет. По золотистому атласу зипуна атамана проползают вспышки оранжевым золотом от углей костра. На груди атамана темные пятна — брызги с усов и седеющей курчавой бороды. Лазунка часто встает, шевелит угли костра да лопаткой посыпает сырого песку, чтоб хозяин не сжег сапоги... Разин пьет не закусывая, полузакрыв глаза, лишь иногда остро, не мигая, глядит в далекий морской простор. Казалось бы, что дремлет атаман, если б не протягивал руки к водке.

Слышен долгий пронзительный свист за землянкой из оврага— там залег дозор. Боярский сын лезет из бурдюги. Разин, вскинув глазами, видит впереди часть фигуры: синий подол куртки, красные штаны и сапоги. Лазунка лезет обратно, говорит тихо:

— Батько, должно, что наши языка уловили?

— Чую шаги... ведут...

Лазунка садится, прислушивается, но шагов не слышит — услыхал лишь, когда стали подходить близко, кто-то сказал:

— К атаману ведите!

Разин трогает ручку пистолета в кармане красных шаровар.

— Батько! Лазутчик из Яйка.

— Подайте — кто таков?

Перед землянкой хрустит песок, взмахивают руки. Высокий, бородатый, согнувшись, пролезает в землянку. У лазутчика в казацкой одежде есаульской с перехватом плеть и ножны без сабли. Лицо худощавое, загорелое и зоркие глаза. Разин, не шевелясь, колет глазами вошедшего. Руки лазутчика скручены за спиной.

— Гей, путы с него прочь!

Казак влезает в землянку, освобождает руки лазутчику.

— Поди на дозор, сокол! Непадобен ты.

Казак исчез из бурдюги.

Атаман снова вскидывает глаза на пойманного, говорит:

— Сядь, Федор!

— Ой, батько атаман! Думал, не упомнишь меня — раз видел. Ой, и приглядист ты!..

— С чем пришел?

— С чем итти, батько? Без городовых ключей, да то нам не надо — ждем тебя сколь!

— Как мы зайдем в город?

— А дай-ка я сяду.

— А и впрямь надо сести!

Гость сел, подогнув по-турецки ноги.

— Мыслю я вот как тебя пустить, Степан Тимофеич... Седни ночь, завтра день — жди, послезавтре Петру и Павлу будет служба согласно праздника в воротной башне придела апостолам. А как ударят ко всенощной, ты тогда со своими поди к воротам городовым, да кафтанишки что худче на плечах, чтоб и топоры за опояской — человек этак с тридцать-сорок, а протчим укажи залечь и, как отопрут ворота — на свист вытти. Я же из казаков, кои ждут тебя на Яйк, караул поставлю, заходить зачнете—они уйдут. Городовыми ключами ведает Ванька Яцын— голова, а в город зайдете — голову того кончить надо: он стрельцов за царем держит, он же сыщиков, лазутчиков ведает и с вестьми к боярам он посылает... пить, есть, одеваться в чужое любит... Я его убаю, подпою да сговорю плотников пустить крепить надолбы.

— Люблю, Федор, своих людей!

— А я? Даром, что ли, писал к тебе, Степан Тимофеевич! Федька Сукнин на ветер слова не пустит!

— Добро! Гей, Лазунка, гость важный у нас—открой скрыню, есть ли фряжское? Тащи!

— Есть, атаман!

— Подай, брат! Ха, ха, ха! Так ты, Федор, лазутчик? Ха, ха, ха! Ну, давай обнимемся! Я тут лежал и думу думал о море — теперь будем пить.

— Пир пировать, Степан Тимофеич, нынь мне невместно... Ладом пить будем, как в город зайдешь... Я же спущен на время и до света зари — ночью не пустят, а быть в городе скоро надобно — дела, вишь, много с головой Яцыном: хитрый, бес, и, кабы не бражник был и не столь жадный на корм, угонил бы меня в Москву в пытошную...

— Не держу! Пей на дорогу и поспешай, ежели дело такое...

Позвонили железными кружками во здравие друг друга, обнялись, есаул добавил:

— Степан! Чтоб твои люди не полошили яицких стрельцов и боя с пищали, гику или свисту близ города не казали...

— Таём, Федор, к делу подходить я и люди мои сычны.

— Ну, дай бог! Прости.

3

Тощий, с худым желтым лицом, пьяный голова примерял развешанные на бревенчатой гладко струганной стене хозяйские кафтаны. Есаул Сукнин Федор сидел за большим столом под образами в углу. Хозяйка, нарядная казачка, с двумя дочерьми носили и ставили на стол кушанья.

— А не в обиде ли, Федор Васильев, что гость, голова, твою рухледь на себя пялит?

— Да полно, Иван Кузьмич! Да бери любой кафтанишко — дарю, бери, что по сердцу... Ты хозяин в городовых делах, и мы все тебе поклонны... ведаю честь твою от царя...

Голова, мотаясь на тонких ногах, сбросил с худых плеч на лавку кафтан осинового цвета, надел малиновый, сел за стол, разглаживая жидкую бородку одной рукой, другой залезая в крупичатый пирог со щукой, жуя проговорил:

— Ем вот много, а ёжа меня ест.

— Что ж так?

— От хорошей ежи не стало ни кожи ни рожи!

— Да пошто? Ешь благословясь и на здоровье!

— Клисты извели... Проезжий из Терки немчин дохтур дал, вишь, о той клисте цедулу, что она есть во мне.

Голова полез рукой в карман штанов, долго шарил, достал желтый, затасканный листок, подал хозяину; подавая прищурился пьяно и хитро.

— Чти-кось, воровской есаул Федько Сукнин!

— С чего такая кличка на мою голову? А честь я худо могу!

— Ой, мошенник! Говорить того не можно, да не боюсь, скажу: государевы сыщики докопались, будто не кто иной, ты вору Стеньке Разину письмо писал, звал его прийти на Яйк! Не можешь чести? Чти — дружбу веди со мной и дари, а я тебя не выдам.

— Не в чем выдавать, Иван Кузьмич... Но водится часто: ни за что ни про что выдают людей, — это мне ведомо — пей!

— Пью и ем! Дело служилое мое выдать, — да, вишь, тут дружба наша... Дело мое подневольное... отпишут... прикажут, но я за тебя! Чти-кось, ведаю, что грамотен, много не таись — чти, какую сулему мне исписал немчин?

Есаул медленно начал читать, а голова жадно ел и пил, иногда вставлял свои слова.

— «Сказка мекленбургского доктора Ягануса Штерна бургомистру Яицкого штадта Ивану Яцыну: у бургомистра Яцына внутри есть глиста, и у кого такая болезнь бывала и он-де разными лекарствами такую болезнь поморивши и на низ пругацею сганивал. Которые глисты бывали по три и по четыре, по пяти аршин длиною, а у многих людей такая болезнь не бывает, а зачинается она от худой путреной мокроты и растет подле самых кишек и бывает без мала что не против кишек длиною, а шириною на перст и кормится от того, что человек ест и пьет».

— Через толмача сказку ту писал немчин, а что он молыл, я ни чорта не понял... И вот ежели, Федор, то правда, так ведь мне не излечиться, а помереть от того путреного гада? Только и надея одна, что немчин лжет!

Есаул Сукнин читал дальше:

— «И для того, что она возле кишек близко бывает, запрет те жилы у человека, от которых жил печень силы и кровь к себе принимает, и от того бывает тем людям, у кого такая болезнь, что они тощи и бессильны бывают, хотя бы много пьют и едят».

Зазвонили в воротной башне ко всенощной. Сукнин крикнул:

— Бабы! Дайте огню к образам, служба в церкви идет.

Встал и закрестился. Встал и голова, пьяно махая длинной рукой, крестясь, сказал:

— А думаю я, Федько Сукнин, что мы, как басурманы, под праздник пьем, едим, от того и болести — бога не помним.

— Пить, есть бог не претит, Иван Кузьмич! Материться за столом да зло мыслить на друга своего — то грех.

Вошел стрелец, поклонился хозяину, голове, сказал:

— Там, Иван Кузьмич, работные люди, плотники лезут в город свечу поставить-де да помолиться угодникам — пускать ли? Пускать, так ключи надоть!

— Гоните! Воров много круг города, какие там плотники?

— Ежели то плотники, Иван Кузьмич, пошто не пустить? Надолбы городовые погнили, крепить не лишне от приходу воинских людей опас, да и по городу есть поделки — мосты, в церкви тож ... — сказал Сукнин.

— Сколь их там, стрелец?

— С тридесять человек, Иван Кузьмич!

— Пойдем, глянем... Казакам твоим, Федько, я малую веру даю, стрельцы — те иное: государеву службу несут справно. Казаки твои воры!

— Неужто все казаки воры? На-ко дохтурскую сказку!

— Давай пойдем. Стой! Ключи от надолбы в старом кафтане.

— Забери их, Иван Кузьмич!

Голова вынул из старого кафтана, сунул в новый ключи, распахнув полы скарлатного кафтана, пошел к воротной башне. Сукнин шел за ним и, если Яцын пошатывался, сдерживал услужливо под локоть.

В башне ширился, растекался в далекие просторы колокольный звон. Яцын мотал головой, бодая воздух.

— Перепил голова! Должно перепил? Не гоже... глаза видят, язык мелет, ноги, руки чужие.

4

— Сатана попадет в этот Яик! Степа, рвы да надолбы высоченные, ворота с замком. А глянь — надолбы-т из дуба слажены в обхват бревно.

— Ужо как атаман! Ен у нас колдун, сабля, пуля не берет его...

— Должно, служба идет в церкви в воротной башне?

— Забыл, што ль? Петров день завтре!

— О, то попы поют, звонят, а широко тут звону — море, степи...

— Заведут в город — вчерась наши лазутчика поймали.

— Поймали, саблю, пистоль сняли с него, да отдали и его в Яйк спустили.

— Должно так надо.

— Эх, а дуже-таки, не доходя сюды — полковника, ляха Ружинского, расшибли.

— Углезнул, вишь, чорт в паузке с малыми стрельцами, большие к нам сошли, все астраханцы.

— Сколь их, стрельцов?

— С три ста досчитались и больши.

— Астраханцы?

— Да, годовальники[1].

[1] Стрельцы, посланные служить в Астрахань на год.

— Тю... глянь, никак атаман?

— Ен!

— По походке он, по платью не он!

— Ен! И Черноярец тож в худом кафтане.

— Глядн! а есаулы все — тож в кафтанишках без оружия, едино лишь топоры...

— Ни гунь! молчи... Атаман наказал не разговаривать.

Разин подошел к лежащим в кустах, сказал:

— Соколы! чую говор — не дарайте голоса, закопайтесь глубже, свистнем — не дремлите, кидайтесь с пищалью к воротам города.

— Чуем, батько!

Разин с есаулами пошел в гору. Перед входом в город бревенчатый мост, за мостом дубовый частокол, в нем прочные ворота с засовами и замком спутри.

Подошли к частоколу вплотную, сняли шапки.

— Гей, добрые люди! яицкие милостивые державцы! стрельцы, казаки, горожане!

В воротной башне из окна караульной избы высунулась голова решеточного сторожа:

— Чего вам, гольцы?

— А помолиться ба нам, добрый человек, свечу поставить Петру да Павлу! Хрестьяне мы, и божий праздник завтре.

К словам Разина пристал и Черноярец:

— Разбило нас в наузке! Сколь дней море носило, света не видели — в Терки, вишь, наладились...

Сторож, благо ему было время, пошутил над Черноярцем:

— Эх, парень, и рожа у тебя разбойная, а наши бабы до разбойников охочи. Приодеть тебя—беда, всех девок с ума сведешь. А глазищи — ира разбойник! В Терки плыли грабить аль кусочничать?

— Пошто, милый, кусочничать! Плотники мы — работные люди!

— По рожам не работные, а разбойные, да ладно — голову стрелецкого упрежу, он хозяин: ежели пустит... Четом вас много?

— С тридцать голов-наберетца!

Окно задвинулось. Прошло не мало времени. С моря к вечеру

гуще или сумраки по низинам, но город до половины стенных башен еще светился в зареве меркнувшего дня...

Завизжали городские ворота, звякнуло железо — к надолбе подошел сам голова. Шапка на затылок сдвинута стрелецкая, опушенная бобром. Казаки сквозь проломы меж столбами заметили, что голова шатается, глаза пьяны и сонны, сказал:

— Чого ищете, гольцы?

Пьяные глаза уперлись в толпу из-за надолбы подозрительно: за столбами мотались головы без шапок.

— Батюшко, ищем работы... В Черном Яру плотничье дело справили, крепили от воров сторожевые башни, да после дела на Терки удумали — море растрепало нас...

— Мы на Яйке хлебом скудны — не довезут хлеба, голодать зачнете. Сколь вас?

— С тридцать голов и меньши, — кои сгибли в море, не чли!

Голова, рыгая и сопя, долго звенел ключами, попадая в замок, но никому не доверил дела — отпер. Хмель одолевал его, обычная подозрительность дремала в нем. Не обернувшись, не оглядев идущих, толкнул железные створы ворот, прошел. Решеточный сторож с упрямым лицом стоял под воротами на ступени сторожевой избы. Голова подошел, отдал сторожу ключи, сказал:

— Пропустишь гольцов — считай! не боле тридцати, и ключи принеси к Сукнину в дом...

За воротами голову подхватил под локоть есаул Федор Сукнин, обернулся к караулу казаков у ворот, махнул рукой — знак сменяться. Голову, поддерживая, увел к себе в дом.

Разин, проходя надолбы, сказал:

— Задний от нас останется за степой — свистнет.

— Чуем!

— Чикмаз зычно свистит!

На площади в помутневшем сумрачном воздухе еще двигалась призрачно толпа горожан, торгуясь около деревянных лавок. Проходили казаки в бараньих шапках, в синеющих бахромах, стрельцы с пищалью или бердышом на плече в светлых осинового цвета кафтанах.

В патровой церкви торжественно звонили. Разинцы входили в город... Пропуская идущих вперед, Разин встал под сводами башни. Никто из горожан не глядел на шедших в Яйк,

только сторож, получивший от головы ключи и как бы власть коменданта, стоял на прежнем месте с упрямым и в сумраке темным, будто серый гранит, плоским лицом, кричал:

— Эй, гольцы, сказано вам тридцать — у вас же ноште сорок пять?

— Не ведашь чет!

— По букварю церковному считаю до тыщи — лжете!

— Худо, мужик, чтешь!

— Эй, кой разбойник от вас свистит?

— На то рот да губы!

— Ношто не свистать?

Люди теснились мимо сторожа все гуще — шли рваные кафтаны, потом заголубело, заалело в сумраке...

— Не пойму — мать их с печи — эй, кто свистит? черти!

— То Ивашко Кондырь дудит!

— С того света стал на другой ряд Яйк зорить!

— И колокол на тот грех дует — спаси бог, не слышно!

— Не тамашись, решеточный!

— Измена, я чай? — сторож забегал по ступеням лестницы: — Караул! гей, козаки! куды их чорт снес? вот-то беда!

— Из одной лебеды — две беды!

— Не было б лебеды — быть без беды.

— Да что вас, проклятых! будет ли край?

— Будет край, ворот не запирай!

Сторож сбежал со ступеней, толкаясь с идущими, лез за ворота. В город поехали на лошадях...

— Измена! спаси бог! измена!

От вспышек огня трубки в глазах сторожа синели, голубели, краснели пятна невиданной им до того одежды. Бескрайная громада мрака вместе с движущимся людом шла на город — с моря ползли синие тучи, из туч сверкало желтым и мутноалевым.

— А вот я надолбу! Ой, окаянные!

К надолбе по мосту шла новая толпа, впереди высокий, тугой и темный, звеня подковами сапог, широко шагал, курил. Перед ним сторож захлопнул надолбу, быстро юркнул вниз за опущенными засовами, но черный пнул бревенчатые ворота, пыхтя трубкой. Надолба с шумом распахнулась, сторожа ударило в темя, он отлетел, упал без крика, не доходя ворот. Сотник

Мокеев Петр, колотя трубкой по прикладу пищали, не взглянув на убитого, перешагнул. Сзади его идущий стройный казак видел сторожа, видел, как он запирал надолбу. Казак нагнулся, поднял решеточного, вынес за стену, перекинул через перила моста в ров. Из рук сторожа на мост звеня упали ключи.

— Стой! целовальник самарский ключи ронил — я подбирал, эти от города, не с кабака, тож подберу!

Казак уложил тяжелые ключи в карман широких штанов, догнал идущих в город... Люди все шли, чернели, неся на плечах и таща оружие. На море с отзвуками гудело:

— Не-ча-й-й!..

И далеко со слабым звоном в берегах откликнулось:

— Не-е-ча-й! и-де-ет...

В синем просторе сверкнули огоньки, появились черные, крупные пятна стругов. Над городом — где только что звонили торжественно — завыл набат. Раздался голос, слышный за воротами и на площади:

— Гей, снять набатчика!

Вверх воротной башни забрякали подковы сапог, набат гукнул и смолк.

В город еще входили, кричали:

— Бурдюги не надобны пынь в городе!..

— Залазь, бра-а-ты!

— Глянь, черти пробудились, болотные огни зажгли!

По площади мелькали факелы.

— А может, то наши?

— Наши не в светлых кафтанах, то яицки стрельцы.

Светлые кафтаны мелькали огнями, разворачивались, строились в ряды; тревожны были голоса светлых кафтанов.

— Где Яцын?

— У Сукнина, пьет!

— Пропил город! измена!

— В городе воры!

— Кличьте казаков и горожан, кто поклонен великому государю!

— Государевы-ы! занимай угловые ба-шни-и!

Ряды огней пылающими цепями протянулись к угловым башням.

— Дуй с пушек по городу от подошвенного и головного боя!

— Ждите ужо! Где голова?

— Сказано — пьет!

— Тащите — каков есть. Эй, голову, Я-а-цына дайте на башню-у!

Голоса яицких стрельцов покрыл один, снова слышал тот голос и город и струги у берега моря:

— Гой, соколы! у ворот учредить караул из наших — никого не впущать и не выпущать за город без заказного слова!

— Чу-е-ем, ба-а-тько-о!

5

В голубой расшитой шелками рубахе есаул Сукнин сидит за столом. Пьяный голова в дареном кафтане лежит на лавке, уткнув в шапку лицо.

— Убери, хозяйка, рыбьи кости, смени скатерть!

Скатерть переменили.

Сукнин прибавил:

— Долей вина в бутылку, баба, да поставь братину с медом — только не с тем, коим гостя потчевала...

— Ужли еще мало вина?

— Не слышишь? сваты в город паехали!

— Наслушаешься вас! Ежедень у вас, бражников, свадьба альбо именины.

— Пущай сегодня будет по-твоему — именины... Разин Степан в город зашел.

Голова открыл широко глаза, сел на лавке.

— Федько! ты изменник, то я давно сведал... жди — сукин! Завтра с караулом налажу в Астрахань...

— Ой, Иван Кузьмич! ушибся поди — никак с печи пал? — Сукнин спрашивал с усмешкой.

— Спал я, не отколь не свалился... и все слушал за тобой — знаю! Стеньку Разина в город ждешь — пришла тебе пора!

— Скинь-ко с плеч мою рухледь, голова!

— Кафтан твой, Федько, я взял и не отдам, — все едино по государеву указу заберут твои животы.

В сенях звякнула скоба дверей, задвигались ноги, четверо стрельцов заскочили в избу, один светил факелом.

— Голова! пошто в город воров пустил?

— Кто? воров? где?

— Беги, Яцын, на площадь! укажи, что зачинать?

— Наши сидят в угляных башнях!

Голова, как слепой, шарил на лавке шапку — его шапка и кафтан валялись на полу.

— Эй, что сидишь! не ждет время!

Яцын поднял пьяную голову:

— Ребята! бери вон того вора.

— Кого?

— Федьку Сукнина, сукна вора!

— Хо, дурак!

— Тьфу ты чорт!

— Пойдем! наши ладят дуть по городу с пушек!

— А, так вы за воров? Так-то меня слушаете, и государю царю...

Стрельцы уходили. Голова кричал, встав, топал ногой:

— Пошли, изменники!

Стрельцы ушли, Яцын обернулся к хозяину, грозя кулаком:

— Федько, быть тебе, брат, за караулом нынче...

Сукнин вылез из-за стола, перекрестился широко двуперстно на темные лики икон с пылавшими лампадами, шагнул к голове, взял за воротник дареного кафтана:

— Выпрягайся, Иван, из моей рухледи! Помирать тебе в старом ладно...

Голова молчал и, казалось, не слыхал хозяина, глядел тупо, икал, силился вспомнить что-то необходимое. Он покорно дал с себя стащить малиновый кафтан. Сукнин поднял с полу одежду и шапку головы, натянул на него, пристегнул ножны без сабли.

— Поди, Кузьмич! Углезнешь от сей жизни — дедку моему бей поклон. — И вывел стрельца. Вернулся скоро.

Круглолицая, тугая, как точеная, хозяйка стояла задом к печи, держа над крупными грудями голые руки. Глаза смеялись. Сукнин подошел к ней.

— Ну, и мед, баба, сварила! Дай поцолую — ах ты моя кованая! — Облапил жену сильными руками, стал целовать, громко чмокая.

— Проспл какой — такой и сварила.

— С четырех кубков голова ошалел, до сей поры разума нет и пути не видит!

Есаульша засмеялась, толкнула мужа слегка от себя, сказала:

— Прилип, медовой! Ночью так не целуешь, скорее все, да спать!

6

Стрельцы в зеленоватых кафтанах мелькали в свете факелов, теснились к башням. Разинцы учинили с ними перестрелку.

С факелом в руке, с бердышом в другой сотник Мокеев Петр, распахнув розовый кафтан, кричал:

— Не прети им в башни лезть, пущай! Волоки доски, ломай для — лари-и!

На площади под дрожащим огнем факелов застучали топоры, с треском и скрипом гвоздей посыпались доски, валились под ноги стрельцов и казаков товары, никто из ломающих лари не подбирал смятого богатства, лишь какие-то фигуры, похожие на больших собак, мохнатые, визжали и выли, ползая у ног разрушителей, вскрикивали женскими голосами:

— Мое-то добришко-о!

— Вот те! вот животишки наши-и!

— Ой! пропали! ой, окаянные! — и в охапку таскали из-под ног стрельцов в цветном платье — от ларей, за хмурые дома — куски мяса, холст, материю, одежду.

Ворох досок и брусьев, натасканный, дыбился у темных, враждебных башен.

Голос Мокеева забубнил трубой:

— Держи огонь! — сотник передал стрельцу факел, схватил подмышку бревно — торцом с рахмаху ткнул в двери башни — запертая плотно дубовая дверь вогнулась внутрь.—А вот те еще!

Вторым ударом сорвал двери вместе со стойками, крикнул коротко и резко:

— Кидай доски в башню, запаливай их дру-у-ги-и!

Стрельцы накидали досок внутрь подножия башен, подожгли. Из амбразур подошвенного боя пошел дым.

Разом выявилась кирпичная стена башни, порыжела от огня. Раздался залп из пушек вверху. Сверкнули саженные зубцы стены.

— Товарыщи! плотно к стенам!

— Пишто, батько! в небо дуют, а мы их, как тараканов из щелей... — кричал Мокеев.

Двери другой башни также выломал. И в другой башне, в темноте, среди пестрых мелких огней затрещало дерево, задымили амбразуры, широкий огонь разинул свой красный зев.

Разин хлопнул по спине Мокеева:

— Молодец, Петра.

Сотник с факелом в руке глядел вверх.

— А ну еще, браты козаки, стрельцы, киньте огню!

В выломанных дверях башен жарче и жарче пылал огонь. Над городом сверху взывали голоса:

— Казаки! уберите огонь, сдаемся-я!..

И из другой башни также:

— Сдае-мся-я! браты-ы!

Мокеев сказал:

— У-гу! должно что припекло? Стащите огонь баграми, бердышами — пущай дьявола сойдут.

Стрельцы в светлых кафтанах посыпались из башен. Отряхивались, чихали, дышали жадно свежим воздухом.

— Эй, соколы, у правой башни накласть огню!

На голос Разина кинулись стрельцы в голубых и розовых кафтанах: держа в зубах факелы, таскали в кучу бревна и доски. Затрещал огонь — темная башня порыжела, оживилась.

— Ройте у огня яму!

Бердышами и где-то найденными лопатами рыли, — недалеко от огня зачернела яма.

— Шире, глубже ройте! — гремел голос. — Крепите плаху!

Над ямой, с краю, хлопнуло длинное бревно, концом в яму поперек бревна проползла толстая плаха.

— Гей, Чикмаз! Астраханец!

— Тут я, батько!

Длиннорукий стрелец приказа Головлепкова в малиновом кафтане подошел к плахе.

— Свычен рубить головы?

— Москва обучит — сек!

— Скидай кафтан, бери топор!

— Чую...

— Эй, вы, стрельцы яицкие, кто из вас идет к нам, а кто на тот свет хочет? Сказывайте!

К черной фигуре с упертыми в бока руками, мечущей зорким взглядом, подошел седой, бородатый стрелец, кинул шапку, склонил низко голову, ткнул к ногам атамана бердыш.

— Вот я, вольный ты орел! Молюсь тебе: спусти того, кто не хочет твоей воли, в Астрахань.

— Видал я! Ты стрелял из башни?

— Стрелял, атаман! Я пушкарь...

— К нам не сойдешь?

— Стар я, дитя! И царю государю завсегда был поклонен и правду вашу не знаю... Не верю в ее. Да иные есть, кто не пойдет с вами. Пусти того в Астрахань...

— Судьба! С тебя начнем. А ну, старика!

Взметнулись полы и рукава кафтанов, сверкнули зубы тут-там. Старого стрельца подхватили, распластали на плахе. Чикмаз взмахнул топором. Дрыгнули ноги над ямой — стука тела никто не слыхал, кроме атамана.

— Теперь черед голове!

Светлый над черной ямой все еще пьяный голова Яцын в удивлении развел толстыми руками:

— Кто меня судит? Сплю я, аль не...

— Не спишь! Будешь спать, — ответил Чикмаз. Легонько и ловко сверкнул топором, голова отлетела за яму, а светлая фигура скользнула под плаху.

Кинув оружие, ряд стрельцов в светлых кафтанах, потупив глаза, шел к яме...

Сапоги и колени Чикмаза взмокли от крови. Он набирал в широкую грудь воздуха и, глядя только в затылок супутому на плаху, рубил.

— Прибавь огню! — крикнул грозный голос.

Притихший, рассыпавшийся под синевато-черным небом, взметнулся огонь, и снова окрасила рыжая стена башни — по ней задвигались тени людей... К черной, растопыренной в локтях фигуре, в запорожской сдвинутой на затылок шапке, в зипуне, отливающем под кафтаном медью, жутко было приступиться — хмуро худощавое лицо, опушенное курчавой с серебристым отблеском бородой. Но один из казаков с упрямым неподвижным взором, с глубоким шрамом на лбу, сняв зипун, подошел, кинул к ногам шапку, сказал громко и грубо:

— Батько! Я тебе довольно служил, а ты не жалостлив — не зришь, сколь ты крови в яму пзлил?

Разин сверкнул глазами.

— Ты кто?

— А Федько Шпынь! Упомни: на Самаре в кабаке угощал, с мурзой к тебе пригонил я — упредить...

— Помню. Пошто лезешь?

— Сказываю, стрельцов жаль!

— Ведаю я, кого жалеть и когда. Ты чтоб не заскочил иной раз — гей, на плаху казака!

В дюжих, покорных руках затрещал спинй зипун, сверкнула вышибленная из ножен сабля. К Разину придвинулись, мотнулись русые кудри Черноярца, забелели усы и обнаженная голова есаула Серебрякова.

— Батько, не секи казака!

— Я тоже прошу, Степан Тимофеевич!

— Чикмаз, жди, что скажут есаулы!

— Батько! Ты — брат названный Васьки Уса?

— А, ну, Иван! Брат, клялись...

— Казак Федько любой Ваське, и Васька Ус — удалой казак...

— То знаю!

— Васька Ус загорюет по Федьке тому, и кто знает, зло помыслит?..

— Злых помыслов на себя не боюсь! А ты, белой сокол, что молыш?

— Молвлю, батько, вот: много видал я на веку удалых, кто ни огня, ни воды, ни петли не боится, кто на бой идет без думы о себе, о голове своей. Так Федько Шпынь, Степан Тимофеевич, из тех людей первый! — сказал Серебряков.

Разин опустил голову. Казаки, стрельцы и есаулы, кто знал привычку атамана, ждали: двинет ли он на голове шапку, — тогда конец Федьке. Разин сказал:

— Шапка моя съехала на затылок, и шевелить ее некуда! Отдайте козаку зипун и саблю, пущай идет.

Атаман поднял голову. Отпущенный, стараясь не глядеть на атамана, взял с земли свою шапку и спокойно, переваливаясь, зашагал в темноту.

В городе среди стрельцов у Шпыня были родственники...

Вот уж с моря на город побежали по небу заревые клочья облаков.

Чикмаз опустил топор, огляделся, размял плечи, подумал:

— Эх, там еще голов много! — но увидал, что стрельцы в осиновых кафтанах с такими же зеленоватыми лицами машут шапками, кричат:

— Сдаемся атаману-у!

— С вами идем!

Чикмаз, оглядывая лезвие топора, сказал себе:

— Сдались? То ладно! Топор рвет — затупился, а думал я валить сто семьдесят первого и еще...

7

В пятнах крови на лице и руках Разин с есаулами пришел в гости к Федору Сукнину.

Есаул расцеловал атамана.

— Вот нынче, батько Степан, будем пировать честь честью, и не в бурдюге — в избе.

— Добро, Федор, дело сделано, и, как писал ты: «отсель за зипуном пойдем в море.

— Хозяйка! — крикнул Сукнин,— ставь на стол что лучше. Ну, гости жданые, садись!

— Умыться бы, — сказал Серебряков, и за ним, кроме Разина, все потянулись в сени к рукомойнику. Хозяйские дочери принесли гостям шитые гарусом ширинки. В сенях просторных, с пятнами солнца на желтых стенах, пахло медом, солодом и вяленой рыбой.

— Широко и сыто живет Федор! — проворчал, сопя и отдуваясь от воды, Серебряков.

Умытые, со свежими лицами, вернулись к столу. Нарядная, веселая хозяйка вертелась около стола, ставила купанья; когда сели гости, разостлала на колени ширинки.

— Кафтаны не замараете! — Разину особо поклонилась, низко пригибая голову на красивой шее.

Разин встал, обнял и поцеловал хозяйку.

— Наши кафтаны, жонка, таковские! — взглянул на Сукнина: — она у тебя, Федор,— золотая...

— Кованая, Степан Тимофеевич, сбита хорошо, да не знаю, из чего сбита! Бесценная.

На столе сверкали серебряные братины, кубки, яндовы, ковши золоченые. Появились блюда с заливной рыбой, с мясом и дичью.

— Эх, давно за таким добром не сидел, а сидел чуть ли не в младости да на Москве в стрелецкой — ой, время, где-то все оно? — по лицу атамана замутнела грусть...

— Ну, да будет, Степан Тимофеевич, старое кинем, новое зачинать пора, а нынче — пьем!

— Выпьем, Федор Васильич. Мало видимся. И свидимся — не всегда вместях пируем. Пьем, хозяин! за здоровье, эй, есаулы!

Весь круг осушил ковши с водкой.

От гладкой струганой двери по избе побежали светлые пятна: в избу зашел высокий старик Рудаков с жесткими, еще крепкими руками, сухой, с глазами зоркими, как у ястреба.

— Эй, соколы, место деду! — есаулы подвинулись на скамье.

— Судьба! радость мне — с кем пить довелось! Батьку моего Тимошу помнит...

— Не забываю его, атаман, и сколь мы вместях гуляли с саблей, с водкой, с люлькой в руках — не счесть. А удалой был и телом крепок, на Москву скрегчал зубами. Ну, за здоровье орла от сокола!

— На здоровье, Григорий. Грозен и я на Москву, да и Москва Разей без ведома не кидает, и иду я воздать поминки отцу... Сжили бояре со свету старика на пиру отравой, брата Ивана засекли на дыбе на моих же очах и вытолкнули из пытошной замест человека ком мяса! — Атаман стукнул по столу кулаком, сверкнул грозно глазами. — Может статься, возьмут и меня, дешево не дамся я, и память обо мне покажет народу путь, как ломать рога воеводам. Кому на Руси ладно, вольготно живется? Большим боярам, что ежедень у царя, как домашние псы, руку лижут... Вот он, сотник, боярской сын, а пущай скажет — лгу ли?

Мокеев забубнил могучим голосом:

— Берут в вечные стрельцы детей боярских — и одежа и милость царская им, как нищим, а чуть бой где-либо, поспевай — конно, оружно, и за это одна матерщина тебе от воевод и часом бой по роже... С доводом к царю кинешься, через боль-

ших бояр не проїдешь, они же оговорят, и ежли был чин какой на тебе, снимут и бьют в батоги: «за то, дескать, что государевой милостью недоволен».

Сотник легонько тропул кулаком по столу, заплясала вся посуда пустая и с водкой.

— Да ну их к сатане, бояр и царскую милость! Противу больших бояр я, Мокеев Петруха, рад голову скласть!

— Выпьем же, Петра!

— Выпьем, батько!

Стало жарко — распахнули в сени дверь. В избу вошел стройный казак в нарядной сшей куртке, черноусый, помолился на бледный огонь лампад, кланяясь атаману, сказал, махая шапкой:

— Честь и место кругу с батькой атаманом!

Хмельной Разин откинулся на стену, хмуро глядя, спросил:

— Опять ты, Самаренин? Заскочил спуста, или дело?

— Перво, батько, никому как тебе ведать ключи от города! — подошел, положил на стол ключи.— Сторожа подобрали ключи, не в ров кидать.

— То добро! За сметку твою еще скажу — слово мое есть: живой верну на Самару — невесту твою сыщу и дам! Нынче же пригляди в городу, какая баба заботна по красивом казаке... ха, ха!

— Еще, батько, вот, народ боевой к кабаку лезет — я не дал до твоего сказу шевелить хмельное... ждут!

— То ладно! Дай им, парень, кабак... Пропойную казну учти, и ежли нет целовальника — отчитайся, сколь денег?.. Коли же целовальник, бери того за караул, пущай он отчитается... Деньги занадобятся на корм войску.

— Будет справлено, батько!

— Налей казаку вина!

Налили кубок. Казак выпил не полный, сказал, беря закуски:

— Еще, батько, слово есть!

— Ну, ну, толкуй — что?

— Попы для ради праздника просятся в воротную башню службу вести Петру-Павлу в приделе — пущать ли?

— Ха, ха, ха! Самаренин мой город к рукам прибрал — и то добро! Никто о хозяйстве опричь его не думает. — Атаман за-

греб рукой над столом широко воздух. — Пусти попов! Идет к ним народ поклоны бить да богу верить — пущай идет! Не мне перечить, кто во что верит, лишь бы справляли и мою службу. Пущай бьют поклоны кому хотят — я изверился. Но молится мой народ, и я иной раз крещусь. Пусти, парень, попов!

— И я скажу, Степан батько, перечить тут нечему, — вставил слово Сукнин, наливая в ковши водку.

— Поди, сокол, верши, как сговорено нами.

Казак ушел.

— Пили, ели — плясать надо, душу отряхнуть, — сказал атаман.

— То можно!

Федор Сукнин вылез из-за стола, подошел, пошарил за старинным шкапом, вытащил пыльную домру, провел смуглой рукой по струнам, стирая пыль, попятился на лавку и запел, позванивая домрой:

Кабы мне, младой, ворона коня —
То бы вольная казачка была;
Плясала бы, скакала по лужкам,
По зеленым по дубравушкам.

Черноярец пошел плясать. Солнце в узкие окна пробивалось пыльно-золотистыми полосами и, когда в пляске кудряш приседал, солнце особенно вспыхивало в шелке его волос. Есаул незаметно, почти беззвучно скользил. Дрожала изба от тяжести тела, но топота ног не было слышно, лишь от разбойного свиста плясуна дребезжали стекла в щелеобразных окошках, и ног пляшущего не было видно, только вилась туманом белая пыль от сапог.

Оборвав игру, Сукнин крикнул:

— Батько, чул я, лихо ты пляшешь?

— Эх, Федор, много нынче отстал в пляске, а ну для тебя попомню молодость.

Разин скинул кафтан. Зазвенели подковы на сапогах, серебром осыпанные, вздыбились кудри, пятна золотистого зипуна светились парчой. Рука привычно сверкнула саблей — плеснула атаманская сабля в стену и не вонзилась, ударила голоменью,[1] пала на лавку.

---

[1] Голомень — плоская сторона сабли и меча.

— Спать! устала душа, соколий глаз притупился.

Раздвинув богатырскими руками толпу есаулов, привычно согнувшись и заложив руки за спину, на пляшущих жадно глядел хмельной сотник Петр Мокеев, двигая тяжелыми ногами. Черноярец, уступив место атаману, тронул по спине Мокеева:

— А ну, Петра, спляши!

— Не, Иван, один раз плясал в Москве в терему у боярыни, хмельной был гораздо, да много шуму из того вышло...

— Пошто так?

— Скажи, пошто, какой тот шум?

— А не стоит поминать!

— Да скажи, Петра!

— Вот... повалились... а ну ее к чорту!

— Скажи!

— Поставцы с судами поразились и кон поломались, вишь, под ноги мне пали... Столишки тож были, оно и дубовые, да, должно, рухлые, а меня тогда как бес носил. По косму столу удумал в пляске кулаком тюкнуть, тюкну, он же, сатана, скривился, альбо столешник лопнул, а я ношусь да дую кулаком... Много-мало разошелся я, дверь помешала — пнул я в тое дверь. За дверьми дворецкий стоял, хлынуло его по черерам, слетел он вниз терема в сени, руку-ногу изломил, еще глаз повредило... И за то по извету царю от боярыни, через большую боярыню Голицыну, ладили меня в Холмогоры, да наладили, не снимая чина, в Астрахань. А семья за мной не двинулась... Жена заочно через патриарха развелась, вдругорядь замуж пошла. И будет плясать Петрухе Мокееву — шалит в пляске гораздо...

Разин сказал:

— Судьба, Петра! счастливо плясал... Был бы на Москве, не сошел к нам...

— Може и судьба. Загоревал я, батько, первы недели. Гляжу, стухлая по берегам рыба гинет, вонь, жара, да свыкся... Воню и место облюбовал — воды-де много и душу в простор манит...

Есаулы захмелели: с пеньем, бормотаньем каждый про себя разбрелись. Старый Рудаков давно спал на лавке ногами к дверям, синий казацкий балахон сбит на пол, расстегнулись штаны, сползли к сапогам, виднелось тело в седой щетине. С лавки на пол протянулась смуглая рука в бесконечных узлах синих жил

с шершавой старческой кожей. Лицо старика уткнуто в шапку, от неровного дыхания подпрыгивал и топырился седой пушистый ус. На месте хозяина под образами сидел Разин. Ни одной морщины не было на его лице, лишь значительнее углубились шадрины на щеках и лбу; глаза глядели сонно и мрачно, большие кулаки лежали на столе у серебряной яндовы с медом. Атаман сказал сам себе громко:

— Федько казак — сатана! «Стрельцов жаль?» Дом запален, не глядп сколь вниз, — кидай рухлядь! Что цело есть, считай после...

— Гей, хозяйка, атаману опочив в горнице скоро-о...

— Ой, медовой, чего ты, чай, не глухая! Постель ждет гостя.

— Крпчу от вина и радости, что ворогов наших умяли в грязь! А дай еще песню?

Хмельным, но все еще приятным голосом, сидя на лавке и топая ногой, Сукнин запел:

Посею лебеду на берегу,
Свою крупную россадушку.
Погорела лебеда без воды,
Моя крупная россадушка.
Пошлю казака за водой —
Ни воды нет, ни казаченьки-и.

Разин поднялся из-за стола; не шатаясь, шел грузной походкой. Встал и Сукнин, с дребезжанием струн кинул ворчащую домру.

Атаман обнял хозяина:

— Кажи путь, Федор, — сон побивает.

8

На площади Яика-городка под барабан пешего бирюча яицкие жители оповещались: «приехал в город государев служилый, большой человек, голова Сакмышев из Астрахани, что всех зовет в воротную баню и в храм Спаса Нерукотворного». На площади выстроились стрельцы, прибывшие из Астрахани, в малиновых кафтанах приказа Головленкова; прохожие, глядя на стрельцов, шутили:

— Не подошла Яйку осина, малины нагопили с бердышами!

— Не едины бердыши — пищали тож и карабины!

В церкви воротной башни забрякал колокол.

Жители, пестрея одеждами голубея, алея кафтанами, шли в церковь. С моря на город несло теплой влагой... Яблони были в цвету, тополи зеленели, отсвечивая серебром...

В церкви после креста вместо проповеди седой протопоп в выцветшей ризе и фиолетовой камилавке сказал народу:

— Людие! Не расходитесь в домы — будет к вам спрос от служилого государева человека.

— Слушим, батя!

Впереди к царским вратам выдвинулся в малиновом кафтане, при сабле, длиннобородый, русый человек, широко по-никониански щепотью перекрестился, приложился к образам Николе, Спасу и богородице:

Народ роптал:

— Троеперстник!

— То новшец!

Голова, слыша возгласы, не ответил, вошел на амвон у бокового придела, махая шапкой, зажатой в правой руке, и сгибаясь взад-вперед, будто кланяясь, начал громко грубым голосом:

— Вопрошу я вас, люди яицкие, вот! Как воры были на Яйке со Стенькой Разиным, что в прошлой месяц в море ушел, то куды Стенька подевал государеву цареву грамоту что привезли ему для уговору из Астрахани послы от астраханского воеводы князя Ивана Семеновича и чли ему и дали тое грамоту? Мой спрос первой и сказывайте, не кривя душой, бо в храме божием господь бог, угодники и царь-государь вас всех к нелживому ответу зовет.

— Кратче вопрошай, голова!

— А как разумею, так и прошу, — вихляясь спереди назад, ответил голова.

— Да чего ты, как древо по ветру, мотаешься?!

— Обык так, не в том дело! Вы после, теперь пущай за вас духовной отец скажет, — прибавил голова.

Седой протопоп в фиолетовой камилавке вышел из боковых дверей алтаря, встал противу царских врат, не оборачиваясь к голове, перекрестился медленно и каким-то козлиным, тонким голосом ответил:

— Перед господом богом даю ответ, что того, куда подевали

государеву цареву грамоту, не ведаю! — И снова неспешно ушел в алтарь.

— Много проведал, голова?

— Проведаю! Эй, кто знает? Сказывай!..

Серели бородатые лица, истово крестились большие руки, мелькали синими рукавами, золотились и смолью отливали волосы на головах — полосы света протянулись из узких башенных окон, пронизывая клубы пара; от потных тел пахло над головами ладаном, кудряво вьющимся синеватым облаком, по низу тянуло дегтем от сапог.

— Кто не ворует противу великого государя — сказывайте!

Продираясь в толпе к амвону, махая стрелецкой шапкой, синея кафтаном, пролез человек.

— Грамоту атаман Стенька Разин...

— Сказывать надо — вор!

— Стенька Разин в тое время принял, послов тож не возбранил и круг для того собрал, а говорил послам государевым тако...

— Государевым, царевым и великого князя всея Русии... — поправил голова.

— «Грамота она есть грамота, да кто ее послал? Сумнюсь! Сумнясь, не мыслю, чтоб она была государева доподлинная, и много про то знаю: царь меня хоша простит, да бояра не жалуют. Боярам я на сем свету не верю». А куды подевал он тое грамоту, того не глядел!

Выступил торгаш из яицких стрельцов, крикнул:

— Чуй, голова! Я ведаю.

— А? Ну!

— Так как атаману...

— Вору! Говорю вам — вору-у!

— ...Разину грамота тоя не показалась, что не верилось ему, как вины его великий государь отдаст...

— Стой-ко ты, яицкой! В грамоте, то мне ведомо, не указано было, что вины вору великий государь отдает... Не было того слова в грамоте...

— Ну, и вот! Он, атаман, тое грамоту подрал и в песок втоптал, да молыл: «когда другая, доподлинная грамота ко мне придет, тогды и я повинную дам».

Голова, мотаясь на амвоне, шарил по толпе глазами, сказал громко:

— Эй, государевы иесцы! Спишите, что сказал сей яицкой торгован ли посацкий, имя его тож спишите, да сыщите про него доподлинно, кто таков?

Толпу будто ураганом шатнуло.

— Не править городом — государить к нам паехал!

— В бога рылом тычет, а сыщикам весть дает!

— Эй, голова, худой твой закон!

— Для вас худ — для меня хорош! Все изведаю — не скажете добром, того, кто не сговорной, возьму за караул.

— Берегись так городом править!

— На усть-моря живете — ведаю, спокон веков разбойники, да очи великого государя недремапны и десница крепка царева! Яцына Ивана уходили...

— Рано лаешь народ! Спрашивай преже...

— Еще вот! Куда вор Стенька Разин угнал ясырь татарской, что захватил на Емансуге под Астраханью?

— Девок с женками в калмыки продал, мужеск пол с собой увел в море.

— Куды крепостные большие пушки вор уволочил, оголил стены?

— Пушки, что помене, с собой забрал, большие в море утолок, да еще говорил: «а город Яйк срыть надо — помеху чинит много вольному люду-у».

— Во-о што!

Кто-то злым голосом невпопад крикнул:

— Мы, служилой сыщик, людям головы, как кочетам, умеем вертеть!

— Эй, кто от вас в храме божьем угрозные речи кричит?

— Сам ты храм-от кружечным двором сделал, альбо приказом сыск чинишь!

— Иесцы! Запишите речи тех людей и сыщите про них.

— А Яйк, как атаман сказал, не устоит — сроем!

— Иесцы-ы!

— Клич лучше стрельцов!

За окнами башни раздались выстрелы из пушек и ружей, потянуло в открытые окошки пороховым дымом. Бухнула на раскате угловой башни сторожевая пушка, и с колокольни взвыл

набат. Голова, потряхивая брюхом, схватив в правую руку пистолет, в левой держа шапку, сбежал с амвона, исчез в алтаре.

— Завернуть, что ль, чорта?

— Пождем!

— Кто бьет с пушек?

— То на море, Сукнин с Рудаковым запасные суды захапили, побегли...

— Ушли?

— Стрельцы, вишь, упредили: в камышах дозор крылся...

После слова «стрельцы упредили» голова, придерживая сбоку саблю, вышел из алтаря.

Народ уходил из церкви.

За городскими воротами, на обрыве, стоял голова Сакмышев, привычно мотаясь взад-вперед, кричал, махал обнаженной саблей:

— Псов ведите в башню! Сам погляжу — заковать их, и крепкой к тюрьме караул чтоб...

В гору с берега вели десятка с два казаков и стрельцов в голубых кафтанах, все были с руками, закрученными назад. Впереди есаул Сукнин, руки также связаны, есаульский кафтан с перехватом разорван, правая пола волоклась, черные волосы капали на шее кровью. За ним, хромая, опустив седую голову, шел древний Рудаков; зоркие глаза, не мигая, глядели из-под серых бровей — вид старика с опущенной головой был упрям и злобен.

Голова, всунув на ходу саблю в ножны, пыля песком, шагнул к связанным и, ударив кулаком в лицо Сукнина, крякнул:

— Кхя! Вот те, государев супротивник, вор! — Неуклюже размахнулся еще и тяпнул Рудакова в седой затылок.

Из носа у Сукнина закапала кровь, но он молчал, шел, как прежде. Рудаков ответил на удар матерно.

— Подберу на Яике палача, я вас, воров, в бане умою и выпарю!

— Не сразу подберешь, царева сука, а соколы улетят! — громко проворчал Рудаков, кося глазами.

— Я ж им ноги изломлю, не улетят!

По приказу головы: «найти одинокую избу у одинокого!» стрельцы долго шарили по городу, и Сакмышев остался доволен: изба, в которой поместился он, стояла близко к воротам в степь

и не курная, с полаткой в печи — жил тут, сказывали, воровской казак, сбежал к Разину. То еще по сердцу было голове, что хозяйка-старуха глухая крепко. В передних углах лицевой стороны голова приказал стрельцам приладить факелы и зажечь. На столе в медных подсвечниках, привезенных с собой, зажег четыре сальных свечи. У дверей в углу поставил заряженную крупную пищаль, на стол деревянный, широкий, с голой доской, положил два пистолета, бумагу, чернило и три гусиных пера. На лавке под окном лежал его кафтан на случай вздремнуть.

Спать голове не хотелось, он и в дороге от Астрахани не спал, опасаясь засады воровских людей, а в городе, после всего виденного, пугали всякие шорохи. Город сонный мнился ему лишь временно притихшим. Сакмышев упорно ждал набата, чудились ему злые лица горожан, таящих свое — воровское... Хотел писать — не писалось и сна не было. Тяжело сидеть в избе, пошел на улицу.

У избы на карауле пять стрельцов, пять бердышей белели в лунном свете лезвиями.

В полукафтаньи сером, на боку сабля, без шапки, голова, проходя мимо избы к воротам, сказал дозору:

— Водки куплю! Не дремли, робята.

— Не бойсь, Афонасий Кузьмич!

— Стоя не спим!

За воротами бескрайная мутножелтеющая под луной степь. Теплый ветер несет запах далеких солончаков. Голова постоял за воротами, вслушиваясь. Послышался ему тонкий нечеловеческий свист, потом далекий рев, похожий на рев верблюда. Над его головой со стены мотнулась крупным комом сова, улетая защелкала и, медленно паря в опаловом воздухе, распластала в вышине широко мохнатые крылья... недалеко заплакал заяц, уловленный ночным хищником. Голова пошел обратно в город — у ворот стены два дозорных стрельца, один в мутнокрасном в лунном свете, другой в тени — у затененного сумраком кафтан казался черным, лицо серое.

— Водки ставлю, не дремлите, робята!

— Не спим на дозоре!

— Мы, голова, не дремлем! — И когда начальник прошел дальше, стрелец прибавил: — Седни тебе молимся, а завтре неровен час и за гортань уцепим!

Другой на слова приятеля отозвался смехом. Сказал: — конец, дадим чорту!

«Надобе к башне сходить, да ноги тупы... ништо-о! Там дозор крепкой — а все ж как там воры?.. Закованы — ништо! Ворота в стень завалю... калмыки и всякие находники лезут, стрельцы — чорт их душу — говорят ласково, а рожи злые...» — думал голова.

С холма в кустах и в даль под стену протекал ручей, сверкая под обрывом.

— Должно та вода из тайника [1] башенного, что лишня есть.

Над ручьем под сгорком черные лачуги бани, иные — землянки, иные рядом рублены в угол. Между черных бань поблескивают луной все те же торопливые струи.

Сакмышев повернул от дороги к воротам в сторону городских строений.

Срубы черны, с ними слились кудрявые деревья в пятнах, мутнозеленых в свете месяца и черных в тени. В лицо дышит теплым ветром, пахнет травой, ветром шевелит пышную бороду стрельца, волосы, и кажется ему — ветер нагоняет сон, утихает тревога дня, голова сонно думает:

«Черные узоры... быдто кто их украсил слюдой да паздерой [2] — черное в серебре... — Но вздрогнул и чутко насторожил ухо. — Пустое. Мнилось, что будто на колокольне кто колоколо шорнул. Пустое... Провались ты, тьма, душу мутит, а сна нет... С чего это меня тамашит завсегда в тьме ужастием? Зачну-ко писать?» — Волоча ноги, идет в сторону пяти сверкающих лезвий.

— Поглядывай, робята!

— Не боись, голова, зло глядим!

Факелы коптят, копоть от них густо чернит паутину на потолке избы. Оплыли свечи. Голова поправил огонь. На широкой печи со свистом храпит старуха, пахнет мертвым и прокислым.

— Эй, баба чортова! Не храпи. Страшно, а надо бы окна открыть? — Храп с печи пуще, с переливами.

— «Векоуша — глухая! Бей батогом в окна — не чует... —

---

[1] В крепостных башнях были колодцы на случай осады.

[2] Паздера — очески льна и кострика.

Голова, двинув скамью, сел. Над столом помахал руками, будто брался не за перо, за бердыш, оттянул к низу тучного живота бороду и, привычно кланяясь, подвинул бумагу. — Перво напишу черно, без величанья».

Склонился, обмакнул перо.

«Воеводе Ивану Семеновичу князю, отписка Афоньки Сакмышева. Как ты, князь и воевода, велел письма мне о Янке-городке писать и доводить, что деется, то довожу без замотчанья в первой же день сей жизни. Отписку слю с гончим татарином Урунчеем, а сказываю тебе, князь, про Янк-город доподлинно. Перво: в храме Спаса Нерукотворного опрашивал я городовых людей про вора Стеньку Разина, про грамоту твою к ему. Прознал, что тое грамоту он, вор, подрал и потоптал. Другое — еманьсугских татаровей ясырь жонок и девок он в калмыки запродал, а мужеск пол с собой в море уплавил и на двадцать четри стругах больших ушел к Гиляни в Кюльзюм-море, а буде слух не ложный есть, то даваться станет шаху Абасу в потданство. И тебе бы, князь, дать о том слухе отписку в Москву боярину Пушкину, чтоб упредить вора государевым послом к шаху. Для проведыванья слухов на море и ходу по Кюльзюм-морю слите, господины князь Иван Семенович с товарыщи, в подмогу кого ладнее, хошь голову Болтина Василея — ту народ шаткий, смутной и воровской, чего для море близ. В церкви на меня кричали угрозно и в тое время, как я уговаривал яицких не воровать и сказывать о грамоте, ясыре татарском и прочем, двенадесять казаков со стрельцы ворами Лопухина приказу, что еще на Иловлереке сошли к вору Стеньке, своровали у меня, захапили суды в запас для маломочных, кинутые вором Стенькой на Янке, шатнулись с огняным боем в море, да мы их с божьею помощью уловили и заводчиков того дела Сукнина Федьку да воровского казака кондыревца Рудакова, заковав, кинули в угляную башню и держим за караулом до твоего, князь-воевода, указу, а мыслю я их пытать, чтоб иных воров на Янке указали, а воров ту тмы тем — много! И кричали в церкви, что вор Стенька Разин грозил Яик срыть и они-де тому рады, да и сами того поровят, а коли государевой силы не будет беречь город, так и пущай сроют, я мню так: что лучше б Яик отнести по реке дальше от моря, где еще рвы копаны и надолбы ставлены и строеньишко есть, а ту ворам убегать сподручно... Мало хлопотно будет та-

кое дело городовое завести — каменю к горам много город строить, а ведь Черной Яр, по государеву цареву указу, унесли же в иное место, инако он бы в Волгу осыпался...»

Не дописав грамоты, голова ткнулся на стол, почувствовав за все дни и ночи бессонные дремоту, сказал себе:

— А, не ладно! Кости размять — лечь надоть...

Встал полусонный, поправил факелы, задул свечи и, не снимая сапог, отстегнув саблю, сунулся ничком на кафтан и неожиданно мертвецки, как пьяный, заснул.

9

В густой тени, упавшей на землю от городовой стены и башни, занявшей своей шлыкообразной полосой часть площади, толпились стрельцы в дозоре за Сукиным и Рудаковым. Мимо стрельцов, расхаживающих с пищалями на плече, проходила высокая стройная баба, разряженная по-праздничному; за ней, потупив голову, подбрасывая крепкие ноги по песку, шла такая же рослая девка с распущенными волосами, в цветном шелковом сарафане, под светлой рубахой топырилась грудь.

— Э-эх!

— Эй, жонка! Кой час в ночи?

— А кой те надо, служилой?

— Полночь дальня ли? Нам коло того меняться.

— Еще, мекаю я, с получасье до полуночи.— Баба подняла на луну голову.

— Э-эх, дьявол!

— Ладна, что ли, баба-т?

— Свербит меня, глядючи! Ладна.

— Эй, жонка! Чье молоко?

— Не, не молоко, служилые — квас медовой с хмелиной...

— Большая в ем хмель-от?

— Малая... для веселья хмель! — Баба остановилась, сняла с плеча кувшин.

— Чары, поди, нездогадалась взять?

— Не иму — девка будто та брала? На именины к брату идем, ему и квасок в посулы.

Стрелец подошел, заглянул в кувшин.

— Э-эх, квасок! Дай хлебнуть разок?

— Не брезгуешь? Испей, ништо...
— Ты, знаю, хрещена, чего брезгать!
— Я старой веры. — Баба взяла у девки заверченную в плат серебряную чару.
— Чара — хошь воеводе пить!
— В посулы брату чара. Пей!
— У-ух! Добро, добро.
Подошел другой.
— Тому дала, а мне пошто не лила?
— Чем ты хуже? Пей во здравие.
— Можно и выпить? Ну, баба!
— Пейте хоша все — я брату у его на дому сварю... Именины-т послезавтра — будем ночевать.
— Кинь, брата! Не поминай...
— Мы добрые — остойся с нами.
— Ге, черти! Дайте мне!
— Все вы службу государеву справляете, за ворами, чтоб их лихоманкой взяло, караулите — пейте, иному кому, а вам не жаль!..
Десять стрельцов, чередуясь, жадно сосали из чары густое питье.
— Диво! Во всем городу чорт народ, а вот нашлась же крестьянская душа.
— Стой пить, — ты третью, мы только по другой. Не удержи, то все один вылакаешь!
— Пей, да мимо не лей!
— Э-эх! Чорт тя рогом рогни.
В лунном сумраке заискрились глаза, языки и руки заходили вольнее.
— Полюбить ба экую?
— Не все разом — пейте, полюбите, время есть — по мужке я давно скучна...
— Э-эх! Да мы те, рогай тя бес, сразу десяток подвалим.
— Слышь, парни! Любить жонку отказу нет — ты вдовал?
— Вдовею четри года.
— Я пищаль ужотко суну к степе?
— Кинь!
— Песок сух — ржа не возьмет!
— Сотона ей деется, коли ржа возьмет!

— Пропади она пищаль! Плечи мозолит десятки лет...
— Устряпала!
— Утяпала-а!
Кинув пищаль, стрелец запел, обнимая бабу:

Постой, парень, не валяй,
Сарафана не марай.
Сарафан кумашной,
Роботы домашной. Э-эх!

Другой, вихляясь на ногах, крикнул:
— Век бы твое питье пил!
— Дьяволовка! Зелье ж сварила — голова как не пил, глаза видят, а руки-ноги деревянны есть!
— Я первой тебя кликнул. Валиться будем, так я первой по тому делу?..
— Ладно — только допивайте!
— Допьем! Нешто оставим?
Один, пробуя взять с земли пищаль, бормотал:
— Робята! Как бы Сакмышев не разбрелся? Нещадной он к нам!
— Не трожь пищаль — кинул и я! Перст с ним, головой.
— Хо, хо! Степью шли, сулил водки, еще от него нынь не нивали.
— Сам пьет! Я б его родню голенищем...
— А кинем все, да в море?
— Его уведем!
— В мешке? Ха, ха, ха.
— А ей-бо в мешке!
— Ха, ха. Стоит чорт...
— Хо, хо...
— Ждите тут! Баба вам, я девок больше люблю — мякка ли, дай пощупаю?
— И я!
— К чорту свояков!
— Нет ты годи! Браты, эй! уговор всем итти к девке, ай никому?
— Всем! На то мы служилые...
— Вот хар-ы! [1]

---

[1] Хар — осел (персидское).

— Мы харп!

— Хар-ы!

— Годи мало! В Астрахани у ларей дозор вел кизылбашскому, учился сказать: ты бача! [1]

— И — дурак. Бача за девкой не бежит.

Девка в шелковом, светящемся при луне, сарафане, слыша сговор, отодвинулась к площади. Стрельцов вид ее манил и особенно разожгло хмельных, когда на их глазах она расстегнула ворот рубахи. Стрельцы, ворочая ногами, двинулись за ней, уговаривая друг друга:

— Не бежи, парни-и... Спужаете!..

— Перво — ободти-ть, друго — прижать в углу по-воински!

— Толково! Уловим так.

— Эй, только не бежи! Она, вишь, резва на ногу, мы тупы...

— Меня худо несут!

— И ме-е-ня становят ноги!

— Вертаемся?

— О-то, правда! Ближе к дозору...

Трое вернулись, сели на порог башни, где после разинского погрома вместо дверей была деревянная решетка, уже поломанная. Семь остальных упрямо шли за девкой.

— Уловим стерву!

— К башне ба? А то голова...

— Я б его, голову, новым лаптем!

Девка гибкая, яркая, подобрав подол сарафана, сверкая смуглыми коленями, обольщая голой грудью, недалеко впереди шла и, стрельцам казалось, подмигивала им, дразнилась. Дразнясь, пролезала из переулка в переулок сквозь дырья в тыне в хмельники пушисто-зеленые, пахучие, клейкие на белых и темных тычинах.

Стрельцы волоклись за ней с похабными шутками, будто связанные на одну веревку, распаленные желанием поймать, загнать ее в тупой закоулок. Иные жалели, что город чужой — места неведомы. Бестолково мотаясь на ногах шумной ордой, громко дышали, запинаясь, матерились — по их дикому пути как бы телега с камнями ехала.

— Запутались в городе!

---

[1] Бача — мальчик, заменяющий женщину.

— Сказывай-ко, а башни?

— Башен без числа — ходи к ним всю ночь, все не те, кои надобны!

Двое остановились делать необходимое. Роясь в штанах, с угрожающими, строгими лицами ткнулись друг в друга, выругавшись, обнялись, сели, и, как только плотно коснулись земли, одолел сон. Еще двое отстали, спрашивая: не чорт ли ведет их? Рассуждали о башнях, но башен в воздухе не видели. Трое других, подождав отставших, потеряли и забыли предмет своего обольщения, ругая город, что будто бы устроен на каких-то песчаных горах, где и ходить не можно. Сапоги тяжелеют от песку, разбрелись врозь, бормоча что-то о башнях, про дозор и пищаль, путались бесконечно в сонных, теплых переулках, очарованных зеленоватым маревом луны.

Баба огляделась, когда стрельцы ушли, подошла к башне-тюрьме, прислушалась к дыханию спящих трех служак, потрогала их за волосы, потом вынула завернутый под фартуком в платок небольшой бубен, ударила в него наружной стороной руки с перстнями. На дребезжание бубна из-за башни вывернулся тонкий юноша со звериными ухватками, в выцветшем зеленом кафтане — его лоб и уши как будто колпаком покрывали черные гладкие волосы, ровно в кружок подстриженные. Баба сказала без ласки в голосе:

— Хасан, как уговорно — сломай решетку, залазь в башню и с Федора да старика спили железы.

— Ходу я! Хуб [1]... Иншалла [2].

Юноша, изгибаясь, прыгнул на решетку, она хрястнула и развалилась, его фигура мелькнула зеленоватой полосой в глубине башни, и шаги смолкли.

10

Все закованные Сакмышевым казаки и стрельцы вышли из башни. За ними, как призрак мутнозеленый, мелькнула фигура гибкого юноши с черной головой. Исчезла и женщина с кувшином. На площади делились на пять, на десять человек, двигаясь,

---

[1] Хуб — ладно, хорошо.

[2] Если захочет бог (персидск.)

переплетаясь с тенями в лунном свете. Иные, получив приказание, крались с саблями, топорами к домам, где спали стрельцы, приведенные головой, и там, куда поставлены дозоры у домов, шла молчаливая, почти бесшумная борьба без выстрелов. Яицкие копчали гостей астраханских, а кто сдавался, того обыскивали, отбирали оружие, отводили на площадь временно под караул. В левом и правом углах степы в башнях работали лопатами по пять человек, иные катали бочонки.

От тюремной двери перетащили в сторону сонных стрельцов, трясли их за нос, за уши, но стрельцы спали мертвецки, непробудно.

— У Федора не баба — ведьма.

— Пошто?

— Сварит зелье, хлебнешь — ум потеряешь!

— Ох, и мастерица она хмельное сготовлять!

— Эй, у вас фитили?

— Ту-та-а! Рано еще сверби да трут сунь, без труту не затравит порох!

— Ведаю, брат! Какой сотона от Москвы ли Астрахани наедет с чином, тот и суд-расправу чинит да сыщиков, палачей подбирает яицких пытать...

— На Яйке пошло худое житье, царевы собаки одолели!..

— Ге-х! Кабы под царевы терема довел бог вкатить бочечки!

— Ужо как Степан Тимофеевич! А то вкатим пороху под царевы стены!

Высокая фигура в синем полукафтанье с саблей двинулась к башне.

— Браты! Как дело?

— Вкопано, Федор Василыч!

— А, так. То подольше фитили и сами пять на площадь — гостей взбудим, в сполохе посекем, кто не с нами...

— Казаки да стрельцы наши справны ли?

— Казаки и горожане справны: нынче астраханцам дадим бой, не таков как на море!

— Засады есть?

— Всего гораздо!

— Еще мало подроем и фитили приладим.

Сукнин пошел к другой башне.

Сакмышеву голос отца сказал:

— Афонька! Проспишь зорю, барабан!

Сонный голова повернулся на лавке и упал на пол. Ударился головой о половицы, глухо стукнул затылком и задниками сапог. Сел на полу.

— Кой, прости бог, говор? Чул, будто мертвый батя сказал, помню: «барабан!»

Голова разоспался, встав, потянулся к лавке — недалеко в углу трещало. Протер сонные глаза, увидал, что факел покосился, прислонясь к древней божнице, поджигал ее — у икон дымилась фольга. Эк тя угораздило! Взял с изголовья шапку, зажал факел и захлопал огонь. Что-то взвыло за окнами, голова отодвинул сплошной деревянный ставень маленького окна, прилег ухом и подбородком на подоконник. Сакмышеву послышался чей-то окрик, в ответ смутные гулы. Не надевая шапки, голова спешно вышел из избы. Пять бердышей дозорных стрельцов были воткнуты рукоятками в землю, лезвия сияли, как пять серпообразных лун, упавших и не достигших земли.

— А, стрельцы! Своровали, дозор кинули!

Мотаясь взад-вперед, голова стоял перед бердышами и чувствовал, колет за ушами, будто шилом, и по широкой его спине каплет холодный пот. Мотаясь, вытянув шею, стал слушать — услыхал свист, острый, разбойничий, какой не раз слыхал от казаков на Волге. Свист повторился в другом месте.

— Безоблыжно — то воры наплыли с моря. Проспал я, — бежать! В степь бежать, може на своих людей разбредусь?

Скоро вернулся в избу — зубы начали стучать. Надел кафтан, пристегнул саблю, сорвал с шапки, отороченной бобром и островерхой, парчевой лоскут, знак начальника — сунул в карман, взял из угла на плечо тяжелую пищаль. Выйдя, пошел к воротам в степь. У пилонов ворот с той и другой стороны попрежнему стоят два стрельца, голова проходил мимо их, бормоча привычно, хотя слова путались в пушистых усах:

— Не спи, робята! Водки ку-у-плю...

Стрельцы протянули поперек ворот бердыши.

— Приказ! С полуночи за город и в город не пущать.
— То мой приказ — я вам начальник, голова!
— Кто?
— Голова Сакмышев Афанасий...
— Шапка не та!
— Рожа чужая, такого не ведаем!
— Да что вы?! Пустите меня.
— Отыди-и!
— Засекем, полезешь!
Голова пошел от ворот, подумал:
«Воруют аль приказ мой держат? Не пойму! Ужли пропадать? К башне бы без караулу одному итти опас... По рожам вижу — воруют стрельцы! Закопаться бы куды?..»
Оглядываясь, он спешно свернул в сторону с дороги, почти сплоз со сгорка к ручью, сунул в куст тяжелую пищаль, согнулся, залез в предбанник черного сруба, сел на лавку, дрожал и плотнее запахнулся в кафтан.
— Надоть кафтан обменить, нарядной много, дареной воево-о-д-ой...
Его мысли потушило страшным гулом. Казалось, затряслась вся гора, на которой устроен город. С потолка бани хлынул песок и мусор, голова подпрыгнул на лавке — гул повторился еще.
— Эх, не ушел! Проспал... Нет, стрельцы воры, я учуял... теперь беда, Яик зорят, рвут стены?..
Он, тихонько крадучись, чтоб не скрипеть дверью гораздо, пролез в баню, ощупью нашел полок, хотя в оконце было отблеском луны от ручья и под полком серебрилось на черном светлое пятно, залез на полок, все еще ощупываясь, вытянулся головой к окну. Лица его не было видно, лишь в отблеске лунном светилась широкая борода. Голова, открыв рот, почти не дыша, слушал и разобрал крики:
— Тащи, робята, пятидесятников, полуголов!
— Се-еки!
Сакмышев ждал, когда крикнут его имя и чин, прошептал:
— Конец мне: стрельцы сошли к ворам!
Услыхал знакомый голос, последний, что он слышал.
— Должно в бане шукать?

— Вот они стрельцы от воро-о... — и быстро скорчился вглубь полка, утянув голову.

У дверей бани затрещал насыпанный к порогу щебень и уголь, завизжала сухая дверь, откинутая торопливой рукой.

— Эй! браты! Тут ен.

— Тяни чорта!

12

На площади Сакмышев не узнал города. Вилась на большое пространство серебристая пыль, вся площадь была завалена кирпичем, обломками камней и штукатуркой — передней стены города не было, не было и угловых башен, одиноко торчала воротная серединная башня с церковью, железные ворота в башне были сорваны, рвы кругом засыпаны обломками кирпича и дымили той же серебристой пылью.

Толпились люди в бараньих шапках, в синих балахонах, стрельцы в голубых и малиновых кафтанах. Оглядывая своих стрельцов, Сакмышев не узнал их: лица приведенных им из Астрахани казались злыми и непокорными. Сакмышев слышал, как голоса обратились к кому-то:

— Васильич! Как с воротной, сорвать ее нешто?

— Нет, браты! — ответил высокий в синем полукафтанье; голова узнал того заводчика Сукнина, которого ударил кулаком, когда поймали на море казаков.

— А уж заедино бы рвать-то?

— Воротная башня, вишь, с церковью: отцы и деды в ей веру справляли. Не мешает нынь, пущай стоит!..

«Стрельцы сворovали... проспал я...» — думал голова.

Высокий, зоркий зашагал к Сакмышеву.

«Посекет! За саблю беретца!»

— Как есаул? Посечь его — голову?

— В мешок! Пущай Яйк мерит... царевым гостям в Яйке места много...

— Хо,хо! В мешок! Тащи, робяты-ы, рядно-о.

Голова был высокий ростом, весь не поместился в мешке, лицо и борода выглядывали наружу.

— Затягивай вязки!

Сакмышев, похолодевший, молчал; его в полулежачем наклоне прислонили к груде кирпичей, собирали камни, совали к нему

в мешок. Есаул Сукнин оглянулся на Сакмышева и как бы вспомнил.

— А, да, забыл! — подошел и пнул сапогом с подковой в лицо Сакмышеву.

— Ай! а-а-а... — Голова начал выть, не смолкая, из глаз его текли слезы, из носа, изуродованного сапогом врага, ползла по бороде густая кровь.

— Моя ему послуга в память и долг!

Голову в мешке, набитом вместе с ним кампями, подкатив телегу, тащили к берегу реки свои же стрельцы в малиновом.

Было утро, с моря шли прохладные облака туманов. На устье Яика и моря грузились хлебом, мукой и порохом плоскодонные паузки. Топоры там и тут грызли дерево, и падали на землю влажные щепы — делались на паузках мачты, крытые будки. На иных судах на новых мачтах уже белели и синели паруса. На горе на груде кирпичей плакала высокая нарядная баба — плакала, причитывая по-старинному, как над покойником. Сукнин Федор крепко обнял причитающую и медленно пошел прочь, сказав:

— Остался я от Степана Тимофеича, а ты знаешь, Ивановна, что с того пошло?

— Ой, медовой мой! Куды я без тебя?

— Милостив бог — свидимся-а! — Сукнин спускался к берегу.

Седой, без шапки, весь в синем, старик Рудаков кричал:

— Поспешай, есаул! Дела много указать надо людям.

— Иду, атаман! — И, оберпувшись, крикнул: — Золотая моя Ивановна! Не горюй! не рони слезу — свиди-п-мея-а!

С кручи горы со всего разбега в паузок к Рудакову прыгнул черноволосый юнопа в зеленом выцветшем кафтане.

— Иншалла! Ходу з вамы...

— Ладно, Хасан! Иди, за послугу уговорно свезем в Кизылбаши.

Оглянувшись на гору, Сукнин не утерпел. Вернувшись к жене, обнимал ее, она висела на нем и плакала навзрыд.

Рудаков крикнул:

— Не медли, Федор! Сам знаешь: конной дозор в степи углядел, воинской люд с воеводой идет к Яйку, надо нам упредить царевых сыщиков — самим уволокчи ноги и к батьку Степану

уплавить стрельцов, казаков да и тех, что от Сакмышева к нам пристали-и!

— Знаю, атаман, и-и-ду! Прощай, кованая — не те, вишь, времена зачались, чтоб казаку дома сидеть!.. Не зори сердца — поди! Иду, атаман.

На берегу стрельцы, опутав веревками мешок с плачущим головой, пели:

— Дайте ходу — дяде в воду-у!

— А-а-а-а! — слезливо, по-детски, скулило в мешке.

— Го-го-о-п!

Мешок взвился над омутом. Булькнув в Яик-реку, он погрузился, пуская пузыри, белые дуги и кольца волн.

— Плавай, воеводин дружок!

— Не сыщешь про нас больше!

Через час красно-синяя, на серых барках с цветными парусами, ухая и напевая песни, отчалила яицкая вольная дружина, стучали и скрипели уключины угребающих в Хвалынское море, а к вечеру того же дня пришел из Астрахани голова Василий Болтин чинить Яик и наводить порядок.

В ХВАЛЫНСКОМ МОРЕ

1

Чертя белесыми полосами безграничную сплошную синеву, слитую с синим небом, идут струги, волоча за собой челны по Хвалынскому морю. Ревут и скрипят уключины. Паруса на низких смоленых мачтах подобраны, и кое-где на черном треплются флаги. Караван Разина растянулся далеко, хвост судов исчезает в мутной дали. Спереди назад и сзади наперед изредка идет перекличка:

— Неча-ай!

— Не-е-ча-а-й!..

В синей дали чернеют точки островов.

— Ладно ли идут струги?

— На Восток идут, есаул!

— Острова зримы? Островов тут не должно быть!

В глубоком чреве большого струга, на нижней палубе, устланной ковром, лежит атаман с названным братом Серёжкой Кри-

вым. В трюме, мотаясь, горят свечи, падают, гаснут и, вновь зажженные, вспыхивая и оплывая, горят. Узкие окошки в трюме затянуты пузырем; в окошки бьет волной, барабанят дробно брызги. Названные братья пьют из глубоких чаш, разливая на кафтаны хмельной, переварный мед. Боярский сын Лазушка, чернобородый, в зеленом полукафтанье с серебряными ворворками [1] и петлями поперек груди, возится в сундуках, плотнее составляя медные кувшины с вином. В углу трюма болтыхаются смоляные бочонки с медами, вывезенные Сережкой в дар атаману с родины — «Переварный крепкий» да «Тройной косатчатой», связанные в рогожах веревками, чтоб море не катало их по трюму.

— Чаяли меня, брат Степан, воеводы не пустить в море, да на Карабузане я-таки с робятами шатнул одного — стрельцы от бою раскочились, а голота ихний еле душу уволок... Я же к тебе сшел с людьми да подарками... — говоря, Сережка, вытянув шею, вслушивается в плеск волн; блестит в его правом ухе крупное золотое кольцо с яхонтом.

— Чего, Сергей, как будто конь к погоде, голову тянешь?

— Чую я и мекаю, Степан, что не острова углядели на море наши — то каторги с Гиляни.

— Очи есть у дозорных, пей!

— Пью, пошто не пить? Да море я гораздо знаю, и слух к ему у меня нечеловечий... Будто скрозь сон битву — чую голоса.

— Пей же! Не плещет море, а то ко рту не донесешь... Скажи, — ты, как видок на моей свадьбе, должон все доводить про жонку: что там моя Олена?

— Взялся, знаю... Батько хрестной, Корней атаман, с любовью к ей лезет, дары дарит...

— Сатана! Ну, она как?

— Да ничто! Держит себя, дары берет, а держится... Робята у тебя — ух! Старшой Гришка удал и ловок, хоть в море бери, а малой крепыш буде козак... Ну, Фрол, твой брат — баба старая... ничего ладного... Домрой бренчит песни, по свадьбам ходит... Ира, Степан, во заговорило, чую — то каторги!

— Пьем! Ухо мое тож дальше чует... не векоуша — и я чую.

— Должно наверх?

— Пей, идем!

---

[1] Пуговицами-шариками.

Вверху в синеве и черном по бокам стругов машутся черные головы, скрипят уключины, им невпопад подпевает море. По синей ширине, смутно белея, крутятся кольца волн и кудри пены. Порой, на темном пологе качаясь, вскипает светлая голова в серебряной кике с алмазными перьями. Явственны вдали черные точки. По-звериному на высоком носу струга, лежа на животе, Разин с Сережкой глядят вдаль, втягивая грудью запахи моря и ветра — иногда несет на них жилым.

— Чуешь?

— Чую, Сергей!

— И дух жилой?

— Чую и слышу! — Разин встает, по каравану гремит:

— Не-ча-а-й!

— Не-ча-а-й!

— Соколы! Где есаулы?

— Батько, есаулы в переднем стру-у-гу! На энтом един спит крепко — Мокеев Петра и добудится боязно, со сна дерется, а бой его сам ведаешь! Ужо коли спробую!

— Не шевели Петру — пущай, кличь иных!

Казак, стоявший в синеве и ветре, черный, двинулся вдоль борта, тычась в головы гребцов.

Разин, тронув за плечо Сережку, сказал:

— Сила, брат Сергей, у того Петры едино, как веком у запорожца Бурляя — коня с брюха здынет!

— Э, брат, — отколь такой?

— Сполз от воеводы на Волге, в бой идет, как домой. И младень умом — всему рад. Седни дал ему резную запану — медь золочена, так он чуть не в землю зачал кланяться... робенок а сила страшная.

— Добро! Силу почитаю...

Раздался длительный разбойный свист. Свистел казак, созывая есаулов — свист заглушил скрип уключин. На свист послышались крики.

— Идем!

На струг к атаману полезли, мутно белея головой, Иван Серебряков, за ним человек ниже ростом и голос Ивана Черноярца:

— Где атаман?

Волоцкий, привычно щелкая в ножнах саблей, Рудаков на

кривых тонких ногах, высокий и тощий. Последней поднялась на борт стройная фигура, в черном от сумрака полукафтанье — Федор Сукнин. Есаулы обступили Разина. Разин, повернувшись к хвосту каравана, подал голос, и по всему длинному ряду судов загремело:

— Ге-ге-й! Заказное слово: заронить — итти тихо, на глаз!

— Приказывай, Степан Тимофеевич!

— Я лишь спрошу, браты, что зримо впереди?

— Мнится, быдто струги?

— Пошто! — то острова.

— Галеры, ясаулы, — ей бо!..

— Бусы от Гиляни! Они?..

— Да, браты, то не островья — струги! Указать казакам лезть в челны... Как и доводили лазутчики, стретят нас бусы кизылбашски... В челны не брать пушек, брать винтовальны пищали — в нужде бить пулей... Оглядеть ладом веревки у железных кошек! Для приметывания огню взять топоры коротки, не бердыши, багры тож! Итти на Восток, по стороной! Для отдоха гребцам сбавим стругам ходу — челны забегут вперед. Ждать челнам боя пушки, тогда приступать к каторгам — рубить брюхо кораблей пониже верхней волны. И еще: всяк десяток челнов идет с есаулом, в одном же будут стрельцы, я и Серебряков Иван!

— Добро!

— Так, батько — идем!

Снова свист и голос:

— Козаки! Ладь челны в ход!

По свисту и голосу рассыпалось в синем сверкающее черное. Голос атамана умолк.

2

В сгибе с востока к северу гиляпского берега, в глубоководной бухте, обставленной невысокими горами с мелкорослым кипарисом, сгрудился большой караван судов гилянского хана. По приказу хана суда ждут рассвета. На большом судне, с бортов украшенном коврами, хан собрал военный совет. На судне для хана невысокий светлый дом из пальмовых досок с полукруглыми окошками, в узорчатых решетках рам — стекла. Внутри ханская палата по стенам и полу крыта коврами. В глу-

бие возвышение, похожее на большое широкое ложе, устланное золотыми фараганскими коврами. На него вели три золоченых ступени. Плотно к стенам высокие резные черного дерева подставки, на них горят плошки с нефтью. Две плошки горят близко к хану на верхней ступени. Лицо хана в мерцающих отсветах смугло-бледное, покрытое на щеках и лбу красноватыми пятнами, длинная черная борода переливает синевой. Хан сидит, подогнув ноги, перед ним цветной кальян, но хан курит трубку слоновой кости с длинным чубуком, с золотыми украшениями. По правую руку хана юноша, как и хан, одет в голубой плащ; юноша курчав, черен волосом, смуглый, с выпуклыми карими глазами; под голубым плащом юноша одет в узкий шелковый зипун, по розовому зипуну пояс из серебряных аламов [1] с кинжалом. Юноша сосет кальян. На ложе у кальяна лежит серебряная мисюрка,[2] такая же, как у хана на голове, мисюрка хана с золотым репьем на макушке. Перед ханом в длинополых бурках, мохнатых и черных, в панцырях под бурками с кривыми саблями сбоку, в мисюрских, без забрала шлемах, стоят вожди горцев и родовитые гиляне. Впереди седой визирь без шлема, с желтым морщинистым лицом — седые усы, бурые от куренья табаку. По коричневому в шрамах черепу визиря вьется седая коса, выдавая его горское происхождение. Старик в плаще вишневого цвета, под плащом синее заправленное в голубые, широкие вверху и узкие книзу, штаны. Голубое и синее разделено широким желтым кушаком, за кушаком пистолет. Военачальник и все тюфянчеи,[3] в башмаках с медными загнутыми вверх носками. Зная, что хан не любит людей с опущенной головой, все подчиненные, начиная с визиря, глядят, подняв лицо. Хан молчит. Молчат все. Вынув изо рта трубку, хан плюнул в огонь ближней плошки. Хан сказал, как говорят в Исфагани, по-персидски:

— Шебдиз, сын мой, без панцыря, которого так не любишь ты, будешь сегодня отослан в Гилян. Ты испросил у меня слово — взять тебя в бой, но вижу твое упорство и еще скажу: без панцыря в бою не будешь!

---

[1] Аламы — серебряные бляхи.

[2] Мисюрка — египетский шлем без забрала. Миср — Египет.

[3] Тюфянчей — по-русски боярский сын.

Юноша кинул мундштук кальяна, встал, поклонился хану и, приложив пальцы правой руки к правому глазу, сказал:

— Чашм! [1] Так хочет хан: иду надеть панцырь. — Прыгнув, не сходя по ступеням, резвой походкой вышел.

Хан, обводя глазами стоящих, заговорил:

— Ашраф-и Иран! [2] Ко мне прислал отборных воинов горский князь Каспулат Мусалович, правоверный сын пророка, и предупредил, что к Гиляну идут морские разбойники, ход их к нам от острова Чечны, где стояли их бусы. Они требовали от князя, стоя у острова, вина, женщин и оружия. Князь, чтоб оберечь берега свои от войны, послал им вина, после того они уплыли к нам. Мы же не ради славы, — славы не может быть от победы над сбродом воров! — мы дадим бой и сокрушим навсегда чуму, блуждающую по Кюльзюм-морю — иншалла! [3] Али Хасан, хочу знать твои мысли о войске и кораблях моих!

Военачальник приложил руку в глазу.

— Чашм! Люди гор, призванные тобой воины, смелые на суше, привычные к бою в горах и долинах, — в море же люди гор, великий хан, похожи будут на кошку в воде...

— Я, повелитель Гиляна, отвечу тебе вот: сам великий шах Абас ду [4] позволил мне брать лишь того, кто храбр, и я взял достойных воинов.

— Великий хан! Он гневается на старика, но приказывай — умолкну, с непокрытой головой пойду в бой и поведу твои бусы. Я не боюсь, не боялся войны.

— Бисйор хуб! [5] Говори еще.

— Великий хан! не по моей, но твоей воле, повелителя Гиляна, должно разгрузить от войска бусы, оставить на них низких людей мало, дать бусы на разграбление гяурам. Вместо вина нагрузить суда тем, что запрещено правоверному кораном: вином нагрузить суда! На берегу же из лучших стрелков сделать засаду — во все годы моей жизни на вино были жадны приплывшие с севера грабители... Потом, когда они овладеют добычей, той, что мутит ум человека и глаза воина делает слепыми к бою

---

[1] Глаз. В смысле — слушаю!

[2] Благородная Персия.

[3] Если так захочет бог.

[4] Ду — по-персидски два или второй.

[5] Очень хорошо.

из карабина, пустить для приманки на берег перед галерами негодных женщин — они увлекут серкешь [1] туда, куда им укажем, и там уничтожим их, иншалла!

— Али Хасан, ты советуешь как гяур, а не сын пророка! Ты велишь предать поганым женщин Гиляна?

— Великий хан! Негодных женщин.

— Мне смешно тебе, почтенному сединой, говорить, что негодных женщин в Персии нет! В стране правоверных нет негодной женщины, которая бы пала в объятия необрезанного гяура, и такой нет, которая бы презрела закон, открыв лицо поганым!

— Великий хан, сколь понимаю я, — опасность велика. С грабителями идет к Гиляни древний вождь, имя его воодушевляет их, как правоверного имя пророка, — имя того вождя, благородный хан: «Нечан-и». Еще в юности моей помню — он грабил берега Стамбула, сжег Синоп. Как чума, пугал и опустошал селения Ирана. Пока они с ними, грабители, что идут к нам, непобедимы!

— Бисмиллахи рахмани рахим! [2] Мы победим, и Кюльзюм-море поглотит их, как падаль.

Выдвинулся вперед один из горских вождей: распахнув бурку, колотя по груди, звеня панцырем, он взмахнул смуглой рукой и сказал также по-персидски:

— Благородный хан, нам, вольным кумычанам, знакомы казаки с далеких рек Тананда, где живут они! Мы в горах много раз побивали их на Куре и Тереке, отсюда проходят они в Кюльзюм. Без числа в горах гинют казацкие головы! Твой же визирь Али Хасан, — да простит ему пророк! — слаб и стар. Он горец, но забыл про свой народ и не верит уже тому, чем славны горцы.

Хан поглядел на молодого вождя: высок ростом, худощав; на узком желтом лице горят смелые глаза. Хан встал:

— Бисмиллахи рахмани рахим! Будет, как сказал я. И готовьтесь к бою... скоро заря! Я считаю врагов презренными! Имея много храбрых кругом, — стыдно говорить о ворах отважным. Выводите в море корабли! Тебе же, Али Хасан, скажу: не ты будешь военачальник в бою — сам я!

---

[1] Серкешь — неподчиняющийся, «гордоголовый».

[2] Во имя бога милостивого и милосердного.

Все приложили правую руку к правому глазу, ответив в голос:

— Чашм, великий хан!

Синее мутно голубело. Корабли, погромыхивая железом якорей, теснились из бухты в голубое, начавшее у берега зеленеть. На кораблях звучал предостерегающе крик:

— Хабардор![1]

3

На носу челна с гребцами Разин стоит в черном кафтане, левая рука, тоныря полу, уперта в бок, правая держит сатроновый чекан на длинной рукоятке. Гребцы почти не гребут, многие, схватив пищали и топоры, ждут, когда будет пора стрелять, рубить. Высокий чужой корабль медленно идет, распустив паруса; по его черному боку отливает синим блеском.

И грянул страшный голос:

— Пушкари, трави запал!..

На голос Разина со стругов, собранных на море клином, ответили гулом по воде пушки:

— Сарынь на кичку кораблям!

— Алла!

— Мы победим — иншалла!

— Секи днища!..

Из голубого неслышно выдвинулись черные челны, как акулы с рыжей спиной из запорожских шапок. Нос каждого челна плотно уперся под выпуклые бока вражьих кораблей — топоры начали свою работу: в порубленные дыры в желтом свете занимавшейся зари полезли внутрь кораблей казаки в синих куртках. Стук, грохот, звон цепей на кормах судов и крики:

— Дуй конопатчиков вражьих!

— Приметыва-ай им огню к пороху-у!..

— Гей, соколы! плотно держи у кораблей челны!

Боевой челн с атаманом проходил медленно вдоль всего каравана. Разинцы спешили крючьями персидские суда. На корме челна атаманского, среди растопыренных пищалей, согнулась в рыжей шапке фигура Серебрякова. Есаул зорко наблюдал за боем на судах, выискивая начальника; найдя, прикладывался

---

[1] Берегись.

к очередной пищали: вспыхивали два огня: один освещал лицо, другой на конце дула, и редко какой гордоголовый горец или перс оставался в бою — пуля есаула била метко.

— Добро, Иван!..

Серебряков кидал в челн разряженную пищаль, брал другую. Стрелец на дне челна заряжал пищали.

— Беру, батько, крашеные головы тараканьим мором!..

— Ты молодец!..

Между сцепленными судами шнырял челн, появляясь то с одной, то с другой стороны каравана. В челне на носу с зажженным факелом в одной, с коротким багром в другой руке на поворотах, сверкая кольцом в ухе, мелькала фигура Сережки, среди выстрелов и воя слышался его резкий как по железу ножом голос:

— В брюхо галер — дай огню!

— Чуем!..

— Ладим огонь, ясаул!

— Эге, гори-и!

4

Над ухом сонного бывшего сотника Мокеева кто-то крикнул:

— Ну-тко, Макарьевна! — Хлопнула, сотрясая воздух, пушка.

Мокеев сел.

— Эк тя убило! Проспал бой?..

— Не бежи, коза, вподмогу — волк паш! — успокоил Мокеева голос.

На корме мотаются две головы: дюжий казак в синем и седой без шапки Рудаков Григорий — ветер шалит серыми космами старика. Рудаков закричал помощнику:

— Крепи, козак, руль во сюды! — закричал, мотнув головой старчески, но задорно.

Мокеев, сидя, шарил оружие, в голове шумело, трезвонило, ухало. Рядом лежали пищаль и топор. Пощупал на груди дареную Разиным бляху — успокоился, взяв топор, встал.

По голубым волнам плескало парчой зари. Пошел мимо гребцов, — те разминают плечи и руки, от голов пар, рубахи черные прилипли к телу, мокрые. Ржавые кошки прочно въелись в дерево больших кораблей, сцепленный караван кажется чудищем:

иные корабли на боку, на ту и другую сторону щетинятся обрушенные мачты. В дырья на боках кораблей лезут синие куртки. Те корабли, что стоят, — светлеют мачтами, пестреют цветным зарбафом флагов в узорах непонятных букв, и кажется Мокееву, что не люди, ревет сам голубой, желтеющий рассветом, воздух:

— Нечай!..

— Секи-и!..

Вспыхивают огни и огоньки, трещат, бухают знакомо пищали. В уши лезет родная, многоголосая матерщина, и рвется снизу от самой воды стук топоров, хряст дерева.

— Топят? Днища секут!

С тяжелой головой, но привычно спокойно переваливаясь от качки с ноги на ногу, есаул шел вперед, напоминая большого зверя, что идет к свалено́й добыче. Мокеев перелез на высокую корму чужого корабля, увидал, что казаки режутся с кизылбашем «в притин». [1]

— Тихий Дон!

— Бисмиллахи рахмани рахим!..

— Дай подмогу я?..

Впереди от воды резнул голос Сережки:

— Горн; чорт!..

Внизу корабля страшно бухнуло: вверх полетели дерево, якоря и звенья цепей. Персы, кинув резню, побежали на другой корабль, иные срывались в море.

— Конопатчиков бей!

— Еще огню в порох! — звенит голосом Сережка.

— На алла! [2]

— Иа! [3]

— М... твою в подпечье — бой проспал!..

Зацепив топором высокую корму в золотых закорючках, Мокеев перелез на другой корабль. На палубе судна зеленый, как большой жук с рыжей головой, в полукафтанье с красным кушаком, утыканный кругом пистолетами, от мачты к мачте перепрыгивал Лазунка, стрелял, не целясь: пуля его пистолета била персов под мисюркие шлемы — промаха не было.

---

[1] Впритычку, вплотную.

[2] Боже мой!

[3] Худо!

Ближе к носу корабля высокий перс с бородой, крашеной в огненный цвет, кричал своим, махал кривой саблей, тыкал в сторону Лазунки, видимо, злясь, что персы прятались от выстрелов:

— Педар сухтэ![1]

— Пожар зришь?.. Я те вот! — Мокеев шагнул к персу.

— Педар!.. — крикнул перс и в трех шагах от Мокеева упал без движения. Лазунка пулей сбил с него шлем, развороти в череп.

— Ох, и меток, чорт!

Перешагнув перса, Мокеев забрался на другой корабль.

— Проспал!

Мохнатый из-под палубы, с левого плеча, вывернулся горец, сверкнули глаза и огонь пистолета. Мокеева тяпнуло в грудь; пуля, встретив препятствие, взвизгнула прочь.

— Педар сухтэ! — желтая рука сверкнула сталью.

Мокеев как бы отпихнулся резко и коротко наотмашь лезвием топора, не взглянув вниз под ноги, звеня подковами, скользя в крови, пошел.

Горец, лежа на палубе, сучил ногами, мелькали медные носки башмаков; его голова, брызжущая мозгом и кровью, была разрублена поперек.

— М... твою!.. Где ж бой?! — шагнул еще и, привычно сгибаясь, пряча руки с топором назад, остановился. Поперек палубы, раскинувшись как хмельной, лежал Черноярец; светлые волосы запеклись в крови, наискосок веселого лица застыла кровавая лента.

— Такого парня? А, дьяволы!..

— Соколы — кру-у-ши!

По зеленеющему, дышащему влажными искрами, несется голос и как бы в ответ атаману пуще треск, звон железа и запахи моря, смешанные с запахом крови.

— Ихтият кун, султан-и Гиляш![2]

— Живы — иншалла!

— Иа, великий хан!

Мокеев слышит рокочущие чужие слова, корабль завален

---

[1] Отец твой сожжен в аду! (Площадная брань).

[2] Опасайся, повелитель Гиляна!

казацкими трупами — по мертвому и мягкому лезет мимо пальмовой палаты... На носу корабля рубятся казаки и стрельцы.

Там же, недалеко к золоченому носу корабля, окруженный мохнатыми в шлемах, отбиваясь и нападая, бьется с разинцами чернобородый в голубом. Под голубым, сверкая, звенит кольчуга. Казаки отступают от кривой сабли — сабля чернобородого брызжет кровью, голубой рукав до локтя мокрый, в крови.

— Алла, ашрэф-и Иран![1]

— Пусти-ко, робята! — Мокеев взмахнул топором: — вот те блин с печи!..

Сабля чернобородого, взвизгнув, сверкнула кусками в море.

— Редко гостишь! Ешь!..

Второй удар — резкий и рушащий, как молния. От него из-под голубого белым огнем брызнули кольца панцыря, светлый шлем запрокинулся, чернобородый осел, голубое на нем быстро мокло, чернело — туловище расселось от левого плеча до пояса.

— Иа алла!..

— Благородный хан!..

Мокеев повернул назад, выругался крепко. Впереди горцы, сбросив бурки, падали в море, казаки рубили их. Назади, куда шел Мокеев, кроме своих живых и убитых, никого не было — море заливало палубы вражьих кораблей.

— Бражник! Черноярца проспал и бой тож.

Мокеев швырнул топор. Еще бегали люди, кричали, где-то сказали чужие:

— Иншалла!

Свои кричали:

— Кто ен? пестрой, как кочет!

— Брат хана, али сын! Перст его знает!

— А хан?

— Самого хана Петра Мокеев посек до пят!

— Бою не видал, а хана убил? Лгут!

— Мы-то живы. Волоцкого с Черноярцем уходили...

— У хлеба, брат, не без крох!

— Эх, Петруха! Двух есаулов проспал...

Грянуло в воздухе:

— Соколы-ы! В челны забирай рухлядь и ясырь.

---

[1] За бога, благородная Персия.

— Чуем, ба-а...

— Велит! Ташпи ханское из избы корабля...

— А ну и кораблик! Хоро-о-ш.

Стали слышны всплески волн — шум боевой улегся.

Из тумана смутно желтеющих берегов доносило пряным запахом неведомых растений. Перекатываясь зелеными всплесками, искрилась вода.

— Эх, брат! Да тут и помереть не жаль — не то что на Москве... хорошо...

В ПЕРСИИ

1

Рыжий, длинноволосый, с маленькой огненного цвета бородой клином, в полосатом по серому белым кафтане без кушака, с медным крестом нательным под ситцевой рубахой, ходит по базарам, площадям и кафам человечек в Исфагани с утра до поздней ночи. Встречаясь с персами знакомыми, весело, с оттенком шутовства на веснущатом лице, кричит, машет синим плисовым колпаком.

— Салам алейкюм![1] — и, не слушая ответа приветствию, лезет в ближайшую гущу людей, везде болтает по-персидски бегло, иногда говорит по-арабски и, протараторив мусульманскую молитву, незаметно отплюется, скажет себе:

— А, чирей те на язык, Гаврюшка!

Если б не его бессменный русский кындяшный[2] кафтан и колпак московский, так издавна знакомый персам, да вместо тупоносых исфаганских малеков[3] рыжие сафьянные сапоги, то по говору, изученному юрким странником в совершенстве, его бы всяк принял за перса, хотя петушиной фигурой он мало похож на тезика. Перед православными, редкими часовнями рыжий истово бьет поклоны, ставит свечи и, попросив у монаха деревянного масла, мажет им ладони рук и волосы. Вид рыжего глуповато-кроткий, только черные, крысьи, узко составленные глаза зорки и таят нередко затаенную злобу. Смеясь, он шмыгает

---

[1] Здравствуй.

[2] Кындяк — бумажная ткань.

[3] Малеки — башмаки.

глазами по сторонам. Персы-торговцы, сидя на своих прилавках, шутят с ним и охотно дают курить кальян — он знает их поговорки и молитвы.

Забравшись в гущу базара, в грохот и шум, где ничего не слышно кроме извозчиков с возами на быках или верблюдах, увешанных узлами, не смолкая орущих во всю глотку: «Хабардор!» — рыжий лезет по каменным лестницам, извилистым, пахнущим чесноком, лимоном и по́том, забирается в каменные лавки, расписанные яркими красками, где делают чернила, сундуки и продают книги, перебирает арабские, персидские книги, особенно любит книги с «куништами [1] фряжскими», торгуется, часто повторяя: «Бисйор хуб!»

Проходя по пыльным, жарким от горячего камня улицам, с уклонами в гору, под гору, где непременно во втором этаже каменных плоскокровельных домов устроены для проходящих отхожие, откуда жидкий навоз течет поперек улицы, смешиваясь с пылью до поры раннего утра, когда приедут в фурах огородники подбирать унавоженную землю, рыжий, шагая через жужжащих мух и вонючие лужи, шутит:

— Аллах возлюбил бусурмана,— вишь, угораздил не ниже как с колокольни кастить! — огляпется, непременно прибавит: — Зато и вера их поганая...

Завидев проходящую персиянку в чадре и штанах, бежит за ней, думая на бегу:

«Авось, с энтой поговорю?»

Сорвав с головы колпак, потупив на худощавом лице крысьи глаза, шепчет внятно:

— Курбанэт шавам! [2]

Персиянка, покосясь на него из-под чадры, ответит:

— Отойди, гяур!

Рыжий, отстав, ворчит:

— У бусурман, Гаврюшка сын Колесников — не мять тебе бабьих телесов!

К ночи, побывав везде, где можно, рыжий залезал в свою каменную конуру. Перед окном без стекла и рамы, с одной лишь ланковой синей занавеской, сдвинутой на сторону, вместо стола

[1] Иллюстрациями.
[2] Я жертва твоя.

гладкий, большой ящик, повернутый верхом в бок; перед ним табурет черного дерева. Усевшись, ощупав табурет, рыжий, найдя табак, начинал курить трубку с кабаньей головой, медленно присасываясь к чубуку. Лицо его, беспечное днем, делалось другим, как будто бы, куря, рыжий собирал в памяти все виденное им за день. Покурив, густо отплюнувшись на каменный пол, лез в ящик, тащил оттуда склеенные листы бумаги, нащупывал медную чернильницу, гусиное перо, — клал. Зажигал, стуча в темноте по кресалу, две свечи, иногда плошку с нефтью, и начинал писать обо всем, что видел, слышал в столице шаха Аббаса.

Сегодня, как всегда, в Тайном приказе узнал, что с торгового двора сдут в Астрахань за государевой недочетной по товарам казной целовальник и приказчики. Сунув трубку, упер острые глаза в бумагу, сухая рука привычно побежала по листам. Написал подьячий в Москву по неотложному делу:

«Я, доброжелатель мой, государев боярин большой, Иван Петрович, дожидаючи маюсь, а воровских посланцев к величество шаху Аббасу нет и должно не будет в скорости: шаха Аббаса в-Испогани нету и, мекаю я, — воры тож в том известны. От тутошних послышал, — молвь тезиков много понимаю, — что Стенька Разин с товарыщи шарпают по берегам Гиляни и крутятся — то тут, то зде... где что приглядят. Я же всеми меры жду их не упустить, а как будут, пристану к ним, «что-де толмачом вашим буду». Инако к шаху мне пути нет. С ними же дойду шаха, скажу ему слово великого государя, как и указано тобой мне, милостивец боярин, и я чего для государевой службы рад хоть голову сложити. А чтоб не вадить время в пусте, такожде по твоему приказу, боярин Иван Петрович, в междуделы делом малым промышляю. И нынче я, холоп твой, пошел к людям Тайного приказу, что на государев двор кизылбашской товар прибирают, глядел у их книги записные, да лаял меня, малого человека, а твоего, боярин, и государева холопа, стольник Федор Милославский, а как я ему, боярин, твой тайной лист вынул, то и тебя, милостивец, заедино лаял же, ногой топтал, а кричал: «что-де он государев шурин и никого не боится, сыщиков-де зачнет ужо по хребту ломить!» Одначе я того мало спугався, расспросил целовальников, что с князь Федор по-

сыланы: Ваську Степанова да с ним ту в-Испогани в целовальниках терченин Митька Яковлев, а сказали, убоясь имени великого государя и твоего тайного листа, что-де, проезжаючи Тевриз город, покрали у их на Кромсарае из лавки русских товаров:

«Перво: собольих пупков три сорока по семи рублев — итого 21 р.

«Другое: шесть сороков по шти рублев — итого 36 р.

«Третие: одиннадцать сороков по пяти рублев — итого 55 р.

«Четверто: шесть сороков по четыре рубли — итого 24 р.

«А хто те товары крал, тот вор поймался на Кромсарае ж и отведен к базарному дараге[1] с краденым, и по приводу того вора целовальники Васька Степанов да Митька Яковлев, приходя к хану и иным тевризским владетелем, о сыску тех пупков били челом, и против их челобитья у того вора сыскано и отдано целовальникам только пол осма сорока, ценою по три рубли с полтиною.

«Всего же великому государю царю Алексею Михайловичу, всея великие и малые и белые Русии самодержцу, учинено убытку от служилых людей небрежепья — сто двадцать два рубли.

«И еще, боярин милостивец, Иван Петрович, есть у тех служилых людей порухи, да о том плотно не дознался — всеми меры буду дознавать. А сказывали мне целовальники, «что-де когда крали собольи пупки на Кромсарае, были-де мы хмельны гораздо от тевризского вина, а тое вино ставил нам стольник Федор Милославский за послугу». Какую послугу делали ему, — о том не сыскал, да сыщу.

«Боярин милостивец! Кои вести соберу о ворах, испишу без замотчанья, лишь бы попутчая на Москву чья пала. Такожде ты о кизылбашах любопытствуешь много, то о их свычаях и поганой вере, о зверях и кафтанах их и челмах обо всем особо испишу. Жалованное от тебя и великого государя из Тайного приказу мне за подписом моим дали — пять рублев, десять алтын, три деньги.

«Не осердись, боярин милостивец, что не все прознал! Кладу к тому многое старанье и докуку. Подьячей, а твоей холоп, мило-

---

[1] Начальнику базарной полиции.

стивец боярин Иван Петрович,

«Гаврюшка Матвеев, сын Куретников, в тайных делах именуемый Колесников».

2

Разин молча пил. Кроме Лазунки никто не смел приступиться к нему, даже Сережка и тот, издали взглянув на атамана, уходил прочь. На стругах тихо говорили:

— О Волоцком да Черноярце батько душой жалобит.

Грозный ко всем, Разин был ласков с Лазункой и даже хмельной иногда слушал его:

— Батько, а закинь пить!

— Э-эх! пришел я в окаянную Кизылбашу за золотом, да чует душа — растеряю свое узорочье. Вишь вот, Лазунка: два каменя пали в море, два диаманта!

— Ой, батько, хватит на тебя удалых!

Скрипя зубами, Разин углубился в трюм атаманского струга, не раскрывая даже узких окошек на море, не зажигая огня, пил, спал и вновь пил. Иногда, крепко хмельной, уставя дикие глаза куда-то, тянул из кармана красных штанов пистолет, стрелял в стену трюма. Пуля, отскочив, барабанила по бочонкам и ядовым.

— Наверху — море, солнце, ветер. Прохладись, батько!

— Лазунка, к чорту — в тьме душе светлее... Иван, Иван! Михайло...

На корме атаманского судна сидели, курили двое седых: Иван Серебряков и Рудаков Григорий.

— Беда, как пьет атаман!

— В породу, — отвечает Рудаков и, припомнивая бывальщину, скажет: — Много Тимоша Разя пил, больше других пил, ой, больше! Иной раз приникнет душой, голову уронит, а спросишь: «Ношто так, козак?» Скажет: — «Хлопец, сердце щиро — зато горе людское крепко чует...»

Струги проходили медленно, в виду берегов, повернувшись назад к острову Чечны. На носу всегда стоял за атамана Сережка, он почти не велел грести, рассматривал берега, поселки и города, будто изучая их. По берегам ездили на вьючных верблюдах купцы с товарами. Казаки говорили:

— А кинуться ба в челны да пошарпать крашеных?

— Тут крашеных мало, больше лезгины.

Сережка слышал говор казаков, но молчал, вперяя зоркий глаз в даль.

В медленно проплывающих мимо городах шумели базары, их шум покрывал всплески моря, рев верблюдов и надоедливо пилящий уши крик ослов. А когда прерывался, стихал к вечеру шум, слышался с мечетей монотонный, тягучий говор муллы, виднелась его фигура в чалме и борода, уставленная вверх:

— Но дейр молла азанвахти!..[1]

Утром струги медленно плыли мимо большого прибрежного города. Все в городе четко и ясно — город белый, из белого камня. В море стоит наполовину затопленная башня; за ней, начиная с берега, лежат торчмя и стоят большие плиты с надписями, а что на плитах сечено, никто не разбирает — древнее христианское кладбище. К плитам, отгороженные рядами камней, приткнуты могилы мусульман, виднеются покосившиеся каменные столбы, обросшие мхом с чалмами каменными. За кладбищем серая мечеть, за мечетью поперек города стена, за стеной круче в гору белые плоские дома и в глубине узких улиц опять белая стена, также поперек. За ней домики города тянутся в горы. Перед горами две башни белых, на вершинах гор лед. Облака, курчаво копошась, вьются, перегоняемые ветром среди хмурых отрогов.

Сережка стоит пригнувшись, запорожская шапка на затылке — его глаз по-орлиному ушел в глубину улиц белого города. За ним по палубе звон подков и лепивая, как будто волочащая ноги, походка. Голос трубой:

— Глянь, атаман!

Сережка огляпулся. Есаул Мокеев Петр тыкал себя в грудь:

— Вишь, батько дал мне золочену цацу...

— Знаю, Петра! Хошь быть по чину атаманом, тогда сойду с атаманского места, без спору! Ставай! Нет? Так што надо?

Сережка снова воззрился на город.

— Не то ты говоришь, атаман!

— А што?

---

[1] Я зову вас!

— Глянь пуще! Ту красу атаманску чорт мохнатый дунул из пистоля, изломил в ей все узорочье... Я-таки пихнул его топоришком.

— Пихнул? Ха, маленько?

— Чорт с ним — пал он. А дар атамана изогнул окаянной, не спрямишь век.

— О-то безумной! Да кабы не угодил по бляхе, прожег бы тебя сквозь горец, как Волоцкого!

— Може и не прожег бы... Вишь, бой я тогда проспал... Рубанул одного, черну бороду с пятнами на роже, да и топор со зла кинул — сечь было некого...

— Ты гиляпского хана посек, честь тебе изо всех: лихой боец был хан, наших он положил много!

— Ну, плевать, честь! А вот не гневается ли атаман, что я тогда хмельной мертво дрыхнул?

— Всяк бился и каждому на долю бой пал... Ты же, говорю, пуще всех! Ой, дурной ты, — уйди-ко, мешаешь только.

— А нет, не уйду! Чуй, атаман, бою мне на долю мало, и вот вишь: этот бы городишко нынче взять да разметать? Учинил бы я любое Тимофеевичу-то, а? Давай, Сергеюшко! Робята справны, заедино винца шарпанем — кумыки близ... От Гиляни мы в зад пошли, а горцы без вина не живут... Кои мухаммедовы и не пьют, да купцам вино держат...

— Свербит, Петра, и меня тая ж дума, только боюсь — батько осердится... Сказывал: давать себя будет в подданство шаху, а город тот шахов и тезики в ем живут...

— Ну, чорту в подданство! Шах Москву гораздо любит, бояре да сыщики завсе живут в-Испогани... с шахом миру у нас не бывать! Помни слово.

— А все ж без батьки как зачинать бой? Охота, право слово, — к ему же не итти! Спит и пьет...

— Пошто ему сердчать? Полно, Сергеюшко! Коли в городу бобку [1] найдем, скорее есаулов смерть забудет, а бобка та, что ясырка, може сыщется, баская? Уж я не упущу, голову складу, а не упущу! Ты подумай: чужой город — что вор, у огня взять нече, у вора, коли чего краденого с собой нет, хоть шапка худая сыщется. Так зачинать?

---

[1] Игрушку.

Сверкнуло кольцо в ухе. Сережка кинул о палубу шапку, крикнул, скаля зубы:

— А ну, зачнем!

— Гей, робята-а!

По стругам прокатилась дробь барабанов...

3

Вечером в городе догорали пожары. От разрушенных строений вилась и серебрилась пыль. От белого города остались лишь поперечные стены, плиты на могилах да три башни: одна в воде, две у подножия гор и мечеть. На струги по брошенным сходням казаки тащили вьюки шелковой ткани, скрученные ковры, утварь — серебро и медь. Катили бочонки с вином и бочки с пресной водой. Потускневшие к ночи цвета, голубые, серые, малиновые, иногда оживлялись радостным оскалом зубов, блеском золота и драгоценных камней.

На корме попрежнему, не принявшие участия в грабеже, сидели, курили двое седых — Серебряков с Рудаковым. Серебряков сказал:

— К Чечны острову поносло струги?

— Надобно заворотить к Гиляни, да ужо что скажет новый атаман — справим путь...

— А город-то ладно пошарпали!..

— Винца добыли, а ино чорт с ним!

На носу струга в мутносинем стоял Сережка, его голос резал звонкую даль:

— Гей, бабий ясырь не вязать, едино лишь мужиков скрутить!

— Есть, что хрестятся, атаман!

— Хрещеных не забижать, браты-ы!

— Кой смирной — не тронем!

На берегу бубнил голос:

— Робята-а, кинь плаху-у!..

Мокеев Петр стоял, держа в могучей лапе узел — при луне фараганский ковер отливал блестками.

— Клеть медну с птичей, вишь, сыскал!

— Оглазел ты с бою?! Велика птица-т, зри — баба в узле!

— Робята-а, худы сходни — кинь пла-а-ху...

— Чижол слон! Кидай двойной сходень.

— Давай коли — подмоги-и!

Накидали толстых плах. Струг задрожал. Мокеев перешагнул борт.

Не меняя узла в руке, откинув только часть ковра, подошел к Сережке.

— Глянь, атаман!

Сережка оглянулся и свистнул:

— Добро, Петра!

В ковре сидела полуголая женщина. Косы сверху вниз пестрили нежное, как точеное, тело. На правой холеной руке женщины от кисти до локтя блестел браслет, в ноздре тонкого носа вздрагивало золото с белым камнем. Женщина, качая головой сверху вниз, слезливо повторяла:

— Зейнеб, Зейнеб, на, Зейнеб!

— Должно, мужа кличет?

— Петра, толмач растолкует, кого она зовет... И чорт бодл, где ты уловил такую?

— Хо! Я, атаман, как приметил, что ее на верблюда пихают, кинулся — вот, думаю, утеха Тимофеичу. Крепко за ее цепляясь, аж покрышку с головы сорвали у ее какие-то бородачи. Зрю, много их. Да бегут еще — сабли востры, сами в панцырях. И давай сечь; кто не отскочил, лег! Топор о кольчуги изломил, бил обухом, потом кинул, а с остатку бил что чижолое в руку попало — взял свое... Поцарапали мало, да ништо-о!

— Эх, добро, добро!

Сережка встал на нос струга выше, подал голос:

— Дидо Григорей! Заворачивай струги в обрат к Гилянп-и!

— Чуем, атаман!

— Ге-ей, козаки! вертай струги-и!

Город, мутно дымящийся туманами пыли и пожаров, разносимых ветром из ущелья гор, казался большим потухшим костром. Над развалинами зеленоватые при луне одиноко белели башни, да торчала серая мечеть. Из одной дальней башни с вышины кто-то закричал:

— Серкешь!

— Азер, азер! [1] — ответило снизу.

---

[1] Огонь.

В развалинах еще иногда вспыхивал огонь.

— Серба-а-з шахсевен![1] — где-то ныло слезно.

Над башнями высоко на горах все ярче разгорались льды, будто невидимый кто-то поливал медленно жидким серебром гигантские гребни. И еще в смутном гуле моря, в стоне, слабо уловимом, в развалинах внизу проговорило четко:

— Вай, аствадз![2]

4

Темнело. Рыжий подьячий, обычно приглядываясь ко всему, шел мимо лежащих на земле больших пушек в сторону ворот шахова дворца. Ухмыльнулся, погладил верх пушек рукой.

— Мало от них бою — вишь, землей изнабиты, а нешто без колод лежат, ржавят?

Над воротами, одна над одной возвышаясь, белели тускнеющие от сумрака, раскрашенные с золотом палаты послов и купцов: «сговорные палаты». За палатами и длинным коридором пространных сводчатых ворот — сады, откуда слышался плеск фонтанов; прохладой доносило запах цветов. У начала ворот с золоченой аркой и изречениями из корана на ней синим по золоту два начальника дворцовых сарбазов в серебряных колонтарях,[3] с кривыми саблями. Почетные сторожа стоят по ту и другую сторону ворот. Рядом, на мраморных постаментах, в цилиндрических узорно плетеных из латуни корзинах горят плошки, налитые нефтью, с фитилями из хлопка. Серебро на плечах караульных золотеет от бурого отблеска плошек. Бородатые смуглые лица, неподвижно приподнятые вверх, отливают на рельефах скул бронзой, оттого караульные кажутся массивными изваяниями.

Рыжий покосился на крупные фигуры персов, подумал:

— Что из земли копаны — медны болваны! Беки шаховы? и торопливо свернул в сторону от суровых, неподвижных взглядов караула.

Снизу голубоватые, пестрые от золота изречений пилястры мечети. Верх мечети плоскими уступами тонет в сине-черной

---

[1] Солдат, любящий шаха.

[2] Ах, господи! (армянское).

[3] Доспехи из металлических досок, связанные металлическими кольцами.

выпине. У дверей мечети справа яркокрасный ковер «шустери»[1] с грубыми узорами. По углам ковра горят на глиняных тарелках плошки с нефтью — недвижимый воздух пахнет гарью и пылью. Спиной к мечети у дальнего края ковра сидит древний мулла, серый, в белой широкой чалме. За ним к углам ковра, сбоку того и другого, два писца в песочных плащах без рукавов, в голубых халатах: один в белой аммаме[2] ученого, другой в яркозеленой чалме. В вишневых плащах без рукавов, в черных халатах под плащами. К ковру почтительно подходят мужчины парно с женщинами в чадрах, узорно белеющих в сумраке. По очереди каждая пара встает на песок, стараясь не тронуть ковра. На колени муж с женой встают, держась за руки, встав, отнимают руки прочь друг от друга. Мужчина говорит:

— Бисмиллахи рахмани...

— ... рахим! — прибавляет мулла, не открывая глаз.

— Отец, та, что преклонила колени здесь, рядом со мной, не жена мне больше.

— Нет ли потомства?

— Отец, от нее нет детей.

— Бисмиллахи рахмани... — говорит женщина.

— ... рахим! — не открывая глаз, прибавляет мулла.

— Тот, что здесь стоит, не желанный мне — хочу искать другого мужа...

— Нет ли от него детей у тебя?

— Нет, отец! Он не любит жен — любит мальчиков...

Мулла открывает неподвижные глаза, говорит строго:

— По закону пророка надо пять правоверных свидетелей о грехах мужа. Без того — твои слова ложь, бойся! — Помолчав и снова закрыв глаза, продолжает бесстрастно: — Бисмиллахи рахмани рахим! Когда муж и жена уходят из дому, не сходятся к почи и не делят радостей своего ложа, то идут к мечети, платят оба на украшение могил предков великого, всесильного шаха Аббаса йек абаси[3] — тогда они не нужны друг другу и свободны.

---

[1] От названия города, где делают эти дешевые ковры.

[2] Чалма, обширнее обычной, носят ее только ученые.

[3] В XVII в. туман персидский равнялся 25 р., в тумане считалось 50 абаси. Йек — один.

Пара разведенных встала с земли. Муж уплатил деньги писцу в аммане ученого, жена писцу с левой руки муллы, в зеленой чалме. Рыжий сказал про себя:

— У нас бы на Москве по такому делу трое сапог стоптал, а толку не добился! — Он подвинулся в сторону, желая наблюдать дальше развод персов, но от угла мечети, мелькнув из синего сумрака в желтый свет огней, вышел человек, одетый персом. На рыжего вскинулись знакомые глаза, и человек курносый, бородатый спешно пошел в сторону шахова майдана.

— Пэдэр сэг [1] стой, — мешая персидское с русским, закричал рыжий, догнал шедшего к площади, ухватил за полу плаща.— Ведь ты это, Аким Митрич?

— Примета худая — рыжий на ночь! Откуль ты, московская крыса?

— Не с небеси... морем плыл.

— И еще кто из нас сукин сын — неведомо! Мыслю, что ты, Гаврюшка, сын сукин!

— Эк, осерчал! Думал о кизылбашах, а с языка сорвалось на тебя!

— Срывается у тебя не впервой — сорвалось мое на меня, что из Посольского приказу дьяка Акима Митрева шибнули на Волгу!

— Уж это обнос на меня, вот те, Аким Митрич, святая троица!

— Не божись! Не здесь на то — Волга, она вольная...

— Пойдем в кафу, подьячему с московским дьяком говорить честь не малая.

— Был московский, да по милости боярина Пушкина и подьячего Гаврюшки стал сибирской, стольника Данилова дьяк.

— Все знаю! Государево царево имя и отчество в грамоте о ворах пропустил?

— А ну вас к м... с отчествами-то!

— Ой, уж и всех, Аким Митрич?

— Да, всех, — курносый сердился.

— Ужли и великого государя?

— И великого царя, всея белые и малые Русии самодержца, патриарха, бояр сановитых, брюхатых дьяволов к м... в подпечье!

---

[1] Сукин сын.

— Ой, да ты, в-Ыспогани живучи, опоганился, Аким Митрич?

— Чего коли к поганому в дружбу лезешь, крыса! — Шмыгнув глазами в сумраке, рыжий засмеялся:

— Вот осердился! Я сам, глядючи на здешнее, сильно хаю Москву.

— И царя?

— И великого государя!

— И патриарха?

— Патриарха за утеснение в вере и церковные суды неправые!

—Ну, коли так, пойдем в кафу, о родном говоре соскучил много!

— Давно пора, Акимушка! Чего друг друга угрызать?

— То правда!

Кафа — обширная под росписной крышей на столбах, кругом ее деревянные крашеные решетки. У входа за решетку, на ковриге, поджав ноги, сидел хозяин с медным блюдом у ног, между колен кальян. Оба, рыжий и его приятель, входя за решетку, сказали:

— Салам алейкюм!

— Ва алейкюм асселям!

— Зачем сегодня плата ду шаи? [1]

Хозяин кафы толкнул изо рта мундштук, щелкнув языком:

— Два хороших мальчики, новы... хороши бачи!

Посредине кафы из белого камня фонтан, брызги его охлаждают душный воздух. Около, на коврах красных из хлопка, сидели персы, курили кальян. Ближе к наружным решеткам в железных плетеных цилиндрах, делая воздух пестрым, горели плошки. Убранные в блестки, с нежными лицами, как девчонки, в голубых с золотом шелковых чалмах, увешанные позвонками, с бубнами в руках, руки голы до плеч и украшены браслетами — кругом фонтана плясали мальчики лет тринадцати-четырнадцати. На поясах у них вместо штанов висели перья голубые, желтые, с блестками мишуры. По коврам дробно, легко скользили смуглые ноги. Часто в пляске перья кружились, мелькали смуглые зады... Иные из персов, выплюнув мундштук кальяна, скалились хлопая в ладоши.

---

[1] Абаси делится на четыре шаи; ду — два.

— Сэг! [1]

Сквозь решетки кафы со всех сторон глядели с черной улицы бородатые лица, зеленели, голубели чалмы, изредка белела пышная аммаме ученого. Но белого среди зеленого и голубого было мало. Когда пляшущие мальчики крутили в воздухе цветными перьями, голоса с улицы кричали:

— Азер! Азер! [2]

— Вай!

Если же, взявшись за руки и плавно, волнисто, сверкая мишурой, смуглым телом и браслетами, колыхались, — по толпе бежало слово — тут, там и еще:

— Аб![3]

Смуглые ноги, стройные, как девичьи, не уставая мелькали, и все больше и больше казалось, что танцуют девочки. Дым кальяна медленно густел, отливая свинцом, уплывал, гонимый прохладой фонтана за решетку в черную даль.

— Винца ба, Аким Митрич!

— Оно ништо, ладно винца, только по моему наряду того и гляди не дадут?

— Дадут, крашеные черти!

— Наши московиты хуже их, Гаврюшка!

— А все ж таки худ-лих, да свой!..

Потребовали кувшин вина. Хозяин от входа долго глядел на московских, потом махнул рукой. Мальчик, ставя вино, сказал:

— Хозяин спрашивает: оба гяуры, или кто из вас правоверный?

— Скажи, бача, московиты! Вот он пойдет в Мекку, станет правоверным, — рыжий указал на приятеля, а по-русски сказал: — И пошто ты, Аким Митрич, вырядился тезиком? [4]

— Дело мое...

— Поедем в Москву, придется кандяк таскать?

— Таскай! Мне и в цепях с чалмой ладно.

— О родном соскучил, ой, ладно ли?

---

[1] Пес — по ласково, хвалебно.

[2] Огонь.

[3] Вода.

[4] Тезик — по-московски XVII в. — перс, иногда кизылбаш.

— Чуй, крысий зор? Будто не знаешь, что, явясь в Москву, я прямо попаду на Иванову, на козло к Грановитой палате, и царь с окошка будет зреть мою задницу! Велик почет царя видеть, да только глазами, не задом... Здесь вольно: какую веру хошь исповедать, запрету нет, книгу чти, какая на глаза пала. А в Москве?

— Да... не божественно чтешь, гляди еретиком ославят и... сожгут...

— Здесь же будь шахсевеном,[1] в вере справляй намаз, ведай две-три суры из корана, и не надо всякому чорту поклоны бить... Низкопоклонство любит Москва!

— А тут на стрету шаху не пошел, на майдане брюхо вспорют и собакам кинут!

— Будь шахсевеном, сказал я, выдти раз-два в год, — пошто не выдти, даже людей поглядеть?

— Каково живешь-то, Акимушко?

Бывший дьяк размяк от вина, но еще не доверял подьячему:

— Ты, Гаврюшка, здесь не по сыску ли? Боярин Пушкин хитер, как сатана, не глядя что видом медведь: бойких служилых в сыск прибирает, а нынче время такое, что сыщики плодятся!

— Не, я с тайным приказом, учет веду государевым товарам...

— Не терплю сыщиков! Сыщик едино, что и баба лиходельница, блудом промышляет, противу того сыщик.

Бывший дьяк не заметил, что рыжий поморщился.

— Живу ладно. Дьяческая грамота здесь не надобна. Я промышляю ясырем. Пойдем коли до меня?

— Ой, друг, пойдем! — вскинулся рыжий.

Черный воздух бороздили мелкие молнии, будто в воздухе висели серебряные невода: везде летали крупные светляки. Пошли мимо каф и лавок. На шаховом майдане горели плошки и факелы, копошились бородатые люди; иные посыпали песком и щебнем майдан, а кто поливал из ведер майдан водой — трамбовали.

— То от конского праху?

— Да... без пыли чтоб. Выйдет должно тут шах тешить всякие творить, тогда робят из каф созовут плясать перед шаха, змей

---

[1] Любящим шаха.

огненных селитренных летать пустят по майдану... Музыку, что коровы ревут, трубы затрубят...

— Вот энтого я еще не видал, Акимушко!

— Узришь — поживешь...

По узким улицам, забредая иногда в жидкий навоз, в сумраке, особенно черном от множества летучих светляков, пришли к воротам одноэтажного плоского дома. В доме горели плошки, окна распахнуты. Светляки, залетая в окна, меркли; вылетев на улицу, долго тускло светили, потеряв прежний блеск. В узких каменных сенях в углу горел факел: по-персидски на стене висела надпись: «Посетивший дом наш найдет радость». Дом не запирался. В первой от сеней комнате, застланной на полу красными «шустери», на белых стенах висели плетки, и тут же на крючьях в чехлах по нескольку в одном торчали кинжалы, ножи и ножички, поблескивая от огня плошек на глиняных тарелках у стен. Висели щипцы, щипчики, связки костяных иголок. В углах рядом с горящими плошками на табуретах, резных и черных, стояли бутыли с голубыми и розовыми примочками.

— Уж не лекарь ли ты, Акимушко?

— Да... лечу только одно женское место от лишней руды! [1]

— Какое место?

— Много любопытствуешь! Не соскучал бы я, Гаврюшка, о родном русском — вовеки не показал тебе дом.

— Опять сердишься? Норов мой таков — все знать.

Прошли в другую комнату. Тут на таких же ярких «шустери» с подушками в пестрых грязных наволочках, раскиданных в беспорядке среди дымящихся кальянов и плошек, горящих у стен, сидели девочки десяти-одиннадцати лет.

Иные, лежа в коротких белых рубашках, болтали голыми ногами, посасывая кальян, иные возились с тряпками, крутя подобие кукол, некоторые, прыгая в коротких рубашках по подушкам и ковру, с визгом ловили залетающих в окна светляков. Две смуглых дразнили зеленого попугая в медной клетке на тумбе деревянной в углу — не давали попугаю дремать, водили пером по глазам; птица, ловя клювом перо, сердито картавила:

---

[1] Руда — кровь.

— Пе-едер сухтэ!

Девочки, когда ругалась птица, гортанно хохотали. Увидав хозяина с чужим, девочки быстро скидали подушки в ряд и будто по команде повернулись лицами к ковру на подушках, выставив до пятнадцати худеньких ягодиц.

— Вот те, гость дорогой, тут вся честь!

— За здоровьем, Акимушко, обучил бы ты их хором к этому виду сказывать мусульманскую суру! — посмеялся рыжий.

Курносый дьяк был серьезен, он обошел всех лежащих на подушках, одной сказал:

— Принеси воды!

Девочка кувырнулась с подушки, юркнула бегом и бегом принесла кувшин с водой.

— Обмойся! — строго сказал хозяин.

Также по-персидски прибавил, махнув рукой:

— Играйте!

Потянул рыжего за рукав кипдяка, сказал московским говором:

— Ляжь, Гаврюха!

Рыжий, пригибаясь к полу, ворчал:

— Ой, ой! обусурманился, Аким Митрич: ни стола, скамли, ни образа, — рожу обмотать не на што!

Хозяин подвинул ему кальян с угольком в чашечке.

— Штоб те стянуло гортань, родия, — кури!

Откуда-то вошли, видимо, ждавшие продавца ясыря два старых перса в вишневых безрукавых плащах, в песочных узких халатах с зелеными кушаками с бахромой, под халатами белые полосатые штаны, низко спущенные на тупоносые малеки.

— Салам алейкюм!

— Ва алейкюм асселям!

Взяв за руку двух смуглых девочек, стали торговать их. Покуривая кальян, не поворачивая на стариков головы, бывший дьяк сказал:

— Джинсэ! [1]

— Сэ туман! [2]

---

[1] Джинсэ — хороший товар.

[2] Сэ — три.

— Чахар туман! [1]

— Бисйор хуб! — сэ...[2]

— Сэ, туман...

Девочки боязливо глядели на бородатых стариков. У одного за зеленым широким кушаком блестел желтой ручкой кинжал, у другого за таким же кушаком — ручка пистолета. Когда торговались, один из стариков подошел снова к девочке, выпущенной из рук во время торга, завернул на голову ее короткую рубашку, оглядел тело, что-то сказал тихо курносому. Хозяин ясыря кивнул головой, взял девочку за руку, увел в другую половину, где висели кинжалы, вернулся, — девочка плакала.

— Вот хэльва [3] кушай! — сказал старик, спросил: — Справна ли?

— Справна для ложа! — ответил хозяин.

Девочка, жуя клейкую сласть, не могла кричать, только всхлипывала и ежилась, перебирая ногами. Отдав деньги, старики увели девочек — одну из них в окровавленной рубашке. Хозяин, пряча серебро, проводил покупателей до сеней. Когда вернулся, рыжий встретил его словами:

— Знаю теперь, Акимушко, какой ты лекарь!

— Кури, сатана крысья!

— Накурился! А знаешь ли, ссуди мне девчонку, в обрат верну скоро! Энтим промышляешь — зрю?..

— Сказывал — чего еще? Пробовал бачей промыслить, ценят дорого, да, вишь, мальчишку на грабеже трудно ловить, девку проще... Тебе пошто девку?

— Место проклятое — лиходельных баб вовсе нету, а плоть бес бодет!

— Персам пошто лиходельницы? Чай, сам видал — у шаховой мечети кейша дает развод кто прожил с женой не менее полгода... Люблю тутошние порядки — все просто и скоро! Домов не запирают, вор редок, а попал вор — конец. На старом майдане, где дрова продают, — палач заворотит вору голову на колено, пальцы в ноздри супет и раз по гортани булатом... Ясырем торговать? Торгуй — просто! А на Москве указы царские. Да годи —

---

[1] Четыре тумана.

[2] Очень хорошо — три.

[3] Сласть — арабское слово.

девка денег стоит? вишь тезики за двух дали, считать на московские — полтораста рублев! Сам я под Бакой у шарпальников Стеньки Разина купил не дешево товар...

— Самого зрел Стеньку?

— Не, казаки да есаул были. А добирался хоть глазом кинуть на него, не видал!.. Есаул матерой, московский, вишь, стрелец был Чикмаз — удалой парень!

— Где ныне, думаешь, шарпальники?

— Тебе пошто?

— Морем поедем в обрат, чтоб не напороться — беда!

— Сказывали, назад к Теркам идем...

— Та-а-к, пошли, Дербень взяли... Девку я прошу на ночь, не навсегда...

— Даром все одно не дам!

— Ну, чорт! А какие указы царевы по ясырю?

— Я вот нарочито списал, еще когда в Посольском приказе был, хо-хо! Указ тот для памяти вон где висит... Я кизылбашам чту его, толмачую тезикам московские запреты, ругают много царя с боярами... Не знал коли? чти!

Рыжий быстро встал, глаза забегали по стенам. Подошел ближе к стене, двинул ныавшую плошку, прочел вслух крупно писанное на желтом, склеенном по-московски, листке:

«Приказать настрого, чтоб к шахову послу на двор никакие иноземцы не приходили и заповедных никаких товаров и птиц, и кречетов, и соколов, и ястребов белых не приносили и татарского ясырю крещеного и некрещеного, жонок, девок и ребят не приводили, да и русские служилые и жилецкие люди к шаховым и посольским людям не приходили ж и вина и табаку не курили, не покупали и даром не пили, огней бы на дворе посольские люди в день и ночь не держали».

— А знаешь что, Аким Митрич?

— Што, Гаврюшка?

— То прпказ тайный стрелецкому голове, и ты тайную грамоту шаховым людям чтешь и тем чинишь раздор между величество шахом и великим государем!

— Б...дословишь ты, сын сукин!

— И теперь девку мне должон безотговорно отпустить, инако доведу я на тебя большим боярам и царю государю доведу же!

— Чую, что сыщик ты!

— Что с того, что сыщик?

— Тьфу, сатана! И завел же я, худоумной, волка в стойло, вином поил... Ну, коли ошибся я, давай торги делать. Только совесть твоя гнилая, скажешь, не сполнишь?

— Ежели дашь девку — сполню! Вот те святая троица!

— Выбирай и убирайся до завтра, завтра верни!

Рыжий выбрал русую девочку, она лепетала по-русски.

— Вон энту! А приведу, запаси вина, напой меня и табаком накури.

— Вишь, совесть, говорю, гнилая: за товар с тебя приходится!

— А с тебя за мое молчание и измену мою великому государю!

Рыжий повел девочку, остановился в сенях.

— Чего еще?

— А вот. Ты бы ее чирнул ножичком по своей вере!

— Не старик, чай, без моей помоги управишься.

Рыжий вышел медленно и осторожно. Бывший дьяк сказал себе:

— Коего сатану спугался я? Чорта со мной царь да бояра сделают тут!

Ухмыльнулся, спрятав в усы маленький нос, кинулся к открытому окну, закричал:

— Чуй, Гаврю-у-шка-а!

— Ну-у? — донесся вопрос из тьмы.

— Одно знай! По шаховым законам, ежели девка помрет или что случится с сей худое и я привяжусь к тебе, то палач тебе сунет пальцы в поздрю-у!

— О, чорт! Время к полуночи, а ты держишь.

Рыжий вернулся, сунул на порог девочку, она радостно встряхнулась, как птица, посаженная на подоконник.

Рыжий, уходя, ворчал:

— Не больно лаком на такое... не баба, робенок!

Курносый, лежа на окне, прислушивался к шагам Колесникова. Из темноты шли мимо дома двое черных в куцых накидках, одно остроносое лицо освещалось трубкой, белело перо на черной шляпе.

— Может, зайдут немчины? О торге судят? — Служка в Посольском приказе, бывший дьяк знал немецкий язык.

Один сказал, идя медленно, раскуривая трубку:

— Ist wol der Armenier reicher denn der Perser? [1]

Другой ответил:

— Der Perser im Handel kommt gen den nit auf! [2]

— Всем ведомо, что армянин ловче перса — не лепив... Персы с жонами долго спать любят!

Курносый отошел от окна. Его богатство беспорядочно разметалось на подушках. Он лег в середину девочек, стал курить, подумал, гася плошки и запирая окна:

— Лихоманки бывают... — поправил на девчонках завернутые рубашки, прикрыл их тонким ковром, удобнее разместив на подушках, и перекрестил.

— Твои бояра ништо мне сделают, крыса. Обрежусь, иное имя приму, заведу жон — шах правоверных не выдаст, там хоть в стену башкой дуй!

5

Рыжий поднялся в свою каменную конуру, сел против окна. Не зажигая огня, нащупал бумагу, перо, чернила, стал курить. Его каменный ящик лепился над плоскими террасами. Дом, где жил подьячий, стоял на высоком плоскогорье, перед домом город лежал внизу. Когда шел подьячий, луна стояла за горами сбоку, теперь же месяц, выйдя, встал вдоль горных хребтов. Его свет на всю шахову столицу накинул светлую чадру. Рыжий глядел с вышины на клинообразный город, положенный как узорчатые ножны гигантского прямого меча, усаженные алмазами блеска фонтанов во дворах и кафах, редкими мылающими огоньками плошек и факелов.

Рыжий охотно любил глядеть на город. Недоступный ему внутри, город будил сладостные мысли о женщинах Востока. Но знал, что эти женщины для него недосягаемы.

— Курносому Акимке веру что портки сдеть. Меня от чужого претит...

Ближе всего к конуре подьячего высокие ворота с часами, украшенные золотом. Знал рыжий, что часы заводит мастер из русских, что он же огонь за стеклом в светелке с часами зажигает ночью и гасит днем. За воротами в мутных узорах пестрых

[1] Армянин богаче перса?

[2] Да, торгуют ловчее персов.

красок ряды и лавки купцов — армян, бухарцев и персов. Еще дальше справа и слева верхи каф круглые — золотыми змеями ползут по ним украшения. Там, где кончаются кафы, немного вперед снова ворота; арка ворот без затвора, но поперек снизу их отливает синим блеском железная цепь; она мешает конной езде на шахов майдан. За ровным и пустым, поздней ночью, шаховым майданом золоченые ворота в сады и дворы шаха. У ворот по ту и другую сторону сверкают пятна колонтарей караульных беков. Их обнаженные сабли горят, как литое стекло. С боков караульных с постаментов крупные бурые точки огней... Лунный свет яснеет, шпрится, мутносеребристая чадра сдернута с Исфагани. Свет луны, разливаясь в загороженных гранитом и мрамором фонтанах, бродит отсветами по узорчатым дверям, по расписным аркам, пестрит яркой синевой на очертаниях влажных от водяной пыли платанов, кипарисов. Тупые, ломаные тени лежат по узким улицам.

— Гаврилка, буде! Ум, гляди, потеряешь в бусурмании, против того как дьяк Акимко...

Рыжий задвигался, выколотил трубку, вынул кресало, добыл огня и свечи зажег. При огне упрямые мысли не оставляли подьячего. Вон у огня свечи за чернильницей, много раз читанная арабская книжка, писанная на пергаменте. В ней ученый толмач перетолковал на арабский с какого-то иного языка поучение женщинам Востока: «Как быть всегда незаменимой господину своему и располагать своим телом, бесконечно зажигая кровь многоженца любострастием». В книжке были сделанные в красках великим искусником соблазнительные куншты. Рыжий закурил снова, куря, припоминал книжку, глядел на город, и ему казалось, что в белом домике, где алмазами отсвечивают фонтаны, собрались в тонких одеяниях жены, прилипли к седому персу в зарбафном халате... Счастливый многоженец читает им поученье «о бесконечных утехах любви» и водит пальцем по соблазнительным куншта̀м. Подьячий, как в полусне, протянул руку к арабской книжке, чтоб раз еще оглядеть колдовские страницы, — упала горящая свеча, приклеенная к столу, обдавая огнем пальцы. Рыжий отдернул руку, сказал:

— Так те и надо!.. Бодет Гаврюху бес!

Успокоясь немного, стал писать:

«Конки тезиков, боярин милостивец Иван Петрович, ходют,

закрывшись в тонкие миткали, на ногах чюлки шелковые альбо бархатные. У девок и жонок штаны, а косы долги до пояса, пно и до пят. Косы плетут по две, по три и четыре. Иногды в косы вплетают чужое волосье, в ноздрях кольца золотые с каменнем и с жемчюги, а платье исподне — кафтаны узки. По грудям около шеи и по телу на нитках низан жемчюг».

— Ой, еще не отлепился бес — мутит! Бабье на ум ползет. А пошто трус? Давал курносый девку. Грех! — девка-т, вишь, робенок... Басурманам тем ништо! Ну, коли дай о звере испишу.

«А милостивец боярин государев большой Иван Петрович, есте тут величества шаха город Фарабат, там в том городу, послышал я, кормятца шаховы звери в железных клетях: слоны и бабры.[1] А бабр зверь, боярин Иван Петрович, длиной больше льва, шерстью тот зверь — едино что темное серебро, а поперег черное полосье и пятна. Шерсть на бабре низка, у того зверя губа, что у кота, и прыск котовой. Тот лишь прыск по росту: бабр сможет, боярин милостивец, сказывают, прыснуть сажень с пять. Видом тот зверь черевист гораздо, ноги коротки, голосом велик и страшен, а когти что у льва».

— Эх, на Москве бы тебе, Гаврюшка, за такое письмо кнутобойство в честь было!..

Рыжий встал, набил еще раз трубку и, покуривая, долго ходил по комнате, отодвинул дальше арабскую книжку, закрыл ее колпаком. От запахов ночных, сырых и цветочных, завесил панковой синей занавеской окно. Сказал:

— Вот те все! — отодвинул исписанные листы, взял чистый, сел и написал особенно крупно и четко:

«Боярин милостивец Иван Петрович, сея моя отписка к тебе, а зачинаю с того, что величество шах в-Испогань оборотил и на стрете его были все тезики, армяня, греки, мултанеи (индусы), жидовя. Я тож был, потому немочно не быти — казнят, не спрося какой веры! Город в-Испогань, боярин милостивец, стоит меж гор, все едино как в русле каменном».

— Эх, не так зачинаю, — ну, да испишу, узрю — ладно ли? Нынче о ворах неотложно...

«Боярин Иван Петрович! Вор Стенька Разин с товарищи разнесли по каменю шахов величества город Дербень, и в том

---

[1] Барсы.

городу, послышал я от сбеглецов, которые утекли с Дербени в-Испогань воры убили шахова большого бека Абдуллаха с братом сыном и дочь того бека, зовомую Зейнеб, поймали ясыркой. Шаху то ведомо, нет ли, не знаю!.. Допрежь оного воровства Стенька Разин с товарищи и с Сергунькой Кривым, сойдясь на Хвалынском море, посекли суды гиляпского хана и сына ханова в полон увели, а хана убили. Посеча топоры, суды все сокрушили, едино лишь три бусы урвались в целости и то с малыми людьми. Еще, боярин милостивец, сыскался тут сибирской дьяк князя стольника Дашкова, что допрежь служил в Посольском приказе на Москвы и по государеву цареву указу смещен в Сибирск без кнутобойства за подложной лист... И тот дьяк, Акимко Митрев сын Разуваев, писал о ворах же Стеньке Разине отписку стольника Дашкова во 175 году великому государю, да в той отписке имя государево с отчеством великим пропустил, а повелено было его сыскать за то воровство и на Москву послать. Он же, от кнутобойства чтоб, бежал в шаховы городы и нынче в-Испогани — ясырем, девки малые промышляет. Про великого же государя, святейшего патриарха тож, говорит скаредно хулительные слова, послушать срамно! Да еще, боярин Иван Петрович, между государем царем и великим князем всея Русии и величество шахом тот сбеглый вор, дьяк Акимко, чинит раздор и поруху. Исписал тот вор Акимко государев приказ стрелецкому головы, — имя головы не упомню, а был тот голова у караула ставлен на шахова посла дворе на Москвы, — и тот исписанной тайной приказ я зрел очима своима: висит исприбитой к стене его хижи в-Испогани. Тот тайной лист вор Акимко, чтя тезикам, толмачует, и бусурманы ругают, плюют имени великого государя всея Русии... Окромя прочих дел укажи, боярин милостивец, как ловче уманить ли альбо уловить вора Акимку за тое великое, мною сысканное, воровство?»

6

На зеленеющей, тихо дышащей воде пленный корабль гиляпского хана расцветили с бортов коврами. На корабль доносит от влажных брызг солепым. С берегов, когда теплый ветер запалит, на палубе запахнет душно олеандром. На корабле спилили среднюю мачту, сломали переднюю стену ханской палаты с две-

рями, открыли широкий вид на палубу. Разрушения в углах украсили свешенными коврами. На ближних скамьях гребцов разместились музыканты с барабанами, домрами и дудками.

Разин, наряженный в парчевой кафтан, обмотал сверху запорожской шапки голубую с золотом чалму. Княжну вырядили ясырки персиянки в узкий шелковый халат с открытой грудью; по голубому золотые травы, надели ей красные шелковые шаровары, сандалии с ремнями узорчатого сафьяна и шелковые синие чулки. На голую грудь распустили хитрый узор из ниток крупного жемчуга с яхонтами, блестевшими на нежном теле каплями крови; прозрачную чадру из голубой кисеи Разин сорвал и бросил, когда садились в челн: открылись черные косы, подобранные на голове обручами, и голубая с золотом шапочка с подвесками из агатов. В челне, устланном коврами, подъехали к ханскому кораблю — на коврах подняли их гребные ярыжки, перенесли в палату на ханское возвышение. Ступени возвышения были поломаны, их тоже скрыли коврами вплоть до передней степы на палубу.

Там, где села княжна, слева от атамана дымился узорчатый кальян, но она к нему не притронулась. Разин не курил табаку.

У ног атамана на коврах сели Лазунка, Серебряков и Рудаков Григорий — оба седые, без шапок. Сережке атаман указал место справа от себя. Перед атаманом слуги-казаки поставили большую серебряную братину с вином. Лазунка черпал для него ковшиком вино, наливая в золотую чару. Разин пил, часто отряхивая от брызг курчавую бороду. Подносил княжне, она боялась не пить: пила мало и сидела, потупив таящие испуг, темные под ресницами глаза. По приказу атамана Лазунка разливал вино в чаши из бочонка, давал пить есаулам.

Позже всех подопел хмельной с утра от радости Мокеев Петр в дареном Разиным золоченом колонтаре. Мокеев сел рядом с Рудаковым, от доспехов пошли кругом золотые пятна.

— Только не обнимайся, козак! — сказал Рудаков Мокееву.

— А што, дидо, ежели обойму?

— Тогда мне замест пира смерть! Ты и так чижолой, да еще в доспехе — беда!

— Хо, хо, хо! — захохотал есаул.

Разин сказал:

— Люблю Петру! Выпил много, да еще пей, чтоб развеселилась моя княжна, ясырка твоя. За здоровье!..

— Э, батько! пошто не пить? — позвякивая пряжками колонтаря, Мокеев с чашей в руке тяжело встал, обливая вином седину Рудакова, и крикнул: — За Степана Тимофеича! За радость его светлую! Кто не пьет, того в море...

Когда выкрикнул Мокеев, барабаны музыкантов рассыпали дробь, загудели трубы. Атаман крикнул:

— Музыканты, тихо! Лазунка, сыграй то, что укладала твоя боярская голова про мою княжну. — Разин склонил перед княжной голову, дал ей из своей чаши глотнуть вина и сам выпил.

— Не занятно будет, батько! голос мой, что козла на траве.

— Играй, пес!

Лазунка, не вставая, тихо запел:

Эй, не плачь, не плачь, полоняночка!
Я люблю же тебя и порадую,
Обряжу красоту в расписной оксамит,
Вошвы с золотом!
На головушку с диамантами
Подарю волосник самоцветов-цвет...
Во черну косу враный жемчуги —
Шелковой косник со финифтями перелифтями.

Все похвалили, Разин сказал:

— Пей, Лазунка, и еще играй — люблю!

Лазунка, встав, поклонился атаману, выпил чару вина, тряхнул черной курчавой бородой и кудрями, не громко, топая ногой по ковру, запел:

У хозяюшки у порядливой,
У меня ли молодешеньки!
Ой, в кике было во бархатной
С жемчугами да с переперами [1]—
Там под лавицею во большом углу
Лиходельница пестро-перо,
Мал цыплятушек повысидела,
А жемчужники повыклевала.
Нынче не во чем младешеньке
На торг ходить — в пиру сидеть,
Свет узорочьем бахвалиться.

[1] Переперы — решетки из золота и жемчугов.

Атаман хотел было, чтоб еще пел Лазунка, но, никого не слушая, Моксев могуче забубнил:

— Пью за батьку нашего и еще за шемаханскую царевну-у!

Разин засмеялся:

— О-то подлыгает Петра! В Дербени княжну взял, а Шемаху помнит, высоко она в горах, есаул, Шемаха.

— С тобой, батько, горы не горы. До небес, коли надо, дойдем!

— А ну, пьем, Петра!

Стряпней к пиру заведывал казак, самарский ярыжка Федько. Слуги под его присмотром обносили гостей — казаков, сидевших с музыкантами на скамьях гребцов и на палубе кормы — блюдами жареных баранов, газелей, кусками кабана. Газель и кабан биты в шаховом заповеднике меж Гилянью и Фарабатом. Там на косе, далеко уходящей в море, Разин велел вырыть бурдюжный город. Теперь там стояли струги, кроме тех четырех, что плавали с атаманом, там же держали ясырь, взятый у персов, богатства армян и бухарцев. Большая часть казаков караулили земляной город. За атамана в нем жил яицкий есаул Федор Сукнин.

Разин приказал:

— Танцте, соколы, старца-сказочника! Пущай сыграет нам бувальщину.

— Эй, дедко!

— Где Вологженин?

— В трюму ён — спит!

— А, не тамашитесь, робятки! Где тут сплю у экого веселия?

В казацком длиннополом кафтане, в серой бараньей шапке с кормы на ширину палубы вышел седой старик, с домрой подмышкой, поясно поклонился атаману и, сняв шапку, затараторил:

— Батюшку, атаманушку! Честному пиру и крещеному миру!

Сел прямо на палубу лицом к атаману, уставил на струны домры подслеповатые глаза, запел скороговоркой:

Выбегал царь Иван на крыльцо,
Золоты штаны подтягивал,
На людей кругом оглядывал,
Закричал страшливым голосом:
«Гей, борцы, вы бойцы, добры молодцы!
Выходите с Кострюком поборотися,
С шурьем-от моим поровнятися!»

Да бойцов тут не случилося,
А борцов не объявилося,
И один идет Потанюшко хроменькой,
Мужичонко немудренькой.
Ой, идет, идет, идет, ид-ет!
Ходя с ножки на ножку припадывает,
Из-под рученьки поглядывает:
«А здорово, государь Иван Васильевич!..»

— Эй, дайте вина игрецу старому!

Певцу подвесили огромную чару. Он встал, выпил, утер бороду и поклонился. Сев, настроил домру и продолжал:

«Укажи, государь, мне боротися
С Кострюком молодцом поровнятися.
Уж коль я Кострюка оборю,
Ты вели с него платье сдеть...»

— Гей, крайчий мой, Федько!

— Тут я, атаман!

— Что ж ты весь народ без хмельного держишь? Пьют атаманы — казаки не должны отставать!

Открыли мигом давно выкаченные бочки с вином и водкой, казаки и ярыжки волжские, подходя, черпали хмельное, пили.

Среди казаков высокий, костистый шагал богатырского вида стрелец Чикмаз — палач яицких стрельцов. С ним безотлучно приземистый, широкоплечий, с бронзовым лицом, на лбу шрам — казак Федька Шпынь.

Оба они пили, обнимались и говорили только между собой:

— Вот соколы! люблю, чтоб так пили.

Разин, как дорогую игрушку, осторожно обнимал персиянку. Обнимая, загорался, тянул ее к себе сильной рукой, целовал пугливые глаза. Поцеловав в губы, вспыхнул румянцем на загорелом лице и снова поцеловал, бороздя на волосах ее голубую шапочку, запутался волосами усов в золотом кольце украшения тонкого носа персиянки. Уцепил кольцо пальцами, сжав, сломал. Золото, звякнув о край братины, утонуло в вине.

— Господарь... на алла! — тихо сказала девушка.

— Наши жены так не носят узорочье! А что же старый? Гей, играй бувальщину!

Старику еще налили чару водки; он, кланяясь, мотался на ногах и, падая, сел, щипля деревянеющей рукой струны домры, продолжал:

Ище первую ошибку Кострюк оборол,
Да другую, вишь, Потапюшко!
Он скочил Кострюку на высоку грудь,
Изорвал на борце парчевой кафтан
Да рубашку сорвал мелкотравчату...

— Эх, соколы! Ладно, Петра — добро, пьем!.. Взбудили меня от мертвого сна.

В вечерней прохладе все шире пахло олеандром, левкоем и теплым ветром с водой. Дремотно, монотонно с берега проплыл четыре раза повторенный голос муэдзина:

— Аллаху а-к-бар! [1]

Голубели мутно далеко чалмы, песочные плащи двигались медленно, будто передвигались снизу песчаные пласты гор — мусульмане шли в мечеть.

Слыша голос муллы, зовущий молиться, перепянка сжалась, поникла, как бы опасаясь, что далекие соотечественники увидят ее открытое лицо.

Старик дребезжал голосом и домрой:

Не младой богатырь воздымался с земли —
Стала девица поляница,
Богатырша черекешенка.
Титьки посторонь моталотца
И идет она — сугорбилась.
Ой, идет, идет, идет, идет.
На царев дворе шатается!
Рукавицей закрывается!
Ой, идет, идет, идет, идет!

На середину палубы вышел Чикмаз, взъерошенный, костистый и могучий, заложив за спину длинные руки, крикнул:

— А ну, пущай меня кто оборет да кафтан сорвет!

Зная Чикмаза, молчали казаки; только его приятель Федька Шпынь протянул руки:

— Да я ж тебя, бисов сын, нагого пущу!

— Хо! — хмыкнул Чикмаз. — знать во хмелю буен? Ну, давай!

Взялись, и Чикмаз осторожно разложил на палубе Шпыня.

— Будет?

---

[1] Бог велик.

— Буде, Чикмаз!

Кое-кто из казаков еще пробовал взяться, Чикмаз клал всякого шутя.

Разин сказал:

— Вот это борец! Должно мне итти?.. Чикмаз — иду!

— Не, батько, не борюсь.

— Пошто?

— Не по чину! Зову казаков да есаулов — пущай за тебя идет Сергей.

Сережка махнул рукой и, зачерпнув ковшом из яндовы вина, сказал:

— В бою — с любым постою, в боротьбе — я что робенок!

— А ну, Мокеев? Силен, знаю, да оборю и его!

— Правду молыл Сергеюшко: в бою хитрости нет, до боротьбы, драки и я не свычен!

Казаки на слова Мокеева закричали:

— Эй, Петра, пущай не бахвалит Чикмаз!

— Вот разве что бахвалит!

— Выходи, бывший голова! — позвал Чикмаз.

— Кто был — забыл, нынче иной! а ну коли?

Тяжелый, сверкающий в сумраке доспехами, шатаясь на ногах, Мокеев подошел к борцу. Чикмаз расправил могучие руки, а когда взялись Мокеев потянул борца на себя, — у Чикмаза затрещало в костях:

— Ага, чорт большой! С Петрой — не с нами! — закричали казаки, обступив.

Мокеев неуклюже подвинул Чикмаза вправо, потом влево и, отделив от палубы, положил; не удержавшись, сам на борца упал.

Крякнул Чикмаз, вставая, сказал:

— Все едино, что изба на грудь пала!

— Ай, Петра! Го, го, не бахваль, Чикмаз!

— Силен, да пожиже будешь! — кричали казаки.

— Силен был, а тут как теленок у быка на рогах!

— Ну, еще, голова!

— Перестань головой звать! Перепил я — в черевах булькает.

— Ништо-о! Только доспех сними, не двинешь тебя, силу твою он пасет.

Казаки подступили, сняли с Мокеева колонтарь.

— Ни чорта сделает, — легче еще тебе, Петра!

— Опо, робята, впрямь легше.

И снова Чикмаз был положен. Вставая, сказал (слова звучали хмельной злобой):

— Не чаял, что его сотона оборет. Чорт! как гора!

Бороться было некому. Мокеев, взяв колонтарь, ушел к атаману. А там сверкнуло кольцо в ухе, вскочил на ноги Сережка, княжна вздрогнула от страшного свиста, закрыла руками уши.

— Помни, робята, сговор!

На крик и свист Сережки казаки вышли плясать: от топота ног задрожал корабль, заплескалась вином посуда. Взревели трубы, разнося отзвуки по воде. Казалось, вместе с медными прыгающими звуками заплясали море и берег. Плясали все, кроме Разина и есаулов, даже старик Вологжении, вытолкнутый толпой, бестолково мотался на одном месте, тыча на стороны домрой. В море летели шапки. Сережка снова свистнул, покрыв звуки музыки, топот ног, — тогда, стоя на скамьях по бортам, вспыхнули зажженные ярыжками факелы. При огне от пляшущих ломались тени, опрокидываясь в ночное спящее море. Плясали долго, атаман не мешал. Когда кончили плясать, Разин, подняв чашу, крикнул:

— Гей, соколы! За силу Петры Мокеева все пьем!

— Пьем, батько!

— За Петру-у!

Разин позвал:

— Чикмаз, астраханец!..

— Тут я, батько!

— Иди, с нами пей!

Чикмаз подошел. Разин, чокаясь и обнимаясь с Мокеевым, сказал Чикмазу:

— Знаю! Ловок парень и ядрен без слова худа, только сила Петры не наша человечья... Чья — не ведаю... Но не человечья его сила!

Чикмаз выпил ковш вина и, утирая сивую всклокоченную бороду, сказал:

— Есть, батько, во мне такая сила, какой ни в ком нет!

— Пей, парень, еще ковш и поведай, какая та сила?

Чикмаз выпил другой ковш, снова утер рукавом кафтана бороду, сказал:

— Сила бою моего, батько, иная, чем у того, кто с тобой ходит!

— Не вразумлюсь!

— Да вот! Ежели на бочку сядет — ударю, богатырь падет, не высидеть! Пущай даже в кафтане сядет кто...

— Бахвалишь и тут! — сказал Мокеев — я пагой усижу, от разе што брюхо гораздо водяно?

— Усидишь, пять бочонков вина ставлю!

— Где у тя бочонки?

— Добуду! Голову на меч, а добуду у бусурман.

— Эх, ты! стрелец, боец!

Мокеев пошел на палубу. Ярыжки с факелами обступили его. Он разделся догола и в ночных тенях при свете факелов казался особенно тяжелым с отвислым животом, весь как бронза. Чикмаз, особенно торжественный, будто палач перед казнью, крикнул:

— Казаки! Сыщите отвалок для бою. С Петры выиграю вино— будем пить вместях.

Принесли отвалок гладко струганного бушприта в сажень.

— Сколь бить, голова?

— Чорт!.. Не зови головой, сказывал тебе — иной я. Бей пять! Высижу больше, да, вишь, черёва повисли и в брюхе вьет.

Бывший палач отряхнулся, одернул кафтан, но рукавов не засучал. С ухваткой, ведомой только ему, медленно занес над Мокеевым отвалок и со свистом опустил. Мокеев крякнул:

— Отменито бьет! Не как все, едрено дьявол! — и все же вынес, не пошатнувшись, пять смертельных для другого человека ударов.

— Сотник Петр Мокеев выиграл! — с веселым лицом крикнул Чикмаз. — Робята! пьем с меня вино-о... — захохотал пьяно и раскатисто, кидая отвалок.

Мокеев встал с бочки, охнул, пригнулся, шарил руками, одевался медленно и сказал уже протрезвевшим голосом, как всегда неторопливо и кротко:

— Ужли, робята, от того бою Чикмазова я ослеп?

Ликующие победой Мокеева пьяные казаки, помогая надевать ему платье, шутили:

— Петра! Глаз не то место, чем робят рожают — отмигается.

— Добро бы отмигатца, да черева огняны, то со мной впервые!..

— Побил Чикмаза! Молодец Петра, пьем! — громко сказал захмелевший атаман.

— Нет, батько, я проиграл свой зор.

— Что-о?

— Да не зрю на аршин и ближе...

— То злая хитрость Чикмазова?

Разин вскочил, и страшный голос его достиг затихшего берега.

— Гей, Чикмаз, ко мне-е!..

— Чую батько! — Чикмаз подошел.

— Ты пошто окалечил моего богатыря? Не оборол! Так зло взяло? Говори, сотопа, правду!

— Не впервой, батько, так играем! По зговору, не навалом из-за угла и на твоих очах...

— Ну, дьявол, берегись!

Глаза Разина метнули в лицо Чикмазу, рука упала на саблю. Чикмаз пригнул голову, исподлобья глядя, сказал, боясь отвести глаза от атамана:

— Пущай, батько, Петра скажет. Велит — суди тогда!..

— Гей, Петра!

Мокеева казаки, держа под локти, привели к Разину:

— С умыслом бил тебя Чикмаз? С умыслом, то конец ему!

— Не, батько! Парня не тронь. С добра. Ты знаешь, я сел и сам вызвался, а бил деревиной, как все...

Разин заскрипел зубами:

— Цел иди, Чикмаз, но бойся! Эй, нет ли у нас лекаря?!

Подошел черноусый казак самарский, распорядчик пира:

— Тут, Степан Тимофеевич, в трюму воет ученый жид, взят у Дербени, скручен, а по-нашему говорит, сказывал, что лекарь он...

— Кто же неумной ученых забижает? Царь твердит московскую силу учеными немчинами да фрязями. У меня они будут в яме сидеть? То не дело!

— Жидов, батько, не терплю! Я велел собаку скрутить, — ответил Сережка.

— Открутите еврея, ведите сюда: за род никого не забижаю, за веру тоже!

В длинном черном балахоне, со спутанными пейсами, в крови, грязный, без шапки подошел взъерошенный еврей, поклонился, низко сгибаясь:

— Чем потребен господарю?

Разин приказал:

— Дайте ему вина! Еды тож.

Еврею дали блюдо мяса, кусок белого хлеба и кружку вина. Мясо он не стал есть, выпил вино, медленно сжевал хлеб.

— Теперь сказывай, что можешь?

— Господарь, прошу меня не вязать... Бедный еврей никуда не побежит, честный еврей! Я могу господарю хранить и учитывать его сокровища: золото, камни еврей понимает лучше других...

— Хранители, учетчики у меня есть — мне надо лекаря.

Еврей качнул головой:

— Вай, господарь атаман, и лекарь я же...

— Ну, вот, огляди его! — Разин показал на Мокеева, сидевшего с опущенной головой: — У него избиты чрева, — от того ли он потерял зрение? Скажи!

— Надо, господарь, чтоб казак был голый.

Мокееву помогли раздеться. От груди до пупа его живот был синий. Еврей ощупал Мокеева, приложил ухо против сердца, сказал:

— Оденься!

— Ну, что скажешь, лекарь?.. Надолго или навсегда он потерял зор?

— Господарь, бог отцов моих, Адонай, умудрил меня, ему я верю, его почитаю и слушаюсь, он повел меня в Мисраим,[1] и там по книгам мудрецов учился я познавать врачевание. Эллины, господарь, учили, что около пупка человека жизнь, называли то место солнечным — от схожего слова: солнце — жизнь...

— Запутано судишь но я слушаю, говори, как можешь.

— Древние мудрецы Мисраима учили тоже, что около пупка жизнь человека и смерть. Они называли это иным словом: созвездие — в том месте сплетаются жилы. Если те жилы рассечь мечом, жизнь исчезнет.

— Б...дослов! Я и без тебя знаю, что посечь чрева смертно.

— Не гневайся, господарь. Поранить те жилы или избить много — опас от того большой. Есть жилы в том месте, ведающие слух, иные ведают зрение... У козака порвана жила зрения...

---

[1] По древне-еврейски — Египет.

— Берешься ли ты врачевать есаула?

— Врачевать, господарь, берусь! Много ли будет от врачебы моей, не знаю, да поможет мне бог отцов, берусь, атаман!

— Иди с ним в трюм. Требуй, что надо. Поможешь есаулу, я тебя награжу и отвезу, куда хочешь, на свободу... мое слово крепко!..

— Повинуюсь господарю и благодарю!

— Гей, слушайтесь еврея! Чего потребует, давайте! Где ты, Федор?

— Чую, батько!

— Ты все справы знаешь, проводишь учет и порядок, — отведи Мокеева с евреем в чистое место, в трюме есть такое, дай еврею умыться и белую одежду дай!

Еврей поклонился атаману:

— И еще много благодарю господаря!

7

Атаман с княжной, есаулами и казаками уплыли с ханского корабля на атаманский струг. На корабле остались у караула пять человек казаков, среди них Чикмаз. В трюме Петр Мокеев с лекарем-евреем, да в услугу им два ярыжки. В синей, как бархат, мягкой и теплой тьме огней на палубе не зажигали. На корме с пищалью высокий, отменно от других, Чикмаз, старавшийся держаться в одиночку; остальной дозор на носу корабля. Казаки, приставив к борту карабины, усевшись на скамьи гребцов, курили, рассказывая вполголоса про житье на Дону и Волге. Один Чикмаз привычно и строго держал караул, возвышаясь черной статуей над бортом. Корабль тихо шевелили вздохи моря. В синем на воде у кормы скользнуло черное. Чикмаз крикнул сурово:

— Гей, заказное слово! или стрелю!

— Не-е-чай! — ответило внизу.

В борт, где стоял Чикмаз, стукнул крюк с веревкой, въелся в дерево. По веревке привычно ловко вползла коренастая фигура с трубкой в зубах, пышущей огнем.

— Во, не узнал! Все мекал, куды мой Федько сгинул?

— Пули не боюсь, хоша бы стрелил. — Коренастый, покури-

вая, встал поодаль, голова на черном широкоплечем теле повернулась на нос корабля.

— Стой ближе... не чую... — сказал Чикмаз.

Коренастый придвинулся почти вплотную, прошептал:

— А ту, досказывай про себя... Я тебе на пиру все сказал...

— Скажу и я! Ведомо ли тебе, Федор, служил я боярам на Москве в стрельцах, от царя из рук кындяки да сукно получал за послуги.

— То неведомо...

— Вот! Перевели в палачи — палачу на Москве дело хлебное: за поморовку, чтоб легше бил, ежедень рубли перепадали...

— Вишь ты!

— Да... Вскипела раз душа, одним махом кнута на козле засек насмерть дворянина, а за тое дело шибнули меня в Астрахань, вдругорядь в стрельцы... В стрельцах, вишь, обидчик был: полуголова, свойственник Сакмышева, коего нынче в Яике утопили, обносчик и сыском ведал, — рубнул я его топориком, тело уволок в воду, башку собаки сгрызли, а гляжу — мне петля от воеводы! Я к атаману... Да зрю и здеся в честь не попадешь. Сам знаешь: вместях бились с гилянским пашой, Дербень зорили, не менее других секли армян, персов, а все без добра слова... Норов же мой таков: выслуги нет, значит держи топор на острее... Петруха Мокеев атаману зор застит — силен, что скажешь, в Астрахани его силу ведал, да мы чем хуже его?

— За себя постоим!

— Как ище постоим! Иному так не стоять... Хмелен я был, а во хмелю особенно злой деюсь и не бахвалю — от моей руки, Федор, ништо изжил... Людей кнутом насмерть клал неполным ударом... Ядрен Мокеев, да с пяти боев не стать и ему. Атаман в него, что девка, влюблен: вишь, чуть не посек, и знаю, будет в худчем гневе от Петрухиной смерти. Утечи мне надо! Без тебя утечи — в горах пропасть, что гнусу в море; в горах — знаю я, кумыки с тобой водят приятство.

— Ясырь им менял, дуваном делился.

— Тебе за твою удаль тоже не велика от атамана честь.

— Не велика? А забыл в Яйке, как и меня чуть не посек?

— Вот то оно... Пили, клялись, надумали утечи. Идешь?

— А ино как? Я только что на берегу двух аргамаков пригля-

дел: уздечки есть, кумычана в горах седла дадут... свинец, зелье, два пистоля и сабля запасены...

— У меня справлено тоже — пистоль и сабля. Текем, друг? По спине мураши скребут: а ну, как атаман наедет? Мокеев же в худом теле сыщется — беда!

— Куда ладишь путь?

— В Астрахань. Ныне другой, Прозоровской, восводит, битого полуголову не сыскали..

— Я на Дон к Васе Лавренчу...

— Кто ен?

— Сказывал тебе про Ваську Уса?

— О, того держись, Федор! В Астрахани будешь, сыщи меня: в беде укрою, в радости вином напою.

Чикмаз снял с плеча пищаль, поставил к борту:

— Прости-ко, железная жопка, в Астрахани другую дадут!

Коренастая фигура, царапнув борт, стукнула ногами внизу. Высокая за ней тоже скользнула в челн. Когда черное плеснуло в ширину синевы, на носу дозорный крикнул:

— Э-эй!

— Свои... тихо-о...

— Пошто караул кинули-и?

— Проигран-ное Мо-ке-е-ву вп-но-о добы-ть!

Казаки заговорили, пошли по борту:

— Задаст им Сергей Тарануха — наедет дозор проверить!

— Чикмаз, а иной кто?

— В костях приметной, ты не познал?

— Не, сутемки, вишь...

— Федько Шпынь, казак!

— О, други, то парни удалые — вино у нас скоро будет!..

8

Трубами и барабанным боем сзывались казаки на ханский корабль. Разин сидел с Сережкой и Лазункой, пил вино на ханском ложе. Вошли к атаману Серебряков, Рудаков и новый есаул Мишка Черноусенко, красивый казак, румяный, с густыми русыми бровями. Наивные глаза есаула глядели весело, девичьим лицом и кудрями Черноусенко напоминал Черноярца. Разин сказал:

— А ну, Лазунка, поштвуй гостей есаулов вином.

Лазунка налил ковш вина, поднес севшим на коврах внизу есаулам. Подошел самарский казак Федько, приглядчик за атаманским добром и порядком:

— Батько, Петра Мокеев подымается.

— Радость мне! Должно полегчало ему?

— Того не ведаю — лекарь там.

Медленно с толстой дубиной в руке по корме к атаману шел Мокеев.

— Добро, Петра! Иди, болящий.

— Иду, Степан Тимофеевич, да, вишь, ходила становят.

— Все еще худо?

— Зор мой стал лучше, только в черевах огневица грызет.

Мокеев подошел, сел тяжело.

— Пошто в колонтаре? Грузит он тебя!

— В черевах огняно, так железо студит мало, и то ладно...

— Лазунка, вина Петре!

— От тебя, батько, спробую, только в нутро ништо не идет.

Мокеев, перекрестясь, хлебнул из поданного ковша, вино хлынуло на ковер:

— Вишь вот! Должно мне пришло с голодухи сгинуть.

— Что сказывает лекарь?

— Ой, уж и бился он! Всю ночь живых скокух для холоду на брюхо клал, и где столько наимали целую кадь скокух? Мазями брюхо тер, синь с него согнал, и с того зор мой стал лучше, а говорит: «В кишках вереженне есть, то уж неладно...»

Казакам, дозору, на корме судна Разин крикнул:

— Гей, соколы! Чикмаза астраханца взять за караул.

Из дозора вышел казак, подошел, кланяясь:

— Батько, сей ночью Чикмаз утек с казаком Федькой Шпыном, дозор кинули, текли о сутемках. Сбегая, дали голос: «Что-де идем к бусурманам вина добыть!» Становить их было не мочно. Утром ихний челн нашли, взяли с берега, был вытащен до середины днища на сушу.

— И тут сплоховал? Перво дал играть игру, кою еще под Астраханью я не взлюбил, другое — не указал палача имать тут же... В мысли держал оплошно, что-де из чужих, гиблых мест сбегчи забоитца, да про Шпыня недомекнул — бывалой пес! Горы ему

ведомы, горцы, должно, знают его. Эх, сплоховал Стенько! Воры убредут без накладу. Иди, сокол!

Казак ушел.

— А не горюй, Степан Тимофеевич! Чему быть — не миновать. Сколь раз я бой на бочке высиживал и ништо было... Тут же сел, как рыбина — рот не запер... Игра эта тогда ладно сходит, когда человек напыжится, тогда брюхо натянуто — дуй, сколь надо... Я, вишь, перепил и обвиснул, удары ж были не противу иных.

— Эх, Петра! Не легше от того мне, что обвиснул ты. Воры убрели, и не пора нынче ногти грызть... Созвал я вас, есаулы молодцы, вот: иные из вас ропщут, пошто я не держу слова, не посылаю послов шаху. А надо ли? Пущай круг решит: хотим мы сести на Куру-реку, то путь от Шемахи... Горы перешед, подхватит степь, той степью в ступь коня два дни ходу... Зде Кура-река течет ширью с Москву-реку, по той реке деревни, торги есть, базары... Сказывали мне бывалые люди: тут через реку долгой паром слажен, как мост на цепи сквозной... На том перевозе купцы деньги дают с вьюка. Только сядем за шаха, на промысл гулебный нам не ходить... То еще проведал я: шах много зол на розоренье Дербени. Хан гилянской, не дождав его указу, сам наскочил. Дербень же мы наскоком разгромили. Не серчаю на Петру Моксева и названного брата Сергея — их дело Дербень, только после ее шаху посольство надобно. А думаю я еще разгромить берег и, укрепясь в заповеднике, перезимовать в Кизылбаше да на Куму-реку отплыть, а там уплавить на Дон.

— Посольство, батько, шаху и так не надобно.

— Вот и я решил то же, Петра.

— Вишь, шах крепко слажен с Москвой... В Астрахани был, ведал, что к шаху от Москвы, от шаха в Москву завсе гончие были: кой с товарами купцы шаха, от нас целовальники, прикащики за товарами. А ну, скажем, шах приберет нас в сарбазы, так ему тогда с Москвой сказать — прости! Знает он, какие головы казаки, а сыщики царские завсе вьют коло шаха, в уши ему злое дуют про казаков! Нет, с шахом нам не кисель хлебать...

— Ты, Петра, видишь правду, я тоже. Дума моя о том — не слать послов. Да и как кину я боярам народ русский? Кровь отца и брата не смыта — горит на мне, волков надо накормить

досыта боярским мясом, и в Москве быть мне, казнить или самому казниться, а быть!

Встал Сережка:

— Батько! В Русии не жить нам — на Дону матерые казаки жмут, тянут вольных к царю... Москва руки на Дон, что ни год, шире налагает... За зипуном итти к турчину, каланчи да цепи сквозь воду, много смертей проскочить, мимо Азова и ходу нет! На Волге место узко, в Яйке, в Астрахани головы да воеводы... Здесь же жить сподручно: Кизылбаша богата, место теплое, жен коих возьмем, иных с Дона уведем, семьи тоже; морем не пустят, то не один Федько Шпынь горы знает — ведаю горцев и я, а на Москву путь нам не заказан!

Встал Серебряков:

— Так, Степан Тимофеевич, и я мыслю, как Сергей, твой брат!

— Соколы! А как шах с нами не смирится?

— Смирится, батько! Что зорили городы, это только силу ему нашу кажет, устрашит: «не приму-де казаков, разорят Персиду». Примет! Ходил я с Иваном Кондырем веком, много зорили тезиков, а Ивана шах манил, — добавил Григорий Рудаков, старик.

— Эй, соколы, надо бы претить вам, да Серега, Иван и Григорий поперечат, одни мы с Петрой за правду. Ну, кого же брать к шаху?

— А то жеребий! — крикнул Сережка.

— Ждите! Сколь людей наладить: из казаков ли то, или из есаулов?

— Казаки ништо скажут — из есаулов!

— Ладьте, ежели, жеребий двум! Больше не дам, дам третьего в толмачи из тех персов, что без полона добром пришли служить мне... Говор наш смыслит, речь шаху перескажет, того и буде! Тебя, Петра, болящего, не шлю, в жеребий не даю...

— Ставь и меня, батько! На бой я долго не гож, може навсегда, а сидя на месте смерть принять хуже, чем за твою правду!

— Вишь, вот, други! Петра мекает, что у шаха — смерть... Надо послать людей маломочных; сгинете вы, удалые советчики, мое дело будет гинуть. Тут еще сон видал нехороший, не баба я — снам не верю, только тот сон не сон, явь будто?

— А ну, батько, какой тот сон?

— Скажи, Степан Тимофеевич!

— Да вот... Лежа с открытыми глазами, видел, что свещник у меня возгорелся, а свечи в ем, что посторонь середней, одна за одной зачали гаснуть... Иные вновь возгорались и меркли — долго то длилось... Потом одна середняя толстая осталась, и свет тое свечи кровав был...

Лазунка сказал:

— Тут, батько, Вологженин. Чует он тебя, сны хорошо толкует. Гей, дедко!

Из угла ханской палаты вышел старик в бараньей шапке с домрой подмышкой.

— Ты чул, дедко, сон атамана? Толкуй! — приказал Сережка. Разин велел дать старику вина.

— Пей и не ляг! Правды, сколь ни будет жестока, не бойся.

— Того, атаманушко, не боюсь! Ведаю, справедлив ты. Что посмыслю, скажу. — Старик передал Лазунке пустой ковш, утер мокрую бороду, сказал: — Кровава свеща — сам атаман, свещи посторонь — те, что ближни ему боевые люди: один пал, другой возгорелся...

— Вот ежели правда, соколы, то как я пошлю есаулов к шаху... Что значит, дидо, огонь мой кровав?

— То и младеню ведомо, атаманушко! Кровью гореть тебе на Руси... Свет твой кровавый зачнет светить сквозь многие годы. Ты не дождался, когда потухл он?

— Нет, старик!

— Вот то... и ежели в тебе сгаснет — в ином возгорится твой свет...

— Добро, старой! Пей еще, сказал так, как надо мне, знаю; боевой человек кратковечен, вечна лишь дорога к правде... На той дороге кровавым огнем будет светить через годы, что столетия наша правда!

Серебрякову, подставившему ковш, налили вина, он поклонился Разину, сказал:

— Ты без жеребья спусти меня, батько, к шаху! Я поведаю ему твою правду так, что и Москву кинет, даст нам селиться на Куре.

— Эй, Иван! А шах тебя замурдует? Ведь легше мне, ежели руку, лишь не ту, что саблю держит, отсекли... Я глазом не двину, коли надо спасти тебя — дам отсечь руку.

Серебряков поклонился, сказал:

— А все ж спусти!

— Без жеребья не налажу, Иван!

— Сергей, мечи жеребьи!

— Лазунка, черти! Итти Ивану, Григорию, Петру ставить ли, батько?

— Ставь, Сергей! За правду перед шахом мне прямая дорога.

— Петру итти, Михайлу, Сергею, Лазунке.

Разин, хлебнув вина, сказал:

— Легче мне на дыбе висеть, чем слушать, как вы, браты, суетесь в огонь!

Сережка ответил:

— Ништо, батько! Даст-таки шах место, запируем и зорить воевод пойдем, а за горами нас не утеснить.

Лазунка написал имена есаулов, завернул монеты в кусочки материи, вместе с именами кинул в шапку деда сказочника.

— Тряси, старик! Вымай, Рудаков! Два древних пущай судьбу пытают.

— Пустая! Пустая! Еще пустая! Серебрякову итти! Пустая! Пустая! А ну? Еще пустая! Мокееву Петру итти.

— Вишь вот, кто просился, тот и покатился, — сказал древний сказочник, вытряхивая жеребьи.

— Что батько? Я еще гож на твою правду! Сказывать ее буду ладом. Одно лишь — шаху не верю: московский царь Ирод, персюк — сатана! Един другого рогом подпирают. Иду, Степан Тимофеевич.

— Эх, Петра! — Разин опустил голову, лицо помутилось грустью, прибавил необычно и очень тихо: — Воле вашей, соколы, не поперечу... — Поднял голову: — Чуйте! О бабах кизылбаши не очень пекутся, как и у нас. Княжну не помянем, пущай Мокеева Петры память со мной пребудет. Но есть полоненник сын хана, Шебынь; удержит кого из вас аманатом шах, сказывайте ему про Шебыня и весть дайте — обменю с придачей.

— Ладно, батько. Теперь нам дай толмача.

— Того берите сами, кой люб и смыслит по-нашему.

9

Подьячий, дойдя до старого торгового майдана, не прошел дальше, народ толпами теснился на шахов майдан, рыжий подьячий слышал возгласы:

— Шах выйдет!

— Повелитель Персии идет на майдан!

Рыжий, проходя мимо торговцев фруктами — шепталой, изюмом, винными ягодами и клейкими розовыми сластями, — думал:

— Без дела к шаху не надо .. Ходит запросто, не то, что наш государь. Наш в карете. Шах будто палач, норовист по-шальному: кого зря пожалует, ино собакам скормит...

К середине площади провели нагого человека.

— А, своровал? — Казнят!

Рыжий любил глядеть казнь, потому спешно пошел. На середине площади стоят каменные столбы дважды выше человека, с железными кольцами, в кольцах ремни.

Бородатый палач, голый до пояса, в красных запачканных черными пятнами крови шароварах. На четырехугольном лице большой нос, приплюснутый над щетиной усов. Оскалив зубы, палач всунул кривой нож в тощий живот преступника.

— Иа! Иа!

— Сэг! Заговорил как надо... — проворчал палач, выматывая из распоротого человека кишки и кидая в сунувшиеся к нему собачьи морды.

Тощее тело, желтое, ставшее совсем тонким, как береста, скрючилось у ног палача. Супув нож за широкий синий кушак, со лба сдвинув кулаком, чтоб не запачкать, чалму, палач, еще шире скаля крупные зубы, кинул казненного, будто тушу теленка, на острые саженные зубья железные, торчащие кверху из толстого бревна.

На страшном гребне тело еще дрыгало: опустившись сквозь распоротую диафрагму, сердце сжималось, разжималось, белели глаза, мигая как от солнца, высунутый язык шевелился. Палач, не глядя на казненного, встав к нему задом, громко с тавризским оттенком в говоре закричал:

— Персы! Великий шах наш спросил эту собаку, которую я казнил: «кто ты?» Он же ответил милостивому нашему отцу Аббасу: «человек, как и ты, шах!» Непобедимый шах сказал: «ты — собака, когда не умеешь говорить со мной!» и велел взять его... Всякого отдаст мне великий, кто со злобой будет отвечать солнцу Персии.

— Слава шаху Аббасу! — закричал рыжий.

Толпа молчала.

— Пусть не кричат про величество дерзких словес, слава непобедимому шаху!

Толпа молча расходилась...

— А, черти крашеные! Не по брюху калач, что шах человечьим мясом собак кормит? Зато и не лезу к нему на глаза. — Рыжий пошел к майдану: — А ну, что их клятая абдалла [1] лжет?

Подошел к дервишу. Дервиш сидит на песке в углу майдана спиной к каменному столбу, перед ним раскрыта древняя книга. Тело дервиша вымазано черной нефтью от глаз до пят, запах застарелого пота разносится от него далеко. Дервиш наг, только срамные части закрыты овчиной. Бородатый, в выцветшей рваной чалме, в ушах на медных кольцах голубые крупные хрусталя. Перед дервишем слегка приникшая толпа. Впереди, выдвинувшись на шаг, перс с больным желтым лицом, под безрукавным цвета серого песку плащом со скрипом ходит грудь, на тонкой шее трепещет толстая жила, из-под голубой чалмы на лицо и бороду течет пот. Перс с испугом в глазах хрипло спросил дервиша:

— Отец! Поведай, сколько еще жить мне? Бисмиллахи рахмани рахим... скажи?

— Аз ин китаб-э шериф мифахмом, кэ зандегонии ту си у сэ соль туль микяшэд! [2]

Рыжий фыркнул и отошел:

— Клятой, лжет: естество истлело, чем тут жить тридцать лет? Мне бы такое предсказал — оно пишто...

В другой толпе, окруженный, но на большом просторе, стоял человек, увешанный спизыми с пестрой змеями; змеи висели на укротителе, как обрывки канатов.

Укротитель без чалмы, волосы и борода крашены в яркорыжий цвет, бронзовое тело, худое, с резкими мускулами, до пояса обнажено. По голубым штанам такой же кушак.

На песке в кругу людей ползала крупная змея с пестрой головой. Укротитель ударил кулаком в бубен, висевший у кушака: все змеи, недвижимо пестрящие на нем, оттопырили головы и

---

[1] Абдаллами русские XVII в. называли дервишей.

[2] Из священной книги я понимаю, что твоя жизнь продлится 33 года.

зашипели. Ползущая по кругу толке подняла голову, остановилась на минуту и поползла прямо в одну сторону. Толпа, давая змее дорогу, спокойно расступилась. Рыжий отскочил:

— А как жогонет гад? Сколь раз видал их и не обык!

Укротитель ударил в бубен два раза, змея поднялась на хвосте с сажень вверх, мелькнула в воздухе, падая на плечи укротителя. Один человек из толпы выдвинулся, спросил:

— В чем моя судьба?

— Мар махазид суй машрик, бояд рафт Мекке бэрои хадж. Ин кисмат-э туст! [1]

Рыжий, боясь подойти близко к укротителю, крикнул по-русски:

— Эй, сатана! Наступи гаду на хвост — поползет на полночь. С того итти не в Мекку, а к бабам для прибытку или в кабак на гульбу!

Не зная языка московитов, укротитель покачал головой, чмокнув губами...

На шаховом майдане ударили медные набаты, взревели трубы — шах вышел гулять. А на торговый майдан входили трое: двое в казацких синих балахонах и третий в золоченых доспехах.

— Вот те святая троица, Гаврюшка! Хошь не хошь, к шаху путь, — то они!

Серебряков поддерживал Мокеева. Мокеев с дубиной в руке медленно шел, сзади их казак толмач из персов.

Рыжий подошел, кланяясь, заговорил, шмыгая глазами:

— Робятки! вот-то радость мне, радость нежданная... От Разина атамана поди до шаха надо?

— От Степана Разина, парень. Тебе чего? —спросил Серебряков.

— Как чего! Братие, да кто у вас толмач? Ломаный язык — перс? Он завирает ваши слова, как шитье в куделе. Замест услуги атаману дело и головы сгубите — шах человек норовистой.

— Ты-то так, как тезики говорят, смыслишь? — спросил Мо-

[1] Змея ползет на Восток, следует отправиться в Мекку в паломничество — это твоя судьба.

кеев, тяжело дыша, попятываясь, — Горит утроба! Да, жарко, чорт его! Водушки бы испить?

— Окромя персицкого надо — так арапской знаю, говор их тонко ведаю, а вы остойтесь: шах еще лишь вышел, не разгулялся, сядьте. Толмач вам воды пресной добудет, здесь она студеная!

— Ты куды?

— Платье, рухледь обменю! К шаху пойдем — шах не терпит людей в худой одежке.

— Поди, парень! Мы дождем.

На каменной скамье казаки сели, толмач пошел за водой. Рыжий юркнул в толпу.

— Начало ладное, свой объявился, по-ихнему ведает — добро! Обскажет толком.

— Как будто и ладно, Петра, да каков он человек?

— Справной, зримо то. Жил тут и обычаи ведает. Вишь, сказал: «шах не любит худой одежи». А кабы не заботился, то было бы ему все едино — худа аль хороша одежа...

— Оно, пожалуй, что так!

Рыжий вскоре вернулся в желтом атласном кафтане турецкого покроя, по кафтану голубой кушак с золочеными кистями на концах. На голове вместо колпака летняя голубая мурмолка с узорами.

— Скор ты, брат! — сказал Мокеев: — то добро!

— Хорош ли?

— Ладен, ладен!

— Веди коли ты нас к шаху.

— Я тут обжился и нажился с деньгой — ясырем промышляю, мне все — не то улицы — закоулки ведомы. Ладно стрелись — дело ваше розыграю, во!

Толмач перс молчал.

Рыжий заговорил с толмачом по-персидски.

Серебряков спросил перса:

— Хорошо наш московит знает по-персски?

— Карашо, есаул! очень карашо!

— Тогда он будет шаху сказывать, ты пожди, да поправь, ежели что соврет про нас... У тебя, вишь, язык по-нашему не ладно гнется, нам же надобны прямые словеса.

— Понимай я! — ответил толмач.

Шах сидел спиной к фонтану в белом атласном плаще. Голубая чалма на голове шаха перевита нитками крупного жемчуга, красное перо на чалме в алмазах делало еще бледнее бледное лицо шаха с крупной бородавкой на правой щеке, с впалыми, злыми глазами. По ту и другую сторону шаха стояли два великана-телохранителя с дубинами в руках. В стороне среди парадных беков слуга держал на серебряных цепях двух зверей — породы гепардов. Звери гладкошерсты, коричневы, в черных пятнах, морды небольшие с рядом высунутых острых зубов, лапы длинные, прямые — отличие быстроты бега...

Рыжий шепнул Серебрякову, поняв, что он недоверчиво относится к нему:

— Зрите в лицо шаху! Шах любит, чтоб на него как на бога глядели...

— Чуем, парень!

Было очень тихо. Шах начинал говорить, но обернулся к бекам:

— Зачем даете шуметь воде?

Шум воды прекратился. Фонтан остановили.

Шах, обращаясь к толпе, заговорил ровным, тихим голосом:

— Бисмиллахи рахмани рахим! Люди мои, разве я не даю вам свободу в вере и торге? Я всем народам царства моего даю молиться, как кто хочет! У мечетей моих висят кумиры гяуров — армян, русских и грузин, разве я разбиваю то, что они называют иконой? Нет! Правоверным даю одинаковое право — шиитам и суннитам. Пусть первые исповедуют многобожие, другие единобожие, они сами враждуют между собой. Мне же распри их безразличны!.. Я не спрашиваю у вас, посещаете ли вы мечеть, как творите намаз? Я знаю, что вы платите при разводах абаси на украшение моих «Кум».[1] Того мне довольно. Или вам в торге мной не дана свобода? Торгуйте чем хотите, — я не мешаю, если вы жен своих продадите в рабство — то ваше право. А вот когда вас шах призывает играть грязью и водой — игру, которой тешились еще предки мои, властители Ирана, мой дед Аббас первый — победитель турок, завоеватель многих городов Индии,

---

[1] Священное место, кладбище шахов.

и я, шах Аббас второй, тогда вижу, что иные из вас приходят играть в худом платье, боясь, что их разорят... Так вы жалеете для шаха тряпок? Берегитесь. Я буду травить собаками или давать палачу всякого, кто пришел играть в старой одежде. Помните лишь: шах прощает наготу и нищету только дервишам, но не вам! Также есть, кто говорит со мной грубо, не преклонив колени, — того казню без милосердия.

Толмач тихо переводил слова шаха Серебрякову.

Мокеев, прислушиваясь, сказал:

— Вишь, Иван, наш московской сказал всю правду про шаха. А мы-таки запылились в пути.

— Перво все же пущай наш толмач говорит, Петра! — Серебряков, обратясь к рыжему, прибавил: — Паренек! Наш толмач скажет, а там уж ты.

— Ныне, казак, как захочу: шею сверну или с дороги поверну... хо!

— Нам спокойнее — наш!

— У вас сабли востры — у меня язык. — Рыжий, нырнув по толпе глазами, сказал: — Ужли Акимко дьяк зде?

— Кто таков?

— То не вам — мне надобно! Без сатаны место пусто! пришел курносой...

Бывший дьяк был в толпе, но на вид не выходил.

— Выйди ближе — я тя обнесу перед шахом!

— Ты и нас обнесешь? — спросил Серебряков.

— С чего? Я узрю, как лучше.

Серебряков выдвинул вперед толмача, сказал:

— Молви — послы от атамана!

Толмач, выйдя, преклонил колено, прижал руку к правому глазу.

— Великий шах! К тебе, солнцу Персии, с поклоном, пожеланием здоровья прислал своих казаков просить о подданстве атаман Степан Разин.

— Тот, что разоряет мои города? Беки! отберите у них оружие!

Два бека вышли из толпы придворных, сказали толмачу:

— Пусть отдадут сабли и, если есть пистоли, тоже передай нам!

Серебряков и Мокеев, вынув, отдали сабли.

— Пусть тот отдаст дубину! Он — посол, дубина надобна только великого шаха слугам.

— Не дам! Паду без батога — скажи им, толмач.

Толмач перевел слова Мокеева, шах спросил:

— Чего тот в доспехах кричит?

— Хвор он! Сказывает, падет без палки.

— Пусть подходит с палкой!

Мокеев, Серебряков и толмач вышли вперед. Серебряков, как указал толмач, преклонил левое колено.

— Приветствуем тебя, шах!

Толмач перевел, прибавив слово «великий».

— Много вы разорили моих селений и городов?

— Те разорили, кои на нас сами нападали, — ответил Серебряков.

Шах метнул больными глазами на Мокеева, крикнул:

— Зачем не преклонил колен и головы?! Он знает мою волю.

Толмач перевел. Серебряков ответил.

— Шах, ему не подняться с земли, преклонив колени, он — хворобый.

— Пущай лежа сказывает, что надо ему? Зачем шел хворый? — заметил шах, мотнув головой, сверкая алмазами пера скороходам.

— Поставьте казака на колени, не встанет — сломайте ему ноги, он должен быть ниже!

Великаны, оставив посохи, подошли к Мокееву.

— Што надо?

Толмач перевел есаулу волю шаха.

— Хвор я, да кабы ядрен был — не встал, от того царя на Москвы глядеть не мог — не в моем обычае то...

Видя, что Мокеев упорствует, скороходы шагнули к нему, взялись за плечи. Мокеев двинул плечами, рукой, свободной от палки, оба перса отлетели, один упал под ноги шаху.

Толпа замерла, ожидая гнева повелителя. Шах засмеялся, сказал:

— Вот он какой хворый!.. Каков же этот казак был здоровым, и много ли у Разина таких?

Толмач быстро перевел. Мокеев крикнул:

— Все такие! И вот ежели ты, шах, не дашь нам селиться

на Куре, не примешь службы нашей тебе головами, то спалим Персию огнем, а жителей продадим турчину ясырем!

Серебряков сказал тихо:

— Петра! Так губишь дело — не те словеса твои...

— Вишь, он нахрапистой — все едино, что говорить!

Серебряков приказал толмачу:

— Переведи шаху вот, а не его слова: «много нас, шах, таких, как я. Будем ему служить верно и честно, если даст место на Куре-реке».

Толмач перевел:

Шах ответил:

— Погляжу еще на вас. Может быть, прощу разорение Дербента и иных селений... Я верю, знаю, что они храбрый народ! Такие воины нужны Персии.

Из толпы вышел седой военачальник гилянского хана, преклонив колено, приложив правую руку к глазу, заговорил торопливо:

— Великий шах Аббас! Эти разбойники в Кюльзюм-море утопили, сожгли корабли и бусы повелителя Гиляна; его убили, взяли сына в плен — держат до сих пор. Благородный перс томится на своей родине в неволе у грабителей.

Шах нахмурился, сказал строго:

— Встань, Али Хасан!

— Чашм, солнце Персии! — старик встал, склонив голову.

— Скажи мне, визирь моего наместника, сколько повелителей в Персии!

— Един ты, великий шах! — ответил старик.

— Да, только я один, шах Аббас второй,—повелитель! Убитый козаками наместник присвоил себе имя повелителя, и горе ему! Вас всех приучил к этому слову... Завел двор, жил хищениями. Он так зазнался, что стал самовластным. Не дожидаясь моего указа, кинулся в море на них! — шах указал рукой в сторону Серебрякова: — И думаю, хан мешал тебе, старик? Ты вел корабли, позорно бежал от сечи.

— Великий шах Аббас, хан перед битвой отнял у меня власть, он сам приказывал битве. Я же, усмотря, что гибель кораблей неизбежна, увел три бусы, спасая людей.

— Али Хасан, что еще сказать о хане? Меня замещал словом повелитель? Тебя, старого военачальника, сместил? За гордость

свою был достойно наказан. И еще: он без моего ведома сносился с горцами — он опасен.

Смутно понимая, что говорят о гилянском хане, Серебряков склонил голову и левое колено.

— Шах, гилянской хан сам напал на наши струги.

Также прибавив слово «великий», толмач перевел.

— Казаки, за хана гилянского не осуждаю вас.

Выступил рыжий.

Преклонив перед шахом оба колена, сняв мурмолку, затараторил по-персидски:

— Великий государь всея Руси, великие, малые и белые — самодержец Алексий Михайлович послал меня, холопа своего, к величество шаху Аббасу челом бить, справиться о здоровье и грамоту от государя передать!

— Встань и дай! Что пишет царь московитов ко мне, повелителю Ирана?

— Погубит нас тот! — тихо сказал толмач Серебрякову.

Мокеев услыхал.

— Тебя, парень толмач, зависть берет?

— Петра! толмач правду молыт, я это чую...

Шаху подьячий читал бумагу по-персидски, начиная с величания царя:

— «А чтоб не было розни между государствами и многой помехи торгу, то пишу я тебе, брат мой величество шах Аббас второй: изымай ныне шарпающего твои городы вора атамана Стеньку Разина, дай его мне на расправу на Москву... Грабитель оный, Стенька Разин, столь же опасен как нашему русскому царству, такожде и тебе, величество, шаху потданым»...

Шах накрыл бумагу; прекращая чтение, сказал:

— Кто опасен мне — знаю, а что торговля падет, то не моя о том печаль! Мои подданные исправно платят подати, а иное—купцов заботы... Думаю я взять казаков в подданство; куда их селить — увижу!.. Хочешь, то передай это своему царю да скажи; указать мне не волен никто!

Рыжий, свертывая бумагу, подумал:

«Сей же день отпишу: «в Посольском-де приказе дьяки нерадиво пишут — на письмо шах зол».

Он поклонился, не надевая мурмолки, и не уходил. Шах был гневен.

— Хочешь говорить? Скорей. И уходи с глаз!

Рыжий ткнул свернутой грамотой в сторону Мокеева.

— Величество, шах Аббас! Вон тот вор, дознал я, убил в Дербени твоего визиря Абдуллаха, братов его и сынов, а дочь, зовомую Зейнеб, имал ясырем, дал необрезанному гяуру, атаману вору, в жены!

— Как, Абдуллах убит? — шах повернулся к бекам.

Те, склонив головы, молчали.

— И вы до сих пор не известили меня о его смерти? Да... теперь я знаю, беки, как ненавидели вы его — он был горд с вами! Тот убил?

— Эй, вы! — шах ткнул рукой в сторону Серебрякова с толмачом, — отпускаю, мира с атаманом не будет! Того — гепардам. — Шах погрозил кулаком Мокееву и, крепче сжимая кулак, махнул слуге: — спускай!

Слуга, отстегнув цепь, гикнул, бросил к ногам Мокеева книжал — знак кого травить. Гепарды рыкнули, кинулись: один спереди, другой сзади впился есаулу в шею. Переднего Мокеев ткнул дубиной — гепард отполз, скуля, роняя на песок из носа кровь. Другой висел, сжимая пастью, царапал кошачьими когтями колонтарь.

— Посулы от сотоны?..

Кинув дубину, Мокеев согнулся, по шее спереди текла кровь, не давало дышать. Есаул достал гепарда рукой, с кусками тела сорвал и, перекинув через голову, стукнул о землю, придавив ногой. Нагнувшись, поднял животное, кинул к ногам шаха:

— Тебе, чорту, на воротник!

— Гепардов дать! — шах вскочил. Лицо его из бледного стало серым, на щеке синим налилась бородавка, красное перо замоталось на чалме.

Серебряков сделал шаг вперед, склонив колено:

— Шах, товарищ хвор! Его обнесли, не он зорил — много казаков зорило Дербень!

Толмач быстро перевел, а на песке издыхали любимые гепарды шаха. Шах был гневен: поверив одному, ничему больше не верил. Он взвизгнул, потрясая кулаками:

— Хвор — ложь! Дать гепардов! Во всем моем владении нет человека, кто бы таких могучих зверей задавил, как щенков. Ложь! Берегись лгать мне!

Беки с оружием придвинулись к шаху, охраняя его и давая дорогу — от рычания гепардов толпа шатнулась вспять.

Четыре таких же рослых гепарда, молниеносно наскочив, рвали Мокеева. Не устояв на ногах, он обхватил одного гепарда и задавил. Шах сам гикал визгливо гепардам, топал ногой. В минуту на песке, дрыгая, подтекая кровью, сверкал на солнце замерзший колонтарь: у есаула не было ни ног, ни головы. Недалеко вытянулся задушенный силачом гепард с оскаленными зубами, да валялась смятая запорожская шапка...

Затрещал рог — гепарды исчезли.

— Видел!? Скажи атаману, как я принял вас. Пусть отпустит дочь Абдуллаха, или я отвезу его в железной клетке к царю московитов. Бойся по дороге обидеть людей, или с тобой будет то же, что стало с тем.

Голова с седой косой военачальника гилянского хана низко склонилась:

— Непобедимый отец Персии, вели сказать мне.

— Говори!

— Не надо отпустить живым этого посланца — он, я по глазам его узнаю, — древний вождь грабителей, имя его «Нечаи», его именем идут они в бой...

— Того не знаю я, Али! Он вел себя, как подобает. Мое слово сказано — отпустить! А вот если хочешь быть наместником Гиляна — тебе я даю право глядеть, как будут строить флот — вербуй войско и уничтожь или изгони казаков из Персии.

Толмач опасливо и тихо перевел слова шаха Серебрякову.

— Чашм, солнце Ирана!

— Нече делать — итти надо, парень!

От фонтана толпа медленно шла на шахов майдан; в толпе шел рыжий, желтея атласом, пряча под пазухой бархатную мурмолку, чтоб не выгорала. Лицо предателя было весело, глаза шмыгали.

Он, подвернувшись с левой руки к Серебрякову, крикнул:

— Счастливы воры! Мекал я, величество всех решит!

— Б...дослов, — громко ответил есаул, — кабы пистоль, я б те дал гостинца, да, вишь, и саблю не вернули.

— Толмач, поучи чорта персицкому, пущай уразумеет, что сказал шах: «за обиду — смерть!»

Шутил, удаляясь, рыжий:

«Эх, Гаврюха, ловко сказал, лучше посольской грамоты!..»

Скоро итти в толпе было трудно. Подьячий шел в отдалении, но в виду у казаков. Справа из толпы к Серебрякову пробрался бородатый, курносый перс, шепнул:

— Обнощика спустили! Стыдно, козаки!

— Да, сотона! От руки увернулся, пистоля нет.

— А ну, на щастье от Акима Митрева дьяка — вот! Заправлен! — курносый из-под полы плаща сунул Серебрякову турецкий пистолет с дорогой насечкой.

— Вот те спасибо! Земляк ты?

— С Волги я — дьяк был! Прячь под полой!

— То знаю!

Бывший дьяк исчез в толпе. Серебряков, держа пистолет в кармане синего балахона, плечом отжимал людей, незаметно придвигаясь к подьячему. Рыжий был недалеко. Не целясь, сотник сверкнул оружием, толпа раздалась вправо и влево.

— Прими-ко за Петру!

Рыжий ахнул, осел, роняя голову, сквозь кровь, идущую ртом, булькнул:

— Дья... дья... дья... — сунулся вниз договорил: — дьяк!..

Из толпы кинулись к рыжему. Серебряков придвинулся, взглянул.

— Нещастный день пал! Да, вишь, собаку убил, как надо.

— Иа, Иван! Инпалла... дадут нас гепардам, бойся я...

— Дело пропало, Петру кончили,— я, парень, никакой смерти не боюсь.

Серебрякова с толмачом беки привели к шаху. Кто-то притащил рыжего. Он лежал на кровавом песке, где только что убрали Мокеева. Серебряков бросил пистолет.

— Хорош, да непадобен боле!

— Тот, седые усы, убил!

Шах сидел спокойный, но подозрительный. Военачальник гилянского хана сказал:

— Теперь, солнце Персии, серкеш исчезнет в Кюльзюм море как дым.

— Али Хасан, этот старый козак воин — с такими можно со славой в бой итти. — Спросил Серебрякова, указывая на рыжего: — Он ваш и вам изменил? Я верю тебе, ты скажешь правду!

— Шах, то царская собака — у нас нет таких.

Толмач перевел.

— Убитого обыщите!

Беки кинулись, обшарили Колесникова и, кроме грамоты, не нашли ничего.

— Может быть, убитый — купец!

Из толпы вышел седой перс в рыжем плаще и пестром кафтане, в зеленой чалме, преклонив колено, сказал:

— Великий шах, убитый не был купцом — я знаю московитов купцов всех.

Шах, развернув грамоту подьячего, взглянул на подпись.

— Здесь нет печати царя московитов! Ее я знаю — убитый подходил с подложной бумагой. Беки, обыщите жилище его — он был лазутчик! — взглянув на Серебрякова, прибавил: — Толмач, переведи козаку, что он совершил три преступления: мое слово презрел — не убивать, был послом передо мной — не отдал оружия и убил человека, который сказал бы палачу, кто он.

Толмач перевел.

— Шах, умру! Не боюсь тебя.

— Да, ты умрешь! Эй, дать козака палачу. Не пытать, я знаю, кто он! Казнить.

Серебрякова беки повели на старый майдан.

Есаул сказал:

— Передай, парень: умерли с Петрой в один день! Пусть атаман не горюет обо мне — судьба. Доведи ему скоро: «сбирают-де флот, людей будут вербовать на нас, делать тут нече, пущай вертает струги на Куму-реку или Астрахань».

— Кажу, Иван! Иа алла.

11

Много дней Разин хмур. Неохотно выходил на палубу струга а выйдя, глядел в даль на берег. Княжна жила на корабле гилянского хана. Атаман редко навещал девушку и всегда принуждал ее к ласке. Жила она, окруженная ясырками, персиянками. Разин, видя, что она чахнет в неволе, приказывал потешать княжну, но отпустить не думал. На корабле, в трюме, запертый под караулом стрельцов, жил также пленный сын гилянского хана — его по ночам выпускали гулять по палубе. На носу корабля, где убили хана, сын садился и пел заунывную

песню, всегда одну и ту же. Никто не подходил к атаману; один Лазунка заботился о нем, приносил ему вино. Разин последние дни больше пил, чем ел. Спал мало. Погрузясь в свои думы, казалось, бредил. Утром, только лишь взошло солнце, Лазунка сказал атаману:

— Батько, вывез я на струг дедку сказочника, пущай песню тебе сыграет или сказкой потешит.

— Лазунка, не до потехи мне, да пущай придет.

Вошел к атаману скоро подслеповатый старик с домрой под пазухой, в бараньей серой шапке, поясно поклонился.

Подняв опущенную голову, Разин вскинул хмурые глаза, сказал:

— Супротив того, как дьяк бьешь поклоны! Низкопоклонных чту завсе хитрыми.

— Сызмала обучили, батюшко атаманушко...

— Сами бояра гнут башку царю до земли и весь народ головой к земле пригнули! Эх, задасца ли мне разогнуть народ!

— Сказку я вот хочу тебе путать...

— Не тем сердце горит, дидо! И свои от меня ушли, глаз боятся; один Лазунка, да говор его прискучил. Знаешь ли: сказывай про бога, только чтоб похабно было...

— Ругливых много про божество, боюсь путать... Ин помыслю... что подберу. Да вот, атаманушко:

«Жил, вишь, был на белу свету хитрый мужичонко, работать ленился, все на бога надею клал... И куда ба ни шел, завсе к часовне Миколы тот мужик приворачивал, на последние гроши свечу ленил, а молился тако: «Микола, свет! пошли мне богачество».

«Микола ино и к богу пристает:

«— Дай ему, чего просит, не отвяжется!

«Приключилось так — оно и без молитвы случается — кто обронил неведомо, только мужик тот потерях уподобрал, а была то не малая казна, и перестало с тех пор вонять в часовне мужичьей свечкой.

«Говорит единожды бог Миколе:

«— Дай-кось глянем, как тот мужик живет?

«Обрядились они странниками, пришли в село. Было тогда шляхотно да осенне в сутемках. Колотится божество к мужику— мужик уж избу двужирную справил с резьбой, с красками, в

узорах. На купчихе женился, товар ее разной закупать послал и на копейку руль зачал наколачивать.

« — Доброй мужичок, пусти нас.

«Глянул мужик в окно, рыкнул:

« — Пущу, черти нищие, только чтоб хлеб свой, вода моя. Ушат дам, с берега принесете; а за тепло — овин молотить!

« — Пусти лишь, идем молотить!

«Зашли в избу. Сидит мужик под образами в углу, кричит:

« — Эй, нищие! Чего это иконам не кланяетесь, нехристи?!

« — Мы сами образы, а ты не свеча в углу — мертвец!

«Старики кое с собой принесли, того поели; спать легли в том, что надели. Чуть о полуночь кочет схлопался, мужик закричал:.

« — Эй, нищие черти, овин молотить!..

«Микола, старик сухонький, торопкой, наскоро окрутился. Бог лапоть задевал куды, сыскать не сыщет, а сыскал, то оборки запутались... Мужику невмоготу стало, скок-поскок и хлоп бога по уху.

« — М... твою — матерой! Должно из купцов будешь? Раздобрел на мирских кусках!..

« — Мирским-таки кормимся, да твоего хлеба не ели!»

— Смолчи, дидо! Чую я дально, будто чели плещет? Давай вино пить! Должно есаулы от шаха едут... али кто — доведут ужо...

— От винца с хлебцем век не прочь...

На струг казаки привезли толмача одного, без послов есаулов. Лазунка встретил его.

— Здоров ли, Лазун? Де атаман? Петру шах дал псам, Иван — казнил!

— Пожди с такой вестью к атаману — грозен он. Жаль тебя... ты меня персюку сказу учинь и парень ладной, верной.

Толмач тряхнул головой в запорожской шапке.

— Не можно ждать, Лазун! Иван шла к майдан помереть, указал мне: «атаману скоро!»

— Берегись, сказываю! Спрячься. Я уж доведу, коль спросит, что козаки воды добыли... Потом уляжется, все обскажешь.

— Не, не можно! И кажу я ему — ихтият куи, султан и козак; [1] шах войск сбирает на атаман... Иван казал: «скоро доведи!»

— Жди на палубе... вдетый, скажешь.

---

[1] Опасайся, повелитель казаков.

Лазунка не пошел к атаману и решил, что Разин не спросит, кто приплыл на струг. Ушел к старику Рудакову, на корму, туда же пришел Сережка, подсел к Рудакову.

— Посыпь, дидо, огню в люльку!

Рудаков высыпал часть горячего пепла Сережке в трубку, — тот, раскуривая крошеный табак, сопел и плевался.

— На-пусто ждать Мокеева с Иваном! Запарасно, Сергей, томим мы атамана: може, шах послал их на Куру место прибрать. Эй, Лазунка, скажи-кось, верно я сказываю?

— Верно, дидо! Прибрали место.

— Ну, вот. Ты говорил с толмачом, что есаулы?

Лазунка ответил уклончиво.

— Атаман не любит, когда вести не ему первому сказывают! Молчит толмач.

— То правда, и пытать нечего! — добавил Сережка.

Рудаков, поглядывая на далекие берега, думал свое.

— Тошно без делов крутиться по Кюльзюму... Кизылбаш стал нахрапист, сам лезет в бой.

— Ты, дидо, спал, не чул вчера ночью, а я углядел: две бусы шли к нам с огненным боем. Да вышел на мой зов атаман, подал голос, и от бус кизылбашских щепы пошли по Хвалынскому морю...

— Учул я то, когда все прибрано было, к атаману подступил, просил на Фарабат грянуть...

— Ну, и что?

— Да что! Грозен и несговорен, сказал так: «Негоже-де худое тезикам чинить без худой вести о послах». А чего чинить, коли они сами лезут?

— Эх, дидо! Я бы тож ударил, только тебе Фарабат, мне люб Рящи город... Шелку много, ковров... армеця живет — впно есть.

— Чуй, Сергей, зверьем Фарабат люб мне... в Фарабате шахозы потешны дворы, в тых дворах золота скрыши, я ведаю. И все золотое, — чего краше — ердань шахова, и та сложена вся из дорогого каменья. Недавна ведаю Фарабат: с Иваном Кондырем веком его шарпали, а нынче, знаю, он вдвое возрос... Бабра там в шаховых дворах убью. Из бабровой шкуры сладку себе тулуп, с Сукниным на Яйк уйду — будет тот тулуп память мне, что вот на старости древней был у лихого дела, там хоть в гроб... Бабр, Сергей, изо всех животин мне краше...

— Ты ба, дидо. атаману довел эти свои думы.

— Ждать поры надо! Я, Сергеюшко, познал людей: тых, что подо мной были, и тых, кто надо мной стоял. Грозен атаман — пожду.

Разин, оттолкнув ковш вина, сказал старику:

— Ну, сказочник дид! Пей вино один ты — мне в нутро не идет... Пойду гляну, где мои люди? Лазунка и тот сбег куды!

Стал одеваться. Старик помог надеть атаману кафтан.

— Зарбафной тебе боле к лицу, атаманушко, а ты черной вздел...

— Черной, черной, черной! Ты молчи и пей, я же наверх...

Наверху у трюма толмач.

— Ты-ы?!

— Я, атаман!

— Где Петра! Иван где?

— Атаман! Петру шах дал псу, Иван казнил. . Тебе грозил и казал вести на берег дочь Абдуллаха бека — то много тебе грозил...

— Чего ж ты как виноватый лицом бел стал и дрожишь? Ты худо говорил шаху, по твоей вине мои есаулы кончены, пес?

— Атаман, я бисйор хуб казал... Казал шах худа лазутчик царска, московит...

— Ты не мог отговорить шаха? Ты струсил шаха, как и меня?!

Толмач белел все больше, что-то хотел сказать, не мог подобрать слов.

Разин шагнул мимо его, проходя, полуобернулся, сверкнула атаманская сабля, голова толмача упала в трюм, тело, подтекая на срезе шеи, инстинктивно подержалось секунду, мотаясь на ногах, и рухнуло вслед за головой.

Разин, не оглянувшись, прошел до половины палубы, крикнул:

— Гей, плавь струги на Фарабат!

На его голос никто не отозвался, только седой без шапки Рудаков перекрестился:

— Слава ти! дождался потехи...

— На Фарабат! — повторил атаман, прыгая в челн.

— Чуем, батько-о!

Два казака, не глядя в лицо Разину, взялись за весла.

— Соколы, к ханскому кораблю!..

— Гей, браты, кинь якорь! — крикнул казакам Серёжка.

Гремя цепями, якоря булькнули в море. Струги встали. На берегу большой город, улицы узки, извилисто проложенные от площади к горам. У гор с песчаными осыпями на каменистой террасе голубая мечеть, видная далеко. Справа от моря на площади шумит базар с дырьями в кровле, среди базара невысокая башня с граненой, отливающей свинцом крышей. К берегу ближе каменные, вросшие в землю амбары.

— Батько! вот те и Ряш.

— Иду, Сергей.

На палубу атаманского струга вышел Разин в парчевом сияющем на солнце золотым шитьем кафтане. Кафтан распахнут, под ним алый атласный зипун.

— Здесь, брат мой, справим поминки Серебрякову с Петрой!

— Дедке Рудакову тож, а там в шахов заповедник к Сукнину...

— Узрим куда.

— Чую нюхом — в анбарах вино!

— Без вина не поминки — душа стосковалась по храбрым, эх, чорт!

Еще издали, заметив близко приплывшие струги казаков, в городе тревожно кричали:

— Базар ра бэбэндид! [1]

Кто-то из торговцев увозил на быках товары, иные вешали тюки на верблюдов.

— Хабардор!

— Сполошили крашеных!..

Лазунка вглядывался в сутолоку базара.

— Гей, Лазунка! Что молвят персы?

— Чую два слова, батько: «закрывай базар», «берегись!» Понто кизылбаша моего посек — обучился б перскому сказу!

— К сотоне! не торг вести с ними... Казаки, в челны запасы оружие.

— Батько, проспится на берег княжна.

---

[1] Закрывайте базар.

— Го, шемаханская царевна? Сажай в челн, Лазунка: пущай дохнёт родным... добро ей!

Челны казаков пристали. Немедля на берегу собрались седые бородатые персы в зеленых и голубых чалмах.

Поклонились Разину, сторонясь, пропустили для переговоров горца с седой косой на желтом черепе. Пряча в землю недобрые глаза, горец сказал:

— Казак и горец издавна браты!

— И враги! — прибавил Разин.

— Смелые на грабеж и бой не могут дружить всегда, атаман! Здесь же не будем проливать крови: мы без спору принесем вам, гостям нашим, вино, дадим тюки шелка, все, чем богат и славен Решт, и будем в дружбе — пищала.

— Добро! Будем пировать без крови. Тот, кто не идет с боем на нас, мы того щадим... Прикажи дать вино, только без отравы.

— Гостей не травят, а потчуют с честью.

— Скажи мне: где я зрел до нынешнего дня тебя?

Горец повел усами, изображая усмешку.

— Атаман, в Кюльзюм-море, когда ты крепко побил бусы гилянского хана, я бежал от тебя, спасая своих горцев.

— То правда.

Казаки и стрельцы по приказу Сережки разбивали двери каменных амбаров. Слышался звон и грохот.

— Козаки-и, на пусто труд ваш: вина в погребах нет, оно будет вам — идите за мной! — крикнул горец и, поклонясь Разину, махнув казакам, пошел в город.

Двадцать и больше казаков пошли за ним.

Горец, идя, крикнул по-персидски:

— Персы, возьмите у армян вино, пусть дадут лучшее вино! По-русски прибавил: — Да пирует и тешится атаман с казаками, он не тронет город! Шелк добрый тоже дайте безденежно...

Казаки с помощью армян и персов катили на берег бочки с вином, тащили к амбарам тюки шелка. За ними шел горец, поглаживая бурыми усами и саблей, ловко сбил с одной бочки верхний обруч.

— Откройте вино! Пусть казаки, сколько хотят, пьют во славу города Решта, покажут атаману, что оно без яда змеиного и иного зелья... Пусть видит атаман, как мы угощаем тех, кто нас щадит, го, гох!

Открыли бочки, пили, хвалили вино и все были здоровы.

— Будем дружны, атаман! И если нехватит вина, дадим еще... сыщем вино... ишшалла.

Так же, не подавая руки, Разин сказал:

— Должно статься, будем дружны, старик! Слово мое крепко — не тронете нас, не трону город!

— Бисйор хуб. — Горец ушел.

На берегу у амбаров на песок расстилали ковры, кидали подушки, атаман сел. Недалеко на ковре легла княжна. Разин махнул рукой: с одного узла сорвали веревки, голубой шелк, поблескивая, как волны моря, покрыл кругом персиянки землю!

— Дыхай, царевна, теплом — мене хрипать зачнешь, и с Персией прощайся — не долог век, Волгу узришь!

Атаман выпил ковш вина.

— Доброе вино, пей, Сергейко!

— Пью!

— Казаки, пей! Не жалей! Мало станет — дадут вина!

Казаки, открыв бочки, черпали вино ковшами деревянными: ковши принесли армяне; персы подарили много серебряных кувшинов. Стрельцы пили шумливее казаков, кричали:

— Ну, ин место стало проклятущее!

— Хлеб с бою, вода с бою.

— От соленой пушит, глаза текут, пресной водушки мало...

— Коя и есть, то гнилая.

— А сей город доброй, вишь, вина хоть обдавайся.

— Цеди-и и утыхни-и.

— Цежу, брат — эх, от гребли долони росправим!

— Батько, пить без дозора не гоже.

Разин крикнул:

— Гой, соколы! Учредить дозор от площади до амбаров и всякого имать ко мне, кто дозор перейдет... Лазунка, персы много пугливы — чай, видал их в Фарабате?.. Я знаю, с боем иные бы накинулись, да многие боятся нас и ножога опасны.

— «У тумы бисовы думы»,[1] хохлачи запорожцы не спуста говорят: чорт и кизылбаша поймет. А горец тот косатой — хитрой, рожа злая...

---

[1] Тум — родившийся от пленной турчанки или персиянки.

— Эх, Лазунка, вот уж много выпил я, а хмель не берет, и все вижу, как Петру Мокеева собаки шаховы рвут... пей!

Со стругов все казаки, стрельцы и ярыжки, оставив на борту малый дозор, перешли на берег пить вино. Берег покрылся голубыми и синими кафтанами, забелел полтевскими, московскими накидками с длинными рукавами. Дозор исправно нес службу, хотя часто менялся.

Опустив голову в черной высокой шапке, к берегу моря на казаков шел старый еврей. Еврей бормотал непонятное, когда его схватили, привели к Разину.

— Жид, батько, сказывает: «Пустите к вашему пану!» — Пиками подтолкнули ближе бородатого старика в вишневой длиннополой шали.

— Не бейте, браты! Эй, ты, скажи «Христос».

Еврей дрожал, но лицо его было спокойно, глаза угрюмо глядели из-под серых клочков бровей. Он бормотал все громче:

— Адонай! Адонай!

— Слушь, батько, должно, собака, с наших мест: Дунай поминает.

— Не те слова, соколы! Ну, что ж ты?

— Пан атаман, не мне говорить имя изгоя, не мне осквернить язык.

— Добро! Махну рукой, с тебя живого сдерут кожу.

Казаки ближе подступили, толкая еврея, ждали, когда атаман двинет шапкой. Разин, отбросив ковш, пил вино из кувшина и не торопился кончить еврея.

— За то велю тебе, что сам не говорю никогда этого имени... ну!

— Пан-атаман, пришел я жалобить: твои хлопы изнасиловали в Дербенте мою единственную дочь, убили двух моих сынов. Что одинокому старому делать на свете среди злых — убей и меня!

— Пожди! Дочь ты не дал замуж почто? Муж защищает жену... Сыны твои бились с казаками, чинили помочь кизылбашам — нас не щадят, мы тож не щадить пришли... Нас вешают на дыбу, на ворота города — мы вешаем на мачту струга за ноги.

— Пан-атаман, сказать лишь пришел я — не в бой с вами...

— Без зла шел — тебе зла не учиню, пошлю в обрат. Ты

скажешь персам так: «Нынче атаман наехал пировать, а не громить их город. Пусть ведут русских, я же поменяю полон — дам им персов, именных ясырем!»

— Пан Идумей,[1] пересы кедары...[2] Ты им показал это в городе, где на воротах по камню начертано: «Баб-ул-абваб»,[3] там убили моих детей.

— Сотона! я не пришел зорить персов — они же боязливы... Кто трус, тот зол. Я требую от них: пусть будут добрее и еще пришлют нам вина.

—Вай! мовь пана смыслю — он велит выхвалять себя персам, по дети рабыни знают о Дербенте и Ферах-абате. Послушав ложь, кедары побьют камнями старого еврея.

— Хо, хо! Ты же молвил, что не боишься смерти?

Пыля сапогами песок, встал Сережка: «

— Лжет, собака! Батько, дай-ка я кончу жида?

— Сядь! Когда душа моя приникла к покою, я люблю спорова ти с тем, кто обижен и зол... Город не тронул, какая же корысть убить старика? Дуванить с него нечего и крови мало...

— Пан-атаман мыслит ложно: он доверяет тому сказать кедарам, кого ненавидят они... Пан лучше скажет свою волю персам тем, что висит у него на бедре!

— Сотона! Слово мое крепко: дали вино, шелк — и я не убью их.

— И еще, пан-атаман! Некто, придя в дом к злому врагу, скажет: «я не убить тебя пришел, хочу полюбить». Злой помыслит: «так я же убью тебя!» И направит душу понимающего ложно в ворота «Баб ул киамет».[4]

— Батько, рази меня, но жида кончу — глумится, собака! — Сережка потянул саблю.

Разин схватил Сережку за полу кафтана, посадил.

— Жидовины — смышленый народ... За то царь и попы гонят их. Они научили турчина лить пушки...

Еврей бормотал:

— Твои, пан-атаман, соотчичи залили кровью дома моего народа на Украине... насиловали жен, дочерей на глазах мужей

---

[1] Идумей — правитель римлян; древние евреи называли их идумеями
[2] Кедары — дети рабыни от Авраама.
[3] Дербент — по-арабски.
[4] По-арабски — Ворота воскресения на кладбище.

и братьев. Евреев заставляли пожирать трефное, нечистое; паругавшись, вешали с освященными тфили...[1] Еврейские вдовы не искали развода — им гэт[2] давали саблей... На утренней молитве хватали евреев и, окрутив в талэс,[3] топили...

— Слышь, брат Степан, еврей бредит.

— Не мешай, Сергейко! Вот когда мы будем споровати — го! Эй, жидовин, не все знаю, что и как чинили запорожцы с твоими, но послушал: казаки при батьке Богдане мешали навоз с кровью еврейской, то знаю...

— Ой, вай, понимаешь меня, пан-атаман: здесь, убивая кедаров, ненавистных мне, ты не разбираешь, кто иудей, кто перс, и тоже не щадишь нас.

— За то секли и жгли гайдамаки, что люди твои имали на откуп церкви — хо! Польски панове хитры: они пихнули вас глумиться над чужой верой, вы из жадности к золоту сбежались, не чуя, что то золото кровью воняло... Вот я! Много здесь золота взял, а если б земля отрыгнула людей моих, что легли тут — все бы в обрат вернул, да не бывает того! Мне же едино, хоть конюшню заводи туда, где молятся, знай лишь — не все таковски... Иных не зли, иным это горько. Уйди, хочу пить! Убили твоих, моих тож любимых убили — душа горит!

Еврея оттолкнули, но не отпустили.

— А где ж моя царевна?

— Тут, батько!

— Ладно! Пусть пляшет, пирует, дайте ей волю тешиться на своей земле! Ни в чем не претите.

— Чуем.

С болезненными пятнами на щеках, с глазами, блестевшими жадным огнем и оттого особенно едкой вызывающей красоты, персиянка лежала в волнах голубого шелка на подушках, иногда слегка приподнимались глаза под черными ресницами, изредка скользили по лицам пирующих. На атамана персиянка боялась глядеть, испугалась, когда он спросил о ней.

«Умереть лучше, чем ласка его на виду всего города!» — подумала она, изогнулась, будто голубая полосатая змея, огля-

---

[1] Священные знаки, намотанные на лбу и руке во время молитвы.

[2] Развод — по-древне-еврейски.

[3] Покрывало полосатое, надеваемое во время молитвы.

нулась через голову, увитую многими косами, скрепленными на лбу золотым обручем. Быстро поняла, что захмелел атаман, зажмурилась, когда он толкнул от себя кувшин с вином, сверкнув лезвием сабли.

— Гей, жидовин!

Старик, сгорбившись, подошел и, тычась вперед головой, как бы поклонился.

— Пан, еврей готов к смерти!

— Убить тебя? Тфу, дьявол! Иди, скажи персам: «не ждите худа, ведите полон русский, атаман знает, что он есть в Ряше, я верну им персов и к ночи оставлю город!»

Еврей попятился, остановился.

Разин сказал:

— Он не верит? Гей, соколы, отведите без бою старика к площади — спустите.

Два казака подхватили еврея, отвели за амбары:

— Все ж-таки кончить ба?

— Берегись! Узрит самовольство — смерть... эх, атаман!

Казак, отпустив еврея, лягнул его в зад сапогом, от тяжелого пинка старик побежал, запутавшись в шаль — упал.

— Вот те, жених, свадебного киселю!.. [1]

Старик, встав, отряхнул шаль, нагнулся за шапкой в песке и пошел, прихрамывая. Казаки вернулись к вину. Еврей, проходя мимо персов, стоявших густой толпой на площади, крикнул:

— Иран, серкешь! [2]

Из толпы тоже крикнули:

— Чухут! [3]

Старик закричал уже издали:

— Серкешь — азер! [4]

Толпа все больше густела. Из голубого в голубом полосатом встала персиянка, закинула за голову голые в браслетах руки, в смуглых руках слабо зазвенел бубен. Княжна, медленно раскачиваясь, будто учась танцу, шла вперед. Глаза были устремлены на вершины гор. Княжна наречием Исфагани протяжно говорила, как пела:

---

[1] На Украине в то время женихов в шутку били по заду.

[2] Персия, грабитель!

[3] Жид.

[4] Грабитель — огонь.

— Я дочь убитого серкешем князя Абдуллаха — спасите меня! Отец вез нас с братьями в горы в Шемаху... Туда, где много цветов и шелку... туда, где шум базаров достигает голубых небес — там я не раз гостила с отцом... Ах, там розы пахнут росой и медом!.. Не смейтесь, я несчастна. Лицо мое было закрыто.... Серкешь, ругаясь над заповедью пророка, сдернул с меня чадру — оттого душа моя стала как убитая птица...

Танец ее не был танцем, он походил на воздушный, едва касающийся земли бег. Дозор часто менялся и был пьян. Два казака, ближних к площади, сидя на крупных камнях, били в ладоши, слушая чужой непонятный голос, глядя на гибкое тело в шелках и танец, совсем непохожий ни на какие танцы.

— Дочь Абдуллаха бека!

— То Зейнеб?

— Да, сам шах приказал ее взять! — перебегало по толпе.

Персиянка была уже за цепью дозора, но до площади еще было далеко. Персы не смели подойти к вооруженным казакам. Горец с седой косой, военачальник гилянского хана, запретил злить разинцев. Девушка, делая вид, что пляшет, подбрасывалась вперед концами атласных зеленых башмаков. Золотой обруч с головы упал в песок, она кинула бубен и громко закричала:

— Серкешь! серкешь!

Сверкнув золотом в ухе, вскочил Сережка. Раздался оглушительный свист. Дремавший Разин вскочил и выдернул саблю. Свист рассеял очарование, казаки, мотаясь на бегу, поймали персиянку, подхватив на руках, унесли к пирующим. Девушка извивалась змеей в сильных руках, кричала, но голос ее хрипел, не был слышен персам.

— Трусы! Бейте их! Пьяны!

Разин кинул перед собою саблю, сел, и голова его поникла. Сережка крикнул:

— Гей, козаки! пора царевне на струг!

Пленница рвалась, била казаков по шапкам и лицам кулаками, ломались браслеты. Казаки шутили, подставляя лица, пеленали ее в растрепавшийся на ней шелк, будто ребенка. Грубые руки жадно вертели, обнимали бунтующее тело, тонкое и легкое, посмеиваясь, передавали тем, кто ближе к челнам. А когда уложили в чели, она ослабела, плакала, вся содрогаясь.

— Ото бис, дивчина!

Белыми и зелеными искрами вспыхнуло море, заскрипели гнезда весел.

К Лазунке с Сережкой казаки привели бородатого курносого перса.

— Вот бисов сын! Идет на дозор и молыт: «к атаману».

— Чого надо?

Перс протянул Сережке руку, Лазунке тоже.

— Здоровы ли, земляки? А буду я с Волги — сибирской дьяк был, Аким Митрев... Много, вишь, соскучил, в Персии живучи, по своим, да и упредить вас лажу.

— Сказывай!

— Сбег я от царя — бояр, а вы супротив их идете, и мне то любо! Зол я на Москву с царем, и мало того, что земляков жаль, еще то довожу: не роните впусте нужные головы.

— Голову беречь — казаком не быть!

— Вишь, что сказать лажу: давно тут живу — речь тезиков понимаю. Послушал, познал: с боем ударят на вас крашеные головы, так уж вы либо уйдите, альбо готовы будьте, и вино вам дадено крепкое, чтоб с ног сбить... Кончали ба винопитие, земляки?..

— Эх, служилой, должно, завидно тебе казацкое винопитие?

— Не, козак! Сам бы вас, сколь надо, употчевал, да время и место не то... Опаситесь, сказываю от души.

— Правду молыт человек! — пристал Лазунка. — Углядел я оружие и мало говор тезиков смыслю — грозят, чую...

— Да мы из них навоз по каменю пустим!

— Как лучше, земляки — ведайте! Меня велите казакам в обрат свести, за цепь толкните к майдану с ругней, а то пытать персы зачнут.

Сережка крикнул:

— Козаки! Перса без бою сведите к площади, толкните да в догон ему слово покрепче.

Бывшего дьяка отвели и, ругнув, вытолкнули к площади. Дойдя до площади, дьяк зажимал уши руками, кричал нерадостные слова. Толпа на площади поубавилась — уходили в переулки. Кто храбрее — остались на площади, придвинулись ближе к казакам, кричали:

— Солдаты сели в бест! [1]

— Сядешь. Жалованье им с год не плачено!

Лазунка, натаскав ковров и подушек, лег близ атамана. Голубой турецкий кафтан был ему узок: ворот застегнут, полы не сходились, пуговицы-шарики с левого боку были вынуты из петель, да еще под кафтаном кривая татарская сабля, с которой он не расставался, топырила подол. Лежа, высек огня, закурил трубку. Сережка подсел к нему на груду подушек. Иногда Лазунка вставал, брал у пьяного, сонного казака пистолет и, оглянув кремень, кидал на ковер к ногам. Он давно не пил вина, вслушивался. Толпа персов снова росла на площади:

— Чего не пьешь, боярская кость?

— Похмелья жду, Сергей. Чую, дьяк довел правду.

— И я, парень, чую!

— На струг бы, — огруз батько?

— У него скоро! Не знаешь, что ли? Вздремнет мало — дела спросит.

— Много казаки захмелели, а тезиков тьмы-тем... Не было бы жарко?

Сережка ухмыльнулся, протянул сухую, жилистую руку, как железо, крепкую.

— Дай-кось люльку, косматый! — покуривая, сплюнув, прибавил: — ткачей да шелкопрядов трусишь?

— Ложь, век не дрожу, зато в бою всегда знаю, как быть.

Недалеко, сидя на бочке, будто на коне верхом, покачнулся казак, раз-два и упал в песок лицом. От буйного дыхания из мохнатой бороды сонного разлеталась пыль. Лазунка встал, шагнул к павшему с бочки, подсунув руку, выволок пистолет, кинул к себе.

— Ты это справно делаешь!

— На сабле я слаб, Сергей.

От гор на город и берег моря удлинялись пестрые, синие с желтым тени. У берегов поголубело море, лишь вдали у стругов и дальше зеленели гребни волн. Горы быстро закрывали солнце. В наступившей прохладе казаки бормотали песни, ругались ласково, обнимались и, падая, засыпали на теплом песке. Кто еще стоял, пил, тот грозился в сторону площади:

---

[1] Сесть в бест, — не итти в бой в ожидании жалованья, не выданного солдатам.

— Хмельны мы, да троньте нас, дьявола?!

— Сгоним пожогом!

— Ужо встанет батько, двинет шапкой, и замест вашего Ряша, как в Фарабате, будет песок да камень!

В переулки и улицы все еще тек народ. Ширился гул и разом замер. Настала тишина: толпы персов ждали чего-то... На террасе горы из синей в сумраке мечети голые люди вынесли черный гроб, украшенный блестками фольги и хрусталей. В воздухе, сгибаясь, поплыли узкие длинные полотнища знамен на гибких древках из виноградных лоз. Послышалось многоголосое пение, заунывное и мрачное. Кто не пел, тот кричал:

— Сербаз, педар сухтэ, [1] дервиши поведут народ...

— Нигах куп! табут-э хахэр-э пайгамбер ра мпаренд. [2]

— Гуссейна — брата пророка!

— То гроб князя мучеников!

— Нигах кун! [3]

— Идут те, кто проливает кровь в день десятого мухаррема! [4]

— И черные мальчики!

— Все, все идем!

Толпа за гробом прошла, напевая, до площади и повернула. Дервиши унесли гроб обратно в мечеть. Два дервиша, хранители мусульманских реликвий, вышли из мечети, держа в руках по отточенному тяжелому топору. За ними шли мальчики, участники кровавых шествий Байрам Ошур. [5] Оба дервиша — в черных колпаках, всклокоченные, бородатые. Черные овчины, шерстью наружу, были намотаны на дервишах вместо штанов. Они вышли, напевая, впереди толпы и повели ее к берегу моря. Толпа вторила пенью дервишей, — иногда кое-кто с угрозой кричал:

— Серкешь — азер!

— Ну, есаул, распахни ворота — свадьба едет!

— Стоим супротив ткачей! Сабля не прялка, — резким голосом, слышным в горы, Сережка крикнул: — Гей, козаки! к бою!

Между амбарами среди бочек лежали и сидели казаки, пьяные стрельцы ловили пищаль, падающую из рук. Дальше, чем на

---

[1] Солдат — чтоб его отец сгорел!

[2] Глядите! Несут гроб сестры пророка!

[3] Глядите!

[4] День убиения пророка.

[5] Праздник мухаррема.

полверсты, по берегу там и сям краснели кафтаны, синели накидки. Сережка, вскочив на бочку, издал свой страшный свист. Свист его сильнее голоса поднял на ноги пьяных.

— К бою, соколы!

Атаман встал, но снова лег, еще шире раскинув большие руки. Разин лежал на парчевом кафтане — на золоте зипун ярко алел. Сережка, косясь, сказал:

— Эх, батько, лишь бы голос подал — и конец Ряшу.

— Ищет его душа забвенности, Сергей! Тошно ему от тоски по есаулам...

— Да, богатыри были! Серебряков с Петрой — ге гей, козаки-и!

Стрельцы первые взялись за оружие, приложились, дали залп в толпу. Синие и зеленые чалмы, поникнув, завозились, пыля песок. Толпа от выстрелов расстроилась, отхлынула на площадь. На площади появился горец с желтым черепом, без чалмы. Крикнул, остановил бежавших, построил разрозненных людей клином, в голове поставил дервишей, потряс кривой саблей над толпой идущих персов и снова исчез. В желтом от песку тумане толпа, скрипя, шелестя башмаками, стала обходить амбары, от боя и гика персов стрельцы подались к морю, вспыхивали беспорядочно огни пищалей. Казаки беспечно собирали сабли, карабины, — иные еще тянулись к бочкам с вином.

— Добро гинет. Ней, браты!..

— Сергей, худо козаки стоят, и нам отступать надо, увесть батьку!

— Козаки, берись ладом! Кинем мы, Лазунка — много козаков падет.

— И так сгинут, не уберечь... Горсть не горазд хмельны; иные — мертво пьяны...

— Бери-и-сь! — голос Сережки покрыл гул напиравшей толпы. Казаки и стрельцы, сгрудясь, рубились, иные стреляли. Дымом пороха ело глаза, от пыли и гари трудно дышалось. Многие стрельцы за спиной отбивающих готовили челны к отступлению. В толпе, нападавшей, катящейся назад, шныряли голые, будто дьяволята, мальчишки, намазанные до волос черной нефтью, с хорасанскими клинками. Они, прыгая, резали спящих на земле казаков. За ними бродили собаки, разрывая заколотых, слетались из гор серые коршуны, садились на

кровли амбаров. Один из черных малышей, особенно смелый, подобрался к амбару. Его белеющие на черном лице глаза притягивало золотое крупное кольцо в ухе есаула. Черный неподвижно прилепился к серому камню стены. Атаман спал, не было силы поднять его на ноги. Великан дервиш, размахивая топором, ломая сабли, разбивая казацкие головы, воя, подпрыгивая, шел вперед. Овчина с него сорвалась, болтались срамные части, воняло потом, кровью, и море порывами дышало горячим асфальтом. Дервиш издали видел сонного повелителя неверных, видел, что двое защищают, охраняя атамана, и на ближнего Сережку шел. Держа саблю готовой для всякого удара, есаул, прищурив глаз с бельмом, сторожил идущего врага.

Дервиш гикнул, оскалив крупные зубы, барсовым прыжком подпрыгнул, но сбоку его бухнул выстрел: мелькнули в воздухе осколки голубого хрусталя, висевшего у великана в ухе. От выстрела Лазунки дервиш уронил за спину топор, упал навзничь. Череп его, пачкая мозгом ковер, распался.

— А я?!

Сережка метнулся в сторону, черкнул белый круг сабли: голова ближнего перса, срезанная, подхваченная на лету ловкой саблей, мотая зеленым, проплясала через кровлю амбара. Туловище перса с красным по штанам широким кушаком, в чулках, стало на колени, безголовое поклонилось в землю.

— Ихтият куп! [1] — Толпа отхлынула.

Запел второй дервиш, он был широкоплечий, ниже ростом. Повел толпу, кричал ей:

— Бисмиллахи рахмани рахим!

Толпа отекакивала и пятилась от выстрелов. Кто задорный выбегал вперед, того пулей в лицо бил Лазунка:

— Сэг!

— Голубой чорт!

— Педар сухтэ!

Но от выстрелов Лазунки прятались за амбары или отбегали далеко. Лазунка видел, что дервиш удерживает толпу.

— А, ну, сотона — иди!

---

[1] Опасайся.

Дервиш, гудя священное, припрыгнул. Толпа с криком шатнулась за ним, махая саблями.

— Остойся мало!

Лазунка выстрелил: лицо дервиша перекосилось, пулей выбило зубы, разворотило подбородок и щеку. Пустив столб песку, дервиш тяпнул, сидя:

— Ихтият кун!

— Голубой чорт!

Толпа, расстроившись, отступила. Сережка прыгнул за толпой. Два круга сделала сабля: два трупа, кровяня песок, поклонились без голов в землю.

— Вместях ладнее, Сергей! Не забегай...

— Эх, Лазунка, силу я чую в себе такую, что готов один итти на шелкопрядов!

— Много их... Когда бусурмании поет суру, то головой не дорожит.

— Не то видишь ты! К батьке лезут... С Лаврсем бери атамана в чели, узришь, бой полегчает!

— Ой, ужли впрямь один хошь побить тезиков? Мотри, жарко зачнет тебе... Худо казаки дерутся — стрельцы и лучше, да трусят.

— Голова атамана дороже моей! Велю — бери! свезешь, вернись. И мы их, я б их родню, загоним в горы!

— Мотри, Сергей! жаль тебя!

— Бери! Устою с козаками.

Лазунка, держа саблю в зубах, с другим ближним казаком, завернув в кафтан, унесли атамана; остались на ковре шапка и сабля Разина. Как только ушел Лазунка и плеск воды послышался Сережке, он понял, что напрасно отпустил товарища. Не понимая слов, услыхал радостные голоса персов:

— Бежал голубой чорт!

— Бежал.

— Бисйор хуб!

Персы решили покончить с казаками. С десяток или полтора казаков рубились по бокам, но есаул, не оглядываясь, знал, что тот убит, а этот ранен. Стрельцы мало бились на саблях, стреляя, пятились к челнам, и некоторые вскочили к Лазунке в челн; не просясь, сели в гребли. Сережка легко бы мог про-

биться, уйти, но покинуть беспомощно-пьяных на смерть не хотелось, он крикнул:

— Лазунка! скорей вертайся!

— Скоро-о я-а!..

— А, дьяволы! Не один раз бывал в зубах у смерти — стою!..

Персы нападали больше на казаков. Сережки боялись, перед ним росли трупы, и куда бросался он, там его сабля, играючи, снимала головы. В него стреляли — промахнулись. Есаул, забыв опасность, упрямо сдерживал разгром разинцев. Видя в есауле помеху, высокий перс с желтым как дубленая кожа лицом что-то закричал: отстранив толпу армян и персов, схватив топор дервиша, выступил на Сережку. Перс уж был в бою; с его длинной бороды капала кровь. Сережка сделал шаг назад. Перс, поспешно шагнув, занес топор, сверкнула с визгом сабля. Перс зашатался от удара, но клинок сабли есаула, ударив по топору, отлетел прочь.

— Сотона-а! — Есаул прыгнул, хрястнули кости, перс, воя, осел. Сережка рукояткой сабли разбил ему череп.

— Сэг!

Толпа, рыча, напирала, увидав, что есаул безоружен. Сережка, скользя глазом по земле, быстро припав на колено, хватал атаманскую саблю, но из торопливой руки рукоятка вывернулась. Ловя саблю, Сережка еще ниже пригнулся. От амбара черной кошкой мелькнул малыш, сунул есаулу меж лопаток острый клинок, по-обезьяньи скоро, сверкнув сталью, мазнул по уху и, зажав в кулачонко золото с куском уха, исчез за амбаром. С огнем во всем теле, рыгнув кровью, есаул хотел встать и не мог. Сильные руки все глубже, зарывались в песке, тяжелело тело, никло к земле. Бородатый армянин, в высокой как клобук черной шапке, шагнул к Сережке, с злорадным торжеством крикнул:

— Вай, шун шан ворти! [1] — неслышно двинул кривым ножом и, подняв за волосы голову удалого казака, кинул к ногам идущих вооруженных персов.

— Бисйор хуб!

— Сергея кончили, — браты!

— Упоси ноги!

---

[1] Ах, собачий сын! (армянск.).

Казаки и стрельцы, отбиваясь, вскакивали в челны, из челнов стреляли, давая ход тем из своих, кто мог отступить. Синее быстро становилось черным. Черные тени, сбрасывая чалмы, встали на берегу в ряд.

— Бисмиллахи рахмани рахим!

Персы натирали грудь, голову и руки песком, делая намаз.

13

Порывами, как бред буйно помешанных... То все утихает, и мертво кругом атаманской палатки. Стон, пьяные голоса вперемешку...

Разин сидит у огня. Лазунка кидает в огонь траву, прутья кустов. Дым прогоняет комаров, тучей подступающих из болота, разделившего на два куска полуостров Мяян-Кале, шахов заповедник. Лекарь еврей, лечивший Мокеева, отпущен. Он привез от атамана записку, где было указано:

«А мнится в жидовине нужда, то спустить его на берег. В путь ему дать три тумана перскими деньгами, хлеба дать на день, сухарей. Сей человек честно служил мне, и не чинить ему, кроме ласки, иного...

Разин Степан».

Еврей сказал Сукнину:

— Лечить, атаман, тут некого. Пускай лишь козаки не пьют соленой воды, да огни без престани жгут, очищая от мух воздух. Мухи заражают ядом болота воздух, воздух порождает лихорадку, что и зовете вы трясцой.

— Мух нет, лекарь, то комары многих величин...

— Вай! я их зову мухой... Здесь туманы часты, но лечить некого. Надо переменить место. Парши на людях, — еда скудна, оттого. Солнце жарко, мухи бередят парши, и человек болеет проказой, — того в этих местах много... Гораздо шелудивых удалить надо!

Кроме Разина, у огня сидят и двигаются: Федор Сукнин с желтым лицом, он кутается в шубу, дрожит; Лазунка неустанно возится с огнем; два новые есаулы, Черноусенко и Степан Наумов — крепкий широкоплечий казак, похожий на самого Разина.

Разин глубоко вздохнул, поднял голову, обвел всех глазами и снова поник.

— Сказывай, Федор, не крась словом, — про все говори, про себя тоже не тай, не лги... Я же про себя скажу всю правду.

— А давно ты знаешь, Степан Тимофеевич, — словом я прям!.. Начну с того, что зиму тут жить можно, зима здесь — наше лето, лето же в этих местах чорту по шкуре, человеку нашему тут летом живу-здраву не быть... Из болот злой туман падает, а как довел жидовин — все правда: комары воздух травят, туманы ж несут лихоманку... Вишь, избило меня до костей, и ведаешь ты — крепок я был... Другое: кизылбаш взбесился; что ни ночь — вылазка, пришлось нам засеку, бурдюги кинуть, уплыть к морю за болото... И еще до тебя дни четыре-пять горец объявился, что сатану из земли отрыгнуло... Черен голый, едина коса, будто у запорожца, усы не то седы, не то буры, ходит в огне солнца без шапки и челмы... Казаки лишь за пресной водой — горец тут и войско ведет... Бой, смерть!

— Знаю того горца! В Ряше обвел нас — за гилянского хана отмщает: визирь его...

— И вот, как в Мияи-Кале ты наехал — горца не стало, ушел в горы, войско увел! Мяса нам было много — били кабанов. Хлеба нет, соли, воды нет... Ясырь сплошь мереть зачал, и свез я тот робячий да бабий ясырь до единой головы на берег — от них ходит к казакам черная немочь. Казаки, стрельцы взбунтились, в обрат домой заговорили, к команде стали упрямы... Почали хватать струги, и как на Дону походного атамана приберут, да на берег за вином. Воды нет — пьют вино; иные, не чуя моего заказа, пьют морскую воду, — чревом жалобят, потом и болести шире пошли.

— Что ж лекарь?

— В твоей цедуле было указано дать ему денег, хлеба, спустить!

— Оно так... сказано слово.

— И лечить он не стал, указал переменить место.

— Делать тут нече — смерти, что ль, ждать? Эх, Федор! Удалые головушки засеяли проклятую землю... И не мудрой я был, что после гилянского хана бою пошел вперед...

— Не одному тебе, батько Степан, — всем хотелось вперед.

— Вот то оно — силу размыкать впусте!

— И так, Степан Тимофеевич, ежедень стало прилучаться: уплавят головушки за вином ли, хлебом ли, водой пресной, а горец на них засады да волчьи ямы, иной раз и опой — вина подсунет... Чтешь после того людей: из трех сот — сотня цела, альбо и того меньше... Большой урон в боевых людях. Я же изныл душой и телом: сердцем по жене, дочкам, в снах их вижу на Яйке, а телом от трясцы извелся...

— Заедино мало нас — спущу, Федор. Бери маломочных, плавь в Яйк... Теперь же чуй, что я поведаю. И прощай... быть может, не видаться боле...

— Ну, уж и не видаться. Чую, батько Степан.

— При тебе, Федор, ронил я в бою с гилянским ханом двух удалых: Черноярца есаула с Волоцким...

— Да, то ведомо мне...

— Чуй дальше. Жалобил я по ним, а когда сердце болит — пью. Сергей, брат названной, с Петрой Мокеевым в та пору разобрали по каменю Дербень-город, привезли мне ясырку, как говорил Петра, шемаханскую царевну — бека шахова дочь... С ней живу, храню ее — память о богатыре Петре Мокееве... В гробу поминать буду — столь он люб мне. После Дербеня, чую, ропщут на меня, что не шлю послов шаху. Собрал я богатырей есаулов и спросил: правда ли то? Сказалось — правда: хотят к шаху итти проситься сесть на Куру. Не спущал я, ране знал, что добра от шаха не ждать, когда сами задрали его. Но воли ихней не снял — и каюсь! Шах Мокеева дал псам, Серебрякова отпустил, да вернул — казнил... Я ж в полоумии посек с горя невинного толмача... Слал лазутчиков — изведать, как было? Изведал, шах строит бусы на нас... А, дьявол! И грянул я на Фарабат — золотой шахов город — его утеху. Золота имали много, посекли тыщу и больше тезиков. Те лишь домы козаки оставили поверх земли, где люди крестились да Христа кликали... В Фарабате, хмельной гораздо, гинул дид Рудаков... Заполз бабру в клеть железну и ну над ним расправу чинить, — то на шаховом потешном дворе было... зверя не кончил до смерти, — кинулся с него шкуру тащить: «теплая-де, сдирать легше». Куснул его, издыхая, бабр за голову, от того у старого Григорея череп треснул. Отселе пошли на Ряш город, и за то по сю пору лаю себя! По Сережке ладил в море кинуться, да Лазунка меня в трюме замкнул. И грозил я ему. А потом, когда

остыл, припустил к себе: боярский сын убаял: «что-де не воротишь». Спас меня, удалая голова Сергей — сам же кончен... Эх, чорт! И как провели, обошли нас тезики: вина дали, накидали ковров, шелку. Вина с дурманом прикатили, так что два дни я ни рук ни ног не чуял. Худоумием обуянный, будто робенок дался обману того горца, что и вас здесь обижал. Не надо было пить на берегу, а пуще нечего было щадить злой город! Проведал я нынче, что шах дал волю тому горцу нас извести до кореня... И плыл я сюда — пылало сердце: «возьму от тебя людей, сравняю Ряш с землей». После пира в Ряше мало нас осталось: четыреста голов легло в окаянном городе. Сережка стоил тыщи голов козацких! И что же, душа упала, потухло сердце мое, когда узрел здесь полумертвых стан. Чую и вижу: люди бредят, иные, будто укушены черной смертью, бродят, ища, где пасть... Да, Федор, буду я крепок, затаю обиду: не пора нынче считаться с персами... Увезу проклятое золото, рухледь и узорочье, — кину средь своих людей: «дуваньте, браты, клятое добро, взятое кровью храбрых!» Я — пищий с золотом! Сколь богатырей мне в посулы дал родной Дон, и всех их извел я, как лиходей неразумной, а дела впереди много... ох, много дела, Федор!

— Полно никнуть, батько Степан! Придешь на Русь да гикнешь, и вновь слетятся соколы.

— Эх, таковые уж не слетятся больше!..

В темноте перекликался дозор:

— Не-чай!

— Не-е-ча-й!..

На носу косы Миян-Кале, ушедшей далеко в море, сутулясь, стоит широкоплечая черная тень человека; от черной волны, чуждо говорливой, сияющей на гребнях тусклозеленым, в глазах черного человека — зеленый блеск. Храпит, бредит и дико поет земля за спиной атамана, лохматятся на густосинем черные шалаши, мутно белеют палатки. Справа и слева косы в морском просторе, щетинясь, сереют комья стругов и громче, чем на суше, звучит «заказное слово»:

— Не-ча-а-й!

— Не-ча-а-й!..

Черная фигура взмахнула длинной рукой; от страшного голоса, казалось, волны побежали прочь, в ширину моря:

— Гей, Стенько! Не спрямить сломанного — давай ломить дальше!

С тусклым лицом атаман повернулся, шагнув к палаткам:

— Гей, гой, соколы-ы! Пали огни, чини струги! с рассветом айда к Астрахани!

— О, то радость! Кинем землю проклятущую.

— Ставай, кто мочен! Жги огонь, бери топор!

Казалось, мертвое становище казаков не было силы поднять, по голосу атамана-чародея послушное встало, зашевелилось кругом. Затрещали, вспыхивая, огни. Лица, руки, синий балахон, красный кафтан замелькали в огнях. Забелели лезвия топоров, рукоятки сабель.

Раньше чем уйти в палатку, Разин сказал негромко, и слышали его все вставшие на ноги:

— Дозор, готовь челны, плавь на струги, чтоб плыть к берегу починиваться.

— Чуем, Степан Тимофеевич!

Двинутые с берега челны загорелись зеленоватыми искрами брызг. На воде звонкие голоса кричали в черную ширину, ровную и тихую;

— Торо-пись!

— В Астрахань!

— А там на Дон, браты-ы!

На бортах стругов задымили факелы, перемещаясь и прыгая, выхватывая из сумрака лица, бороды, усы и запорожские шапки.

НА ВОЕВОД И ЦАРЯ

1

За столом — от царского трона справа — три дьяка склонились над бумагами.

Вошел любимый советник царя, боярин Пушкин, встал у дверей, поклонясь. Он ждал молча окончания читаемого царю донесения сибирского воеводы.

Русоволосый, степенный дьяк, с густой лоснящейся шелком бородой, громко и раздельно выговаривал каждое слово:

— «...старые тюрьмы велели подкрепить и жен и детей тюремных сидельцев, которые сосланы по твоему, великого государя, указу в Сибирь — сто одиннадцать человек — велели посадить в старые тюрьмы».

Царь распахнул зарбафный кабат с жемчужными наручниками, неторопливо приставил с боку трона узорчатый посох с крестом и, потирая правой рукой белый, низкий лоб, сказал:

— Так их! Шли мужья, отцы к вору Стеньке за море, да и иных сговаривали тож... Сядь, дьяче. — Поманил рукой Пушкина: — Подойди, Иван Петрович! Тут — дела, кои до тебя есть.

Бородатый, сутулый боярин, вскинув на царя узкие, глубоко запавшие глаза, шагнул к трону, отдав земной поклон.

— Из Патриарша приказа, великий государь, жалобу митрополита астраханского мне по пути вручили, а в ней вести, что воровской атаман Разин объявился у наших городов.

— Слышал уж я про то, боярин! И думно мне отписать к воеводам в Астрахань, Прозоровскому Ивану да князь Семену Львову, чтоб в скорости разобрали бы казаков Стеньки Разина по стрелецким приказам и держали до нашего на то дело повеления... — Подумав, царь прибавил: — И никакими меры на Дон их до нашего указу не спущать!..

— Не должно спустить на Дон тех казаков, государь... На

Гуляй-Поле много сбеглось холопов от Москвы и с иных сел, городов, оттого голод там, скудность большая... В Кизылбаши тянулись к Разину, а объявись Разин на Дону, и незамедлительно вся голутьба к ему шатнется. Он же, по слухам дьяков и сыскных людей, богат несметно... Мне еще о том доносил мой сыщик Куретников. Вот кто, великий государь, достоин всяческой хвалы, так этот подьячий... Достоканы,[1] живучи в Персии, познал и язык, и нравы — все доводил, и мы знали до мала, что круг шаха деется. Нынче, мыслю я, его там держать, да пошто-то грамоты перестали ходить... А зорок парень, ох, зорок!

— Очутится здесь — службу ему дадим по заслугам.

— Заслужил он тое почетную службу, великий государь! Слышно мне: много вор, Стенька Разин, пожег шаховых городов?

— Ох, много, боярин! И должно чаять от шаха нелюбья... Пишет мне стольник, Петр Прозоровский, что шах, осердясь на разорение его городов грабителями, Стенькой Разиным с товарищи, собирает войско для подступа к Теркам, и нам, боярин, пуще всего нужно войско назрить... Шатости, грозы со всех сторон еще не мало будет...

— Войско строить и по моему разумению, великий государь, неотложно!

— Вот! Ну-ка, дьяче, чти мне, сколь есть служилых иноземцев да и оклады их — довольство — чти же!

Встал, поклонясь царю, дьяк Тайного приказа, сухонький, в красном кафтане, водя жидкой бороденкой по грамоте, придвинул блеклые глаза к строчкам, зачастил:

— «Генералу порутчику Миколаю Бовману и его полку полковникам и иных чинов начальным людям на нынешней сентябрь месяц довольства:

«Генералу 100 рублев, Полковнику и огнестрельному мастеру Самойлу Бейму 50 рублев, Подполковнику Федору Мееру 18 рублев, Карлу Ягану Фалямманту, Василию Шварцу по 15 рублев.

«Масором: Ягану Самсу, Антону Регелю, Петру Бецу, Ганцу и Юрью Бою по 14 рублев.

«Капитанам: Ганцу Томсону, брату сво — Фредрику — обоим

---

[1] Доподлинно.

50 рублев. Павлу Рудольву 20 рублев, гранатному и пушечному мастеру Юсту Фандеркивену 15 рублев».

Царь, махнув рукой, остановил чтение.

— Обсудим с бояры, но мыслю я надбавить иноземцам довольства!

— То не лишне будет, великий государь! Падет война, много бояр и боярских детей утечет в «нети».

— В ляцкую войну на воеводский зов не оказалось бояр с дворянами в полу.[1]

— Великий государь! Бояре бороды берегут и любят лишь место за столом да счет отчеством в Разрядном приказе...

— Не будем корить их, боярин! Чти, дьяче, кои еще иноземцы есть? Довольство их оставь — имена лишь, прозвище тож, чти.

Дьяк поклонился и снова заползал бороденкой по листу:

— «Яган Лицицус, Яган Вит, Яков Гитер, Ганц Клаусен, Хрестьян Беркман, Альберт Бруниц, Антон Ребкин...»

— Не жидовин ли тот Ребкин?

— Немчин родом он, великий государь, храбр и сведущ, едино лишь — бражник.

— Опое не охул молодцу — проспится.

Дьяк продолжал.

— «Индрик Петельман, англичанин Христофор Фрей, Дитрих Киндер, Яган Фансвейн, Яган Столпнер...»

— Много еще имен?

— Великий государь, противу тыщи наберется!

— Сядь, дьяче! И как сказано в голове листа — то все начальники?

— Начальники и пушечные да оруднйные мастеры, гранатные тож.

— Теперь, боярин, хочу знать, чем жалобит богомолец мой астраханский?

Боярин передал русоволосому дьяку, наследнику Киприна, грамоту с черной монастырской печатью.

Дьяк Ефим, поклонившись царю, громко начал:

— «Царю, государю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великия, малыя и белыя Русии самодержцу...»

Произнося величание царя, дьяк снова поклонился поясно:

---

[1] В половину.

— «Бьет челом богомолец твой Иосиф, митрополит Астраханский и Терский. В нынешнем, государь, во 177 году Августа против 7 числа приехали с моря на домовый мой учуг Басаргу воровские козаки Стенька Разин с товарыщи, и, будучи на том моем учуге, соленую коренную рыбу, икру и клей все без остатка пограбили, и всякие учужные заводы медные и железные, и котлы, и топоры, и багры, долота и напарьи, буравы и невода, струги и лодки и хлебные запасы, все без остатка побрали. Разоря, государь, меня, богомольца твоего, он, Стенька Разин, с товарыщи покинули у нас на учуге в узле заверчено церковную утварь, всякую рухледь и хворой ясырь, голодной... Поехав, той рухледи росписи не оставили...»

— Роспишет сам старик своими писцами... Не в росписи тут дело!

— Да пустите вы, псы лютые, меня к духовному сыну!.. — закричал кто-то хмельным басом.

Царь нахмурился. В палату вошел поп в бархатной рясе, с нагрудным золотым крестом, скоро и смело мотнулся к трону, упал перед царем ниц, звеня цепью креста, завопил:

— Солнышко мое незакатное, царь светлый!.. а не прогневись на дурака-попа Андрюшку, вызволь из беды... Грех мой, выпил я мало, да пил и допрежь того. Вишь, Акимко патриарх грозит меня на цепь посадить!..

Царь сошел с трона, взял в руки посох, сказал Пушкину:

— Ино, боярин Иван Петрович, кончим с делами, все едино не решим всего. А, Савинович, ставай — не гоже отцу духовному по полу крест святой волочить... И надо бы грозу на тебя, да баловал я Андрея протопопа многими делами, и сам тому вину свою чувствую. Стань-ко, Савинович!

Протопоп встал.

— И пошто ты в образе бражника в государеву палату сунулся? А пуще пошто святейшего патриарха Акимкой кличешь? То тебе не прощу!

— Казни меня, дурака, солнышко ясное, царь пресветлый, да уж больно у меня на душе горько!..

— Горько-то горько, да от горького, вишь, горько.

— Ой, нет, великий государь! Патриарша гроза не пустая — посадит Андрюшку на цепь...

— И посадит, да спустит, коли заступлюсь, а заступу иметь

придется мне — ведаю, что посадит... Патриарх, он человек крутой к духовным бражникам.

— А сам-от, великий государь, — к черницам по ночам...

— Молчи, Андрей! — крикнул царь и, обратясь к Пушкину, сказал: — Нынче, боярин Иван Петрович, в потешных палатах велел я столы собрать да бояр ближних больших звать и дьяков дворцовых — так уж тебя зову тоже... Немчин будет нам в органы играть, да и литавриков добрых приказал. А за пиром и дела все сговорим.

Обернулся к протопопу:

— Тебя, Андрей Савинович, тоже зову на вечерю в пир, только пойди к протопопице, и пусть она из тебя выбьет старый хмель!

Царь засмеялся и, выходя из палаты, похлопал духовника по плечу.

— Великий государь, солнышко, сведал я о твоем пире и причетника доброго велел послать за государевой трапезой читать апостола Павла к римлянам, Евангелие.

— Вот за то и люблю тебя, Андрей Савинович, что сколь ни хмельной, а божественное зришь, ведаешь, что мне потребно...

Царь был весел, шел, постукивая посохом, до пира еще было много времени.

Встречные бояре кланялись царю земно.

2

В горницу Приказной палаты к воеводе вошел Михаил Прозоровский. Старший — Иван Семенович — стоял на коленях перед образом спаса, молился.

Младший, не охочий молиться, не мешал воеводе разговором, сел на скамью дьяков у дверей. Воевода бил себя в грудь и, кланяясь в землю, постукивал лбом, вздыхал. Серебряная большая лампада горела ровно и ярко. В открытые окна, несмотря на август, дышало зноем, ветра не было. От жары и жилого душного воздуха младший Прозоровский расстегнул ворворки из петель бархатного кафтана. Расстегивая, звякнул саблей.

Воевода встал, поклонился, мотая рукой в угол и, повернувшись к большому столу, крытому синей камкой, сел на тюфяк воеводской скамьи.

На смуглом с морщинами лице таилось беспокойство. Он молча глядел в желтый лист грамоты, шевеля блеклыми губами в черной, густой с проседью бороде.

Силился читать, но мутные, стального цвета глаза то-и-дело вскидывались на стены горницы.

Брат не вытерпел молчания воеводы, встал, шагнул к столу, поклонился:

— Всем ли по здорову, брат воевода?

— Пришел, вишь ты, сел, как мухаммедан кой: где ба помолиться господу богу... ты же, вишь, только оружьем брякаешь. Навоюешься, дай срок... — Воевода говорил, слегка гнусавя.

— Про бога завсегда помню, да и спешу сказать — ведомо ли воеводе: вор Стенька Разин с товарыщи Басаргу пошарпали, святейшего заводы?

— Лень вишь?.. Молитва бока колет, хребет ломит, шея худо гнется... Про Басаргу давно гончий государю послан. Продремал, молодец!.. Вот молюсь, и тебе не мешает — пришел гость большой к Астрахани, да еще тайши калмыцкие[1] шевелятся: хватит уже бою, не пекись о том.

— Астрахань, братец, стенами крепка. Иван Васильевич, грозной царь, ладно строил: девять и до десяти приказов наберется одних стрельцов, в пятьсот голов каждый. Сила!

— Стрельцы завсегда шатки, Михайло, чуть что — неведомо к кому потянут, не впервой... Вот послушай.

Воевода крикнул:

— Эй, люди служилые! Пошлите ко мне подьячего Алексеева...

В приказной палате за дверью скрипнули скамьи, зажужжали голоса:

— К воеводе!

— Эй, Лексеев!

— Воевода зовет!

— Подьячий, ты скоро?

Вошел в синем длиннополом кафтане сухонькой рыжеволосый человек с ремешком по волосам, поклонился:

— Потребен, ась, князиньке?

— Потребен... Вишь, грамоту толмача худо разбираю, вирано

---

[1] Калмыцкие князьки, начальники.

написано. Сядь на скамью и чти. Знаю, не твое это дело, твое — казну учитывать, да чти!

— Дьяку ба дал, ась, князинька, Ефрему, то больно злобятся — все я да я..

— Сядь и чти! Пущай с тебя нелюбье на меня слагают.

— Тебя-то, князинька, ась, боятся!

— Чти, пущай слышит князь Михайло.

Подьячий отошел к скамье и не сел, стоя разгладил грамоту на руке.

— Сядь, приказую!

— Сидя, князинька, ась, мне завсегда озорно кажется.

— Сядь! Лежа заставлю чести.

Подьячий сел, дохнув в сторону вместо кашля, и начал тонким голосом:

— «Тот толмач Гришка сказывал и записал им, что-де сбираютца калмыцкие тайши многи, а с ними старые воровские Даузан с Мунчаком, кои еще пол третьедесять лет назад тому воровали с воинскими людьми, а хотят итти под государевы городы — в Казанский уезд и в Царицын. Да один-де тайша пошел к Волге, на Крымскую сторону, под Астраханские улусы на мирных государевых мурз и татар для воровства, да в осень же хотят итти в Самарский уезд. От себя еще показывали кои добрые люди, что-де в Арзамасе на будных станах [1] боярина Морозова — ныне те станы за князьями Милославскими есть — поливачи и будники [2] забунтовались... Сыскались многие листы подметные, что-де «Стенька Разин пришел под Астрахань и на бояр и больших людей итти хочет!» Да в Казанском и Царицынском краях хрестьяне налогу перестали давать денежную и хлебную воеводам, а бегут по тем листам подметным к Астрахани: помещиков секут, поместя жгут, палом-палят. Кои не сбегли, те по лесам хоронятца, кинув пахоту и оброки. А больше бегут бессемейные. И вам бы, господа воеводы астраханские, те вести ведомы были».

— Поди, подьячий! Князь Михайло слышит грамоту, знает теперь, пошто я бога молю, да сумнюсь.

Подьячий поклонился, вышел в палату и вернулся:

---

[1] Будные станы — поташные заводы.

[2] Рабочие поташных заводов.

— Тут меня, князинька, ась, чуть не погубили люди, что я тебе на дьяков довел о скаредных речах.

— Поди, я подумаю и с тобой о том поговорю.

Подьячий снова поклонился и снова, уйдя, вернулся:

— Еще пошто?

— Тут, князинька, ась, пропустить ли трох казаков, от Степьки Разина послы — тебя добираютца?

— Поди и шли! Каковы такие?

Вошли три казака, одетые в кафтаны из золотой парчи, на головах красные бархатные шапки, унизанные жемчугами, с крупными алмазами в кистях.

— Челом бьем воеводе!

— Здорово жить тебе!

— От батьки мы, Степана Тимофенча.

— Да, вишь, козаки, все вы зараз говорите, не разберу, пошто я занадобился атаману. Там без меня есть воевода управляться с вами, князь Семен Львов.

— Князь Семен само собой — ты особо... К Семену с моря шли по зову его и государевой грамоте.

Выдвинулся вперед к столу казак, похожий лицом на Разина, именем Степан, только поуже в плечах, сутулый, с широкой грудью. Он вынул из-под полы ящичек слоновой кости, резной. Поставив на стол перед воеводой, минуя грамоту, лежавшую тут же, раскрыл ящик. В ящике было доверху насыпано крупного жемчуга.

По лицу воеводы скользнула радость. Мутные глаза раскрылись шире.

— За поминки такие атаману скажите от меня спасибо! И доведите ему: пущай отдаст бунчук, знамена, пушки, струги морские да полон кизылбашской.

— Тот полон, что вернуть тебе велел атаман, у приказной весь — десять беков шаховых, кои в боях взяты, да сын гилянского хана — Шебынь — их вертает, а протчей, воевода, нами раздуванен меж товарыщи. Тот полон атаман дать не мочен, по тому делу, что иной полоненник пришелся на десять козаков один, а то и больше. Тот полон, воевода, иман нами за саблей в боях, за него наши головы рощены... Да еще доводит тебе атаман, чтоб стретил ты его с почестьми!

— Почестей, козаки, мне, воеводе, нигде не дают, и я дать

без приказу великого государя не могу. И еще скажу: сбег от вас с моря купчина кизылбашской, бил челом о сыне своем. Того купчинина сына дайте. А вез тот купчина от величества шаха в дар государю аргамаков, и тех аргамаков дайте. Об ином судить будем с атаманом вместях, как лучше.

— Аргамаки, князь воевода, не шах послал, то нам ведомо: от имени шаха купчины царю аргамаков дарят, чтоб им шире на Москве торг был. Они в Ряше-городе закупили народ. Мы их не трогали, персы обманно положили наших четыреста голов. Тот грабеж близ Терков им был за товарыщей смерть!

— Того не ведаю... послышал как — говорю!

— Верим тебе — ты нам верь!

— Вы же Басаргу, учуг святейшего Иосифа митрополита, разорили без остатку: побрали рыбу, хлеб и учужные заводы...

— Богат митрополит, а древен. Куда ему столько добра мирского? Мы же голодны были и скудны...

— Его богатство не одному митрополиту идет — на весь Троицкой монастырь!

— Монастырю мы замест хлеба оставили утварь церковную, три сундука добрых наберется серебра. Так сказал атаман: «выкуп ему за разоренье».

— То обсудим, как атаман будет в Астрахани... Теперь же спроню, где ладите селиться? В слободе под Астраханью или за слободой?

Казак, похожий на Разина, ответил:

— Я есаул Степана Разина. Мне атаман наказал приглядеть место за слободой на Жареных буграх — ту нам любее, и место шире... С Дона к нам будут поселенцы, коим там голодно — не таимся того, знай...

— Кидайте палатки и живите! Да сколь вас четом?

— Тыщи полторы наберется.

— Скажите атаману еще, чтоб много народа не сбирал: городу опас и слободе от огней боязно — ропотить будут на меня!

— Много больных средь нас, люди мы смирные.

Казаки ушли.

Младший Прозоровский встал, беспокойно прошелся по горенке, взяв шапку с лавки, хлопнул ею о полу кафтана:

— Не ладно ты, брат мой Иван Семенович, делаешь!

— Чего неладное сыскал?

— Надо бы этих воровских казаков взять за караул да на пытке от них дознаться, какие у разбойников замыслы и сколько у вора атамана пушек и людей?.. Хитры они, добром не доведут правду!

— Сколь пушек, людей — глазом увидим. Млад ты, Михайло! Тебе бы рукам ход дать, а надо дать ход голове: голова ближе спознает правду. Вишь, Сенька Львов забежал, грамоту государеву забрал и ею приручил их. Поди, они на радостях сколь ему добра сунули!.. Я вот зрак затупил, чтя старые грамоты да про житье-бытье царей-государей... Вот ты помянул Грозного Ивана, а был Иван, дед его, погрознее, тот, что Нову-город скрутил, и не торопкой был, тихой... В боях не бывал; ежели где был, то не бился, только везде побеждал... Татарву пригнул так, что не воспрянула, а все тихим ладом, не наскоком, не криком... Вот и я — думаешь, воры куда денутся? Да в наших же руках будет Сенька, едино лишь надо исподволь прибираться... Ну-ка, навались нынче наскоком?.. Ты говоришь, девять приказов стрельцов? Стрельцы те, вишь, все почесть с Сенькой в море ушли, на пятьдесят стругах: полторы тыщи их всего в Астрахани. Залетели нынче сокола — глядел ли? Крылья золотые. Ты думаешь, вечно служить стрельцам не в обиду? Скажешь, глядючи на казаков, они не блазнятся? Половина, коли затеять шум, сойдет к ворам. Глянь тогда, пропала Астрахань а с ней и наши головы! Нет, тут надо тихо... Узорочье лишне побрать посулами да поминками; сговаривать их да придерживать, а там молчком атамана словить, заковать и в Москву: без атамана шарпальщикам нече делать станет под Астраханью... Вот! А ты руками, ногами скачешь, саблей брячешь... Ой, Михайло! Я не таков... Пойдем-ка вот до дому да откушаем. Святейший митрополит придет тож: вот голова, на плечах трясется, слово же молвит — молись! Лучше не скажешь.

Воевода с братом ушли из приказной. У крыльца им подали верховых лошадей.

По дороге воевода приказал развезти по подворьям купцов: разинский полон, беков и сына ханова.

3

Дни стояли светлые жаркие. Чуть день наставал, в лагерь казаков приходили горожане из Астрахани, а с ними иноземцы

взглянуть на грозного атамана. Слава о Разине ширилась за морем. Пошла слава от турок, которые, слыша погром персидских городов, крепили свои заставы, строили крепости. Всем пришедшим хотелось увидать персиянку, говорили, что княжна невиданная красавица, иные прибавляли: «что персиянка дочь самого шаха Аббаса II, оттого-де шах идет войной к Теркам». Разин стоял в большом шатре, разгороженном пополам фараганским ковром. Иноземцы, зная, что атаман любит пировать, несли ему вино. За хмельное Разин отдаривал кусками шелка, жемчугами и парчой. Народ ахал, оглядывая подарки атамана. Сказки о его несметном богатстве росли и ширились.

Вплоть до татарских становищ на Волге за Астраханью по берегу теснились люди, где на особенно раздольной ширине волжской качались атаманские струги, убранные коврами, шелком и цветной материей. Один из стругов был обтянут сплошь красным сукном с мачтами, окрученными рудожелтым шелком, на мачтах два золотых паруса из парчи. Любопытные спрашивали казаков:

— Кто такой живет на дивовинном стругу?

— Царевич! — коротко отвечали казаки.

— Заморской царевич-от?

Иные, не зная, но желая ответить, говорили:

— Да, царевич, вишь, Лексей от царя, бояр сбег к атаману!

— Вишь ты! Атаман — он за правду идет противу воевод.

— Пора унять толстобрюхих, бором, налогой задавили народ!

— То ли еще узрим!

Сегодня особенно яркий день с ветром, доносящим от моря с учугов запах рыбы и морских трав. Волга здесь пахнет морем. К атаману в шатер пришли три немчина. Один сказался капитаном царского струга, другой послом, третий, особенно длинноволосый, в куцом бархатном кафтане, в мягкой шляпе без пера, — художник. Первые двое при шпагах, третий принес с собой черный треножник, ящик плоский да тонкую доску. Вошел в шатер атамана, сбросил на землю шляпу, недалеко от входа поставил треножник, сказал Разину:

— Их бин малер.[1] Хотель шпель писант.

На треножнике укрепил доску, окрашенную бледной краской·

[1] Я живописец.

— Чего тому, сотоне?

Лазунка улыбнулся атаману.

— Он, батько, парсу́ну исписать с тебя ладит... Я их на Москве много глядел: ходят, списывают ино людей, ино стены древние, мосты. А то один пса намарал: как живой пес вышел, лишь не лает...

— О, то занимательно! пущай марает, не прещу.

— Гроссер козак! штэен [1] нада.

Немчин отбежал в сторону, упер левую руку в бок, правую вытянул вперед, надул щеки и выставил, как бы сапогом хвастая, правую ногу.

— Алзо зо. [2]

— Ха! стоять перед чертом потребно? Ну, коли стану. Лазунка, дай булаву! — Лазунка подал булаву. Разин встал.

— Ты скоро, волосатый?

— Вас? [3]

Атаман отдернул запону отверстия, в шатер хлынул свет.

— Гутес лихт! [4] карош... карош... — немец хмурился, вглядываясь в фигуру атамана, слегка прислоненную к фараганскому ковру — по красному узорчатые блестки. Рука художника, накидывая контур, бегала быстро, уверенно по доске. Разин был одет в голубой бархатный зипун с алмазными пуговицами. Красная бархатная шапка сдвинута на затылок, седеющие кудри упрямо лезли на высокий хмурый лоб. В прорехах шапки золотые вошвы [5] с жемчугом. Поверх шапки намотана узкая чалма зеленого зарбафа с золотыми травами, на конце чалмы кисти, упавшие одна на плечо, другая за спину. Длинные усы, черные, сливались, падая вниз, с густо седеющей бородой. Вглядываясь в его впалые смуглые щеки, обветренные морем, рисуя острый нечеловеческий взгляд под густыми бровями, немец, работая спешно, бормотал одно и то же:

— Страшен адлер блик. [6]

С левого плеча атамана спускалась золотая цепь, на ней сзади

---

[1] Большой казак, стоять надо.

[2] Вот так.

[3] Что?

[4] Хороший свет!

[5] Вошвы — вшитые куски дорогой материи.

[6] Страшен орлиный взгляд!

сабля. Опоясан был Разин яркокрасным шелком с серебряными нитями. Петли с кистями висели от кушака до колен.

— Како он мараст, сотона? — Разин двинулся.

Художник взмахнул волосами, погрозил ему кистью, запачканной в краску:

— Штэен блейбен. [1]

— Чорт тя поймет, ха! Грозит пером, а у меня в руке булава... скоро мажь.

— Нынче мож...

— Фу! устал... Худче много, чем бой держать, стоять болваном.

Отдавая Лазунке булаву, Разин не успел взглянуть на портрет, полы шатра распахнулись; отстраняя чмокающие удивленно на работу художника лица казаков, в шатер пролезла высокая фигура богатырского склада в стрелецком кафтане.

— Месяц ты ясный, а здорово-ко, Степан Тимофеевич!

Разин хмурый сел на ковры на прежнее место, молчал, наливая в чашу вино, и, не глядя на стрельца, сказал:

— Сам пришел, палач Петры Мокеева?

— Мокеева, батько, чул я, шах кончил, не я...

— Шах оно шах, а ты пошто руку приложил?

— Не навалом из-за угла — игра такая, играли во хмелю оба — сам зрел!

— Чикмаз, с Петрой, кабы жив, воеводу просто за гортань взяли: сдавай Астрахань!

— Захоти, батько, Астрахань твоя! Молодцов нарочито по тому делу привел: надо, так хоть завтре иди бери...

— Годи, парень, крычать: немчины близ, да един в шатре, то воеводины гости.

— Много кукуи смыслят! Эй, ты, куричий хвост, — поди отсель, скоро!

Чикмаз взмахнул длинной рукой, задел мольберт и чуть не опрокинул работу немца.

— Хальт! мейн готт, гробер керл! [2] — Немец в ужасе замахал одной рукой, другой схватил портрет.

— У нас скоро, иди!

---

[1] Надо стоять.

[2] Стой! Боже мой, грубый парень!

— Жди, Чикмаз, дай гляну, что волосатый пес марал.

Разин встал. Немец показал ему работу.

— О-то, выучка человечья великая и что она деет: как вочию я, едино лишь немотствую да замест булавы — палка в руке...

— Тю... маршаль штаб! маршаль... [1]

— Лазунка, дай ему, волосатому, жемчугу пригоршню — заслужил...

Лазунка в углу из мешка достал горсть жемчуга, всыпал в гарман немцу, тот поклонился и, продолжая внимательно разглядывать атамана, словно стараясь запомнить могучую фигуру его, сказал:

— Другой парсун пишу — даю тебе.

Художник, бережно приставив портрет к стене шатра, спешно собрал мольберт, забрал работу и еще спешнее пошел, забыв на земле в шатре шляпу. Лазунка догнал художника, нахлобучил ему шляпу. Разин сел, приказал:

— Садись, Чикмаз! Нече споровати — пить будем, не Персия здесь — Астрахань. А в своем гнезде и ворон сокола клюет. Унес ноги, — ладно, червям не угодил на ужин.

— Тое ради могилы утек я, батько!

Наливая Чикмазу вина, Разин спросил:

— Скажи все, что мыслишь о своем городе и людях.

Чикмаз выпил вино, утер привычно размашисто рукавом длинную сивую бороду, ответил:

— Перво, батько Степан, знай мою душу! Не с изменой, лякой пришел я... И тогда не кинул ба поход, да посторонь тебя были люди, кои застили мою любовь к тебе — Петра, Сергей, Серебряков Иван... Нынче не те — иные удалые надобны. А я от прошлого с тобой — буду служить. Надо на дыбу? Пойду!

— Верю! и люди надобны.

— Привел я Ивашка Красулю, Яранца Митьку, да в Астрахани ждет тебя удалой еще — Федька Шелудяк. Этих четырех нас покудова буде... Заварим кашу — Красуля стрелецкой сотник.

— Добро!

---

[1] Маршальский жезл.

— И еще — от себя дозволь совет тебе дать, батько.

— Сказывай!

— С воеводой Львовым Семеном пей, гуляй — не знай страху — прямой человек! Прозоровских же опасись.

— То я ведаю.

— Гей, Красулин! Яранец! Атаман кличет.

На голос Чикмаза вошли двое: приземистый, широкоплечий Яранец и высокий, узкий, с длинной редькообразной головой, рыжий Красулин.

— Лазунка, дай еще чаши.

— Пьем за здоровье Степана Тимофеевича!

— Сил наберись, батько, да скоро и в Астрахань воевод судить.

— Много довольно им верховодить, кнутобойствовать с иноземцами!

— Зажали стрельцов!

— Стрельцы все твои, они шатки царю.

— Ребята! Силы батько Степан скоро наберется. Людей по листам подметным идет немало, иные идут по слуху... Чуял я, Степан Тимофеевич, — обратился к Разину Чикмаз: — Ус Василий казаков ведет, не дально место видали их. Да за казаками идут калмыцкие, — многие улусы. Все к тебе, и долго Астрахани не быть под воеводами. Навались только.

— Вот что я мыслю, соколы! Бунчук, знамена и пушки, кои мне не надобны, да ясырь персидский сдал воеводе. Нынче по уговору к царю шлю послов бить головами и вины наши отдать. Ране ведаю: царь у бояр в руках, а бояре вин моих не дадут царю спустить, только все концы вести надо. Замордует царь моих или обидит — гряну я на город! Вы же мне верны будьте, неторопко и тайно подговаривайте стрельцов, потребных ко взятию Астрахани. Я же приметные письма пущу шире да пришлых людей зачну обучать к пищали...

— То и будет так, Степан Тимофеевич! — сказал Чикмаз.

— Будет так, батько, клянемся! — прибавил Красулин.

Яранец взмахнул кулаком:

— Эх, за все беды воздадим воеводам с подьячими!

— Знай, Степан Тимофеевич! мы твои до смерти.

— Добро, соколы!

Стрельцы ушли, и вдали черневшая слобода скрыла их фигуры. Безоблачное небо — синее. Из-за Волги с крымской

стороны, по равнине, голой, бескопечно просторной, все шире и ярче золотели стрелы встающего месяца.

4

В ту же ночь пять казаков собрал Разин в своем шатре.

— Обещал воеводе шесть, да одного не подберу.

Лазунка сказал:

— Пошли меня, батько!

— Люблю, Лазунка, когда ты приходишь и без просьбы служишь мне... совет твой тож люблю...

— Я скоро оборочу, батько!

— Дай подумать. Сядьте, соколы! — Казаки сели. — Ты, Лазарь Тимофеев, — обратился Разин к пожилому, худощавому казаку с хитрыми глазами, — опытки знаешь, шлю тебя, чтоб глядел зорко и слушал, как будут говорить в пути стрелецкие головы. А чуть узнаешь беду к вам — беги в Астрахань!— ближе будет? На Дон. Дон сбеглых не выдаст.

— Уразумею, батько.

— И все так: ежели худое тюремное над собой услышите, бегите, кто как может... Бояр я ведаю, зовут лестью, да ведут к бесчестью... Казак ли, мужик для них не человек, едино, что скотина та, которая пашет и их кормит. Теперь же пейте на дорогу да в ход. Лазунка, вина царевым посольцам!

Выпили вина.

Разин продолжал:

— Сряжайся, Лазунка! Буду я здесь время коротать со сказочником дидом Вологженином.

Казаки-послы ушли. Разин спросил Лазунку:

— Тебе пошто, боярская голова, на Москву поохотилось?

— Невесту позреть, батько! Чай, нынче ее сговорили за другого? Мать тоже глянуть надо... люблю ее...

— Кто же не любит мать? А я вот не упомню мати своя... Знай, на Москве матерых казаков в станицах, пришлых, от царя кормят, вином и медом поят и пивом; становят во двор и ходить не спущают никуда без приказу... Старым атаманам лошадь с санями дают, коли зима... Я же не глядел на царское угощенье от дозора стрельцов, что у караула станицы были: через острог лазал, а пил-ел в гостях. И тебе велю — не становись на дворе под стражу... Тут они тебя, коли зло на разум им

падет, возьмут, как квочку на яйцах. Там у меня в стрелецкой слободе от моста десную с версту, на старом пожарище в домишке, схожем на бурдюгу, жонка живет, зовут Ириньицей... Сыщи ее. Коли дома тесно — она укроет. Только пасись от сыщиков... Про меня ей скажи все и про княжну скажи — поймет... Гораздо меня любит, и будешь ты ей родней родного. Еще не ведаю, жив ли дедко ее юрод? Древний старец был... тот, должно, помер... Мудрой был, книгочей, все бога искал... Возьми что надо, да спеши: казаки, вишь, на копей садятся... Коли имать будут, — беги сюда!

— Будь здрав, батько! Прости-ко, Степан Тимофеевич.

— Не блазнись, коли служить царю потянут.

Разин на дорогу обнял Лазунку и вышел за ним из шатра. А за Волгой со стороны Яика-городка широко чернело, шевелилось, слышался скрип колес, в мутном лунном тумане на телегах передвигались сакли киргизов, доносился их крик:

— Жа-а-ксы-ы! [1]

— Бу-я-а-рда! [2]

— Бар? [3]

— Бар!

Разин, прислушиваясь, понимал далекий крик степных людей: недаром он был в молодости от войска к ним послан. Лишняя морщина прорезала высокий лоб атамана. Вспомнилось ему далекое прошлое. И первый раз за всю свою жизнь он скользнул мыслью с легким сожалением, что с детства не знал отдыха: на коне или в челне, или был в схватке в боях.

Подумал, уходя в шатер:

— О, несказанно тяжела ты, человечья доля! Свобода ли, рабство, богатство и почесть венчаются кровью... Пируешь за столом, тебе говорят красные речи, а за дверями на твою голову топор точат...

5

Смешанным говором лопочет многоголосая Астрахань. Жжет солнце знойное как летом. Люди теснятся, переругиваются, шумят между каменных лавок армян, бухарцев и персов. Толпа

[1] Хорошо!

[2] Здесь!

[3] Да.

проплывает с базара по улицам, застроенным каменными башнями, церквами и деревянными домами с крыльцами в навесах и столбиках.

У церквей нищие в язвах, в рядне и полуголые, усвоив московскую привычку клянчить, тянут:

— Православные, ради бога и великого государя милостыньку, Христа ради!

Хотя в толпе православных мало.

В углу базарной площади серая пытошная башня — из ее узких окон слышны на площади крики, визг и мольбы. Казаки, смешавшись с толпой, выделяются богатой одеждой и шапками в кистях из золота, говорят:

— В чортовой башне те же песни поет наш брат!

Стрельцы, зарясь на наряд казаков, идя о бок, отвечают:

— То, браты, по всей Русии ведется... В какой город ни глянь — услышишь... Ежели пытошной в нем нет, то губная изба правит, и тот же вой!

— Да, воеводские суды — расправы!

Разин идет впереди с есаулами в голубом зипуне, на зипуне блещут алмазные пуговицы, шапка перевита полосой парчи с кистями, на концах кистей драгоценные камни. Сверкает при движении его спины и плеч золотая цепь с саблей. Если атаман не подойдет сам, то к нему не подпускают. Есаулы раздают тому, кто победней, деньги.

— Дай бог атаману втрое чести, богачества! — принимая, крестятся.

Нищие кричат:

— Атаман светлой! Дай убогим божедомам бога деля-а...

— Помоги-и!..

— Дайте им, есаулы!

Нищих все больше и больше, как будто в богатом городе, заваленном товарами, широко застроенном, кроме нищих и нет никого. Оборванец-подросток тоже тянет руку:

— Ись хочу! Мамку, вишь, пытать имали...

— Пошто мамку-т, детина?

— За скаредные про царя слова, тако сказывали...

— Мальцу дайте! Пущай и он про царя говорит похабно.

Разин, махнув рукой, проходит спешно дальше.

На площади среди каменных амбаров, рядов, казаки, идущие

в хвосте, дуваном и одежды торгуют. Из казацких рук в руки купцов переходят восточные одежды, куски парчи, шелка, золотые цепочки и иное узорочье. Армяне, в высоких черных шапках, в бархатных халатах, бойко раскупают кизылбашское добро. Один из армян с желтым лицом, испуганными глазами, тряся головой в сторону соотчичей, кричит хрипло:

— Гхаркавор-э ихахэл анстергиц, цахэлу хэтевиц мэн к тала пэн! [1]

Над ним смеются, плюют в его сторону, хлопая по карманам халатов.

— Аксарьянц, ничэс вахум? мэнк ант марткацерпц-к гхарустананк! [2]

Многие из разинцев, спустив в царевых кабаках Астрахани деньги, вырученные за дуван, продают с себя дорогое платье, напяливая тут же под шутки толпы вшивое лохмотье, за бесценок взятое у нищих, а иногда и из лавок, брошенное до того замест половиков. Мухи разных величин лепятся на голые потные тела, бронзово могуче сверкающие, то опухшие от соленой воды или тощие, как скелеты, от лихорадок.

— Казаку тай запорожцу усе то краки та буераки — гая ж нема! [3]

— Казаку все одно — лезть в рядно!

— Верх батько даст, низ едино все в бою изорвется.

— Тепло! Без одежки легше.

Вот целый ряд узкоглазых, смуглых, скуластых, в пестрых ермолках, в чалмах, потерявших цвет; глядит этот ряд на казаков, сверкая глазами и ярко белыми зубами в оскаленных ртах.

— Ныпче на Эдиль-реку ходым?

— Волга! кака те стиль?

— Нашим Эдиль-река!

— Куда козак? Зачим зывал на Астрахан булгарским татарам?

— Лжешь, сыроядец! То калмыки.

— Булгарским кудой, злой, не нашим вера, не Мугамет... Булгарски булваном молит!

— К батьку идет всяк народ! Всяка вера ему хороша...

[1] Продадут, потом нас ограбят. (Армянск.)

[2] Чего боишься? Мы от этих людей разбогатеем! (Армянск.)

[3] Краки — кусты; гай — лес.

— Акча барабыз, козак? [1]

— Менгун есть: перски абаси, шайки... талеры.

— Купым? Дешев! Наша вера не кушит кабан, кушит карапус (арбуз)..

— Вам не свыня — жру коня?

— Бери менгун! нам кабан гож.

Почти не спрашивая цены, за бесценок казаки тащат в становище убитых кабанов...

6

На крыльце деревянного широкого дома с резьбой, с пестрыми крашеными ставнями, стоит веселый, приветливый воевода Семен Львов, гладит рыжеватую курчавую бороду. Становой кафтан распахнут, под кафтаном желтая шелковая рубаха, шитая жемчугами, отливает под солнцем золотом.

— Иди, иди-ка, дорогой гость! Жду хлеба рушить.

— Иду, князь Семен, и ни к кому иному, к тебе иду. Едино лишь дума!..

— О чем дума, Степан Тимофеевич?

— Вишь, не обык к воеводам в гости ходить: а ну как звали на крестины, да в сени не пустили?.. Не примут-де, так остудно с пустым брюхом в обрат волокчись.

— Звал, приму! Не то в сени — в горницы заходи.

— На том спасибо! А вот и поминки тебе. — Разин обернулся к казаку сзади: — Дай-кось, Василий!

Взял у казака крытую золотой парчой соболью шубу. Разин, ступив на крыльцо, накинул шубу воеводе на плечи:

— Носи, да боле не проси! Держу слово...

— Ой, то неладно, Степан Тимофеевич!

Разин нахмурился.

— Уж ежели такая рухледь тебе, князь Семен, не гожа, то уж лучше нет.

— Шуба-т дивно хороша! Эх, и шуба! Да вишь, атаман, народу много, в народе же холопы Прозоровского есть, а доведут? И погонят в Москву доносы на меня...

— Чего Прозоровскому доносить, князь Семен? Сам он имал мои поминки! Не един ты...

---

[1] Деньги есть? (Татарск.)

— А жадность боярская какова, ведаешь, Степан?

— Я еще подумаю... будет ли срок ему доносить.

— Ой, не надо так, атаман удалой, пойдем-ка вот в горницы да за пир сядем, и народ глазеть перестанет на нас.

7

От многих огней светел большой дом воеводы Прозоровского. Сам он стоит посреди палаты в новом становом кафтане из золотой парчи, дареной Разиным. Слуги наливают вино, мед и водку в серебряные чаши. Когда открывается дверь вниз, в людские горницы, то видно по лестнице шагающих слуг с блюдами серебряными и луженными. Воевода по очереди подходит к столам, заставленным кушаньями, по очереди и чину подает гостям из своих рук чаши с хмельным. Каждый гость, принимая чашу, кланяется в пояс хозяину. За столом среди иноземцев сидит брат воеводы Михаил Семенович Прозоровский, кричит воеводе хмельные хвалебные слова. У горок с серебром, между боковыми окнами, седой дворецкий в черном бархате и двое слуг в синих узких терликах, считая, выдают столовое серебро, чаши, если кому из гостей нехватает. В углу палаты, ближе к выходным дверям, слуга на ручном органе, большом ящике на ножках, играет протяжные песни, орган гремит и трепыкает. Несогласные со звуками музыки голоса военных немцев, англичан и голландцев звучат, спорят, хвалят хозяина; едят из небольших блюд руками. Кравчий с двумя слугами с серебряным котлом обходит столы, золоченой лопаткой прибавляет в блюда гостей кушанья.

— Здравит, храбрый князь!

— Много лет жить воеводе, богато и крепко!

— Русское спасибо, дорогие гости! Вкушайте во здравие, служите честно великому государю моему, и милостью вас царь государь не обойдет.

— Рады служить!

Воевода обводит мутными глазами гостей, при огне глаза Прозоровского зеленоваты, лицо его осунулось, проседи в длинной бороде как будто больше, князь задумчив и невесел.

— Да сядь же ты, братец Иван Семенович! Трудишься, а сам ничего не вкушаешь.

— Да, да, капитан. Место князю и воеводе...

— Зетцт ер зих и радует унзэри блик! [1]

К органу пристали трубачи, голоса гостей среди медного гула музыки едва слышны. Орган смолк, но к трубачам присоединились сопельники. От музыки дребезжат зеленоватые пузырчатые стекла в рамах окон: князь Иван ими недавно заменил слюду. Скамьи под гостями крыты ковром. На одну такую скамью за столом вскочил длинноногий, тощий немец в синем узком мундире, капитан Видерос. Воевода только-что наполнил его чашу хмельным медом. Видерос кричит, тяжелая чаша мотается в его длинной, тонкой руке, обтянутой узким рукавом, густые капли меда падают из чаши на ковер и головы пьяных гостей. Музыканты дуют в трубы, ответно трубам гудят сопели. Капитан махнул свободной рукой и, топыря редкие рыжие усы, крикнул, багровея в лице:

— Эй, музик, тихо! Я зкажет слово! Капитэнэ, все вн да слушит!

Музыка затихла.

Капитан обтер пот со лба большим платком, на его узкой голове оттопырились потные белобрысые волосы, он продолжал, повизгивая на высоких нотах.

— Иноземцы! К вам будет мои злова — немцы, голландцы и англитчане... О, я должен говорить на иноземном, но хочу сказать русски, чтоб дорогой хозяин Иван Земеновитч понял мой реч... Да, знаю я, между вами есть лейте ди эльтер зинд альс их, [2] я говорю и вн ошен прошу слушит меня, вот! Я Видерос унд Видрос злужу русской цар и всегда хочу умерет за них... цар любит иноземец! О, я много-то видал и вас, дейтше, [3] прошу злужит русский цар, злужит до конец жизни... И глядел я, почему наш либер [4] хозяин, воевода Иван Земеновитч, ист нихт хейтэр. [5] А вот почему задумчив он! Под Астрахан сел воровской казак Расин, о ду либер химмель, [6] — то великое непастье, и я, как золдат и стратег, знаю, что зие ошен опасно

---

[1] Пусть сядет и радует наши очи.
[2] Люди старше меня.
[3] Немцы.
[4] Дорогой.
[5] Не весел.
[6] О небо!

и надо от того крепит штадт Астрахан. Это я знаю... многих фольк [1] дикий этекает к Астрахан. Расин им гехэйм руфт ан [2] рабов и дикарей из степ Заволжья; он им, склавен,[3] обещал дать поместья звоих господ — бояр. Я знаю: козак унд рейбер [4] едино злово, едино дело и не от ныпче одер морген [5] они, козаки, грабят торгови люд на Волга. Мужик русский из веков — раб, он не может быть иным и жить без господина, ер ист шмутциг унд унгебильдет; [6] как черв мужик роет в земле и навозе, добывая зебе пропитание, а господину своему золото... Вир эдле деутше унд андерэ ауслендер [7] не может итти з рабом. Я знаю, что вы, эдле капитэнэ, [8] не поїдете з рабами, но все ж, чтоб никто из нас вэре ихт ферфюрт фон рейбери. [9] Вам всем, эдле капитэнэ, известно, кто из нас идет ханд ин ханд[10] с чернью, тот гибнет, дас ист дас шикзаль[11] римлянина Мария и других благородных, кто пошел с толпой рабов. Наша честь велит нам итти всегда за пар и бояра. Эс лебе хох унзер бунд дер ауслендер! [12] Да будем мы крепок меж себя! Пуст наши тапфери кригер [13] успокоят хозяина и воеводу, пусть глядит он, что мы шутц унд хофнунг. [14] Пью здоровье князя Ивана Земеновитча!

— Вивat, воевода!

— Браво, Видрос!

Капитан, мотнув клочковатой головой, сошел со скамьи, выпил мед, поклонился Прозоровскому и сел.

Воевода сидел на своем месте выше других, он встал, подошел и, обняв, поцеловал Видероса.

— Благородный капитан Видерос заметил сумленпе моего

---

[1] Народ.
[2] Тайно призывает.
[3] Рабам.
[4] Казак и разбойник.
[5] Или завтра.
[6] Он грязен и невежествен.
[7] Нам, благородным немцам, и иным иностранцам.
[8] Благородные капитаны.
[9] Не пошел бы с разбойниками.
[10] Рука об руку.
[11] Такова участь.
[12] Да здравствует наш союз иностранцев!
[13] Храбрые воины.
[14] Оплот и надежда.

лица. Мы пируем здесь, Разин же чествуется моим товарищем, другим воеводой — князем Семеном Львовым! — Еще более гнусавя, Прозоровский прибавил, понизив голос: — Сместить Семена Львова без указу великого государя я не мочен, но знаю — крамола свила гнездо в его доме... Какие речи ведут они меж собой, нам неведомо! Воровской же атаман задарил воеводу поминками многими, и кто ведает, может статься, князь Семен, прельстясь дарами, продает Астрахань врагу? К Разину стеклось много народу, и Астрахань нам неотложно крепить надо... как говорит благородный капитан Видерос. Тому же меня поучает и святейший митрополит астраханский: «потребно, княже, затворить город, крепить его, пока не поздно!» То — слова пресвященного.

— Братец! Иван Семенович, а забыл ты свои слова, когда говорил, принимая в палате воровских послов?

— Какие слова, Михайло, забыл я?

— А те — «что взять атамана, заковать и в Москву послать... шарпальникам под Астраханью тогда нече делать будет»?!

— Так говорил я, князь Михайло! то подлинно...

— Хочешь не хочешь, я, дорогой мой брат, учиню самовольство, а таково: Стенька Разин, вор, ныне — в Астрахани. В городе, минуя шатких стрельцов, есть солдаты полковника пана Ружинского, народ надежный, подчиненный капитанам. Храбрые же иноземцы, брат воевода Иван Семенович, не сумнюсь, — они слуги великого государя и мне помогут на пользу Астрахани. Я же буду рад исполнить твое давнишнее желание — я захвачу атамана, сдам, за крепкий караул заковав! О его сброде мужицком да калмыках и думать не надо — без воровского батьки сами разбредутся семо и овамо...

— Эх, Михайло Семенович! Брат, ты не подумал, что у Сеньки князя, не договорясь с ним, ничего взять не можно.

— Возьмем и Сеньку, коли зачнет поперечить да разбойничьим становщиком стал!

— Эх, брат Михайло! Сенька князь — боевой воевода. Ему и стрельцы послушны, к ему посадские тянут — сила он... Иное мыслю — укрепить город. А как с атаманом быть, о том не на пиру сказывать.

— Не удастся нам? Что ж такое! Пошлешь вору улестную грамоту: «брат-де мой учинил в пьянстве».

— Идем, фюрст Микайло, берем золдат, идем!..

Михаил Прозоровский вышел из-за стола, поклонился брату, подошел к Видеросу, подал капитану руку, и оба они исчезли. Мало-по-малу с пира уходили все иноземцы, кланяясь хозяину, иные ушли тайно. Бояре и жильцы еще пировали, хозяин ходил по палате с озабоченным лицом, подходил к окнам, всматривался в темноту. За кремлем в сумраке, все более черневшем, зажглись факелы собиравшейся дружины, потом явственно ударил набат.

— Пошел-таки? Не дай бог!

Воевода приказал зажечь в углу перед образом лампаду, встал на колени и начал молиться. Гости тихо, не прощаясь с воеводой, расходились.

Окруженный слугами с факелами, на широком резном крыльце стоял князь Семен Львов. Под темным кафтаном сверкал панцырь, на голове воеводы шлем с прямым еловцем, [1] рука лежала на рукоятке сабли. Кругом крыльца пылают факелы, толпятся вооруженные люди, впереди всех до половины ступеней лестницы остановился с обнаженной саблей Михаил Прозоровский, ветер треплет его черную бороду, глаза блестят, он кричит:

— Князь Семен, подай нам вора атамана, Разина Стеньку!

— В моем дому воров нет! — спокойно ответил и еще раз повторил воевода Львов, не меняя положения.

— Подай вора, князь Семен!

— Князь Михайло Семенович! Разину Степану великим государем вины отданы, и козакам его отданы ж, а по сему до указа государева, как быть с козаками впредь, лезть во хмелю, навалом с воинскими людьми к моему дому — стыд, позор и поруха государеву указу... Я же того, кто прощен, хочу и чествую как гостя и гостя в моем дому брать никому не попущу... Не от сей день служу я государеву службу. Не жалея головы, избывая крамолу... Ты же, князь Михайло, своим бесправьем, хмельной докукой сам кличешь на город войну!

— Подавай вора, Сенька князь, или ударим с боем на тебя, заступника разбойного дела!

— А ударишь с боем, Михайло, будем биться, пытать — чья возьмет, да особо судим будешь государем!

---

[1] Еловец — шпиц шишака шлема.

— В кольчугу влез? Эк ты возлюбил воровские поминки! Гей, солдаты!

— Есаулы! примите бой! Мои холопы да караульные стрельцы оружны и готовы!

Во двор ко Львову вбежал раненый солдат, крикнул:

— Вороти в обрат, князь Михайло! Слободские мещане поднли на нас, да кои стрельцы с ними заедино балуются с пищалей.

За воротами двора во мраке шла свалка — крики заглушались пальбой. Воевода Львов исчез с крыльца...

В горенке князя при свечах слуги, торопливо убирая, таскали серебряную посуду со стола. Разин встал, когда подступили к крыльцу люди и раздались голоса. Он постоял у окна, глядя на огни факелов и лица солдат на дворе, двинул чалму на шапке и, берясь за саблю, шагнул из горенки. За порогом в сумраке воевода встретил атамана:

— Вертай-ка, гость, в избу!

— Хочу помочь тебе, князь Семен! Не по-моему то — хозяина бить будут, а я зреть на бой.

— В таком бою твоих есаулов будет, тебе не надо мешаться — охул на меня падет, пойдем-ка!

Воевода взял свечу, идя впереди, лестницами и переходами вывел атамана в сад. Свеча от ветра погасла. Воевода шел в темноту, пихнул ногой в черный тын, маячивший на звездном небе остриями столбов, — открылась дверь.

— Лазь, атаман! Дай руку и ведай: не я на тебя навалом пошел. Прозоровских дело... На пиру согласились тебя взять!

Разин пожал, нащупав, руку воеводы.

— Молыть лишне! Знаю, князь. Есаулов тож проведи.

— Уйдут целы — прощай!

За тыном перед глазами, за черным широким простором, стлалось за линией каймы с зубцами широкое пространство, мутно-серое, посыпанное тусклыми алмазами.

— Волга?

Кто-то, осторожно обнимая, придержал Разина.

— Тут ров, батько!

— А, Чикмаз!

— Е-ен самый! Мы как учюли набат и давай с Федьком Шелудяком орудовать, слободу подняли, допрежь узнали, что Прозоровский Мишка иноземцев с солдатами взял тебя имать, мы

в пору к солдатам приткнулись, да из темы — раз, два! —пищальным боем, и в топоры ударили... Наши из темы не видны, Прозоровского люди все огнянны... Тут, батько, мост, скрозь мост; лазь и будешь за городом.

— Добро, Чикмаз! Мыслю я к Астрахани припалечь — скоро, чай, твоя помога надобна будет.

— Того ждем, батько!

Пролезая путаные, влажные в мутных отсветах балки поперечин моста, Разин сказал:

— Иди в пяту, не попадись Прозоровского сыщикам. Я угляжу берег, дойду!

— Путь-дорога, Степан Тимофеевич!

8

Широкий простор Волги отсвечивает звездной россыпью на много верст... Под ногами земля мутносерая... Маячат ближние сакли татар на длинных хребтах повозок, чернеют лошади, отпущенные кормиться. В темноте лошади сторожко задирают черные головы, жмутся к жилью. Палатки казаков серы и тусклы. Где-то проходит дозор, слышен негромкий окрик:

— Гей, кто-о?

— Нечай!

В большом шатре атамана сквозь полотно расплывчатые пятна огней.

— Шемаханская царевна ждет?

Атаман тихо шагает, чтоб поглядеть на персиянку: как, оставшись одинокой, она живет в шатре. Прошел дозорный казак, узнал атамана. Разин, прислушиваясь к звукам своего жилья, подумал:

«Поет ли, говорит что?» — подошел к шатру. Чуть приподняв полотнище, заглянул: на сундуках горели свечи, на атаманском месте на ковре и подушках полусидел длинный черноусый, с калмыцкими, немного раскосыми глазами, с черными прямо на лоб и шею, без завитков, падающими волосами. На его плечо прилегла голыми руками, положив на руки голову, княжна в шелковой тонкой рубахе. Персиянка жадно слушала казака; казак говорил по-персидски. Разин поднял ногу шагнуть и медленно опустил.

— Жди, Стенько!

Казак говорил, покуривая трубку; докурив, вынул изо рта трубку, сунул в карман синего кафтана, повернул к княжне лицо, что-то спросил, она не ответила; тогда казак обхватил ее голову с распущенными косами левой рукой, на которой лежала девушка, поцеловал ее в глаза — она не отворачивалась; а когда казак ее отпустил, персиянка заломила смуглые руки, глядя вверх, заплакала, редко мигая, начала что-то полушептать, видимо жалуясь. Казак погладил рукой по голове княжну, но она не изменила положения. Он ударил себя кулаком по колену, сказал, как говорят клятву, какое-то незнакомое слово.

—«Сторговались — в сани уклались!» — почему-то отозвалось в голове у Разина много лет назад у Ириньицы в Москве сказанное юродивым, и он ответил тому далекому голосу: — Да, сторговались!

Откинув завесу, шагнул в шатер. Казак быстро встал на ноги, княжна не шевельнулась, не взглянула на атамана, она так же сидела, заломив руки.

— Зейнеб, уходи!

Понимая много раз слышанное приказание господина, персиянка быстро, как и не была, исчезла. Казак, здороваясь, протянул руку. Разин не пожал руки, сел на свое место: сидя, открыл ближний сундук и, вытащив кувшин с вином, две чары серебряных налил.

— Сядь. Лавреев — пей!

Васька Ус сел, сказал, берясь за чару:

— Много скорбит, батько, девка по родине... Спустить ее надо, увезти — не приручить к клетке вольную птицу.

— Не я имал, Василий. Имал княжну Петра Мокеев, любимой-памятной: спустить — память Мокеева забвенна станет... Пей! Едино есть, с Мокеевым мы сошлись на Волге... Разве что Волгу поспрошать, быть как?

Ус, опорожнив чару, заговорил просто, не хвастливо:

— Я для тебя Царицын занял батько... Шел с козаками, стал под городом. Царицынцы затворились, мекали — ты идешь с боевым табором, потом пытали: «где ты?» Я сказал: «пошел-де Разин калмыков зорить»; сказ за сказом, глядят, мы — мирные, зачали ходить на Волгу за водой и, к колодцам выходя, караул

ставили, чтоб казаки врасплох город не взяли... У меня же казакам наказано: «не шевелить вороха малого!» Стал я с посадскими беседы вести, с торговыми торговать без обману... обыкли... Водкой поить стал их, медами украинскими, чую — жалобят на воеводу: «Так вы чего, говорю: кончайте лиходея!»

— Ней, Василий!

— Заведите нас в город, коли самим не управиться с воеводскими захребетниками, а мы город не тронем... Тайком привели попа — крест поцеловал, что не трону город. Они ночью караул разогнали, замок с ворот сбили и нас завели. Воеводу мы повесили — Тургенева Тимоху. Головы стрелецкие стрельцов послали на Царицын, а мы тех стрельцов со стены в пушки взяли; голов, кто не сдался, утопили, иных повесили.

— То ладно, Василий! Еще Астрахань возьмем и будет нам с чем зиму зимовать... Худо вот — девку ты метишь в Кизылбаши повести. Не одну спустить — кумыки, а пуще лезгины полопят... устьманцы.

— Одну не можно спустить, батько!

— Ежели ты уйдешь с ней, где ж я такого найду, как ты? Удалых мало — Сергей в Ряше сгиб, Серебрякова Ивана да Петру шах кончил, ты же посторонь пути поровнишь... Думай, сам гляди! Народ бежит к нам — народ простой, без боевой выучки, с топором, луком да стрелой... С боярами дело будет крепкое, не все время нам посадских подговаривать. У царя с боярами иноземцы, орудийные мастеры, капитаны да огнеприметчики. Выучка у иноземцев заморская, новая, а надобно нам ихнее изломить, свой зарок сполнить: на Москве у царя наверху подрать грамоты кляузные, с народа же поместную крепость снять!

— Знаю, батько! Тяжелое наше дело...

— Нелегко, да взялись — пятить некуда... Идет, ждет, дела просит народ! Ты же с бабой в Кизылбаши и там перекрестишься в перса.

— Не таю, батько Степан: с жалости слово ей дал — увезти...

— Дать-то дал, да меня забыл? Все же хозяин ясыря я... Как же ты, ведаешь ведь, атаманский дуван дается особой, любой — никто руки к ему не тянет, из веков так: любое атаману! Как и Сергей — названной брат ты... Сергей за меня голову сложил, надо было. За него, не думая, и я сложил бы, в том сила

наша... Ты же не тот, — что значит чужая кровь: не впусте твоя мать была турчанка...

— Не турчанка, батько Степан,— перепянка... Учила меня суру читать, да кабы не отец, — я был бы мухаммедан...

— Вот-то оно — чужой ты!

— Как брату, батько, думал я, ты дашь девку: она и я смыслим друг друга... Мне с ней путь один! Тебя она — прости — не любит...

— Княжну не жаль! Любви к ней нет... Удалого же человека потерять горько. Горько еще то, что ты, как Сергей, ничего не боишься, какой хошь бой примешь и удал: когда я шатнусь, атаманить можешь, не уронишь дела...

— Отдай мне персидку, батько! Люблю я ее... Полюбил, вот хошь убей.

— Приискал в шатрах место?

— Да, есть!

— Поди! Проходить будешь ближний к солончакам шатер Степана Наумова, прикажи ему ко мне.

— Прощай, Тимофеич!

9

Разин сидел глубоко задумавшись. Локти уперлись в колени, большие руки зарылись в кудри. С виду второй Разин, только сутулее и уже в плечах, тронул атамана за локоть, садясь.

— На зов твой, батько!

— Да, Степан, да, да, да... — Разин надел шапку, тряхнул головой, налил два ковша крепкого меду, один выпил, другой поднес есаулу.

— Пей, атаман Степан Тимофеевич!

— Пошто!? Я Наумыч, батько!

Разин сказал упрямо:

— Ты — Степан Тимофеевич, знай!

— Что с тобой, батько? Пришел в становище удалой — Васька Ус... Казаков с тыщу привел; по пути Царицын, сказывают, заняли. Сила твоя, что ни день, растет, слава ширится, а ты как не в себе — вид твой скорбен.

— Понял так, будто я с глузда сполз? Нет, есаул. А вот: наряжу я тебя в свою сбрую, дам чекан, который много козаки знают, шапку с челмой с золотыми кистями вот эту нахлобучишь

и замест меня на Дон поедешь с честью... За тобой, хо! потянут царевы лазутчики, доносить будут царю с боярами: «то-де да это угодует Стенька Разин — Степан!» Я, тут сидючи, влезу в есаульскую рухледь, зачну носить кафтан с перехватом, сбоку прицеплю плеть, булаву тебе дам... Бороду, коли занадобится, сбрею, не голова, отрастет борода. Буду ведом атаманом в тай своим, ближним; для черни слыть есаулом атаманским... Сказки, вишь, идут про царевича: от царя, бояр сбег к атаману, от того-де заказное слово у Разина «нечаї»: не часте, как царевича узрите. И то нам ладно. А тут еще я: подбавил сказки — наказал обволокчи черным сукном речной струг, посадил в черной однорядке с крестом на груди попа сбеглого, схожего с расстригой Никоном, коего на Москве зрел в патриархах, схож бородой и зраком — на чорта нам Никон, да сказки прибавит... Тебе же, когда досуг падет на долю, глянуть истинного Никона придется, шатнуть в Ферапонтов, спытать его — не загорится ли злобой на бояр? Ох, то ладно было бы! Всю бы Русь с им от женска рода до старческа подняли. Да нет, чую, сердцем и слухом чую — потух старик. Бояра, царь и многая приспешная царю сволочь путает, лжет, сказки пущает в народ, и мы зачнем лгать.

— Не осмыслил я, батько, тебя сразу... Ты затеял ладно...

— Нынче так! Пушки, кои в струги на дно кинем, паздерой [1] да соломой засыплем, а тех, что не скрыть, ответишь воеводе: «надобны-де нам тем пушки от немирных сыроядцев — поїдем степью с Царицына на Дон!» Уволокешь за собой речные струги, паузки плоскодонны и челны. В греби народу тебе хватит, мужиков топорников сошлось много... Худо то, есаул: бойцы наши сплошь сермяжны, лапотны, к бою пищали несвычны, им не давалась пищаль — запрет от бояр, помещиков, от того, как цель держать. — Огнем дуют — оба ока заперты. Обучать их - гляди, бояра времени не дадут... Ну, чорт с ним! ваших голов мне жаль — своя на то идет... По Волге наплывешь, Степан, стрельцов ли солдат в колодках — сбивай путы, маши с собой. Всяк дорог, кто к пищали свычен. Они и сами, колодники, шибутся на твой струг, поїдут... На Дон придешь, в Черкасск не буваї, матерым казакам не кажись — много с детства знают

[1] Паздера — кострика, иногда — очески льна.

меня: стань ты при входе Донца в Дон на остров меж Кагальницкой да Ведерниковой. Остров большой. Кинь шатры, не медля строй на острове бурдюжной город, окопай рвом, рогатыми наруби, тут тебе топорники гожи — народу с тобой будет довольно. Да в скорости, как пойдут купчины в паузках к Черкасскому, имай их, давай торговать и хлеб скупай. Чтоб голоду не было, строй для хлеба анбары, сыпь и в запас купи. В Черкасск пошли надежного человека, мани к себе мою жену с детьми. Фролка брат с Лавреевым вышел, да где сидит, не дошел еще сюда... Олене уясни правду, а робята меня не знают— за отца сочтут, и ты для глаз чужих их ласти. Олена — та о всем смолчит... Матерым казакам, кои пришлют по деньги — за свинец, порох — деньги дай. Не сам прими их, пущай Олена с ними. Бурдюг матерым не кажи и пристрою зреть не давай... Ко времени я доспею в твой Кагальник, ты же тайным путем исчезнешь. Замест меня здесь сядет в тое время Лавреев, Васька Ус. Еще отпиши скоро, как на Дону будешь, в Яйк, чтоб яицкие из тюрьмы спустили Федора Сукнина: имали его, когда с Кизылбаши шел. Яицкие из веков послушны Дону... Я Сукнина отселе мыслю достать, но все же пиши в Яйк... Чего не пьешь?

— Сказывай еще — слушаю тебя, батько! Думаю, когда велишь сбираться?

— Времени мало — повещу! Пождать надо от воеводы грамоту, чтоб путь твой, Степан Тимофеевич, без поперечки был, с честью, с проводами голов стрелецких. Ты к сапогам каблуки набей выше, я же тебе кафтан сготовлю с подплечьями шире плеч для... брови сурьми. Голоса не давай во-всю — маши чеканом да рычи... Иногда, когда потребно — лицо подзавешай... сказка так сказка! Царевы грамоты стрепещь — имай, дери и мечи в воду, то в огонь.

— Эх, батько, почести мне сколь! Ну, и сказка... хе-хе...

— Сыска за тобой больше почести будет, сказываю... Аргамаков, что царю купчины-тезики везли, возьмешь и лишнюю рухледь, узорочье тож... В Царицыне сыщи прежнего воеводу... не убей, погоняй ладом чорта!

— Упковский, батько, доглядчик — знаю, и он знать будет меня!

— Поди, Степан! Проверь дозор и спи!

Разин проводил есаула за шатер. Вернулся. Приподнял сбоку фараганский ковер. На низком резном табурете как всегда горели три свечи. На подушках, раскиданных на ковре, под тонким шелковым покрывалом спала княжна. Маленькая голая до колена нога с крашеными киноварью ногтями высовывалась на ковер, нежные пальцы ноги шевелились во сне... Смуглые руки в браслетах закинуты за голову, бледное лицо повернуто в тень. На щеке тлеет ярко очерченный румянец. Тяжелое с хрипом дыхание шевелит в розовом ухе дорогую серьгу с изумрудами, в ноздре изогнутого носа видна зажившая ранка от кольца — украшения. Под тонким шелком, голубовато-бледным, голая фигура вздрагивавшей во сне девушки, явно больной, все же была невыразимо красива. Атаман, опираясь, дернул ковер, вздрогнул весь большой шатер от могучего движения. Складки на лбу атамана разгладились, глаза ласково светили, минуту он глядел, пока не опустилась на грудь седеющими кудрями голова, тогда он мотнул головой, вскинулись концы чалмы, отвернул лицо, вздохнул:

— Не верю крестам... Верил, то перекрестил бы безгласную по-нашему, будто птицу, в гае уловленную сетьми... Жалобит иной раз... поет тоже, а что поет? Как у птицы неосмысленно моим умом... Эх, к чорту, да!.. Ваську жаль, жаль и ее чужую... Вот коли вырвешь, что жалобит, то много легше...

Не гася огней, не раздеваясь, атаман пал на ковры, звякнув саблей и цепью сверкнув. Шапка с чалмой скатилась с головы. Разин захрапел; иногда, переставая храпеть, словно прислушиваясь, скрипел во сне зубами. За шатром в слободе лаяли собаки, в городе им отвечали более отдаленным лаем. Лай смолк. Высоко в звездном небе слышен неровный, грустный звон — то на раскате перед Астраханским собором церковный сторож, он же часовой-досмотрщик, выбивал согласно стрелкам часы.

Раз! два! И так до восьми,[1] что значило — полночь, двенадцать часов.

Вблизи шатра атамана в сумраке беззвучной тенью проплывал человек дозора с пищалью на плече. Он слышал, как из татарской сакли, мутной, на мутных колесах-подпорках, кто-то злым голосом ругал женщину, упедшую в тьму.

---

[1] Старинный счет часов был вперед на 4 часа.

— Иблис! шайтан, шайтан, иблис! [1]

Лающая голова словно башлыком прикрыта войлочными полами входа.

10

В приказной палате три подьячих: два молодых и пожилой любимец воеводы, Петр Алексеев, с желтым узким лицом. По его русо-рыжеватым волосикам, жидким, гладко примазанным к темени, натянут черный ремень. Думного дьяка за столом нет, нет и подручных дьяков. Перед подьячими бумаги. Кроме Алексеева с дьяками, подьячие, что помоложе, обязаны читать вслух бумаги, но без старших сегодня не блюдут правил. Лишь один, самый молодой, румяный, с яркой царапиной на лбу, с рыжей щетинкой усов, бубнил, старательно выговаривая каждое слово, как бы учась читать грамоты перед самим воеводой. Читал бумагу подьячий с пропусками. Алексеев сказал:

— Заставлю тебя, Митька, чести заново!

Парень, не слушая, продолжал:

— «...и та лошедь записана, и ему, Павлу Матюшину, та лошедь с росписью отдана, а как спросят тое лошедь, и ему Павлу поставить ее за порукою астраханского стрельца годовальщика Андрюшки Лебедева да другово стрельца Сеньки Каретникова. Они в той лошеди ручались, что ему, Павлу Матюшину, тое лошедь поставить на Астрахани перед воеводу князя Ивана Семеновича Прозоровского, а буде та лошедь утеряетца, и ему Павлу цену платить. Во 177 году Августа в 3 день астраханской стрелец Гришка Чикмаз оценил тое лошедь, что привел Павел Матюшин — кобылу коуру, грива направе, осьми лет, на левом боку надорец, [2] а по оценке ценовщика дать с полугривною тридцать алтын».

Прочитав, подьячий потянулся, зевнул.

— Покрести рот, не влез бы чорт!

Парень не ответил Алексееву. Обмакнув остро очиненное перо в чернильницу на ремне, звонко прихлопнув железную крышку ее толстым пальцем, на полях лошадиной записи приписал: «Ой, и свербят же мои!»

Алексеев схватил подьячего за рукав.

---

[1] Дьявол! Чорт, чорт, дьявол! (Татарск.).

[2] Надорец — надорвано, оцарапано глубоко.

— Закинь, Митька, грамоты марать! Ась, бит будешь...

Подьячий, освободив руку, стряхнул с гусиного пера мусор, написал:

— «Ой, и свербят! Дела просят...»

— Пишу я, Лексеич, а думаю: кому сю бумагу чести? Жилец астраханской, большой дворянин, угнал у татарина лошедь и не явит перед воеводу — деньги даст: суди сам, чего не дать за матерую кобылу тридцеть алтын? Татарину жалобить некуда: сам он без языка — письма не разумеет, а мурзы татарские взяты все аманатами [1] на Астрахань.

— Велико то дело, не приведет! Ты вот к юртам татарским ходишь, путем-дорогой к шарпальникам Разина. Мотри, парень! Имал я кои прелестные письма воровские, и, вишь, в письмах тех рукописание схоже с твоим, а-ась? Ты — Васе! Закинь тоже грамоты живописать... Бит был, чуть не сместили вот...

Другой подьячий, водя по щеке концом языка, рисуя на полях, ответил:

— Нам с Митюшкой, Петр Лексеев, ладных грамот не дают чести, худую же украсить надо, може на ее тож очи вскинут.

— Ну, ась, робята! Беда с вами, придут дьяки, узрят, пошто челобитные марают словами матерны? Пошто живописуют чувствилища мерзкие? Я же за вами доглядчик.

— Дьяки ништо, Петр Ляксеев! Вот худо: воеводе в ухо дуть всякую малость... Должон, как и мы, чести челобитные да судные грамоты, ты же — гибельщик наш, едино что.

— Доводить буду! Пришел делать, не озоруй, всяка бумага, она тебе — государево дело.

— Слушь, Мить: седни сопилось, что с Петрой одни мы, а дай-кось надерем бок гибельщику.

— Давай! Може, лишне доводить кинет?

Лица парней оскалились, оба, вскочив, скрипнули скамьями, сдвинули синие рукава напковых кафтанов к локтям. Тот, что рисовал, искрясь глазами, крикнул:

— Ладим тебе, Петрушка, по-иному волосье зачесать!

— Парни, ась, в палате бой, не на улице, за государевым делом! Закиньте, парни...

---

[1] Аманат — заложник.

— А где прилучилось! Вишь — у тя за обносы дареной кафтан не мят!

— То само! Мы те из кафтана лишнюю паздеру выбьем, бока колоть не будет... хи...

Любимец воеводы нырнул под стол.

— Ведайте, разбойники! не на площади бой — сыщут...

— Мы тя сыщем, княжая чадь!

— Пинай! Он тута.

— Глобозкой [1] дьявол!

— Попал вот... мы те живописуем архандела сапогами на...

— Чу?!

В дверь приказной палаты знакомо стукнул набалдашник посоха.

— Мить, воевода! Спими щеколду!

Подьячий поднял сваленную на пол скамью, сел за стол, мазнул широкой ладонью по лицу, стирая пот. Другой пошел к двери, воевода повторил стук строго и раздельно. Алексеев вылез на место, взялся за бумаги.

— Годи, чорт! ужо за язык...

Алексеев, читая грамоту, тихо ответил:

— Ась, седни что было, не умолчу...

— Доводи — чорт тя ешь!

Воевода, глядя тусклыми глазами в даль, прошел по палате, не замечая, не слыша подьячих, и неспешно затворился в воеводской горнице. Деревянная постройка гулка, Прозоровский из-за двери позвал:

— Алексеев!

— Чую, ась!

Старший подьячий, неслышно пройдя к воеводе, плотно припер двери.

— Быть нам бптыми!..

— Убить его, Митька, да бежать!

— Чем здесь, краше атаману писать прелестные письма.

— Уй, тише ты-ы!..

Из горницы донесся голос:

— Сядь, слушай, что буду сказывать!

— Чую, ась, князинька!

---

[1] Скользкий.

Все до слова слышно было в приказной. Воевода говорил, гнусавя, но громко и раздельно.

— Пиши! «Грамота атаману Степану Разину от воеводы Астраханского, князя Ивана Семеновича Прозоровского». Что-то перо твое втыкает?

— Кончил, ась, я, князинька!

«Не ладно, атаман, чинишь ты, приказывая многу народ беглой к Астрахани, и надобно тебе распустить, а не манить людей, чтоб тем не чинить нелюбья от великого государя и ехати тебе в скорости в войско донское, чего для службы в войске за многая вины своя перед землей русской и великим государем. А послушен станешь старшине войсковой, великий государь вменит нелюбье в милость тебе. За тое дело, что нынче на Астрахани князь Михайло Семенович на тебя во хмелю бранные слова говорил, то ты, атаман Степан Разин, в обиду себе не зачти... Многу люд, стекшийся к Астрахани, опасен ему, хмельному, стался, и тебе он хотел говорить, чтоб ты, распустив мужиков, калмыков и иной народ, снявшись со становища, ехал бы в войско донское... Я же непрошенному попущению много сердился и перед князем Семеном Львовым за братнее неучтивство бил челом. Нынче сдай ты, атаман, струги, пушки да снимись в путь поздорову, мы же тебе с князь Семеном перед великим государем верные заступники и молители будем!»

— Исписал? Добро! Дай-ко грамоту, я подпишусь!

В палате подьячий шепнул:

— Митьк! скинь сапоги, слушай... чай, доводить, сука, зачнет?

Младший, быстро сняв сапоги, подобрался к дверям: за дверями Алексеев тихо наговаривал:

— Беда, ась, князинька! От служилых лаи, да седни подьячие Васька с Митькой норовили меня бить, и ты вышол, закинули... Едино лишь за то, что дал запрет: Митька на полях челобитных с отписками марает похабны слова. Хуже еще Васька: на черной грамоте игумну Троецкого исписал голое гузно да не показуемое чувствилище, уд конний: оное после, как я углядел, из ваппицы [1] киноварью покрыл, борзописал на том месте буки слово, тем воровство свое закрасил и завилью золотной завирал. Митька же ходит за город в татарские юрты и, ведаю я, походя вору

[1] Вапы — краски. Ваппица — род чернильницы с краской.

Стеньке Разину прелестные письма орудует... Про амапатов, мурз судит, что взяты на Астрахани...

— Ты, Петр, до поры подьячих тех не пугай... Сойдет время, Митьку, того для, велю взять в пытошную и допросить с пристрастием... Ваське батогов!

Подьячий, спешно обуваясь, дрожал.

— Ты што, Мить?

— Довел: тебе батоги, меня пытать.

— Не бойсь, седни же в ночь бежим к козакам.

Дверь отворилась, мелькнул воевода за столом с рукой в перстнях, упертой в бороду... Подьячий Алексеев, тая злую улыбку на желтом лице, деловито шел к столу приказной, стараясь не глядеть на младших.

11

До времени, как быть золоченому широко-палубному паузку на Волге, она не носила в волнах столь разряженного суденышка, хотя бы мало похожего на атаманское с золотыми из парчи парусами. Большой царский корабль, недавно приведенный к Астрахани из Коломны, казался нищим, с белой надписью на смоляных боках — «Орел». На нем, на мачтах и реях серые паруса плотно подобраны, железные пушки по бортам выглядывали рыжими жерлами, из гребных окошек неуклюже торчали тяжелые лопасти весел. Усатый немец в синем куцом мундире с медными пуговицами по груди до пупа стоял на носу, курил трубку и, сплюнув в Волгу, сказал:

— Na, jezt wird was. Die Räuber legen sich goldene Kleider an.[1]

Обернулся к палубе, крикнул:

— Гей, пушкар, гляди — пушка!

Разряженная лодка, огибая корабль, проплывала мимо: на гребцах парчевые и голубые бархатные кафтаны, красные шапки в жемчугах, с кистями, чалмами, намотанными поверх шапок. Кто-то поднял голову на высокую корму черного корабля, крикнул, заглушая плеск волн:

— Годи, царской ворон! Мы те под крылье огню дадим.

Посадский и слободской люд, даже жильцы в красных кафтанах и астраханские, из небольших, вышли на берег

---

[1] Что-то будет! Разбойники наряжаются в золотые одежды.

глядеть на атамана. В толпе ветер перекидывал гул голосов:

— Уезжает атаман!

— Ку-у-ды?

— В Москву! Царь зовет... царевича повозит — Ляксея... соскучил царь-от!

— На Дон, сказывают. Пошто в Москву? Народ кинуть надобе.

— В Москву-у! Глянь, с царевичем в обнимку сидит.

— Ой, людие, кде ваш зор? То персицка княжна-а...

— Княжна-а?

— И-и-их! хороша же!

— Ясырка! Что в их? Ни веры нашей ни говори.

— Пошто вера? Сам-от Разин мясо ест в посты.

— Теляти-ну-у!..

— Телятину! Тьфу ты!

Раскатисто набегали волны поверх гребней своих сине-зеленых, сыпали белыми тающими жемчугами, шипели, будто оттачивая булат... Атаман в яркокрасной чюге;[1] из коротких рукавов чюги высунулись узкие золотистого шелка рукава. Правая рука с перстнем, обняв за шею княжну, висела, спустившись с худенького плеча. Княжна ушибилась под тяжестью руки господина. Разин, склонясь, заглядывал красавице в глаза. Она потупила глаза, спрятала в густые ресницы. Зная, что персиянка разумеет татарское, спрашивал:

— Ярата-син, Зейнеб?[2]

— Ни яратам, ни лубит... — Мотнула красивой головой в цветных шелках, а что тяжело ее тонкой шее под богатырской рукой, сказать не умеет и боится снять руку — горбится все ниже.

Разин сам снял руку, подняв голову, сказал:

— Гей, дид Вологженин! Играй бувальщину.

Поделеповатый бахарь, старик в синем кафтане, в серой бараньей шапке, щипнув струны домры, отозвался:

— Иную, батюшко, лажу сыграть... бояр потешить, что с берега глядят, да и немчин с корабля пущай чует...

— Играй!

---

[1] Узкий кафтан с рукавами до локтей.

[2] Любишь?

Старик, подыгрывал домрой, запел. Ветер кусками швырял его слова то на Волгу, то на берег:

Эй, вы, головы боярские
В шапках с жемчугом кичливые!

— О-то, дид — ладно!

Не подумали вы думушку,
То с веков не пало на душу,
Что шагнет народ в повольницо...

— Дуже!

Скиньте, сбросьте крепость пашенну
Со покосов да со наймищей,
Чуй! не скинете, так чорной люд
Атамана позовет на вас!
Топоры наточит кованы...
Точит, точит, ой, уж точит он...
Глянь, в боярски хлынет теремы,
Со примёт, с хором, огонь палой.

— Хе, пошло огню, дид, пошло!..

Не стоять броне ни панцырю,
Ни мечу-сабле с капчарами
Супротив народной силушки...

— Дуже, дид!

Гей, крепчай, народ, нались душой!
Засекай засеки по лесу...
Засекай, секи, секи, секи!..

вторила домра:

Наберись поболе удали,
Пусть же ведают, коль силы есть!
Ох, закинут люди чорные
Ту палогу воеводину.
Позабудется и сказ указ,
Что мужик — лопотье [1] рваное.
Что лишь лапотник да пашенник,
Что сума он переметная...

[1] Лопотье — одежда.

Кипьте ж зор с роскатов башельных:
У царя да у боярина,
Да у стольника у царскова
Изодрался парчевой кафтан!
Побусело яро-золото,
Скатны жемчуги рассыпались...
У попов, черпцов да пископов
Засвербило в глотке посуху.
Уж я чую гласы плачущи
На могилах-керстах [1] княжецких!
Ой-ли, ких по ких княжепецких... —

— Гей, мои крайчие! чару игрецу хмельного-о! Пей, любимый бахарь мой, сказитель. Ярата-сип, Зейнеб?

— Ни лубит Зейнеб! Ни...

— Поднесли игрецу? Дайте же мне добрую чарапуху!

Атаман вслед за певцом выпил ковш вина, утер бороду, усы, огляделся грозно и крикнул:

— Гей, други! Пляшите, бейте в тулумбасы: вишь, матка Волга играть пошла... Мое же сердце плясать хочет!

Волны громоздились, падали, паузок кидало на ширине, как перо в ветер над полями. Заиграли сопельщики: те, что имели бубны, ударили по ним. Кто-то, мотаясь пьяный, плясал ухая. И в шуме этом нарастал могучий шум Волги... Атаман поднялся во весь рост, незаметно в его руках ребенком всхлипнула княжна.

— Ярата-сип, Зейнеб?

— Ни...

В воздухе в брызгах мелькнули золотые одежды, голубым парусом надулся шелк, и светлое распласталось в бесконечных оскаленных глотках волн, синих с белыми зубами гребней. На скамью паузка покатился зеленый башмак с золоченым каблуком.

— И — алла!

Страшный голос грянул, достигая ближнего берега:

— Примай, Волга! Сглони, родная моя, последнюю память Петры Мокеева!

Сопельщики примолкли. Бубны перестали звенеть медью.

— Греби, — махнул рукой атаман, — играй, черти!

Светлое пятно захлестнулось синим широким и ненасытным. Народ на берегу взвыл:

---

[1] Керста — могила. Слово XI в.

— Ки-и-ну-ул!

— Утопла-а!

— На том свету — царство ей персицкое!

Разин сел, голова повисла, потом взметнулись золотые кисти чалмы на шапке, позвал негромко:

— Дид Вологженин, потешь! Сыграй ты всем нам про измену братню...

— Чую, батюшко! Ой, атаманушко, оторвал, я знаю, ты клок от сердца! Неладно...

— Играй, пес! За такие слова... молчи-и! Люблю тебя, бахарь, то быть бы тебе в Волге...

— Ни гуну боле — молчу.

Старик начал щипать струны. Бубны и сопели атаманских игрецов затихли. Никто, даже сказочник, не смел глядеть в лицо атаману. Старик, надвинув шапку, опустил голову, что-то припоминал; атаман, нахмурясь, ждал. Вологженин запел:

Эх, завистные изменщики,
Братней дружбы нелюбявые...

— Шибче, дид! Волга чуять мне мешает!..

Старик прибавил голоса:

Дети-детушки собачии,
Шуны-шаны, песьи головы.
К кабаку вас тянет по свету,
Ночью темной с кабака долой...

— Го, дид, люблю и я кабак!

— Играю я, атаманушко, про изменщиков — ты же в дружбе крепок...

Вишь, измена пала на сердце...
Пьете-лаете собакою,
С матерщиной отрыгаете...
Вы казну цареву множите,
До креста рубаху скинувши.
Знать, мутит измена душеньку?..

— Чую теперь. Добро, выпьем-ка вот меду!

Подали мед. Атаман стукнул ковшом в ковш старика, а когда бахарь утер усы, атаман, закрыв лицо чалмой, опустив голову, слушал.

Эх, не жаль вам, запропащие,
Животы развеять по свету,
Кое сдуру срамоты деля
Оттого, что веры не было —
В дружбу брата своекровного!
Все пойдет собакам в лаяло,
Что ж останется изменнику?
Шуны-шаны — кол да матица...

— Откуда ты, старой, такие слова берешь?

— Из души, батюшко, отколупываю печинки...

— Гей, други, к берегу вертай!.. — Прибавил тихо: — тошно, дид, тошно...

— А ведаю я, атаманушко, сказывал...

— Не оттого тошно, что любявое утопло — оттого вишь: злое зачнется меж браты... Ну, ништо!

12

В горнице приказной палаты воевода Прозоровский сидел, привычно уперев руку с перстнями в бороду, локоть в стол, а тусклыми глазами уперся в стену; не глядя, допрашивал подьячего. Рыжевато-русый любимец воеводы, ерзая и припрыгивая на дьяческой скамье у дверей, крутя в руках ремешок, упавший с головы, доводил торопливо:

— Подьячие Васька с Митькой сбегли, ась, князинька, к ворам.

Строго и недоуменно воевода гнусил:

— Ведь нынче Разин сшел на Дон, — что ж они у воров зачнут орудовать?

— Робята бойкие и на язык и на грамоту вострые, ась, князинька, да и не одни они, стрельцы и достальной мелкой люд служилой бежит что ни день к ворам... то я углядел... Нынче вот сбегли двое стрельцов — годовальщики Андрюшка Лебедев с Каретниковым, пищали тож прихватили...

— Ой, Петр! Оно неладно... Должно статься, Разин с пути оборотит?

— Мекаю и я, князинька, малым умом, что оборотит.

— Ну, так вот! Время шаткое, сидеть за пирами да говорей — некогда. Набери ты сыскных людей... В тай делай, оденьтесь кое посацкими, кое стрельцами, и ну походите с народом, в стан

воровской гляньте... Я упрежу людей тебя принять, ночью ли днем однако...

— Чую, ась, князинька!

— Поди! слышу ход князя Михайлы.

Подьячего Алексеева сменил брат воеводы. Подняв гордо голову, поглаживая холеной пухлой рукой бороду, говорил раскатисто:

— Ну, слава Христу, сбыли разбойника! — Остановился против стола, где сидел воевода, прибавил хвастливо: — Я, воевода, брат князь Иван, дело большое орудую... Набираю рейтаров из черкес, и знаешь ли, к тому клонятся мои помощники делу — купчины, персы, армяне — деньги дают, а говорят: «В Астрахани нынче персюй посол, так чтоб его не обидели!» Я же иное мыслю: накуплю много людей да коней и всю эту разинскую сволочь от Астрахани в степи забью, чтоб пушины малой от ее не осталось; тайшей калмыцких да арыксакалов [1] на аркане приведу в Астрахань, вот! Что ты скажешь?

— Уйди-ко, князь Михайло, не мельтеши в глазах, мешаешь моим мыслям...

Князь Михаил, слыша строгий голос брата, отошел, сел на дьяческую скамью.

— Что ж ты, брат Иван Семенович, не молышь — ладно ли, нет, думаю?

— Прыткость ног твоих, князь Михайло, много мешает голове!

— Нече бога гневить, похвалил воевода брата!

— Бога, Михайло, не тронь. Скажи ты, за стрельцами доглядывал нынче?

— Стрельцы, брат, у голов стрелецких в дозоре. Не любят, ежели кто копается в их порядках.

— Чтоб не было ухода в пути беглых к разбойникам, князь Михайло, посланы с Разиным доглядчики порядку в дороге... Знаешь ли оное?

— Нет, воевода князь! Уж как хочешь, а за стрельцами глядеть не мое дело.

— Дело не твое, наше обчее... А слышал ли, что служилые и стрельцы бегут в казаки?

— Того не ведаю, брат!

---

[1] Старшин (киргизское).

— Не ведаешь? Вот-то оно! А не глядел ли ты, Михайло князь, пошто мирные государевы татарски юрты с улусов своих зачинают шевелиться — на Чилгир идут?

— Ой, брат Иван! Татара зиму чуют... скотина тощает, корму для прибирают место...

— Корму для? А не доглядывал ли ты, брат, пошто калмыки с ордынских степей дальные наезженные сакмы [1] кинули, торят новые и новые сакмы ведут все на Астрахань?

— Нет, того я не знаю!

— Ты мало знаешь, князь Михайло! Конницу рейтаров верстай, то гоже нам.

— Что-то от меня таишь, брат Иван Семенович, а пошто?

— Пожду сказывать... Погляжу еще, думаю — тебя же оповещу: думаю я крепить Астрахань, и ты мне в том помогай.

— Ну, братец Иван! Астрахань много крепка, лишне печешься.

— Буду крепить город! Ты поди на свои дела — позову, коли надобен будешь.

13

Атаман, одетый в есаульский синий жупан с перехватом, в простой запорожской шапке, сидел на ковре; задумавшись, тряхнул головой, позвал:

— Гей! Митрий!

Из-за фараганского ковра другой половины шатра вывернулся молодой подьячий, одетый казаком.

— Садись! — казак сел, — двинься ближе! — Бывший подьячий придвинулся. Разину видно стало ясно его лицо с рыжеватой короткой щетиной усов, с царапиной на лбу. — Это кто тебе примету дал?

— Я, батько, служил у воеводы, а ходил в таборы и к тебе грамоты писать... У воеводы есть такая сука, доводчик Алексеев зовется, стал меня знать на тайном деле. И раз лезу я этта скрозь надолбы, а меня кто-то цап, да копыта у его сглезнули... Сунул ево пиком в брюхо, он за черева сгребся, сел и заорал коровой. Я же в город сбег, укрылся...

— Вишь, заслужил! Чем же ловил он тебя?

— Должно крюком аль кошкой железной...

---

[1] Воинские тропы.

— Ловок ты, да сойти к нам пришлось... Мы не обидим, ежли чужие не убьют... Исписал ли грамоты в море на струги?

— То все справлено, батько! Окромя тых, калмыкам исписал, как указал ты... На стругах Васька орудует — уж с устья к Астрахани движутся струги...

— То знаю я!

— Голов стрелецких перебили, к тебе мало кто не идет, все, а Васька хитер и говорить горазд, немчинов разумеет!

— Ладные вы мне попали, соколята! Вот, Митрей, пошто ты занадобился: вечереет, вишь, ты иди в слободу, что у стены города крайняя стоит, глянь в хату — нет ли огню? Только берегись! Сторожко иди... воевода сыщиков пустил, не уловили б... Дойдешь огонь, пробирайся туда с оглядкой, дабы не уследили...

— Знаю, батько!

— В хате живет стрелец, вот на. — Атаман снял с пальца золотой перстень с яркокрасным лалом, подал парню: — узорочье это дашь стрельцу, скажешь: «Чикмаз, атаман ждет».

— Я стрельца, батько, знаю — Гришкой звать.

— Добро! ты у меня золотой...

— Сыщикам обвести не дам себя — в лицо иных помню.

— Тоже не худо! Ежели нет Чикмаза в хате, проберись тайными ходами в Астрахань... ворота поди заперты. Оттого тебя шлю, что город с неба и с под земли ведаешь его.

Бывший подьячий встал.

— Я, батько, едино где доберусь Чикмаза!

— Идя к месту, возьми рухледь стрельца, то посацкого — там вон в сундуке, лицо почерни — был подьячим, подьячие много народу ведомы.

Парень оделся стрельцом, нацепил саблю. Атаман поправил его:

— Лучше б взял бердыш, саблю не знаешь как носить, подтяни кушак... саблю не опускай низко.

— Ништо — я с саблей иду.

Переодетый ушел. Атаман задремал, привалясь на подушки. Старик сказочник, кряхтя и ощупываясь, вышел из-за ковра, неслышно шагая в валяных опорках, высек огня, зажег свечи. Атаман на огонь открыл глаза, обмахнул лицо рукой, встал.

— Дид! тут хозяйствуй... Кто нужной зайдет в шатер, прими... Пуще гляди, не давай лазать в ларец — там грамоты...

— Я, батюшко атаманушко, знаю, строго зачну доможкирить...

— Хочешь вино, мед — пей, не упивайся много!

Поправив шапку, атаман вышел. Тьма, надвигаясь краем неба, светлела, — с низин от моря вставал крупный месяц. Разин шел медленно, будто нехотя, к дальнему шатру, черному на тускло сверкающем фоне солончака.

Толстая свеча горела, на нее летели какие-то мухи, облепляя копоскими точками наплывшее сало. Во весь шатер лицом вниз лежал большой человек в малиновой рубахе, без пояса. Могучая спина черноволосого, топырясь, вздрагивала, будто он рыдал беззвучно.

Разин, войдя, позвал:

— Лаврeич!

Васька Ус лежал по-прежнему не слыша зова. Атаман шагнул, встал около головы лежащего есаула на одно колено, положил руку ему на спину. Васька Ус дернул спиной, поднял лицо, в зубах у него была закушена шапка, он выдохнул — шапка упала. Не опуская головы, сказал диким полушопотом:

— Не тронь меня, Степько!

— Да что ты — с глузда сшел? Есть о ком, о бабе тужить!

Ус упал лицом в шапку и тем же придушенным голосом продолжал:

— Брат ты или чужой мне? Не ведаю — ум мутится... Утопил пошто? Тебе не надобна — мне не дал...

— За то утопил, чтобы ты не сшел, кинь!.. Волга ее да Хвалын-море укачает к Дербени... родная земля, кою она почитала больше нас чужих, станет постелью ей... Чего скорбеть? Хрыпучая была, иной раз кровью блевала, и век ей едино был не долог... Горесть с тебя и с себя снял! Худче было к ей приленпться крепко, она же покойник явно.

— Степько! уйду от тебя... сердце ты мне окровавил... не уйду, може то еще худче будет...

— Печаль минет, Василий! Минет! Век я о жонках не тосковал, и тебе не надо — баб много будет!

— Нынче мне краше быть едину — уйди, брат!

— Вот то надо! Чую, Василий. А дай рукой спину тебе проведу.

— Не тронь! Руки объем.

— О-то глупой! Хошь железа укусить?

14

Веяло колким холодом. Высоко месяц — светло. Разин вгляделся, подумал:

— Царевы снимаются?

Скрипели телеги, ржали кони, мыргал и мычал скот. Недалеко чернел маленький осел; надоедливо захлебываясь, он кричал: его звонко палкой била татарка, отмахнув чадру.

— Иблис! Иблис!

Рев осла был на одном и том же месте.

На длинных телегах, от света месяца отливая рыжим, передвигались шатры войлочных саклей. Татарки с завешанными лицами сидели на ослах, верблюдах и быках. Шли стада козлов, коз и баранов — всяк тащил что было. На небольшом осле сидел сгорбленный старик, изредка трусил зерна в решето на мешке перед седлом, в решете на дерюге порхались две курицы, не видя, что клевать ночью. Впереди каравана, в чалмах и овчинных шапках, в шубах шерстью вверх, на мохнатых лошадях, от коротких стремян скорчив ноги и сами пригнувшись, с саадаками за спиной, с луками у седла, с плетьми ехали татаре. Распавшись на звенья, караван частью поспевал к мосту, частью шел по мосту. Мост на крымскую сторону на плоскодонных в две доски мостом вверх над водой барках (сандалях) скрипел, трещал связями и вздрагивал.

У въезда на мост — рослый татарин, начальник улуса, на черной лошади в черной шубе мехом наружу, как у всех, в кольчуге под шубой, с саадаком и луком у седла; поперек седла рыжел его кафтан, подбитый лисицей. Начальник, с топором в правой руке, с плетью в левой, кричал, когда въезжали на мост:

— Ницця кши? [1]

Лица его под черной мохнатой шапкой не видно — сверкали

---

[1] Сколько человек?

глаза и зубы, да позванивал панцырь. Он следил, чтоо не перегрузили мост, через который от перебегающей тяжести местами серебряной парчой шелестела вода.

— Ницця кши?! — сверкали топор и глаза, звенел панцырь. Ему называли число людей, скота. Он махал левой рукой с плетью, опустив вниз правую с топором. Набегала другая волна людей, он подымал топор, и лезвие зловеще светилось.

Если же на мосту замедлялся проход каравана, начальник, подняв вверх длинную руку с топором, выл волком:

— Ки-и-м бул? Шайтан! [1] Ки-и-м бул?!

За рекой стонало.

— Чи-л-ги-и-р!

— Йок-ши-и! [2]

— Ким-бу-у-ул?! Шайта-а-н!

Казаки вышли из шатров.

— Куды их чорт взял...

— Неделю идут... Не приметил ране? Мост наладили, Волга размечет...

— А пошто утекают?

— От киргизов, должно...

— Козак, кыргыз булгарски татарам злой, не наши вера...

— Не то... Вишь вы прознали, что зимой под Астраханью жарко будет.

Начальнику у моста кричали:

— Эй, сыроядец!

Из черной овчины сверкали глаза:

— Ни киряк?! [3]

— Син-би-и-к мату-у-р, як шайтан, [4] чтоб те сдохнуть!

— Ик-хо! раса сага басеи, урус шайтан! [5] Ницця кши-и?!

Разин проследил глазами за мост, караван шел, мутно серебрясь в пыли и лунном мареве, хвост его был крпклив, суетлив и близок, а голова все больше тонула в глуби равнины, удаляясь.

---

[1] Кто там? Чорт.
[2] Хорошо.
[3] Чего надо?
[4] Ты очень красив, как чорт!
[5] И вам того желаем, русский чорт!

— Чи-л-ги-п...

Казаки рассуждали о своем:

— Не-си-и!

— У воевод помене будет гожих в доводчики!

— Да, ежли гонца к царю, так татарин тут как тут!

— Табор ушел, а катуня[1] все бьет осла, не сдвинет!

— Подь, помоги катуне — сунь ослу под хвост огню!

— Снялись? Мы тож снимемся вплоть к Астрахани.

— Глянь, твой конь сорвался!

— Тпрр! куды тя на ночь? чорт!

— Не чул? Ему татарска кобыла заржала: киль ля ля.[2] За сей, вишь, пошел на Чилгир.

— За сей... Я те дам Чилгир! Коси глазом-то!

— Дойдут ли на Чилгир поганые? Сказывают в степях — ихние свои своих бьют!

— О-го! запорошила пороша по степям, по рекам да сугорам.

— Жди, нынче города заметет!

15

Недалеко от женского монастыря и в сторону от Воскресенских ворот, что в левом углу, если итти в кремль, за зелейным стрелецким двором, рабочие заделывают кирпичом решетчатые ворота Мочаговской башни.

Ворота большие, железные, но от времени, как усмотрел воевода Прозоровский, железо стало ломко. Возят при свете фонарей и факелов на быках парно и лошадях в больших телегах кирпичи. Рабочие в кожаных рукавицах, в сермяге, в дерюжных фартуках примазывают ряд за рядом кирпичи, горожане носят воду и, засучив штаны выше колен, мнут голыми ногами глину, сыплют песок. Прозоровский приказал работать по ночам, чтоб раньше времени не полошить весь город. Днем для пешеходов и проезду на ярмарочную площадь открывают лишь Горянские ворота от Волги, и то под крепким караулом у стены снаружи и за степой города. Запирают ворота в 4 часа дня (по-нынешнему в 8 вечера). От Горянских ворот прямая дорога на базар.

---

[1] Катунями называли татарок из-за башмаков с загнутыми как полозья носками.

[2] Поди сюда.

Ночью за работой досматривают стрелецкие сотники, иногда голова, да изредка проезжает на толстом, коротконогом бахмате [1] каурой масти в синем плаще, черном ночью, в высокой, в желтых узорах, черной мурмолке воевода, молча оглядывает издали работы и, не останавливаясь, едет дальше. Он почти не спит по ночам. В черной бороде с проседью за короткое время седых волос прибавилось вдвое, лицо пожелтело, тусклые глаза стали глубже и на всех глядели подозрительно, кроме Алексеева. Подьячий почти неотступно был при воеводе, даже спал в сенях воеводского дома.

После мест, где крепили город, воевода ехал ближним путем в другой конец города, сдерживая бахмата шагом, проезжал мимо длинных острогов стрелецких приказов, расположенных в ряд — лицом на площадь, задом к стене в сторону слободы, оглядывал караул у бревенчатых ворот каждого приказа, вслушивался в говор, крики на дворах, хмурился, боясь грозы от шатости стрельцов, и думал:

— Псы! Изменили великому государю... Беречь указано устьморе, чтоб воры не ушли в Хвалын, а они? на! Бражничают с козаками и струги им сдали...

У Мочаговской башни голоса, шутки и сказки. Близ стены — костер. Кидают в огонь всякий хлам, и хотя тепло в одной рубашке, многие лезут курить к огню, иные размять ноги и плечи. По древней, заплесневелой во мху стене, постройки Ивана Грозного, ломаются, бегают тени людей, пляшут лошадиные морды, рога быков, шапки, руки и носы. Тут же балагурят, покуривая, стрельцы, иные помогают в работе, сверкают лезвия топоров, пестреют казенные кафтаны, белые, голубые, малиновые.

— Стрельцам-молодцам — жисть!

— Ишь, позавидовал пес собачьей обглоданной кости!

— Ни правежу им, ни бора посошного альбо хлебного — служи не бежи!

— О, чорт! Погонять бы тебя с малых лет до старости — иное б замолол.

— Поскудался б в приказах, где те, чуть слово поперек— по роже, стал не так, шевельнулся не так!

— Жисть, скажешь! Нет, браты! Гонят, как скотину, то на

---

[1] Бахматом называли лошадь приземистую и плотную

море, то по Волге вдоль, паси людей, о себе не мысли, береги чужую кладь — товары.

— Молчок! Голова иде... чу!..

— Ен пузатой мимо иде, ништо-о...

— Чтой-то, браты-стрельцы, воеводы вам мало верят? — Звонким колокольцем влипает в говор маленький посадский, заросший бородой черной и клочковатой, едва глаза видно; он жует чубук изгрызенной, обгорелой трубки, сосет, чмокает, плюется и продолжает: — Вон видишь, неладное племя город сохраняет!

Мимо в сумраке, раздвигаемом огнем двух фонарей, впереди отряда солдат в бурках и мохнатых шапках идут два воина в немецком платье, в шапках черных с желтыми полосами вместо околышей, — в башмаках оба. В голове отряда сзади светоносцев в таком же куцом кафтане с желтыми пуговицами капитан-немец, он кричит тем, что несут огонь:

— Hoher halte Laternen! Sehe voraus! [1]

Обернувшись вполоборота к солдатам в бурках с мушкетами на плече, командует по-русски:

— Дай нога! Еще дай нога! О!

Солдаты, грузно шагая, бьют ногами в землю. Отряд проходит. Каменщики шутят:

— Что лошади коваль кричит «дай ногу!» у ку[illegible]... ха!

Черный посадский, раскуривая обгорелую трубку, звенит, перестав курить:

— С фонарями да черные, быдто жида хоронят!

— А то митрополита, вишь, звон! Чуешь?

Сторож вверху на башне отбивал часы.

— Сколько чел?

— Недочел в конец.

— Вишь, за полночь время тянет.

— Управимся ужо скоро!

— Лезгины да армяня, немчины тож оружно почью ходют!

— Годи мало: боярски дети пойдут замест стрельцов по городу и на стены...

— Да, зачесалось переносье у бояр! Козаки в стану живут тихо, а воеводы город крепят и на торг иных не пущают... Воду в башенных тайниках пробуют, колодези чистят...

---

[1] Выше держи фонари! Гляди вперед!

— Што инозе́мцы ходят дозо́ром, не мы стрельцы — не здесь говорить, когда сам воевода ездом всякого чует...

— Казаки-т смирны, да кабаки шумят... Вон из того кабака, что у девича монастыря, вчерась двоих разинских в пытошную волокли...

— Чул я!

— Я видел!

— В кабаках подметные письма чел ай нет?

— Не, не чли!

— Ой, лжет, борода козья! Всяк астраханец чел: «Сдавайте город Астрахань! Я, Разин, за царевича Алексея на бояр иду — так вы бояр кончайте!»

— Чудеси-и... Разин — я своима очьми зрел — ушел по Волге, а ныне, сказывают, он тута?

— Чего сказывать? Черный Яр забрал, воеводу утопил... Сшел на Дон Разин, вишь, оборотень замест... Атаман-от колдун: ни сабля ни пуля не ранят яво.

— Патриарх Никон с ним на черном стругу стоит, к морю который.

— На ковре-самолете атаман-от летает!

— Эво — лжа!

— Я сам видал ночью: летит чуть пониже облак...

— Ну, так крепи не крепи город — Астрахани быть под Разиным.

— Ти-и-ше-е...

На приземистой лошади в сумраке засерела плывущая тень ехавшего шагом воеводы. Все примолкли, только постукивали деревянно кирпичи в кладке. Тень утонула за углом монастыря в сторону кремля-города.

Черный посадский прозвенел голосом:

— А дай-кось, как рейтаренин в сказке, делом займусь!

Юркий человек, сунув трубку в штаны, сдернул с плеч крашенинную рубаху и, свернув, как свертывают лист большой грамоты, распустил ее над огнем.

Из раскрученной рубахи на огне затрещали вши.

— Вишь, лжут, что без струмента вошь не убьешь. Вот он и без струмента ладно орудует, ха-ха!

— Скотинка негодная — шерсти нет, жир худо копит, а ест!

— Скажешь, жирные есть?

— А то как? — Полуголый, маленький, волосатый звенит весело, мотая медным нательным крестом по голой груди,— был, вишь, браты, один рейтаренин...

— Лжешь, рейтаров много!

— Тот рейтаренин, о ком сказ, был особливой, крупной, сажень в плечах, не то, что я, жук навозной...

— А ну — чуем!

— Так вот у его за одежкой салдацкой и завелись две — блоха с вошью...

— То бывает и боле чем двесте!..

— И во-от! Вша поучает блоху: «ты, долголапая, когда ен в дому, сиди смирно и не ешь, учует; а как на обученьи — жри!»

— Ище что?

— Да то! Ели были по правилам, и жили по здорову — жирели. Рейтаренин на службе бьется с копем, мушкетом, саблей, в рожу ему полковник тычет, — некогда за нуждой, не то искаться... Домой оборотил — в пору спать... И раз, как ему спать лечь, блоха, браты, завозилась... Тут упомнил рейтаренин, что скотина зря кормится. Сдернул он портки, а подружки и выкатились: блоха скок в окно, вошь под стол убрела. Вытянул ее рейтаренин из-под стола за заднюю лапу...

— Должно, большая была, с лапами?

— Большая ли малая, а засвежевал служивой вшу — три пуда сала вынул!

— Хо, чорт!

— Смыслит лгать! А ну, еще!

— Мне буде, пущай вон святой отец мало сб...дословит.

Хмельной монах, длинный и черный, мотаясь над огнем, топырил красные, отекшие пальцы рук.

— Бать! Подбери рясу — погоришь!

— Не убоюсь, братие, огню земного, страшусь огню небесного!

— Вон ты што-о! Мы так боле земного огню пасемся.

— Великие чудесы изыдут в сии годы, братие!

— Познал небесно, как тебе земного не видать. Лги нам, о чем знаешь!..

— Глум твой, человече, праздн есть! Зримо мне, о познании моем вам несть заботы.

— Жаждем чуть тебя!

— Чуем!

— Не лжу, реку вам, братие, истину, зримую мной не единожды. А истина сия вот — шед по нужде монастырской, узрел.

— Что узрел-то?

— В слободах, кои ближни граду сему, в древлех временах сказуемому Астра-хан погаными...

— Поганые нынь сошли, аль не углядел? Все надолбы [1] своего ямгурчея [2] на переправу изломили!

— И как они, браты, вязью без топора переправу сладили?

— К хвосту копя хвост камышиной, да сам как чорт плавает...

— Ну, мост! Как лишь из видов сошли, Волга ту переправу в Хвалын снесла!

— Волга — она не стоит, да и стоять не даст на месте!

— Весь черной камыш коло Астрахани посекли на переправу, а мост в две доски с жердиной...

— Чудеси! Весь скот перевели по этакой сходне?..

— Ихние скоты — не наши, обучены к ходу по единой жордке, коль надо, море перейдут!

— Черной-от камыш матерой и леккой!

— Да буде вам! Дайте черницу сказать!

— И то, сказывай, отец!

— И реку аз о знамении: по дорогам, путям, дворам и селам, братие, по захождении солнца дивное зрели людие многи — затмение истекало...

— Ты, отец, хмелен, так игумна страшишься, не идешь в монастырь!

— Я те вот! Не мешай черницу.

— От того солнечного западу в тьме является, аки звезда великая, и катится та звезда по небу будто молния, и в тую меру — двоятся небеса, и тянется тогда по разодранному небу яко змий: голова в огне и хобот. А выказавшись, стоит с получасье, и свет от того не изречен словесы, и в том свете выспрь в темя человеку зрак: глава, очи, руце и ноги разгнуты и весь тот зрак огнян яко человек... Годя получасье, небеса затворяются, будто запона сдвинута, и тогда от того знамения на пути, дворы и воды падет мелкий огнь, и тако не один день исходит, братие!

— Молви, что твое видение, чаешь, возвестит?

---

[1] Надолбы — частокол.

[2] Ямгурчей — татарское становище.

— Сие не изреченно ту, где миог люд!
— Говорили всякое — доводчиков нет!
— Служилой люд зрю, стрельцов!
— Сказывай! Кто налогу тебе сделает, в кирпич закидаем!
— Ох, боюсь тюрьмы каменной монастырской — хладна она!
— Мы за тебя, весь народ!
— Скудным умом мню, братие: придет альбо пришел уже на грады и веси человек огненной, и быти от того крови многой, ох, многой!
— Ты, отец, единожды узрел то знамение?
— Двожды удостоен аз грешный! Двожды зрел его...
Кто-то говорит тихо и робко:
— Сказывают, что в соборе астраханском у пречистой негасимая лампада сгасла?
— Сказывают! То истинно, оттого, что в сии времена у многих вера сгаснет...
— К тому ведут народ грабежом — бором воеводы!
— А еще быдто за престолом возжигаютца сами три свечи, их задуют — они же снова горят!
— Сказали то быдто преосвященному Иосифу митрополиту, он заплакал и рек: «Многи беды грядут на град сей!»
— Прошел, сказывают, кою ночь человек великий ростом и прямо в кремль скрозь Воскресенские, да там как свеча сгорел, и к тому гласит — сгореть кремлю.
На башне прозвонил часовой колокол десять раз.
— Вот те за полночь много!
— Помогай, Тришка! Еще два десятка примажем и спать...
Костер меркнул, никто больше не подживлял огня.
В сумраке густом и черном кто-то черный сказал громко:
— Не дайте головням зачахнуть — с головнями путь справим до дому!

16

В малой столовой горнице воеводской палаты, среди горок с серебром, чинно уставленным по степам, при слабом свете двух свечей и иконостаса в углу, мутно светившего пятнами лампадок, за столом сидел подьячий Алексеев в кипдяшном [1] сером

[1] Кипдяк — бумажная ткань.

кафтане, разбирал бумаги и беззвучно бормотал что-то под нос. Потом насторожился, поправил ремешок на лбу, подвинулся к концу скамьи, крытой ковром; из дальних горниц княжеского дома шлепали чедыги [1] воеводы. В шелковом синем халате поверх шелковой рубахи, в красных сапогах вошел воевода. Подьячий встал со скамьи, поклонился поясно.

— Сиди, Петр! Не до поклонов нынче.

Подьячий сел, сел и воевода на другую скамью за столом против своего секретаря.

— Еще, Петр, кое-какие бумаги разберем и буде — сон меня долит. Вот уж сколько ночей не спал — маялся, на коне сидя. В глазах туман — бахмата и того замаял.

— Мочно ба, князинька, опочинути от трудов... завтре б справили все делы?

— Не успокоюсь, сон не крепок буде. Хочу знать, подобрался ли ты к воровскому стану... Что замышляют казаки, и сам ли Разин тута иль иной кто?

— Покудова, ась, князинька, в стану тихо — едино, что стрельцы с усть-моря бражничают с казаками, да кои горожане и городные стрельцы ходют к ним...

— Как стрельцы? Какие имянно горожане, и о чем совет их?

— В лицо не опознал... Из городных стрельцов как бы те Чикмаз да Красулин быдто? Угляжу и доведу без облыганья. Ямгурчеев городок татара кинули — я уж доводил то, и дальние улусы кинули ж. И куды пошли — сгинут в пути без корму!

— Печаль велика — татарва поганая — да сгинь она!

— Ясак платили, ась, князинька, государеву казну множили.

— Теперь нам не до ясака, да и не сгинут, едино, что друг друга побьют... В степи тепло, есть луга середь песков, татарам искони те луга знаемы — весь их скот прокормить мочно... Ведомо, не без запаса пошли, кое охотой проживут... Зимой им опас больший — от воинского многолюдья. Киргизов боятся. Застынут реки, грабеж видимой, всяк к юртам полезет, а нынче, вишь, время — ночь не спим за степями каменными. Слухи множатся, горят поместя, чернь режет бояр... Ох, отрыгнула мать-сыра земля на Дону дива [2] окаянного, ой, Петр! Чую я: много

[1] Мягкие сафьянные сапоги.

[2] Чудовище (древн. слово).

боярских голов с плеч повалится. Нам с тобой, гляди, тоже беда!

— Крепок, ась, город стенами и людьми...

Тусклые глаза воеводы на подьячего засветились строго:

— Ты меня не тешь, Петр! Кому иному — тебе же ведомо, какая сила копится на боярство.

— Ведомо, ась, князинька, и не чаю, что будет!

— Молиться усердно надо господу богу, може, он грозу отведет от Астрахани.

— Молиться завсегда надо, ась, князинька. Может, минует нас погром.

— Слух есть, а правильный ли, что Черный Яр да Царицын воры взяли?

— Чул и то, ась!

— Кого лучше в наведчики того слуху послать?

— Едино все — уловят, князинька! Везде засеки да дозоры кругом казацки.

— Ну, и вот — беда! Сказывают, волки откель взялись, век их не бывало!

— Чул и то...

— Воронья горазд много припорхнуло. Эта птица впусте не летит — беда множится, парень!

— Оно и впрямь, воронья стало несусветно.

— Ты завтра же вели ко мне итти Тарлыкову Даниле. Ловок и смел голова, надо его наладить в Москву к государю: «сидим-де, ждем смерти — стрельцы почесть все сошли к ворам, а кои в городу, те шатки, горожане тоже не оплот, а дворянских людей мало...» Заедино оповестить государя на Сеньку князя: «Бражничал-де с вором, на двор свой и в палату примал, и спал Разин не единожды в его дому!»

— Князь Семен, ась, князинька, то дознал я плотно, был днесь в шатре у есаулов воровских!

— Был?! Явно теперь не есаулы и Васька Ус под городом, сам Разин стоит — вишь, оборотил! Дорогой же в обрат Черной Яр и Царицын занял — то явно, и слух проверять не надо. Отписать завтра же государю, окромя сказанного добавить: «Князь Львов посылан нами на Волгу разогнать воровские таборы, да Черный Яр крепить. Он же невреждей с пути оборотил и сказывал: «что-де стрельцы сошли к ворам». И то дело, государь,

нам в сумление великое, не чаем от того мы — кому будет помогать — нам ли или казакам Семен Львов воевода, ежели Разин на город Астрахань с боем грянет? В то время как мы нынче ежечасно господу богу молимся, крепим город и крамолу изыскиваем и выводим, он, князь Семен, ходит тайно в становище казацкое, а кии речи ведет там — не ведаем. Видимо одно, что бражничает с ворами, и мы, воевода князь Иван Семенович Прозоровский, с дьяки своя ждем твоего, великого государя, указу в скорости, что чинить нам с князь Семеном Львовым по тому сысканному за ним воровству или сие так оставить? Великий государь, пожалуй — смилуйся и прикажи в скорости». Завтра же чуть заря проводи ко мне Тарлыкова, изготовь грамоту, писать знаешь что, мы же с дьяками припечатаем и подпишем.

— Сделаю, ась, князинька!

— Еще вот: взял ли бумагу у немчина, кою велел я?

— Ту, что о городовой стене, взял, ась, князинька!

Подьячий из груды бумаг вытащил одну.

— Чти, да спать мне сошло время!

Алексеев громко читал:

— «Опись обхода городовой стены и башен капитаном государевой царевой службы немчином Видеросом да капитаном немчином Бутлером собча с головой стрелецким Данилой Тарлыковым астраханцом. Писана опись не ложно подьячими Наумом Курицыным да Афонькой Каревым площадным в опознание для воеводы Астраханского князь Ивана Семеновича Прозоровского.

«Кои пушки есть на башнях и припасы к ним для приходу ратных людей, а паки же воров набегу, чаемому от атамана Стеньки Разина, буде он вор пойдет на государев великий город Астрахань.

«*Первое* — в Вознесенских воротах в подошвенном бою, пищаль медная короткая в станке на колесах, в кружале [1] ядро три гривенки, [2] а к ней ядр сто шестнадцать.

«*Другое* — подале зелейна [3] двора рядовые в стене решетчаты ворота; в башне их, в подошвенном бою пищаль медная

---

[1] Жерле орудия.
[2] Три фунта.
[3] Порохового.

полуторная в станке на колесах, в кружале ядро шесть гривенок и к ней сто восемьдесят ядр.

«*Третие* — на наугольной башне, минуя прочие две с такими же пушки и ядры, — на наугольной, что к слободе, в среднем бою пищаль медная же короткая в станке на колесах, в кружале ядро две гривенки, а к ней ядр сто пятьдесят два.

«*Четвертое* — на красных воротах, коп из кремля к Волге; в башне пищаль медная в станке на колесах же, в кружале ядро две гривенки, к ней сто двадцать пять ядр.

«*Пятое* — да в Мочеговской башне проездной с Волги три пищали медные в немецких станках, устроены для вылазок и походов. В первой: в кружале ядро три гривенки; к ней сто двадцать ядр. И еще две пищали, ядра в кружалах по полуфунту, а к ним по сту ядр свинцовых; и на прочих башнях таковой же установ пищалей и запас оной же к огнянному бою.

«Окроме обсказанных пушек на всех шестнадцати башнях городовой Астраханской стены да семнадцатой путряной в углу зелейного двора и кремля-города, в верхнем бою справны, плотно поставлены в гнездах сто двадцать единорогов картаульного огня; ядро в кружале каждого единорога в полпуда вес».

— Мелкие пушки те гожи! Единороги в даль бьют, ни к чему они... Недоглядка великая прежнего воеводы... Бить хорошо можно разве что по ушедшей в степи татарве... В гнездах! Не уклонишь таковую пушку: куда уставлена, туда и бей... Эх, Петр! Недомекнули мы с тобой: я забыл, ты не подсказал допрежь оной поры сделать опись огню стен!.. Поди-ка вот, сыщи горницу спать, а я помолюсь да тоже буду спать... Завтра обойдем башни с тобой, сызнова кой-что испишем, да пушкарей надо опросить, им пушки ближе.

— Будь здрав, князинька, ась!

Подьячий забрал бумаги.

Воевода, когда ушел Алексеев, подошел в угол к иконостасу с пестрящими точками золотой кузни, с камнями драгоценными и пятнами ликов. Встал на колени и, мотая пухлой рукой в перстнях, шевеля бородой, молился:

— Пронеси, господи, грозу! Утиши, господи, погром и сохрани, боже, государя, бояр, князей и весь род дворянской помилуй от покушения черни неосмысленной!

17

В шатре атамана светел огонь: свечи на сундуках мотаются, когда хмельные, широкие, грузные гости двигаются на коврах, настланных по всему шатру. Князь Семен Львов сидит рядом с атаманом, справа Чикмаз, поодаль Мишка Черноусенко, приземистый Яранец и Федька Шелудяк, молодой, бойкий, с яркими глазами, с лицом, покрытым на висках и подбородке сухим паршем. Старик Вологжении в новом дареном кафтане из синей камки помогает наливать вино в чаши атаманскому казначею Федьке самарскому. Федька обносит гостей чашами:

— Скоро будем в гости к твоей сужепой, Федор, скоро, — говорит самарцу атаман.

— Ой, не забили б ее к тому времю, батько!

— Не забьют... Возьмем Астрахань, а там приглядишь кого — на боярыне ожепю.

— Очень уж я люблю Настю, батько!

Хмельной воевода, отряхивая привычно курчавую, рыжеватую бороду одной рукой, другой, с чашей, раньше чем пить, чокаясь с атаманом, сказал:

— Не иди-ка ты, Степан Тимофеевич, на город! Пожди к себе и твоим всем царской милости, да пожди в обрат посланных в Москву. Отдаст царь вины ваши и незачем будет впове зачинать погром... Скажу тебе, коли зачнешь — крепко стоять придется: есть у воевод московских обученное по-иноземному войско и пушки уж не те, лучшие. А кое ваше вооруженье? — лук, стрела, топор да нож?..

— Что есть, князь Семен! Наша сила в дружбе братской. Мы и навалом возьмем, коли не раскочимся кто куда.

— Ой, худо навалом противу выучки! Пожди, Степан, сказываю, от царя своих соколов.

— И то ждал до сей поры я, князь Семен, да вот послушай, как бояра чествуют моих послов. Гей, Лазарь!

Из дальнего угла встал, шагнул к атаману высокий, смуглый в казацком жупане.

— Скажи, есаул, всем и князю, как вы шли царю бить головами.

— Шли вот! — тряхнул черной бородой, склоняя вперед го-

лову, есаул, — конно мы сошли на Москву... И как положено, ведаю я, послов-станишников на двор ставят, от царя им корм и питье дается до поры, пока не позовут на стрету.

— А с вами как?

— Нас же стретили дьяки да кои бояра — имен не ведаю. Как сошли мы с коней, всех взяли стрельцы и повели на Земский двор... Ведомо, что на Земский двор водят не послов, а за разбойные дела... Познав такое, в дороге сшел я от караула... Един день ютился по заставам да среди всяких людей по кабакам и послышал, что наших окромя Лазунки, — он тоже сшел со мной, — в тюрьму свели, заковав, а я угнал сюда... Хрещусь: что поведал здесь, то необлыжно! — Есаул отошел.

— Пьем, князь Семен! Боле тебе о царевой чести к моим послам сказывать нече...

— Экой народ! Бояре от страху свою злобу чипят... пожог на Русию сами кличут... — покачал головой князь, выпил и добавил: — А ну, Степан Тимофеевич, пью еще на дорогу и иду...

— Эй, наливай, виночерпий!

— Знаю, атаман, будут тут меж вами говоры об Астрахани подступах, так видом своим чтоб не чинить помехи...

— А давай еще, князь Семен, опрокинем по чарашухе доброй? Быть же тебе среди нас не прещу — не доводчик ты.

Выпив, князь встал, поклонился.

Разин сказал, как бы вспомнив:

— Гей, князь Семен! Будешь ли стоять против нас за город?

Воевода, в дверном разрезе шатра мутнея в красном кафтане, ответил:

— Идешь на город, Степан Тимофеевич, — сам ведаешь, врагов считать не надо... Я же подумаю, как быть.

— Добро! Иди думай да скажи Прозоровскому: «Закинь город крепить! Город казацкой, и мы его поделим на сотни».

Из сумрака за шатром Львов проговорил:

— С тобой, атаман, говорить легко, лежит к тебе сердце! С Прозоровским мой язык нем...

— Соколы! Когда возьмем город, рухледь княжую Семена беречь и его не убить.

— Ведаем, батько, князя Семена не тронем!

Разин встал и есаулы тоже. Всем налили ковши водки, атаман поднял свой ковш над головой:

— Бояра крест целуют, когда клянутся, мы же будем клятву держать, приложась к ковшу!

— Да здравит атаман!

— Перед боем созвал я вас, браты, на беседу, а докучать буду одно...

— Слушим!

— Сполним, атаман!

— Всяк из вас, есаулы, атаманы молодцы — соколы вольные, но тот, кто служит мне — кинь до поры волю! Дай волю мне!.. Ране всего не снимал я воли со своих есаулов — то было в Кизылбашах клятущих... Не сняв с есаулов воли, утерял богатырей, — так клянитесь, что воля ваша есть моя!

— Клянемся, Степан Тимофеевич!

— Клянемся, батько!

— Клянемся хоть помереть с тобой!

— Добро! Гей, бахарь, пей и ты, дид, с нами да играй!

— Чую, батюшко. А где мой ковшик? Ото дело старое, не удалое...

— Ха! Какой же ты виночерпий — иным наливал и ковш утерял? Пей коли из сапога да вместе!

— Пошто, бог храни, бахилой пить! Эво он, неладной, нашел!

Выпив, расселись вновь. Старик забренчал домрой в углу за сундуками. Его худо было слышно, да и не слушали в говоре хмельном и выкриках.

— Чикмаз!

— Тут, батько!

— Пьем! Яранец, Федько Шелудяк! Пей, Лазарь! И ты, Черноусенко, не отстань! А где Красулин?

— Пока что у приказа дозор ведет!

— Чикмаз, завтра же заваривай дело со стрельцы... Медлить буде. Послы мои в тюрьме у царя.

— Зачнем! Перво жалованное от воеводы стребуем.

— Дуже! Я же стану заводить струги в Балду-реку. Опас, что, прознав замыслы наши, на дали будут нас бить из картаульных пушек, так ближе двинемся...

— Тут тебе, батько, где ближе к городу, Каретников укажет!

Вологженин подпевал, треньжая домрой:

А князь Митрея пынече нет во дому.
Он уехал во славны во городы
За заморскими купли товарами.
Ты пойдем, Фалилеевна, шир пировать.
Во столы столовать.

Полы шатра колыхнулись, из темноты, смело шагнув, вынырнула коренастая фигура казака с глубоким шрамом на лбу. Разин вскинул на казака хмельные, злые глаза.

— Тебя, куркуль, кто позвал на пир к атаману?

— Мимо тебя некуда мне, батько! Через кумыков по горам с Дона сшел...

— Как козел лазишь по горам, то мне ведомо — пошто самовольством сбег из Персии?

Казак не ответил, его взгляд скользнул по богатырской фигуре стрельца, глаза сверкнули радостью, двинувшись, он тронул стрельца за плечо.

— Чикмаз, друг, здоро ли живешь?! — и попятился от угрюмого взгляда приятеля.

Чикмаз, поглаживая сивую бороду, неохотно ответил:

— Живу не тужа — старого не хуже!

Атаман грузно поднялся, звякнула золотой цепью сабля.

— Говорю тебя я, пес! Ты же с речью к иному липнешь. Пошто самовольством сшел?

— Воли своей, батько, я никому не отдаю! Сшел, было так надо мне... Ныне пришел служить — шли меня в огонь, в воду, не жмаря очи пойду.

— Мы все здесь вольные, но кто служит мне, — о воле молчит!.

Казак еще отступил, нахмурил упрямый со шрамом лоб, боднул головой в рыжей шапке, повторил:

— Служу, коли хочу — не хочу, уйду! Не продаю волю...

Разин скрипнул зубами.

— Сатана-а!

Ударил тяжелой рукой в упрямое лицо, казак завертелся на месте, стукнув затылком в упору шатра, отскочил, упал ничком и, быстро сдернув шапку, поднялся, зажал рот, капала кровь. Атаман сел:

— Еще раз на глаз падешь — убью!

Казак, сплюнув кровью, пятясь, исчез неслышно.

Вологженин напгрывал, подпевая:

Экой чорт у вас были не плотнички,
Водяной, молодцы, не работнички,
Не просекли окошечка малого,
Чтобы мне, младой, выскочити,
Фалилеевне вырыснути-и...

Разин тряхнул головой.

— Гей, Федько, наливай! Завтре, соколы, ближьтесь к делу.

— Зачнем, атаман!

— И как ты подведешь струги к стенам да гуляй-городы поставишь, мы в набат ударим — знак, чтоб казаки лезли на стены, наши их тогда примут, пока что начальников со стен уберут!

— Добро! Чикмаз! А ну пьем! Гой, дид, играй плясовую, надо душу стряхнуть!

Я за князя Митрея замуж пейду.
На косого косолапого глядеть не могу.

— Чую, ба-а-ть! Вишь, пропащая струна лгет!..

Старик начал снова настраивать домру.

18

В сумраке широкой палатки в малиновой шелковой рубахе без пояса большой человек лежал на ковре. Над его головой с треском горела на табурете, крытом камкой, сальная свеча. Казак, плюясь кровью, вошел в палатку, сгибаясь у входа. Васька Ус, не подымая головы от ковра, сказал:

— Еще коли скажите атаману: пущай без меня пирует! На Астрахань же иду как все, не отстану шагом.

— Лавренч, это я, — Шпынь!

Ус повернул хмурое, бледное лицо, махнул рукой:

— Меня тут, Хфедор, все к атаману на пир зовут, мне же не до пира... Сядь ближе! Кто те в лицо смазал? Удал, вишь, а напоролся!

— Ты не был, я же был на пиру у атамана! Ен приветил.

— Хо, ладно умыл! Утереться почто не дал?

— Кабы саблей — ладно... Долонью в рожу от вольного человека — за то худой ответ!

— Ты чуток ли ухом?

— По ухам не били, да в рожу нынь лишь невзначай имал, зато сам много бил!

— Задуй свечу! Мне неохота себя шевелить с места, огонь трещит. Без света мене видну, будто сплю. Придут, притаишься... Говорю и в хмаре учуем.

Шпынь загасил огонь. В темноте голос Васьки Уса приказал:

— Сядь к голове ближе... Чуй!

— Тут я...

— Как в былое время, Хфедор, идешь ли со мной?

— Иду, Лавренч! Куда позовешь.

— Дуже гарно, хлопец! Знать, судьба вместе нам быть... Я задумал против Разина итти... Ты слышь — много ушей кругом — чтоб кто...

— Говори! Чую всякой шорох.

— Пошто на него мое сердце ражоглось, скажу иной раз... Так вот, будем мы с тобой по-тихому к ему прибираться до головы вплоть... Эх, не удалась любовь, — давай Москва почесть!

— Сказывай Лавреич!

— Нынче Астрахани быть под Разиным, воевода же астраханской, проведал я, гонца в Москву налаживает, стрельца какого-то с грамотой, что-де «Астрахани конец!» Тебе перво делать так: возьми у меня сухарей в дорогу, денег, коли надо, заправь свинцу, пороху и гони в Москву! Степями не мочно, сам знаешь— татарва режется; берегом реки — везде засеки Разиски... Поедешь в Тарки. В дороге, — путь гончего воеводина тот же, — пристань к ему... Сам он тебе рад будет: горы не пройти незнакомому без вожа, а ты того гончего в пути кончи... Воеводину грамоту подери и будешь от меня первой доводчик царю. На Москву станешь, иди в Разбойной приказ к боярину Пушкину, он у царя свой... Иным боярам не сказывай слова, Пушкину обскажи: «Астрахань, Черный Яр, Царицын под Разиным». Самару-де, Саратов взять ничего не стоит... Обещай Пушкину, а коль припустят, и самому царю от меня, что голову Разина я им пришлю на Москву с тобой же, но со сговором, чтобы царь меня и тебя не обделил честью да прощением прежних убойных дел... Знаю, они на радостях, избыв крамолу, дадут много!

— Чего ждать, Лавренч? За обиду свою, бой по роже и грозу

на меня в Яйке, где чуть не посек, я атамана хоть сею ночью кончу!

— Тихо говори... и чуй, нет ли кого?

— Чую... нет!

— Одно время с Дону шел царю служить, старшина послала на крымцев... Хмельной я был, подговорил робят, что поудалее, и два села путем-дорогой спалили, разграбили... Девок, баб изнасиловали, скотину угнали, продали татарам, а после дела стал думать, как хоронить концы? И наскакал я по пути зимовую станицу, шла в Москву... К ей пристал, да у царя из рук отрез доброй сукна имал на жупан... И здесь — ты слушай... Извороты я знаю: уйдет Разин, меня оставляет атаманить Астраханью, бояра народ затейной, а ну как им наша послуга не подойдет? Гляди, найдутся воеводы самолично имать Разина? Нас же сочтут ворами... Тогда, покуда они рать сбивают, я с Хопра да Медведицы, с Украины тож запорожцев кликну. Соберется сила, и отсижусь с тобой в городе. Астрахань пушками, стенами крепка, хлеба много, запасы есть, и буду я князем Астраханским! А не сойдет, тогда поторгуемся с боярами дать нам честь. Самое худое — в горы уйдем к кумыкам...

— То можно, Лаврентч! Все же убить атамана сердце горит.

— Ждать надо! Убьем — воевода останется в Астрахани... Доведет боярам, царю: «Вор-де вора убил, да еще почести хочет!» Заедино, мол, и этих извести в тюрьме аль того хуже... Бояра народ верткой: слово скажут одно, да на другое поворотят.

— Вот тут ты правду молышь!

— Да еще. Разин завсе укрыт своими... на него все едино что молятся. Меня же он, знаю, пасется... Обиду мою ведает... Убьем, нас свои же на огне испекут, потому больше убить его людей нет: ты и я.

— То, вижу, правда!

— Ежели вразумился, делай, Хфедор, как умыслю я... большего не хоти. Где конь?

— Мой конь на устороньи в покинутой татарской сакле спит!

— Не замаян много?

— Аргамак золото! Легок и корму несет мало, сам же — едина что стекляной, налитой.

— Хоронись и жди на учуге день, два. Вот ужо... — Васька

Ус закряхтел, шаря под ковром рукой. Нащупал пальцы Шпыня, сунул ему малую кису́. — Деньги... Справ кой надо.

— Боевой справ в достатке. Сухари есть? Дай!

— Есть. Зайдешь иной ночью, дам!

— А ну, руку, Лавреич, и прости.

— Рука моя вот! Знаешь меня?

— И ты меня знаешь, укажи, не жмаря очей, справлю бой ли, ножог, все едино.

— Верь, Хфедор! С кем я верток так и сяк — с тобой же обчая дорога, без омману и лжи.

— Верю, Лавреич!

Из серой палатки черная тень человека легко скользнула в темноту; застыла, прислушиваясь к звукам кругом, но было тихо. Лишь смутно шумели волны реки недалеко, да из шатра атамана слышались голоса и песни.

— Мне путь один, атаман! Никого не боюсь, а ты знать будешь Федьку Шпыня!.. — прошептал черный, шагнув.

19

На покосившемся с бревенчатыми перилами крыльце стрелецкого приказа хмурый от солнца стоял Чикмаз в красном кафтане с коротким топором в руке. По кафтану — синий кушак, за кушаком два пистолета, шапка сунута за пазуху. Из распахнутого зева широких приказных дверей несет вонью казармы — по́том, навозом деревянных заходов и дымом табаку. Мимо Чикмаза по большому крыльцу топали ноги стрельцов: стрельцы, выходя на двор, не строились, как обычно, толпились кучками кто где и вопросительно взглядывали на решительную фигуру Чикмаза. Стрельцы чего-то ждали. В глубине сумрачных сеней под грузным телом затрещали ступени лестницы. Из дьяческих горниц, что устроены наверху казармы, сошел в сени рослый голова в белом полтевском кафтане, по кафтану поперек груди желтые боярские нашивки-галуны с ворворками, кистями и петлями. Голова, переваливаясь, шагнул на крыльцо, гордо покосился, сказал Чикмазу:

— Ты что, палач, на помосте? Чего стал тут? Ведомо, что тебе да Шелудяку Федьке воеводой заказано быть в городе...

Чикмаз, кинув взгляд на спину начальника, молчал.

Голова крикнул стрельцам:

— М... вашу сапогом в брюхо! Чего путаетесь? Воров наслушались? Берегись!

Крыльцо — три ступени вниз; у нижней стоят два стрельца в голубых кафтанах, курят.

— Сторонись, псы! Дорогу дай.

— Кто те поперег? — шагай!

— Немедля занимай караулы! ма-а... — начальник, матерясь, шагнул с верхней ступени. На солнце сверкнул топор. Голова начальника, с открытым ртом, соскользнув, как и не была на плечах, завертелась, пачкая кровью плечо ближнего к ступеням стрельца, качнулась и упала на белый песок. Сплюнув на голову начальника, стрелец, пряча трубку, сказал:

— Стряпает Чикмаз! Как блин башка глезнула.

Он подвинулся от крыльца, на сапоги ему, ползя по ступеням, пачкало кровью тело начальника.

Чикмаз повернулся лицом в сени.

— Гей, стрельцы! Я начал, кончайте брюхатых!

Из глубины приказа десятки голосов ответили:

— Чуем!

— Чикмаз, слышим!

— Бра-а-а-ты, с вами мы!

— Гой, братья! кто с нами, тех не тронь.

— Ла-а-дно-о!

Чикмаз, повернувшись к стрельцам, воткнул в бревно перил топор, высекая огня закурить, смахнул с руки кровь, приказал:

— Руби, браты, поперешный острог, едини дворы, бревна жги!

Пылили сапоги белым песком, десятки рук топорами валили тын, отделявший другой двор. Бревна волокли на середину двора, подрубив, зажигали. Стоя на прежнем месте, дымя трубкой, Чикмаз громко проговорил:

— На этих огнях поперечников наших спекем!

За поваленным тыном открылся обширный двор, на нем тоже топились стрельцы. Так же, как Чикмаз, на крыльце казармы стояли двое: неуклюже широкий в плечах толстоголовый Каретников и тонкий в синем жупане рядом с ним Лебедев черноусый. Лебедев резким голосом кричал звонко:

— Гей, браты! Кабаки, что припечатал воевода, разбить.

Каретников, покашливая в руку, изредка махал отточенным бердышом, басил:

— Перво добыть водку, пить!

— В кремль! Пущай воевода жалованье даст.

— За два года пущай даст!

— То надо-о!

— Кабаки перво, эх!

— Водку добыть — пить!

— Прежде с сотниками расправ!

— Браты! мы ж с вами-и!.. из стрельцов мы...

— Едино все: спустим — к воеводе шагнете?

— С вами идем!

— Вали тын — жги-и!..

На всех дворах, свободных от поперечного тына, зажглись костры.

— С клопами да дьяками пали съезжие избы!

— Не трожь построя!.. Где Красулин?..

— Красулин с Олешкой, каторжным казаком, дальние громят!..

— Дьяки сбегли!.. съезжие для расправы нам гожи!

— Добро, Чикмаз, — чуем!

— Айда к кабакам!..

— Стойте ище-е, чуйте!

Застучали копыта лошадей — в пыльном тумане двигалась конница, впереди ее все шире и ярче белел, поблескивая, колонтарь воеводы. Воевода с черкесами в пятьдесят и больше человек осадили перед приказом лошадей. На пыльной площади лошади фыркали, звенело оружие. Воевода в мисюрском шлеме, на кауром бахмате, украшенном золоченой сбруей с кистями; на коне — черкесский чалдар с седлом в жемчугах.

— Бой, што ли? Кладу пищаль к глазу.

— Стой, не стрели; говорить ладит...

Воевода, гнусавя, громко заговорил:

— Служилые! Пошто воруете противу великого государя? Что потребно вам?

— Жалованье.

— Пошто давно не даешь?!

— Сами наги, семьи с голоду мрут!

— Вишь, мы в улядях — опорках, ты в чедыгах, жемчугах...
— Седни же выдам деньги! Уймитесь, идите в приказ...
— Отпирай кабаки!
— Водку добыть — пить!
— В кабаках, служилые, много смятенья, воровской люд подметные письма чтет, хулит государя! Народ к бунту тягают воры.
— Спусти сидельцев из тюрьмы да попа Троецкого!
— Пошто имал дворового князь Львова?
— Дворовой дан на двор князю Семену. Поп Троецкой в монастыре.
— Сказывают, поп в тюрьму кинут?
— Кляп ему в рот забили да уздой взнуздали-и!
— Поп ладной — дай попа!
— Тот поп воровской, служилые!
— Татарских мурз, аманатов спущай!
— Стрельцов, сидельцев раскую! Аманаты не в моей воле — то от великого государя.
— Спусти мурз! Таборы их ушли, пошто держишь?
— С нами не тебе говорить, воевода: ты нам не начальник.
— Говорю с вами, что голов вы посекли по-разбойному, я выше голов!
— Посекли не всех!
— Стрельцов из тюрем пущу, жалованье дам — утихомиритесь!
— Троецкого попа дай!
— Мурз татарских спусти!
— Водку дам! Не чините пожогов, не мятитесь.
— Водку добыть! Эх, пить будем, браты-ы!

Воевода с черкесами повернул коней, уехали. Отъезжая в кремль, воевода приказал запереть город и по площадям послать бирючей. По всем площадям астраханским пошли бирючи с литаврами. Народ спешил на площади узнать, что приказывает воевода. Бирючи, ударив в литавры, кричали:

— Гей, астраханцы! Все те, кто поклонен великому государю Алексею Михайловичу всея Русии, да идет тот на воеводский двор в кремль.

Чередуясь с первым, кричал второй бирюч:

— Астраханцы! киньте дома и дела, идите, не мешкав мало, в кремль, призывают вас преосвященнейший митрополит Иосиф,

Астраханский и Терский, да князь Иван Семенович воевода для ради крестного целования!..

Толпы горожан с площадей шли Воскресенскими воротами в кремль. Войдя в кремль, толпа за толпой приворачивала, теснясь к часовне Троицкого монастыря, что у ворот рубленая, обширная, в шесть углов. Часовня не вмещала всех, но кто попал туда, тот спешно прикладывался к образам, зажигал купленную тут же свечу. Угрюмые лики святых бесстрастно глядели на мятущихся людей. Многие каялись вслух иконам и выходили. У выхода всех крестил никонианским крестом монах, большой и хмурый, как древние образа. На обширном дворе воеводы ждали люди. Жужжали голоса. Тут были среди горожан дети боярские, жильцы дворяне и капитаны немцы, стрельцы же — лишь которые остались верны присяге. Кругом большого дома воеводы, гостеприимного для иностранцев, сплошные рундуки с балясами, [1] лестницы снаружи из верхних палат на точеных столбах. Лестницы крыты тесом и жестью.

— Сходят?

— Что-то говорят!

На нижнее крыльцо сошли митрополит с крестом в золотом саккосе [2]. Митрополита вели под руки два священника, один из них поддерживал золотой крест. За митрополитом воевода в посеребренном колоптаре, в шлеме и при мече. Когда сошли чины на открытое широкое крыльцо — горожане, кроме иностранцев капитанов, поклонились в землю.

— Саккос на преосвященном, дареной патриархами!

— Какими?

— Антиохийским да...

— Чуете, говорит что?

Упершись на посох, сверкая на трясущейся голове митрой, усеянной вениcами и лалами, митрополит говорил неторопливо и тихо, передав священнику тяжелый крест:

— О, людие православные! Великая беда, смятение идут на город наш. Стрельцы убили начальствующего ими голову Кошкина Ивана и иных слуг, верных великому государю, всех начальников... чают к бунту. Вас же, верные сыны горожане, и стрельцы

---

[1] Балконы.

[2] Длинная риза.

и капитаны, молю аз, грешный раб христов, крепко стоять за дом пречистыя богоматери... Не убойтесь на этом свете подвига. Кто же примет кончину безвременную, постояв за святыни, а паче власти государевы, того взыщет господь в царствии небесном милостию...

— Будем, отец наш, стоять за город!

Замолчал Иосиф митрополит, заговорил воевода:

— Горожане! Капитаны, стрельцы! Ведомо вам уже давно, что круг города мятутся толпы казаков и беглых холопей Стеньки Разина, богоотступника! Сей воровской атаман попрал милости, прощение великого государя, его посланные уже есть ко мне, требуют сдать город! Его крамола сказалась седни: стрельцы избили смертно начальников, самовластно разбили царевы кабаки, пьянствуют и бунтуют. Ими послышано, что недалько время, как увидим мы воров под стенами Астрахани с таранами и лестницами! Вас я молю вместе с преосвященнейшим Иосифом, отцом нашим, готовиться к защите! Ладьте на стены котлы, смолу и что потребно огню! Носите в башни камни и воду. Стойте крепко за дом пречистыя богородицы! Я же исполню все, что в силах моих — выдам стрельцам жалованье и ждать буду, что они уймутся... Я исполнил их требование, только что спустил тюремных сидельцев, не спустил лишь двоих: воровского попа Троецкой церкви и беглого холопа Семена князя Львова, кой мною повешен...

— Будем стоять крепко!

— Будем мы биться с ворами!

— Старайтесь! Он ужо, как тихо зачнет — сожмет поборами...

— Ту-у, молчи!

— Я не бунтую, а говорить нынче можно.

— Людие православные! Целуйте крест святой, что будете стоять за город...

Горожане расходились, по городу шли караулы, направляясь к главным воротам Астрахани. В часовне Троицы монахи готовились служить всепощную. Монастырский двор обширный с тыном, обросшим виноградниками — широкие ворота его всегда были открыты. Иные из горожан, особенно женщины, расположились близ часовни, ждали службы. В темноте город жужжал и жил. Недалеко от Вознесенских ворот, близ Спасо-

Преображенского монастыря, стрельцы из кабака выкатили бочки с водкой, пили на улице и, чтоб было светло, деревянный большой построй кабака зажгли. Горожане мимоходом из кремля пробовали тушить пожар, стрельцы отгоняли горожан:

— С пожогом нам веселее!

— Близ едина лишь стена монастырска, каменна!

— Город не пожжем, пейте с нами!

Многие из горожан приставали к стрельцам и пили.

Прясла кружечного двора горели огнями факелов. Как черные свечи воткнуты факелы меж жердей — на прясла стены. Целовальники, опасаясь побоев, сбежали, кинув двор на хозяйничанье стрельцов. В питейной избе за стойкой вели счет в свой карман «напойные деньги» стрельцы. В огнях факелов по стенам и прилепленных к стойке сальных свечей скакали скоморохи с настоящими медведями и ряженьми козами. За длинным питейным столом появились среди стрелецких шапок и бархатные, красные, с кистями сынков[1] Разина. На столе зажелтели подметные листы: никто не читал их, кроме переодетых воеводиных сыщиков. Сыщики подбирали осторожно письма, говорили меж собой:

— Рукописанье Митьки подьячего!

— Вор окаянной!

— Чуй, что бархатная шапка б...дословит!

Бархатные шапки кричали похабные слова про воеводу, восхваляли богатство, щедрость и славу боевую грозного атамана: «как он, батько, плавает по синю-морю на кошме чудодейной и на ней же по небу летает».

— А, ждите! Седни в Астрахань залетит весь огняной!..

20

Дозор по городу вел и понуждал горожан, кои не шли в работу к степам, князь Михаил Семенович с конницей в черных бурках. Князь Михаил ездил с факелом в руке, с обнаженной саблей в другой, черкесы с фонарями, притороченными к луке седла, чтоб не гасли свечи, ехали шагом. Черный воздух был недвижим

---

[1] Всех людей, приходивших от Разина с подметными листами, называли «сынками».

и тепел. Князь заскакивал на черном коне вперед, бороздя сумрак мутным отблеском факела, панцыря и посеребренного шлема с еловцем. Горожане, подвластные воеводе, таскали и возили к стенным башням воду, котлы и камни. Черный город, шлыкообразный вверху, понизу то серел, то мутно белел в бродячих огнях. На степах города зажглись костры, освещая рыжие башни и полуторасаженные зубцы стен. Под командой матерого, конного стрелецкого десятника с широким, безволосым, безбровым лицом, Фрола Дуры, по городу, кроме князя Михаила, ездили конные стрельцы. От кабаков и с кружечного пьяные стрельцы шли в кремль. Воевода еще не запер ворот кремля, ждал с донесением нужных людей и сыщиков. Сойдясь на дворе воеводы, стрельцы кричали:

— Закинь, воевода, город крепить!

— Подай жалованье!

Прозоровский в колонтаре, сложив мисюрский шлем на синюю с узором скатерть стола, сидел на совете в горнице. Против него за столом древний митрополит. Саккос и митра лежали, отсвечивая радугой драгоценных камней в огнях от свечей, на скамье в углу горницы. Приглаживая черную рясу с нагрудным крестом левой, правой рукой старик, привычно в крест сложив пальцы, двигал неторопливо по камкосиной скатерти и говорил, топыря на воеводу клочки седых бровей, тряся полысевшей головой:

— Ох, сыне! Давно надо было укрепить город... Ныне же нужное время, много нужное! Мятутся люди. Чуешь, как ломят дом твой?

— Я, отец святой, ко всему худчему уготовлен.

— А паства, сыне? Твоя паства воинская, моя же — всечеловеческая... Ту и иную мы распустили, яко негодные пастыри.

— Не ему вины в том, отче! В стрельцах не волен был. Боярами да великим государем не мне одному, всем воеводам указано: «порядков стрелецких чтоб не ведать...»

— А худо сие! Воински дела правь, да воинскую силу не ведай... Како так?

— Такова воля великого государя! Тем делы сданы головам да пятидесятникам и иным. Гей, подкрепиться нам дайте! — встав и подойдя к дверям горницы, приказал воевода. — Еще прибавить огню!

Тихо, почти неслышно на зов князя вошла с поклонами воеводша, внесла на серебряном подносе хмельной мед, коврижки, виноград и белый хлеб. За хозяйкой, так же чуть слышно, двигались две девицы черноволосые в панковых сарафанах с повязками цветной тесьмы по головам. Поставили на стол два трехсвешника, зажгли свечи.

— Того жду, господин мой, Иван Семенович!

Воеводша в зеленом атласном шушупе, [1] в кике, по алому бархату золотые переперы (решетки), приложила бледное лицо к желтой руке повыше кисти, сказала чуть слышно:

— Благослови, преосвященнейший владыко, грешную...

Митрополит не взглянул на боярыню, он считал грехом останавливать глаза на женщинах, перекрестил перед ее грудью воздух и в сторону уходивших девушек перекрестил также. Воеводша поклонилась мужу, сказала:

— Господин мой, князь Иван Семенович! Слышишь ли! Стрельцы гораздо хмельны и огняны с факелами, лезут, шумны. Имя твое поносят, ломят двери, жалованье налегают...

— Ой, Федоровна, боярыня, чую, денег нет дать им, а слово сказано — дать!

Митрополит поднял над столом желтую руку:

— Сыне мой, друже, Иван князь! Выди к бунтовщикам, вели итти им на двор к монастырю у часовни Троицы. Я же иду в монастырь, из своей казны дам деньги.

— Отец духовный! Много задолжен без того я тебе...

— Тленны блага земные, сыне! Живы станем, ту сочтемся, преставимся богу — господь зачтет.

Боярыня, уходя, не заперла дверей горницы, в двери почти вбежал юноша, земно поклонился воеводе, потом так же митрополиту. Старик перекрестил подростка. Юноша сказал воеводе:

— Батя! Пусти меня оружного на стены, хочу быть ратным.

Воевода встал, погладил сына по темнорусым, длинным волосам, заботливо одернул на юноше измятую синюю чугу и, строго глядя в зеленоватые большие глаза подростка, ответил:

— Жди, Борис! Не пора итти из дому — не чуешь ты, как хмельные бунтовщики дом ломят?

Сын ушел, воевода вышел на балкон. За окнами метались

---

[1] Род кофты без талии.

головы и факелы, с треском гудело дерево дверей, звенели заметы.

— Эй, пожога пасись, воевода-а!

— С добра подай наши деньги-и!

Прозоровский перегнулся через балясы перил, крикнул в пестрый сумрак двора:

— Робята! Идите к часовне Троицы — из монастыря дадут деньги, а вы не мешайте молящимся!

— Добро!

— Хто молится — пущай!

— Мы же будем кадить — у святых бороды затрещат!

Митрополит, отведав купанья, стоял, стуча посохом в пол, призывая слугу.

Воевода, вернувшись, тряс головой и кулаками:

— В иные времена за скаредные речи и богохуленья быть бы многим на пытке... Ныне вот молчать надо...

— Великие беды грядут на нас, сыне!

Вошел митрополичий служка, поклонился воеводе, взял вещи, саккос и митру, подошел к старику и, поддерживая, повел из дому. Воевода с трехсвещником, провожая митрополита, говорил:

— Мыслю я и надеждой малой утешен — выплатим деньги, многие утихомирят себя... Беда лишь в том, что воров из тюрем расковали, от этих не уберечься бунта... одного повесили на стене... Посланца разинца...

— Сыне мой, не едины стрельцы... Молись богу, да спасет нас! Горожане, не далек час, идя ко кресту, целуя святыню, злые лики являли. От горожан и иных многих погибель наша...

— Да, отец! Князь Семен — явный изменник: не идет с нами и нигде не являет себя ратоборцем государева дела... Дом же его на балчуге есть, из его дома ворота тайные за город ко рвам... Пасусь его, отче!

— То лишне мыслишь, Иван! Князь Семен не дерзнет с ворами итти...

— Благослови на ночь, святый!

— Не святый, аз грешный... Во имя господа благословляю раба Ивана. Не мятись! Пути господни не пройдеши без воли его.

Проводив за двери митрополита, Прозоровский вернулся в горницу. Жена княгиня, видимо, ждала его, вошла следом за ним.

— Федоровна! Скажи дворецкому Тишке, чтоб приказал обрядить моего коня в боевую справу, да немедля конюшие привели бы бахмата на монастырский двор. Иду дать стрельцам жалованье, а после быть надо у стен города...

Боярыня заплакала, обняла мужа.

— Сумнюсь о тебе, хозяин мой, Иван Семенович!

— Не духом падать... крепиться надо, Федоровна! Пожили в грехах, должно что время пришло принять за то, что бог судил. Прости-ко!

Князь позвал двух домочадцев слуг да подьячего Алексеева, вышел к часовне. Стрельцы на площади, раздвинув круги меж себя, плясали. Иные кричали, зловеще светя факелами, отсвечивая топорами:

— Кидай, черницы, молебны петь!

— Тяните панафиду воеводе!

— Жалованье дайте, коли же воевода казну растряс!

По монастырскому двору видно было в широко открытые ворота шедших черных людей с сундуками и мешками.

— Браты-ы-гей!

— Казна еде-е-т!

— Ай да певуны кадильные!

— Под рясой порток нет, да, вишь, деньги брячут!

На ширине монастырского двора поставили стол и скамьи для воеводы, с боков на подставках фонари зажигали монахи. Воевода сел рядом с Алексеевым, из сундуков брал горстями деньги, клал на стол, считал; Алексеев на длинном, склеенном из полос листе записывал имя, отчество, прозвище и чин получателя. Получив деньги, стрельцы уходили со двора на площадь в круг пляски.

— Скушно по-суху ноги мять?

— Эй, браты! Кто денежной, айда на кружечной, там скоморохи и музыка!

Получившие жалованье ушли из кремля.

21

Объезжая с черкесами белый город, от белых каменных лавок и амбаров торговой площади армян, персов и бухарцев, князь Михаил разъехался в кружечный двор, окруженный огнями фа-

келов. Вооружешные пьяные стрельцы на глазах князя прошли нестройной толпой по обширному двору в питейную избу. В сенях избы громкий голос пел хмельно и басисто, тонкие голоса подпевали, изредка на отдельных местах песни ударяли в накры:[1]

Волки идут за удалыми в ход,
Гей, выходите с пожами вперед.
Скормим бояр мы, дьяков отдадим,
Хижы, поместья, суды запалим!
Память боярам вчиним...

Ударили в накры, продолжали:

Будет пожива волкам здесь ли тут!
Чуют удалых, волки идут.
Жги! Пали!

Снова били в накры.

Князя разозлила песня и вид пьяных стрельцов, он дал команду:

— Эй, не въезжая на двор кружечного, стройтесь... не выпускайте с двора питухов! Покажу, как играть воровские песни... доскачу конных стрельцов, разом здесь всех мятежников решим!

Сверкая панцырем и саблей, князь отъехал. Горцы на расстоянии друг от друга в десять локтей выстроились кругом двора. Отыскивая стрельцов на пожарище потухающем кабака, близ Спасо-Преображения, князь наехал человека в синем жупане и запорожской шапке; от головней пожарища шапка ярко рыжела. Человек, так показалось князю, воровски озирался, шел, подпираясь недлинным копьем. Заметив князя с факелом, в панцыре, свернул в сторону спешно; князь поскакал: по воздуху веяла пышная борода, светился шлем. Михаил Семенович крикнул:

— Стой, вор!

Князю показалось, человек прибавил шагу:

— Стой, дьявол!

Человек в казацком платье приостановился, повернул бледное лицо с пятнами:

---

[1] Барабан.

— Пошто, князь Михайло, гортань трудишь? Я — астраханец Федька Шелудяк!

— Ты вор! В воровском платье.

— Хожу — какое сошлось.

— Лжешь! То рухледь — дар от вора Стеньки!

— Не дарил! Не твое дело!

— А, вот! — князь поднял над головой тяжелую саблю с золоченой елманью. [1]

— На, прими! Не жаль.

Шелудяк взмахнул копьем, древко фукнуло ветром, кинутое сильной рукой. Сабля князя и тело с падающим факелом запрокинулись. Человек, оглянувшись, быстро исчез во тьме. Князь не упал с коня, ноги запутались в стременах, губы прошептали:

— Ра-а-ту-й...

Он все больше оседал затылком на спину коня. Конь остановился... Широколицый Фрол Дура со стрельцами разъехался в князя. Стрельцы с фонарями и факелами осветили место кругом, но никого не было. На копе, изогнувшись на спину, лежал Михаил Семенович. Древко татарского копья, поблескивая, желтело, его острие пронзило горло князю под подбородком, прошло до затылка, задержалось стальным подзатыльником шлема.

— Беда, парни! Вот беда! И кто тыкнул?

— Конной должно? Поганой: вишь, копье татарско!

— Парни, почуйте да сыщите, нет ли ездового кого?

Стрельцы, рассыпая огнями, поехали в разные стороны. Фрол Дура снял князя, не слезая с коня, уложил младшего Прозоровского поперек седла, зацепил большим сапогом поводья княжеской лошади. Забрав убитого и ведя лошадь, поехал ступью в кремль.

— Беда, беда! — твердил он.

Его нагнали стрельцы.

— Никакого следу!

— Ездовых никого, Фрол, никого...

— Знать, планида такова. Эх, князь!

В кремле спешились стрельцы, внесли убитого в часовню, положили на полу ближе к алтарю, у возвышения. Народ в ужасе толпился вокруг. Монахи, прилепив свечи в головах князя,

---

[1] Елмань — утолщение на конце сабли.

зажгли их и кадили. Князь Михаил лежал с оскаленными крупными зубами, запрокинув голову, пышная борода закрывала рану, но кровь текла по плечам панцыря. Стрельцы на площади плясали, били в негодный воеводский набат, [1] притащенный со двора воеводы. Никто, кроме одного стрельца, не кинул взгляда, когда проносили в часовню убитого, а тот один сказал другому:

— Должно еще пятисотника кончили? Волокут на панафиду.

— Пляши! Битых дворян не мало будет.

На монастырском дворе, кругом стола, где сидел воевода, шумели, спорили, даже грозили. Воевода молчал. Он ничего не видел, кроме протягиваемых рук да Алексеева сбоку себя.

— Сколько дать?

Получив ответ подьячего, давал деньги, говорил одно и то же:

— Пиши, Петр, пиши, кому и сколько?

— Чую, ась, князинька, не сумнись.

Сзади Алексеева стоявший монах нагнулся к уху подьячего, шепнул:

— Убили крамольники Михаила князя! В часовне Троицы он — у гробницы преподобного Кирилла...

Алексеев вздрогнул, а когда воевода согнулся к сундуку, сказал:

— Мы, ась, князинька, раздадим... Монахи помогут — я допишу... Ты вздохни к богу в часовне, да скоро соборную откроют — в церковь пройдешь...

— Боюсь! Без меня тебя ограбят.

— Не тронут! Пьяны, да еще порядок ведут... счет помнят...

— Ну, и ладно! Трудись, Петр!

Воевода протолкался к часовне, снял у входа шлем и, широко перекрестившись, земно поклонился. Подымаясь от поклона, услыхал бои часов восемь, то значило — «двенадцать».

— Скоро, чай, свет?

Едва лишь окончили на раскате выбивать времясчисленье, как за степами кремля от Волги забили дробно барабаны, и тут же в кремль упали три огненных примёта, один примёт закрутился на песке, два других пали на монастырские пристройки, начался пожар сараев. Раздался топот лошадей, в кремль заскакали конные стрельцы. Передний крикнул:

---

[1] Большой медный барабан.

— Гей, сторонитесь! Где воевода?

— Вороти, служилый, к делу! Все знаю! — криком ответил воевода, спешно пробираясь к коню по монастырскому двору.

Раньше чем поворотить из кремля, стрелец еще крикнул:

— Разин пороками ломит Вознесенские ворота-а! Капитана Видероса убили свои же, чуй, воевода-а!

Стрельцы уходили из кремля, горожане, женщины с детьми бежали в кремль. Светало. В соборной церкви заупывно благовестили. В ответ благовесту на стене где-то высоко воззвал зычный голос Чикмаза:

— Гей, браты-ы! Бей в башнях на-а-бат!

— Батько иде-е-т!..

— Иде-е-т!..

В дальнем конце города в угловой башне завыл набат, вслед набату выстрелили пять раз подряд из пушки — казацкий ясак на сдачу города.

ЛАЗУШКА В МОСКВЕ

1

Темно. Заскрипели на разные голоса запираемые решетки и ворота города. На Фроловской башне пробили вечерние часы; как всегда, сторожа у московских домов застучали ответно в чугунные доски. Стало мертво и тихо. Тишину нарушит лишь иногда конный боярин, окруженный слугами с огнями. Тогда по грязным улицам поспятся желтые отблески. То протянет, громко матерясь, волоча из грязи ноги, палач с фонарем и подорожной бумагой, да лихие люди, пятная сумрак, мелькнут кое-где притаясь, выслеживая мутный блеск бердышей конной стражи проезжающих стрельцов. Только за Яузой шумит, поет и светит огнем немецкая слобода; там военные немчины гуляют, справляют свадьбы и, как говорят иные москвичи, «кукуют песни»...

В верхнюю горницу, сумрачно светившую образами в лампадах, старик-слуга ввел человека, смело ступавшего желтыми сапогами, обросшего курчавой бородой и волосами, падающими до плеч. Человек без сабли, но сабля скрыта длинным казацким жупаном, за кушаком пистолеты, из-под синего жупана при движении видны красные полы.

— Воззрись, матушка боярыня! Поди, чай, не признаешь?

— Ой, спужал! И как тебе, старому, не грех, на ночь глядя, волокчись прямо ко мне на женскую половину, да еще мужика чужого за собой тянуть?

— Чужой ли? Величаешь меня косоглазым, а я, вишь, прямо гляжу.

— Уж с кем это? Дай-ко, дай!

Близорукая полная старушка в летнем шугае шелковом, в кике без очелья, [1] подошла вплотную к гостю. Гость выдвинулся вперед. Слуга встал, сняв шапку, у двери.

— Батюшка! Свет Микола угодник, да ведь это Лазунка?

Старушка кинулась на шею волосатому человеку.

Верный слуга старый сказал:

— Ты, мать боярыня, поопасись!

— Чего такого, Митрофаныч?

— Вишь, сказывают люди — признан гость наш давно в «нетях» [2] от государевой службы... Не один раз про то сама слыхала...

— Чула, чула! Немало люди с зависти на других лают.

Лазунка, обнимая старуху, спросил:

— По здорову ли живешь, матушка?

— А всяко есть, сынок! Ты, Митрофаныч, поди — спасибо!

— Пойду, мать, и молчать буду, благо в дому у нас холопей — я да сторож Кашка!

Слуга ушел.

В другой горенке с открытой дверью разговаривали. Видны были в глубине ее, у окна, — где на подоконнике горели, отсвечивая в слюдяных узорах рам, три шандала масляных, — две девушки: одна русоволосая, другая с черной длинной косой. Девицы рылись в сундуках, обитых по углам цветной жестью.

— Ты рухледь скинь лишнюю, сынок!

Лазунка кинул жупан с шапкой на лавку под окна. Под жупаном на нем красная бархатная чуга, [3] тканая золотом с цветами, казацкая шапка опушена соболем, с рудожелтым верхом.

---

[1] Очелье — перед кики (кокошника), в праздники привязывалось отдельно с жемчугами.

[2] Дезертир (из помещиков).

[3] Узкий кафтан с короткими по локоть рукавами.

Рукоять казацкой недлинной сабли без крыжа блестела алмазами. Старуха подержала шапку в руках, оглядела чугу.

— Дитятко! Да тебе хоть на смотры государевы — рухледьто, эво! Чуга злащена, сабле и цены нет. — Взяла его за плечи и, снизу вверх глядя Лазунке в лицо, заговорила тихим голосом:

— Нынче, милой, все вызовы вписки заводит великий государь-от: дворяна, жильцы большие со всех городов идут на Москву конны, оружны, в панцырях, в бехтерцах [1]... Вишь, вор, сказывают, убоец лихой, на Волге объявился, города палит, воевод бьет, гонит, зорит церкви божии... И нынь по Москве всякому ходить опас от сыскных людей, рыщут — всякой люд в Разбойной что ни день тянут... И народ худой стал! Тягло прискучило, мятется, по посадам сбираются, а судят неладное: «налогу да тягло время сошло кинуть». Имя-от, вишь, того убойца лютого с Волги не упомню...

— При чужих, матушка, ты меня сыном не зови, кличь Максимкой, будто я тебе родня дальняя... И кой словом закинет, говори: «Приехал-де свойственник, боярский сын, беспоместный, на государеву службу против Стеньки Разина».

— Стеньки! Стеньки — вот я и упомнила... Годи-ка свечу запалю, при божьем-то огоньке сумеречно... Да еще одного в ум не возьму, пошто таишься?

— Митрофаныч тебе о том слухе верно сказал...

— Ой! страшишь меня, старую! Ужли тем худым вестям веру дать? А корили злые суседи изменничьей маткой и сказывали: будто бы на Волге был с саратовским хлебом, да кои люди еще были с патриаршими монахи—«их воры побили, а ты-де к ворам сшел»!

— Потом, матушка, обскажу... Вот ясти дай, да та горница или — как се — клеть на подклете цела ли?

— Как, храни бог, не цела! Куда ей деться?

— Там ко сну наладь... На Москве быть не долго... Гляну на тебя да про невесту Афимьюшку у тебя спрошу и, коль что, уеду скоро...

— Куда ты, родненький? О невесте твоей говорить нече — ушла! И обидна я была на твою Фимушку: обносчикам всяким вняла, тебя как попрекать зачала, лаяла вором...

— Должно, так сошлось... Нашла, вишь, пригожее.

---

[1] Доспехи из железных пластин.

— Ой ты, дитятко — пригожее... А богаче нас и родовитее... И уж истинно, как твои послуги будут у великого государя да жалованье, а то мы тощи... Сестрицу вот, поди, худо помнишь — махонька была, нынче просватали... Вот я ее созову.

— Пока что не зови, с тобой побуду.

— Ино ладно! С девкой роют приданое, — должно не перебрали, а кончат перебор, выйдут да огонь принесут.

— Сестрице тоже сказывай, будто я чужой.

— Дивлюсь, дивлюсь... Ладно, что от скудости нашей прожиточные люди не бегут. Дарьюшку с рук снимают, не брезгуют... Отец-от жениха — гость гостиной сотни, а дворянство наше захудалое. Да, вишь, и патриарший двор нынче иной, патриарха Никона свели бояре, он кое и сам сошел... судили, расстригли да на Бело-озеро послали... тепереча другой патриарх — Иоаким святейший... Да что я держу тебя голодом? Маришка!

— Не надо звать! Управься, матушка, сама...

— А и то. Послужу на радостях сама, да, вишь, радость-то недолгая...

Старушка засуетилась, сбегала куда-то, вернулась, принесла луженую братину.

— Тут мед имбирной, хмельной.

— Добро, родная моя!

— Еще калачи есть да холодная баранина, ветчина да брага есть.

Ушла и снова вернулась с едой.

— Все-то ум мне мутит... ужли, сынок, худому поверить надо? Я мекала, ты на свадьбе в столы сядешь, поживешь, да вижу — не столовщик?

— Время мало! Уйдет девка — с Дарьюшкой погляжусь... Была-таки мала, невеста нынче — идет время! Она меня забыла, пущай не знает. Я же, родная, буду ей как брат.

— Худо, сынок! Должно и впрямь есть за тобой неладное.

— Скажу потом...

— Кушай, кушай вволю!

— При девке тоже не забудь: зови Максимкой. Скажи, из Ярославля, по ратному зову.

— Скажу уж! Скажу...

Боярышня с дворовой девицей вышли из другой половины, принесли, поставили пылающие фитилями шандалы на стол.

— Неладно, матушка! Гляди, будет охул на меня, что какой-то чужой, молодой боярин ли, сын боярской в горенке ночью...

— То, доченька, родня из Ярославля, Максимом зовут, дяди Ивана сын. А пустила сюда, что иные горницы холодные да не прибраны. Мы скоро уйдем, бахвалить же ему некогда... Ты, Маришка, иди, да слов не распускай: я дочь свою строго держу.

Дворовая девица поклонилась и боком, любопытно оглядывая Лазунку, вышла.

— Сядь-ко, Дарьюшка! Молодец-от — родня тебе, да и надобной: от брата Лазунки из дальних городов здравьицо привез с поклоном.

— И поминки тож! — Лазунка встал, порылся в глубоких карманах жупана казацкого, вытащил золотую цепочку с двумя перстнями золотыми в алмазах: — Вот от брата!

Боярышня поглядела на подарок, лицо вспыхнуло:

— Ох, и хороши же! Я, матушка, велю попу Ивану то в мою приданую роспись приписать.

— А куда еще? Не мне краситься ими.

— Уж и роспись есть?

— Есть, родной! Исписал ту роспись поп Иван Панкратов арбацкой Николо-Песковской церкви... Хошь глянуть?

— Можно, мать-боярыня!

— Я, матушка, дам: роспись тут же в сундуке.

Боярышня бойко кинулась в горницу, в сумраке нашарила сундук и со звоном замка отперла, рылась. Мать сказала:

— Гораздо мед хмельной! Пей мене, — и тихо, оглядываясь, прибавила: — сынок!

— Ништо, родная. С этого не огрузит.

— Обык на Волге-то? Ране не пил так. Ну, бог с тобой, кушай в меру...

Боярышня с тем же звоном замка заперла сундук, принесла к столу желтую полоску бумаги.

— Чти-ко, гостюшко, вслух.

Лазунка читал:

— «За дочерью вдовы дворянского сына Башкова, девицею Дарьей Ивановной Башковой, приданого:

«Шуба отласная, мех лисий, лапчат, круживо серебряное, пугвицы серебряны.

«Шуба тафтяная двоелишна, мех белей, пугвицы серебряны.

«Охабенек камчатой, рудожелтой, холодной, пугвицы серебряны.

«Шуба киндяшная, зеленая, мех заячей хребтовой, пугвицы серебряны.

«Охабенек китайчатой, лазоревой, холодной.

«Шапка, вершок шитой с переперы серебряны позолочены.

«Шапка польская, бархатная, по швам круживо серебряно.

«Троух объяриной на соболях.

«Цепочка серебряна вызолочена со кресты.

«Десить перстней.

«Постеля с изголовьем и одеялом.

«Одеяло заячиное, хребтовое, покрыто выбойкою со цветы.

«К ларцу девка Маришка со всеми животы и, если будет мужия, и дети се на всю жизнь невесте в приданое ж».

— Тут не все! Есть еще образа.

Лазунка подпил, живя на воле, свыкся с иной жизнью и потому сказал:

— Все ладно, мать-боярыня, да пошто живой человек — девка — на всю жизнь в приданое, против того, как шуба и шапка?

Боярыня сердито двинула скамьей. Глаза заблестели, брови наморщились.

— Я Маришку не спущу! Маришку мне надо, да так и молыть нынче не велят.

— Наездился он, вишь, по чужим городам — там так не водится должно?.. с нами поживет, обыкнет, — сказала мать.

— Вишь, от брата Лазунки... про Лазунку нашего — худо его помню — говорить не можно, не то что...

— Ну, пошто так, доченька?

— Так вот... Не сказала тебе, матушка: гостила я, помнишь, у сестер жениха?

— То где забыть!

— Так у их за стеной в гостях дьяк был и про меня пытал.

— Ой?

— «Есть-де слухи, что Лазунка, зовомой «жидовином», сын боярской, что на Волге и еще какой реке, не упомню, сшел к ворам, да нынче у Разина в есаулах живет! Так уж не его ли сестра замуж за вашего сына дается?»

— Ой ты, Дарьюшка!

— Чуй, матушка, еще: «Нет», говорят жених, потом и отец

жениха. А сами перевели, говорю, на иное... Только дьяк, чую, все не отстает: «Ежели, говорит, то его родня, так сыскать про нее надо? Великого государя они супостаты!» А те, мои новые родные, сказывают ему: «Нет, дьяче, — это не те люди!» Потом углядела в окно — его пьяного повезли домой... Я, матушка, боялась тебе довести сразу — осердишься, пущать не будешь иной раз. А вот гостюшко затеял беседу, то уж к слову... Ты не осердись, родненька! У нас на Москве теперь пошло худое... Маришка вон по торгам ходит, сказывала, что народ всякой черной молыт: «Ватамана Стеньку Разина на Москву ждем, пущай-де бояр супостатов выведет да дьяков с подьячими, тягло и крепость с людей снимет!» А за тем речи людишек бьют да казнят.

Лазунка сказал:

— Прикажи, мать-боярыня, опочив наладить — сон долит.

— Чую... Сама налажу — не чужой. Поди-ка, Дарьюшка, к себе в горницу!

Боярышня поцеловала мать, низко поклонилась гостю, ушла. Лазунка проводил ее взглядом до двери, подумал:

«Красавица сестра! Не впусте жених заступу имеет: не даст в обиду с матерью. У купчины-отца денег много: от худых слухов да жадных дьяков откупится».

— Чего много думать? Скажи-ка, сынок, про дело лихое, какое оно есть за тобой?

— Завтра, матушка, нынь дрема долит.

— И то...Времени будет говорить, вздохни от дороги—постелю.

— А допрежь скажу тебе: не те воры, что бунтуют, — те пущие воры, кои у народа волю украли!

— И где, Лазунка, таким речам обучился? Какая, сынок, народу воля? Мочно ли, чтоб черной народ тяглой боярской докуки не знал и тягла государева не тянул?

— Бояре ведут народ как скотину, быть так не может впредь!

— Вот что заговорили! А святейший патриарх? Он благословляет править народом. Перед господом богом в том стоит... Царь государь всея Руси заботу имет по родовитым людям, чтоб жили не скудно, на то и народ черной! Что черной народ знает? Едино лишь бунтовать.

— Народ, матушка, бунтует не в пусте: волю свою попранную ищет! И ежели атаман на Москву придет, тогда не быть боярским да царевым порядкам...

— Ох, молчи ты! За такие скаредные речи тебя уловят, и мне замест почета пира дочерней свадьбы сидеть сиделицей в тюрьме, а то худче — на дыбе висеть.

— Наладь постелю, матушка! Злю я тебя, и нам не сговориться....

— Так-то лучше! Унялся нынь, за что и говоришь путаное бунтовское.

В горнице, где мать постлала постелю Лазунке, он долго и любовно разглядывал заржавленный бехтерец отца с мечом, таким же, в изорванных ножнах, висевших на стене. В углу у конника на лавке нашел пару турецких пистолетов со сбитыми кремнями.

— «Кремни вынять... возьму с собой, — подумал он, ложась, и решил: — С невестой кончено... Мать стара, несговорна, сестра к моему имени страшна за свою жизнь будущую, а мне одно — завтре, лишь отворят решетки, итти, чтоб сыщиков не волочить к их дому!..»

Чуть свет боярский сын оделся, готов был уходить.

Вошла мать.

— Проспался? Иное заговоришь, дитятко. И напугал ты меня, похваляя бунтовщиков вчера!

— Прости, матушка! Иду Москву оглядеть... Давно, вишь, не был, все по-иному теперь... застроено.

— Ды ты чего прощаешься? Чай, придешь? Опасись, сынок, ежели в чем худом, не срами, не пужай нас с дочкой: сам знаешь, ей только жить, красоваться.

— Прости-ко, матушка! — есаул крепко обнял старуху, — тешься тем, что есть, и радуйся! Не горюй о потеряхе...

— Ужли тебя потеряла? Ой, сынок! сердце, вишь, матерне горюет, слезу точит... И не дал ты мне порадоваться на себя... Ну, бог с тобой!

В воротах старый слуга встретил Лазунку.

— Прости, Митрофаныч! — Лазунка обнял старика, пахнущего луком, а с головы лампадным маслом.

— Бог простит, боярин!.. Лихом не помяни... я ж...—старик заплакал.

Лазунка было пошел, старик догнал его, остановил, зашептал торопливо.

— Матери-то не кажись... За нас идешь, а холопям жить горь-

ко... Так ты, боярин, ежели грех какой... я дыбы не боюсь!.. Приходи — спрячу, не выдам.

— Спасибо, старой!

2

Пробравшись в стрелецкую слободу, Лазунка нашел пожарище, не узнал места и нигде не находил схожего с тем, которое искал.

— Прошло много годов, вишь, застроилось!

Он упрямо вернулся обратно, глядел под ноги — едва видны были вросшие в землю обгоревшие бревна. Выросли на пожарище деревья в промежутках больших кирпичных амбаров с дверьми, запертыми висячими тяжелыми замками. Лазунка шагнул дальше. За амбарами кусты да остаток тына в бурьяне.

— Тут должно?

Он прошел тын, вросший в землю, пролез толщу бурьяна, вгляделся и увидал шагах в тридцати покрытую блеклой травой крышу. Подымался туман, крышу стало худо видно — он подошел вплотную: крыша длинная на заплесневелых столбах, меж столбами поперечные бревна поросли дерном.

— Теперь бы вход в этот погреб?..

Обошел кругом и входа не находил: все закрывал бурьян, в кусты бурьяна вели путаные многие тропы. Моросило мелким, чуть заметным дождем, в кустах бурьяна и кругом крыши вросшего в землю дома стоял густой туман — он все больше густел. С какой стороны пришел — Лазунка не знал, амбаров не было видно. Есаул остановился в раздумье, в первый раз закурил трубку. Дома, чтоб не обидеть мать, не курил. Перед ним шагах в двадцати что-то хрустнуло, из тумана все явственнее двигался к нему человек. Лазунка, сжав зубами чубук трубки, ощупал пистолет.

— Знать не будет, что здесь я, — ежели сыщик!

Вглядываясь, заметил: человек был молодой, шел на него уверенной походкой. Не доходя Лазунки локтей семи, остановился; был в поярковой шапке с меховым отворотом спереди, в темной однорядке малинового сукна; кафтан запоясан под однорядкой розовым кушаком с кистями.

— Эй, станишник, тебе здесь чего?

Лазунка, удивленный, молчал. Юноша, двинувший со лба

на затылок шапку, ему казался Разиным, помолодевшим на двадцать лет: черные вьются волосы, сдвинуты брови, и руки, привычно Разину, растопырив однорядку, уперлись в бока.

— Ты не векоуша, я чай? Чего здесь ходишь?

— Ищу вот пути в дом.

— Пошто тебе туда ход?

— Сказывали мне, детина: здесь живет жонка, Прасковьей звать?

— Она зачем надобна?

— Я, вишь, дальной человек, не московской — поклон ей привез с поминками, а от кого, потом скажу!

Юноша подошел близко; он давно наглядел пистолеты за кушаком Лазунки и сквозь жупан приметил изгиб сабли.

— Ин ладно! Но ежели ты за лихим делом — пасись!

— Ты кто ж такой?

— Сын ей буду.

— Добро! — Пролезая в кусты бурьяна за юношей, Лазунка думал: «Должно что Разина сын? Он же про то не обмолвился... Схож много!»

В подвале, куда сошли они, в обширных сенях на укладке горела сальная свеча, и только от ее огня между высокими сундуками можно было заметить низенькую дверь.

— Матка моя недужит... стонет, иножды плачет, а пошто — неведомо. — Прибавил: — Гнись ниже, не ушибись!

Под ногами боярский сын почувствовал ступени, обитые мягким, пахнуло жилым воздухом, зажелтели огни. Юноша ввел его в высокую горницу, с печью в углу и лежанкой. В правом углу, переднем, у многих образов горели лампадки, а на столе старинном, потемневшем, из дуба деланном, в серебряном трехсвещнике зажжены и оплыли две свечи. За столом на высоких подушках в цветных наволочках лежала женская голова с растрепанными русыми с клочками седины волосами. В ворохе сбитых волос покоилось исхудалое желтое лицо, глаза закрыты, тело, едва заметное под тонким шелковым одеялом, казалось мертвым: изогнутое у шеи, простерлось прямо и плоско.

— Ма-а-ма... чуй! Тут тебя налегает кой станишник.

Юноша сказал негромко, перегнувшись над столом.

Женщина, не открывая глаз, не меняя положения, спросила полушопотом:

— Станишник, дитятко?

— Ты очкнись!

Женщина молчала и не открыла глаз.

— К тебе я от Степана Тимофеевича с Астрахани! — громко сказал из-за спины юноши Лазунка и видел, как после его слов по тонкому одеялу прошла мелкая дрожь.

Женщина медленно подняла руку, провела ладонью по лицу и, тяжело повернув голову, открыла глаза.

«Ай да глаза!» — подумал Лазунка вглядываясь; он рылся рукой в глубоком кармане жупана. Поймав, вытянул серебряную цепочку с золотым крестиком; на концах крестика сверкали, дробясь искрами, синие камни.

— Вот, атаман дать велел...

Женщина спрятала руку, не взяла креста и, левой голой рукой запахивая распашницу, проговорила:

— Были бы груди на месте, и я не крылась бы, как лихой от караула... Крестик, голубь он мой... Ох, вишь, сокол бесценный, Степанушко, шлет данное ему в обрат — знать, память ко мне потухла? С пути, гость дорогой, ты? Надо вот чего наладить кушать, да, вишь, стою худо... ноги не держат... лежу не мало время колодой... И болести нету, а будто те вся таю, как у огня свеча, все-то в дому запустошила я... Васильюшко! Сходи, дитятко, в сени, вынь да принеси братину с ларя, коя с орлом, и кубок тоже... Гость дорогой, хоть помри, а чествовать надо! — Женщина говорила певуче, ее глаза и голос покоряли все больше Лазунку. — И уж как ты дорог-то, господи!.. — Она грустно улыбнулась; опустя на пол ноги, села на кровати. — Поди, дитятко!

— Чую, мама! — юноша бойко полез вверх в узкую дверь.

— А сядь-ко ты, гость-голубь, вот ту, на постелю ко мне... Не бойсь, хвороба моя не прилипнет, от сердца моя хворость, не от прахоти тела.

Лазунка сбросил на скамью жупан и шапку, быстро отстегнул саблю, вынул из-за кушака пистолеты, торопливо совал их на скамью, один упал, стукнул по полу.

— И как сладко стучит пистоль. Будто было то вчера: сокол Степанушко ронял их тоже, пинал под лавку... Теперь чую я подобно, едино лишь нога не шарчит... Как вчера! А много годков ушло!..

Лазунка сел на кровать. Юноша вернулся с братиной да двумя кубками.

— Ах ты, дитятко! Пошто два кубочка? Да нешто и мне пить с гостем?.. Пей-ко, голубь-голубой, мед доброй, переварной с вишенью!

— Чуй, мама, я пойду... слободские ребята за Москвой рекой кулашной заводят — так уж звали.

— Ох, не убили бы?

— Не убьют! Я однорядку, длинны рукава, как бой загорится, кину.

— Поди, да береги себя, дитятко!

— Не сумнись! — Юноша ушел.

— Вот он у меня: то кулашной бой, то саблей вертит, пистоли оглядывает, кремешки к ним винтит, а стрелить ладом не разумеет...

— Я мастер бить с пистоля, потому был боярской сын, так нам велели стрели учиться; обучу малого.

— Он в батьку Степана. Ты ему вразуми — скоро примет, голубь...

— За тем дело не стоит, укажу!

— Пей! Тебе добро — мне же прибавил ты и грусти и радости.

— Батько, Степан Тимофеевич, велел тебя сыскать, а говорил: «там Лазунка примут, замест родного».

— Ой ты, а как же еще? Приму.

— Много о тебе говорил, называл единой тебя, любой из всех!

Лазунка лгал, но хотел почему-то делать это. Понимал, что всякое слово об атамане хозяйку оживляет.

— Сказывал про меня? Что же сказывал? Как он помнит меня? Люба, говоришь, ему?

— Люба, люба.

— Ой, голубь! И спасибо же тебе! Ой, на радостях еще укреплюсь я... Хоть плясать нынче гожа и песни играть! Давай же выпьем вместях? Не спуста Васинька два кубка принес, как чуял что...

Руки Ириньицы дрожали, она не могла поднять кованой серебряной братины. Лазунка встал, отодвинул свечи, налил два кубка.

— Постучим да побрякаем кубками за здоровье моего сокола

ясна, Степанушки! Вот... ахти я, грешная, помирала и вот ожила. Ой, голубь, ладно ты пришел!..

Они выпили меду. Приньица подвинула к себе подушки, слегка прилегла на них спиной, говорила:

— О сынке спрашивал ли?

— Нужное время было! Торопился он, ему же с есаулами говорить прилучилось — наказы дать... Мало сказал о сыне.

— Да и где много? Василька тогда в зыбке качался...

— О дедке, помню, каком-то сказал. А твой где тот дедко? «Мудрый-де старик, а помер, мекаю я», — так молыл батько.

— Ой ты, голубь! Помер-то помер, да вот как помер, — скажи! Любил он старика Григорея... В тен годы, когда Никон-патриарх божественные книги переменил, старые жечь велел, мой дедко Григорей, царство ему небесное, будто из ума вышел. Кричит, веригами звонит, в железах все ходил: «что-де убойство великое, многи крови пойдут от тех никоновых дел! И что-де не едино ли одно, како молиться: право ли, лево, альбо всей долонью, или же кукишом. Ежели-де бог есть, всяко примет молитву; а нет его, хоть лбом о камень бей, корысти мало!» Я его и уговором ласковым от тех слов отводила, иножды всякой ругливой грозой. А вижу, не иметца, и тен слова кричал много раз народу на торгах. Сам древний, трясся весь, и народ лип к нему... А тут на кабаке, — мне довели люди, сама не глядела, — тен же слова кричал. От Никона сыщики были всюду. Имали его тайно, явно-то народ мешал, свели с кабака на пытку... И на пытке тое ж кричал, не стрекся своего... Допросили, где живет, пришли выпять его рухледь, а с рухледью сыскали книги травные с заговорами. И древнего с теми книгами спалили живьем на дворе Патриарша разряда против того как бы и колдуна... Уй, голубь, после палов дьяк Судного приказу ладил сыщиков созвать да нас с Васюткой обрать ту... И что бы с нами стало, не ведаю, а страху приняла, и може с того страху да еще с тоски по милом соколе легла... Только, вишь, злой наш мир, да есть еще добрые люди. Сыскалась заступа, о коей я не гадала... В пору, когда Степанушко мой был иман в пытошную башню боярином Киврием и когда его брателку тот же злодей Киврин порешил сговорно с Долгоруким князем, — я тогда, о Степане моем горюя, шиблась к боярину. Он же, старой злодей, мне в пытошной у стены скована его, Степанушку, показал и явно ему,

окаянному старику, было, что сокола моего единого люблю, и о Васиньке допросил, а хотел он разом порешить весь корень Степанушки... И из башни той злодей пытать меня повел... Дьяку велел держать за руки крепко и титьки мне — вот — Ириньица распахнула платье на груди. — Вишь, сокол, груди будто волки грызли! Клещами калеными выдрал сам, без палача, а палачу потом велел: «Бери-де и делай!» Дьяк-от, кой держал меня допрежь свиданья, не велел мне пасть боярину на глаза да проситься свести в башню: велел итти в обрат, домой... Я не такова: «хочу видеть сокола моего!» Дьяк тот, вишь, любимой у боярина Киврина был и жил в его дому замест сына... Полюбил он меня, пожалел ли, как груди выдрали у бабы, только тогда в башне с боярином заговорил крепко, за меня упросил... Зовут того дьяка Ефимом, и по Ефимову прошенью Киврин меня спустил. Только груди сорвал, а палачу не дал. Рухледь мою стрельцы принесли да свели меня за Москву-реку... И позже, как спалили дедку Григорея, тот дьяк Ефим за нас с Васяткой встал против дьяка с сыщиками... Нынче тот Ефим дьяк коло царя, испросил царя, как тогда Киврина, нас не шевелить, и то дело о нас кануло по сей пору... Ой, уж натерпелась я не за себя — мне самой-то, голубь, все едино! Хворая... Еще Степанушку бы глазком одним глянуть да и помереть... За Васятку вот боязно — смел гораздо, горяч, суется, не пасясь ни мало... На Москве же, — сам, поди, ведаешь, — надо быть двоелишным... Кто здесь смел — тот и улип!

— Ладил я седни по городу ходить, людей глазеть да слушать. Мне и атаману то сгодится: Москву знать.

— Сказывал сынок мой Васинька, что седни дождь да сумеречно. Против того и решетки ране времени задвинут. Так уж ты, голубь, не ходи. А я наберусь сил, стол накрою, поешь. Ходить будешь завтре, да одежу краше будет твою сменить: к такой светлой одежде приленятся исцы ли, а то и лихие люди... Надень-ка посацкую, тогда ходи без опасу.

— Добро! То я думал сам; не знал, где взять проще рухледь.

Ириньица кое-как встала. Лазунка помог ей из-за стола выбраться. Она накинула летний зеленый капот-распашницу, сходила в сени, принесла еды.

— Вот с дороги — не лишне.

— Я не нынче с дороги.

— А где ж ты был, голубь? Меня, вишь, обошел перво.

— У родни был... — неохотно отозвался Лазунка, вешая голову.

— У боярской родненьки?

— Да, у матери с сестрой...

— Ой, поди, боятся тебя?

— Боятся... И сам я к ним не пойду... потом если... когда...

— Все смыслю... Либо со Степаном Тимофеевичем, альбо с боярами быть!

— То оно...

— Ешь-ко, сокол! Мать родную потерять тяжело, кто скажет иное?.. Испей еще, да коли же мало хмелю, брага и водка есть. А после, как напитаешься, покажу забвенное, скрытое место, там, сколь надо, и жить будешь...

После еды Ириньица привела Лазуньку к большому сундуку в углу за печью; он поднял крышку, она сказала:

— Отрой, голубь, рухледь в сторону от задней стены!

Лазунка отодвинул платье.

— Вот тут щупай: есть в гнезде защелка, нажми перстом.

Лазунка сделал так, как указано: задняя боковая стенка сундука опустилась вниз.

— Теперь лазь туды!.. Там внизу горенка. Жар сдолит в ей — отодвинь окошко: будет вольготной дух в горнице... У образа негасимой огонь. Ежели с ним тебе сумеречно, свечи зажги.. Кровать, одевало, все есть... В ней хоронится мое узорочье да кои шубы собольи. А дверку подыми, она захлопнется. Выйти, тогды защелку увидишь, спустишь дверку... Тут в передней всякие люди залезть могут и те, коим корысть надобна. Ту же горницу никто не ведает, и колодезь, водушка в ей есть... Сделана же та горенка в давние времена от пожаров и лихих людей сугревы.

Лазунка забрал свои вещи, влез в сундук, нащупал ногами ступени, сошел вниз, подняв дверь на место. Горенка, куда спустился он, небольшая. В ней изразцовая печь в стене. Вся горенка тускло сияла потертой золотой парчой, скамьи и лавки обиты дымчатым бархатом. На одной из стен висело медное зеркало, старинное, в серебряной раме. В углу образ хмурый греческого письма, с зажженной лампадкой; поля образа в жемчу-

гах по парче с диамантами в серебряных репьях.[1] Зеркало висело над укладкой. На укладке темного дерева четыре свечи. Лазунка зажег две, взял тяжелый подсвечник с огнем, потянулся к зеркалу. В желтом сверкающем на него глянул мохнатокудрый бородатый человек с острыми глазами, в шапке. Лазунка улыбнулся, в ответ ему улыбнулось лицо из желтого. Зная, что это он сам, Лазунка все же сказал:

— А ведь это я? Эх, и оброс же! Дивно, что признали меня мать с Митрофанычем!

Он долго внимательно разглядывал украшенное подземелье, отодвинул на сторону слюдяное узорчатое окошко — повеяло холодком.

— Вот где можно от всех ворогов убрести.

Подошел со свечой в руке к столу приземистому, с ножками, обитому серебром, открыл на средине стола ларец с грузной крышкой: в ларце были золотые вещи — ожерелья, запястья, кольца, перстни. Вся золотая кузня унизана драгоценными камнями.

— Го-о! Да хозяйка моя мало чем мене богата самого батьки!

Лазунка захлопнул ларец, пошел по горенке оглядывать стены. На одной из стен, ближе к печке, висели соболья шубы, куньи шуган, поволоченные зарбафом, камкой одамашкой, кики с жемчужным очельем, чедыги, низанные бурмицкими зернами.

— Добро, что дьяки не ведают ту горницу! Быть бы хозяйке в тюрьме, узорочью расхищену.

В другом углу, так же как образ, висела большая парсуна[2] поясная. И к ней со свечой подошел Лазунка. Письмо темное: седой старик в горлатной[3] куньей шапке, в синем кафтане, по кафтану писан красный кушак с золотыми травами, концы кушака жемчужные, за кушаком рукоять ножа. Лазунка, любопытствуя, переходил от одной стены к другой и незаметно почувствовал в этой глубокой тишине усталость.

— Худо спалось! А дай прилягу? — Погасил свечу, поставил на укладку и, откинув шелковое одеяло кровати, привалился к подушкам, не снимая шапки, которую надел, влезая сюда, чтобы не нести в руках, и крепко заснул... Проснувшись, он

[1] Репье — серебряный цветок в форме репейника.
[2] Парсуна — персона, портрет.
[3] Горлатная — из меха с горла куницы или других.

не знал, долго ли спал и ночь теперь или утро. Встал, нашел на полу упавшую во сне шапку, пошел вверх по ступеням, думая:

«Не спросил, как запирается дверь и как открыть с иной стороны?»

В мутном свете огня лампадки увидал вверху железный крючок, повернул его вправо, и дверь опустилась. Лазунка, сгибаясь, пролез в отверстие, выглянул: Ириньица ходила, прибирала горенку медленно, но бодро. Юноша сидел на лавке, одетый в свой прежний кафтан, шапка лежала на коленях.

— Должно, что день? — Лазунка вылез, подняв за собой дверь потайной горенки. — Теперь ба умыться мне?

— Умойся, гость дорогой! Я скоро, голубь, принесу водушки. — Ириньица ушла в сени, вернулась с кувшином и полотенцем. — Мойся ладом, а то черной шиь какой: голубем зову, он же будто те ворон.

— Ворон, да не ворог! — отшутился Лазунка. — Али уж день?

Ириньица, поливая ему на руки над тазом, грустно улыбнулась.

— День-от божий, да люди — царские бесы звериные...

— А ну-ка, Василь Степаныч! Укажи место, где можно стрелять из пистоля— дай поучу!

Юноша вихрем сорвался с лавки.

— Ай да стапшшик! Матушку почесть что излечил, да меня обучит.

— Ой, куда вы, соколики? Поешьте там подите, да ты, Васильюшко, принеси гостю из сундука, что в углу, бахилы и посацкую одежду с шапкой...

— Покуда ты, хозяюшка, собираешь стол, мы оборотим!

Лазунка с Васильем ушли. Ириньица, собирая еду да ставя кувшины с квасом, брагой и медом, слышала уханье выстрелов за дверями вверху дома.

— Созовут стуком огненным беду, учуют сыщики, всюду рыщут!

Скоро оба вернулись.

— Целой клад, матушка, наш гость! Как он бьет из пистоля, я таких еще не видал бойцов... В шапку глянь, шапку кидал — пробил, в пугвицу попадает — беда!

Лазунка, выпивая и закусывая, сказал:

— Работничек я твоего батюшки, Василий!..

Ириньица погрозила глазами Лазунке, сказала:

— Сходи, сынок, коли подкормился, принеси ему платье обменить... Надо гостю Москву позреть.

Юнота ушел. Ириньица обратилась к Лазунке:

— Пока что, говорила я ему, сынку-то: «отец-де помер». Иначе зачнет еще думать худое, что зауглок он прижитой кой-где, и меня перестанет любить. Того боюсь!

Лазунка переоделся в принесенную одежду. Ириньица собрала его казацкое платье в узел, завязала крест-на-крест рушниками.

— Куда, гость голубь, прикажешь саблю сложить? Али все в горницу, где опочивал, положить?

— Все прячь, хозяюшка, пистоли тож, окромя одного, кой поменее, тот заберу с собой. А теперь, Василька, повой стрелец-молодец, пойдем на Москву глядеть!

— Ты, дитятко, на весь день не уходи — надобен!

— Верну скоро, мама!

Оба ушли.

3

В царской палате у окна в углу — узорчатая круглая печь; дальше под окнами — гладкие лавки без тюфяков на точеных ножках; у лавок спереди деревянные узоры, похожие на кружево. Потолок палаты золоченый, своды расписные. На потолке писаны угодники: иные в схимах, иные с раскрытыми книгами в руках. На стенах в сумраке по тусклому золоту — темные головы львов и орлов с крыльями. Выше царского места за столом, крытым красным сукном с золоченой бахромой, на стене образа с дробницами [1] кругом венцов в жемчугах и алмазах. От зажженных лампад пахнет деревянным маслом и гарью. Из крестовой тянет ладаном: царь молится. На царском столе часы фряжские: рыцарь в серебряном шлеме, в латах. Часы вделаны в круглый щит с левой руки; в правой — рыцарь держит копье. Тут же серебряная чернильница, песочница такая же и лебяжьи очиненные перья, да вместо колокольчика «позовного» золотой свисток. В стороне по левую стол дьяков, покрытый черным.

---

[1] Множество мелких иконок, звезд узорчатых.

Над столом согнулись к бумагам: дьяк Ефим, питомец боярина Киприна, с длинной светлорусой бородой такими же волосами, расчесанными в пробор, кроме Ефима еще три дьяка. Дьяк думный в шапке, похожей на стрелецкую, с красным верхом: верх в жемчугах, шапка опушена куницей. У думного дьяка на шее жемчужная тесьма с золотым орлом. Остальные дьяки без шапок: лишь у Ефима на шее такая же тесьма с орлом, как и у думного. На лавках, ближе к царскому месту, два боярина в атласных ферязях с парчевыми вошвами на рукавах узорчатых, шитых в клопец.[1] Один боярин в голубой, другой в рудожелтой ферязи, оба в горлатных шапках вышиной около аршина: шапки с плоским верхом, верх шире, низ уже. Ближе к царскому месту боярин, сутулый, широкий, длиннобородый, с посохом, — боярин Пушкин и новый любимец царя — «новшец», любитель иноземщины — с короткой бородой и низко стриженными волосами.

Полумрак палаты рассеял вошедший со свечой в руках, одетый в бархатный кафтан, боярин-стольник. Он медленно, лениво и торжественно зажег на царском столе свечи: три толстых восковых да одну приземистую, сальную. Гордо, как и вошел, не взглянув ни на кого, так же вышел. В палате слышно заглушаемое гуденье причетника да редкие приторно-вдохновенные возгласы царского духовника, без очереди взявшего сегодня службу: иначе служат очередные попы.

Боярин в голубой ферязи повернул голову к другому, согнувшемуся на посох.

— Ты, боярин Иван Петрович, остался бы и не сходил от дела! Великий государь твоей службой много доволен.

Боярин в рудожелтом молчал.

— Ужели боярину прискучило ежедень видеть государевы светлые очи?

Боярин над посохом мотнул высокой шапкой, крякнул, другой не унимался.

— И не возноситься бы князю Одоевскому родом!

— Нынче род в меньшей чести пошел против того, как прежде... я чай — выслуга да ум дале заскочат?

Боярин закачал шапкой, отделив бороду от рук и посоха.

---

[1] Особая вышивка, узорчатая, золотом.

— Был я, Артамон Сергеевич, много надобен, да, вишь, есть нынче те, что застят мою службу пред великим государем!

— Эх, умен, боярин Иван Петрович! Но вот поди ж, должно, большому уму тоже часом поруха есть?

— Что сказываешь, Артамон Сергеич? Ко мне ли слова твои?

Теперь боярин в голубом сделал вид, что не слышит Пушкина, он продолжал свое:

— Пустая, неумпая эта вековечная пря — «кому и где сидеть?» А мне сидеть едино хоть под порогом.

— Худородному всяко-то однако! И в корыто, а было б сыто! Нам, боярин, дедина честь не велит сидеть ниже Одоевского.

— Ох, и худороден я! Дьяки, боярин, были мои отчичи, да у великого государя не обойдены мы честью.

— Вишь вот! Молчал я, боярин Артамон, а ты меня, как рогатиной медведя, по черевам давай совать, и вот я когти спущаю, не обессудь...

— Попрек в худородстве, Иван Петрович, меня не сердит. Сердит же меня то, что умной человек, гожий, государское дело кидает для ради упрямства.

— А ну, еще мало, и смолкну я. Князю Одоевскому, Артамон Сергеич, — не то место в столе, дорогу даю: «бери-де, князь, правь разбойны дела!» Я ж что?! Пора... на покой...

— А как еще о том великий...

Спешно из крестовой в палату вошел причетник, широко шагая под черной рясой пудовыми сапогами, да чтоб не стучать, норовил встать на носки, срывался, шлепал. От него пахло дегтем и винным перегаром с редькой. Причетник, багровея широким лицом, пихал за пазуху богослужебную книгу. Он быстро прошел. Бояре встали. Вышел царь из крестовой с духовником, говорил шутливо:

— Уж нет ли, отец Андрей, у тебя прибавы семьи? Охота есте воспринять твоего младенца. Да жди, — приду! К куме протопопице приду: знатно она у тебя изюмную брагу сготовляет.

— Пожалуй, великий государь, приходи! И как рады-то с протопопицей будем, несказанно рады солнышку!.. Даром что крестить стало некого, зато крестники твои, великий государь, растут. Порадуй, окинь оком.

— Твой причетник, отец Андрей, от редьки крепко запашист

духовному оно и подобает, но пошто еще дегтем? Уж придется разорение взять на себя — дать ему новые сапоги из хоза...[1]

— Пропойца он, великий государь, — всяк дар в кабак волокет, за голос держу — глас редкостной.

— А ты б его, Савинович, яблоки кислыми врачевал, кормил — сказывают, иным помогает?

— Исполню, великий государь, — спробую!

Царь прибавил:

— Иди, отец! Вишь; дела ждут.

Протопоп, поклонясь низко, ушел. Царь, входя на свое место, сказал:

— Садитесь, бояре! Оба вы нужные. И перво, Артамон Сергеевич, скажи-ка мне, когда пригоднее будет нам учинить воинский смотр, а пуще, ладно ли съезжаются на Москву дворяне, жильцы и дети боярские?

— Великий государь, окладчики[2] доводят, что находятся в «нетях» многие дворяне новгородские и ярославские.

— На то, боярин, есть указ воеводам, и тот указ здесь имеется; а будем ли дополнять его, про то обсудим. Дьяче, поведай письмо!

За дьячим столом поднялся дьяк Разрядного приказа. Развернув длинный столбец и минуя имя воеводы, потому что оно было известно царю, читал внятно и очень раздельно:

— «А которые дворяне и дети боярские против списков и десятин у денежного жалования не объявятца и тебе бы, воевода, и выборным лучшим людям про тех допросити окладчиков, где ныне те дворяне и дети боярские и новокрещены мурзы и татаровя: на службе или в отсылках или где у дел? Или которые померли? И зачем кто на государеву службу не приехал: своею ли ленью или для бедности? И поместье за ним и вотчина есть ли? И где живет? Да что про тех окладчики скажут, и им велеть тех дворян и детей боярских и новокрещенов в десятнях написати по окладчиковой сказке, которых городов дети боярские атаманы и казаки и татаровя по осмотру будут в «нетях», и про них расспрашивать тех же городов окладчиков и лучших людей: дворян и детей боярских, и князей, и мурз, и татар. Да что про тех

---

[1] Хоз — выделанная козья кожа; иногда из нее делали сафьян.

[2] Оценщики, определявшие количество людей и пр., которое обязан был дворянин представить на войну.

«петчиков» окладчики скажут, и им то велети исписать на список и велеть к той сказке руки приложити, да о том отписати к государю тотчас, и список...»

— А ну, и буде! — Дьяк поклонился.

Боярин в голубом сказал снова:

— Жалобились, великий государь, воеводы Юрья Борятинский да Богдан Матвеевич Хитрово, что обозы и пушки у них мало устроены, а бомбометного дела людишек совсем нет, так вот иных охочих по тому делу мастеров надо сбирать не мешкотно... Ежели воеводы придвинутся и будут очищать города, то бомбометчики нужны. Воровское же собранье множится ежедень и идет снизу до Самары.

— Есть, боярин, такие люди! Шлем их на нашу государскую службу — да вот! — царь перевел глаза на огни многих свечей дьячего стола.

По его взгляду встал дьяк Пушкарского приказа, перекинув длинную бороду через плечо, чтоб не мешала, читал:

— «Роспись мастеров, обученных у иноземцев Васьки Борисова да Игашки Климова, которым велено итить на твою, великого государя, службу, — им надобно запасов:

«Пушка гранатом два пуда, к ней сто пятьдесят гранатов.

«Пушка гранатом пуд, к ней гранатов сто шестьдесят.

«К ним запалов четыреста, а пороху на медные и на деревянные пушки сколько будет надобно и на зажигательные ядра селитры литрованной пуд с пятнадцать, серы горючей пять пуд, воску два пуда, терпентину пуд двадцеть гривенок. Смолы — сколько надобно будет, два котла медных — один ведер в шесть, в чем смолу топить. Льну десять пуд; дегтю — сколько надобно будет. Еще котел, в чем селитро перелитровывать — ведра в два. Иголь медная с толкушкою медною, чем составы в зажигательные ядра толочь. Камфары пятнадцеть гривенок, десять гривенок салмиряку. Антимонии двадцеть гривенок, ртути живой двадцеть гривенок. Пятьсот пыжей деревянных к тем же пушкам; пятьсот кругов — в два аршина — веревок. Крашенины доброй сорок аршин, ножницы, молоток ударной, чем в зажигательные ядра заколачивать гвозди, три сита. Доска липовая, на чем состав стирать. Шестьдесят колец железных к зажигательным ядрам да к ним же шестьдесят чашек, да к ним же стволов, из которых зажигательных ядер бой дают, сколько надобно. Да к ним же

надобно четыре кочедыга[1] железных по образцу чем ядра зажигательные оклетать, да к ним же надобно две сваи железные, да четыре молотка деревянных».

— Буде! Чти, дьяче, кому та бумага дается?

Царь строго поглядел на боярина в голубом.

Дьяк громко закончил:

— «Да и то все и пушки, и гранаты, и всякие припасы указал великий государь прислать из Пушкарского приказу в Новгородской к окольничему к Артамону Сергеевичу Матвееву да к думным дьякам Григорью Богданову да к Якову Поздышеву».

— Нынче же, Артамон Сергеевич, была челобитная от тех мастеров бомбометного дела, «что-де до сей поры им ничего не дано!»

— Был я в отлучке, великий государь: с жильцом Замыцким мы объезжали по местам, где копятся воеводы, и жалобы их друг на друга собирали. И на то дал я отписку в Разрядной приказ, а ее, стало, не довели тебе?..

— Ну, ин ладно, боярин! Сыщи сам, да скоро дай все, что потребно мастерам, и ежели замотчанье от Пушкарского приказу, — сыщи и мне доведи.

— Исполню в скорости, государь!

— Теперь же послушаю Ивана Петровича.

Пушкин встал.

— Я, великий государь, буду сказывать то же, что ближе к делу...

— Добро нам, боярин!

— Седни, великий государь, довели мне стрельцы, а сказывали: «вот-де не по один день, ходя по утренней смене с караула, чуем мы бой с пищали альбо из пистоля на устороньи стрелецкой слободы, около анбаров купца Шорина». Дознавал я, государь, не мешкая мало, и сыскал: на пустошном месте за анбарами есть дом с виду пуст... По обыску писцовых книг ведается тот дом тяглой за посацкой жонкой именем Ириньицы... С видов ничего, смирна, на торги и в церковь ходит, живет сыном... Я же свое мыслю: есаулы богоотступника вора Степана Разина, когда пришли на Москву бить головами тебе, государь, и мы

---

[1] Кочедыг—шструмент, которым плели лапти.

их по твоему указу свели на Земской двор и разобрали, да сослали в иные городы... Мне до сей поры кажется, великий государь, что один из них или два, того не досчитался, когда вели их от караула, сошли...

— Сказывай, боярин, — добро!

— Так и мыслю я, государь, про ту жонку, не становщица ли она ворам? Люди мои всю Москву перерыли — нет таких. А мне сдается — есть! Стрельба же кому дозволена? Едино лишь тобой, государь, и на воинском ученьи... В городе, в слободах никто стрелит...

— Сыскать надо про жонку, боярин!

Боярин не ответил царю. Молчал и царь.

За столом дьяков встал степенный дьяк Ефим, поклонился, сказал царю:

— По памяти к моему благодетелю боярину Киврину, царство ему небесное, прошу говорить перед великим государем о той жонке!

Царь махнул рукой:

— Дьяче, сядь, жди поры.

Дьяк сел и взялся за бумаги.

Пушкин снова заговорил:

— Еще, великий государь, не далее как завчера поутру пришел в Разбойной ко мне казак, назвался Шпынь, а сказывал: «Я-де из-под Астрахани». Подал тот казак мне цедулу малую от воровского есаула Васьки Уса: «что-де молю великого государя ему, Ваське, и тому казаку Шпыню прежние разбойные дела спустить и место дать в войске донском служить головой государю, а зато-де вора Стеньку Разина я изведу»!

— С собой, боярин, та воровская цедула?

— Нет, великий государь! Казак имал ту цедулу со стола и подрал, а когда я к нему с гневом обратился, он ответил: «Я ничего не боюсь! То, что довел, знай, иного не проси, если хочешь, чтоб мы с Васькой послужили государю», и ушел... Я же про Ваську Уса, государь, казаков опрашивал, да в Посольском приказе нашел грамоту старую, то правда, досюльную, в ней же указано, что Васька Ус своровал против старшины войсковой и государя: «шел-де на государеву службу, да деревни и села в пути зорил...» Когда тот казак Шпынь подрал цедулу,

тут мне, государь, сумнительно стало, и довожу тебе, чтоб знать, как быть с казаком?

— Время тяжелое, боярин! Кто против вора Стеньки Разина теперь объявится, всякого лаской брать: казак ли, есаул ли или татарин ли, черемисин... И ты того казака Шпыня вели поставить на двор и корм чтоб ему дали, и коню против того, какой дается донским станишным людям... О службе того Васьки подумаем со многими боляры особо...

— Будет все справно, по слову твоему, государь!

— Еще, бояре, советовал я нынче со святейшим патриархом, и святейший отец наш указал, «что время то, когда надо предать богоотступника Стеньку Разина анафеме»! Как вы думаете о том?

— Что постановлено, великий государь, тобой и святейшим патриархом, по-иному и быть не может...

— Святейший патриарх указывал мне: «Собрать бы-де иных мудрых людей и опросить».

— Дело это, великий государь, устрашенное для черни, а потому мыслю я: Артамон Сергеевич — боярин книгочей... И что по тому делу в книгах указано и как то у иноземцев бывает, ему ведомо...

— А ну же, Артамон Сергеевич! Правду Иван Петрович указывает...

— Государь! Коли-ко позволено сказать мне, то читал я книги многие о народах, верах, обычаях и расспрашивал коих иноземцов и не нашел нигде сугубее устрашения, как у персов...

— Они же бусурмане, боярин! Какая же анафема у бусурман?

— А вот, великий государь, — на празднике Байрам-Ошур или «день убиения пророка», «день мухаррема» и еще как... при многом стечении народа персы везут на коне одетого болвана с луком, саадаком и стрелами, и тому болвану всяк плюет и заушает его... Потом же, после многих заушений болвану, везут подобие убийцы пророка в поле и сожигают всенародно, — уже не подобно ли сие анафеме?

— Подобно, боярин Артамон. Но это есть лицедейство. Патриарху же претит такое.

— И патриарх, великий государь, узрит в болване образину проклятого, попираемого попами...

— ...духовенством, Артамон Сергеевич!.. И думаю я: сказка

твоя о болване не лишня будет! Что ты скажешь, Иван Петрович?

— С болваном анафема, великий государь, черному народу устрашеннее...

— И так, да создадим болвана, одетого бунтовщиком. Тебя же, Артамон Сергеевич, спрошу, когда созовешь меня с царевнами на свои лицедейные потехи?

— В скорости, великий государь! В селе Коломенском строят того для палатку и устрояют немешкотно...

— Сядьте, бояре! Ты, Иван Петрович, и ты, боярин Артамон, да послушаем, что доведет нам дьяк о воровской жонке.

Дьяк Ефим встал:

— Великий государь! Благодетель мой, Пафнутий Васильевич боярин Киприн, сказывал мне про тое жонку Ириньицу, и было то в памятной день его смерти, когда шел он, великий государь, стоять с правдой противу покойного Квашнина Ивана...

— Ой, старину вздымаешь, дьяче!

— А тако говорил благодетель мой: «Иди, Ефим, в стрелецкую к жонке, зовомой Ириньина — ту, на пожарище врослой дом, и сыщи: не стоят ли у ее кои воровские люди? И нет ли корней с теми ворами, что седни взяты на пустом немецком дворе в слободе за Никитскими вороты?» И я, великий государь, в горе да хлопотах о панафидной памяти Пафнутию Васильевичу то дело забыл и воли его не исполнил... Всякую же просьбу благодетеля моего я, государь, исполнял необлыжно и немешкотно... Повели, великий государь, ныне мне исполнить волю покойного боярина! Многажды с укором и помаванием главы виделся он в снах мне, и не ведал я, чем согрешил? А ныне знаю все! Я сыщу про жонку и, кому укажешь, государь, дам о сыске том полную сказку....

— Не поздно ли опое, дьяче? Я тут не мешаюсь, а вот что заговорит боярин Иван Петрович, на том и дело станет.

Пушкин, не вставая, сказал:

— Великий государь, моего запрету к сыску дьяком Ефимом Богдановым сыном Киприным нет. Дело с жонкой недознанное — стрелы быть могут ньянными рейтарами альбо драгунами, благо место пустопное. Пущай дьяк возьмет городовых стрельцов да сыщет: бумагу на подъем стрельцов дам... Дьяк же поруху свою покроет, а память боярина Пафнутия Киприна стоюща:

много любил старик государя и Русию. Да заедино к слову: спусти меня, великий государь, от разбойного дела. Ищет таковое место князь Одоевской, да и Ромодановской туда же глядит!

— Нет, боярин, пожди с уходом... Одоевскому князю приберется свое дело... Время нынче нужное, — не то время, чтоб воевод из приказов снимать.

Боярин встал, упрямо тыча головой в высокой, тупой шапке, кланялся много и твердил:

— Не гневись, государь! Спусти холопа своего, спусти, государь!

— Пора мне, бояре! Идите со мной откушать... И ты, дьяк думной, с нами будь! Да вот оповестите иных ближних бояр, думных — много еще дел воинских, обо всем говорить надо.

Царь, подбирая полы своего пространного парчевого наряда, медленно стал выходить из-за стола.

4

Лазунка перешел на Москворецкий мост.

— В кремль, на Иванову? Там народ гудит обо всем.

Оглянулся боярский сын, увидал знакомую баню — сруб еще более покосился, окна, заткнутые вениками, почти сравнялись с землей.

— Здесь меня батько Степан боем сабли встретил, теперь же иное... Соскучал, поди, обо мне? За лиходельницу бабу заступился тогда и в пяту пошел...

За баней недалеко по берегу—кабак. Люди из бани с вениками под пазухой мимоходом сворачивали в кабак, и те, которые шли за мост в слободы, тоже не миновали кабака.

— А тот кабак чем плоше Ивановой? В ем узнаю то, что надо мне.

Одетый у Ирины посадским, в полукафтанье, сером фартуке, Лазунка походил на мелкого торгаша.

Было хотя рано, только день без солнца хмурый, а потому на стойке большого кабацкого помещения горели свечи. Да и сам целовальник не любил сумрака. Боясь просчета, близорукий, он, давая сдачу, долго около свечи крутил и мял в руках монету.

— Ты бы ее кусом!

— Запри гортань, советчик! Чай ведаешь, что всяк прощет целовальнику у приказа Большой казны батогами в спину дают!

— Тебе ништо... черева отростил и мяса много, да и как не прощитаться, когда в свой прируб напихал баб!..

— Ты кто будешь — голова кабацкой, што ли? Да и тот про меня слова худа не кинет!

— Я питух... Я говорю тебе, едино чтоб язык мять...

— Так не кукарекай — петух ли, кочет, чорт те в глотку скочит! Два алтына! Два, два давай, бес!

— На, возьми! Ишь, какой норовистой....

Лазунка, усевшись за питейный стол, оглядывался любопытно: давно не был в Москве, народ ему казался новым.

В чистой половине кабака в прирубе широко распахнуты двери. Там около топившейся печи с черным устьем сидели на шестке и скамьях кабацкие жонки — те, что помоложе и чище одетые. Горожанки, зайдя в кабак искать мужей, шли туда же; найдя в кабаке мужей, брали от них хмельное, несли в прируб, пили. Кабацкие гадали горожанкам по линиям рук, иные на картах. Пели песни. Лазунку попросили двинуться на скамье — за длинным столом делалось тесно, и древние скамьи трещали от вновь прибывающих питухов. На столе от различных питий становилось мокро.

За спиной Лазунки кто-то тоненько звонко голосил:

— Эх, братцы винопийцы! и места за столом Ершу нету...

— Сыщем место, Ершович Ерш. Пожмись, народ!.. Ерш дьяком не был, а из подьячих выгнали — дай место хоть в кабаке...

На скамье за столом против Лазунки питухи с красными лицами двинулись плотнее. За стол сел человек с быстрыми, воровatыми глазами, с усами, как живые тараканы шевелящимися. На голове Ерша клочья русых волос.

— А ну, виночерпий, дай-кось нам пенного кукшинчик малой!

Служка кабацкий, получив деньги, принес вино.

— Где, Ерш, плавал, каких щук глядел?

— Ох, браты! Изопью вот, а сказывать зачну, без перебою чтоб — хто видел, и тому хто не был вчерась в кремле...

— Не всем досуг быть!

— Иным быть боязно — на Ивановской крепко бьют!

— Боязно тому, кто казну крал...

— Ну, слушьте! На постельном, вишь, крыльце государевом кричали, что атаман-от Степан Разин богоотступник... и седни попы будут говорить ему анафему.

— Ой ты!

— Чул... А еще чул, как зазывали бояр, князей биться с Разиным — иттить на Волгу!

— Эй, не любят дворяна на войну быть!

— Угрозно им теперь говорено! Дьяк читал: «Идите-де сражаться за великого государя и за домы своя, а те дворяне, коиде не поедут в бой да учнут сидеть в домах и жить в поместях, то у тех нетчиков вотчины отбирать, отписывать тем челобитчикам, что будут стоять на войне противу воров!»

— Эй, кто ходил на смотры? Седни государь на Девичьем поле войска глядит!

— Чего туда ходить? Близ не пущают. Да сегодня не дворяны, князи — все рейтары да люди даточные?.. [1]

В кабаке от боя из пушек затряслись по́лки, зазвенела кабацкая посуда.

— Вишь вот! Пойдем, робята?

— То на Девичьем пушки бьют!

Иные ушли из кабака. Только за столом питухи не тронулись:

— Поспеем!

За Москвой-рекой с той же стороны затрещали карабины и мушкеты.

— То какой бой?

— Вишь, конные и пешие бьют перед царем — немчины порутчики да полковники выучку солдат показуют.

— Боярской смотр, то особой, — заговорил Ерш, — для больших жильцов, дворян строят дом на Девичьем, с государевым троном....

— Глядел и я кои дворы боярски, на тех дворах родичи княжие с городов понаехали в ратной дединой сбруе...

— А ну, как?

— Да на копях богачества навешано — цены нет! Серебро, золото от копыт конных до морды и ушей животных, хвосты конски и те в жемчугах.

— Порастрясут то золото, как в бой приналягут.

---

[1] Ратники, набиравшиеся из пахотных мужиков.

— Эх, сползать ба по полю после боев — я чай, жемчугов шапки сыскать можно!

— Подь на Волгу! Бояра уловят, и быть тебе на колу...

— Вот те и хабар![1]

Кто-то баспстый, тяжко мотая захмелевшей головой, крикнул:

— Сказывают, православные!..

— Мы не горазд — мы питухи.

— Чуйте, питухи! Сказывают, у Стеньки Разина живет расстрига Никон патриарх!.. Идет...

— Где еще чул такое?..

В углу кабака за бочками стоял хмельной высокий человек в монашеском платье, в мирской валеной шляпе, и, держась за верхние обручи бочки, дремал. Услыхав имя Никона, поднял голову, забасил в ответ, отдирая непослушные руки от винной посуды:

— Братие! Битием и ранами, не благодатию христовой, увещевают никонияны народ! Русь древнюю, православну-ю-у, попирают рылами свиными... Оле! будет время, в куцое кукуево рухло загонят верующих — тьфу им!

Целовальник крикнул:

— Ярыга, беса гони, пущай замест кабака на улице б...доловит!

— Умолкаю аз...

Высокий, шатаясь, вышел из-за бочек и зашагал к дверям. У порога сорвал с головы широким размахом руки шляпу и крикнул, переходя с баса на октаву:

— Братие-е! Кто за отца нашего Аввакума-протопопа, тот раб христов; иные же — работающие сатане никонияны-ы! — и вышел на улицу.

— Штоб те завалило гортань, бес! — крикнул целовальник.

Лазунка, не спеша, тянул свой мед, разглядывая баб. В прирубе кабатчика становилось все шумнее. Бабы не гадали больше, а говорили, пели и спорили. Одна унылым голосом пела свадебную песню:

К нам-то в дом молодую ведут,
К нам-то в клеть коробейки несут.

---

[1] Удача, барыш.

Хлестала в ладоши, заплетаясь языком, частила, мотая головой в грязной кумачовой кике:

Кони-то накормленные,
Сундуки железом кованные,
Замки жестяные,
Ключи золотые.
Чулки бумажные,
Башмаки сафьянные.

Другая, маленькая, сухонькая и столь же пьяная, как поющая, рассказывала толстой и рослой мещанке с кувшином в руках:

— И поверь, голубушка, луковка моя, как запоезжали мы с невестой...

— С невестой? хорошо!.. с невестой.

— Ужо, луковка, а были мы в сватьях. А подобрано нас две сватьюшки, луковка, и к нам пришла в клеть сама колдовка.

— Бабы, пасись о колдунах сказать!.. — крикнул целовальник.

С окрика баба понизила голос.

— Так вот, луковка, завела она в клеть... пришла да велела сунуться нам врастяжку на пол. В углу же свечу прилепила, зажгла, а образа и нету... Сумрачно в клети, у ей же, луковка, колдовки, топор в руках...

— Бабы! Сказываю: чтите у печи — грамота есть, — повторил свой окрик целовальник.

— Едино что не лги — пей вот!

— А за здоровье, луковка! И ты пей, вот, вот — ладно... я же, спаси тя бог, не лгу... обошла нас колдовка на полу лежачих, да тюкнула сзади меня топором... «Ой, думаю, обрубит она мне сарафан!» Сарафан-от долгой, золотом шитой...

— И век такой рухляди у ей не бывало!

— Помолчи, квас — не краше нас. Обошла, луковка, тая колдовка меня другой и третий раз, все тюкает топором да наговаривает... мы лежим. Сходила, словое полено принесла, сердцевину выколола да и вон из клети. Мы за ей, луковка, в пяту и идем... Ена тое сердцевину дружке за голенище втыкнула, тогда с невестой в путь направились, поехали, луковка... да еще...

К первой жонке, певшей, пристала другая, они визгливо затянули песню. Одна пошла плясать, напевая; другая вторила:

Ой, мне, мамонька,
Ой, радошно!
Ко мне милой идет,
Посулы несет,
Здравствуй, милой мой,
Расхороший ты мой.

Целовальник крикнул служке:

— Пригляди за напойной казной! — Сам прошел к бабам.

Бабы перестали петь, плясать, закланялись; одна, самая пьяная, кричала:

— Цолуйте его, Феофанушку, в лыску, плешатого.

— Вот что, бабы! Озорницы вы, греховодницы! Без огня поговоришь с вами на белу дню... Чтите государеву-патриарху грамоту.

— Где ее честь-то, Феофанушко?

— А вот, вишь, исприбита.

— Ты нам чти! мы без грамоты.

— У меня есть одна грамотка на овчинке писана, дырява.

— Эй, ярыга, дай свечу!

Целовальнику подали свечу. Он, водя пальцем и близорукими мутными глазами по бумаге за печью, где шуршали тараканы, читал:

— «От великого государя всея Руссии, а такожде от святейшего патриарха указ на государевы кабаки и кручны дворы кабацким головам и целовальникам. Умножилось во всяких людях пьянство и всякое мятежное, бесовское действо — глумление и скоморошество со всякими бесовскими играми. И от тех сатаниных учеников в православных христианах учинилось многое неистовство... Иные, забыв бога, тем скоморохом последствуют... Так чтоб с глумами, тамашами и скоморошеством на кабаки и кручны государевы дворы не пущати!»

— Вы же, лиходельные жонки, тут в моей половине что чините? Пляшете, песни играете, гадаете да про колдунов судите, и непослушны государеву указу!

— Да ты не напущайся с гневом, Феофанушко!

— Придем мы, кого из нас табе надо, к запору кабака, а то нынь хошь, спать ляжем?

— Ах вы, бесовки! ай, ай! Тише ведите беседы... Иног люд в кабак лезет походя, да государь с войском мимо пойдет со смотра... И не упивайтесь, остеклеете, какой тогда в вас прок?..

Лазунка давно собрался уходить, он подошел только еще послушать баб, встал у дверей в боком, прислонясь, заглядывал в прируб. Целовальник, выходя, ткнулся в Лазунку, закричал, тараща блеклые глаза с красными веками, тряся козлиной бородой:

— Нехрещеная, черная рожа! Чего те надо тут, шиш? Вор, разбойник экой!..

Лазунка решил нигде не ввязываться в ссору. Ничего не ответив, отошел. Питухи теснились вон из кабака. По мосту шли попы с крестом, образами, ехал царь впереди войска, кончившего воинский строй на Девичьем поле.

Боярский сын пролез на улицу, встал у угла кабака. За попами в светлых ризах шел хор певчих. За певчими в сиреневых подрясниках шли два рослых боярских сына в панцырях и бумажных [1] шапках. Они били в литавры, повешенные на ремнях сбоку: литавры в бахроме, кистях и позвонках. За литаврщиками ехал дебелый царь в ездовой чуге червчатого бархата; нашивки на рукавах, полах и подоле чуги — капитель [2] из тянутого золота. Кушак золотой, на кушаке нож в кривых серебряных ножнах с цветами из драгоценных камней. На царе шапка стрелецкого покроя, шлык из соболиных черев. За царем справа и слева, по чину, ехали два воеводы: главный — князь Юрий Долгорукий и помощник его, по левую руку царя, князь Щербатов. Оба седые, в синих тяжеловесных коцах, [3] застегнутых на правом плече аламами. Позади воевод выборные, конные жильцы в красных, с воротниками за спиной в виде крыльев, скарлатных кафтанах. За жильцами на белых лошадях двигался стремянной стрелецкий полк в малиновых кафтанах, в желтых сапогах, с перевязками на груди крест-на-крест. К седлам стрельцов приторочены ружья, сбоку сабли, а с другого — саадаки с луком и стрелами; шапки рысьи — шлыки шапок загнуты набок. За стремянным полком выборные из детей боярских, рейтары в латах, без-

---

[1] Шапка бумажная — стеганая; сверху прикреплялись металлические пластинки.

[2] Капитель — особого рисунка вышивка.

[3] Коц — плащ старинный.

терпах и шишаках. За рейтарами драгуны, так же вооруженные, как рейтары, шпагами и мушкетами, только у драгун были пики и топоры, притороченные к седлам. За драгунами на разномастных лошадях ехали даточные люди, солдаты из городов и волостей. Каждый с саблей и парой пистолетов, у седла с карабином. Сзади даточных конных шли пешие даточные люди: в сермягах, однорядках и лаптях, кто с пищалью, иной с рогатиной, с топором, луком и стрелами. Сзади войск везли артиллерию — десять медных пушек и три железных. Станки к пушкам тащились сзади на отдельных больших телегах. Пушкари в синих кафтанах шли пешие за подводами. Всю артиллерию провожал бородатый тучный пушкарский голова в синем кафтане с серебряными боярскими нашивками поперек груди, с золочеными каптургами [1] по кушаку. На нем лихо сидела бобровая шапка. Ехал голова на вороном коне. Артиллерия у моста задержалась, поджидая телегу со станками. Лазунка с толпой пробрался до моста. А к мосту, где остановился голова, подъехал на коротконогом плотном бахмате рыжем полковой подьячий в таком же рыжем, как его конь, коротком куяке [2] с карабином у седла. Он крикнул голове, подъезжая.

— Чуй-ка, пушкарский вож!

— Чего надо?

— Учини леготу! Мало время, чтоб ехать к вам в приказ!

— Какая та легота?

— Свези наказ — сдай дьякам!

— А ты мне его ту чти! С иным наказом улишешь, знаю.

— Дело видимое — хорошее...

— Чти, так не приму.

Подьячий снял бумажную шапку, вынул из нее лист и, держа шапку в одной руке, лист в другой, читал:

— «Принять в Пушкарском приказе наряд и к тому наряду зелье и свинец, и ядра, и всякие пушечные запасы пушкарей».

Голова спросил:

— Роспись есть?

— А вот! «Под сим наказом роспись, а подводы взять у дьяка Григория Волкова».

---

[1] Каптурга — украшение в виде подвесков.

[2] Куяк — металлические бляхи по кафтану.

— Дьяка знаю.

— «Дьяк знает, с каких ямских дворов подводы брать, а класть на всякую подводу до пятнадцати пуд».

— И не ладно в пути брать листы, да давай! Дело это к нам идет...

— Вот те благодарствую много!

Подьячий, передав голове наказ, надел свою в круглых блестках шапку и поехал за Москворецкий мост. Толпа шатнулась за ним, и Лазунка тоже. За Москвой-рекой на полянке, около строящейся новой церкви Григория Неокесарийского, раззолоченной и пестро раскрашенной снаружи, усатый немец, высокий, с багровым лицом, в синем мундире учил копейщиков, одетых в кованые латы. Начищенная медь сверкала от тяжеловесных движений. По широким лицам солдат из-под шишаков тек пот, из носа у иных текли сопли, но капитан не давал им передышки, сморкаться было некогда.

Жиловатый немец в шишаке медном с голубыми завязками от наушников по подбородку, все более багровея лицом, кричал:

— Ти знайт, как копе держа-йит тебе, зволочь! Ну, рас-два! Гробер керль!.. Копейщик должен быть молотшиной: кениг ваш на копейщик платил жалованье вдвое. Позри ви, делай я! Рас-два! Затшем твой лат тежела? Не можно того... Шишаками ваш большой и нейт завязка от ушей... Эй, официр!

Офицер, так же одетый, как и капитан, только победнее, в синий узкий мундир с желтыми пуговицами, в синих же штанах, в сапогах тяжелых, при шпаге, вышел на зов.

— Официр! камрад! копейщик ваша десятка не могут знайт, как держайт бой на рейтар... не может! Ну, рас-два! Держи копе, рука вот! вот! Тяни тупой конца штаб на земля... Линкс, сволош! Лева, права рука вот — держит сабель! В-о-о рас-два — руби!

Горожане спешили в кремль. Лазунка услыхал:

— Анафема зачнется Разину!..

Боярский сын стал пробираться обратно.

5

Вечерело. Зазвонили, народ все гуще шел в кремль. В кремле, у соборов, по рундукам от царских теремов покрыто красным сукном. По площади чавкала и липла к ногам грязь. У всех

приказов было пусто, только у Разбойного били на козлах двух татей, [1] да у приказа Большой казны стояли гуськом четверо кабацких целовальников и по очереди спускали штаны: их били плетьми стоя. Подьячий, заменяя дьяка, считал удары, он же вычитывал преступления. На козлах палача лежали книги «отчетные по напойной казне». Палач в полукафтанье плисовом последний раз ударил заднего в ряду целовальника.

— Эх, бородатые, задали мне урочную работу... Глянь, уж все палачи домой сошли!..

Целовальники, подтягивая штаны, забрав книги, шатаясь уходили на Красную площадь, один сказал:

— В полу напойных денег недостало, да голова виновен, а дьяки верят голове, не нам!

— Меня тож били ни за что — молчу!

Третий проговорил:

— Знать буду Иванову: первый раз секся!

Четвертый, последний, ежась, прибавил:

— Не хвались! В нашем деле сдерут шкуру зря. Воевода разогнал народ поборами, а где их, питухов, набраться? Вот и недочет на кабаке!

Лазунка пропустил битых кабатчиков, прошел к соборам. По рундуку к Успенскому шел древний боярин. Бирюч с литаврой, озираясь кругом, сдерживал шаги, чтоб не наступить на ноги старику.

Боярин остановился, сказал:

— Поведай народу!

Бирюч забил в литавру. Когда прекратился трескучий звон, выкрикнул:

— Люди православные, в соборе Успения сегодня предадут анафеме богоотступника Стеньку Разина, вора, грабителя!.. Да указует великий государь вам, весь народ, итти и на рундуки не ступать замаранными улядями и тож сапогами! Да указал великий государь холопям конным, боярским и княжецким, чтоб отъехать чинно за Иванову колокольню и там стоять, пока не истечет время службы, и не чинили б народу озорства и не кричали матерне! Кто же ослушник воли великого государя

---

[1] Воров.

Алексея Михайловича сыщется, того будут бить кнутом нещадно против того, как бьют воров!..

Бирюч с боярином ушли в собор; вскоре вышел из теремных палат царь с боярами. Лазунка перелез рундук и, пробравшись на паперть Успенского собора, затерся в толпу нищих и всяких людей, прижатых боярами, детьми боярскими, головами и подьячими в темный угол. За царем и боярщиной стали пускать в собор иных людей. Староста церковный не пускал без разбора, но в собор прошел любимец царя, боярин Матвеев, и строго сказал старосте:

— Поди прочь! Народ черный пусть видит и слышит...

Лазунка, отжимая крепкими локтями толпу направо и налево, пролез до половины собора, хмурого, с ликами угодников на стенах и сводах. В соборе от густой толпы стоял пар, мешаясь с дымом ладана. Свечи едва мерцали там и тут. Лишь в алтаре толстые свечи у креста сыпали огни, широко отсвечивая в золоте и серебре напикадил, крестов и риз. Царские врата собора растворились. Служба притихла, лишь причетник читал псалмы, и голос его тонул в сумраке, вздохах, молитвах, с жужжанием произносимых теми, кто не ждал, а молился. Кто-то прошептал близ Лузанки:

— Переодеваютца!

Царь стоял на возвышении царского места в сторопе к правому приделу; пониже царского места, но выше толпы, стояли бояре и князья.

Из алтаря, с той и другой стороны, стали выходить попы, одетые в черное, со свечами в руках. За ними выдвинулся хор монахов в черном, в черных колпаках. На попах были черные камилавки. Народ отодвинули ко входу и на стороны, посреди собора попы встали, образуя круг. Лазунка не видал, откуда появился в самой середине болван, одетый в казацкое платье, с саблей, сделанной из дерева, раскрашенной. Лицо болвана намалевано усатое и безбородое, ничуть не похожее на атамана. Один из попов прочел громко псалом. Все попы опустили свечи огнями вниз, закапал воск. Хор монахов запел мрачно и протяжно:

— Донско-му ка-за-ку, бо-го-от-ступ-ни-ку, во-ру, Степько Ра-зи-ну-у...

— Ана-фе-ма!.. — громко в один голос сказали попы...

Царские врата растворились, из них вышел архиерей в черном, с черным жезлом, в черной камилавке. Медленно и торжественно прошел в круг попов и хора — все расступились. Архиерей ткнул концом жезла чучело Разина в грудь и крикнул на всю церковь:

— Вор Разин Стенька проклят!..

— Анафема! Анафема! Анафема! — три раза повторил хор.

— Отныне и вовеки веков — вор Разин Стенька проклят!

— Анафема! Анафема! — повторил хор.

Архиерей снова ударил чучело в грудь жезлом.

— Вор, богоотступник Разин Стенька проклят! Анафема!

— Анафема-а!.. — мрачно запел хор.

Архиерей ударил жезлом подобие Разина третий раз и с отзвуком под сводами собора выкрикнул:

— Сгинь, окаянный богоотступник, еретик, вор Стенька Разин — анафема!..

Хор запел:

— «Днесь Иуда оставляет учителя и приемлет диавола...»

Попы и хор повлекли чучело Разина на Иванову, — там уж горел огонь за рундуками, — в сторону Ивановой колокольни. Волосатый палач в красной рубахе поднял чучело над головой и бросил в огонь.

Колокола звонили протяжно, в сумраке видно было толпу бояр, идущих с царем по рундукам из собора. Лазунка, пробираясь к ночлегу, слышал в разных местах возгласы:

— Проклят!..

— Отрешен от церкви Разин!..

— Всего христьянства отрешен!

— Уй, не приведи бог до того-о!

— Страшно сие, братие!..

6

Лазунка не стал ни пить ни есть. Ириньица лежала на своей постели, бледная и слабая. Сын был в соборе, хотя и не видал Лазунки. Сын, не зная ничего, рассказывал матери, называя Разина вором и бунтовщиком, говорил, как жгли болвана, проклинали богоотступника. Ириньица плакала, но сыну не сказала правды. Сын Ириньицы ушел. Лазунка сидел у стола, повесив голову.

— Чуй, голубь! Худо, как народ кипет Степанушку. Старой мой дедко Григорей не раз про то сказывал ему...

— Народ кипет — пишто, хозяйка! Худо, как Яйк да донские казаки учуют попов и отложатся разинцев...

— Худо, голубь!

— Покуда поповский рык дойдет до Яйка и Дона — мы с атаманом на Москву придем!

— О, дай-то бог! Солдат, вишь, у царя много копится, и немчины строю да бою ратному ежедень — Васютка сказывал — учат...

— Видал я!

— Вот я, опять грозу на милова чуя, прахотная стала, и ноги не идут... Ты испей чего хмельного, коли же не хотца еды.

— Мало время, хозяйка! Чую я, кто-то незнаемый лезет сюда.

— А ты в ту горницу, голубь!

Боярский сын быстро шагнул за печь и исчез в подземной горнице, где негасимая лампада ровно лила желтый свет. При свете том Лазунка поднял дверь на место, с лестницы не уходил, лишь сел на ступени, разулся и стал слушать, что будет вверху.

— Ну-ка, детина, веди! — заговорил в подземных сенях чужой властный голос.

— Жди, дьяче, мало... Матка недужит и часто спит — я ее взбужу.

— Эй, вишь, не один я! Веди... тихо буду, не напужаю...

— Ну, ин добро! гнись ниже...

Ириньица дремала, когда грузный сел за столом, против нее. Сын сказал:

— Мама, тут дьяк со стрельцы! Очкнись...

Ириньица вздрогнула и медленно повернула голову с испуганными глазами. Дьяк в черном кафтане с жемчужной широкой повязкой в виде ожерелья, по груди вниз висел золотой орел с раздвинутыми на стороны лапами; в руках дьяка посох; шапка бобровая с высоким шлыком.

Дьяк сказал юноше:

— Поди-тка, парень, к стрельцам на двор, заведи их в сени. Ежели сыщешь что хмельное в дому, дай им, пущай пьют. Нам помехи чинить не будут, да и ночь надвигается... А мы тут с Ириньицей побеседуем.

Юноша, уходя, спросил:

— Ты, дьяче, лиха какого не учинишь? Мама болящая...

— Не учиню, детина. Поди справь, как указано! Стрельцам не кидай слов, что есть в дому. Отмалчивайся...

— Ладно! — юноша ушел.

Дьяк снял шапку, поставил на стол, задул одну из ближних свечей в трехсвещнике, чтоб не резала глаза. Разгладил длинные волосы, начавшие на концах седеть, сказал:

— Ты, Ирпньица, не сумнись! Чуешь ли меня?

— Чую, дьяче.

— Ты меня узнаешь, ай нет? Я тогда в пытошной спас тебя от боярина Киврина, от сыска дьяка Судного приказу тож оборонил. И нынче упросил государя прийти к тебе замест других дьяков с сыском!

— Ой, дьяче, чего искать у хворобой жонки!..

— Искать место корыстным людям найдется! Дошли, вишь, слухи, что у тебя скрыты люди Стеньки Разина. Так ты тем людям закажи к себе ходить... Я обыщу и отписку дам, что-де ничего не нашли, но ежели моей отписке не поверят и сыск у тебя иные поведут, не замарайся... Нынче время тяжелое. В кайдалах (кандалах) сидеть скованной да битой быть мало корысти...

— Ой, дьяче, спасибо тебе.

— Спасибо тут давать не за что... Сама знаешь, ай може и нет — полюбил я тебя тогда... давно. Ты же иным была занята. А как покойной боярин грудь тебе спалил... и стала ты мне много жалостна, по сие время жалостна. Я же к боярину за добро его и науку память хорошую чту, и ты его за зло не проклинай, а молись!..

— Не проклинаю я, дьяче Ефим. Не ведаю, как по изотчеству?

— Пафнутьич! Бояре меня кличут «Богданыч» — бог-де дал... Бояр я не люблю.

— Ой ты! а коло царя сидишь?

— Сижу, да с опасом гляжу! Дьяков не мало от царя бояра взяли, угнали: кого на Бело-озеро, кого в Сибирь... кого под кнут сунули...

— Царь-от государь не даст тебя в обиду!

— То иное дело. Налягут бояра: что дьяк, патриарху худо бывает. Гляди, Никон: уж на что царский дружок был — угнали на Бело-озеро; а слух есть: еще дальше угонят... Бояра чтут

своих от своя — мы из народа им враги завсе... Меня бояра не любят, что я прижитой от дворовой девки. Едино лишь к памяти моего благодетеля Пафнутия Васпльевича приклонны, так до поры терпят... И дело, кое нынче Стенька Разин завел... — Дьяк помолчал, заговорил тихо: — мне угодно... Иной ба, зная, что сын твой — от Разина прижитой, обнес тебя, потому воровских детей всех изводом берут... Да бояра того не ведают. Я же греха на душу не возьму! Не надобен будет тебе парнишка, дай мне его... обучу. На боярскую шею грозу от него сделаю... Добра-богатства на мою жисть хватит: семья моя — я да жена, а парень твой не помеха.

— Ой ты, дьяче, спасибо! О сыне — уж думаю денно и нощно, прахотная я... И ежели помру, куда детина малой на ветер пойдет?!. И все-то сумнюсь об ем!..

— Дай его мне! Едино лишь добро будет.

— Коли ты, дьяче, за ним по смерти моей приглядишь да поучишь — мое тебе вечное благодарение, а пока жива, буду бога молить за того боярина, который груди у меня выжег...

— То надо, — молись! Сына твоего не оставлю, грамоте и гонпскому делу обучу, усыновлю, а то как меня бояра выб...дком считают, так и его будут, и таким нигде места нету...

— Уж и не знаю, как тебе сказать благодарствую! Он же, Васютка, у меня не голой: есть ему рухледь и узорочье многое есть!

— У меня своего довольно.

— Как ты думаешь, дьяче, придет на Москву Разин?

— Народ ждет, и не один черный народ, — посацкие, купцы и попы мелкие все ждут. Только Разину на Москве не бывать! Не бывать, потому что с кем он идет на боярство? С мужиками. У мужика и орудия всего — кулак, вилы да коса... У царя, бояр запасов боевых много, а пуще иноземцев много с выучкой заморской. И все они на особом государевом корму, знают же они только войну. То и делают, что во всяких государствах на войну итти нанимаются...

Дьяк надел шапку, встал:

— Теперь, Ириньица, не пугайся! Придут стрельцы, зачнем делать обыск.

Дьяк постучал в двери посохом, громко крикнул:

— Эй, стрельцы!

Дверка распахнулась, в горенку Ириньицы полезли синие кафтаны, засерели стрелецкие шапки, сверкнули бердыши.

Дьяк изменил голос, приосанился, сказал стрельцам:

— Оглядывайте живо, государевы люди! Бабу допросил.

Один из стрельцов сказал:

— Парнишку, дьяче, позвать, чтоб не сбег?

— Кличьте! Пущай будет за караулом в горенке.

Другой стрелец заступился:

— Он, дьяче, смелой — не побегет!

Дьяк ответил:

— По закону должен парень быть тут!

Юношу позвали. Он сел на лавку, два стрельца сели с ним рядом. Еще трое начали обыск, Ириньица сказала:

— Там, дьяче, шкап большой у окошек, так тот шкап отворите, запону отдерните, за ней прируб, — ищите! Никого нету у меня, и запретного я не держу.

В горенке пахло хмельным и табаком и дегтем. Долго длился обыск. Дьяк, наконец, со стрельцами вышел из прируба. В передней горнице сняли образа с божницы, оглядели, опарили под лавками.

— Никого и ничего! — сказали стрельцы, которые ходили с дьяком.

Дьяк, садясь к столу, развернул лист, писал из чернильницы, висевшей под кафтаном на ремне; спросил, не глядя на Ириньицу:

— Ям каких тайных, баба, у тебя в дому нет ли?

— Есть, голубь, яма погреб — там в сенях.

— Стрельцы, обыщите тот погреб.

— Мы, дьяче, погреб давно обыскали, уж ты не сердись... Хмельное было кос, испили. Хошь, и тебе найдется?

— Не хочу! Пейте мою долю.

Дьяк, исписав лист, спросил:

— Кой от вас, робята, грамотен?

— Трое есть: Гришка, Кузьма, Иван Козырев тож!

— Приложите к листу руки да поїдем! Время поздает.

Стрельцы подписались, ушли.

Дьяк Ефим, уходя, погладил рукой по волосам Ириньицу, сказал:

— Помни, Ириньица, парня обучу. Когда надо будет, дай

весть о том... Да вот лихим людям заказки ходить! Сказываю, могут еще прийти искать.

Он покрестился, сняв шапку, и, взяв посох, ушел, провожаемый сыном Ириньицы. В сенях матерились стрельцы, ища выхода. Юноша со свечой в руке вывел их за амбары. Шаря в сенях, в темноте стрельцы забрали два бочонка с брагой, унесли:

— Все же, братцы, не зря труд приняли! — сказал кто-то.

Другой голос сзади ответил, болтая в бочонке хмельное:

— Кабы чаще так! Худа нет в дому, а браги много.

— Парнишка у бабы хорош!

— Гришка летник кармазинной упер, браты!..

— Тише — дьяк учует.

— Ушел дьяк!

— Летник взял, зато пил мало!

— А ну, молчите, иные тож брали.

Голоса и люди утонули в черноте слободских улиц. Сын Ириньицы долго прислушивался к шагам стрельцов, вернулся. Выйдя в горницу, подошел за печь, крикнул:

— Ушли! Выходи, гостюшка!

Лазунка вышел одетый в дорогу.

Ириньица сказала слабым голосом:

— Ночью, я чай, не придут?.. Ночуй, голубь, — и сторожа, гляди, уловят, решетки заперты.

— Москва меня замками железными не удержит, не то воротами! Спасибо, хозяйка, пожил. Сказывай поклон Тимофеичу.

Ириньица, не меняя положения, заплакала, сквозь слезы ответив:

— Соколу, мой гостюшка, снеси слова: «люблю до смерти». И пошто, не кушав, идешь? Отощаешь в пути...

— Москвой сыт! Прощай!

— Гости, ежели будешь!

Сын Ириньицы проводил Лазунку до амбаров, они обнялись.

— Учись рубить, стрелять, будь в батьку — люби волю!

Боярский сын быстро исчез. Юноша думал:

«Кто ж такой мой отец? Так и не довел того...»

7

Ходя по Москве, Лазунка узнал, что решетки в Немецкой слободе не запирают. Пьяные немчины военные не раз били

сторожей. Царь приказал «не стеснять иноземцев», сторожа перестали ходить к воротам. Лазунка прошел в слободу. У ворот с открытой из долевых и поперечных брусьев калиткой, в свете огней из окон опрятного немецкого домика, где шла пирушка, звучали непонятные песни под визг ручного органа. Боярский сын встретил казака; казак, увидев идущего, ждал, не проходя ворот.

Лазунка было обрадовался своему, но, разглядев упрямое лицо со шрамом на лбу, признал Шпыня и насторожился: «На Москву батько его не посылал». Боярский сын, дойдя до ворот, тоже не полез в калитку.

Шпынь, не умевший таить злобу, крикнул:

— А ну-ка, вор, шагай!

— Чего попрекаешь? И ты таков! — Чувствуя опасность, он всегда старался быть особенно спокойным.

Шпынь, которого кормили, поили водкой от царя на постоялом, решил больше не показываться Разину.

— Я — государев слуга!

«Смел, ядрен, да худче ему: упрям», — думал Лазунка, мысленно ощупывая под рукой пистолет.

— С каких пор царев? Лжешь!

— Тебе в том мало дела!

— Лезь первой! Ты нашему делу вор!

— Гей, стрельцы! Разин...

— Сшибся, чорт!.. — Лазунка шагнул к Шпыню.

Бухнуло... Шпынь упал, не успев выдернуть клинка, мотался на черной земле. Звенело в ушах, усы трещали от огня пистолета, изо рта текло. Казак одервенело цеплялся руками за брусья калитки: пока жило сознание, в голове стучало: «Не бит! Бит...» С окровавленным, черным от мрака лицом Шпынь откинулся навзничь в грязь. Правая рука не выпускала сабли, левая тянулась к калитке. Исчезая в ночи, Лазунка, щупая на ходу пистолет, думал:

— Сплошал... Мелок пал в руку пистоль, — изживет, поди, сволочь.

Возвращаться к Шпыню было некогда. Из веселого домика вышли под руку высокий военный в мутножелтеющем шишаке, сбоку сверкали ножны шпаги, на черном мундире желтели пуговицы. В пятнах огней из окон женщина казалась пестро одетой.

Обходя Шпыня, крикнула:

— Ach, mein Gott!.. Was ist das?

— Nichts schreckliches, liebes Fräulein! Der Dragoner hat sich seine Fratze verdorben... der Besoffene... Die Russen sind anders als wir... sie sind feig... und flüchten sich vor dem Krieg in die Wälder, oder wälzen sich trunken und ziehen Hiebe und Kerker dem Kriege.

— Er hat, Kapitän, einen Säbel in der Hand?

— Auch das ist erklärlich! Die Russen, wenn besoffen, sehen neckende Teufel um sich springen... verfolgen die Teufel, und wenn der Besoffene Dragoner oder Reiter ist, dann haut er mit dem Säbel auf Tische und Bänke los, bis er hinfällt, wo er steht.

— Ach, die Aermsten!..

— Liebes Fräulein, nur kein Mitleid mit den Bestien... dieses Volk ist dumm, faul und grausam...[1]

Черный капитан увел в тьму улицы за ворота свою подругу.

АСТРАХАНЬ

1

На крыльце часовни Троицкого монастыря Разин сидит с есаулами, пьет. На площади кремля-города только что кончилась расправа с дворянами, детьми боярскими и подьячими: били ослопами[2], прикладами мушкетов, бердышами. От раннего солнца в кровавых лужах белые отблески. Площадь дымится неубранными телами убитых. У раската лежит сброшенный Разиным с вышины воевода Прозоровский Иван. Князь раскинул руки, посеребренный колонтарь в крови, часть головы князя

---

[1] — Ах, боже мой... Что это?

— Ничего ужасного, дорогая фрейлейн! Драгун испортил рожу, пьяный. Русские не то, что мы: они трусы и от войны бегут в леса или валяются хмельные, ждут побоев и тюрьмы, чтобы не итти в поход.

— У него, капитан, сабля в руке?

— О, я объясню и это! В пьяном сне русские видят чорта, он их злит, они гоняются за ним, и если драгун или рейтар пьяны, то в бреду рубят столы, скамьи, пока не свалятся, куда пришлось.

— Ах, несчастные!

— Дорогая фрейлейн, скоты не стоят сожаления — это глупый, ленивый и жестокий народ.

[2] Палками.

в мисюрке-шапке отскочила далеко в сторону, из-под бровей тусклые глаза вытаращены на солнце. Разин в черном бархатном кафтане, подпоясан синим кушаком с кистями, на кушаке сабля; на голове красная запорожская шапка с жемчугами. Стрельцы приносят и ставят на широкое крыльцо часовни бочонки с водкой:

— Пей, батько!

— Здоров будь, Степан Тимофеевич!

Недалеко от собора женский плач. Женщины в киках жемчужных, иные в бархатных с золотом повязках, то в волосниках, унизанных лалами и вениcами. Все они у стены собора лежали, стояли, иные сидели рядом со старыми боярынями, устремившими глаза в небо. Старухи шептали не то заговоры, не то молитвы.

За распахнутой дверью, за спинами атамана и есаулов, в глубине часовни у мощей Кирилла два древних молчальника монаха в клобуках с крестами и черепами белыми, вышитыми по-черному, в ногах и головах преподобного зажигали свечи в высоких подсвечниках; монахи, крестясь, были спокойны, медлительны и глубоко равнодушны к тому, что творилось за стенами часовни. Держа серебряную чашу в руке, Разин поднял голову; левой свободной рукой, двинув на голове шапку, крикнул стрельцам и казакам:

— Гей, соколы! Кончи бить, волочи битых в одну яму на двор Троецкого, — да сыщите в монастыре моего посла попа, кому брошенный с раската воевода забил перед приходом нашим на Астрахань в рот кляп и в поруб кинул!

— Троецкий поп, батько, жив! С тюрьмы его монахи, убоясь, спустили, когда ты в город шел.

— Добро!

Подошел стрелец, лицо и руки в крови.

— Битых, батько, мы волочим в Троецкий, да там над ямой стоит старичище монастырской, битым ведет чет — то ладно ли?

— Наших дел не таимся! Занятно старцу, пущай запишет, кого поминать. А ну, Чикмаз, пьем!

— Пьем, батько!.. Ладно справились... Почаще бы так дворян да подьячих!

— Пущай им памятна Астрахань за отца Тимошу да брата Ивана... Гей, соколы! Кто есть дьяки, те, что с народа не крали... коли таковые приказные есть, зовите ко мне!

Трое дьяков в синих долгополых кафтанах подошли к часовне, сняли шапки.

— Дьяки?

Пришедшие заклапялись:

— Мы дьяки, атаман батько!

— Садитесь на свои места в приказной избе. Ведайте счет напойной казне, приказывайте на кружечном курить вино, готовить меды хмельные... В Ямгурчееве-городке, когда казаки раздуванят товары и рухледь, а мое атаманское отделят прочь— мой дуван опишите, и пусть снесут в анбары... После того перепишите людей градских, кто целоможен [1] и гож к оружию... Перепишите домы тех с виноградниками и погребами, кто бит. Учтите хлеб на житном дворе и харч, да торговлей ведайте, берите на меня всякую тамгу! [2]

— Чуем, атаман!

— Готовы все справить!

Дьяки поклонились радостные, крестясь, торопились уйти из кремля.

— Еще, соколы, закрыть все ворота в городе, оставить троп — Никольские, Красные — в кремль и в город отворить Горянские, кабацкие. Пущай горюны на кабаки идут по-старому... Гей, Федько самарец!

— Чую, Степан Тимофеевич!

— Поди с дьяками! Учти напойную казну, сыщи прежних голов кабацких и целовальников — спознай, кто расхитил что, того к ответу. Замест их стань кабацким головой. А кои целовальники честными скажутся, тех приставь к прежнему делу.

— Будет так атаман!

Черноусый есаул самарец, поклонясь, ушел.

Стучали топоры на площади, таскали бревна. Плотники мастерили виселицы — вкапывали бревна торцами в землю; верхний торец, похожий на большой глаголь, делался с перекладиной. Привели к атаману переодетого в панковый синий кафтан избитого любимца воеводы, подьячего Петра Алексеева, без шапки. Рыжевато-русые волосы приказного взъерошены, лицо в слезах.

---

[1] Здоров, крепок.

[2] Сбор с товаров.

— Вот, батько, доводчик воеводы, казной его ведал.

— Ты есть Петр Алексеев?

Подьячий дрожал, пока говорил:

— Я, атаман батюшка, ась, не Петр! я Алексей... С чего-то так меня дьяки кликали и воевода по ним — Петр да Петр, а я — Алексей!

— Где казна воеводина?

— У воеводы, ась, никоей казны не было — отослана государю... Стрельцам и тем жалованное митрополит платил вон ту, на дворе Троецком...

— Я твою рожу в моем стану видал, а был ты тогда в стрельцах — помнишь Жареные Бугры?

— Помню, атаман, ась, чего таить!.. Я человек подневольный, в какую, бывало, службу воевода супет — в ту и лез...

— А помнишь ли подьячих, они мне служили, ты их хотел в пытошную наладить, да сбегли в казаки?

— Это Митька с Васькой, ась, так они путаные робята и не гожи были в подьячие, едино что по упорству воеводы сидели — грамотой оба востры, да ум ихний робячий есть.

— Всем бы ты хорош, Петр Алексеев...

— Алексей, ась, атаман!

— Пущай Алексей! Даже имя твое и то двоелишное. На Москву хочешь спущу?

— Ой, кабы на Москву! Никогда ее не видал — поглядеть, ась, охота до смерти...

— До смерти наглядишься!

Атаман, чокаясь с есаулами, видел работу плотников, знал, что виселицы справны. Он двинул на голове шапку. Подьячего подхватили стрельцы.

Разин крикнул:

— Покажите ему Москву! За ребро крюк вденьте, да повыше.

На площади с Алексеева содрали кафтан, сорвали рубаху и, в голый бок воткнув железный крюк, вздернули. К виселице кинулась старуха в черном, всплеснув руками, закричала:

— Дитятко-о! Алексеюшко!

— Ой, мамонька, проси у них хоть тело мое похоронить! Ох! тошно-о!

— Дитятко!..

Атаман крикнул:

— Соколы, гоните старуху. Пущай завтра придет — хоронить воеводину собаку!

С Волги в кремль казаки привели молодого персиянина, он ругался по-персидски, грозил кому-то кулаками, тыча в сторону на Волгу.

— Педар сухтэ!

— Этот, батько, с немчинами бежать ладил на корабле «Орел» царевом. Мы того «Орла» сожгли... Немчины кое в паузках, кое в лодках уплыли Карабузаном в море, а этот на берегу сел и плачет...

— Царевич он, сын гилянского хана! Судьба его висеть там на крюку, где Алексеев. Гей, повесить перса!

Молодого перса раздели до-гола, пиками подвели к виселице и, воткнув крюк в ребра, подтянули на ту же вышину, как и подьячего.

— Еще, батько, персицкой купчина должно!

Стрельцы и казаки вытолкнули перед атаманом человека в бархатном голубом халате, шитом золотыми арабскими буквами, в голубой чалме с пером.

— Его я знаю, — засмеялся Разин и, подняв чашу с вином, сказал: — За твое здоровье, персюй посол!

— Кушай-и...

— Ты бился в пытошной башне, против нас сидел, со своими слугами?.. И надо бы за то тебя повесить!

— Иншалла! Атаман, если так кочет бок...

— Бог ничего не хочет, а вот хочу ли я? То иное. Я не хочу тебе худа. Соколы! Тут где-то его сабля?

Чикмаз достал с крыльца саблю посла с золотой рукоятью в ножнах, по серебру украшенных финифтью.

— Хороша сабля! Да коли Степан Тимофеевич велит — вот, бери, кизылбаш.

Посол взял саблю.

— Поезжай ты в Персию к шаху, скажи ему: атаман меня отпустил, ты же отпусти пленных казаков. Я знаю, они там у вас горе мычут!

Посол принял саблю, поклонился. Сказал персу толмачу, который стоял сзади:

— Спроси у атамана мои пожитки!

Толмач перевел слова, атаман ответил послу, не глядя на толмача:

— Пожитки твои, посол, казаками разделены по рукам. Я не волен брать у своих то, что они взяли с бою... Поезжай так! Жизнь дороже рухледи.

Посол еще раз поклонился и ушел.

— Гей, стрельцы! Теперь подавайте мне воеводино отродье — сынов князя Прозоровского.

Голубые и розовые кафтаны стрельцов затеснились к крыльцу часовни, сверкая бердышами.

— Ени, батько, у митрополита кроются.

— Поди́те на двор к митрополиту, приказую ему дать парней!

Стрельцы ушли. Спустя час старший Прозоровский смело вошел к атаману. Был он в голубой измятой чуге, с гладко расчесанными длинными волосами без шапки.

— Куда делся твой меньшой брат?

— Мой брат идет с монахами.

— Добро! Теперь скажи мне, княжеское отродье, где твоего батьки казна скрыта?

— Казну ведал подьячий Алексеев!

— Теперь не ведает — гляди!

Юноша Прозоровский обернулся к виселице — подьячий, скрючась, держался посиневшими руками за веревку; на крюке, впившемся в бедро, на бедре застыли сгустки крови.

— Видишь?

— Чего мне видеть? знаю!

— Знаешь, так говори, где казна твоего отца?

— У моего отца казны не было, рухледь батюшкину, твои воры-есаулы всю расхитили — повезли в Ямгурчеев! Чего ищешь у нас, когда оно, добро, у тебя?

— Ты княжеский сын?

— Ведомо тебе — пошто спрос?

— Мой род бояра выводят до коренп, я ж вывесть умыслил род боярской до земли — эх, много еще вас! Гораздо вы расплодились, едино как черные тараканы в теплой избе. Гей, повесьте княжеское семя за ноги на стене городовой!

Встал Чикмаз:

— Я, батько, эти дела смыслю, дай княжича вздерну.

Чикмаз шагнул, обнял юношу и, закрывая его голову большой сивой бородой, сказал:

— Пойдем, вьюнош, кинь чугу, легше вшеть, а чресла повяжи ремнем туже: не так кровь к голове хлынет.

— Делай, палач, да молчи!

— Ого, вон ты какой!..

Монахи привели младшего княжича в слезах, а чтоб не плакал, стрельцы дали ему медовой пряник. Русый мальчик в шелковом синем кафтанчике, в сапогах сафьяновых, красных, испуганно таращил глаза на хмельных есаулов, страшных казаков с пиками, саблями и не замечал Разина. Взглянул на него, когда атаман сказал:

— А ну и этого! За работой Чикмаза вслед.

Мальчика к стене повели монахи. Палач с веревкой шел сзади.

— Кличьте попов! Пущай все здесь станут!

Попов собирали из всех церковных домов, а который не шел, тащили за волосы, пиная в зад и спину.

— Батько зовет!

Попы толпились перед часовней. Разин встал, упер левую руку в бок, спросил:

— Все ли вы, попы?

— Все тут, отец!

— Гей, батьки, нынче венчать заставлю вон тех боярских лиходельниц с моими казаками. Кто же из вас заупрямится венчать без времени да разрешения церковных властей, того упрямца в мешок с камнями и в Волгу! Она, матка, попа примет, едино как и убиенного казака. Слышали?

— Чуем, атаман!

— Подите к старым боярыням здесь у церкви, кои негодны в жены — заберите их на девий монастырь, отведите и дожидайтесь зова к венцу... Вы же, казаки и браты стрельцы, киньте жребий, какая из молодых боярынь альбо боярышень кому придется — тот ту бери, к себе веди!

— Ай да батько!

— Спасибо Степан, Тимофеевич!

— О жонках много скучны!

Разин, слыша слезное лепетание оставшихся у церковной стены молодых боярынь, крикнул:

— Эй, жонки боярские, голосите свадебное, то ближе к делу!— Спросил есаулов: — Что ж я боя часов не слышу?

— Батько, — сказал есаул Мишка Черноусенко, — в пору, как сбросил ты с раската воеводу астраханского, сторож часовой в тое время в ужасти бежал за город, и нынче время знать будем лишь по часам солнечным, кои на другой башне...

— И то добро!

У собора спорили стрельцы с казаками, по жребию уводя боярынь и боярышень из кремля. Уходившие кричали хвастливо:

— Седни мы разговеемся!

Есаулы с атаманом продолжали пирушку на крыльце. В часовне жидко зазвонили ко всенощной, молельщики собрались кругом часовни, но внутрь итти не смели. Разин заметил, сказал:

— Эй, есаулы, тащи бочонки в сторону крыльца — пустим скотов на траву.

Бочонки с крыльца часовни убрали, молельщики наполнили часовню. Пришел поп и начал службу... Послышался топот лошади; в кремль через Пречистенские ворота въехал на белой хромой лошади запыленный человек в синем жупане.

— Кто-то наш поспешает к пирушке?

— Кто такой?

— Лазунка, батько, с Москвы, то-то порасскажет.

— Ну, други, радость мне! Откройте собор, тащите хмельное к алтарю — там буду пить, а попов оттуда гоните.

Лазунка слез с лошади, подошел к атаману.

— Здорово-ко, батько Степан!

— Здорово, дружок! дай поцолую.

— Избился я весь в дороге! Грязи на мне в толщу — ну и путина, чорт ее...

— Ах ты сокол мой! Каков есть — ладно.

Разин обнял Лазунку, они расцеловались.

— Куда ба мне коня сбыть? Хорош конь попал, да, вишь, и тот с ног сбился — путь непереносной.

— Стрельцы, приберите коня, напойте и подкормите!

— Справим батько.

Коня увели. Бочонки с водкой, медом и брагой перетаскали

в собор. Разин с Лазункой под руку пошли вслед утащенному хмельному. Обернулся к стрельцам атаман, крикнул:

— К собору, где буду пить, караул чтоб стал! Кому надо молиться, тот молись в часовне; а городским у Вознесенских ворот молитва: у Сдвиженья да в Спасском, а то в кремле, кой хочет, бьет поклоны Богослову. В соборе буду пить с Лазункой. Да вот младшего Прозоровского снимите со стены, дайте матери в память того, что любой мой есаул из царского пекла живо оборотил... Со старшим завтра порешу!

— Чуем, атаман! Караул наладим и с мальчонкой дело исполним.

— Да еще: берегите дом князя Семена Львова, он не стоял на нас с воеводой и не лихой люду был.

— Князя Семена не обидим.

2

В куполе собора в узкие окна сквозь синий сумрак крадется лунный серебристо-серый свет. Он обрывался, не достигая противоположных окошек, обойденных луной в тусклых нишах.

Внизу собора, у дверей, закинутых железным поперечным заметом, поет негромкий, приятный голос, и голос тот слышнее вверху, чем внизу среди позолоты, церковных подвесов, паникадил, подсвечников и люстр. Дальше от дверей входных, пред царскими вратами в пятнах золотой резьбы, за столом, крытым парчевыми антиминсами[1] с крестами, атаман черпал из яндовых ковшом мед, иногда водку. По бороде атамана текло, он время от времени проводил рукавом кафтана, стирал хмельную влагу и снова остервенело пил, не закусывая, хотя на столе кушаний было много. Церковные свечи, перевитые тонкими полосками золота, толстые, были косо вдавлены в медные и серебряные подсвечники. Свето-тени колебались по темным, враждебно глядящим образам. От далеких алтарю входных дверей все так же звучал голос. Там за простым некрытым столом сидел Лазунка, гадал в карты; раскинув их, вглядывался, покачивая черной курчавой головой. Собирал спешно карты в колоду, тасовал и снова раскидывал карты. От его движений шибался на стороны робкий огонь тонких восковых

[1] Покрышка престола в церквах.

свечек, прилепленных к головни кривой татарской сабли, лежавшей на столе в виде большого полумесяца.

Атаман бросил на стол ковш, не допив. Хмельное брызнуло. Разин тяжело, но неватко поднялся. Деревянные, большим полукругом, ступени возвышения к алтарю затрещали от шагов, однозвучно отражая стук подков на сапогах, зазвенели плиты под тяжелой пятой.

Лазунка поднял голову, оглянулся на атамана и перестал петь:

— Что ж ты смолк, Лазунка, играй ту песню.

— Сам я, батько, уклал песню, да, вишь, худо...

— Играй!

Лазунка запел:

Ты пойдем-ка со мной, дочь жилецкая,
Кинь отцову пову горенку,
Промени на житье беспечальное.
С вольной волей, девка, мы спознаемся,
В синё море разгуляемся...
И на Волгу-реку в кораблях придем,
На Царев почевать со стругов уйдем...
На Царевом-то нет цветов во век,
Проросла лишь травинка невысокопька...
То ли горе нам?
А на Волге-реке острова-цветы,
Паруса белеют, ладьи бегут,
Угребают, поют лодки с челнами...
Коль захочешь цветов, чернобровая,
Я из паруса в шатре размечу цветы,
Все вениеы, перлы-жемчуги,
Златоглав парчу-узорочье.
Со лесов, с курганов, с берегов реки
Ты услышишь соколиный свист:
Эх, не ветер с бурей тешатся —
Молодецкий зык по воде идет!

— Хорошо, Лазунка! Оно можно бахвалить в игре... можно... Ты гадал о чем?

— Гадаю, батько!

— У кого ворожбе той обучился?..

— У молдавки, атаман! у старой экой чертовки... Сидела в Москве на площеди, христарадничала, а был я хмелен — кинул полтину, она руку целовать, я не дал, и говорит: — «Боярин! хошь, обучу гадать?» — «Учи». — Она мне раскинула карты

раз, два — я и обучился. Карты дала, велела беречи — не расстаюся с ними...

— Чего нагадал?

— Эх, батько, все неладное: заупрямятся карты — тогда лучше не гадать...

— Что ж худое тебе?

— Будто смерть мне... ей-бо! Я их мешал, путал, а все смерть! Я же ушел с Москвы без смерти, сказывал тебе лишь, что убил я Шпыня, лазутчика, да кажись не до смерти зашиб.

— Шпынь попадись мне — повешу!

— А думаю я, батько, Шпыня в Москву слал Васька Ус?

— Ну полно, Лазунка! Какая ему корысть!

— Васька Ус тум —[1] «у тумы бисовы думы» — чорт его поймет!.. вороватый есаул.

— Эх, Лазунка, думаю я про него худое, да брат он мне названной и за княжну-персиянку зол... Только не он Шпыня наладил к боярам, сам Шпынь вор! Эх, тяжко такое дело! Сам ли ты видал на Москве болвана, коего проклинали попы?

— Сам я, батько! Прокляли и сожгли на Ивановой в кремле.

— Так вот! Иные из мужиков, что пришли к нам — отшатнулись, прослышав анафему, бегут... Татарва, чуваша и черемиса худо оружны: луки, топоры и те не на боевых ратовищах — дровяные; еще вилы да рогатины — в том не много беды, а пуще... меж собой не сговорны! Казаков коренных мало... А ты дал ли дьякам писать к Серку в Запорожье?

— Дал, батько! Исписали грамоту, сам чел я...

— Скажи, в грамоте как было?

— Так вот: «Друг кошевой, Серко! Бью тебе челом и прошу посуленное подможное войско. Шли зелье и свинец, людей охочих вербуй, шли с карабинами, мушкетами на Астрахань, а чем боле будет та справа и люди придут скоро, тем большая тебе будет от нас честь, добыча от казаков вольных и атамана Степана Тимофеевича». Печать твою приложили, я же гонца наладил смелого, запорожца Гуню.

— Ушел гонец?

— Седни ушел он, батько.

— То добро! Есаулы Осипов да Харитоненко с Дону, с Хопра

---

[1] Смешанного происхождения, метис.

привели людей... Самара, Саратов под нами — воеводы кончены... Нынче скоро пустим народ под Симбирск — Петруха Урусов из кремля не вылезает, не задержит, боится нас... Пущай идут есаулы — Черноусенко рвется к бою... Чикмаза с Федькой Шелудяком оставляю в Астрахани глядеть за Васькой... Думаешь, Васька Ус изменник?

— Думаю, батько, что — да.

— Пождем, Лазунка!.. Через неделю и около того взбуди меня, не дай пить...

Атаман пригнулся, взгляд его был страшен...

— Спешить надо, Лазунка, или сплошаем — плаха ждет...

— Батько, страшно мне за твою голову — закинь пить...

— Нынче, Лазунка, еще наша сила! Не бойся — пью... Взбуди через неделю и знай: не верю я никому, тебе да Чикмазу верю. А над всеми, когда я сплю, как сатана вьется Васька Лавреев — за ним гляди...

Атаман ушел. Лазунка поправил и переменил подгоревшие свечи, стал гадать. Голос его запел звонче в лунном мареве купола церкви...

3

Еще прошли два дня и две ночи: атаман пил, глаза его наливались кровью. Он иногда вставал, шатаясь ходил по церкви, рубил иконы. Сабля тяжело, зловеще сверкала в сумраке, оживленном редкими огнями.

Тогда Лазунка кричал:

— Батько, сядь к столу!

Разин, слыша знакомый голос, что-то вспоминал, послушно отходил на место, садился, дремал у стола и снова пил. Иногда приходил в алтарь маленький волосатый в черной ряске понамарик. Разин его назвал чортом. Понамарик часто крестился, менял на столе подгоревшие свечи и исчезал своей лазейкой в алтаре. Разин отдирал тяжелую голову от рук, кричал:

— Э-э, чорт!.. Огню!

— Даю, батюшка, даю — вот те Христос...

Понамарик волчком вертелся, таская из ящиков свечи. Среди ядовых быстро вспыхивали огни и гасли. Прикрепленные к антиминсам, они подымали их пузырями, падали.

— Огню, чорт!

— Ох, вот те Христос, и лоб перекрестить некогда! Ой, даю... — прилепляя к антиминсу свечи, понамарик дрожал и читал под нос:

— «Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей...»

— Провалился сквозь землю? Огню!

Понамарик начал лепить свечи на кромки яндовых. Атаман дико хохотал:

— Смекнул, сатана!.. Есть вино?

— Не гневись, батюшка, — есть!

— Сгинь, попова крыса!

Понамарик исчез. Атаман выпил из яндовы через край хмельного меду, неверным размахом утер седеющую бороду, опустил на руки седые на концах кудри. Огни оплыли, дымили, пахло воском. Водка, начиная нагреваться от многих огней, запахла сильнее. Атаман, мотаясь, встал, оглянул мрачными глазами огни на яндовых и что-то как бы вспомнил:

— Да-а... пожог изведет? — Взмахнул по огням широкой ладонью, сорвал с яндовых огни, кинул под ноги. — Так, так! Огляделся, взгляд его упал на ковш. Взял ковш, зачерпнул из яндовы водки, выпил полный ковш, не переводя дух...

По стенам, написанные сумрачными красками, кривлялись лики святых. Разину показалось, что среди них он узнает Владимира Киевского.

— Ты, равноапостольный? Ты! сыроядец, блудодей, многоженец! И ты свят? А каким местом свят? Или за то, что загнал людей в реку, как на водопой животину? Ха-ха-ха! И вы все таковы же, сподвижники! Русь спасали? Боярскую Русь? Что ж вы говорили мужику? Корми бояр, царя и веруй! Добро шло в ваш кошт, и вы то добро копили. Изгоняли жонок? На показ своей святости манили в монастыри юношей. Претили носить портки, а были б в кафтанах длинных с кудрями на женский вид!

Атаман склонил голову в полудремоте, зачерпнул ковшом водки, выпил и против воли тяжело сел на скамью, положил бороду к широким ладоням, увидал: задвигались золоченые стены, иконы, а там, где раздвинулись из прогалков, стали выходить старики со светильниками, все в черном, сгрудились внизу за ступенями, запели... Атаман, не двигаясь, глядел: в средине черных стариков, сошедших со стен, стоит он сам, одетый также в черное с обрывком веревки на шее. Из толпы

обступивших кругом стариков вышел князь Владимир к красном коце с золотом на голове, крикнул зычно:

— Анафема-а!

Старики перевернули светильники огнями вниз. Владимир извлек меч из ножен, ударил его, стоящего посреди черных в черном, и снова крикнул:

— Анафема-а!

Старики запели похоронно.

— Б...дословы! — загремел голос атамана на весь собор: — я жив и вот вам!..

Уронив и погасив огни на столе, Разин тяжело поднялся, пиная скамью, сволакивая со стола антиминсы. Шагнул к видению, его пошатнуло со ступеней, сунуло вперед: он сбежал к большому аналою, хотел удержаться, схватился за покрышку и упал... Аналой зашатался, устоял, покрышка сползла вместе с иконой, закрыв как одеялом хмельного батьку с головой и ногами, икона проползла по спине, торцом стала у аналоя. Разин уснул богатырским сном. Лазунка кинулся к атаману, боясь, что свечи зажгут водку, но увидал, как атаман, разом погасив все огни, упал, решил:

— Так отойдет... Завтра взбужу, не дам пить!

Лазунка вернулся и в тишине задремал. Вздрогнул от стука, встал, шагнул к двери, спросил:

— Кто идет?

— Нечай!..

Боярский сын, откинув замет, приоткрыл дверь.

— Чего надо?

— Держи! Бочонок водки атаману.

Тот, кто совал бочонок из тьмы паперти, говорил заплетающимся языком.

Лазунка подумал:

«Хлебнул должно, с бочонка», спросил:

— С кружечного?

— Дьяки шлют! — Человек совал бочонок в полураскрытую половину двери. Держал на руке. — Чижол, бери!

Боярский сын, не желая распахнуть дверей, взялся руками за бочонок. Бухнул выстрел, бочонок покатился по спине Лазунки и по полу. Боярский сын осел без слов на плиты, голова упала в притвор собора. Через мертвого перешагнул человек

в синей куртке со шрамом на лбу, с парой пистолетов за ремнем, без сабли, в черном низком колпаке. На левой щеке виднелась круглая язва. Шагнув в собор, человек огляделся:

— Пса убил, а боярина нету? Куды его чорт?.. В алтаре темно!

Под ногами зазвучали плиты собора. Остановился, поднял руку — у паперти ударили в литавры, и голос Чикмаза зычно крикнул:

— Гей, караул! чего глядите? Кто стрелит у батьки?

— Эх, Лаврент, не сполню — Шпыню в пору ноги нести!

Человек загреб на столе Лазупкины огни, погасил. В темноте, идя от голосов прочь, быстро шаркал, невидимый, ногами, выдавил слюду окна, черпея и извиваясь в белесом свете, сорвал раму, беззвучно опустил ее спереди себя и прыгнул.

На паперти стучали ноги. Один голос сказал, входя в собор:

— Лежит кто в притворе...

— И то лежит! Эй, огню!

— Ребята-а! Обыщите кремль — батьку убили никак! — Забили литавры.

Голос Чикмаза кричал:

— Гей, собирайтесь — скоро оцепляй кремль!

4

Когда казаки и стрельцы по приказу атамана с жеребья разбирали жен в кремле — туда пришел Васька Ус. Ус к жеребью не стал и жениться не думал. Попы увели старых боярынь в женский монастырь.

Жеребьи все вышли, казаки брали с собой последних двух боярских вдов. В то время в кремль к собору доброй волей пришла молодая купчиха в кике с золотыми переперами, в атласном шугае и шитом золотом сарафане.

— Глянь, робята!.. — закричали стрельцы: — одна жонка сама пришла, замуж дается.

Купчиха была на язык остра, ответила:

— А нет уж! Коли не судьба замуж, так вдовой пойду.

Васька Ус подошел, погладил ее по спине.

— Мясо крепкое и баба мед!

— Вот за тебя, черноусого, пошла бы, коли взял.

— Ой ли? А дай женюсь!

Васька Ус пошел в дом к купчихе-вдове. По дороге узнал, что мужа ее убили разинцы, когда он в рядах, в белом городе, спасал свои товары: — «Ой и скупущий был брюхатой, бородатой!» Ночь они провели нечестно. Днем помылись в бане, поп наскоро обвенчал и пил у них ночь целую с дьякопом да дьячком.

Дом жены, где поместился есаул, — пузатый, деревянный: нижний этаж выперло, но все ж дом был крепкий. С верхнего этажа по бокам шли лестницы крытые, столбы лестниц точеные, крашены пестрыми красками. Новый муж купчихи по сердцу был ей своим богатырским сложением. Она сама принесла Ваське кафтан синий, бархатный, рубаху шелковую, шитую жемчугами шапку голубого атласа, отороченную соболем и, подобно боярским мурмолкам, выложенную серебряными кованцами [1] и кушак рудожелтый с дорогими кантургами. [2] Жил с ней Васька с неделю ладно, весело, хмельно и любовью обильно, а как-то на ночь, однажды, погнал жену от себя:

— Прочь поди, постылая!

— Ой ты, Васинька! Да уж как и чем я не мила, не угожа?

Есаул нахмурился, сидя на брачной кровати, стукнул в стену кулаком, так что кубки в поставце недалеко где-то зазвенели, сказал:

— Помру ежели черной смертью — предай земле!

— Пошто тебе помирать, солнышко незакатное, аи чего у нас нет?

— Поди прочь от меня. Потом, коли перейдет беда, нарадуешься!

Жена послушалась, втихомолку наплакалась. Потом пошла на рынок, нашла амбар и стала торговать весь день — лишь ночью приходила домой. Спала за стеной чутко и к бреду ночному нового мужа прислушивалась... В подклети дома Васьки Уса, среди узлов с товарами да рухляди торговой, между мешков с пшеном и рисом, на земляном полу лежал, вытянувшись во весь рост на животе, Федька Шпынь. Васька Ус на ящике

---

[1] Кованые украшения с резьбой.

[2] Подвески в виде отдельных висячих безделушек.

сидел перед ним, восковая свеча была прикреплена к кромке плоского ящика, горела, поматывая точечкой огонька.

— Ну, Хфедор! Я — атаман или же Стенька?

— Убил, Лавренч! Убил лиходея, да только не атамана — Лазунку!

— Ты пошто гугнив? Тогда, когда посылал в собор, заметил такое, — спросить о том забыл.

— Да вот!.. Лазунка дунул меня в рот из пистоля на Москве в Наливках... Тогда и повернуло мне язык во рту, щеку прожгло, да оглох на левое ухо. Лежал я сколь время, говорить не мог, дивно, что не сдох с голоду. Гортань завалило, не шла ёжа окромя воды... Он же, сатана, в ту ночь, как меня тяпнул, утек в Астрахань...

— Ловок ты, а будто заяц собаке в зубы пал.

— Ништо! Кабы повыше, то не видать ба тебя, да промигнул ночью... Ну, и я его нынче отпоштовал, кудри расти не будут!

— Хфедор! Лазунка — птица едино, что кочет. А до сокола, вишь, не добрался?

— Атаману за ремнем был заправ, хватило бы. Да, Лаврепч, в церкви его на ту пору не случилось. А как дал стрелу — чую, сполох бьют, и сыск по кремлю зачался — едва ноги убрал! На счастье, Никольские на замок не были захлопнуты — то конец мне.

— Где ж был Разин?

— А чорт! У Лазунки огонь, к олтарю же тьма и тишь.

— Дела наделал себе... Как сказал я, убил ба обоих, собор поджег и дело скрасил — сгорел во хмелю... теперь же придется под Синбирск итти.

— Ништо! Пристану к татарве, мовь (язык) поганых ведаю, хаживал с ними... Ты мне лишь татарскую справу дай... там к воеводе проберусь.

— То справлю! Сполохал зря: убил атаманского любимца, пить закинет, тогда держись!

— Вот, Лавренч, не с тем было — ране тебе не показал. Вишь, покуда я на учуге пасся, а к Астрахани подходил, то из мушкета срезал хохлача, сыскал у его лист кой-то в шапке... мекал, что нам гож тот лист.

Шпынь полез рукой за пазуху, вытащил грамоту, скрепленную дьяками подписью на склейках.

— Чти-кось, я не разумею...

Васька Ус взял бумагу, придвинулся к огню, читал, потом сказал:

— Эх, Хфедор, запапрасно убил запорожца.

— Ну-у? жаль? А был тот хохлач, казалось мне, Лазункой послан?

— В грамоте атаман испрашивает у кошевого Серка слать людей, справу боевую тож... Мужики от его, кои послышали проклятье и отлучение от церкви Разину, побегли. Татарва вздорит меж себя. Ерзя да Мокша лапотна и безоружна. У мужиков тоже с собой едино лишь топоры...

— Пошто говорить, зряще убил хохлача? Разин подмогу способлял, и нынче ему той подмоги не видать — нам же лучше.

— Ты пойми! Запорожцы зовутся на Астрахань, а я еще не гедаю, каково нам с тобой от царя-бояр прощенье? Тех запорожцев я бы удержал здесь да Астрахань укрепил... Их боевой справ тоже не лишний тут...

— Кто поймет тебя!

— Ну, да ништо, Хфедор! Мы энту грамоту именем Разина со своим гонцом в Запорожье двинем...

— И ладно! Не зряще я трудился. Еще, Лаврсич — как мой конь? Забота по ем большая.

— Доброй конь! Только, сдается мне, с ним болесть стряслась...

— Эй, Лаврсич, не погуби животину!

— Чуй, как дело: наехал тут в город кой башкир, к частику моему у городка привязал свою падаль близ крыльца... Я же на твоем коне ехать собрался... мне его обрядили, а стояли кони рядом...

— Ногайцы схитили коня?!

— Годи, скажу... Кони, как я сшел из дому, чешут зубами по шерсти один другого. Башкиров же конь прахотной: гной у него из носу тек. Я того башкира по роже: «Чего глядишь, сатана?» Он же лишь зубы скалит да бормочет: «ништаво да ладна, казак!» Гной я с твоего коня кафтаном утер и проехался! распотел я весь и в дом зашел, кафтана с плеч не содрал, умыл руки, да ясти мне подали... Ты не нужайся. Но с тое поры недужен мало твой конь — из носа у него течет, и дрожит... Я знахаря приводил, казал: «ништо»: говорит, «оповорился мало, обой-

ется!» Солью его натирал, попл с паговора. Позже того, с неделю альбо помене, лихоманка зачала меня трепать... почи не сплю — будто по мне кто ползет, как червы... Сдернул рубаху — никого! И пало с той поры в голову мне: уж не черная ли-де смерть подходит? Жену от себя угнал: помереть, думаю, так одпому... Черная смерть — она прилипучая к другим...

— Ой ты, Лавренч! Пошто смерть?

— Дрожуха не отстает, червы перестали казаться, зато чирьи пошли по телу, и едни вчера лопнул да потек таким же коньим гноем. Весь я — чую — стал силой вполу прежнего...

— Пройдет! Коня лечи, не кидай, — издохнет аргамак, и мне конец! Такая на душе примета.

— Вылечусь! Коня излечу, деньги есть — не жаль их, много... Ты же бери моего коня — их у меня три, — бери лучшего и под Синбирск... Разин туда людей шлет, сам скоро будет — там с ним кончить. Прийди вперед его под город.

— То знаю, как кончить! А вот как бы мне из города выбраться? Чикмаз — чорт! На ночь у ворот большие караулы поставил. На стену ба забрался с города — только вниз четыре сажени с локтем: падешь и без головы станешь...

— Не ходи, спи ту! Есть тебе принесут, рухледи много, подкинь и накройся... В казацкой одежде быть нельзя — нарядись стариком, сукман сыщу, бороду подвяжешь... Ходи на кружечной, в кабаки ходи, напойных денег дам, и к нам ходи — к жене много ницих шатается... незнатко! Седни Разин ли, Чикмаз не пойдут в домы искать; Разин, поди, хмелен? Завтра спохватится, а ты из-под-заранку уйдешь.

— Так ладно! остаюсь...

5

Утром чуть свет загремел голос атамана:

— Гей, есаулы, ведите мне Лазункина копя — на нем буду ехать хоронить друга!

Забили барабаны. По зову голоса и бою барабанов собрались: Яранец Дмитрий, Иван Красулин, Федька Шелудяк, Чикмаз — все на конях. Мишка Черноусенко прискакал последним. Стрельцы уж держали на плечах черный гроб с золотыми кистями. Чикмаз ждал грозы от атамана за худой караул стрельцов у собора; всю ночь не спал, заказал гроб. Лазунка лежал в гробу

в том, в чем был в Москве — одетый в красную с золотом чугу; синий жупан его подкинут в гроб.

Через город, мимо Спасского монастыря, Вознесенскими воротами, сняв с них замки, стрельцы вынесли гроб на холм между слободой в сторону Балды-реки. Там уже была выкопана могила. Плотники на телеге везли разобранный голубец[1] с иконой. Голубец приказали срубить дьяки, дали из приказной палаты икону:

— Так на Дону хоронят. Атаману будет тоже любее.

У могилы, когда поставили гроб, пели два попа в черных ризах. Все слезли с коней вслед за атаманом, подходили к Лазупке, лежавшему с удивленно раскрытыми глазами, целовали убитого в бледный лоб. Атаман поправил густые кудри, закрывавшие щеки убитого. Запорожской шапкой Лазунки закрыл лоб, поцеловал.

— Положите на грудь другу саблю его, к боку пистолеты. Когда зарыли могилу, плотники собрали избушку-голубец, под навес ее прибили образ Николы. Разин снял шапку (есаулы стояли без шапок), шагнул к голубцу Лазунки, встал на одно колено, сказал, и голос его дрогнул:

— Покойся, родной мой! Ты истинно любил меня... Я не забуду тебя, пока жив! Злодея сыщу коли, то будет помнить день нашей разлуки! И если падет тоска смертная, унынье непереносимое охватит душу, тогда — кто знает? — быть может, моя рука перекрестит мою грудь и ведай: первая от меня молитва будет по тебе!..

Отъезжая с атаманом в город, Чикмаз сказал:

— Батько, надо ба у Васьки Уса в дому пошарить Шпыня? Сдается мне, он, лютой пес, убил есаула!

— Где был караул в тое время, Григорий?

— Да караул, батько, все время был и на чутку раскочился, дуван какой-то делили.

— И я знаю тоже... Шпынь! Искать его не здесь и не теперь, будет место! Подите все на дело... Я же, коли увижу надобное в сыске, позову.

Есаулы уехали. Чикмаза Разин остановил:

— Григорий, все ж тех, кто был в карауле, опроси строго.

— Опрошу и приведу к тебе их, батько.

Чикмаз поехал догонять есаулов; Разин подъехал, слез, при-

[1] Надгробный памятник.

вязал белого коня Лазунки у крыльца дома Васьки Уса. Есаул в бархатном красном кафтане в желтых чедыгах, шитых шелками, вышел на крыльцо без шапки, низко кланяясь, сказал:

— Гости, дорогой гость!

— Удумал вот! На свадьбе не был, дай, мыслю, заеду с похорон. И дивно! Всех есаулов на могиле друга в лицо видал, а тебя, брат, не приметил!

— Ох, знаю, Степан Тимофеевич! Поруха большая, да, вишь, недужен я, и болесть моя людям опасна... Оттого в кругу твоем не был, когда ты суд-расправу чинил... И жену себе взял не по жребью, а так охотна к тому нашлась.

— Что ж за болесть, Василий?

Васька Ус переходами и лесенками привел атамана в большую горницу, где был накрыт стол, поставлены меды хмельные в серебряных золоченых братинах. В блюдах таких же мясо жареное, виноград с дынями в сахаре на тарелках. Сели за стол, есаул сказал, наливая в чашу мед:

— А ну-ка, гость дорогой, испей, да судить, о чем хошь, будем!

— Без хозяина не пью, таков мой норов.

— Мне, вишь, лекарь претит пить.

— И я не буду!

— В измене зришь меня? За то боишься, Степан Тимофеевич?

— Оно на то схоже.

— А, ну, коли! — запрет ради тебя кину, изопью мало...

Есаул налил себе кубок меду, выпил, чокнувшись с атаманской чашей, стоявшей нетронутой. Разин чаши не поднял, глядел упорно в лицо есаулу. Ус налил кубок из другой братины и также, позвонив о край чаши, выпил. Разин поднял чашу, сказал:

— Налей из третьей, пей со мной!

Есаул налил из третьей и, чокнувшись с Разиным, выпил.

— За здоровье-твое, брат! Что ж за болесть у тебя, даве спросил, да умолчал ты?

— Болесть моя от коня! Завез ее ту с ордынских степей башкир, поставил в ряд с моим конем одра гнойного. Конь от башкиров болесть принял. Я же на том коне путь держал, и теперь по мне чирьи кинуло, гной потек, из носу сукровица пошла, и нос, видишь, спух... Спасибо лекарю, задержал болесть. Чирьи

на мне палит каленым железом, поит отваром коей травы с живой ртутью и антимонией... А то было так: скопится харкость, завалит гортань, плюнешь, и глядь, вылетели зубы с мясом, то два, то три.

— Страшная болесть!.. Ты мне скажи, Василий, кто убил Лазунку?

— Должно, Степан, — Хведька Шпынь, сатана нечистая — то его работа!

— Где ж дьявол кроется?

— Да уж не думаешь ли, атаман, что в моем дому всякой худой собаке я даю сугреву?

— А думал я так, Василий! И мекал, что за княжну ясырку ты доселе зол на меня... в измене тебя считал.

— Вот ладно! Да нешто моя шея петли просит, что я на ближних людей убойцов навожу, обчее дело топлю, будто худой рыбак старую лодку?

— Какая корысть Шпыню от себя убить Лазунку?

— Корысть, брат Степан, молышь? У дикого человека нет корысти, а вот послышал я от татар, кои гоняют на Москву, что Лазунка, когда был от тебя послом, скрывался на Москве. Шпынь же за то, как ты его под Астраханью на буграх в шатре тяпнул в рожу, измену к тебе затаил... Сам он несусветно злой человек... падучей болестью бьется порой. А таковые завсегда дики, и глаз их недоброй, обиду сколь годов носят в себе.

— То правда, Василий! Был хмелен — он же мне говорил обидное, и я бил Шпыня.

— И вот, Степан Тимофеевич, Шпынь заварил злое дело. Проехать ему хошь по облакам не страшно, коней прибирает таких, от которых ездоки отступились, пути не боится — татары, горцы знают его. Проехал он на Москву да бояр, как доводили мне татары, оповестил... от царя ему корм шел, а Лазунка стрелся с ним и его, как изменника нашему делу, из пистоля ладил кончить, да, вишь, не добил чорта! Шпынь же погнал следом... и в отместку — убил...

— То правда! Лазунка говорил, что бил. И не добил, должно? Эх, Лазунка, Лазунка!.. А ну — пью!

— Пей во здравие... не опасись. Тебе был я братом и буду таковым впредь...

— Василий, дай руку!

— Вот моя рука, Степан!

— Камень ты с моей души отвалил, Василий! Тяжко было думать мне, что под боком свой брат сидит и на меня точит ножик. Теперь вот! Завтра или день сегодя уйду с Астрахани, время зовет! Тебя же оставлю атаманить, и ты, Василий, тех людей, кого не кончил я в день расправы, не убей... Пасн и не губи князь Семена, да старика митрополита не надо убивать... Эх, не сдымается рука моя на древних людей! Он и ворчлив, все почести не мы ему дали — царь... льготы — торг и тамга монастырская... учуги тож. А век его не долгой, пущай помрет своей смертью!

— Буду хранить твой запрет, брат Степан!

— Где ж, думаешь ты, Василий, тот Шпынь теперь?

— А думаю я вот, Степан Тимофеевич: те же татары, коп были здесь и под Сибирск шли, сказывали: «обещался быть к нам казак — Шпынь». И должно, ушел под Сибирск. Татарва ему свой брат... Конину он жрет из-под седла сырую, как сыроядцы, и ты его, Шпыня, опасись под Сибирском...

— Чорт его середь татарских улусов сыщет!

— Да чтоб коло тебя не объявился, дьявол!

— Прощай, Василий! Лечись и не загинь.

— Прощай, Степан Тимофеевич, брателко, дай бог пути!

Атаман спустился по лестницам. Васька Ус поглядел на отъезжающего в окно, походил по горнице, заложив за спину руки, подошел к тому же окну, сказал:

— Эх, незабвенна ты память о Зейнеб персицкой! И я тебе за то, Степан Тимофеевич, перестал быть слугой и братом! Кипит кровь!

Вошла девушка служанка со свечой, зажженной в руке, в другой держала железный прут.

— Тебе чего? С огнем среди бела дня!

— Лекарь, Василей Лаврент, указал печь развести.

— Топи, справь дело, да зови лекаря!

Изразцовая печь потрескивала, за дверями скрипел пол, и голос спросил:

— Можно ли к хозяину?

— Иди, старик, велел я.

Вошел с киноварным большим кувшином под пазухой старик с прямой узкой бородой, в черном колпаке и белом,

как его борода, кафтане, долгорукавом и длиннополом. Поклонился низко.

— Что зачнешь чинить?

— Лечить да жилы сучить, есаул батюшко! Вот перво, пей-ко из моей посудины... Кафтан-от я сброшу, там у меня подкафтанье. Те с узорочьем посудинки пошто? Сказывал, от хмельного держись, надобно гнилую кровь в тебе убить... Хмельное же гнилую кровь по телу разгоняет, и загнивает она там, где ей гнить не след...

— Пил мало, старик! Нельзя... Хмельное вражду утишило: гость пришел, не хотел пригубить моего, покуда я не пил.

— Не приказывай таких гостей.

— Не звал и не желал — сам наехал.

— Сам? Ну, уж тут двери не запрешь, коли щеколда завалилась.

Старик налил коричневой жижи в чашу с наговором:

— «Цвет полевой растет на сугорах... Кровь очищает, хворь гонит вон из тела... Жабы ли квачут, бесы ли скачут в человеке — все вон!.. все вон!.. Без щипоты, ломоты в костях раба Василия — ни в белом теле его... ни в ретивом сердце... хворь, гниль не держись! Аминь». Пей, батюшко!

Васька Ус выпил чару жидкости.

— Ух, пошло по телу!

— Тут я девке, коя печь разжигала, дал жилизину малую, указал ей кинуть в огонь, — чай, накалилась? Ты, родной, нынче как терпеньем-то? Буду опять чирьи жечь.

— Мне, дедко, хоть шкуру с живого дери, не охну.

— Так, доброхот Васильюшко, так. Легче ли?

— Много легче, старик! Чирьев поубавилось... Только плоть зачала меня мучить, к жене тянет...

— А я вот, как сденешь рубаху, гляну на тебя и скажу. Скидавай кафтанишко, рубаху тож до гола тела. Тело бело, мясо ело... — бормотал старик, пока Васька Ус раздевался.

На бронзового цвета теле, непомерно широком в плечах, под лопатками зияли глубокие с синими кромками две гнойные язвы, третья, пониже, засохла и сузилась.

— Вот вишь, Васильюшко! Огню-то спужалась, прижгли — она и зачахла.

— Дуже гарно, дид!

— А говори ты по-нашински! Годи, я ветошкой гной-то сниму, да на огне спалю. После потерпи.

— Ладно.

Старик тряпкой осторожно, чтобы не запачкать рук, стер густой гной. Надел рукавицы замшевые, вытащив их из кармана, из левой полы кафтана, брошенного на лавку. Таща из печки железный прут с концом, накаленным добела, ворчал:

— Паскудница... нажгла братой конец, что держать неможно... Ну, благослови господи!..

Подпаленное в язвах тело начало трещать.

— Трещи, сатана!.. Вылезай из окна — чур, чур... Не крепко ли подпекает, родной? Можно дух перевести — печь добрая, жилизину подогрею.

— Пали, дид! Ништо, мало кусает.

— Крепок ты, Василий, бог с тобой. И телом каменной. От того справимся с окаянной привязухой... Иного уж в гроб загнала бы в един месяц — до новца месяца не дожил бы.

— Жги! Едино, что муха бродит.

Тело затрещало снова. Язвы стали черными.

— Ну, и одежься! И ежели в ночь прибредет охота с бабой заняться — займись, не бойся. Низ твой чистой — идет сверху проклятая. А наверху мы ее поуняли мало. Только хмельного напись! Пить будешь — врачеба моя не поможет.

— Спасибо, бородатой. Деньги бери у жены.

— Ладно. Только ты бабу не целуй и ей не давай размякнуть в ласках. От слюни береги ее и хархоти, да не спи, справься и уходи прочь. Перед тем как подти, обмой тело водушкой теплой, утрись рушником крепко, рубаху, портки надеж неносимые...

— Добро! Знать буду.

— Теперь прости-кось!

— Испей меду, старик!

— Хмельной-то пакости? Нет, сынок! На угощенье окаянном благодарствую.

Старик ушел. Васька Ус продолжал так же, как до того, спокойно и мерно ходить по горнице, иногда лишь останавливался у стола и косил глазами. Потом крякнул громко, решительно шагнул и, нагнувшись, понюхал запах крепкого меда. Оглянулся и, взяв братину, налил через край большую чашу, выпил.

— Э, да все люди, окромя чертей, здохнут!..

Налил другую и снова жадно выпил. Походил по горнице, налил третью, поднес ко рту. Рука дрогнула. Есаул, взмахнув рукой, выплеснул на пол хмельное, крикнул:

— Эй, девка! Убери погибель мою!

6

Барабанным боем в кремль призывались есаулы и были все с Васькой Усом. Разин уезжал из Астрахани на Лазунькиной лошади, свою вороную отдал Чикмазу.

— Слушайте, есаулы! Оставляю в атаманах Василия Лаврентьича Уса...

Есаулы слушали, сняв шапки. Разин передал Усу атаманский чекан.

— Суди, чини суд-расправу! Будь, Василий, справедлив, бедных не тесни налогой и тех, кто с нами идет — дворян, дьяков, сотников, десятников стрелецких — не обижай, не черни моего лица неправдой!

— Буду чинить, Степан Тимофеевич, по правилам!

Есаулы проводили Разина за слободу и вернулись. Один Чикмаз дольше всех ехал на вороном коне, опустив к гриве лошади сивую бороду:

— Не ладно, батько, учинил! Изверился я в Ваську Уса — не бывать правде на Астрахани.

Разин пожал руку Чикмазу.

— Гляди за ним, Григорей! И сколь можно, доведи мне, как атаманит Лаврсев. Прощай!

Через неделю власти над Астраханью Васька Ус, в синем бархатном кафтане, в запорожской шапке, в сапогах красных, расшитых золотом и шелком, сильно хмельной, стоял среди воеводина двора. Поодаль в круг стрельцы с бердышами в красных кафтанах. По бокам два накрачея с воеводскими накрами.

Двор воеводы обнесен высоким тыном наподобие острожка: снаружи до половины стояков тын осыпан землей. Кругом всего тына копаны рвы до ворот широких двора. К воротам Васька Ус поставил караул из двух стрельцов с самопалами и бердышами. Накрачеи забили в накры, собрались есаулы, встали близ атамана. Васька Ус, высоко подняв большую руку с атаманским чеканом, крикнул:

— Гой, стрельцы, подите на двор к князю Семену Львову, волоките его сюда!.. Закуем да пытать будем! Сколь у него казны и добра, с народа грабленного, есть?!

Опустив чекан и проводив цыганскими глазами уходящих по приказу стрельцов, атаман пошел в воеводский дом; есаулы, кроме Чикмаза, провожали его. Счищая с сапогов о ступени грязь, Васька Ус прибавил громко:

— А там будет черед и его преподобию! Голова митрополичья трясется направо, а мы ее наладим налево трястись.

Стал подыматься на лестницу.

Есаулы молча шли за ним.

У САМАРСКОЙ ЛУКИ

1

Высоко над Волгой, на третьей ступени Девичьей горы, среди редких елей раскинут шатер атамана. На ступенях горы до шатра рубленые сходни в толстых бревнах. Книзу по Волге, в бухте за Девичьей горой, стоят струги и боевые челны атамана. На стругах на железных козах-подкладках горят огни. На палубах говор, шум хмельной и песни под звон домры. Звонче других и чище голосом поет круглолицый матерый с пухом черной бороды брат атамана — Фролка.

Шатер атаманский из парусов; под парусами, лицом в шатер, ковры натянуты. Раскинуты ковры и по земле до половины шатра. У дверей разложен огонь. Пламя огня поддерживает атаманский бахарь и песенник, старик Вологженин. Иногда пространной невидимой грудью вздохнет горный ветер, зашумят, ели, засвищут их ветки, шевельнет ветром полотнища шатра, вставшего на дороге, но сдвинуть стен шатра не может волжский ветер — покрутит пламя, широкими горстями кинет золото гаснущее искр на ковры, тогда ярче зеленеют сапоги атамана, да блещут на них подковки. Черный кафтан на атамане подбит лисицей, оторочен по подолу и вороту бобром, правая пола отогнута, под кафтаном кровавокрасный кармазинный полукафтан, за кушаком пистолеты. Атаман лежит на подушках, облокотился на толстый низкий пень срубленного дерева, глядит в широкий разрез дверей, и видно ему берег дальний, сли-

тую в туман землю с небом при свете как будто накаленного добела месяца. Не пьет атаман, думает, сдвинув на лоб красную бархатную шапку. Думает свое старик бахарь у дверей шатра и заговорить с батькой не смеет. Видит атаман, как старый сказочник прячет от припека огня свою домру за ковер, чтоб не портились струны.

— Что ж ты, дид, играть закинул? Песня мне не мешает...

— Аль не чуешь, атаманушко, как брателко твой Фрол Тимофеевич взыгрался? Чай, до Самары гуд идет! Я же к тому гуду тож причуиваюсь...

— На чорта мне игра Фролки! Саблей играть не горазд. На домре старикам играть ладно — казаку не время нынче... Играй ты.

Выволок старик-бахарь домру, потренькал, настраивая, и, припевая, стал подыгрывать:

Гой ты, синелучистое небо, над маткой рекой!
На тебе ли пылают-горят угольки твоих звезд вековечные...
Твоим звездам под лад
Под горою огни меж утесами, кампями старыми...
Прозывается место прохожее — «яблочной квас».
А те звезды — огни все поемных людей.
Из-за Волги-реки приворовленных.
То огни у костров Ерзи-Мокши людей со товарищи...
Кто не чует, — я чую огни, голоса,
Кобылиц чую ржанье!
Да огни у нагайцев, идет татарва,
Со улусы башкирия многая...
А к огням у своих — мужики прибрели,
Русаки к русаку присуседились.
С головой на плече супротивных своих
Не одна и не две, много, много боярских головушек
Принесли мужики к заповедным огням.
С головами боярскими — заступы,
Принесли топоры, вилы, косы с собой.
Пробудилась, знать, Русь беспортошная!
Эх, гори, полыхай злою кровью, холопское зарево!..
На лихих воевод, что побором теснят
Да тюрьмой голодят, бьютослопами до смерти...
Мы пришли вызволять свои вольности
С атаманом с Стенькою Разиным
От судей, от дьяков, от подьячих лихих,
Подавайте нам деньги и бархаты,
Нашим женкам вертайте убрусы-шитье
Да тканье золотое со выраньем!

Не дадите, пойдете, как пес, меж дворы
Со детьми да родшею шататися.
Божьей милостью — с нашей мужицкой казны
И убоги и нищи кормится.
Подадим, коль простим.
Не простим, так подохнете с голоду...

— Хорошо, дид, играешь! В песне бахвалить не липне.

— Пошто бахвалить, атаманушко? А глянь, сколь огней кругом и силы народов разных там в долине да на сугорах и меж щелопы...

— Много силы, старик, знаю я... Но вот что, ежели бы ты ехал в упряжи да конь твсй зачал бить задом да понес бы тебя и ты слез и загнал коня в болото ли альбо в стену, — кнутьем бить зачал, да?

— Да уж как, атаманушко батюшко! Ужели дать неразумной животине голову мне сломить сдуру?

— Так вот: народь конь, седок боярин аль выборной большой дворянин — жилец. За спиной боярин ездока — седок! Шапка на седоке в жемчугах, видом шлык, на шлыке крест. А зовется тот седок царем.

— Вот ты куда меня завел, старого.

— Вышел я с народом платить лихом за лихо: по отце моем и брате панафиду править и всю голую Русь, битую, попранную в грязь воеводами. И радошно мне, мой бахарь, как орлу наклеваться рваного мяса. Не чтоб бояра меж дворы пошли кусочничать, в то я не верю... Не верю, не пришло время. Оно придет!

— Ой, атаманушко, придет же то времечко?

— Придет... в то я верю! Пущай нынче боярство не отдаст свои вольности, и не то дорого! Пущай подумает: «не век-де мне верховодить, когда так мою власть тряхнули». Кто сажал царя на шею народу? — Бояре, чтоб с ним сесть самим. Сели и держатся друг за дружку; царя же имают за полу кафтана: «уж ты-де сиди и нас поддерживай». И ту веревку, старой, на коей держатся бояра, не порвать народу нынче — нет! Пройдет не мало годов — сотня, а може и боле того. Тогда порвет народ ту веревку, изломит оглобли, разобьет телегу, с царем, боярами, когда не страшным зачнет быть слово — анафема! Теперь вот иные мужики от слова того, удуманного попами большими царекими, убродят от нас, дело обчее кидают... Идет с нами тот,

кто разорен до корня, кому уж некуда итти с поклонной головой да кому из горького — горько. Я объехал, обошел народ... послушал и познал, а познав правду, держу народ сказками, как бояра с патриархом сказками держат замест правды — кривду! И ты видал, знаешь два струга мои, черной да красной? С патриархом-де черной, красной — струг царевичев. И я им, старик, случится, так до Москвы дойдя не скажу, что подеру у царя и патриарха не то лишь бумаги кляузные, а ризы их клятые! Не скажу ему, что метну в Москву-реку царское место заедино с царем и все царское отродье изведу до корня. Оттого и зову я народ сказками. В моих приметных письмах к мужикам, мурзам татарским и иному народу я кличу лишь на изменников бояр, не на царя.

— Да ведь, атаманушко...

— Молчи, бахарь! Кто держит власть над боярами? — царь! Кто зовет биться за домы свои? — царь! Куда пойдет царь без бояр да воевод? Нече без них делать царю и быть не должен он!

Атаман умолк и еще больше надвинул на глаза шапку. Заговорил старик, теперь не боясь нарушить думы атамана:

— Вижу я, батюшко Степан Тимофеевич, стал ты сугорбиться. Великий груз пал тебе на сердце!

— То, дид, правда.

— А ты бойся с тем грузом тамашиться... Утихомирься, и надо верить: худо — будет худо; добро — оно завсегда добро... Ино и больших человеков, как ты, тот груз ране времени в сыру землю гнетет... зор свой соколий не мути. Замутится зор, и груз окаянный каленьими щипцами охапит сердце.

Атаман поднял голову и сел:

— Вот, дид, удумал я! Скинь-ка ты этот размахай казацкой, дам тебе полушубок да сапоги крепкие и вот на дорогу.

Атаман протянул бахарю кожаный мешок с деньгами:

— Бери!

— Ой, батюшко! а и денег тут! Чем я заслужил такое?

— Бери и молчи! Пробирайся, старичище, на Москву хлебопросом, и никто тебя, нищего, не тронет... В Москву зайдешь, сыщи в стрелецкой слободе на пожарище дом. Там, сказал мне Лазунка, памятной мой, ныне выведены анбары каменны.

За анбарами тот дом, до крыши врос в землю... В ем жонку сыщи, Ириньицей кличут. Скажешь от меня, и сыш там мой... Тебя замест родного примут... А буду на Москве, увидишь и узнаешь, как быть...

— Чую, батюшко! Сапоги не надоть, полушубченко, не новой только, будет не лишним, в лапотцах убреду, онучи лишь приберу суконные.

— Добро! Иди, да где можно, бренчи песни. Последняя ты моя забава в пути, и не расстался бы, да время движется боевое, быть тебе со мной негде...

— Так уж и итти?

— Ночь проспи, може, еще сыграешь, альбо сказку скажешь — в утре пойдут струги вверх до ровного места, снимут тебя от гор... и иди!

Разин встал, шагнул к обрыву, загудело в горах и на реке от громкого голоса:

— Фролка, дьявол, буде песни играть, зову-у!..

— ...у-у-у-у... — гремело кругом.

Внизу зашумели. Затопали, заговорили.

— Батько!

— Батько!..

Вверх по сходням к атаманскому шатру полезло бойко зеленовато-синее пятно. Атаман вернулся в шатер и лег, как лежал прежде. На звездном небе в разрезе шатра стояла высокая фигура в казацком жупане, круглое лицо вспыхивало пятнами огненных отсветов.

— Что потребно брату-атаману?

— Бери, Фролко, из сотни Черноусенки пятьдесят лучших казаков да Федьку Самарца, есаула, переправьтесь в Самару. В Самаре новой воевода кончен, а старой, вишь, жив... Царь его на суд хотел звать и нас, велел ему жить до зова в Самаре, а мы того Хабарова к суду возьмем народному, нашему, и боярыню его толстобрюхую тож... Жалобились мне самарцы, когда я ихним берегом шел: «что-де нового воеводу порешили, а старой лютее был и еще живет за посадом в своем дому непропутой». Так вы с Федьком (там его невеста есть, и я ту невесту ему много раз обещал, пускай ее сыщет, возьмет да едет на Дон в Кагальник, и я туда нынче буду, чтоб послать к бою Степана Наумова да с матерыми казаками за голутьбу поцитаться) вое-

воду Хабарова повесьте за ноги на ближней колокольне альбо за ребро на крюк... и чтоб не сорвался! Боярыню, жену Хабариху, изнабейте порохом в непоказуемое место, фитиль приладьте, пущай на потеху народу из ее хорошо стрелит. Пыж забейте потуже, чтоб крепко рвануло...

— Справим по указу, брателко Степан!

— Оттуда, отпустив Федька на Дон с невестой, поезжай ты с казаками вверх под Желтоводский Макарьев... Пошел туда с хоперскими ребятами есаул Осипов. Соединись с ним — пугните святых отцов. Чул я, в монастырь тот бояра да купцы большие казну свою попрятали и многой харч. Гоже будет взять то на нас. Иди!

Фролка будто провалился беззвучно за дверями шатра.

Атаман приказал:

— А ну же, дид, скажи мне потешное что-либо... надвигаются большие дела... Сошелся мой многонарод, воеводские люди тож не дремлют, их полки наперед нас под Синбирск налажены. И малы дни, не до сказок будет. Голоса твоего, кой любил я, не услышу... Кто знает, гляди, последний раз сидишь ты, мудрой, в моих очах?!

— Да пошто так, атаманушко? Захоти, и я с тобой поеду, коло боя буду. А изведусь, то пожил на свете, не жаль мне помереть близ тебя...

— Нет! Итти со мной тебе не надо, а делай так, как указал я. Теперь же сказывай.

— Так сказку?.. А был, видишь ли, батюшко атаманушко, поп глупой да попадья неразумна тож. Удумал тот поп, со своего ли ума аль же из пришлого, на гарбузе жеребенка высидеть...

— Добро придумал!

— Да-а... куря-де цыплятюк высиживает из яйца малого, я же из такой большой местаковины безоблыжно усижу большое, и засел на печи... Попадья тому много рада: «уж коли попу этакое дело задастся, так разведем мы коней; за попом и я сяду!» Сидит поп, рясой оболокшись, день, два сидит и за немнучей, чтоб гарбуз не застудить, с печи не лезет... Много ли прошло с той поры, как сел поп, неведомо, только в избе стал дух непереносимой... Терпела, терпела попадья — невмоготу стало, на изгаду тянет. Словами донимать была не мастерица, зато

на руку скора. Нажгла попадья до калена железа крюк в печи и с челесника [1] попу сует.

«— Бес ты, не поп! Всю избу до-нельзя извонял.

«И выгнала попа каленым крюком. Сама на брюхо пала, в избу дверь распахнула от пехорошего духу. Поп завернул тое место, батюшко, в полу, да нашел себе усохут [2] с гарбузом на задворках у угла в соломке... Сидит и радуется: «вишь-де зачало подо мной шевелиться, — скоро, чай, жеребчик загогочет!» А оно шевельнулось спуста, от того, что гарбуз промзгнул. [3] Думая, поп во сладости вольной поветери здремнул мало... А и выскочи на тую пору из-за угла небольшенький жеребеночек — матку, вишь, потерял — и загогочи. Скочил поп, примстилось ему, что проспал циплятя жеребячьего: «сам-де неладной кожуру копытцем исклевал, из-под меня вывернулся да сгогатывал!» Как положено, у попа под рясой порток не было, ряса в соломке завалилась — время не терпит, и ну за жеребеночком по полю ноги удергивать, аж зад меледит! Рысистой был поп-от... сам голос подает:

«— И-и-го-го! я — твоя матка и батько...

«Увидали попа с жеребенком мужики... С тех пор повелось у народа прозвище — поп жеребячья порода».

Рассмеялся атаман, подумав, сказал:

— Попов не люблю!.. А вот поди ж ты, поп сытой да поп голодной тоже разнят: сытой коло царя, бояр сидит, голодной сам заместо мужика пашет и тягло несет, и те попы, что от народа, говорят: «Едино что в руках держать, топор ли, евангелье...» Те попы за нас, вольной народ, в церквах молят. И больше того: нынче у гонца имали наши воеводину цедулу. Воевода царю доводит: «заводчики бунтов пущие — казаки, стрельцы да попы с горожанами», и описывает попов поименно».

— Многих попов знаю я, батюшко, воеводы на правеж ставят едино, что и мужика тяглого.

— Вот то! Я же никого не тесню, кто идет со мной. Ты подремли, я пожду поры, и, може, мы с тобой на остатках пировать будем.

---

[1] Челесник — чело (перед) у печи в курной избе.

[2] Укромное место.

[3] Испортился, протух.

Старик приладился в завстреппую сторону шатра к огню. Атаман задумался и смолк.

Немало протянулось часов, уже дальше полнеба пробрела луна, почти догорел костер в шатре атамана, еще лишь пылали большие головешки, и те покрывало пеплом. Тишина легла на Волгу. Только кто-то один на стругах, разухабисто посвистывая, стучал пляской резвых ног по деревянному настилу с припевом.

Эх, тешшу грех!
И певестку грех!
Ну, а братнину жену-у...

И этот последний затих. Атаман, сутулясь, поднялся, сверкнули под зеленым от блеска огня подковки на сапогах. Шагнул. Встал за шатром на обрыве.

Около Самарской луки серебряным измятым полукругом бежала Волга. В ее мелких волнах, вспыхивающих белыми огоньками на камнях, горели — так показалось атаману — бесчисленные жадные глаза и раскрывались рты.

— Давно уж, мать Волга, голодом шевелишь свое чрево! А ну, накормлю ж я тебя в удачу отборной человечиной.

Подумав, Разин глянул вниз реки, вправо. Там меж холмами и горными утесами горели сотни костров, теснились у огней люди в мохнатых одеждах, сверкали топоры, копья и рогатины, отдаленно ржали лошади.

— То моя сила. Ну же, воеводы, опытки дадим друг другу... И безоружны мы, да ненавистью к вам богаты, и воля вольная повалит на вас стеной многоголовой!

Кое-где на косах отмелей — на серебре — чернели смоляные груды застрявших стругов, желтели расшивы, кинутые купцами. Бока расшив заворочены, закиданы песком, растрепанные упорной работой богатырской реки. Через реку, кидая по бокам жемчуг, плыли две темных будары на веслах, мотались головы лошадей и мерно двигались взад-вперед рыжие шапки гребцов.

— Фролка с товарищи в путь...

Покосился атаман вбок на угрюмую зубчато-косматую тень Девичьей горы, далеко кверху реки замутившей ясную ширь. Нагнулся к обрыву, дрогнули тишина и заволжская поемная даль от страшного голоса:

— Гей, моя удалая сарынь! поволил атаман гулять!..

По воде вниз брызнули желтые искры; по стругам затопали ноги:

— Батько кличет!..

— Эй, не вешай зад, не ходи пузат!

— Вина Степану Тимофеевичу, гей!..

Плеснуло по воде. Еще и еще — широко запрыгали, мешаясь с лунным отсветом, желтые огни.

— Дер-жи-и!..

По сходням сонной горы вверх полезли люди.

Атаман с снзым отсветом по-черному, сверкнув подковками сапог, повернул в шатер. На развешанных темных коврах, спиной к Волге, встала его большая, неясная, как тень, фигура. Под кромкой красной шапки седеющие кудри казались золотистыми в свете бродячих огоньков.

СИНБИРСК

1

Под Синбирском-городом, с кремлем на верху горы рубленым, раздольна Волга. Книзу кремля по овражистым скатам, террасами к Волге посад с торгами на деревянных лавках и скамьях. Посад тянется до хлебных амбаров, что на берегу. Улицы осенью вязки. Между кремлем и старым городищем город ископан речкой Синбиркой, идущей по дну оврага: в десять саженей глубн откосы оврага. Выше посада, ближе к рублепому городу-кремлю, — острог. В остроге, окопанном неглубоким рвом с однорядными надолбами, обрытыми наполовину землей, осадные дворы да приказная изба, в которой осенью, чтоб не плестить на крутую гору в кремль, по грязи и скользкой дороге, вершатся все городовые дела. По стенам острога деревянные башни четыре, пятая воротная, кирпичная, выше других.

Взяв под Девичьей горой на двухстах стругах людей и лошадей, чтоб по горам не уменьшать их силы, Разин плыл к Синбирску.

Низко и хмуро осеннее небо. Сыпали дожди. То ветер рванет, и завоют жадные волны раздольной реки; потешаясь, полезут на борта стругов; заскрипят мачты, и черпаки, повизгивая, шаркая, начнут отливать воду...

Атаман в виду города, — а видно Синбирск далеко, — вышел на нос своего струга. Протянул большую руку вперед, другую упер в бок, и все струги услышали его грозный голос:

— Гей, голутьба донская, чуйте! И все вы — обиженные, замурдованные голяки, мужики, горожане и будники — те работные люди, кто на будных станах [1] ярыжил, обливаясь поташом, кто сгорел почесть до костей от работы тяжкой и голода! Мститесь — пришло время — над боярами, мучителями вашими! Вот оно их гнездо, на Синбирской горе, в рубленом городе! Сюда, опаленные вашим гневом и ненавистью, сбежались они, от мужиков, казаков, от стрельцов и будников, сюда ушли они от тех, кто идет за вольную волю... Веду я вас сокрушить дворянство всей Волги и Поволжья широкого! Побьем воевод — спалим Синбирск, и будет вам воля всегдашняя, будет торг безтаможенной, будет и земля вся ваша!

Со всех двухсот стругов грянули:

— Да здравит батько наш, атаман Степан Тимофеевич!..

И снова заскрипели весла, и песни раздались, заглушая рычание Волги.

Чернея беззвездной спиной, все садилась ниже сырая почь и вражеский город утаивала во мглу.

Обойдя Синбирск на три версты, встав на Чувинском острове и разобрав по сотням, Разин высадил людей на берег в сторону старого городища. Для пеших и конных были спущены сходни. Всадники, особенно татаре, прыгали мимо сходней прямо в воду: если глубоко, то их привычные лошади плыли, где мелко — брели на берег. Волга, озлясь, подымала белесые мутносветлые гривы тяжелых волн; волны, убегая в даль, укрытую тьмой, о чем-то по-своему грозились и рассказывали... Атаман обозным приказал раскинуть шатер, стеречь караулу струги. Запылали на берегу огни. Атамана не видно, жил его громовой голос:

— Держи строй! Не иди вразброд!..

В темноте, пронизанной лишь ответами Волги да огнями костров, ближе к кремлю, зачернела и двинулась стена в белеющих, как острия тына, шапках рейтар и драгун. Стена двинулась, дала выстрелы из пищалей в сторону огней.

---

[1] Будные станы — поташные заводы.

— Пушки выдвинь — трави!..

— Трави, браты, запал!

В черном кровавые огни ухнули в сторону островерхих шапок. Шапки поверх черных лошадей задвигались.

— Стрельцы! бей по коням!..

Раздался залп разнецев из пищалей.

— Гей, татар пустить шире!

Мохнатые, сверкая мутно саблями, кинулись за отходящей воеводской конницей.

— Черноусенко, Харитонов! Сыщите обоз, срубите постромки воеводины!..

От общей черной и безликой лавы отделились два пятна все шире и шире: одно шло вправо, другое влево... Высоко в сереющем сумраке забили на сбор и отступление барабаны; по откосам вверх, к рубленому городу, пестря мутно платьем цветным, звеня оружием, замоталась линия на лошадях и пеше — часть войск воеводы Милославского.

Тут только послышался голос главного воеводы внизу среди белеющих шапок.

— Иван Богданыч! Ивашко-о!.. М... твою — палена мышь, ушли? Кинули нас! Гей, рейтары! Ратуйте за великого государя, ворам не стоять противу!..

Воевода на черной лошади, смешной, сутулый, скорчив ноги длинные в коротких стременах, свесив брюхо к луке седла, разъезжал с матерщиной, плевался. От плевков и дождя с его бороды, широкой и ровной книзу, как лопата, текло. Текло и от трубки, которую князь почти не выпускал из зубов.

— Шишаки поправь! Ратуй! М... вашу — палена мышь!..

Гонец, черный на сереющей лошади, пробрался к воеводе, — в темноте чавкала от копыт мокрая вязкая земля, — сказал что-то и поплыл к северу.

— Да что они, изменники? Кинули меня, как палену мышь! Изменник Шепелев с немцами, дьяволы — сорви башку! — ругался князь.

Его рейтары и драгуны уныло мешались, падали с лошадей, тяжелые в бехтерцах-доспехах, валялись в грязи. Татары с гиком, как черные дьяволы, рубили их, добивали лошадей, завязших по брюхо.

— Запес, сатана!.. Все Юшка Долгорукой, тоже велел. Сказал я ждать рассвета? Нет!

Борятинский все сильнее матерился.

Когда немного рассвело, воевода увидал себя кинутым с горстью своих рейтаров и драгун. С трех сторон еще рубились с татарами стрельцы его конные дальние. Ближние жались к обозу. Воеводский обоз завяз в грязи по трубицы телег, лошади от обоза были угнаны; на воеводские телеги с его добром и харчом казаки, волоча, подсаживали своих раненых. Раненые, маряясь в грязи с кровью, чавкая в липкой жиже, ползли к обозу...

— Отступай к Казанской, палена мышь! Сорви им башку, государевым изменникам, трусам!..

Воевода видел, что немцы командиры уводили на Казанскую дорогу недобитых рейтар. По слову воеводы, его уцелевшая сотня двинулась туда же. Воевода повернул вороного бахмата, хлестнул и поскакал за рейтарами, не выпуская из зубов трубки. Из-за обоза встал, когда проезжал воевода, большого роста стрелец, гулко выстрелил из пистолета воеводского коня в брюхо на скаку, конь подпрыгнул, а воевода упал навзничь в грязь... Конь, пробежав недалеко, засопел и свалился. Воевода, ворочаясь в грязи, матерился. С замаранной бородой и кафтаном от ворота до пола встал на ноги. Тот же стрелец, убивший коня, тянался по грязи, спокойно взял воеводу, скрутил назади с хрустом костей руки и прикрутил тем же обрывком веревки к воеводской телеге. Ткнул кулаком воеводе в бороду, сказал:

— Дай-кось трубку, бес! Постоишь без курева.

Вывернул из зубов князя крепко зажатую трубку, выколотил грязь, набил, закурил и, не оглянувшись, пошел выбираться на сухое место.

Мишка Черноусенко проехал мимо обоза, покосился на воеводу, без трубки, в грязи с головы до ног, не узнал князя Борятинского. Поехал дальше.

— Вот те, палена мышь, праздник! Сорви башку! Ну, м... их — помирать так помирать!.. Сволочь!.. Петруха Урусов до сей поры сам не шел и людей не дал... Милославский в штаны намарал — затворился, будто бы не поспел оного позже!.. Дали от государя портки, да, вишь, путвицы срезали! Эх, жаль, палена мышь!.. Воры — те знают, за что бой держат, и бояре ведают,

да, вишь, к бою несвычны, и биться много худче, чем с бабами в горницах валяться пьяными... Жив буду — спор о холопе решить надо, кому на ком пахать: боярину на холопе аль холопу на боярине, палена мышь!.. Поганой едет в мою сторону и, как у них заведено, лишнюю лошадь тянет... Приглядит, убьет!

Вскинул глаза князь. На ближнем возу, на княжеском его сундуке, сидит раненый казак, дремлет, зажимая рану в боку окровавленной рукой.

— Помирай, вор, — одним меньше!.. На мое добришко чорт залез, а хозяин в грязи мокнет...

Татарин, приземистый, с двумя конями, подъехал. Метнув глазом кругом, соскочил в грязь, чиркнул ножом по концу веревки у воза и, не освобождая рук воеводы, втащил его на коня и гугниво сказал;

— Езжай за мной! — кинул поводья на гриву коня, чтоб не волочились, и повернул от обоза к берегу по за амбары. Князь ехал за татарином и видел, что едет поганый на Казанскую дорогу. Выправив на дорогу, татарин освободил руки князю.

— Держи поводья!

Молчал князь, поспевая за татарином, молчал и татарин...

Разин, устроив шатер, знал, что часть войск воеводских затворилась в кремле, сказал:

— Делать мне нече. Не мой час ныне — есаулы управят да мурзы с татарами....

Он сел в шатре и, потребовав вина, пил. К шатру атамана подъехал казак.

— Батько, многие бояре в рубленом городе сели в осаду... Конные, что были с другим воеводой, избиты, а кто ноги унес, тот спел по дороге к Казани. Воеводин обоз взят, его лишь, чорта, не сыскали, — должно, бежал с передними немчинами!

— Не ладно! Придется за осаду браться, а подступы окисли,— худо лезть.

Казак, чавкая копытами коня по грязи, изрезанной ключами, отъехал.

Черноусенко, рыская по месту боя, подъехал к воеводскому обозу. Потный, в рыжей шапке, в забрызганном до плеч жупане,

остановился у телеги с воеводскими сундуками; спросил раненого казака:

— Не наглядел ли, сокол, где тут воеводы?

— Помираю, есаул...

— Не помрешь, лекаря пошлю! Не видал ли кого в путах: сказывали, стрелец скрутил?

— В путах ту, у воза был один с виду стрелецкой десятник. Стрелец приторочил, истинно трубку из зубов у его вынял...

— Он! Где нынче такой?

— Татарин увел его связанного на конь — от телеги срезал, и на лошедь вздел.

— Надо в улусах поглядеть, а ты не сказывай атаману: один чорт в кремль ушел, другого пошто-то увели татары!

— Не скажу... Помираю вот — иные, вишь, померли...

— Пришлю лекаря! жди мало.

Черноусенко, хлестнув лошадь, уехал.

2

Жителей слободы воеводы загнали из домов в острог. В остроге жизнь горожанину, призванному в осаду, невыносима. Многие люди, где были леса близ и время теплое, разбегались, прятались в дебрях, чтоб только не быть осадными. Дворы осадные — с избами без печей, а где была печь, то у ней всегда дрались и били последнюю посуду из-за многолюдья. Дети, старики, больные, здоровые и скот — все было вместе. Иные воровали у других последнюю рухлядь. Служилые беспрестанно гоняли на стены или к воротам и рвам, не спрашивая, сыт человек или голоден, спал или нет. Кто не шел, того били палками и кнутом.

Когда на барабанный бой из приказной избы сибирского острога ушли в рубленый город все приказные, сотники, десятники, стрельцы тоже, — горожане парядили своих людей проведать:

— Нет ли пожогу в посаде?

Но как только стало известно, что посад цел и даже Успенский деревянный монастырь среди посада на площади не тронут — все пошли по домам. А иные направились в шатер атамана, поклонились ему и сказали;

— Грабители-воеводы сбегли! Тебя, батюшко, мы ждем давно.

— Служите мне! — сказал Разин: — бедных я не зорю и не бью; едино кого избиваю, то воевод, дворян и приказных лихих. Торг ведите — никто не обидит вас.

Разин приказал казакам, стрельцам занять острог, перевезти туда отбитый обоз воеводы Борятинского, собрать в острог хлеб и харч, выкопать глубже рвы, кругом выше поднять землю к надолбам, вычистить колодцы для водопоя коней и людей на случай, если придется иным сесть в осаду.

В Тетюшах у приказной избы слез длинноногий брюхатый князь. Плотный татарин ждал, не слезая с лошади.

— Слазь! Заходи, палена мышь, поганой, в избу — услужил знатно.

— Я не поганой буду, воевода князь, — я казак, имя Федько, прозвище Шпынь!

— А то еще дороже, что крещеной ты, сорви те башку!

В приказной курной высокой избе, с пузырями вместо стекол, пропахшей потом и онучами, воевода сел к скрипучему столу на лавку. Шпынь в татарской шубе черной, шерстью вверх, с саадаком за спиной, с кривой саблей сбоку стоял перед князем у стола.

— Перво, палена мышь, скажи, как ты домекнул, что я, а не иной кто, привязан к возу? С ног до головы с бородой в грязи обваляся — кафтанко люблю кой худче, и не всяк во мне сочтет воеводу... Да пошто гугнив и рожа бита с дырой?

— То долго сказать — не люблю говорить...

— Ладно!

— Прибираюсь я, вишь ты, князь и воевода, убить вора Стеньку Разина.

— Добро, палена мышь! Бойкой сыскался, да меня-то как наглядел?

— Наглядел и решил выручить — потому, чем более врагов Разину, тем мне слаще, и не один я прибираюсь: мы к ему подлезаем с Васькой Усом.

— Ну, о Ваське Усе ты смолчи — не ведают малые служилые люди... Ведаем мы, воеводы, что творит твой Васька Ус в Астрахани. И вот стал ты мне своим — тебе скажу: князя Семена Львова, палена мышь, Васька Ус велел запытать и забить палками на дворе Прозоровского. К самому преосвященному мит-

рополиту Иосифу прибирается, грозит тем же, что князь Львову чинил! и ты говоришь о том разбойнике!

— Васька Ус, воевода князь, посылал меня на Москву к боярину Пушкину, а через того Пушкина ведом я стал государю. И первой царя известил о том, что Стенька Разин забрал Астрахань, а допрежь того Царицын и иные городы. И за по милости государя был я взят в Москву на корм с конем... Нынче он же, Васька, снарядил меня в татарску одежу, коня своего дал да велел пристать к поганым, что идут с Разиным, — и пришел я под Синбирск...

— Скажи, палена мышь, Васька Ус не взлюбил пошто-то вора атамана?

— То правда! грызется много.

— Все смыслю, парень! Чего ты нынче хошь?

— Итти с тобой в казаках на Разина. Там переметнусь к ним, убью его!

— Ну, сорви те башку, казак, поспеешь с опым, повремени, так как мне тож ждать ту придется.

— Теперь, воевода князь, нет со Стенькой удалых, и ему чижеле много. Удалые есаулы извелись в Кизылбашах: Сережка кривой, Серебряков да сотник стрелецкой Мокеев. А последнего, удалого Лазунку, сына боярского, я решил в Астрахани нынче.

— Ну, палена мышь, другом ты мне стал — увел от воров. А то, казак, быть бы тебе на дыбе! Много за тобой грехов, и удал ты крепко... боятся наши воеводы таких, изводят, да на меня пал, я таких люблю... И ты о Ваське не сказывай боле, служи великому государю сам за себя.

— И то гарно! Пойду, куда пошлешь, я ничего не боюсь.

— Нынче же пошлю я тебя, минуя воеводу казанского, к государю на Москву гонцом от меня самого...

— Сполню, воевода князь.

— Справишь в Москве, гонц, сорви те башку, не под Синбирск, а сюда, в Тетюши... На Москве дашь мою цедулу дьякам Разрядного приказу и пождешь, коли ответ будет.

— Знаю тот приказ, князь.

— Эй, вы, палена мышь, вшивые!.. Сюда бумагу и чернил дайте...

Дверь из другой половины отворилась, вышел подьячий, без-

бородый, с глуповатым лицом. Под ремешком длинные волосы к концам были жирно намаслены и расчесаны гладко. Подьячий никогда не видал воевод, кто бы в таком грязном, плохом кафтане сидел за столом и без крика, мирно беседовал с поганым. Он сказал князю:

— У нас, служилой, люди просят, а не кричат. Да сам ты, може, вшивой?

Князь не обратил внимания на слова подьячего, он обдумывал отписку царю. Подьячий поставил на стол чернильницу с железной крышкой, с ушами, чтоб носить на ремне, дал гусиное перо князю, другое зажал в руке. Разостлав длинный листок, разгладил, чтоб не свивался, нагнул голову, стал глядеть, как пишет воевода. Князь писал так, как будто в его заскорузлых пальцах было не перо, а гвоздь — тяжело налегал и пыхтел, перо скрипело и брызгало. Оглянув еще раз кафтан на пишущем, старую саблю на грязном ремне, подьячий ближе нагнулся, сказал:

— А дай-ко, служилой человек, я писать буду? Мне свычно.

Князь наотмашь бросил в лицо подьячему замаранное в густых чернилах перо, крикнул:

— Я те, палена мышь, велю рейтарам расписать спину, что год зачнешь зад чесать! Дай другое перо, чорт!

Приказной, струсив, что-то сообразил, подсунул перо, отстранился и, утирая лицо рукавом, с удивлением разглядывал бородатую, грязную фигуру, широкоплечую и сутулую.

Князь тяжело царапал:

«... Воевода и окольничей, а твой, великого государя, холоп, Юшка Борятинский доводит. Стоял я, холоп твой, в обозе под Синбирском, и вор, Стенька Разин, обоз у меня, холопа твоего, взял, и людишок, которые были в обозе, посек, и лошади отогнал и тележонки, которые были, и те отбил и все платьишко и запас весь побрал без остатку. Вели, государь, мне дать судно и гребцов, на чем людишок и запасишко ко мне, холопу твоему, прислать. А князь Иван Богданович Милославский маломочен, государь, был мне помогу чинить: с того бою ночного отошел, нас не бороня, да затворился в рубленом городе. Люди с ним к бою несвычны, кроме голов стрелецких, кои с им и со стрельцы к защите надобны... Люди все дворяны те, что убежали, государь, из опаленных мужиками дворишок. А бой худой пал не от меня, государь, холопа твоего. Налегал я повременить до свету, да

боярин князь Юрий Алексеевич Долгоруков указал биться, как воры на берег станут. Рейтары чижелы на конех и коньми чижолы по той мяклой земле. На мяклую от дождей землю пал рейтаренин, ему, государь, не встать в бехтерце. Вор же, Стенька Разин, пустил в бой татар — у татар лошади лекки и свычны, да глазами к почному бою поганые способнее. Кругом же бунты великие завелись, государь, сколь их и перечесть нельзе: Белый Яр, Кузьмодемьянск, Лысково, Свияжеск, Чебоксары, Цивилеск, Курмышь. А идут на бунты все боле горожане да мелкой служилой люд, да работные люди будных станов с Арзамаса. Заводчики же пущие бунтам — казаки, стрельцы, рабочие и попы. Воевод убивают: на Царицыне побит воевода Тургенев, в Саратове Козьма Лутохин, в Самаре воевода кончен — Иван Ефремов да не съехавший прежний воевода Хабаров. Нынче убит воевода Петр Иванович Годунов, снялся с воеводства — бежал к Москве, его в дороге порешили воры и животы пограбили без остатку.

«Еще, великий государь, жалобился я, холоп твой, жильцу Петру Замыцкому, который прислан от тебя, великого государя, и нынче довожу от себя особо через казака своего на воеводу и кравчего князя Петра Семеновича Урусова. А в том жалоблюсь, государь, что сговорились мы с ним и положили на том: итти ему ко мне со всем полком, и он, холоп твой, не пошел, а подводы ему в полк присланы были, и я ему говорил, чтоб он со мной, холопом твоим, шел и мешкоты не чинил. Он на меня, холопа твоего, кричал с великим невежеством и бесчестил меня при многих людех и при полчанех моих, а говорил мне, холопу твоему: «что-де я тебя не слушаю, не твоего полку». И впредь мне, холопу твоему, о твоем, великого государя, деле за таким непослушаньем и за бесчестьем говорить нельзе. Повели, государь, кравчему князю Петру Семеновичу Урусову дать мне прибавошных ратных людей, и я, холоп твой, буду ждать твоего, великого государя, на помогу мне указу. Твой, великого государя, холоп, воевода князь Юрий Борятинской».

Грамоту запечатали, князь сказал Шпыню:

— Подкорми, казак, палена мышь, коня и сам вздохни! Грамоту береги! Сгонишь, дай дьякам, да коли ответ будет — подожди; не будет — не держись на Москве, поезжай в обрат, сорви те голову. Будешь со мной. Нынче не пишу о тебе ни слова

не молвю, потом за великую твою услугу сочтусь и честью тебя не обойду. Вора Стеньку убивать не мыслю — потребно изымать его живым и на Москву дать. Поди, сыщи себе постой где лучше, а пущать не будут, скажи: «Придет князь Юрий, башку вам сорвет!»

Шпынь поклонился, ушел из приказной, подумал:

— Сговорено убить Разина — убью! Слово держу, честь обиды не купит.

3

С приходом Разина слободы стали жить своей жизнью, только более свободной — никто не тянул горожан на правеж в приказную избу: ни поборов, ни тамги, ни посулов судьям, дьякам не стало. Жители нижнего Симбирска радовались:

— Вот-то праздника дождались!

Лучшие слобожане со всех концов пошли к атаману с поклоном.

— Перебирайся, отец наш, в слободу, устроим тебя, избавителя, в лучших горницах, а что прикажешь служить, будут наши жонки и девки.

— Жить я буду в шатре — спасибо!

Собрал Разин есаулов, объехал с ними город, оглядел острог, надолбы приказал подкрепить, — рвы, вновь окопанные, похвалил. Поехал глядеть рубленый город — осадный кремль. Сказал своему ближнему есаулу, похожему на него лицом и статью, Степану Наумову:

— Приключится за меня быть тебе — тогда надевай кафтан, как мой, червой, шапку бархатную и саблю держи, как я, да голоса не давай народу знать: твой голос не схож с моим. В бой ходи, как я... Знаю, что удал, боевое строенье ведаешь и смел ты, Степан!

Присмотрев северный склон симбирской горы, приказал:

— Копать шанцы! Взводить башни, остроги, а чтоб не палились, изнабить нутро землей. Делать ночью — в ночь боярам стрелять не мочно. А шанцы копать кривушами. По прямому копать, сыщут меру огню, бомбами зачнут людей калечить.

Крестьяне и чуваши с мордвой не любили быть без дела. Степан Наумов по ночам стал высылать мужиков на работы: копать шанцы, валы взводить да воду земляную отводить в сторону. Скоро шагах в полутораста от кремлевской стены был срублен

острожек — башня. Утром из кремля целый день сменны пушки палили по вражеской постройке, сбить не могли — земля была плотно утрамбована в срубе. Острожек с приступками — казаки и стрельцы, переходя по шанцам с острожка, завели перестрелку с кремлевскими. Разин подъехал глядеть постройку своих и от острожка велел прокопать шанцы до кремлевских рвов. Из рвов прокопать и выпустить под гору воду. Ко рву по ночам перетаскали новый сруб, возвели другой острожек, тоже набили землей. Второй острожек был выше и шире первого, его обрыли высоким валом. Выстрелами с приступков нового острожка были сбиты кремлевские пушкари и затинщики.[1]

Ко времени постройки второго острожка разинские казаки да стрельцы разыскали в слободах вдовых жонок, поженились; иные без венца за деньги начали баловать и к жонкам ночью уходить из караулов. Когда появлялся в черном кафтане Степан Наумов, тогда все были на местах, других же есаулов, особенно вновь избранных, не боялись. Разин видел, как без боя на осаде при многолюдстве городском портились воины. Тогда ему хотелось пить водку, а хмельное вышло все. Жители слободы варили брагу, но в городе мало было меду и сахару не стало. Горожане в дар атаману приносили брагу, он, ее попробовав, сказал:

— С браги лишь брюхо дует!

Царский кружечный двор стоял без дела, винная посуда была в нем в целости, да курить вино стало некому. Целовальники разбежались и винокуры тоже.

4

В Успенском монастыре в слободе с юго-запада деревянные кельи на каменном фундаменте. Вместе с оградой все было ветхое, и церкви покосились. В конце двора один лишь флигель поповее; в нем кельи древних монахов да игумена Игнатия, хитрого старика.

— Низкопоклонник перед высшими! — говорили иногда про игумена монахи.

Келья игумена просторная и чистая, в конце коридора. При-

[1] Затинщик — пушкарь к затинной пушке, т. е. пушке, вделанной плотно в стену.

казав послушнику собрать к нему в келью нужных старцев, обошел игумен монастырь, везде оглядел и даже в кельи монахов заглянул: «не сидят ли без дела». Вернулся к себе; по коридору шел, монахи кланялись, подходили к руке.

— Благослови, отец игумен!

У дверей своей кельи игумен остановился, глаза тусклые стали особенно строгими. Одернул черную рясу, стукнул посохом в пол и, из-под клобука хмуря серые брови, спросил послушника у притвора — послушник не подошел к руке игумена:

— Тебя келарь Савва ставил тут?

— Да, батюшко.

— Говори, вьюнош, — отец игумен. Не поп я!

— Отец игумен!

Послушник с ребячьим розовым лицом, в длиннополом темно-вишневом подряснике, с длинными русыми волосами походил на девочку.

— Чаю я, ты недавно у нас?

— Недавно, батюшко.

— Звал ли старцев?

— Призывал — идут оны.

— Ой, Савва! Все-то юнцов прибирает, брадатый пес, блудодей... — Обратясь к юноше, игумен приказал: — Когда старцы внидут в келью, сядут на беседе, ты гляди и помни: сполох ежели какой, в притвор колоти (стукни) да молитву чти!

— Какую, батюшко?

— Ай, грех!.. Оного не познал? Савва, Савва, доколе окаянство укрывать твое?! Чти, вьюнош: «Господи Исусе, боже наш, помилуй нас». И в притвор ударь. Тебе ответствуют: «Аминь!» И ты войди в келью — это, когда сполох кой: ежели сполоха не будет, не входи, жди, пока старцы не изыдут из кельи...

— Сполню, батюшко.

— Савва, Савва...

Вслед за игуменом в келью прошли четыре старца в черных скуфьях и таких же длинных, как у игумена, рясах. Игумен широко перекрестился и общим крестом благословил старцев. Упираясь посохом в пол, сел на деревянное кресло с пуховой подушкой, — другая лежала на скамейке для ног.

— Благослови, господи, рабов твоих старцев!

— Господи, благослови на мирную беседу грешных! — сказали в один голос старики.

— Зов мой, братие, к вам. Знаю я вас и верю вам! Тебя, отче Кирилл, Вонифатия с Геронтием и Варсонофия, брата нашего... Разумеете, о чем сказать, о многом не глаголете без надобы. Спрошу я вас, старцы, кто нынче правит славным похвальным градом Синбирском?

— Бояра и князи, отец игумен!

— Ой, коли бы то истина? Царствует нынче в богоспасаемом Синбирске-граде бунтовщик, богоотступник Стенька Разин, преданный, — то слышали вы, — многими переями и святейшим патриархом анафеме!

Игумен перекрестился, замотались седые бороды на черном и руки, сложенные в крест.

— Богобойные князи, бояре изгнаны в сиденье осадное в рубленой город, но ведомо вам издревле, что лишь едины они, боголюбивые мужи, угодны и надобны царю земному... Он же, великий государь, грамоты дает на угодья полевые, лесные, бортные со крестьяны. Даяния на обители завсе идут от князей и бояр... Вот и вопрошу я вас, за кого нам молить господа бога? Ужели за бунтовщиков, желать одоления ими родовитых? Если поганая их власть черная укрепится, то вор и богоотступник Стенька Разин даст им землю володети, — тогда от обителей божьих уйдет земля... Кто тогда возделывать ее будет? И вопрошу я вас, древние, паки, кого вы господином часте себе?

— Пошто праздно вопрошаешь, отец игумен?

— Ведаешь: мы поклонны и едино лишь молим бога за великого государя!

— Ведаю аз! Но, предавшись воле божией и молитве за великого государя, за князи, бояре и присные их, нынче пуста молитва наша без дела государского.

— Как же мы, исшедшие в прах, хилые, будем делать государское дело?

— Как ратоборствовать против крамольников?

— Разумом нашим, опытом древлим послужите, братие!

— Да как, научи, отец игумен!

— Ведаете ли вы, старцы, что кручной двор государев замкнут нынче и запустел? Все выборные государские человеки утекли с него.

— Не тяни нас в грех, отец Игнатий!

— Знаем мы, что скажешь о монастырских виноделах!

— Тот грех, старцы, господь снимет с нас, когда мы послужим тем грехом на спасение веры христианской, противу отступников ее... Мы древли, и не подобают нам блага земные, да без нашего греховного хотения обители господни раскопаются... помыслим, братие! Кто пасет древлее благочестие и веру — едино лишь мы, монахи... Попы пьяны, к бунтам прелестью блазнятся, не им же охранять монастыри божии и церкви!

— Впусте лежат суды на царевых кабаках, о том чул я...

— А ведаете ли, что воры много о вине жаждут?

— Ведаем, отец игумен, — пытали монастырь: «нет ли-де хмельного?»

— Ведаете ли, старцы, что у нас есть винокуры искусные?

— А то как не ведать?

— Теперь еще вопрошу — закончим беседу, от господа пришедшую в разум наш! Знаете ли о зелии, произрастающем на поемных пожнях Свияги? Тот крин с белой главой, стволом темным, именуется пьяным?

— Я знаю тот крин с младых лет!

— Мне ведом он!

— Помозите, братие, — даю вам власть, наладьте в сей же день винокуров монасей на кружечной, да курят вино... Будет от того обители польза. Наша работа не единой молитвой служить господу — вам же известна притча о талантах, ископанных в землю? Послужим на укрепу Руси, сыщется забота наша у господа... Я же укажу послушникам многим копать то зелье — крин... Глава его опала ныне, да она не надобна, надобен ствол и корень. Иссушим сие, изотрем в порошок, а винокуры монаси будут всыпать оное в вино, меды хмельные... Не отравлено с того хмельное, но зело дурманно бывает, ослаблением рук и ног ведомо. От хмелю дурманного работа бунтовщиков будет неспешная. время даст великому государю собрать богобойное воинство и воевод устроить на брань с богоотступником Разиным!

— Тому мы послушны, отец Игнатий!

— Идем и поспешать будем.

— Не оплошитесь, старцы! Не скажите кому о нашей беседе.

— Пошто, отец игумен, не веришь нам?

— Не млады есть, делами на пользу и славу обители мы приметны!

— За то звал вас, старцы, — не иных! Дело же тайное. Сумленное мое простите.

Старцы встали со скамей, поклонились. Четверо черных с белыми волосами и полумертвыми восковыми лицами медленно разошлись по кельям. Пятый сидел в кресле, склонив голову на рукоять посоха, дремал перед вечерней.

5

С Астрахани до Синбирска Волга была свободна от царских дозоров. К Разину в челне из Астрахани приплыл астраханский человек, подал письмо, запечатанное черным воском.

— А то письмо дал мне, Степан Тимофеевич, есаул твой, Григорий Чикмаз, велел тебя дотти.

Разин читал письмо Чикмаза, писанное четко, крупно и уродливо:

«Батюшку атаману Степану Тимофеевичу. А как дал слово верной тебе до гробных досок твой ясаул Григорий Чикмаз доводить об Астрахани и сказываю:

«Васька Ус показался тебе изменником. Ен, Степан Тимофеевич, в первые ж дни атаманить стал неладно: запытал насмерть князя Семена и животы ево пограбил. Побил всех людей, кого ты не убивал и убивать не веливал, а худче того учинил тебе, батько, что запорожской куренной атаман Серко прислал людей черкасов с тыщу с мушкеты и всякой боевой справой и с пушки с зельем да свинцом, и тот справ у их изменник Васька побрал в зелейной двор, а хохлачей отпустил в недовольстве и сказал: «Атаману нынче ваша помочь не надобна — за справ боевой благодарствую!» Когда же я зачал о том грызться и супротиво кричать, то меня кинули на три дни в тюрьму и ковать ладили как изменника. Ивашко Красулин за него, Васька, Митька Яранец тож, един Федько Шелудяк сбирается в тай Васьки с астраханцами к Синбирску в помочь тебе. Васька Ус злой еще за то, что черной привязучей болестью болит, избит ею: червы с кусами мяса от него сыпятся с-под бархатов, а нос спух, и ен ходит, обмотавши внизу образину свою платком шелковым, а гугнив стал и сказывает, когда много во хмелю: «Что-де царя, бояр

не боюсь, а атамана Стеньку Разина убью, пошто ясырка утопла от его... Мне-де помирать сошло, и я не помру, покудова Стенька жив». Нынче умыслил митрополита Осипа, старца астраханского, пытать, да казаки и ясаулы несговорны сказались. Ну, митрополиту туда и путь! Горько мне, что тебя, батько, лает пес Васька, а не всызнос мне оное. Пришли, батюшко атаман, свою грамоту унять Ваську! Только нынче ен не в себе стал и завсе хмельной. Доброжелатель и слуга ясаул твой Григорий Чикмаз».

Разин спросил астраханца:

— Думаешь, парень, в обрат?

— Думаю, Степан Тимофеевич!

— Сойдешь на Астрахани, Чикмазу скажи, что батько тебя помнит, любит и добра желает! Цедулы-де не шлет, а сказал: «Паси от Васьки Лавреева себя, и сколь можно, то уходи куда совсем без вести... Целоможен как станет батько от боев, и тебя друга везде для радости своей сыщет».

Было это утром, а к полудню Разин вышел на передний острожек перед кремлем у рва, гневный. Приказал втащить вверх пушки, бить по кремлю не переставая, так что запальные стволы, которые огонь дают пушкам, накалились, и пушкари, поглядывая на атамана, не смели ему говорить; «что-де пушки после того боя в изрон пойдут». Кремль во многих местах загорелся, часть стены обвалилась, и тарасы [1] с нее упали за стену. Тех, кто тушил пожары, били из пищалей с приступков острожка стрельцы да казаки из мушкетов. У бояр много было в тот день попорчено и перебито людей. Разин велел собрать отовсюду издохших лошадей, не съеденных татарами, дохлых собак и иную падаль — корзинами на веревках перекинуть в кремль. Кремль отворять не смели, падаль гнила внутри стен. В шатер атаман вернулся, как стало темнеть. Решил:

— Завтра и еще кончу! — пожжем кремль с боярами.

У дверей шатра стоял монах у бочки.

— Пошто ко мне?

— Да вот, отец. Игумн монастыря Успения наш указал: «Прими, брат Ириарх, на кручном бочку, в ей вино — пущай тебе стрельцы подмогут — дар атаману за то, что милостив к

---

[1] Ящики из бревен, набитые землей, на колесах.

обители господней: не пожег ю, икон не вредил, не претил молящимся спасатися... Казны-де у нас нет, так хмельное пущай ему — вино курят монаси от монастыря...»

— Вино, сжели доброе, то мне дороже всякой казны. Только боюсь, изведете мы меня, черные поповы тараканы?

— Ой, батюшко! В очесах твоих спробую — доброе вино... Народ много, упиваясь, восхваляет.

Монах открыл бочку, атаман дал чару.

— Ну же, сполни! Сказал — пей!

Монах зачерпнул вина, выпил, покрестившись. Разин все же не верил, позвал с караула близстоящего двух стрельцов и казака:

— Пил чернец — пейте вы!

Воины выпили по чаре:

— Каково вино?

— Доброе, батько, вино, доброе...

— На царевых много худче было!

Стрельцы и казаки ушли. Разин, отпуская монаха, сказал:

— Игумену спасибо! Приду к ему, то посулы дам на монастырь.

— Вкушай во здравие! Нынче кружечной справили, а только часть напоїных денег повели, отец, брать в казну обители. Строеньишко обветчало.

— То даю, берите!

Монах ушел. С этого вечера Разин начал пить. На приступы к кремлю не выходил. К рубленому городу ходили двое есаулов: Степан Наумов и Лазарь Тимофеев. Оба они, один сменяя другого, на осаду ставили людей. Иногда за них ходил есаул Мишка Харитонов, а Черноусенко атаман позвал:

— Плыви, Михайло, до Царицына, возьми людей в греби! В Царицыне приторгуй лошадь, гони на Дон и повербуй охочих гулебщиков, веди сюда или же, где прилучится нашим боевая нужа, орудуй там.

Черноусенко утром сел в лодку с гребцами.

6

Из-за Свияги, с Яранской стороны от Московской дороги, в сером тумане все выпуклее становились белые шапки, колонтари, бехтерцы рейтаров и драгун. Самого воеводы Борятин-

ского среди боярских детей и разночинцев в доспехах не было, рейтар вели синие мундиры — немцы, капитаны. Воевода ехал сзади с конными стрельцами в стрелецком кафтанишке, в суконной серой шапке с бараньим верхом. Татаре и калмыки присмотрели воеводскую рать первые, когда еще лошади рейтар вдали величиной казались с кошку.

Разин лежал в шатре на подушках, покрытых коврами, в кармазинном полукафтанье, за кушаком один пистолет, без шапки; лежал атаман и пил. Татарчонок, пестро одетый в шелк и сафьянные с узорами чедыги, прислуживал ему — Разин знал татарский и калмыцкий говор. В хмельном полусне атаман видел себя на пиру у батьки крестного Корнея.

— Дождался хрестника, сатана, чтоб дать его Московии? — Ха, ха, ха! а вот — поведу рукой да гикну, подымется голутьба — посадят тебя в воду!

Дремлет и видит атаман: пришли на пир матерые казаки вооруженные: Осип Калуженин, Михаил Самаренин старый, хитрый рыжеватый Логин Семенов. Принесли, гремя саблями, кандалы.

— Добро, атаманы молодцы! А ну, будем ковать хрестника!— кричит Корней, трясет седой головой с белой косичкой, дрыгает в ухе хитрого старика серебряная серьга с изумрудом. — Гей, коваля сюда!

Атаман улыбнулся во сне, нахмурил черные брови и вскинул глаза. В шатре перед ним стоит его помощник, есаул Степан Наумов.

— Батько, воевода с войском за Свиягой.

— Дуже гарно, хлопец! Сон я зрел занятной—будто на Дону... будто б на Дону Корней хрестной кричит, велит меня в железа ковать.

— Тому не бывать, батько! А чуешь, сказываю, воевода к Свияге движется и рать его устроена.

— Лень мне, Степан! Неохота великая, не мой нынче черед — твой, веди порядок у наших, прикажи готовиться завтра к бою... Воевода сколь верст от нас?

— В трех альбо в четырех.

— Стоит ли, движется к переправе?

— Стоит, не идет к реке.

— Добро! В ночь переправу не затеет, а ночь скоро — к ночному бою мы с него охоту скинули... Вот! надень мою шапку-кафтан черный, копя бери моего и гони народ — чувашей, мордву, пущай перед Свиягой роют вал во весь город. В валу проломы для выхода боевого народу, прогалки, — у прогалок рогатки из рогатин и вил железных на жердях, чтоб когда свои идут ли, едут — рогатки на сторону! Чужие — тогда рогатки вдвинуть, запять им прогалки. Сколь у нас пушек?

— Пушек мало. Каменные от многого огня полопались, деревянные к бонбам, кои погорели на осаде под рубленым городом от их приметов, у железных и медных в полу всего чета измялись от гару запалы...

— Чего ж глядел, Наумыч, не чинил?

— Оружейников нет, а слободские кузнецы худо справляют... И еще мекал: воеводе не справиться на обрат в месяц.

— Так вот, Степан! За твою поруху паши с тобой головы, гляди, пойдут! Я не о своей пекусь... Моя голова на то дана — твою жалею! Без пушек пол-боя утеряли — не меряясь силой.

Атаман задумался, есаул стоял потупясь, потом сказал:

— Мыслил я, батько, выжечь бояр из кремля и в верхний город народ затворить — тогда мы ба сладили без пушек. В городе рубленом пушки есть и справ боевой...

Разин взмахнул рукой, кинул чашу. Татарчонок поймал брошенное, налил вина, ждал зова.

— А ну, сатана царева, будем мы с тобой биться саблями, не станет сабель, так кулаками и брюхом давить! Дадим же память воеводам... Ты, Степанко, в день покудова выкинь вал повыше, копай ров во весь город от Свияги, рвы рой глубже, а вверху вала колья крепкие. В ночь с Волги в Свягу переволоки струги, те, что легше. На стругах переправим пеших в битву, конные переплывут, а татара и калмыки не сядут в струги — они завсегда плавью. Лазаря бери в подмогу. Знай, коли же ставить придется и самому держать ратной строй: татар ставь справа боя, калмыков слева, в середку казаков. Казаков не густо ставь, чтоб меж двумя конными был пеший с копьем и карабином от вражьих конных. Калмыки болгаиомолы, татара мухаммедовой веры и завсе меж ими спор, потому делить их надо — или свара в бою, тогда кинь дело! Они же дики да своевольны. Еще — кто из упрямых мужиков, горожан ли, чуваши

вал взводить не пойдет, того секи, саблю вон и секи! Иножды скотина моста боится и тут же брюхом на кол лезет — ту скотину крепко бьют! Секи.

— Не пей, батько! Познали паши, что монахи отравное зелье в вино мечут... На моих глазах много мужиков и черемисы меж себя порубились спьяну. Сон брал на работе: свалится человек и спит, не добудиться.

— То оговор на черицов, Степан! Вино их пью сколь, а цел. Воевода к переправе не придет, бой завтра — седни пью!

Есаул, одетый Разиным, поднял народ. Все шли и работали без отговорок, усердно. Перед Синбирском ночью с запада в подгорьи зачернел высокий вал с узкими проходами, в проходах рогатки из вил и рогатин. На Свияге с синбирского берега колыхались пятьдесят малых стругов и десять больших, изготовленные для переправы войска. Воевода к речке не двинулся,стоял, как прежде.

7

С рассветом в тумане от мелкого дождя Разин высадил свои войска за Свиягой.

Раздался его громовой голос:

— Гей, браты! Помни всяк, что идет за волю... Сомнут нас бояра, и будет снова всем рабство, кнут и правеж!

Грянула тысяча голосов:

— Не сдадим, батько!..

— Татара! Бейтесь, не жалея себя. Ваших мурз, когда побьем бояр, не будут имать аманатами. Ясак закинут брать — будете вольные и молиться зачнете по-своему, без помехи!

Татарам крикнул Разин на их языке. Калмыкам тоже закричал по-калмыцки:

— Вы, тайши и рядовые калмыки! Схраните свою вольную степь и волю отцов, дедов — бейтесь за волю, не жалея себя, бейтесь за жон, детей и улусы!..

Стена войска воеводы стояла, не двигаясь. Ударили в литавры, и разинцы кинулись на царское войско.

Послышался голос воеводы:

— Палена мышь! середние, раздайсь!

— Гей, раздвинься мои — калмыки влево, татара двинь своих вправо-о!..

Те и другие по команде раздались вширь. Бухнули воеводские пушки, но мало кого задели ядра, зашумела, забулькала вода в Свияге от царских ядер.

— Ломи в притин, браты!

Битва перешла в рукопашную. Разин среди своих появлялся везде — добрый Лазункин конь носил его, краснела шапка атамана тут и там, перевитая нитками крупного жемчуга. Лазарь Тимофеев, Степан Наумов командовали казаками, рубились, не жалея себя. По убитым лошадям, воинам шли новые с той и другой стороны: одни, исполненные ненависти, другие, давшие клятву служить царю. Стрелы татар и калмыков засыпали саранчой вражьи головы. Рейтары, пораженные в лицо, носились по полю мертвые на обезумевших конях, утыканных стрелами. Лежали со сбитыми черепами косоглазые воины в овчинах, зажав в руках сабли. Мокрый туман поля все больше начинал пахнуть кровью. Ветер дышал по лицам людей свежим навозом развороченных конских животов. Воронье, не боясь боя, привыкшее, слеталось с граем черными облаками. Гремели со стороны воеводы пушки, срывая головы казаков, калеча коней. Редко били пушки атамана, — их было четыре, — гул их терялся в стуке, в лязге сабель по доспехам рейтар и драгунов. С той и другой стороны кружились знамена, били барабаны, литавры. Знамена падали на уплотненную кровавую землю, ставшую липкой от боя, вновь поднимались древки знамен, снова падали и опять плыли над головами, бороздя бойцов по лицам...

День в бою прошел до полудня. Вспыхнуло где-то в сером тусклое солнце. Подались враги в поле от Свияги и как бы приостановились, но гикнули визгливо татаре, кидаясь на драгун, калмыки засверкали кривыми саблями на рейтар — застучало железо колонтарей. Иные казаки, кинув убитых лошадей, о-бок со стрельцами рубились саблей, а где тесно — хватали врагов за горло, падали под копыта лошадей и, подымаясь, снова схватывались. Воевода отъехал на ближний холм, плюясь, матерясь, по бороде, широкой, русой с проседью, текло. Он снял шапку, шапкой обтер мохнатую, потную голову, косясь влево. Огромного роста стрелец в рыжем кафтане, без шапки, в черных клочьях волос, с топором коротким спереди за кушаком, встав на колено, подымал тяжелый ствол пищали выстрелить. Фитиль отсырел, пищаль не травило. Воевода окрикнул:

— Стрелец! палена мышь, сорви башку — кинь свой ослоп к матери, чуй!

— Чую, князь воевода!

— Я знаю тебя! Это ты пушечной станок на плечах носишь, тебя Семеном кличут? Сорви те...

— Семен, сын Степанов — алаторец я!

— Вон, вишь, казак стоит! Проберись к ему, молви: «Воевода-де не приказал делать того, чего затеял ты... Крепко бьется воры, да знаю — сорвем мы их, государевы люди, к Свияге кинем — атамана живым уловить надо!»

— Чую, князь батюшко! Только не казак ён — поганой, вишь!

— Казак, палена мышь — звать Федько!

— Ты, батюшко воевода, позволь мне за атамана браться? Уловлю вора да на руках к тебе пришесу!

— Не бахваль, палена мышь, сорвут те башку! Делай коли, и великий государь службу твою похвалит.

— Иду я!

Стрелец, кинув пищаль, полез, отбиваясь в свалке топором, к казаку, обмотанному с головой, как разинские татаре, по шапке чалмой. Казак сидел на воропом коне, от копя шел пар. Кругом дрались саблями, топорами и просто хватались за горло, валились лошади, брякало железо, но казак стоял, как глухой к битве. Стрелец тронул его за колено.

— Ты Федько?

— Тебе чого, Федора?

— Воевода приказал не чинить того, что удумал ты: «атамана-де живьем взять надо!» И я на то послан.

— В бою — никому не праздную! Не отец мне твой воевода, поди скажи ему!

— А, нет уж! В обрат жарко лезть и без толку — краше лезти вперед.

— Ты брюхом при, Федора, брю-у-хом!

— Гугнивой чорт! Воеводин изменник!

Шпынь, наглядев прогалок меж рядами бойцов, хлеснул коня, въехал к разинцам.

— Своих, поганой?! Куды тя, чорт, поперек!

Шпынь не отвечал разинцам, ловко отбиваясь саблей от встречных рейтар, встающих с земли без лошадей.

Недалеко загремел голос Разина:

— Добро, соколы! Еще мало — конец сатане!

От голоса Разина дрогнула стена коношащихся, пыхтящих и стонущих людей, подаваясь вперед:

— Да здравит батько Степан!

— Нечай — ломи!

— Нечай-и!...

— За волю, браты!

— Круши дьяволов...

На холме, скорчив ноги в стременах, матерился воевода — стрела завязла в его шапке. Воевода, не замечая стрелы, плевал в бороду.

— Не сдавай, палена мышь! Не пять, государевы люди, — ратуй. Ну, Ивашко! где бас тылувылазку, он, трус, сидит куренком в гнезде!.. Ломят воры! Ой, ломят, палена мышь, сорви им башку! Придется опятить бахмата. М... их поперег!

Воевода съехал с холма глубже в поле. Рейтары и драгуны расстроились, отъезжали спешно, татаре гикали, били воеводскую конницу.

— Овчинные дьяволы, сыроядцы, палена мышь! Штаны да сабля и справ весь, лошадь со пса ростом, а беда-беда! Ужли отступать? Не пять, м... вашу поперег! Голос вора проклятой — не спуста грому окаянному верят люди: идут за ним в огонь... Не пять, палена мышь!.. Тьфу, анафемы! Надо еще податься: умереть не страшно, да дело будет гиблое — разобьют в куски...

Из груды убитых в железе, кафтанах и сермягах, тяжко подымаясь, встал на колени рейтар, выстрелил, видя яркое пятно перед глазами, и упал в груду тел, роняя из руки пистолет. Пуля рейтара пробила Разину правую ногу, конь его осел на зад, та же пуля сломала коню заднюю ногу. Конь жалобно заржал, атаман с болью в ноге вывернул сапоги из стремян, скатился; конь заметался около него, пытаясь встать. Атаман поднялся в черном бархате, без шапки, над головой сверкнула сабля — ожгло в левую часть головы... Разин упал, над ним звонко крикнул знакомый голос:

— А, дьявол!..

К лицу лежавшего в крови атамана упала голова, замотанная в чалму, он вскинул глаза и крикнул, разглядев упрямое лицо:

— Шпынь!

От крика ударило страшной болью в голове, атаман потерял сознание...

— К воеводе! Тебя мне надоть...

Семен Степанов, шагнув, поднял легко ногами вверх большое тело атамана в черном. Над головой стрельца свистнула пуля, рвануло сапог атамана, из голенища на шею стрельцу закапало теплое.

— Рейтары государевы! Не бей! Атамана взял к воеводе... Эй, не секи, раздвинься!

— Дьявол большой! — крикнул звонкий голос.

Великан стрелец, не выпуская из рук атамана, осел к земле: Степан Наумов рассек ему голову сверху вниз до грудной клетки... Еще один труп лег в сумеречную массу людей и лошадей, простертых на равнине битвы. Татаре с гиком и визгом гнали рейтар от места, где лежал Разин. Степан Наумов прыгнул с лошади, содрал с себя кафтан синий, завернул с головой безвольно лежащего атамана, взвалил на лошадь, прыгнул сам в седло, повернув от места боя к Свияге.

— Беда! — сказал он, проезжая мимо Лазаря Тимофеева: — Шпынь батьку посек.

— Пропали!.. Дать ли отбой?

— Тьма станет! Сами отойдут в струги.

Не слыша команды атамана и есаулов, разинцы отступились, кинув бой. Воевода, собирая растрепанную конницу, не преследовал их — разинцы неспешно, в порядке погрузились в струги, оставив раненых, знамена и литавры, взятые атаманом на Иловле с царских судов. Кинули переставшие стрелять четыре испорченных пушки. Степан Наумов положил с Лазарем в челн закрытого атамана. Разин был в беспамятстве. Наумов отошел к казакам:

— Крепите, браты, на Свияге у синбирского берега струги, потом уведем их в Воложку. Сами устройтесь за вал, в проход — рогатки, караул тож! Воевода не пойдет ночью за реку: помяли его и тьма.

8

Воевода вгляделся к Свияге. Темнело скоро, все становилось черным, лишь кое-где тускло светились кинутые бойцами сабли, да пушки топырились на кривых изуродованных станках.

— Должно, палена мышь, не мы биты? Они! Да... у воров не ладно!

Борятинский поехал на черном потном бахмате к Свияге. Рейтары, уцелевшие драгуны, стрельцы и даточные люди ехали, брели за воеводой.

— Еще день рубились, палена мышь, спасая боярское брюхо! М... их поперег... Сорви те башку... Звали биться за домы свои, а их, трусов, в «нетях» сидит одних городовых жильцов с тыщу. Эй, у Свияги огни жги! Ночевать будем, пугвицы к портам пришьем да раны замотаем опучами... М... их поперег... До Свияги сколь засек воровских брать пришлось, да у Свияги трижды солонее нахлебались!

Стрельцы и ратники натащили к берегу реки дерева, застучали топоры, вспыхнул огонь, мотая тени людей, лошадей, пушечных станков. На огни выходили раненые воеводины и разинцы, иманные рейтарами. Борятинский здесь не боялся ушей: солдаты воеводу любили, и языков не было пересказать его слова. Он плевался, громко материл Юрия Долгорукого, Урусова и Милославского — царскую родню.

— Заутра, палена мышь, перейдем Свиягу. Воры кинут подгорье — без пушек за валом делать нече. У нас бонбометчики — сорви башку! Тогда Милославский вылезет из своего куретника, а ты ему подавай тож честь боевую, палена мышь! Зачнет сеунчеев (гонцов) к царю слать грамота за грамотой... Сами же, сидя в тепле, поди, гузно опарили?! Мне-ка царские дьяки отписали: «Пиши-де через кравчего, через Казань, сам-де не суй нос!» М... вашу поперег, анафемы!

У огня на толстом бревне князь сел, сняв шапку, вытащил из нее татарскую завязную в сукне стрелу, бросил в огонь.

— Православному, палена мышь, поганой наладил в образ ткнуть, да высоко взметнул!

Борятинский, отогреваясь, топырил длинные ноги в грубых сапогах. Ляжки его, черные от пота лошадиного, казались овчинными, так густо к ним налипло лошадиной шерсти. Разинцев сгоняли в один круг, их никто не стерег — бежать было некуда: впереди река, сзади враги едят, сидят, лежат или греются у костров. Князь поднял злые круглые глаза, почти не мигающие, крикнул во тьму, маячившую пятнами людей. лошадей, оружия:

— Палена мышь! Нет ли здесь кого, кто видел казака в татарской справе?!

Вышел высокий тонкий драгун в избитом бехтерце, с хромой ногой, перевязанной по колену тряпкой.

— Я, воевода князь, видел такого!

— Ну, сказывай!

— В то время как вору атаману не копченной до смерти рейтарении стрелил в ногу да его лошади сломал пулей ногу же и вор скатился с лошади, а казак татарин его посек саблей в голову,—атаман, тот вор, пал, а казак еще ладил бить, и воровской есаул мазнул того казака, с плеч голову ссек...

— Голову ссек?!

— Да, воевода князь!

— А ты чего глядел, палена мышь?

— Выбирался я из-под убитых — наших гору намостили, как с атаманом шли, — а выбравшись, чуть не сгиб, поганые на то место пали тучей и наших погнали в остаток.

— Жаль казака! Непослушной, зато не холоп, целоваться не полезет, и битвы не боялся, палена мышь, поди, да вот! Кликни кого лекkого на конь, скажи: «Воевода, сорви те, указал обоз двинуть к огням, кормить людей и лошадей надо».

— Да, кабы у вора пушки, сколь у нас, тогда в заду пищи ноги! Нечего было бы нам делать, пришлось бы ждать... Казак кончен, да атамана изломил! Скоро в бой не наладится... Потом наладится, да сила разбредется — ладно! Нынче битва наша, не думал я, сорви те башку! Отряхнули с шеи того, кем бунты горят. А тех, безликих, передавлю, как вшей...

Заскрипели колеса обоза, потянуло к огням дегтем и хлебом. Заржали голодно лошади. Князь покосился на ближний огонь, там сплошь синели мундиры с желтыми пуговицами, блестели шишаки, безбородые люди курили, пили водку, говорили на чужом языке.

— Палена мышь! Немчины тараканьи лапы греют? — И встал: — Эй, плотников сюда! Ставь к берегу ближе виселицы.

Заверкали, застучали топоры, в черном стали вырастать белесые столбы.

Воевода ходил, считал:

— Сорок! Буде, палена мышь, можно по два вешать на одной! Ну-ка, воров казаков вешай, стрельцов сечь будем! Подводи.

Стрельцы, из царских, стали подводить и выталкивать перед воеводу к ярким огням раненых стрельцов и мужиков с горожанами, чувашей и татар. Воевода из старых ножен выдернул дамасскую саблю. Сверкнула сабля — раз!.. Скользнула с плеч разинца голова, затрещала в огне костра.

— Скотина удумала лягаться!.. палена мышь! А справы боевой нет! Лаптем вошь не убьешь!.. Пушек нет — рогатины да вилы?.. Дай другого!

Снова сверкнула сабля Борятинского. Тело стрельца осело вниз, по телу сползла голова к ногам воеводы; воевода пнул ее, она откатилась:

— Сибирск строил Богданко Матвеев, сын Хитрого! Вы, воры, палена мышь, осенью с подгорья ладили кремль забрать? Сорви башку!

Голова третьего разинца покатилась...

— Заманную Богданко вам ловушку срубил!

Скользнула наземь четвертая голова.

— Брать Сибирск с подгорья едино лишь хмельному можно, палена мышь! Проспится, глянет вверх, прочь побежит!

Слетела пятая голова...

— С запада, воры, итти надо было! От этой воды — Свияга выше Волги буровит! Давай, сорви те: долони в безделье ноют!

Снова стрелец перед воеводой, рослый, широкий в плечах, руки скручены назад. Воевода занес саблю, опустил, шагнул ближе, глянул в лицо, крикнул:

— Дай трубку мою, палена мышь!

— Ишь ты, объелся человечины! Руки в путах, как дам?

— Снимите путы, эй!

Помощники воеводы срезали веревку с рук стрельца. Он тряхнул правой рукой, повел плечами. Вытащил из штанов кисет, трубку, набил трубку табаком, шагнул к костру — закурил, плюнул и, выпустив носом дым, сказал:

— Дай покурить бородатой чорт! На том свете отпоштвую — нынче тебе табак откажу, бери капшук!

Трубка пылала в зубах стрельца. Воевода попятился, взмахнул саблей:

— Докуришь после!

Голова сверкнула в черном воздухе зажатой в зубах трубкой, тяпнула близко. Борятинский нагнулся, кряхтя выдернул из

мертвых зубов трубку, обтер чубук о полу окровавленного кафтана, сел на свое прежнее место к огню, растопырил длинные ноги, свесив живот, стал курить. По его окровавленной бороде потекло. Глядя редко мигающими глазами в огонь, не поворачивая головы, приказал:

— Стрельцов секи, казаков вешай!

Новые виселицы скрипели. Болтались на них, крутились и дрыгали ноги в синих штанах, сапогах с подковками — лиц не видно было... У огня недалеко тянали — катились головы разинцев. С удалыми за полночь шла расправа.

9

Переправясь через реку, есаулы перенесли Разина в его шатер к Волге, поставили кругом караул, и двое верных на жизнь и смерть товарищей зажгли все свечи, какие были у атамана, обмыли глубокую рану на его голове и лицо, замаранное кровью — лишь в шадринах носа и похудевших щеках оставили черные пятна. Засыпали рану толченым сахаром, а обе ноги, простреленные насквозь пулями (восемь свинцовых кусков на фунт), перевязали крепко; раны кровоточили — из них есаулы найденными клещами вытащили куски красной штанины. Татарчонок крепко спал: они закидали его подушками, чтоб не мог, проснувшись, видеть, каков атаман, и пересказать. Перевязали, тогда оба закурили, посматривали: кровоточат ли раны? Атаман открыл глаза, хотел сесть, но упал на ковры.

— Лежи, батько!

Разин слабо заговорил, беспокойно озирая шатер:

— В шатре я? А битва как?

— Чорт с ей — битвой! — не морщась и роняя из глаз слезы и трубку из зубов, ответил Степан Наумов: — живых взяли, мертвых кинули... Люди, кои в бой справны, тут в Синбирске за валом с конями, иные в остроге крепятца — завтре надо бой... Шпынь тебя, проклятый изменник, насек — убил я его! Воевода для раненых по-за Свиягой виселицы ставит...

— Помню сбитую голову... Нечестно — я его рукой, он же, пес, саблей ответил!...

— Сколь раз, батько, говорил тебе: носи мисюрку, шапку и панцырь, а не то того — в гущу боя не лезь!

— Верил, что пуля, сабля — не тронут...

— Вот твоя вера! Дорого сошла: Синбирск и все пропало...

— Э, нет! Надень мой кафтан, Наумыч, шапку, саблю бери мою, спасай народ! Мне же не сесть на конь...

Заговорил Лазарь.

— Тебя, батько, нынче беру я в челн, десяток казаков добрых в гребн, оружных, и кинемся по Волге до Царицына, — там вздохнешь. Лекаря сыщем — и на Дон.

— На Дону, Лазарь, смерть! Сон как явь был мне: ковали меня матерые, а пущий враг — батько хрестной Корней... Я же и саблю не смогу держать — вишь, рука онемела... Сон тот сбудется. Не можно хворому быть на Дону...

— А сбудется ли, Степан Тимофеевич? Я крепил Кагальник, бурдюги парыты добрые... Придет еще голутьба к тебе, и мы отсидимся!

— Эх, соколы! Бояра нынче изведут народ... Голова, голова... ноги ништо! Безногий сел бы на конь и кинулся на бояр... Голова вот... мало сказал... мало...

Разин снова впал в беспамятство, начал тихо бредить.

— Делаю, как указал, батько!

Степан Наумов поцеловал Разина, встал, надел один из его черных кафтанов, нашел красную шапку с кистью, с жемчугами, обмотал голову белым платом под шапкой.

— Пойду, сколь силы есть, спасать людей наших!

Лазарь Тимофеев, обнимая друга-есаула, сказал:

— И мне, брат Степан, казаков взять да челн наладить: спасать батьку! Во тьме мы еще у Девичьей будем.

— Прощай, Лазарь!

Есаулы поцеловались и вышли из шатра.

Наумов сказал:

— Надо мне в Воложку со Свияги струги убрать.

— То надо до свету.

Две черных фигуры пошли одна на восток, другая на запад.

Черная с синим отсветом Волга ласково укачивала челн, на дне которого, неподвижный, на коврах, закрытый кафтанами, лежал ее удалой питомец с рассеченной головой и онемевшей для сабли рукой, без голоса, без силы буйной...

МОСКВА ПОСЛЕДНЯЯ

1

Как по приказу, во всех церквах Москвы смолкли колокола. Тогда слышнее раздались голоса толпы:

— Слышите, православные! Воров с Дону везут...

— Разина везут!

На Арбате решеточные сторожа широко распахнули железные ворота, убрали решетки. Сами встали у каменных столбов ворот глядеть за порядком. Толпа — в кафтанах цветных, в сукманах летних, в сапогах смазных, козловых, сафьянных, в лаптях липовых и босиком, в киках, платках, шапках валяных — спешила к Тверским воротам. С толпой шли квасники с кувшинами на плече, при фартуках, грязные пирожники с лотками на головах — лотки крыты свежей рогожей. Ехали многие возки с боярынями, с боярышнями. Бояре били в седельные литавры, отгоняя с дороги пеших людей.

— И куды столько бояр едет?

— Куды? А страсть свою, атамана Разина, в очи увидать.

— Ой, и страшные его очи — иному сниться будут!

За Тверскими воротами поднимали пыль, кричали, пробираясь к Ходынскому полю новой слободой с пестрыми домиками. Оборванцы-питухи, для пропойного заработка потея, забегали вперед с пожарными лестницами, украденными у кабаков и кружечных дворов.

— Сколько стоит лестница?

— Стоять аль купишь?

— Пошто купить! Стоять.

— Алтын, борода ржаная, алтын!

— Чего дорого?

— Дешевле с земли видать.

— Ставь к дому. Получи...

Лезли на потоки и крыши домов; наглядев, сообщали ближним:

— От Ходынки реки везут, зрю-у!

— Стали, стали.

— Пошто стали-то?

— Срамную телегу, должно, ждать зачнут...

— Давно проехала с виселицей, и цепи брякают.

— Так где жона?

— Стрельцы, робята! Хвати их чорт...

Стрельцы, с потными, злыми лицами, сверкая бердышами, махая полами и рукавами синих и белых кафтанов, гнали с дороги:

— Не запружай дорогу! Эй, жмись к стороне!

— Жмемся, служилые, жмемся...

— Вон и то старуху-божедомку прижали, не добредет в обрат. Тех, кто забрался на крыши и лестницы, стрельцы не трогали.

— Эй, борода, надбавляй сверх алтына, а то нагляделся! Слазь!

— Лови деньгу, чорт с тобой, и молчи-и!

— Дело!

Купцы и купчихи, у домов которых по-новому сделаны балконы, распахнув окошки, вылезали глядеть. Толпа кричала на толстых, корячась вылезающих на балконы.

— Торговой, толкни хозяйку в зад — не ушибешь по экому месту!

— Ей же подмога!

— Нет вам дела.

— Есть! Вишь, баба взопрела лазавши!

— Горячие с мясом! С морковью!

— Нет времени есть.

— Набей брюхо. Глаза набьешь, тута повезут — не мимо.

— Воров на телеге, вишь, везли в бархатах, шелку.

— А те — на конях хто?

— Войсковые атаманы.

— Ясаулы!

— Ясаулы — те проще одеты.

— Во и срамная телега движется. Стретила.

— Палачи и стрельцы с ей, с телегой.

— Батюшки-светы мои!

— Чого ты, тетка? Пошто в плату кика есть, я знаю.

— Откеле знаешь-то?

— Знаю, помершую сестру ограбила — с мертвой кику сняла, да носить боишься.

— Ой ты, борода козлом!

— Платье палачи, вишь, бархатное с воров тащат себе на разживу.

— Со Стеньки платье рвут, Фролка не тронут!
— Кой из их Фролка-т?
— Тот, что уже в плечах и ростом мене...
— А, с круглым лицом, черна бородка!
— Тот! в Земской поволокут.
— Пошто в Земской? Разбойный приказ к тому делу.
— Земской выше Разбойного делами. От подьячих чул я...
— В Разбойной!
— Вот увидишь куда.
— В Земском пытошны речи люди услышат, и городских на дворе много.
— Кто слушает, того самого пытают; да ране пытки прогонят всех со двора.
— Гляньте, гляньте! Лошадей Разиных ведут, ковры золотными крытых.
— Ехал, вишь, царем, а приехал худче чем псарем.
— Уй, что-то им будет!
— Э-эх, головушка удалая! Кабы царем въехал — доброй к бедноте человек, чул я.
— Тебе, попамарь Трошка, на Земском мертвых писать, а ты тут!
— Ушей сколь боярских, и таки слова говоришь!
— Не едни молвлю. Правды, люди, ищу я, и много есть по атамане плачут.
— Загунь, сказываю! Свяжут тебя, и нас поволокут. Подь на Земской, доглядишь.
Черный попамарик завозился на лестнице:
— И то пора. Пойду. К нам ли повезут их?
— К вам, в Земской, от подьячего чул ушьми.
— Вишь, Стеньку переодели в лохмы, а того лишь чуть оборвали.
— Кузнецы куют!
— Горячие с луком, с печенью бычьей!..
— Давай коли! А то долго ждать.
Бородатый с брюшком мещанин подошел к пирожнику.
— Этому кушат подай в ушат — в корыте мало!
— Бери с его, парень, дороже!
— Бедной не боле богатого съест! С чем тебе?
— С мясом дай.

— Чого у их есть-то! Продают стухлое.
— Не худше ваших баб стряпаем.
— Прожорой этот, по брюху видать.
— Наша невестка-т все трескат. И мед, стерва, жрет.
— Квасу-у! С ледком! Эй, прохладись!
— Поди-ко меды сварил!
— Квасок малинный не худче меду-у.
— Малиновый, семь раз доливанной — кто пьет, других глядючи рвет.
— Сволочь бородатая! На сопли свои примерз.
— Вот те-е сволочь! А народ попшь помоями.
— Глянь-те-е! На телегу ставят, к виселице куют Стеньку!
— Плаху супули, палач топор втюкнул.
— Ой, ба-атюшки-и!
— Конец ватаману! Испекут.
— Стрельцы! Молчи, народ!
— Эй, люди! Будем хватать в Разбойной и бить будем...
— Тех хватать и бить, кто государевых супостатов добром поминает!
— Пойдем, робяты, в Земской!
— Не пустят.
— Так коло ворот у тына постоим.
— Пойдем!
— И я.
— Я тоже.
— Я в кремль, в Разбойной.
— Не дально место — Земской с Разбойным по-за стену.
— И-и-идем! Завернули телегу срамную.
— Жду-ут чего-то...
— Фролко к оглобле куют.
— И-дс-ем!

2

От спорка Москвы-реки, ежели итти к собору Покрова (Василия) Блаженного, то против рядов суконной сотни раскинут огороженный тыном Земский приказ. Ворота во двор пространные, с высокими столбами без верхней связи. Эти ворота всегда распахнуты настежь днем и почью. Посреди широкого двора мрачная приземистая постройка из толстых бревен с перерубами

отдельных помещений. Здание стоит на фундаменте из рыжего кирпича. Верх здания плоский, трехслойный, из дерна, обросшего мхом, с деревянным дымником в сажень кверху. Спереди крыши две чугунных пушки на дубовых поперечных колодах. Крыша сделана дерновой с умыслом, чтоб постройка не выносила деревом лишних звуков. Внизу здания у крыльца обширного с тремя ступенями таких же две пушки, изъеденных ржавчиной, только более древних. Эти нижние по бокам крыльца пушки в стародавние времена лежали на месте невыстроенного еще тогда Василия Блаженного и были обращены жерлами на Москву-реку. Сотни удалых голов сведены отсюда на Лобное место, и немного было таких, побывавших здесь, кому не сломали бы ребер клещи палача. Раза три в год, по царскому указу, шорники привозили в приказ воза ремней и дыбных хомутов.[1] Окна приказа, как во всех курных постройках, вдоль бревна, узкие кверху, задвигались ставнями без слюды и стекол — сплошными. Летом из-за духоты окошки не задвигались, а любопытных гнали со двора палками. Москва была во многом с садами во дворах, только на проклятом народом дворе Земского приказа — вонючем от трупного духа — не было ни деревца.

Тын, окружавший двор до половины стояков, обрыт покато землей. На покатую землю, к тыну, богаделенские божедомы каждое утро тащили убитых или опившихся в кабаках Москвы. Со слобод для опознания мертвых тоже сюда волокли, клали головой к тыну: покойник казался полулежачим. Безголовых клали к тыну ногами. Воеводы Земского приказа, сменяя один другого, оставляли с мертвыми старый порядок:

— Пущай-де опознанных родня земле предаст.

В этот день небо безоблачно. Но солнца, как перед дождем, нет: широкая, почти слитая с бледным небом, туча пила медленно и заслоняла блеск солнца. После заутрени на Земском дворе пестрели заплатанной одеждой и лохмотьями божедомы, старики, старухи, незаконнорожденные, бездомные малоумки-детины. Они, таская, укладывали по заведенному порядку к тыну мертвецов и боялись оглядываться на Земский приказ. По сизым, багровым или позеленa-бледным лицам мертвых бродили мухи,

---

[1] Дыбный хомут — кольцо из войлока; надевалось сзади на руки с ремнями, за ремни тянули на дыбу, чтоб вывернуть руки.

тучами жужжали в воздухе. Воронье каркало, садясь на острия тына, жадно глядело, но божедомы гнали птиц. У иных, долго лежавших на жаре, покойников около носа, рта и в глазах копошились черви. От прикосновения с трупов ползла одежда, мазала гноем нищих.

— Не кинь его о земь!

— А чого? —

— Того, розваляется: куды рука-нога.

— Да бог с ним, огнил-таки!

— Родных не сыщет — троицы дождетца, зароют, одежут.[1]

— Не дождется! Вишь, теплынь и муха сет: розваляется...

— Дождется, зароют крещеные.

По двору, строго оглядываясь, шел дьяк в синем колпаке, в распахнутой летней котыге. Он остановился, не подходя к нищим.

— Эй, червивые старцы, бога деля призрели вас люди — вы же не радеете кормильцам.

— Пошто не радеем, дьяче?

— Без ума, лишь бы скоро кинуть: безголовых к тыну срезом ихаете... Голов тож, знаю я, искать лень... Иная, може, где под местом аль рундуком завалилась.

— Да, милостивец, коли пси у убитых головушек не сглонули, сыщем.

— Сыщите! И по правилам, не вами заведенным, не валите срезом к тыну — к ступням кладите.

— Дьяче, так указал нам класть звонец, кой мертвеньким чет пишет.

— Сказывает, крест на вороту не должен к ногам пасть, а у иного головы нет, да крест на шее имется.

— По-старому выходит — крест к ногам!

— Безумному сказывать, едино что воду толочь. Ну вас в подпечье!

Дьяк, бороздя посохом песок, ушел в приказ.

— Не гордой, вишь! С нами возговорил.

— Должно, у его кого родного убили?

— Седни много идет их, дьяков, бояр да палачов чтой-то.

---

[1] На троицу собирались жертвователи москвичи, хоронили, одев в рубахи, непогребенных.

— Пишкин, а то погонят! Вора Стеньку Разина сюды везут.

— Эх, не все собраны мертвы, а надо ба сходить нам — вся Москва посыпала за Тверски ворота.

— Куды ходить? Задавят! Сила народу валит глядеть.

— Сюды, в пытошные горницы, поведут вора?

— Ум твой родущий, парень!

— Чого?

— Дурак! Чтоб тебе с теми горницами сгореть.

— Чого ты, бабка?

— Вишь, спужал Степаниду... В горницах, детина, люди людей чествуют, а здеся пештвуют палачи ременными калачи!

— Забыл я про то, дедко!

— Подь к окнам приказа, послушай — память дадут!

— Спаси мя Христос!

Подошел в черном колпаке и черном подряснике человек с записью в руках.

— Ты, Трофимушко, быдто дьяк!

— Тебя ба в котыгу нарядить да батог в руки.

— Убогие, а тож глуму предаетесь — грех вам! Сколь мертвых сносили?

— Ой, отец! Давно, вишь, не сбирали, по слободам многих пашли да у кремлевских пытошных стен кинутых.

— Сколь четом!

— Волокем на шостой десяток третьего.

— Како рухледишко на последнем?

— Посконно!

— Городской?

— Нет, пахотной с видов человек.

— Глава убиенного иметца ли?

— Руса голова, нос шишкой, да опух.

— Резан? Ай без ручной налоги?

— Без знака убоя, отец!

— Пишу: «глава руса с сединкой, нос шишковат — видом опоек кабацкой...» Сине лицо?

— Синька в лице есть, отец!

— То знать опоек!

Понамарь каждое утро и праздники между утреней и обедней переписывал на Земском мертвых: попутно успевал записать разговоры, причитания родных убитых, слова бояр, дьяков,

шедших по двору в приказ. Хотя это и преследовалось строго, но он с дрожью в руках и ногах подслушивал часто пытошные речи — писал тоже, особенно любил их записывать: в них сказывалась большая обида на бояр, дьяков и судей. Понамарь часто думал: «есть ли на земле правда?» Счет мертвецов понамарь сдавал на руки бирючей, кричавших на площадях слобод налоги и приказания властей. Не давал лишь тем своих записей, которые в Китай-городе читали народу царские указы, «особливые». После неотложных дел бирючи оповещали горожан:

— Слышьте, люди! На Москве убитые — опознать на Земском дворе в скорости.

Переписчика называли «звонец Трошка». Он еще усерднее стал делать свое добровольное дело, когда за перепись покойников его похвалил самолично царский духовник, в церкви которого Трошка вел звон. Понамарь хорошо знал порядки Земского двора и по приготовлениям догадывался — большого ли, малого «лихого» будут пытать. Теперь он прислушался, отодвинулся вглубь двора от толпы божедомов и воющих по мертвым горожан и тут же увидел, как во двор приказа, звеня оружием, спешно вошел караул стрельцов, в кафтанах мясного цвета — приказа головы Федора Александрова. Караул прогнал со двора божедомов и городских людей. На понамаря в черном подряснике не обратил внимания, считая его за церковника, позванного в приказ с крестом.

По площади за собором Покрова встала завеса пыли:

— Ве-е-зу-ут!

— Ой, то Стеньку!

— Страшного! Восподи Исусе!

Во двор приказа двигалась на просторной телеге, нарочито построенной, виселица черного цвета. Телегу тащили три разномастных лошади. На шее Разина надет ошейник ременной с гвоздями, с перекладины виселицы спускалась цепь и была прикреплена кольцом железным к ошейнику. Руки атамана распялены, прикручены цепями к столбам виселицы. Ноги, обутые у городской заставы в опорки и рваные штаны, расставлены широко и прикручены также цепями к столбам виселицы. Посредине телеги вдоль просупута черная плаха до передка телеги, в переднем конце плахи воткнут отточенный топор. Справа телеги, цепью за железный ошейник к оглобле, был прикручен брат

Разина, Фролка. В казацком старом зипуне шелковом, желтом, он бежал, заплетаясь нога за ногу и пыля сапогами. Фролку не переодевали, как Разина: с него сорвали только палачи в свою пользу бархатный синий жупан, такой же, какой был на атамане. Прилаживая голову, чтоб не давило железом, Фролка то багровел лицом, то бледнел, как мертвый, и мелкой рысцой бежал за крупно шагающими лошадьми. Хватаясь за оглоблю, чтоб не свалиться, время от времени выкрикивал:

— Ой, беда, братан! Ой, лихо!..

Голова атамана опущена, полуседые кудри скрыли лоб и лицо. С левой стороны головы шла сплошная, красная борозда без волос.

— Ой, лишенько нам!

— Молчи, баба! В гости к царю везут казаков — то ли не честь? А ты хнычешь... Да сами мы не цари, што ли? Вишь, вся Москва встрету вышла. Почет велик — не срамись... Терпи!..

— Ой, лишенько, лихо, братан!

— Попировали вволю! Боярам стала наша честь завидна... Не смерть страшна! Худо — везут нас не в кремль, где брата Ивана кончили... волокут, вишь, в Земской на Красную...

У ног атамана, справа и слева, по два стрельца с саблями наголо, кафтаны на стрельцах мясного цвета. Стрельцы крикнули Разину:

— Не молвить слова!

— Молчать указано вам!

Разин плюнул:

— Народу молчу, не надобен боле, — сказываю брату.

— Молчать!

Понамарь, отойдя за приказ, увидал, что в конце двора один малоумный божедомок, Филька, остался возиться над мертвыми — он гонял ворон, налетевших клевать трупы. Детина с красным лицом, дико тараща глаза, бегал за птицами, махая длинными рукавами рваной бабьей кацавейки:

— Кыш, кыш! Пожри вас волки!

Обернувшись к воротам и заметив телегу с виселицей, атамана прикованного и бегущего Фролку, начал бить в ладоши да плясать, припевая:

Воров везут!
На виселицу,
На таскальницу.
Будут мясо жарить,
Пряженину стряпать.

— Этот ничего не боится — юродивой!

Понамарик подошел к малоумку, тряхнул русой курчавой головой и, строго уперев в потное лицо парня черные, любопытные глаза, сказал:

— Чему смеешься, шальной?! Плачу подобно сие зрелище! Плачь! Филька, плачь скорее!

— Ой, дядюшко Трофим! А можно по ворам плакать?

— Надо плакать! Не бойсь — плачь.

Парень, изменив лицо, завыл и побежал навстречу срамной телеге, крича громко:

— Бедные вы! Горемышные! Бедненькие разбойнички, израскованные!..

Караульные стрельцы, изловив бегущего, толкнули вон за ворота, поддав в зад ему сапогом.

— Вот те, дурак!..

Парень упал в воротах, обронил не по ноге обутые опорки и босой убежал прочь, громко причитывая:

— Бедненькие! Ой, ой, мамонька!.. Кайдальнички!

«Кабы таким быть, всю бы правду можно было кому хошь сказать», — подумал понамарь.

Страшная телега пропылила по двору и боком повернула к приказному крыльцу. Телегу окружили караульные стрельцы, подошли два палача в черных полукафтанах, окрученные вместо кушаков кнутами. Вышли из приказа кузнецы, сбили с Фролки цепь. Стрельцы отвели Фролку в сени приказа.

Старший кузнец, бородатый, в кожаном фартуке, с коротким молотком и клещами, пыхтя влез на телегу, сбил с Разина цепи.

— Эх, густобородый! Колокола снял — чем звонить буду?

— За тебя отзвонят! — ответил кузнец.

Стрельцы крикнули:

— Молчать!

Когда же атаман слез с телеги, подступили к нему. Он, нахмурясь, отогнал их, махнув рукой:

— Не лапать!.. Свой путь знал — ваш ведом.

. . . . . .

Широкая дверь приказа захлопнулась, звякнули засовы. По степе здания к пытошным избам пробирался, оглядываясь, черный понамарь. Встал недалеко от окон, ждал, слышал Фролкины мольбы и стоны. Начал писать, когда ругательно заговорил Разин. Потом услыхал треск костей и свист кнута.

— На дыбу вздели? Спаси бог!..

Понамарь считал удары, насчитал сто, потом страшный понамарю голос воеводы, князя Одоевского. Разин говорил спокойно и ругательно. Понамарь записал его слова руками, все более и более дрожащими, спрятал исписанный листок за пазуху, из колпака достал другой и с опаской оглядел двор. Караульные стрельцы ушли вместе с Разиным в приказ, кузнецы возились около телеги, отпрягли лошадей и увели. Больше никого не было на дворе. Понамарь снова приникнул около окна. Теперь он не слышал слов, слышал лишь, как трещит подпекаемое на огне тело, слышал, как громко дышит Разин и плюется, матерясь. Потом голос воеводы, злой, с бранью:

— Скажешь ли хошь мало, вор?!

— Чего сказать тебе, дьявол?.. Все знаешь. А вот слушай...

Атаман заговорил, его слова с дрожью в теле записал Трошка понамарь.

— Палач, бей ноги! — крикнул воевода.

Трещали кости громче, чем на дыбе — понамарь понял.

«Ослопьем бьют!.. Ноги?..»

— Ломи, сволочь!.. Помогай палачу... На лобном месте работы — безногого снесете...

— Скажешь ли что еще?

— Иди... к матери!..

Понамарь перекрестился и, пятясь, дрожа всем телом, пошел от окна, медленно, чтоб не зацепить, не стукнуть и незаметно уйти. Он разбрелся взад пятками на пушку, сел на нее, поднялся уходить и вдруг прирос к земле, одеревянел...

На крыльцо вышел сам воевода Земского приказа. Раскинув полы скорлатного кафтана, шарил волосатыми руками в пуговицах шелковых штанов, бормотал громко, отдувался:

— Фу, упарился! Не человек! Сатана, оборотень! Окромя лая, ни слова! Государю не можно казать пытошную запись — сжечь надо.

Увидав черную фигурку понамаря, не стесняясь того, что делал, и продолжая делать, заорал:

— Ты зачем здесь, поповской зауголок? А?!

Понамарик, почувствовал, как стал маленьким, будто муха, задрожал с головы до ног, присел и, отодвинувшись немного, пал в землю, стаскивая с головы колпак, запищал не своим голосом слезно:

— Прости грешного, воевода-князь! Увяз я тут с записью убойных.

Из колпака, когда понамарь его сорвал с головы, упала бумага.

— Я тя прощу! Разом все грехи скажешь. Ты кто есть?

— Воевода милостивец, есмь я причетник и звонец Григория Неокесарийского церкви, государева царева духовника.

— Андрея Савиновича?

— Его, его, милостивец князь!

— Неладно, что протопоп тут. Волоки ноги, сволочь! Уж кабы не Андрей, я б те дал память, чтоб знал, как водить ушами у пытошных срубов... м... твою вдоль — пшел!!

Понамарь не помнил пути, по которому его целого вынесли ноги из страшного места. Он очнулся у себя в подвале под трапезой. Наскоро рухлядью, попавшей под руку, завесил окна. В углу от горевшей лампадки перенес огонь и на столе зажег две восковых свечи. Дрожь в руках и ногах не переставала, он сунулся на скамью к столу, охнул:

— Ох ты, господи!... Целого унесло? Уй, батюшки! Не сиди, Троха, не сиди, делай! Ох ты, господи!..

Понамарь скинул колпак, вскочил, присел к лавке, из копика вытащил пачку бумаги, бормотал:

— Пытошная? Да! Еще пытошная?.. Да! А та самая, кою велит брюхатой сжечь?.. Она где? Да где ж она?.. Уронил! Ой, уронил! — Понамарь съежился, весь похолодев, и вдруг вспомнил:

— За пазухой!.. Тут? Слава те, владыко! Ой, как на пытке, на огне жгли... ноги ломили... спаси мя! — Холодной рукой выволок из пазухи смятые листки: — Сжечь! сжечь! Поспею?.. — Оглянулся на дверь, встал, задвинул щеколду и, разгладив листки, читал то, что говорил на допросе Разин:

«Ха-а! Мой тебе клад надобен? Тот клад не в земле, а на земле.

Тот клад — весь русский народ! Секите меня на клочье, не дрогну. Живу я не вашей радостью... Пожога вам не залить по Руси ни водой, ни кровью, от того пожога, царевы дьяволы, рано ли, не ведаю, но вам конец придет! Каждая сказка, песня на Волге-реке сказывать будет, что жив я... Еще приду! Приду подрать все дела кляузные у царя да с голуьтбы неволю скинуть, а с вас, брюхатые черти, головы сорвать! И метну я те головы ваши с царем заедино в Москву-реку, сволочь!..»

Прочитав, понамарик перекрестился:

— Сжечь? А може, не придут искать? Ой, Троха, сгоришь с такими письмами!

Церковный сторож прошел мимо, в окно прокричал старческий голос:

— Занавеснлся! Чай, спишь, Трофимко? Скоро звонить...

— Чую, Егорушко!

Понамарь, торопливо скомкав записки, сунул их за образ Николы, на божницу.

— Може потом сожгу, ежели бог даст самого не припекут.

Надев колпак, Трошка-звонец вышел на двор и полез на колокольню. Чем выше поднимался он, тем легче казался на ногах: воздух другой, и людей не опасно. Он подумал, встав на любимые подмости к колоколам:

— Опаску пуще держать буду, списывать пытошное не кину же, правду ведать надо и коим людям сказывать... Кабы седни не налез пузатого чорта воеводу, прости бог, и страсти моей не было бы...

Понамарь глянул на Москву-реку, на кремль; в сизоватом тумане, искрясь, рыжели главы соборов. Спускаясь к горизонту, выбрело солнце.

— А ну, Иван Великой! Звони первой, ожду я...

Подле Ивана Великого сверкали главы и цепочки золоченые крестов храма Воскресения. С южной стороны кремля, на Ивановой площади, белел стенами, пылал золотом, зеленел крышей и башенками пестрый храм черниговских чудотворцев, Михаила и Федора, а там столб колокольни одноглавой, узкий, серый, тянулся ввысь к золоту других — мученика Христофора церковь.

— Прости бог! Хоть ты, песий лик, угодник, — звони!

Но колокола кремлевские молчали. Молчал Успенский. Ар-

хангельский собор, молчал Никола Гостунский и Чудов монастырь молчал.

— Рано, знать, окликнул меня Егорушко?..

Оглядел звонец Трошка Москву-реку: рыжий от заката ее заворот за кремль отливал медью с синим. Из-за кремлевских стен по воде брызгали, ползли золотыми змеями отблески церковных глав, а против кремля на своей стороне, за Москвою-рекой, почти у ног Трошкиной колокольни, каркало воронье, стучали топоры плотников. Недалеко от берега стрельцы, белея полтевскими кафтанами, копали большую яму, втыкали в нее колье. Таскали близ ямы тесаные бревна, взводили лобное место. Два подгнивших прежних лобных чернели в стороне — около них в вырытых ямах пестрели головы и черепа казненных, засиженные воронами.

«Вот те правда, звонец! — подумал, вглядываясь в работу стрельцов и плотников, понамарь... — Вишь, привезли... Как зверей оковали, а сказывают сие «именем государя». Что он делал? Народ от крепости слободил? Бояр вешал... Ежели я и послушал у пытки, да зато, вишь, чуть самого не утянули как лихого. Теперь так: пытаешь за правду. Пошто же боишься народу показать? А коли боишься, понимай: творишь неправду, беззаконие чинишь, от страху перед правдой народ изводишь...»

Прислушался попамарь и как бы задумался:

«Молчит кремль. Так нате, бояра! Я атаману Разину панафидное прозвоню. Заливай, голубчики, поплакивай.!. Сказывай народу, как тяжко за тебя, народ, заступаться... Э-эх! прогонит меня на сей раз протопоп от звона!»

На полянке за Москвой-рекой долго плакали колокола протяжно и гулко.

Мимо идущие крестились, говорили:

— Кто-то большой нынче помер!

Кремль тоже звонил — мрачно, торжественно, славя мощь и правду царскую.

Сходя с колокольни, Трошка-звонец не слышал больше стука топоров, — на Козьем болоте лобное место Разину было готово.

3

В теремном дворце, в палате сводчатой, расписной по тусклому золоту, царь принимал донских атаманов. Одет был царь в малый

наряд Большой казны: в зарбафный узорчатый кафтан до пят, шитый жемчугами, унизанный лалами и изумрудами по подолу, а также и по широким концам рукавов. Наряд был без барм и нарамников. На голове шапка с крестом, но не мономахова. И сидел царь не на троне, а на кресле голубом, бархатном. Дебелое лицо его с окладистой черной бородой и низким холеным лбом сегодня веселое, глаза глядели на все приветливо.

По лавкам, с боков палаты, сидели бояре с посохами в золотых парчевых кафтанах и летних мурмолках.

Царский посох с крестом на рукоятке стоял у отдельного стола, где сияла алмазами шапка Мономаха. Дьяков в палате не было.

Кинув бараньи шапки на лавки, не доходя царской приемной, бороздя атаманскими и есаульскими посохами по полу, кланяясь царю ниже пояса, вошли в палату казаки: седой и бритый с усами вниз, с серебряной серьгой в ухе атаман Корней Яковлев в бархатном красном жупане с кованым кружевом по подолу, длинном до пят, под жупаном в голубом запоясанном кафтане: с ним рядом худощавый, бородатый и костистый, в таком же наряде, Михаил Самаренин, и так же точно одетый, с хитрыми глазами, полуседой и рыжеватый Логин Семенов. За ними четыре есаула в суконных долгополых жупанах, темных. Под жупанами расшитые шелками, почти такой же длины, кафтаны красные, скорлатные. У кушаков есаулов подоткнуты ременные плети, есаулы, как и атаманы, с черными посохами, набалдашники посохов плоские, серебряные. Все, как атаманы, так и есаулы, при саблях, под жупанами, черкесских без крыжей. За атаманами и есаулами черноволосый усатый писарь в синем кафтане, также без шапки.

Когда кончили церемонию отдельных поклонов царю, атаман Корней, тряхнув седой косичкой на голом черепе и склоняя голову в сторону писаря, сказал, отстраняя казаков с дороги:

— Чти, хлопец, пройдя вперед, великому государю наше казацкое послание всей реки.

Писарь, шагая тяжелыми сапогами и стукнув закаблучьем сапог, поклонился, начал громко и раздельно:

«— Божиею милостью великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великия и малыя и белыя

Руси самодержцу — старшина казацкая и все войско донское челом бьет...»

— Читай, служилой, и кое выпусти лишнее, не труди много нашими поклонами великого государя! — тихо сказал писарю Михаил Самаренин.

Писарь, как бы не слыша атамана, читал:

«— По твоему, великого государя, приказу и по грамотам ходили мы, холопи твои, под Кагальник-город для вора, изменника Стеньки Разина и брата ево Фролки. И милостию, государь, божиею и помощью атамана Корнея Яковлева того вора Стеньку Разина и брата ево Фролку в Кагальнику-городке взяли и у нево, вора, в то ж время взяли три аргамака серых да три ковра на золоте, и которые, государь, люди с тем вором, изменником Стенькою, на Волге были, и они нам, холопям твоим, в расспросе сказали: «что-де те аргамаки и ковры везли из Кизылбаш в бусе к Москве купчины в дар тебе, великому государю. И те, государь, аргамаки и ковры послали мы, холопи твои, к тебе, великому государю, нынче же заедино с ворами изменником Стенькой Разиным и братом ево Фролкой, а воров изменников и аргамаки, и ковры повезли к тебе, великому государю, к Москве наши атаманы матерые казаки — Корнило Яковлев, Михайло Самаренин, Логин Семенов да есаулы...»

— Ну, буде, писарь. Ковры золотные, кизылбашские, великий государь, самолично мною сданы на руки дьякам Тайного приказу, кои ведают заморскими товарами, аргамаков же атаман Логин Семенов приказал казакам отвесть в Конюшенный приказ, и цедулу о том имеем. Воров тоже, оковав у заставы: Стеньку на срамную телегу, Фролко по-за телеги приковав, сдали стрельцам Земского приказу, — проговорил Корней.

Царь, махнув рукой, сказал:

— Знаю о том, атаманы молодцы, кого и что привезли вы. — Перевел глаза на Корнея Яковлева и прибавил: — Тебя, старый, буду вот поносить худыми словами при всех. — Царь говорил, не меняя веселого лица, он радовался безмерно, так как с кремлевской стены видел своими глазами, когда провозили на Красную площадь грозного атамана.

— Приму все на старую голову, великий государь!

Хитрый старик низко поклонился.

— Допрежь лая на твою голову опрошу: правда ли довели мне

сыщики, что ты, старый атаман, с моим государевым супостатом, изменником Стенькой, ночами пиры водил и дары имал? А дарил он тебе шубу рысью, шапку соболью и саблю кизылбашскую адамашку?

— Правда-истина, великой государь! Пировал со Стенькой и не раз пировал и посулы его имал, кои названы... А спрошу я тех, кто довел: как же было по-иному делать? Как вернул он, великий государь, правда, на малое время, не дойдя до Синбирска, от самарских гор, и тут все матерые казаки страху приняли... Сила у его большая — гикнет, и конец нижнему Дону. Он же, бор, дома матерых казаков зорил, а коих и в воду сажал, и мне же первому грозил: «Посажу Корнея в воду!» Церковка строилась, спретил, попов погнал: «Сажают с Москвы-де попов, потом воевод посадят с дыбой, чего на вольном Дону не бывало!» С молодняком свои порядки установил — и мы молчали, великий государь. Попрекал нас, «что девок боярышнями-де уделали, чиберками,[1] заперли по горницам, чтоб над шитьем слепли да горбы наживали, а я-де хочу всех молодых с моими казаками перевенчать, как на Астрахани, без разбору — матерый казак иль то голь перекатная. И венчал, государь, без попов, как в старину на майдане, по сговору. Я с ним пировал, оберегая государевы порядки — и дарил он меня, государь... А как посекли его твои государевы воеводы под Синбирском да погубили казацкую голутьбу, и вернул он не к нам, а в Кагальник...

Корней остановился, как бы обдумывая, что сказать.

— Говори, атаман, я внимаю.

— Так вот внимай, великий государь! Приехал я к нему гостем, пустил он меня. Оглянул я Кагальник и диву дался: укрепы в ем наделаны таковы, что год стой под городом и жги голую землю — везде бурдюги изнарыты, строеньишко поверх земли легкое — рядишки для торгов, а в городке, чую по звону оружия, людей еще не мало, и Гуляй-поле у них под боком — там не избыта крамола. И стал я снова пировать с изменником, государь, и познал я, познал, что посечен он крепко — рука правая сабли не держит. А как в пущий хмель он вошел, я и пустил в город матерых казаков, да в тай дал приказ подтянуть войско, которое в Черкасске слезно умолил стоять за тебя, ве-

---

[1] Чиберка — рукодельница.

ликого государя. Пировали мы с ним, обнявшись ходили, и ласково звал он меня хрестным. Я же мекал, государь, захватить изменника Степьку со всем его родом и коренем...

— Так, атаман! Так когда-то делал любимый мой боярин Ховрин.

Один боярин встал, поклонился царю и поправил его:

— Киврин Пафнутий, великий государь!

Корней атаман тоже сказал:

— Киврин, великий государь. И стоял он встарь у меня не.

— Боярин и ты, атаман, я знаю, что сказал: боярин Ховрин, пошто, того не ведаю, родителя моего просил изменовать себя Кивриным.

Боярин поклонился и сел.

Атаман продолжал:

— И тут, государь, не выдержал и сговора со мной матерые, зазвали в Кагальник верное войско, заране времени бой заварили. Воровская Степькина жонка Олена с двумя детьми — один уж казак и ружья свычен, другой подростель — укрылись в бурдюгу, да палить по нас зачали и не мало матерых уклали... Я указал ночью обрыть их в бурдюге, огня пустить в нутро — так и кончились, не попали на суд твой воровские, государь, сородичи... Связали мы изменников, свезли в Черкасской, а Кагальник ровно с землей сделали. Ковры и аргамаков, о коих шипут казаки, тогда же взяли. Взяли, да чую я, шевелится Гуляй-поле.. Хоша рейтары твои, великий государь, в подмогу нам пришли по моей же грамоте и просьбе, да чуялось мне: крови много будет, а под шум и схитят, гляди, изменника. И зачал его я в своем дому от матерых укрывать да пировать зачал, и валялся он в моем дому пьяной... Я же выжидал. Матерые стали кричать про меня, государь, что я изменник твоему имени — терпел все... А как сговорил его, «что поедем с ним и Фролкой в Москву бить головами и государь-де царь наши вины отдаст», усомнился он, по вышел к голутьбе и не приказал ей в бой итти: «приеду-де из Москвы, тогда...» Для утехи матерым обрядил я в его одежу Фролку и на паперти Черкасского, оковав, посадил. Ночь пала, спустил. И вез я их, великий государь, изменников, в шелку-бархате, и грозу от Дона отвел... Пировал я, великий государь,— кто иное скажет! — с изменником дружбу вел

Царь встал с места.

— Подойди, атаман Корней Яковлев, да облобызаю тебя за послугу и ум!

Старик, уронив посох, спешно подошел к царю, царь поцеловал его в голову, а хитрый старик, поцеловав царскую руку, пал в землю:

— Теперь, великий государь, вольный Дон голутвенный не колыхнется! Голову с него сняли, а руки-ноги пойдут вразброд. Покорны будут имени твоему государскому!

— Спасибо, старик! Подарки тебе у меня на всякий случай есть, и знал я, что прав ты.

— Суди, государь, милостиво, а я сказал тебе, не кривя душой, правду.

— Всем вам спасибо, атаманы молодцы, есаулы и казаки! Еще пришлите к Москве тех, что были со Стенькой изменником на Волге и о чем писали: «кои люди у вас в расспросе были».

— На Дону великий государь, — сказал Корней, — сыскался вор, есаул Ларка Тимофеев, то его дошлем особо.

— Верю и ждать буду. Отныне тоже укажу вам: не принимать на Дон в казаки беглых холопей с Москвы и иных городов, а для порядка, чтоб мое имя стояло у вас высоко, налажен мною на Дон воевода Косогов с войском драгун и рейтаров.

Атаманы и есаулы поклонились царю в землю.

Вышел из смежной палаты дьяк, вынес свертки кроваво-красного кармазина. Первый кусок подал атаману Корнею и громко, торжественно проговорил:

— Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великия и малыя и белыя Русии самодержец, жалует тебя, атамана Корнилу Яковлева, отрезом доброго кармазина на кафтан!

Корней поклонился царю низко, принял подарок. Поименно называя, с той же речью дьяк обратился к Самаренину и Семенову. Есаулам без длинной речи выдали вышедшие из той же палаты дьяки свертки сукна на кафтаны ценностью и цветом по чину. Царь подошел к столу, стоявшему в сторонке, взял с него бархатную кису с золотыми кистями и, подозвав кивком головы Корнея Яковлева, сказал:

— И еще жалую тебя, атаман Корней Яковлев, из своих царских рук сотней золотых червонцев.

Не дожидаясь поклонов, прибавил, улыбаясь:

— Крамола изжита. Службу атаманов, есаулов и донских рядовых казаков похвалю особой грамотой на Дон, а вас, атаманы матерые, зову нынче со мной и боярами к трапезе.

Махнув рукой первому дьяку, прибавил:

— Дьяк, есаулов отведи на чашный двор, и пусть пируют за здравие наше.

4

Близ крестца улицы узкой, пыльной, обставленной по сторонам ветхим тыном, обрытой пересохшими канавами, вонючей от падали ободранных козлов, кошек и собак, сидел, привалясь к тыну спиной, уперев ноги в лаптях о дно заросшей канавы, старик в сером кафтане, в серой бараньей шапке, сдвинутой на подслеповатые глаза, перебирал струны домры и, бренча, подпевал:

На реку на Волгу широкую,
Вылетал, слетал сизый сокол...
В небеса ен не глядел, властям не кланялся.
Зачерпнул он долонью воду рудожелтую —
Под Саратовом, Царицыном, Свияжеском!
Взговорил ко Волге, вопрошаючи:
«Ой, пошто, Волга-мать, не радошна!
Ай, зачем мутишь со дна пески да рудожелтые?»
«Я по то верчу, пески кручу —
Подмываю камни-горы подсамарьские,
Что встает со дна меня красавица...
Та ли девка красная не нашинска:
Турска ль роду али персского...»
И услышала глас богатырь-реки,
Плавью со дна выставала сама девица...
Не румянена, лицом не ваплена,
Косы черны раскотынились...
Вишь, в воде лежать — остудной быть!
И не зреть солнца, не видети,
Холодеть сипеть грудиною,
Похудать, отечь личиною...
Да сказала девка таковы слова:
«Ты ли, сокол, богатырь-боець?
Зрю: недужным стал, нерадошным.
Аль по мне, девице, опечалился?
Ой, с печали сердце ссохнется,
Сила-удаль поуменьшится!..
И тогда насядут вороги,
Лиходеи все насильники.

Биться будешь не жалеючи...
Не теряй ты, сокол, кудри, мною чесаны, —
За кудрями снимут буйну голову...
Голову, головку, буйну голову-у!..»

С огородов, сквозь тын, по всей Стрелецкой слободе несло запахом печеного хлеба, так как простолюдинам летом «пожара для опас» не давали топить печи в домах, они пекли хлеб на огородах и пустырях.

Старик примолк, пастраивая домру, столь же старую, как и сам он, а за его спиной по-за тын кто-то, сидя в углублении земли перед печью, говорил громко и жалуясь:

— С тяжбой наехала родненька, кум... В кремль пошли на соборы гляпуть. Дошли мы до церкви мученика Христофора, я поотстал, а кум орет во всю Ивановску площедь: «Чтой-то, куманек, ваши московские иконщики замест угодничья лика нса на образ исписали?..»

— Вот дурак-от! Христофор завсе с песьим ликом пишется.

— Я ему машу рукой: молчи-де! Ой, и натерпелся... Гляди, уволокли бы в Патриарший разряд...

— И отколе экое чудо? Святых не разумеет.

Старик, настроив домру, снова запел ту же песню. С казни Разина, от лобного места разбродилась толпа горожан, густела около игреца, слушала. В толпе стоял широкоплечий высокий юноша. Он и раньше стоял, а теперь придвинулся ближе. Лицом худощав, над губой верхней начинались усы, из-под белой шляпы, расшитой на полях узорами, лезли на лоб темны кудри. Малиновый скорлатный кафтан распахнут; опершись на батог, молча слушал игру старика.

Толпа зашевелилась и раздалась. К канаве вплотную пролез человек, с виду купец, широкоплечий, приземистый, с отвислым животом, в синей долгополой сибирке аглицкого сукна. За купцом протолкались, встали около него приказчики в серых фартуках и валяных шляпах, похожих на колпаки. Над Москвой все шире и шире загудел из кремля колокольный звон. Вслед кремлевскому звону недалеко с полянки зазвонила церковь Григория... В торжественный и плавный звон настойчиво вплелся заунывный, похоронный... Купец, как и многие люди, держа снятую с отогнутыми полями шляпу в руке, крестясь, заговорил:

— Дивлюсь я, народ православной! Вот уж кой день писец покойницкой Трошка звонит неладно! — чуете! во!.. во!..

— Как не чуять, торговой человек? Звонит, быдто архирея хоронят.

— Еще что! Как седни вора Стеньку везли на лобное место из тюрьмы с Варварского крестца, звонил же все так. А звоны в тое время ни гукнули... один он...

— Да... баловать таким делом не по уставу.

— И чего этта протопоп ему спущает?

— Кой день, как государев царев духовник уехал к Троице!

— К Сергию?

— Куды еще? К Троице.

— Ну, и вольготно звонцу шалить колоколами.

— Нет, православные! Тут дело патриарше, не шалость пустая.

— Патриарший розряд сыщет.

— Коли доведут — сыщет!

— Сыскать про Трошку надо. А коли же сыскивать, православные, так чуйте: старик тож неладное играет, да еще в повечерие — грех велик!

— На старика поклеп! Наигрывает старой сколь жалостно, одно что в вечерю...

— А чуете ли, кого поминает?

— Волгу!

— Девку еще!

— А сокола сизого? Да сдается мне, замест сокола поминает вора Стеньку, казнили коего по государеву указу, четвертовали. Чуйте, православные! Его поминает.

— Лжешь на старца, пузатой!

— Зато не нищий: и пузат, да богат!

— Всяк про себя деньги копит. Иной нищий богаче купца.

— Чуйте, православные: «властям не кланялся», «вороги насядут, потеряешь буйну голову!»

— Оно, впрямь, схоже!

— И Волгу-реку со Царицыном, Свияжском, камни-горы Самарские — про то нынче сказывать не можно: там бунты идут. Играть же указом воспрещено — чуйте, православные!

— Ну, чуем! Что из того!

— То! А може не то?

— То ли не то, а я, православные, делаю почин. С тем шел сюда, чтоб старого безбожника, кой в повечерие бунтовские песни играет, в Разбойной сволокчи. Эй, парни, бери!..

— Пров Микитич, подмочь мы можем, да только...

— Чего только?

— Помогем до крылец в кремль, а в Разбойной не пойдем — с дьяками суди ты!

— Волоките! Сам все улажу. Ну-ка, мохната шапка зимня, с нами, и музыку бери!

Купец, помогая приказчикам, выволок домрачея из канавы на дорогу.

— Да чего вы, божьи люди? Стар и убог, чай, сами видите? Играю нищеты деля: може, кто алтын кинет?

— Там тебе гробных рублей дадут. Волоки, парни!

— Идем, дедко!

— Эх, пошто трогаете старца!

— Пропущай!

Юноша кинул батог, двинул на голове шляпу. Толпа не расступалась, старика тащили медленно, улица была плотно забита людьми.

— Чего мешаете, православные?

— Волоки, нам што!

— Не дело это... старого.

Парень из толпы тронул юношу за рукав:

— Вася! Гостя вашего... старца...

— Пожди, Куземка! Дай им взятца ладом. Где робята?

— Тут с народом.

— Кличь!

И, раздвинув толпу, засучил к локтям сборчатые рукава. Толпа отхлынула. Приказчики, сглянувшись, выпустили из рук старика. Купец закричал:

— Вы, парни, чего? а?!

— Не видишь, что ли, Пров Микитич?

— Чего?

— Люди хлынули прочь, а первой кулашной боец в дело вязнет.

— Какой еще? Волоки!

— Васька Прихин, слышь какой!

— Эй, православные, подмогите парням.

— У нас ребра и так щитаны.

Люди все больше редели, кто-то сказал:

— Тащи, пузатой, коли затеял!

— Нагляделся, вишь, казни, так на всякого рад скочить...

— Мы Разбойной обходим.

— Чорта с таким народом послужишь государю!

— Не государю, а твоей чести.

— Тьфу сволочь!

Купец, ругаясь, отступился и спешно, не то от зла или боясь толпы, ушел.

Приказчики задержались: сняв шапки, поклонились старику:

— Прости нас, дедушко!

— Велел, а дело наше подневольное!

— Ништо взять у старого...

— Шальной он у нас! Вишь, в гости норовит пролезть.

— Такому не быть гостем! Знаем его лари — мелковат торгом.

— У чорта ему гостем быть!

— Старается — крамолу ищет...

Толпа, переговариваясь, разошлась.

Юноша подвинулся к старику:

— Пойдем-ка, дед, к матке, чай, по нас соскучала!

— Поволокли... а чудно!..

— Сразу видал, что этот к тебе не спроста лезет. Все ждал, когда возьмет да городские подмогать зачнут. А я мекал — гикну ребят... только скоро тебя спустили... Люблю бой!

Звон колокольный заливал воздух Москвы, улицы и закоулки. Над низкими домами гудело медью, и в медный, веселый гуд, не смолкая, упрямо вливался заупывный похоронный звон.

— Ты куда, дед?

— Да иду, робятко, надо мне заттить на Архангельско подворье к монашкам — земляки есть, а кои прибыли из Соловков: Азарий келарь да Левонтий поп...

— Пошто они тебе?

— Вишь ты, Васильюшко. Пожил я у вас — пришел от имени батюшки. Сказнили его нынь, а теперь итти мне...

— Это вора-то Стеньку?

— Ой, робятко, молчи! Не вор он... не говори так... В тепле у вас, в доброй жире пожил, и слава богу. Посужу с монашками:

може, еще потрудятся во славу атамана Соловки-то! Потрудятся ужо...

— Идем к нам! Снова, гляди, уловят... По Москве нынче много таких черевистых ходит... имают людей.

— Не уловят, даст бог! Решетки в городу не замкнут скоро — светло; а я часик, два, три поброжу...

— Тебя ежели где искать?

— Не ищи, Васильюшко! Сам прибреду.

5

Ириньица лежала, закинув исхудалые руки за голову. Василий вошел, сел на лавку: не раздеваясь, кинул рядом с собой расшитую шляпу. Свечи горели в одном трехсвещнике, две из них догорали — одна высокая ярко потрескивала, оплывая. Василий встал, взял две свечи из столешного ящика и зажег, вынув огарки. Делал он все очень тихо, бесшумно. Ириньица прошептала, не открывая глаз:

— Где ж летал, мой голубь-голубой?

— Эх, мама! Не чаял я, что услышишь... мекал — спишь. Был и видал, ой что!

— Скажи, сынок... чую...

— А вот! Тут, не дально место, на Козьем, вора Стеньку Разина на куски секли... Перво палач ему правую руку сек, потом левую ногу, а вывели заедино с ним, вором, его брата Фролку, да, вишь, не казнили... пристрастия для привели скована. Фролка от тое казни братней в ужастие пришел и слезно закричал: Знаю-де я «слово государево»!

«Он же, вор Стенька, весь истерзанный, да из отруба руки ноги кровь бьет вожжой, рыкнул на Фролку что есть силы — всему народу в слух пало:

— Молчи, собака! Шлю тя к матери и со словом государевым заедино...

«Тогда палач его по стриженой голове тяпнул и нараз сек, а потом... Ты что, мама?!»

Ириньица, дрожа, села. Полуседые волосы лезли ей на глаза. Сбороздила волосы прочь иссохшей рукой и крикнула так, как не ожидал сын, громко:

— Дитятко! Ой, не надо!!

— Чого не надо, мама?

Ириньица упала на постелю и тихо, как первый раз говорила, сказала:

— Ой, молиться надо мне и тебе, голубь, молиться тоже. Отец он твой был — Степан Тимофеевич!

— Отец? А я почем про то мог знать? Вор да вор — отец? Ай, яй, где его пришлось повидать! Отец!..

— Истинно отец он твой, а что не сказала — моя вина... Без закону ты им со мной прижит... Для страху не говорила — будет-де меня корить и не любить.

— Еще и корить! Так вот он кто —мой отец?.. Не занапрасно тогда Лазунка, наш гость, сказал: «Будь в отца!» и учил стреле и на саблях рубить учил...

— Дитятко!.. Прахотная думала я думу... Хошь глазом глянуть хотела... Выбралась итти, да ноги, боялась, не понесут далеко... И у дверей стоя четыре денька тому, чула кричит народ: «Везут!» Ой, ослабела я, уползла сюда на перину... А нынче, вишь, казнили сокола!.. И мне помирать... остатние деньки с тобой я...

— Пошто так, мама? Жить живи, я лекаря сыщу... лечить тебя...

— Нет, Васильюшко. Не ищи ни лекаря ни знахаря... Сердце исчахло, да и не зачем маяться мне... Теплилось оно, мое сердце, все той же единой надежой увидать сокола Степанушку, и вот..

Ириньица, не закрывая глаз и не меняя лица, плакала.

— Эх, мама! Разжалобил тебя, сказал не зная чи. Ты не плачь. Что укажешь или пошлешь куда, все сполню... Не плачь — прикажи чего?

— Одну заботу положу на тебя, голубь-голубой... Сходи ты, сыщи товарища твоего, кой смелый и ничего не боится. Чула от тебя, такие есть... Я ему денег дам, что попросит, ай узорочья — ничего не жаль, — лишь пробрался бы на лобное место и голову, псами боярами посеченную, Степанушкину, принес.

— Понимаю, мама! Принести?

— Только не ты, дитятко! Человека сыщи такого... Состригу я с той головы кудерышки да под подушку складу...

— Да, мама, не чула, — сказал я: обрета его голова со лба до темени...

— Ну, так прощусь с ей дитятко... Легко мне будет, бесслезно... Сходи, сынок, за таковым удалым!

— Схожу, мама. А ты, родненька, не горюй! И пошто, пошто я раньше того не знал?! — Отец!

Василий быстро поймал на лавке шляпу, подтянул кушаком распахнутый кафтан, а выйдя в сени, пошарил чего-то недолго.

Ириньица, медленно приподнимаясь, села на постели, провела руками по лицу и сперва тихо, потом быстрее несколько раз тряхнула головой, как бы себя убеждая сказала:

— Ой, баба лежебока! В путь пора, а ты окисла в дреме?

Стала подыматься на ноги, ее пошатнуло, но с упрямством в лице она удержалась за кромку тяжелого стола:

— Буде, крепись. Дела много: обрядиться, подрумяниться, брови подвести... Ой, нерадивая!

Держась за стену, она подошла к шкафу, открыла и сквозь него прошла в прируб.

В подвале было ведомо время по часам — они висели на стене; гири их старательно по утрам подымал Василий. Но сегодня он куда-то заторопился, забыл, и часы стояли. Ириньица не видела часов, перебирала свои сарафаны. Оделась в белый атласный сарафан с лямками, низанными жемчугом, шитый золотыми узорами. Переменила шелковую рубаху на белую тонкого полотна, достала кику полегче, без очелья, надела. Одеваясь, шептала:

— По дружке Степанушке... в белом... не черном... ух, дай бог силы!

С трудом выбралась в сени, нашла ендову с вином, через край ендовы выпила вина, закашлялась и, отдышавшись, поела белого хлеба:

— В путь дорогу! В путь дорогу, баба! Силы паси... кормись.

Вернувшись из сеней, стала прибирать горницу. Из коника вытащила скатерть малиновую, бархатную, покрыла дубовую доску стола. В другом трехсвещнике установила и зажгла свечи. Поправила у образов лампадки и тоже зажгла. Покрестилась, но в землю боялась кланяться — не встать с полу.

В сенях застучали смелые шаги, вошел сын, поставил на лавку мешок:

— Вот на, мама! Принес.

— Ты? Сам ты?

— А кого еще искать в подмогу?

— Ой, сынок, сынок! Голубь — страшно... и тебя с моих глаз, боюсь, утянут, окаянные...

— Некому тянуть... Казнили, решили дело... Сторожов там нету... В яме на колье голов много... На тот высокий кол батюшков я иную голову вздел, схожую. Да все обриты и воронье терзает, ништо!

Ириньица шопотом спросила, подходя, шатаясь на ногах, к лавке:

— Та ли головушка, голубь?

— Та, мама!... Она... чего не веришь?

— Я так, голубь! я так... сказать...

Мать, раньше чем вынуть из мешка голову, обняла сына.

— Родненькой! Васильюшко! Дай поцолую тебя, соколик мой, и благословлю... Прости грешную...

— В чем прощать-то?.. Да благословлять пошто? Дай-ка выну я голову, снесу — тяжелая...

— Нет, сама! Сама, сама я, а ты поди, сынок, да приведи гостя, старца нашего...

— Он сказал «сам прибреду». Чуть не поволок его купец Редькин с приказчиками, что ларп у моста.

— Нет, родной! Сыщи — видишь, чуть не уволокли куда... С батюшкой твоим был — сыщи его. А я, може, отдохну... сосну мало...

— Опочинь да здрава будь! А ладно, мама, что опять пошла, как тогда, когда Лазунка был... Одно что-то мне нерадошно...

— Что ж нерадошно, отчего, дитятко?

— Так... я не знаю... Гляжу вот: нарядилась как на свадьбу, а глаза...

— Что глаза мои, Васильюшко?

— Да все едино как плачут...

— Ой ты, ой! голубок голубой... Ой ты, — дай бог тебе путь доброй и силу возростить... и крепким...

Ириньица еще раз обняла сына; сын в ответ на ее ласки тоже обнял мать торопливо. Уходя, ударил о полу кафтана шляпой:

— Эх, не хотелось бы уходить от тебя! Ну, я скоро, мама...

— Подь, голубь, с богом... Хоть ты и ненадолычко, а старца сыщи... Тут он, близ где-то...

— Сказал: «прибреду». Темнеет, придет ужо... Ну, подтить, так иду!

В желтом свете свечей Ириньица стояла у лавки над мешком, высокая, вся плоская. Желтели клочья волос, поседевшие, из-под узорчатой красной кики. Тронула мешок исхудалой рукой и отдернула пальцы, отступила:

— Нет, не то! нет, не то... иное... иное надо... надо.

Она подошла к сундуку за печкой, открыла углубление в потайную горницу. Негасимая у образа лампада тускло горела в подземелье. Ириньица, шатаясь, но уверенно подошла к портрету старика, пошарила рукой справа у рамы, нажала пружину. Портрет боком двинулся на хозяйку. В открытом шкапу в стене тускло светилась драгоценная посуда золотая и серебряная, с камнями, в узорах. Ириньица, стиснув зубы, из последних сил напрягаясь, стащила с полки широкое серебряное блюдо с алмазами на верхней кромке. Блюдо ударило ее по ногам. Она села на пол и, боясь сидеть, скоро встала. Не закрывая потайного углубления в стене, так же выбралась, волоча за собой блюдо, и заперла вход.

Подошла, поставила, отодвинув трехсвещники, блюдо на стол. Отдышалась, тогда пришла к мешку, подсунула под него руки и перенесла к столу бережно. А когда сгибалась поставить мешок на пол, как помешанная от нахлынувших обрывков воспоминаний короткого счастья и горя, — запела колыбельную песню. Голос слабел, срывался, иногда шептал, но она пела и пела:

Старые старушки укачивайте,
Красные девицы, убаюкивайте,
Спи с Христом!
Спи до утра — будет пора —
Разбудим... ворогов вон со двора...

Нагнулась, раскинув полотнища мешка, вынула окровавленную голову с синими губами и закрытыми глазами. Губы распухли, кровь почернела, облепила усы и бороду. Голова была гладко выстрижена, с левой стороны шла глубокая кровоточащая борозда. Ириньица поставила голову срезом шеи на блюдо, пела так же или казалось, что пела, шептала:

Сон ходит по лавке,
Смертка по избе...

Сон говорит — я дремать хочу...
Смерть взговорила — косу точу!

Опустилась на колени перед столом и навзрыд заплакала:

— Голубь-голу́бой, мой Степанушко! Вот, вот и свиделись... а сказал соколик: «не видаться». Да что ты, баба, — наладилась в путь, а вспять. Нечего уж тут... лежебока! Берись за работу... Понесу, сокол, твою головушку по Москве, а упрячу, окручу ее в камкосинную скатерть. Несу любимое, родное... не дам его никому — судите заедино с ним... Закопайте меня в лютую яму... Ой, берись! буде... слезы... буде!

Цепляясь за стол, поднялась, прошла в прируб, оттуда принесла кувшин серебряный с водой и на плече полотенце. Плескала водой на измазанную грязью и кровью голову атамана, корила себя и плакала неудержимо:

— Баба, так уж баба! Глаза твои на мокром месте... ой, на мокром... Голубь... голу́бой... умою твое личико водой студеной. А я на торгу была и чула — стрельцов-то, кои меня выволокли из ямы, исцы-сыщики ищут, всю-то Москву перерыли, да не нашли... По начальнику весь сыск пошел... он-де пузатой... Соколик, сыщут тебя, и на дыбу с тобой... Да открой же оченьки!

Обмыла лицо и бороду, лоб и плохо заживший от сабли Шпыня шрам, открыла Разину глаза. И глянули потускневшие глаза еще раз, не дрогнули больше брови, хмурые и грозные.

— Вот так! вот так... Ах, кабы, мой голубь, да словечко молвил — ой, може, молвишь что бедной бабе?!. Нет, уж все прошло, минуло все, кануло, и жисть... жисть тоже. Пой ты, бессамыга! [1] Пой, а то падешь, и никуда в путь... Ни... не отдам я тебя, мой голубь, сокол ясный, никакой крале!.. Перлами из жемчугов окручу твою головушку... Прикую сердце твое к моей кроватке золотыми цепями... Убаюкивать буду: спи! спи... Нет же, гляди, убаюкивать зачну: пой, баба!

На тех огнях на светлых
Котлы кипят, да кипучие...
Баю, баю-бай!
Да восстань мое дитятко,
Со степы ты сними свой булатный меч...

[1] Голая, бедная.

Секи, кроши губителей!
Баю, баю-бай...
Гроза пройдет, да страшная,
Беда минет напосная...

Кувшин звякнул на полу. Ириньица, широко раскрыв глаза, попятилась к постели:

— Убит? Ой, убит! Не пройдет, не минет... Окаянные! истерзали. Нечестивые и с царем опухлым! Лютые! Подожди, баба... сердце! сердце!..

Она упала навзничь на постель, слезы высохли, глаза затуманились, с усилием глядя на мертвую голову, неподвижно уставившую в стену взор. Ириньица шептала:

— Сон по лавке... сон! Сон по лавке... придет пора... будим... раз... будим... — Вытянулась, слегка запрокинула голову, кинула одну руку вдоль тела, другую согнула на грудь...

— Мама! нашел я его, игреца гостя, — идет ужо. Ты спишь?

Сын, войдя в подвал, говорил все тише и тише, шагнул было, но сел на лавку, пятясь. Оглядывал как будто первый раз горницу: скатерть постелила? кувшин кинула и воду... а? обмыла, вишь, мертвое... На столе, на серебряном блюде, сверкавшем алмазами, стояла голова атамана, и глаза его, которых не видел сидевший юноша, ему казалось, глядели на сонную Ириньицу, спавшую тихо.

— Очень уж тишь! Жуть... Ой, да я часы не поднял! не завел... дай-ка!

Василий встал и оглянулся на дверь. В сенях завозилось. Дверь толкнули, в подвал, сгибаясь, влез старик в серой бараньей шапке, с домрой в руке. Юноша махнул ему:

— Мать спит!

Старик снял шапку, перекрестился на икону и, оглядывая горницу, неслышно ступая лаптями, подошел к столу, осмотрел мертвую голову; шопотом спросил:

— Ты это, робятко, батюшкину голову принес?

— Я, дед!

— Чтоб не зорили дом и тебя, ежели хватятся, сыщут, поволокут, ухоронить ее надо...

— Даст ли голову отца мама? Она спит, что ужо скажет?

— Не баско как-то она возлегла, моя хозяйка! Дай-кось!

Старик пододвинулся, пригнулся к голове Ириньицы — опу-

стил на пол домру и шапку из руки, широко двуперстно перекрестился:

— Молись богу, родной, померла мать.

— Ой ты?

Сын, двинув на голове шляпу, обходя стол, припал к груди Ириньицы. Старик, косясь на него подслеповатыми глазами, подумал: «Ровно как отец шапку движет».

Сын не заплакал по умершей и шапки не снял.

— Померла, дед! Что с ей творить?

— Ужли, робятко, тебе не жаль родную? Уж коли так, то крепок сердцем ты!

— Жаль... только я не баба — выть не стану спуста... О могиле завсе поминала... Иножды уж думал: «померла?» Послала искать тебя, а на дорогу обняла, целовала и крестила... Нынче что творить, говорю?

— Поди, робятко, к попу, снеси какое ему малое узорочье аль лопотину... Жадны они на мирское и не все, да много их жадных... Церковной укажет, что с ей творить. Поди, родной! я же в сей упряг проберусь, куда и голову батюшки земле предам... Попу ее казать не можно. Да на болото сброжу, воткну на тот высокий кол иную голову.

— Замест отцовой — вздел я сам голову, и не ходи на Козье.

— Сказала, что отец тебе Разин, дитятко?

— Сказала, дед!

— То-то. А ты — «вор атаман».

— Пошто не знал?

— Поди, робятко, за попом! Я тут посижу... Житье-бытье наше удалое с атаманушкой попомню и про себя молитву сотворю...

— Иду я!

— А узорочье?

— Посулю. Есть, что дать.

— Стой, дитятко! Поклонись земно отца твоего голове... Не много таких отцов на свете, и будут такие не скоро...

Сын, сняв шляпу, склонился перед столом до полу, сказал:

— Прости, родитель, что, не зная, лаял тебя!

— Так, так, робятко.

— От сей день буду я думать о воле вольной и другим сказывать ее и делать что...

— Разумной ты, спасп тя бог! Матушку свою укрой гробными досками с честью... Ладная была, домовитая хозяйка, и на тебя добра не жалела... Обучили тебя многому умные, а остаток, в миру чего знать, сам дойдешь.

Юноша поднялся во весь рост, надел шляпу. Старик сел на скамью перед столом.

— Теперь к попу, дед. Завтре матушку схороним по чести, и ты будь со мной...

— Стой-ко, робя, забуду, гляди! Тут где мешок, не вижу, да лопата, чтоб рыть?

— Под твоей скамлей мешок... Лопата в сенях, от двери два локтя, справа...

— Тут он, мешок... нащупал. К тебе я приду ночлегу для, озорко одному в такой тиши с упокойной, да и схороним ее, провожу ее на керсту, а там пойдем по белу свету: я песни играть про грозного атамана Степана Тимофеевича! ты же теки на Дон-реку. Чул я от упокойной, знаю: рожон ты на Москве, Василей, да кровь родителева от Дона-реки... И придет, може, тебя для время спробовать, сколь отцовой силы в тебе живет?.. Поди, родной!

Юноша ушел. Старик посидел, пригорюнясь, погладил обмытую мертвую голову атамана рукой и, повернувшись к лампадкам, горевшим тускло, начал молиться да кланяться в землю. Встал с земли, поцеловал в синие губы мертвую голову, также поцеловал Ириньицу. Неторопливо ощупав мешок, спрятал голову Разина, взял мешок и, нашарив в сенях лопату, сгорбясь побрел в сумрак серой ночи, бормоча:

— Бродить мне привышно... а это сделать безотговорно и надобно.

В ту же ночь с 6 на 7 июня 1671 г. у лобного места, где казнили атамана, звонец церкви Григория, Трошка, подошел к столбу, врытому у ямы. Там в назидание и устрашение народа прибит был длинный лист приговора «Разину Степану и брату его Фролке». Потянулся черный попамарь сорвать лист и вздрогнул — за ним послышались лапотные шаги. Трошка рванул конец листа, оторвал и, привычно сунув за пазуху, полубегом пошел прочь.

— Испишу, а лист сожгу — не сыщут!

Отойдя, оглянулся, увидал: около ямы, где торчали вверх

руки-ноги казненных да чернела стриженая голова на высоком колу, медленно, не глядя по сторонам, ходил старик в кафтане, лаптях, мохнатой шапке, сгорбясь, поглядывал в землю и как будто искал чего...

У себя под трапезой, завесив окошки, понамарь зажег на столе восковые огарки, очинил гусиное перо и, придвинув чернильницу, списывал кусок приговора, шевеля русой курчавой бородой, думал:

«Остатки со столба сорву — испишу все...»

Он переписывал:

«Вы воры и крестопреступники и изменники и губители душ христианских, с товарыщи своими под Сибирском и в иных во многих местах побиты, а ныне по должности к великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великия и малыя и белыя Русии самодержцу, службою и радением войска Донского атамана Корнея Яковлева и всего войска и сами вы пойманы и привезены к великому государю к Москве, в роспросе и с пыток в том своем боровстве винились. За такие ваши злые и мерзкие перед господом богом дела и к великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Русии самодержцу, за измену и ко всему московскому государству за разоренье по указу великого государя бояре приговорили казнить смертью, четвертовать».

ОБ'ЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

	Стр.
Москва	3
Соляной бунт	31
Войсковая старшина и гулебщики	39
Москва боярская	89

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

На Волгу	175
Царская Москва	225
К Астрахани	238
Яик-городок	250
В Хвалынском море	289
В Персии	301

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

На воевод и царя	381
Лазунка в Москве	462
Астрахань	506
У Самарской луки	532
Синбирск	540
Москва последняя	570

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Ленинградское отделение

МНОГОТИРАЖНАЯ БИБЛИОТЕКА

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ:

Мих. Слонимский „Фома Клешнев"

Роман показывает процесс размежевания в интеллигентской среде в годы, предшествующие реконструктивному периоду. Персонажи романа действуют в сложном сплетении общественных и личных отношений. В таких образах, как профессор Будный, изображается несдающееся упорство классово-враждебных идеологий. Идеология врагов обречена на гибель. Мать большевика Бориса Лаврова эмигрирует в Париж и призывает туда же своих детей, но даже легкомысленный, полный антисоветских мыслей и ощущений брат Бориса Юрий в последний момент отказывается от бегства. Ученики и друзья профессора Будного один за другим отходят от него, кается меньшевик Григорий Жилкин, но наряду с этим упорство враждебных групп возрастает и перерастает в организацию контрреволюционного заговора. Деятельность партийных работников приобретает все больше и больше приверженцев среди беспартийных. Идеологической сплоченности не нарушают и такие личные моменты, как, например, уход жены Клешнева к Борису Лаврову. Ненависть толкает врагов на террористические акты, и сын профессора Будного покушается на жизнь Клешнева, видного партийного работника, являющегося центральным персонажем этого романа. Но Борис Лавров вырывает револьвер из руки профессорского сына.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Ленинградское отделение

МНОГОТИРАЖНАЯ БИБЛИОТЕКА

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ:

Ю. Тынянов „Смерть Вазир-Мухтара“

В романе Ю. Тынянова описываются последние годы жизни Грибоедова, Россия Николая I после разгрома декабрьского восстания. Автор „Горя от ума“ выступает в романе также в качестве автора интересного экономического проекта и умного дипломата. Тынянов хорошо показывает трудное положение „людей 20-х годов“, т. е. либеральной дворянской интеллигенции, в мрачную эпоху николаевской реакции. Душевная неустроенность, хандра, попытки найти применение своих сил и способностей к новой обстановке — вот содержание жизни Грибоедова. Но его мысли и проекты не проводятся в жизнь. Официальная Россия не считает Грибоедова своим (так же, как и Пушкина), он одинок. Его блестящие замыслы оказываются ненужными. Царское правительство проводит свои реакционные планы.

В романе Тынянова действуют исторические лица, царедворцы, министры, чиновники, военные, литераторы — от Николая I до Фаддея Булгарина.

Обед литераторов, речи их, встреча Грибоедова с сосланным декабристом, церемониал приема у царя во дворце — вот ряд интереснейших эпизодов романа, свидетельствующих, как и другие сцены романа, о блестящем мастерстве Тынянова.

Отв. редактор А. Амстердам. Техн. редактор В. Яковлева. Корректор А. Лахтин. Гослитиздат № 548. Тираж 50.000. Сдано в набор 29/IX-34 г., подп. в печать 29/I-35 г. Автор. лист. 35,5, бум. лист. 9½. Ленго лит № 27143. Цена 2 р. 60 коп., переплет 60 коп.
Матрицировано в типографии „Печатный Двор", отпечатано в типографии им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57.